Борис
Полевой

Борис
Полевой

8

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ВОСЬМОЙ

•

ЭТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Из записок
военного
корреспондента

КНИГИ
ТРЕТЬЯ
И ЧЕТВЕРТАЯ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

Полевой Б. Н.

П49 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 8. Эти четыре года: Записки военного корреспондента. Кн. 3 и 4/ Коммент. Н. Железновой.— М.: Худож. лит., 1985.— 560 с.

Том посвящен заключительному периоду Великой Отечественной войны, когда советские войска изгнали захватчиков из пределов родной земли. Разгромив гитлеровцев на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, Советская Армия, верная интернациональному долгу, начала освобождение народов Европы от фашистского ига. Автору довелось участвовать в словацком восстании, в боях за освобождение Польши, Румынии, Чехословакии, посчастливилось видеть поверженный фашистский рейхстаг в незабываемые майские дни 1945 года. В четвертой книге «В конце концов» рассказано о Нюрнбергском процессе, где судили главных нацистских военных преступников.

П $\frac{4702010200-040}{028(01)-85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ДО БЕРЛИНА 896 КИЛОМЕТРОВ

КНИГА ТРЕТЬЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДОРОЖНОГО УКАЗАТЕЛЯ

На одной из площадей Львова, на той самой, где издревле перекрещиваются дороги, ведущие на все четыре стороны света, стоит старинный дорожный указатель — столб литого чугуна со стрелками. Стрелки нацелены в разные стороны, и на них значится: Краков — 341 километр... Варшава — 392 километра... Вена — 783 километра... Москва — 1408 километров... Берлин — 896.

Когда сегодня я снова увидел этот указатель, мне вспомнилось, что пять лет назад, в бурные дни, когда во Львове происходило Народное собрание, провозгласившее воссоединение Западной и Восточной Украины, я уже стоял у этого столба. Вокруг все кипело. Толпы волнами ходили по узким чинным улицам, заливали аккуратно подстриженные, чистенькие бульвары. Пестрые, живописные одежды крестьян, их шляпы с перьями, расшитые шерстью полушубки и жилеты, тяжелые мониста, цветастые платки и шали женщин — все это выглядело необычно на фоне чинных проспектов и улиц, в архитектуре которых господствовало позднее Возрождение и раннее барокко.

Крестьяне, приехавшие с долин и гор Западной Украины, удивленно глазея по сторонам, неторопливо двигались по узеньким тротуарам, стояли у витрин, располагались по-домашнему на скамейках Стрийского парка, а то и прямо на тротуарах у стен домов и, поставив перед собой мешок с домашними припасами, постелив рушник, раскладывали на нем всякую снедь, резали хлеб, сало, грызли лук, жевали помидоры.

Звучала украинская, русская, польская речь.

Ну, а вокруг этого дорожного указателя, стиснутый со всех сторон старинными домами с барочной вязью на фронтонах, бурлил базар, напоминающий питерские барахолки первых послереволюционных лет. Город выбрасывал на него все, что могло найти покупателя. Рядом с босяцкими лохмотьями лежали старинные гобелены. Дивной работы охотничий рог в серебряном окладе и ржавые утюги. Деревянные Иисусы и девы Марии переме-

жались с разудалыми голыми девицами венской базарной работы. Предметы аристократического быта соседствовали со ржавой скобяной дрянью. Особенно запомнился мне тогда в этой густо гомонящей толпе высокий старик в котелке, в темном пальто до пят и в калошах. Он прижимал к груди бюст Гинденбурга с отбитым носом.

— Кто же его возьмет? Кому он здесь нужен, Гинденбург?

Старик поднял на меня большие черные глаза, в которых отлично уживались и вековечная скорбь, и сегодняшние тревоги.

— Зачем так говорить: кто возьмет? Всякий товар находит своего покупателя. Пан офицер не знает этого? Напрасно. Это-таки так...

И вот я снова во Львове пять лет спустя. Четыре долгих года гитлеровской оккупации. Стою у дорожного указателя, стрелки которого нацелены на все стороны света. Он тяжело ранен, этот указатель. Осколок снаряда пробил чугунный столб, и он покосился. Пули оставили две пробоины на стрелке, указывающей на Краков. Но столб цел, а Львов? Если пять лет назад он, готовясь к Народному собранию, напоминал пожилого бодрого аристократа, ждущего гостей к праздничному столу, то теперь выглядел одряхлевшим старцем, только что поднявшимся с койки после тяжелой болезни, так он обветшал и облупился за годы оккупации. Только яркие и новые немецкие вывески лезли в глаза, как сыпь, не сошедшая после болезни.

Столб-указатель, хотя и раненый, но стоит. И на стрелке, что устремлена на северо-запад, на той самой, где написано «Берлин — 896 километров», кто-то по-русски и очень отчетливо написал мелом: «Ни фига, дойдем!» Написано крепче, выразительнее, но, готовя эти дневники к печати, я вынужден заменить одно чересчур уж соленое слово.

Старая площадь затянута дымом и пуста. Летний жаркий ветер гоняет по ней какие-то бумаги, серый шелестящий пепел. С западной и южной окраин доносится канонада, а когда ветер дует с той стороны, слышна и перестрелка. Но у столба стоит маленькая краснощекая девушка в солдатской форме, так сказать, всунутая в огромные кирзовые сапоги. Дирижируя красным флажком, она пропускает колонну запыленных танков и машин с пехотой. Они спешат туда, откуда

слышится канонада. Впрочем, слово «дирижирует» в данном случае я употребил неправильно. Она просто стоит, молодцевато вытянувшись, показывая путь в том направлении, куда нацелена стрелка дорожного указателя. На северо-запад. На Берлин, до которого еще 896 километров. Лишь изредка девушка повертывается в обратную сторону, чтобы открыть путь автофургону с красным крестом.

Центр Львова уже освобожден. Но бой за город еще идет. Взрывы нет-нет да и встряхивают торцы мостовой. Над городом, над районом, где идут бои, то и дело появляются вражеские «юнкерсы». Стайкой они несутся вниз, будто съезжая с горы. На миг разрывы их бомб, сливаясь с канонадой зениток, образуют сплошной гул, начинает казаться, что глубоко под землей, сотрясая ее, работает какая-то гигантская машина. Налетают истребители, завязывается воздушный бой. Его уже не видно за островерхими крышами и шпилями Львова. Звуки воздушной схватки приглушены расстоянием.

Смотрю на дорожный указатель: до Москвы 1408 километров. Этот путь уже пройден Красной Армией. Сейчас, когда мы вырываем у врага последние сотни километров нашей земли, с какой-то особой очевидностью постигаешь величие уже одержанных нами побед.

Из Москвы во Львов мы ехали трое суток. Двигались по маршруту Москва — Смоленск — Минск — Барановичи — Брест — Ковель — Томашув — Рава-Русская. Наша старая, видавшая виды «эмочка», которую когда-то, еще в первый год войны, еще на Калининском фронте, за ее немыслимую окраску братья-журналисты окрестили «пегашкой», резво пробежала эти самые 1408 километров, о которых напоминает стрелка-указатель. Пробежала через десятки больших и малых городов, сотни поселков, сел и деревень, и всюду на этом пути мы видели то уже зарубцевавшиеся, то еще рубцующиеся, а на последнем отрезке пути еще открытые, кровоточащие раны войны и оккупации. И на пути этом бросилось в глаза одно, и, как мне кажется, примечательное явление: чем дальше удалялись мы от Москвы, тем менее заметны были следы боев. За разбитым и сильно пострадавшим от пожаров Брестом с его старой крепостью, превращенной в сплошную гигантскую кирпичную руину, стали появляться уцелевшие деревни и малоповрежденные войной городки. Зато у переправ через реки и ручьи, на опушках лесов,

у подножия высоток, где, пытаясь остановить вал наступления, неприятель возводил рубежи обороны, мы видели такие свалки разбитых и сожженных машин, танков, самоходок, орудий разных калибров, что невольно вспоминались Сталинград, Курская дуга, Корсунь-Шевченковское побоище.

В Ковеле регулировщица подсадила к нам в машину попутчика, полковника-сапера. Пожилой и бывалый, он этими краями отступал на восток тяжким летом 1941 года. Минировал дороги. Взрывал мосты. Подрывал электростанции. Теперь вот, оправившись после третьего ранения, он следует в штаб Первого Украинского фронта. Держит в зубах незажженную трубку и, не уставая, разглядывает пейзажи, которые развертывает перед нами дорога, очень приличная, асфальтированная, с тщательно заделанными воронками от авиационных бомб и мин. Не вынимая изо рта трубки, комментирует увиденное:

— Вот вы ехали от Смоленска, видели, сколько наших танков в траве ржавеет, особенно между Минском и Брестом? Слабенькие были танки. Быстроходные, но слабенькие, не по этой войне, на прямом попадании пуля прошивала. А вон-вон, видите, какие орясины стоят, «тигры», «пантеры»,— сквозь опущенное стекло он указывает на несколько стальных махин, будто бы притаившихся в кустах возле переправы.— Колоссы. Броню средним калибром и при прямом попадании не взять. А ведь бьем этих «тигров», как медведей, бьем, вон их сколько.

Войска Первого Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева сейчас освобождают Львов и заканчивают разгром Бродской группировки.

Сколько войн повидал, сколько осад выдержал этот Львов с тех давних времен, когда основал его князь Данила Галицкий как передовой форпост на юго-западной окраине Древней Руси. Но такого сражения, как ныне, этот город не помнит. И хотя сражение это идет не первый день, сам город не так уж пострадал. И в этом я узнаю полководческий почерк маршала Конева. Когда-то, еще в первый год войны, когда войска Калининского фронта освободили мой родной город, давая интервью для «Правды», полководец сказал:

— Я считаю очень важным по возможности избегать уличных боев. Наступая, надо поставить противника в

такое положение, чтобы он сам ушел из города, вывести его в поле и там уж помериться с ним силами. Уличные бои — лишние потери, большая кровь.

Да, здорово, очень здорово выросло за эти четыре года и боевое мастерство солдат, и полководческое искусство генералитета. Впрочем, до Берлина еще далеко, очень далеко. Однако кто ж теперь у нас сомневается в правоте бойца, сделавшего на стрелке, указывающей направление на Берлин, озорную оптимистическую надпись. Дойдем! Непременно дойдем.

ФЛАГ НАД РАТУШЕЙ

Добравшись до Первого Украинского фронта, мы не стали терять времени на представление начальству, на бытовое устройство и, миновав большое село, где располагался штаб, прикатили прямо в предместье Львова. На ночлег устроились в редакции дивизионной газеты. Пока мы отмывались от пыли и насыщались, редактор газеты, маленький, коренастый, лохматый и очень подвижный капитан, прочел, нет, не прочел, а просто продекламировал свою только что написанную передовую статью. Она озаглавлена «Красное знамя над древним Львовом».

— Ну как, а? Обжигает?

Статья действительно была хотя и несколько наивная, но горячая, искренняя. Но, поскольку на западной окраине еще шли бои, давать ее, как мне показалось, было рановато.

— Может быть, стоит подождать?

— Нет, надо давать завтра, обязательно завтра... Что? Львов не полностью освобожден? Верно. Но ведь красное знамя над Львовом мы уже водрузили. И я имею право, просто должен об этом сообщить,— с энтузиазмом восклицал редактор, встряхивая шапкой курчавых волос, штопорками подымавшихся над его головой.— Да, да, флаг победы реет над ратушей уже третий день.

— Как это произошло?

И тут этот энтузиаст сообщил мне весть ну прямо-таки невероятную. Оказывается, когда завязалась борьба за Львов и гвардейская танковая бригада полковника М. Г. Фомичева ворвалась в город, экипаж танка «Гвардия» под командой лейтенанта Додонова получил

необычное задание — пробиться к центру, отыскать здание ратуши и поднять над ней красный флаг.

— Почему именно над ратушей?

— Почему? Вы не знаете, почему? — агрессивно спрашивает редактор, треся невозможной своей шевелюрой. И снисходительно поясняет: — Ведь Львов средневековый город, так? А по средневековым правилам со времен Данилы Галицкого здесь был обычай: раз флаг над ратушей, значит, город взят. Понятно?

— Но как же можно поднять флаг в центре еще занятого противником города?

— Не верите?.. Смотрите, — и он положил на стол политдонесение, в котором сообщалось, что 22 июля танк «Гвардия», действуя в составе своего подразделения, прорвался первым к центру города, подошел к ратуше, и радист Марченко с группой бойцов десанта проник в ратушу и водрузил на башне, как торжественно было сказано, «алый стяг». За шесть дней боев в городе экипаж «Гвардии» уничтожил свыше ста фашистских солдат и офицеров, подбил и поджег семь неприятельских танков.

Я еще раз перечитал политдонесение. Ну кто из нас, военных корреспондентов, приехав на новый фронт, не мечтает найти для своей первой корреспонденции что-то такое особенное, что бы сразу обратило внимание читателей. Ну сто уничтоженных солдат и офицеров можно откинуть — кто их там считал? Семь вражеских танков? Тоже многовато. Но главный факт — прорыв к центру занятого противником города, водружение флага на его башне — это-то ведь, несомненно, было. Но разве что-нибудь можно написать на основании сухого политдонесения?

И вот мы с моим новым знакомым редактором-энтузиастом в капитанском звании во Львове ищем следы этого самого танка «Гвардия». Их нелегко найти. Танковые части в постоянном движении. Командование все время тасует их по ходу боя. Я уже готов поднять руки и сдаться на милость обстоятельств, ибо моей визитной карточкой на новом фронте может стать и корреспонденция об итогах Бродско-Львовской операции. Но мой новый друг неутомим. У него великолепные для журналиста преимущества: в частях дивизии он знает всех и все знают его. Он тоже решил описать этот случай «на полный разворот». Взяв след, он неустанно идет по нему,

а я, подчинившись его темпераменту, покорно бреду за ним.

Бреду и вспоминаю, что когда-то, в самом начале моей деятельности в качестве военкора «Правды», когда бои шли за мой родной город Калинин, нечто подобное уже было. В частях фронта вдруг заговорили о том, что танк Т-34 однажды среди бела дня ворвался с запада, именно с запада, в оккупированный город, с боем прошел по нему, обстрелял немецкую комендатуру, опрокинул несколько машин с пехотой и, разметав огнем вражеский артиллерийский заслон, вышел из города у заставы с восточной его части и прорвался в расположение своих частей. И тогда, так же вот, как теперь, я пошел по следам этого танка. Когда город освободили, отыскал несколько очевидцев этого подвига, людей, видевших этот танк. Они показали мне развороченное снарядами здание комендатуры и место, где танк проутюжил несколько грузовиков с солдатами. На снегу еще лежали щепки от бортов разбитых им машин. Но о самом танке и его экипаже ничего конкретного так и не удалось узнать. Осталось неясным, существовал ли этот танк на самом деле или это одна из героических легенд, каких немало распространялось в народе в ту очень тяжелую пору.

А вот теперь знамя над ратушей. Прежде всего мы побывали в ратуше и установили, что все действительно было. О коротком бое, который провел здесь танковый десант во главе с радистом Марченко, как оказалось, львовцем по рождению, говорили выбитые стекла, поклевы автоматных очередей на стенах массивного здания, выбитые двери. Потом дотошный мой спутник извлек из каморки под лестницей свидетеля боя пана Осиевского, старого швейцара, который не покидал свой высокий пост «ни при санации, ни при товарищах, ни при германе». Не покинул и теперь. Видел ли он, как все произошло?

— Езус Мария, ну как же ему не видеть, когда он сам и вел этих сумасшедших жолнежей на башню ратуши! Иначе разве им самим можно было найти дорогу? Еще герман здесь был, они тут свое добро собирали и бумажки какие-то жгли, и тут, матка боска Ченстоховска, летит этот самый танк. Остановился, как конь, пушку на дверь навел, посыпались с танка жолнежи, и один черный такой, как цыган, выскочил из танка, и красный флаг у него в руке. Тут германы из окон палить нача-

ли, но ваши в здание уже ворвались, этот черный, что на цыгана похож, ко мне. Он и украинскую мову и польскую речь знал. «Отец, веди на башню...» Ну повел, что будешь делать. Пока другие тут, в ратуше, за германом гонялись, он по лестнице вбежал, этот флаг на башне привязал и на флагштоке поднял, а когда сходить стал, ему в спину один герман пальнул. Он упал, его ваши подобрали и на танке увезли. Езус Мария. Так это все было, панове, именно так!

Потом нам удалось на окраине отыскать штаб 63-й гвардейской танковой бригады. Ее командир полковник М. Г. Фомичев был в одном из батальонов, где руководил боем. Начальник же штаба, худой человек, с землистого цвета лицом, был так измотан, что засыпал над картой. Даже, кажется, не очень и понял, чего мы от него хотим и о каком танке «Гвардия» идет речь. Помог нам молоденький офицер связи, прикативший на мотоцикле из района боев. Он, оказывается, как раз уточнял материалы к наградному листу экипажа и подтвердил, что действительно шесть дней «Гвардия» вела бой и действительно подбила и подожгла шесть или семь машин. Что вчера и сам этот танк был подбит. Командир танка Додонов погиб. Башенный стрелок Мордвинов и водитель старшина Сурков ранены. А Марченко умер уже в госпитале. Порывшись в планшете, лейтенант отыскал и адрес медсанбата.

Мы, разумеется, покатили в медсанбат, который шикарно развернулся в помещении львовской клинической больницы, где каких-то два дня назад располагался немецкий офицерский госпиталь. На высокой пружинистой кровати лежал весь забинтованный старшина Сурков. Смуглое остроскулое лицо его чернело в свежей повязке, как уголь на снегу. Казалось, что в нем, тяжело раненом, не погасло еще нервное напряжение тех нечеловечески трудных дней, которые он провел в боях, почти не вылезая из раскаленной солнцем машины.

— ...Сашко-то Марченко, радист наш, он здешний был, львовский... Так его немец еще там, в этом самом горсовете... из автомата подрезал. А без него мы как слепые без поводыря... Суемся туда, сюда. Путь, можно сказать, гусеницами прощупывали. Однако... хоть и без поводыря, сложа руки не сидели... Дали им дрозда... Ну и они нас вчера подковали. Ни фига, семь один в нашу пользу...

Речь его потеряла две трети своей красочности оттого, что некоторые слова, которые Сурков, великий знаток русской словесности, остервенело выкрикивал, пришлось заменять многоточием. Но все же нам удалось уточнить картину этого замечательного и, может быть, единственного в своем роде боя.

Мы взялись было выуживать из Суркова подробности, но женщина-врач, суровая старуха с басистым голосом, выставила нас из палаты: раненый недавно оперирован, он в тяжелом состоянии, его нельзя утомлять.

— Так поправляйтесь, старшина..

— Я что, на мне... все как на кошке заживет. А вот Сашко Марченко да лейтенанта нашего нет. Они...— и тут на загорелом скуластом лице появились и побежали в бинты две крупные слезы.

Корреспонденцию «Флаг над ратушей» я писал в редакции дивизионной газеты. Ее редактор по мере сил мешал мне писать, подсовывая под нос все новые и новые материалы. Он был страстно влюблен в свою дивизию, ее людей и требовал, чтобы я обязательно прочел еще какую-нибудь заметку или очерк, где эти люди были им воспеты. Он, искренне помогавший мне в поиске танкистов, как мне кажется, все-таки жалел, что писал я не о людях его славной дивизии, а о танковой бригаде, действовавшей в составе Уральского добровольческого корпуса 4-й танковой армии.

В заключение оказалось, что и сам этот капитан любопытная личность. Вечером перед прощанием он сменил засаленную гимнастерку на новенький китель, и я не без удивления увидел на нем орден Славы и две нашивки за ранения — красную и золотую. С мальчишеских лет он был рабкором многотиражки одного из харьковских заводов, потом стал ее редактором, в войну пошел в ополчение. Был определен в полковую разведку. Отличился, вынеся на плечах командира, раненного во время поиска. Только потом уже, выйдя из госпиталя после второго тяжелого ранения, вернулся к профессии журналиста.

— Приезжайте, обязательно приезжайте в нашу гвардейскую дивизию. Люди у нас во! — напутствовал он меня.— Воюем во! Герои у нас во! — На каждом этом «во» он подымал вверх большой палец своей маленькой, почти женской руки. И так разволновался, что добавил для убедительности: — И харчи у нас во! — вызвав

ироническую улыбку на круглой румяной физиономии моего водителя старшины Петровича...

— Уж такие харчи, что после них кишка кишке фигу кажет. Тоже мне гвардейцы,— заявил он, отыскивая на карте ближайшую дорогу к штабу фронта.— С таких харчей только лазаря петь.

Откровенно говоря, мне тоже показалось, что маленький коллега из дивизионной газеты немножко не от мира сего и тылы его редакции работают просто неважно. Но какое это имело значение, если человек этот помог мне добыть материал для первой корреспонденции с Первого Украинского фронта.

ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ

Итак, я озаглавил свой очерк «Флаг над ратушей» и, признаюсь, немного гордился, кладя его на пюпитр ДСа [1], добравшись к исходу дня до фронтового телеграфного узла. ДС — рыжий бледнолицый капитан, пробежав очерк, поднял на меня свои зеленоватые насмешливые глаза.

— На второй заход идете, товарищ подполковник?

— Простите, не понимаю.

— Да мы об этом флаге уже передавали утром.

— Чье, кто же написал?

— Капитан Крушинский. Передал в «Комсомольскую правду». Довольно, скажу вам, интересный материал.— И язвительно спросил: — Что же, будем дублировать и для «Правды»?

Всяких я повидал ДСов за время войны. Были среди них сердитые и добрые, были любители поболтать и о литературе и о женщинах, были любители послушать анекдоты и потолковать о стратегии. Даже любители попеть были, но такого вот, как этот рыжий капитан, в своей иронии не щадящего, как говорится, ни чинов, ни званий, еще не встречалось.

— Не будем дублировать, отдайте назад,— ответил я как можно спокойнее и, забрав свой действительно интересный, действительно весомый материал, небрежно сунул его в планшет.

С Сергеем Крушинским, корреспондентом «Комсомольской правды», у меня были старые счеты еще по

---

[1] Дежурный связи.

Калининскому и по Второму Украинскому фронтам. С виду неторопливый, даже флегматичный, а на самом деле собранный, организованный и азартный, он при наших самых добрых отношениях не упускал случая, как говорят газетчики, «вставить фитиль». Самый последний фитиль, вставленный только что, был налицо. И все-таки я обрадовался, узнав, что постоянный сотрудник в профессиональном соревновании тут и нам вновь предстоит работать вместе.

А когда мы добрались до журналистского жилья при штабе фронта, меня ждал еще сюрприз. Один из двух корреспондентов Советского Информбюро, Александр Навозов, был знаком мне с юношеских лет. С ним вместе работали мы в Калинине в «Пролетарской правде». Он был крупен, широколиц, нетороплив, в делах основателен, раздумчив и в отличие от многих людей моей профессии действовал по принципу: семь раз отмерь, один отрежь. Мерил он, может быть, и долговато, писал медленно. Зато написанное им не нуждалось уже в дополнительных проверках. Редакция могла спокойно посылать это в набор, зная, что «проколов» не будет. Третьим обитателем «корреспондентского стойбища», как почему-то называли здесь просторный крестьянский дом, рубленный из толстых бревен, был его напарник по Совинформбюро майор Александр Шабанов, человек интеллигентнейшей внешности, с тихим голосом, мягкой улыбкой, с застенчивыми повадками, которые, как говорится, просто противопоказаны нашей беспокойной, агрессивной профессии.

Меня разместили на просторных полатях, и, по обычаю военных корреспондентов, к приезду новенького все сложили всю снедь, какая у кого имелась, а в центре стола я торжественно поставил две поллитровки, которые вез из Москвы, прижимая к груди, когда машина начинала прыгать на колдобинах растоптанной колесами и гусеницами дороги. Это тоже было по обычаю, так сказать, вступительный взнос в новую корреспондентскую семью.

А потом подошел на огонек известинец майор Виктор Полторацкий. Мы простились с ним в дни штурма Харькова за день до того, как он попал в госпиталь. Полторацкий в некотором роде был львовским старожилом. Он обосновался здесь до войны как корреспондент «Известий». Ушел из него с войсками, оставив свою кварти-

ру и все свое добро на улице Листопада. В квартире этой, как он сейчас узнал, жила какая-то эсэсовская фрейлен, секретарша гебитскомиссара Львова. Когда Полторацкий вернулся на улицу Листопада, всюду валялись какие-то женские туалеты — следы поспешного бегства. Но на окне он отыскал томик стихов Тютчева со своим экслибрисом — все, что осталось от его библиотеки.

— Я обрадовался ему как старому другу,— сказал Виктор Полторацкий.— Ношу вот с собой, не расстаюсь.— И он достал из подсумка маленькую книжечку.

Мне, разумеется, пришлось признаться, что я уже побывал во Львове, но о «проколе» своем умолчал. В конце концов, не так уж важно, из какой газеты узнает советский читатель о подвиге экипажа танка «Гвардия».

Чудно проходят у нас эти корреспондентские встречи. Когда чарка раз, другой, третий обойдет вокруг стола и разговор станет шумным, только и слышишь: «А помнишь, тогда под Москвой...», «Знаешь, как мы им на Втором Украинском...», «Вот под Великими Луками было...», «Други мои, когда мы форсировали Днепр...» У каждого в запасе множество дорогих историй, и, когда слушаешь такую вот бестолковую беседу, вдруг приходит на ум, что люди эти, журналисты-офицеры, готовые шагать десятки километров, лежать в кюветах во время бомбежек, ежедневно, а то и ежечасно рисковать, чтобы добыть для своих читателей интересный факт, что они сейчас вот, в кипении этой нечеловечески трудной войны, пишут первый, может быть, отрывочный, может быть, неуклюжий и топорный, но зато самый справедливый и неприкрашенный черновик военной истории.

Как водится, разобрали по косточкам Бродско-Львовскую операцию, которая, естественно, занимала наши умы. И старые и новые мои друзья — бывалые люди, ветераны, побывавшие на многих фронтах. Имеют немалый опыт. И все они сошлись на том, что операция эта пока что единственная в своем роде. В ней войска Первого Украинского фронта противостояли группе немецких армий «Северная Украина» — очень сильной группе. Припоминаем, что в Белгородской операции группу «Центр», такую же примерно по численности, громили войска четырех фронтов. Теперь громит один, и, как мы видим, громит успешно.

— Вот воевать-то стали! — восклицает Шабанов, беря на гитаре густой басовый аккорд.

— Ну что ж, и силы у фронта немалые. Не меньше миллиона штыков,— говорит корреспондент «Красной звезды» майор Михаил Зотов, слывущий среди нас великим стратегом.

— Ты считал?

— Так, прикинул... Думаю, что сейчас у Конева не меньше миллиона [1].

— Н-да... На третий год войны и на одном фронте столько сил выставляем... Недаром союзнички в затылке чешут — откуда что у нас берется...

Разговор становился все более горячим и бестолковым. Потом вдруг стих, и тут обнаружилась еще одна привлекательная черта журналистского братства на Первом Украинском фронте. Здесь, оказывается, любили и даже умели петь. Шабанов в этом отношении оказался просто-таки бесценным человеком.

Снова зарокотала гитара. Под зыбкие ее звуки мягким тенором Шабанов неожиданно запел романс «Гори, гори, моя звезда». Пел так задумчиво, так хорошо, что никто из нас не решался вмешаться в пение, пока не прозвучали последние строки:

...Умру ли я, и над могилою
Гори, гори, моя звезда...

Ну а потом, когда все расчувствовались, мы спели песню, которая в то лето, как поветрие, обошла все фронты: «С берез, неслышен, невесом, спадает желтый лист, старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист». И немудрящая эта мелодия захватила бывалых, прошедших огонь и воду воинов. Когда прозвучало «...И каждый думал о своей, припомнив ту весну, и каждый знал, дорога к ней идет через войну», ей-богу, у некоторых, не буду уж уточнять, у кого именно, глаза были влажными...

«Нет, в отличную компанию привела меня военная судьба в лице начальника военного отдела «Правды» генерала Галактионова в финале войны», — раздумывал я, укладываясь на полатях на свежей, шуршащей, душистой овсяной соломе. И все-таки, каюсь, скребет, ох, как скребет на душе: с флагом-то на ратуше вышел «прокол». Не мою корреспонденцию и не в «Правде» прочтет на

---

[1] Первый Украинский фронт в те дни включал 12 армий — свыше миллиона человек, имел 15—17 тысяч орудий, несколько тысяч самолетов и танков. (Военно-исторический журнал № 12 за 1967 г.)

эту тему маленький лохматый редактор, прочтет и, может быть, нехорошо подумает обо мне. Ну ничего, ничего. До Берлина 896 километров. Будет еще время.

КЛЕЩИ

Наступление войск Первого Украинского фронта на Бродско-Львовском плацдарме победно закончилось. Нет, не закончилось. Оно продолжало развиваться в направлении на запад и юго-запад. Но города Львов, Станислав, Броды освобождены. Москва отметила эти победы салютами. Десятки частей и соединений, участвовавших в сражении, получили наименование Львовских и Станиславских. В освобожденные города и села вернулись уже партийные и советские работники. Советская власть на местах делала первые свои шаги, восстанавливая нормальную жизнь. Из лесов вышли партизанские отряды и целые соединения. Вчера на самой большой площади Львова бушевал огромный митинг.

Теперь для нас, военных корреспондентов, открылись уже устаревшие, сданные в архив боевые карты, и мы получили возможность в деталях представить себе и масштаб и силу отшумевших сражений и рассказать читателю о его успехах.

Когда-то, зимой 1941 года, как упомянуто выше, я был свидетелем, как войска молодого Калининского фронта освободили мой родной город. После операции я, разговаривая с командующим, неосторожно выразил удивление, почему немцы не завязали затяжных уличных боев, а, в сущности, оставили город, лишь выставив сильные арьергарды и побросав при поспешной эвакуации массу техники и военного имущества.

Командующий усмехнулся и показал на карту: видите. Две красные стрелы, обозначавшие наступавшие армии, огибали город и почти сходились западнее его.

— Клещи,— пояснил командующий.— Мы взяли их в клещи. Отрезали их от их тылов и оставили им одну дорогу. Они не ушли, отнюдь. Мы заставили их уйти, побросав технику. Мы вытащили их в поле и там начали громить.

И вот теперь, когда мы смотрели на эти обтерханные по краям рабочие-карты оперативного отдела, мы видели, как, искусно маневрируя огромными массами войск,

стрелковыми и танковыми соединениями, заставляя их совершать быстрые, порою просто невероятные броски, командование клало в основу все тот же принцип: взять врага в охват, вытащить его из городов на просторы полей, обойти его оборону, перехватить его коммуникации.

— Все те же клещи? — спросил я командующего Маршала Советского Союза И. С. Конева, с лица которого еще не сошла усталость. В эти последние дни он почти не появлялся в своей штаб-квартире, находился все время на наблюдательных пунктах наступающих корпусов и дивизий.— Так же, как в Калинине, как в Харькове, в Кировограде?

Командующий усмехнулся.

— Ну что ж, действительно клещи. Нужно экономить технику и беречь людей.— И, подумав, добавил: — Нам еще много предстоит работать. — Он так и сказал: не воевать, а работать.— Силы еще нам понадобятся.

Оказалось, что он читал в «Правде» мою статью об освобождении Львова. Она вышла, как говорится «к большому салюту», что в корреспондентском мире считалось шиком. В общем-то он эту корреспонденцию одобрил, но сделал замечание..

— Вот не подчеркнули вы одной характерной особенности этой операции. Написать-то написали, а не подчеркнули, не развили. Ведь мы впервые ввели в сражение две танковые армии Рыбалко и Лелюшенко в такую узкую полосу прорыва, да еще при одновременном отражении сильных контратак, предпринятых противником на флангах. Знаете, какая там была борьба. Я-то знаю, собственными глазами с НП видел. Об этом стоило бы написать подробнее. Это новое. Нам предстоит, наверное, не раз такие прорывы проделывать и маневрировать в оперативной глубине.

— Где, когда? — неосторожно спросил я.

Командующий усмехнулся.

— Четвертый год воюете, а штатский дух из вас еще не выветрился. Разве такие вопросы военачальнику, когда речь идет о его планах, можно задавать: где, когда, сколько? — И, по своему обыкновению сдабривая речь народной мудростью, добавил: — Только плохая курица кудахчет до того, как снесет яйцо. Понятно это вам, товарищ подполковник? Для войны еще места хватит.— И он показал на карту Европы, висевшую на стене.

— До Берлина 896 километров, — уточнил я.

— А вы что, измеряли? — удивленно спросил командующий. Но тут лицо его озарилось улыбкой.— Ах да, это на том указателе во Львове значится. Стало быть, видели его? Какую на нем надпись-то солдат мелом сделал! — Голубые глаза командующего весело сузились, в них засветился совсем молодой задор. — Правильно написано, художественно...

За такую непоколебимую уверенность в победе автора надписи к медали представить стоило бы. Но поди его найди...

И, посмотрев на часы, командующий встал, давая понять, что разговор окончен.

СМЕРТЬ НАС ПОДОЖДЕТ

Наступление войск Первого Украинского фронта продолжает развиваться. Мы уже в Польше, и немецкое командование, несмотря на то, что в Белоруссии тоже идут огромных масштабов бои, принимает все меры, чтобы остановить наше наступление.

На оперативной карте жирные синие стрелы перед нашим фронтом стали еще более толстыми. В овалах, обозначающих противоборствующие части, появились новые номера. В конце июля и начале августа в группу армий «Северная Украина» по приказу Гитлера срочно переброшено против нас еще семь дивизий, в том числе три танковые. Три стрелковые дивизии выдвинуты из Венгрии и еще семь движется из самой Германии. Предположительно, эти семь из тех, что были оставлены в резерве против второго фронта союзников, который никак, ну никак не может открыться. У нас в войсках к этому будущему второму фронту отношение явно ироническое. Американскую свиную тушенку называют «консервы второй фронт». Пошучивают: что-то Черчилль слишком долго пришивает последнюю пуговицу к шинели своих солдат. Но теперь, когда мы наступаем широким фронтом, в иронии этой нет уже трагической горечи, какая звучала в дни боев у Сталинграда. И часто в наступающих частях можно теперь слышать:

— А ну их к дьяволу. Пусть себе чешутся. Без них обойдемся, сами Берлин возьмем.

За восемнадцать дней наступления части Первого Украинского фронта, развернув этот фронт на четыреста ки-

лометров, продвинулись на запад до двухсот километров и приблизились к реке Висле. Так что до Берлина, считая, как говорится, по Малинину — Буренину, 697 километров. Цифры эти, может быть, и не вполне точны, ибо мы сами возимся над картами, но и по этой, так сказать любительской, прикидке можно судить и о темпах и о размахе нашего продвижения.

Вот свеженький случай, в котором дух наступления как бы отразился, как солнце в осколочке стекла. В тяжелом сражении за город Дембицу, в районе которого у немцев был секретный военный завод и потому обороняли они его с особой яростью, одному из штурмовых батальонов, какие сейчас сформированы во всех стрелковых соединениях из отборных солдат, была поставлена задача броском прорваться через линию фронта и перехватить у станции Черна дорогу, питавшую здешнюю немецкую группировку. Перехватить, разрушить и держать, пока основной узел боя — город и его промышленное окружение — не будет в наших руках. От умелости и стойкости этого батальона зависела судьба наступления. И он с честью выполнил трудную миссию. В ночном бою он внезапной атакой пробил оборону противника, продвинулся вглубь километров на семь-восемь и бульдожьей хваткой вцепился в железнодорожное полотно, хотя немцы сумели затянуть образовавшуюся брешь. Оторванный от своих, снабжаемый боеприпасами и питанием только по воздуху, батальон сражался в окружении трое суток, удерживая железную дорогу. Только когда Дембица была взята и исход боя решился в нашу пользу, батальон получил приказ отойти, для чего ему пришлось снова пробивать фронт уже в обратном направлении.

Батарея, в которой сержант Иван Наумов командовал орудием, прикрывала отход. Артиллеристы подбили несколько танков и бронетранспортеров, а главное, предупредили танковый удар в тыл отходящих. Но и сама батарея в этой схватке понесла серьезный урон. Орудие Наумова было разбито, а сам он, получив раны в плечо, в левую руку и ногу, упал возле орудия в бороздах картофельного поля.

Но это все, так сказать, предыстория. Необычное началось сутки спустя, когда Наумов, потерявший немало крови, очнулся от холодной предутренней росы. Было свежо. Наумов приподнялся на локте и огляделся. Несколько полевых жандармов с медными бляхами на

груди ходили по полю боя и приканчивали раненых. Вот один из них подошел к заряжающему Атыку Кинасяну, пожилому армянину, которого вся батарея любила за тихий и веселый нрав и все, даже командир, звали Папашей.

Иван даже слышал, как раненый Кинасян крикнул жандарму «Будьте вы прокляты!» или что-то в этом роде. И еще слышал, как хлопнул выстрел. Потом все поплыло перед глазами Наумова и он потерял сознание. Снова очнулся, когда жандармов уже не было, в поле было пусто. Ограбленные трупы лежали на месте, но кто-то тихо стонал. Или, может быть, показалось?

Перевязав свои раны, Наумов пополз по направлению этих стонов. Стонал Кинасян. Пуля жандарма пробила ему руку, добавив еще одну рану. Наумов собрал у убитых индивидуальные пакеты и перевязал руку товарища. Он действовал быстро. Каждую минуту могли появиться неприятельские солдаты из похоронной команды.

Но что было делать? Перевязать-то перевязал, а Кинасян не мог самостоятельно двигаться. Он только стонал и часто терял сознание. Тогда Наумов, связав ремни, прикрутил Кинасяна к себе на спину, поднялся на четвереньки и пополз к лесной опушке, находившейся рядом.

Может быть, тем, кто живет далеко от войны, покажется невероятным, что человек, сам раненный, потерявший немало крови, мог тащить товарища. Не один час волок Наумов товарища через небольшой кусок картофельного поля, отделявшего их от леса. Полз. Терял сознание. Приходил в себя. Поправлял ремни, поудобней подхватывал Кинасяна и, убедившись, что тот еще дышит, двигался дальше.

К ночи они были уже в лесу, в относительной безопасности. Наумов положил Кинасяна в зарослях ежевики, поправил на нем бинты, помочил ему лоб водой из фляги, и, когда тот окончательно очнулся, они уже вместе обдумали свое положение. Оба раненные, без оружия, без куска хлеба, они оказались во вражеском тылу. Линия фронта, судя по звукам канонады, пролегала, в общем-то, недалеко, но идти они не могли. То, что бои шли недалеко, было хорошо и плохо. Хорошо потому, что все же надежда на близкую помощь. Плохо потому, что у линии фронта войска у неприятеля уплотнены и держатся особенно настороженно.

— Влипли, Иван,— прохрипел Кинасян.— Сил моих нет, смерть в затылок дышит. Оставь меня тут и ступай к своим. Может, и доползешь.

— Смерть, она нас еще подождет,— балагурил Наумов, бывший прядильщик из текстильного города Орехово-Зуева. Здоровой рукой он достал кисет, с помощью Кинасяна, тоже действовавшего одной рукой, оторвал полоску газеты, скрутил цигарки для себя и товарища, одной рукой ухитрился чиркнуть и зажечь спичку, и они закурили, прикрывая ладошками огоньки.— Смерть, она подождет, ей торопиться некуда, а у нас с тобой, Атык, на двоих пять ран, две здоровые руки, а главное, Папаша, два котелка, и котелки эти неплохо варят.

Наумов добрался до поля боя, отыскал там каску, два штурмовых ножа и даже пулемет с запасом дисков. Невдалеке был ручеек. Напился воды, наполнил флягу, а в каску набрал ежевики. Поел сам, покормил товарища. Промыл его раны и на этот раз уже обстоятельно перевязал их.

Его боевой путь начался в лесах под Москвой. Он привел его через битвы за город Калинин, в котором Наумов был первый раз ранен, с Верхней Волги на Нижнюю — в Сталинград, где был ранен второй раз, и наконец сюда, в южную Польшу.

Когда его приятель уснул, он вновь уполз и вернулся с полной пазухой картошки и вязанкой сушняка. Они пообедали вареной картошкой и весь день пролежали неподвижно в ежевике, слушая звуки канонады. А где-то рядом были немцы. Случалось, ветер доносил до них обрывки их речи. С каждой ночью Наумов действовал более дерзко. В меню друзей появилась даже каша. Ее варили из пшеницы и ржи, зерна Наумов вытрушивал из брошенных на поле копен.

— Смерть, она, Папаша, еще нас подождет, мы еще ей покажем распрекрасную фигу,— говорил он после того, как они закуривали, похлебав каши.

Даже когда кончились спички, это ненадолго огорчило бывалого солдата. В кармане у него оказалось самодельное кресало и камешек. Выбивали они огонь так: Кинасян, у которого была ранена левая рука, держал камешек и фитиль, а Наумов здоровой правой высекал огонь. Табак тоже уже кончился. Друзья курили сухой мох.

Когда нога немножко поджила, Наумов смастерил из веток костыль и стал на нем бойко подпрыгивать. Теперь он отваживался выходить из своего убежища даже днем. Однажды вернулся из очередной вылазки веселый, возбужденный. Он наткнулся на немецкий телефонный кабель и перерезал его. Да так перерезал, чтобы связисты, восстанавливая его, подумали, что сделал это лось или кабан, которых в этих лесах оказалось довольно много. Дважды повторял он эту свою вылазку, и сошло вроде бы благополучно. Но, не очень веря в зловредных кабанов, немецкие полевые жандармы устроили у провода засаду. По чистой случайности Наумов заметил ее, залег в кустах. Так и лежал до темноты, а ночью опять перерезал линию и концы ее уволок в кусты.

И немцы на следующий день направили телефонную линию уже по новому пути, по открытому полю, в обход леска. Она стала недоступной, и тут Наумова взяла тоска. Он слышал перестрелку на недалекой передовой, но уже ничем не мог содействовать товарищам, а рану тем временем затянуло, он чувствовал, что может попробовать пробиться к своим. Рана пожилого Кинасяна затягивалась медленнее. Он еще плохо двигался. Видя, как от нетерпения мается его друг, он сказал однажды:

— Слушай меня, Иван, слушай и делай вывод. За все, что ты для меня сделал, спасибо. А сейчас слушай, говорю тебе серьезно: оставь меня и выбирайся к своим. Хоть один из нас цел будет.

Он сказал это и сам был не рад. Наумов в сердцах даже по земле ударил самодельным своим костылем.

— Плохо же ты обо мне думаешь, Атык Акопович. Чтобы я, Красной Армии сержант, чтобы я, советский парень, да раненого товарища в беде бросил — за что мне такая обида? Уж не дурману ли ты нажевался, часом, пока я за водой ходил?

И, бросив пилотку оземь, сказал:

— Эх, Папаша, коли выходить, так вместе выйдем.

Выйти, пробиться к своим — эта мысль захватила друзей. Ночью Наумов пробрался к немецкой передовой, перелез через траншеи, наткнулся на проволочное заграждение.

Тем временем Кинасян, превозмогая боль едва зарубцевавшихся ран, тренировался в ползании, чтобы быть меньшей обузой товарищу.

Наконец Наумов отыскал подходящее для перехода место, где передовая примыкала к опушке леска и шла по полю переспевшей, исхлестанной ветрами пшеницы. И вот, выбрав ненастную ветреную ночь, он поднял, как говаривали тверечане, «на кошла» товарища и поволок его через поле к немецким траншеям. Сквозь стебли пшеницы видели силуэты солдат из боевого охранения. Наумов выбивался из сил. Передышки становились все более длительными. Но близость своей передовой заставляла забывать и усталость и боль, гасила ощущения страха, который испытывают даже самые храбрые люди. И все-таки, переползая ничейную полосу, он окончательно изнемог. Шелестел дождь, и сквозь этот шелест друзья слышали сзади немецкую, спереди русскую речь. Но сил, чтобы поднять друга, Наумову уже не хватало. Так они и лежали рядом. Потом Иван жарко шепнул в ухо другу:

— Папаша, поползи маленько сам. Рядом же, совсем рядом, у своих.

И Кинасян пополз. Пополз и задел рукой сигнальную жилу. Белая ракета взвилась в дождевую мглу, осветив все мертвенным светом. Наумов успел затолкнуть друга в какую-то воронку, до того, как с одной и с другой передовой по направлению к ним протянулись сверкающие нити трассирующих пуль. Лишь под утро стрельба стихла.

А на рассвете часовой из нашего передового охранения отпрянул и судорожно схватился за винтовку: перед ним из кустов возник, будто вырос из-под земли, заросший до самых глаз истощенный человек в обрывках красноармейской формы. На спине он тащил еще более заросшего и страшного человека. И услышал часовой хриплый, задыхающийся голос:

— Свои. Не стреляй, зови начальство...

Ну а по прошествии времени из тыла подошла польская фура, на нее уложили двух друзей. Им повезло: они выползли в расположение именно своего батальона. На радостях солдаты не пожалели заветных запасов, которые хранятся до случая на дне вещевых мешков, именуемых на солдатском языке «сидорами». Друзья так плотно закусили и выпили, что их сонными и хмельными доставили в медсанбат, находившийся на окраине этой самой Дембицы, где мы живем...

Необыкновенное происшествие это закончилось с неделю назад. Два наших Саши — майор Шабанов и майор

Навозов — сообщили о нем в Советское Информбюро. Третий наш Саша, известный фоторепортер, правдист, капитан Устинов, снял друзей. Ну а я написал о них корреспонденцию. Озаглавил я ее любимой фразой сержанта Ивана Наумова «Смерть нас еще подождет», послал вместе с ней устиновские негативы, но боюсь, однако, что новый начальник военного отдела «Правды» генерал Галактионов, мужчина, к нашему брату-литератору весьма строгий, заголовок этот забракует, найдя в нем элемент недопустимого фатализма, а снимки и вовсе не дадут, ибо сержант Иван Наумов и рядовой Атык Кинасян, как ни трудился над ними Устинов, подыскивая подходящий ракурс для съемки, выглядят далеко не так, как полагается выглядеть по Уставу бойцам доблестной Красной Армии.

Что же касается смерти, то ей действительно придется еще подождать.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Правдистское подразделение на Первом Украинском фронте получило мощное пополнение. Помимо капитана Александра Устинова, о котором я уже упоминал, к нам на покрепление прислали из «Правды» Героя Советского Союза майора Сергея Борзенко.

Имя это в наших военкоровских кругах занимает особое место. За три с лишним года войны немало военных корреспондентов, представляющих собой самый немногочисленный род войск, отличилось в боях на разных фронтах, награждены медалями, орденами и некоторые из них очень большими. Но Герой Советского Союза среди нас, как мне кажется, пока еще один. Именно он, Сергей Борзенко.

В телеграмме, которая мне пришла из «Правды», так и написано: «Авангард. Корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому. К вам на усиление вашей группы направляется Герой Советского Союза майор Сергей Борзенко. Встретьте, представьте командованию фронта и по возможности обеспечьте машиной. Генерал Галактионов».

Но и до этой телеграммы мы уже были наслышаны о Борзенко. Украинский журналист из Харькова, выросший из рабкоров, он, став корреспондентом армейской газеты, с одним из первых десантных катеров ночью под покровом тумана форсировал Керченский пролив. В завя-

завшемся бою командиры десанта погибли, и Борзенко, оказавшийся среди десантников старшим по званию, принял командование. До того как подоспели подкрепления, он командовал, и очень толково командовал обороной маленького, как говорят военные, «пятачка» на прибрежной полосе. Днем командовал, отражал атаки, а по ночам писал корреспонденции и в свою армейскую газету, и в «Правду». Их он направлял с лодками, на которых подвозили подкрепления, боеприпасы и продовольствие. И корреспонденции эти шли не только по прямому назначению, то есть в печать, но и использовались командованием как оперативные сводки и политические донесения, написанные хотя и не по форме, однако весьма точно.

Мы приготовились встретить Борзенко как полагается. Но шли дни, прошла неделя. Борзенко все не было. Мы смалодушничали, съели и выпили все, что было заготовлено. Потом неожиданно в «Правде» появились две его корреспонденции, толковые, квалифицированные, написанные с нашего фронта.

И вот однажды, когда я отсыпался на сеновале после довольно сложного полета за Вислу во вражеский тыл к польским партизанам, действующим в лесах южнее города Кельце, вдруг скрипнули ворота. В душную сенную полутьму полоснул луч жаркого дневного солнца. Кто-то вошел и, как я слышал, опустился в сено недалеко от меня.

Я приподнялся. Рядом сидел симпатичный майор, голубоглазый, русый, очень загорелый. Сидел и покусывал травинку. На хлопчатобумажной застиранной гимнастерке виднелась Золотая Звезда. Он застенчиво улыбнулся:

— Что, разбудил? — И, встав, представился: — Борзенко. Сергей Александрович. Можно, и даже лучше, Сережа.

И хотя глаза у него были голубые и какие-то детские, а улыбка совсем застенчивая, рукопожатие его было мужественное, крепкое.

— Где же вы пропадали? Мы уже больше недели получили от генерала телеграмму с приказом встретить вас, устроить, представить начальству и так далее.

Голубые глаза засветились иронией.

— Уж очень он заботливый, этот наш генерал... Давно не бывал на фронте. Плох бы я был военный корреспондент, если б ждал, пока меня встретят, проводят и устроят. Я побывал в армии Пухова и у танкистов

Делюшенко. Здорово воюют. Может, читали мои заметочки в «Правде»? Так что не беспокойтесь, спите себе, я у вас тут ненадолго... Брагина, между прочим, видел. Есть у вас с ним связь?

Майор Михаил Брагин тоже военный корреспондент «Правды» на нашем фронте и тоже человек, которого не надо ни представлять, ни устраивать. В отличие от многих из нас, надевших шинели лишь в начале войны, он в армии кадровик. Больше того, человек с военным образованием и очень своеобразной литераторской судьбой. Он с отличием окончил знаменитую Академию имени Фрунзе. Темой для диссертации избрал военное искусство Кутузова. Эта его диссертация оказалась настолько интересной не только в историческом, но и в литературном отношении, что была издана книгой. Книга имела успех, особенно у молодежи. О ней писали и говорили. Ее издают и переиздают.

И пока Брагин делал военную карьеру как командир танковой роты, а затем бронетанкового батальона, он, не прилагая к этому никаких усилий, становится известным и как писатель. Впрочем, книга, по его словам, поломала ему военную карьеру, ибо в начале войны, ожидая назначения на место начальника штаба танковой бригады, он был откомандирован командующим бронетанковыми силами страны... в редакцию газеты «Правда». Читатели ждали глубоких обзоров военных действий, и редактор П. Н. Поспелов решил, что образованный командир-танкист, обладающий литературным даром, сможет их делать лучше, чем любой из его репортеров.

В войну, помимо обзоров военных действий, периодически публикуемых в «Правде», Брагин написал книгу.

Ну а теперь вот Михаил Брагин обосновался у танкистов генерала П. С. Рыбалко. С ними движется в беспримерном этом походе, мечтая, должно быть, стать летописцем танкистских подвигов. Впрочем, об этом он громогласно не объявляет. На вопросы отшучивается: «Не могу, братцы, жить без запаха солярки». Оттуда же, из наступающей армии, кто-то привозит на фронтовой узел связи его корреспонденции-обзоры. А самого Брагина я и видел-то один-единственный раз, да и то... в редакции «Правды», когда мы оба получали назначения в войска Первого Украинского фронта.

Корреспондентский корпус тепло встретил наше по-

полнение. Со многими Борзенко был уже знаком по другим фронтам, с остальными быстро познакомился. У него бесценный дар дружелюбия, и в любой компании он сразу становится своим. Отправив очередные сочинения в Москву, мы провели хороший вечер. Дурили, пели до хрипоты отчаянным и нестройным хором. Под конец майор Шабанов положил нас всех на обе лопатки, исполнив под гитару старинный романс:

...Я встретил вас, и все былое
В усталом сердце ожило...

Черт его знает, почему, но именно сейчас вот, на войне, где грязь, кровь, где не всякий раз умываешься и белье порой так истлевает, что снимаешь его по частям, как это было со мной после пребывания у партизан в лесах под Кельце, тянет на эти старинные романсы, на цыганскую забубенную лирику. Ведь получилось же, что Клавдия Шульженко с ее очень небогатой голосовой палитрой стала любимицей армии, и, бывая в частях, мы часто слышим ее заезженные до хрипа пластинки.

...Я вспомнил время, время золотое,
И сердцу стало так светло...

Шабанов пел, а я вспоминал свою юность, город Тверь, наш отличный городской театр и актрису Ольгу Холину в роли Бесприданницы, исполнявшую этот романс низким звучным контральто. Должно быть, у каждого из нас при пении Шабанова возникали какие-то свои, подобные этому воспоминания, и веселая компания стала вдруг благостной...

Когда расходились, мой постоянный соперник Сергей Крушинский сострил:

— Правдистского полку прибыло. На фронте четыре правдиста. Четыре один в вашу пользу. Ну что ж, будем воевать по-суворовски — не числом, а умением,— и весьма ядовито усмехнулся. Подозреваю, что рыжий дежурный связи растрепал все-таки среди журналистов о моем «проколе» с «флагом над ратушей».

ИЗЖИЛО ЛИ СЕБЯ КАЗАЧЕСТВО?

Сергей Борзенко пробыл у нас недолго. Он передал с фронтового узла связи корреспонденцию и, внеся своими голубыми очами смуту в ряды телеграфисток, исчез среди

множества наступающих частей, соединений, объединений, не оставив ни следа, ни адреса.

Корреспондентский корпус размещен на этот раз в частных домах на окраине небольшого польского городка Соколува — зеленого, чистенького, почти не пострадавшего от войны. Очень удобно. Узел связи через улицу. Оперативный отдел, где мы по утрам ориентируемся в обстановке, в квартале от нас. На долю «Правды» и «Комсомольской правды» выпал домик пана Чёсныка, где для нас и наших водителей хозяева отвели две комнаты. Хозяин, пан Чёсных, белокурый худенький юркий человечек неопределенного возраста и столь же неопределенных занятий, необыкновенно любезен и предупредителен. Он то и дело приглашает «панов офицеров» то «на каву», то есть пить кофе, то «до коляций», то есть ужинать. Но почему-то мы, приученные войной к гостеприимству хозяев квартир, куда нас по распределению комендатуры ставили на постой, на этот раз отвечаем фарисейскими улыбками, заверениями, что мы сыты по горло и ни есть и ни пить больше уже не можем.

Почему так происходит, сами не понимаем. Потому ли, что Петрович отыскал где-то фотографию, на которой пан Чёсных вместе с женой паней Ядвигой сняты в развеселой компании каких-то немецких военных? Или потому, что шофер Крушинского, пожилой положительный Петр Васильевич, рассказывал нам, что получил заманчивое предложение продать канистру-другую бензина или обменять их на продукты? А может быть, потому, что в день моих именин, 27 июля, пара отличного шерстяного белья «второй фронт» с помощью Петровича превратилась в четверть бимбера, что по-русски означает самогон?

Фамилия Чёсных переводится на русский язык как «чеснок». Так вот этот Чеснок, как мы его называем между собой, в доме этом является фигурой второстепенной. Здесь всем заправляет пани Ядзя. Это статная полька лет тридцати, крупная, стройная, зеленоглазая, с пышной косой светлых волос, которые связаны в небрежный узел. Она не ходит, а как бы носит себя. Молчалива и даже с мужем предпочитает объясняться с помощью жестов. И не он, ее муж, этот юркий, угодливый человечек, интересы которого не идут дальше мелкой коммерции, а именно эта русая красавица настораживает нас.

Поляки, как мы уже убедились, народ гостеприимный. В массе своей к нашим воинам относятся хорошо. Коллеги по корреспондентскому корпусу давно уже наладили со своими хозяевами добрые отношения, сдают им свои офицерские и дополнительные пайки и получают взамен домашние завтраки, обеды и ужины, а мы с Крушинским и наши водители впервые за всю войну ходим харчеваться в военторговскую столовую.

Мы бы, пожалуй, и съехали с этой квартиры, но ничего плохого, чем бы мы могли мотивировать такую передислокацию, не видим: хозяева любезны, учтивы, предупредительны. Снимок с немцами? Ну и что, ведь они находились в оккупации почти шесть лет. И все-таки, признаюсь, когда офицер связи казачьего корпуса увез меня из Соколува в свое соединение, я вздохнул с облегчением, радуясь, что на несколько дней буду избавлен от суетливой предупредительности нашего хозяина и снисходительных взглядов пани Ядзи. Пусть уж Крушинский воюет там не числом, а умением, благо он является однофамильцем знаменитого польского ксендза, профессора и искусствоведа из Кракова, и хозяйка не раз спрашивала то одного, то другого из нас, не родственником ли приходится капитан этому ученому ксендзу.

К казакам я отправился потому, что в последних сводках то и дело мелькают сообщения об умелых действиях конно-механизированных корпусов. С конницей мне в эту войну приходилось встречаться лишь зимой 1941 года в моем Верхневолжье, где дрались соединения Доватора, Белова и Соколова. Геройски в общем-то дрались. Но в ту грозную осень оставили в тверских лесах больше половины своего конского поголовья. И наши дивизии, очутившись в окружении, питались конями, убитыми еще в дни осенних кавалерийских рейдов. Из «конницы Белова» готовили мы «мясо по-фадеевски» в калининских лесах, запекая его на шомполах по удэгейскому способу, рекомендованному Александром Александровичем.

Покаюсь, в ходе войны мне даже начинало казаться, что этот красивейший род войск в современном бою, где стрелковым оружием стали автоматы, пулеметы, где над полем боя висят самолеты-штурмовики, где «катюши» разом накрывают большую площадь, конница как особый род войск изжила себя. И вот, пожалуйста: сводка за сводкой содержат похвалы смелым и успешным действиям

конно-механизированных частей, их глубоким рейдам по тылам противника, внезапным атакам с тыла по немецким частям.

В казачью часть мы прибыли под вечер. Это были кубанские казаки. Впрочем, очутившись там, мы поначалу не увидели каких-то особенных кубанских признаков: ни лампасов, ни бешметов с газырями, ни летящих черных бурок. И замполит этой части, подполковник, очень интеллигентного вида, худощавый, стройный, в профессорских очках в золотой оправе, совсем не походил на казака, каким его рисует воображение, хотя родом он был с Кубани и дед его был, как оказывается, полным георгиевским кавалером. Сам же он в мирные дни — кандидат исторических наук, преподавал в институте, был глубоко штатским и впервые сел на коня на второй год войны, когда была сформирована эта часть. И все-таки то ли дедовская кровь говорила, то ли общение с конниками давало знать, кандидат наук по своей подтянутости, организованности, динамичности, по тому, как туго перепоясывал он гимнастерку, как четко ступал, как лихо носил мерлушковую кубанку, казался прирожденным военным. Этакий белогвардейский офицер из довоенного фильма.

Замполит оказался энтузиастом, больше того, фанатиком кавалерийского рода войск.

— Конечно, нельзя забивать гвозди будильником. Нельзя конников класть в обороне, нельзя при современной насыщенности фронта огнем бросать их на прорыв вражеских укреплений. Но вот как здесь, как сейчас, как сегодня, когда враг отступает и тылы его открыты, что может быть лучше конницы? Нам не надо хороших дорог. Мы везде пройдем — и по болотам, и по горам... А моральный фактор, когда конница внезапно возникает на пути отступающего врага! Нет, не лавы, лавой наступают только в кино, да и то в очень плохих фильмах. А скажем, добрый конный разъезд, внезапно возникающий за спиной врага на лесной опушке.

Подполковник ходил по комнате, почти бесшумно ступая мягкими подошвами своих аккуратных сапог, и шпоры тихо позванивали при этом.

— И форма казачья, традиционная форма. Это ведь не только для художественных ансамблей. Она дисциплинирует. Подтягивает. Она воспитывает, идейно и политически воспитывает. Любовь к Родине, к родному краю,

к своим обычаям, это ведь обязательная часть идейного воспитания.

И вдруг, остановившись на полуслове, сказал:

— Хотите убедиться в правоте моих слов? Я вас познакомлю с одним казаком. Потолкуйте с ним. Он лучше меня вас убедит. А еще лучше послушайте, как он говорит с солдатами, что поступают к нам в пополнение. Послушайте и убедитесь, что казаки не только певуны и плясуны в ансамбле, это лихие воины и в этой, да, да, и в этой войне.

ДЯДЬКО ЕКОТОВ

В холмистой долине, там, где горная речка Лаба вливается в раздольную полноводную Кубань, над степью поднимается невысокий, округлой формы курган. Зовут его «казачьей могилой». На верху кургана большой, поросший мхом валун. Одна сторона у него срублена, и на ней не очень умелая рука доморощенного каменотеса высекла сверху георгиевский крест, а ниже тридцать имен и фамилий.

Курган этот искусственный, насыпной. Кубанцы-пластуны почтили этим памятником лучших своих земляков, укрепивших славу пластунского оружия и погибших в боях в дни наполеоновского нашествия. Вторым сверху значится урядник Гавриил Исидоров Екотов. Но род Екотовых уходит, по-видимому, и дальше, недаром одна из балок на Кубани зовется Екотовской.

Так вот, Гавриил Екотов, удостоенный такой высокой чести в казачьем мире, приходится командиру отделения связи старшему сержанту Ивану Екотову прапрапрадедом. Дед и отец его тоже были славными пластунами, неплохо повоевали и в турецкую и в первую мировую войны и были за это награждены крестами и медалями, но из всех представителей этого старого казачьего рода больше всего довелось, по-видимому, воевать старшему сержанту Ивану Екотову. Он воюет уже третью войну и на ней в третий раз скрещивает свое оружие именно с немцами. Зеленым юношей пришел он в пластунскую сотню. Дрался за Перемышль, участвовал в Брусиловском прорыве и в армии генерала Брусилова дошел на своем коне до Ярослава. Потом, вернувшись в станицу Архангельскую, участвовал в партизанском отряде казачьей само-

обороны, дрался с частями генерала Корнилова, освобождал Екатеринодар. Когда отряд казачьей самообороны влился в Первый кавказский полк Красной Армии, он снова встретился со знакомым противником и выбивал немцев из Батайска. В составе Стальной дивизии участвовал в битве за Царицын, а потом с Первой Конной совершил легендарный рейд от Царицына до Замостья.

Вторая мировая война застала Ивана Екотова человеком в годах. В армию его не призвали. Но, когда гитлеровцы прорвались к Кавказу, не стерпело сердце старого воина — он стал пулеметчиком в партизанском отряде. И воевал неплохо, умело воевал. Когда Кавказ был очищен, Екотову, принимая во внимание его возраст и заслуги, предложили очень лестную руководящую работу в тылу. Он пришел к военкому, своему другу по партизанскому отряду, и потребовал, чтобы его мобилизовали, и именно в пластунскую Краснознаменную часть. Довод у него был верный: пока он партизанил в горах, по приказу нацистского коменданта были казнены его жена и невестка.

— Не могу я сидеть дома — сердце горит, руки чешутся.

И, как казаки встарь являлись в военную часть в полной форме, он, получив направление в пластунскую дивизию, надел бешмет с газырями, пахнущую нафталином кубанку, прицепил к наборному поясу кинжал и в таком виде явился. В составе этой части он и пришел теперь в знакомые места, где когда-то в молодости уже побывал, участвуя в Брусиловском прорыве.

Всю эту историю, скажем прямо, историю редкостную, рассказал замполит, подполковник, в жилах которого текла кровь кубанских станичников. Рассказал, а потом и познакомил меня с героем этой истории старшим сержантом Иваном Екотовым, сказав при этом, что связь в эскадроне осуществляют образцово, что командир эскадрона всегда имеет телефон, а обрывы устраняются даже и под плотным артиллерийским огнем.

Очень меня заинтересовал этот старый и, я бы сказал, прирожденный воин. Статный, подтянутый, будто бы родившийся в этой затертой черкеске, в полысевшей хивинковой кубанке, которую он надвигал чуть ли не на глаза. Но особенно понравился он мне вечером, когда замполит, подполковник, просто-таки влюбленный в старика, привел меня на его беседу с солдатами пополнения —

салажатами, как зовут их в этом корпусе. Беседа шла в просторном классе школы, а мы с подполковником, чтобы не мешать, присели за дверью и слушали.

— ...А главное, хлопцы, в нашем пластунском деле что? Сила? Нет. Быстрота? И тоже нет. Главное — хитрость. Отчего мы зовемся пластунами? Оттого что в бой не ходим в рост,— звучал хрипловатый грубый бас.— По-пластунски, как ящерицы, к врагу подползаем, на локтях от кочки до кочки, от ямки до ямки. Тут важно что? Чтобы незаметно, без потерь до евонной траншеи достичь. И в эту траншею неожиданно прыгнуть, а там твой верх: вынимай кинжал и коли или автомат к брюху, и р-р-р-р... Раз ты незаметно до врага督 дополз, раз ты на него неожиданно свалился, у него, хоть он и в траншее, за бруствером, против тебя преимуществ нет: гуляй, казачья рука, не жалей врага.

Помещение было уже полно, но подходили новые и новые слушатели. Подходили, искали место, на них шикали, хрипловатый бас звучал:

— Было раз еще в ту, царскую войну, когда ваши папы и мамы еще под стол пешком ходили, было такое дело. Надо было взять вражью крепость. Она вот тут вот где-то недалеко. Пошла стрелковая дивизия в атаку, а из крепости по ней «максимы»: та-та-та. Отбита атака. Пошли снова. И опять отбита. Стоит эта крепость, и ни черта ей не делается, как его там достанешь, австрияка? А почему, я вас спрашиваю? А потому, что у немцев, а точнее у австрияков, там крупные силы были. Это раз. А главное, укрепления, проволока, окопы, артиллерия. У них каждая травиночка в предполье пристрелена была...

Рассказчик смолк, неторопливо свернул цигарку, и сразу же к нему протянулось со всех сторон десяток трофейных зажигалок.

— Ну, ну и что? — торопил кто-то.

— Вот те и ну, дуги гну,— продолжал бас.— Ну видит начальство такое дело и посылает оно нас, пластунов. С вечера нас офицеры с головы до ног осмотрели: как и что, не бренчит ли что, не валюхается, а как ночь сгустелась, мы и поползли. Без выстрела. Гренадеры наши на другой стороне крепости пальбу открыли, а мы молча, тишком. Еще в предполье бешметы скинули, разложили их, будто цепь залегла, а сами дальше. Гренадеры там перестрелку ведут, а мы ползем. Проходы в проволоке прорезали, и все молча. Расчет

такой: утром, как рассветет, они с укреплений беспременно бешметы наши заметят. Ага, мол, вон где цепь, и начнут по ним палить. А мы ползем да примечаем, где у них офицерский блиндаж, где пулемет, где орудие, и врага себе по плечу выбирам. Когда солнышко поднялось, заметили австрияки наши бешметы и ну по ним палить. Палят, а мы уж у самого вала. Тут господин офицер свисток дает. Ура-а! До их траншеи два шага. Они ахнуть не успели, а мы уже кинжалами орудуем... Вот, зелень, что такое это есть, пластуны...

— Золотой мужик,— говорит подполковник.— У его связистов потери самые маленькие, а ведь и под огнем провод вести приходится.— И он тут же садится на любимого конька: — Казачью форму надо сохранить и после войны. Вот одна такая беседа целого курса обучения стоит, а у нас таких стариков несколько. В каждом эскадроне свой. Вот передайте там в «Правде» мысль насчет казачьих формирований: опыт, сегодняшний опыт говорит, что они нужны.

Когда мы сидели в командирской столовой и ужинали, в открытое окно вместе с запахами вечерней росы и звуками близкой канонады издали доносилась песня.

Ах, Кубань ты наша родина.
Вековечный богатырь, —

высоким голосом вел запевала. И дружный хор поддерживал:

Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.

В дружном звучании припева, как мне кажется, я различал хрипловатый бас старого казака, которого судьба через четверть века снова занесла воевать с тем же врагом в знакомые ему с юности края.

КАК ПЕРЕПЕРЧИЛИ ДИКОГО КАБАНА

Все мы, общаясь с поляками, понемногу узнаем польский язык. Шабанов в этом настолько преуспел, что ухитряется объясняться с паней Ядзей на высокие темы, величая ее при этом Ядвигой Казимировной. Но лучше всех усваивает этот красивый и нелегкий для нас язык Петрович. Он единственный из нас без труда проговаривает

шутливую польскую скороговорку. «Не петш, Петша, вепша пепшем, бо пшепетшишь, Петша, вепша пепшем». Эту скороговорку никто из нас не одолел.

На русский скороговорка эта переводится так: не перчи, Петро, дикого кабана перцем, ибо переперчишь, Петро, дикого кабана перцем. Петровича зовут Петром. Ну так уж случилось, такова игра судьбы, скороговорка эта звучит для него сейчас как кровная обида.

Почему? Сейчас расскажу. К казакам выезжал я на машине офицера связи. На ней же вернулся и обратно. А когда вернулся, Петрович был во дворе, лежал под «пегашкой» и что-то там колдовал в ее недрах. Поздоровался он издали, продолжая ремонт с какой-то подозрительной старательностью. Я сразу сообразил, что-то случилось. Хотел спросить Крушинского. Но когда тот пишет, лучше его не трогать. Он не услышит вопроса, а то и пошлет ко всем чертям. Зашел Шабанов, потрогал струны гитары и вдруг сказал:

— В военторговскую столовую тебе сегодня не идти. Ваши Петры угостят тебя сегодня — чем ты думаешь? — отличной колбасой и кабаньим окороком. Ты не пробовал кабаний окорок? Объедение. Ведь так, Петр Васильевич?

Находящийся в комнате шофер Крушинского Галахов, тоже Петр, человек пожилой, серьезный, несомненно положительный персонаж легкомысленного водительского мира, жалобно произнес, опуская глаза:

— Товарищ майор, договорились же насчет этого не трепаться.

Ну тут уж я, разумеется, не стерпел и потребовал рассказать, что означают все это недомолвки. Оказывается, без меня произошла любопытнейшая история, героями которой оказались оба Петра, а героиней наша хозяйка.

К городу Соколуву примыкает прекрасный хвойный бор, частная собственность какого-то родовитого магната. До войны лес этот был его охотничьим заказником. В нем водятся не только птицы и зайцы, но лоси, косули и даже кабаны. Да, именно и кабаны. И вот предприимчивая пани Чёсных подбила наших Петров воспользоваться этими природными, ныне беспризорными богатствами и совершить вылазку в эти охотничьи угодья.

— Ваши соседи майоры трех зайонцов хозяйке привезли. А тут вепш: двести килограммов жирного сладкого мяса. Окорока, боже, какие окорока, сколько сала!.. Пан Владек делает прекрасные кевбасы. Ему их ясно-

вельможные паны для святой недели заказывали. Вы никогда и не едали таких кевбас.

Не знаю, что тут сыграло большую роль, красноречивое описание колбас и окороков или статная фигура и выразительные глаза хозяйки, но Петры решили поохотиться на вепша. Однажды утром они исчезли, захватив с собой мой «шмайсер». Исчезли на нашей «пегашке». Когда Крушинский хватился, ни Петров, ни машины не было. Не появились они и в обеденное время. Забеспокоившись, Крушинский стал расспрашивать соседских шоферов — никто ничего не знал. Только пани Ядзя что-то уж очень весело гремела кастрюльками на кухне. Но в ответ на адресованный ей вопрос лишь пожимала полными плечами: откуда ей знать, куда паны офицеры посылают своих жолнежей?

Петры явились уже затемно, голодные и злые. Вид у них был плачевный.

— Что, на немцев напоролись? — забеспокоился Крушинский, узнав, что они были в лесу, ибо действительно немало немецких солдат и офицеров из разбитых частей группами и в одиночку бродят по лесным зарослям, выбираясь из окружения. Они не сложили оружия и иногда нападают на одиночные машины.

— На кабана напоролись,— мрачно признался положительный Петр Васильевич, не умевший врать, хотя у проворного Петровича явно была наготове другая, может быть, даже героическая версия.

— На кабана? Так вы же, кажется, и ехали на охоту?

И тут же разъяснилось. Оказывается, заехав в лес, они отвели машину в кусты, замаскировали ее и отправились на поиски охотничьего счастья. Птицу они действительно вспугивали не раз, но даже следов кабаньих не было. И они начали уже поминать нехорошими словами прекрасную соблазнительницу, предполагая, что она их разыграла. Решили даже повернуть назад, когда на свежей лесосеке, где штабелями были сложены сосны, заготовленные немцами на телеграфные столбы, наткнулись на целое кабанье семейство. Мамаша с поросятами сейчас же ретировалась в кусты, а глава семейства, огромный кабанище, действительно, вероятно, весом на пару центнеров, остановился возле штабеля, смотря на охотников злыми, заросшими жестким волосом глазами. Петры смутились, принимать ли бой. Уж очень велики были желтые клыки у их противника. Однако, мгно-

вение поколебавшись, Петрович сорвал с плеча автомат и дал по кабану очередь. Промазать он, по его уверениям, не мог — слишком велика была цель и находилась от них шагах в десяти. Однако кабан не упал и не задрыгал ногами в предсмертной судороге. Мгновение он постоял, как бы удивленно смотря на охотников, потом, мотнув своей огромной головищей,наклонился и ринулся в атаку. Ошеломленные охотники едва успели вскочить на довольно высокий штабель бревен, причем впопыхах Петрович уронил автомат. Разъяренный кабан ринулся на бревна, стал разворачивать штабель огромными своими клыками. Нет, Петрович, по-видимому, все-таки не промазал, но шкура животного была так толста, что, пробив ее, пули потеряли убойную силу и застряли в толстом слое сала. Наверное, они причиняли боль, и это приводило чудовище в ярость.

Минут пятнадцать кабан атаковал штабель бревен, пытаясь разрушить его, и, конечно же, у двух Петров птички не пели на душе. Петрович никогда не расставался на фронте с наганом. Однако в барабане оказалось всего два патрона. Обе пули он, по его уверению, врезал кабану в голову. И снова никакого результата. Убедившись, что люди, причинившие ему боль, пока что недосягаемы, кабан оставил бревна и улегся под штабелем, не спуская злых, налитых кровью глаз с испуганных Петров. Шли минуты, часы, а он не уходил. Что пережили Петры, они не рассказывали, но, конечно же, они проклинали саму мечту разнообразить военторговскую кашу-«блондинку», заправленную американским комбижиром, сочными душистыми колбасами и жирными окороками домашнего копчения, которые так вкусно выглядели в описаниях пани Ядзи.

— Видеть не могу теперь эту Чесночиху, пся крев,— признался Петрович, а когда пан Чёсньик попытался соблазнить его повторить охотничью вылазку, взяв на этот раз винтовку, он был послан по такому замысловатому адресу, что его воспроизводить уже неудобно.

В довершение всех бед, пока наши охотники мерились терпением с разъяренным вепшем, кто-то спер с машины два бака с бензином, которые всегда возил с собой запасливый Петрович, прикручивая их к заднему бамперу.

Вот почему теперь, жалея своих верных водителей, мы уже не повторяем польской скороговорки о Петше, пепше и вепше.

ЧЕРЕЗ ВИСЛУ

Мы теперь обзавелись полевым телефоном, и, так как в оперативном отделе штаба фронта у нас много друзей и доброжелателей, нет опасности прозевать какое-нибудь выдающееся событие.

Так вот сегодня, когда мы уже укладывались спать, неожиданно ожил зеленый деревянный ящик, который, чтобы не беспокоить хозяев, мы прикрывали на ночь шинелью.

В трубке послышался глуховатый голос подполковника Дорохина, образованного, дальновидного офицера, которого начальник штаба фронта генерал армии Соколовский выделил для общения с прессой.

— Разбудил? Ничего, не жалей. Я сейчас тебе сообщу такое, что ты и во сне не увидел бы. Мы уже за Вислой! Понимаешь?

— Что? Ведь сегодня танкисты были лишь на подходе, немцы на этом берегу контратаковали, и жестоко контратаковали, ты же сам нам говорил...

— ...Говорил. Утром это было правильно, а теперь мы за Вислой. Достаньте карту и найдите на Висле городишко Баранув... Он напротив большого города Сандомира, что на том уже берегу. Так вот, если вы не хотите, чтобы ваши коллеги вставили вам, как вы любите выражаться, фитиль, садитесь в машину и катите.

— Но что же все-таки произошло? Десант? Жесткая переправа?.. Большой тет де пон?

— Нет, пока еще крохотный пятачок. Генерал Вехин со своей дивизией пробился к реке. Пользуясь туманом, его разведрота под командованием старшего сержанта Соболева, почему сержанта, не знаю, должно быть, командир убит, на подсобных средствах пересекла реку и захватила маленький плацдарм. Есть сведения, что рядом с дивизией Вехина форсировал Вислу передовой отряд гвардейской армии Катукова. Больше в донесении ничего нет... У меня все. Счастливого пути.

Пусть действительно был счастливый. Вовсю сияла круглая, мордатая лунища. В ее свете леса, подходившие к самой дороге, казались вырезанными из черной бумаги и наклеенными на темно-синее небо. В опущенное стекло врывался теплый ветер, густо настоянный ароматом цветущих трав.

На выезде из города на контрольно-пропускном пункте нас предупредили, что дорога опасная — бродят немцы. Вчера зажгли цистерну с бензином и подбили два военторговских грузовика. Советовали подождать до рассвета. Ну как тут ждать, когда Висла форсирована. Замечательный материал. Тянет на большой салют. Петрович подвинул себе под ноги сумку с гранатами, чтобы были под рукой, и взял с заднего сиденья автомат, и машина сразу понеслась в таком темпе, что мы как-то сразу позабыли о бродящих по лесам немцах.

Висла форсирована! Форсирована вскоре после битвы за Львов, форсирована с ходу на широком фронте. А ведь это самый большой водный рубеж на пути к Германии. Видел я наступление от Сталинграда. Видел Корсунь-Шевченковскую битву, но так, как сегодня, мы еще никогда не наступали. Давно ли Москва давала большой салют за освобождение Львова, а сейчас, двадцать девятого июля, уже форсирована Висла.

Там, впереди, куда вела нас дорога, все время грохотало. Зарево пожара окрашивало темный небосвод. Небо стало заволакивать облаками, и наконец, уже на подъезде к реке, этот туман стал сплошной пеленой, так что только по звукам можно было угадать, что справа и слева движется к реке масса машин и людей. Затуманенное небо было пусто. Оно молчало. Самолеты не вылетали, а на земле грохотала и наша и немецкая артиллерия, и обе били так, что звуки разрывов на нашей стороне, приглушенные как бы пуховиками туманов, не казались страшными.

От командира саперов, уже начинавших наводить понтонный мост, узнал я, что переправилось несколько групп и захвачен не один, а несколько плацдармов за рекой. Первые переправлялись на подсобных средствах, то есть держась за какое-нибудь бревно, дверь, доску, за все, что можно было найти поблизости, что могло плавать. Теперь из затона вывели несколько рыбачьих челнов, спустили паромы из надувных лодок, переправляются на них.

— Сейчас туман. Это почти безопасно, разве что под шальной снаряд попасть можно,— напутствовал саперный офицер, когда мы садились в одно из зыбких суденышек. А потом хриплым голосом крикнул вслед «Ни пуха ни пера», и я совершенно серьезно ответил ему «К черту,

к черту», ибо на фронте в такой вот час, хочешь не хочешь, а становишься немножко суеверным.

И вот эта лодка или челн, не знаю, как точнее ее назвать, врезается в камыши противоположного берега. Бойцы тотчас же попрыгали в воду. И я сиганул за ними. Поскользнулся, шлепнулся, порезал лицо об осоку, ткнулся руками в липкую грязь и предстал перед командиром, принимавшим на берегу пополнение, в довольно-таки неприглядном виде. Представился и увидел на лице его разочарование, ибо прибыл не старший начальник, чтобы принять у него командование, а какой-то корреспондент. На усталом его лице так и написано было: «А я-то думал...»

Захваченная прибрежная полоса, а вернее полоска, была, в сущности, еще не плацдармом. Но важно, что уже зацепились за противоположный берег. Командовал десантом старший лейтенант. Старший лейтенант по фамилии Белых, маленький деятельный человек, уже успевший, так сказать, обжить свою прибрежную низинку, расположить на ее кромке несколько окопов полного профиля, укрепить гребень стрелковыми ячейками и пулеметными гнездами.

Сейчас на пятачке было сравнительно тихо. Туман глушил звуки выстрелов и разрывов. Но до тумана немцы обрушивали на пятачок такой густой огонь, что пули выкосили на гребне перед бруствером всю траву.

На вопрос, сколько у него солдат, Белых только вздохнул.

— Было шестьдесят пять, шестнадцать потерял, а сейчас вот по туману прибывают,— сказал, а потом добавил: — Эк вы не вовремя. Какие уж тут корреспонденции. Тут не писать, а воевать надо.

По тягучему выговору с упором на «о» мы сразу угадали в нем уральца.

— Точно, из-под самой из-под горы Магнитной,— подтвердил он.

Он отчетливо себе представлял, что маленький плацдарм завислинского берега станет костью в горле для немецкого командования. Можно было не сомневаться, что оно отдает себе отчет, чем грозит ему этот участок пустынного берега. Весь день работала над этим плацдармом авиация, рвались мины, но штурмбатовцы так умело закопались, что выбить, сбросить их в воду не удалось. Рассказывая о пережитом дне, маленький загорелый че-

ловек с худым, нервным лицом непрерывно курил, каждый раз прижигая новую папиросу от той, что была уже докурена, будто успокаивал нас, корреспондентов, неожиданно свалившихся ему на голову.

— Мины противная вещь, но все-таки ничего, зарываются в песок и осколки не летят. Его авиация, конечно бы, из нас фарш сделала, но вы знаете, сам Покрышкин нас прикрывает. Ох, здорово воюет. Орел. И ребята у него прямо соколы. Между прочим, наш, уральский парень. Шестерых за день вот тут над Вислой сбили. Развиднеет, и увидите — из воды хвост торчит со свастикой, вот тут, рядом.

— Покрышкин один столько сбил?

— Я не говорю, один. Его ребята. Это точно. А там поди разбери, в какой машине именно он сидит. Немцы, те как-то различают. Наземный наблюдатель у них кричит по радио своим пилотам: «Ахтунг, ахтунг! Покрышкин!..»

В этот час одетая туманом Висла дремала. Порой становилось до жути тихо, и лишь лягушки надрывались в плавнях на той, на нашей стороне. Туман одеялом покрывал реку, берег, а выше мерцала лунная синева, как бы сотрясаемая огнями осветительных ракет: желтых — наших и белых — немецких.

Разведя подкрепление по стрелковым ячейкам, проверив караулы, наш уралец передал командование начальнику штаба батальона, тоже старшему лейтенанту, отправил на тот берег боевое донесение и кроки артиллерийских целей и только после этого залез в блиндаж — тесную земляную нору на берегу, где мы с Крушинским ерзали на соломе, тщетно пытаясь уснуть.

Кажется, что полагалось бы сделать этому человеку, пережившему здесь, на этом плацдарме, такие сутки? Конечно же, спать. А он осторожно пополз мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку и, к великому нашему удивлению, вытащил из подсумка какую-то книгу с оторванным переплетом, стал читать. Да, именно читать, сосредоточенно, умиротворенно, как будто был он в библиотеке за освещенным столом, а не лежал в земляной норе на крохотном клочке земли, отгороженный от своих широкой рекой.

Это было так странно, что, отогнав дрему, мы из своего угла наблюдали за ним. И мы видели, как по мере чтения его нервное напряженное лицо, испещренное

тонкими морщинами, как бы отходило, разглаживалось, и он молодел, обретая свой истинный возраст.

Читал он примерно с час. Потом оторвал глаза от страниц. Задумался. Вздохнул. Убрал книгу в полевую сумку, прилег на соломе и закрыл глаза. Но уснуть ему не удалось. Противник обрушил на пятачок концентрированный удар минометов. Наша артиллерия ответила с того берега. Завязалась артиллерийская дуэль.

Старший лейтенант выскочил из блиндажа, и уже из земляного ходка донесся его совет, нет, не совет, а приказ:

— Товарищи корреспонденты, не высовывайтесь из блиндажа, слышите!

Налет переждали, атаку отбили. Но самого командира принесли на плащ-палатке. Он был сражен наповал осколком мины, оставившим едва заметную рану на его лбу.

Заря уже подмешивала к седине тумана розоватые тона, когда мы обратной лодкой переправлялись на правый берег. В той же лодке переправляли тело Белых, завернутое в плащ-палатку. Начальник штаба батальона, принявший командование, передал нам его ордена, партийный билет и полевую сумку для передачи в штаб полка. Сумка так и осталась незастегнутой. Из нее торчал уголок затрепанной книги, которую он самозабвенно читал в короткие минуты своего последнего отдыха.

Томик был пропитан свечным салом, переплета и титульного листа не было, не хватало и первых страниц. Начали читать с той, что сохранилась, и сразу же окунулись в особый, поэтический, самобытный мир. Рассказывалось о том, как юноша-камнерез пошел в горы поискать подходящий камень, встретил там странную зеленоглазую девушку, опознал в ней чародейку Малахитницу, приобщившую его потом к сказочным горным тайнам. В этой книжке все удивляло: и своеобразие уральского говора, и необычность действующих лиц, и это какое-то своеобразное переплетение реального и сказочного.

Бажов! Так мог писать только этот старый уральский сказочник. Ему, этому чародею горного края, и решили мы с Крушинским переслать книгу с письмом о том, как в последние минуты своей жизни читал ее земляк Бажова, советский офицер по фамилии Белых.

АХТУНГ, ПОКРЫШКИН!

В то же утро мы передали свои корреспонденции о форсировании Вислы. Бои на плацдармах на левом берегу продолжаются с нарастающей силой. Перехвачен переданный по радио приказ Гитлера сбросить советские войска в реку и выставить против них на Висле «стальной оборонительный пояс». Немцы подбрасывают новые танковые и пехотные дивизии. Каждый день разведчики обнаруживают перед войсками фронта новые и новые воинские части. Пленные показывают о форсированном продвижении войск с запада сюда, в район Сандомира, к которому с некоторых пор приковано внимание всех, кто следит за войной. Но поздно, господин Гитлер, поздно! Несмотря на все эти судорожные перемещения войск, нас уже не только не столкнешь в Вислу, но и не удержишь на реке.

Почти каждый день передаем корреспонденции и хронику борьбы на реке. Всего не печатают, конечно, потому, что активно наступает и наш сосед справа — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, принявший командование Первым Белорусским фронтом. И на других участках столь же победное продвижение. Однако же передавать приходится каждый день, ибо редакция по-прежнему очень интересуется делами нашего фронта.

Из тех небольших участков на прибрежной пойме за рекой, на одном из которых погиб Белых, вырос теперь громадный Заречный плацдарм, на который стянута большая масса войск и боевой техники. Но за всем тем я все-таки не забываю слов покойного Белых о летчике Покрышкине, который стал одной из легенд нашего фронта. Он дважды Герой Советского Союза, полковник, и гвардейское соединение истребителей, которым он командует, творит над Вислой чудеса.

Близится День авиации. Попросив двух Александров — Шабанова и Навозова — «насмолить» сегодня от моего имени в мою редакцию оперативную «сосульку», я отправился в дивизию Покрышкина. Кстати, она и дислоцируется недалеко от места, где был совершен первый бросок за Вислу. Так что дорога знакомая.

Давненько не бывал я у летчиков, хотя очень люблю этот род войск. И первое, что меня поразило, когда я прибыл к гвардейцам-истребителям, это какая-то редкая в дни бурных передвижений войск четкость, с которой здесь были размещены все штабные службы. Всюду чи-

стота, порядок. Здороваясь, козыряют друг другу с отменной тщательностью, на контрольных постах въедливо проверяют документы. В военторговской столовой отлично кормят, но без аттестата ничего не дают, что для нас не было большой бедой, так как в утробе нашей «пегашки» в неведомом мне уголке всегда хранится некий неприкосновенный запасец. Поэтому строгость в расходовании продовольственных ресурсов, приведшая Петровича в негодование, мне даже понравилась: порядок есть порядок, а устав есть устав.

Знаменитый комдив оказался высоким, плотным, очень подтянутым человеком, собранным, немногословным и даже, я бы сказал, замкнутым. Сказал, что для беседы может отвести не больше часа, что через час он должен быть на взлетной площадке.

— Полетите сами?

— Не знаю. Может быть. Смотря по обстоятельствам. Почему вас это интересует?

— Слышал, что вы сами выводите свои группы в особенно ответственные полеты.

— Вывожу. Командир должен показывать пример.

— Вот и хочется посмотреть ваш летный почерк.

— Бесполезно. Мы стараемся, чтобы все летали хорошо и отлично. Номер самолета с земли не увидишь, а по, как вы выражаетесь, почерку, что ли, вы меня не отличите.

— Ну, а ваш закон: высота, маневр, огонь? Его ведь и в других частях применяют.

Вот тут, как мне кажется, и удалось растопить ледок невозмутимого спокойствия у этого замкнутого человека, который был на пять лет моложе меня. Вскоре я понял, что он не только великолепный практик, но и теоретик современного воздушного боя, что формула его, ставшая широко известной в частях воздушной армии генерала С. А. Красовского, не просто красивая фраза, а своего рода научный вывод, построенный на множестве наблюдений, на боевом опыте.

Высота, маневр, огонь! В речи знаменитого нашего аса не было и тени шапкозакидательства.

— Немецкие пилоты, в особенности кадровые, из таких частей, как «Рихтгофен» или «Герман Геринг», знатоки своего дела. Весьма серьезные противники. И техника у них первоклассная, приходится все время учиться, совершенствоваться, чтобы добыть победу в бою. Впро-

чем, наша сегодняшняя техника, пожалуй, лучше, чем у них.

Потом он просто, доступно, как учитель первокласснику, стал объяснять мне суть боя на вертикальном маневре, даже схему нарисовал. Но тут посмотрел на часы и резко встал.

— Прошу извинить. Мне пора.— И передал меня начальнику своего штаба. А я, посмотрев на часы, заметил, что обещанный час он отдал мне точно, минута в минуту.

Очень понравился мне этот молодой, не по-молодому немногословный полковник, начавший свою жизненную карьеру учеником слесаря на одном из заводов Новосибирска, поднявшийся по ступенькам служебной лестницы от пилота до командира дивизии.

Больше видеться мне с ним в этот раз не пришлось. Он-таки повел в бой группу самолетов. Но бой шел далеко, за много километров, и мы его не видели. Зато один из радистов по приказу начальника штаба прокрутил мне запись одного воздушного боя и перекличку немецкого наземного наблюдателя с пилотами, вступающими в схватку. На пленке были записаны команды, и озорные возгласы, и перекличка пилотов, и брань, и крики ликования. Я смутно понимаю немецкую речь, но одно я различал отчетливо: «Ахтунг, Покрышкин! Ахтунг, Покрышкин!»

— А что означало это предупреждение?

— А означало оно: уноси ноги,— прокомментировал радист.

— И всегда они узнают Покрышкина?

— Да нет же, разве это возможно? Просто наши ребята научились биться так, как наш комдив.

— И много у него воздушных побед?

— Точно не знаю. Десятка четыре сбил. Цифра-то все время растет.

В этот день в дивизии случилась беда. Один из вылетевших на боевое задание самолетов был подбит. Пилот дотянул искалеченную машину до своей посадочной площадки, но посадить уже не смог, самолет не очень сильно ткнулся в землю, но развалился, и пилота пришлось вынимать из обломков. У него, по-видимому, перебиты кости и ноги висят, будто тряпочные. Но он в сознании. Он плачет и все повторяет:

— Ребята, я не виноват. Тянул до последнего, чест-

ное слово. Скажите комдиву, что не по моей вине.— Он был совсем мальчик, лет двадцати, звали его Олесь Кривонос, и беда случилась с ним на его третьем вылете.

МЕЛОТЕРАПИЯ

Запал мне чего-то на ум этот молоденький летчик, его искаженное от боли лицо и это самое: «Ребята, я не виноват». Корреспонденцию о летчиках я передал с армейского узла связи, который теперь тут, совсем близко от Вислы, и на обратном пути заехал в медсанбат, куда отвезли Олеся Кривоноса.

В этот день у дивизии Покрышкина, как видно, было много боевых дел. У аккуратно разбитого под шатрами сосен старого бора палаточного городка стояло несколько санитарных машин. Санинструкторы, усталые и небритые, нервно курили в отдалении. Сестры рысцой бегали от палатки к палатке.

Никто не мог сказать, в какой именно палатке лежит младший лейтенант Олесь Кривонос. Запарка была такая, что, несмотря на мои подполковничьи погоны, от меня отмахивались, как от назойливого комара: откуда я знаю, много их, идите в канцелярию. Наконец я остановил и поставил по стойке «смирно» какую-то розовощекую сестрицу.

— Олесь Кривонос? Подождите-ка. Олесь, Олесь...— Она заправила вспотевшие пряди за марлевую косынку.— Олесь? Молоденький такой, хорошенький, курносый?

— По-видимому, он.

— К нему нельзя, он,— она оглянулась, как будто в этом звенящем под ветром бору, по которому метались уставшие, сбившиеся с ног медицинские люди, кто-то мог ее подслушать.— Он... очень тяжелый. Он, наверное...— она не договорила и указала на продолговатую палатку, стоявшую возле той, в которой, судя по всему, шли операции. — Там он. Это палата тяжелых, туда не пускают. Вот главный отоперирует, выйдет, попросите его. Может, вам он разрешит,— и вытянулась: — Разрешите идти?

— Ступайте!

Из палатки, на которую указала девушка, как это ни странно, доносились звуки музыки. На очень плохом патефоне с тупой иголкой крутилась пластинка. Голос

Ивана Козловского пел на украинском языке «Дывлюсь я на небо». Пластинка была совершенно заигранная. Может быть, это была даже и не пластинка, а кто-то переписал мелодию на рентгеновскую пленку, что часто делалось на фронте. И все же прелесть голоса в сочетании с дивной грустной мелодией прорывалась даже через эти повторяющиеся «оу, оу». Песня кончалась и начиналась снова и снова. Слушать было просто невозможно. Я отошел и присел на носилки, что стояли у входа в операционную.

Как раз в это время оттуда вышел пожилой коренастый человек в окровавленном халате. Выйдя, он снял с головы белый колпачок, сдвинул вниз марлевую повязку. Большой, грузный, с головой подстриженной коротким бобриком, придававшим ей квадратную форму, он вынул из-под халата кисет, достал газету и стал вертеть цигарку.

Очень он походил на хирурга, описанного Львом Толстым в «Севастопольских рассказах». Да он и был хирургом, начальником медсанбата.

Когда я подошел к нему, он поднял усталые глаза.

— Вам что?

Рекомендовался. Пояснил, кто я, сказал о цели прихода. Точно бегун на длинные дистанции после тяжелого маршрута, он как бы медленно приходил в себя, извинился за свой неласковый вопрос.

— Одичаешь тут. Шестого отоперировал с утра.

В ответ на мою просьбу сказал:

— Что ж, сходите, посетите. Разрешаю. Только не советую, ничего веселого не увидите. Кровищи потерял ужас сколько. Покой, покой ему нужен. Абсолютный покой.

— Какой же покой,— возмутился я.— Патефон там орет как зарезанный. Одно и то же. Одно и то же. От одного этого крика умереть можно.

Хирург усмехнулся, ласково так усмехнулся. И от усмешки сразу подобрело его топорное, с крупными чертами лицо.

— Э-э, батенька мой,— сказал он, как, вероятно, сказал бы полевой хирург далекого, толстовского прошлого.— Батенька мой, это же нарочно для него сестричка заводит. По его требованию. Любимая его пластинка, видите ли. Козловского он обожает... И Украину свою.

ДВОЕ С НЕБА

...Итак, разрешение получено. Пока за Вислой, на Сандомирском плацдарме, копятся силы для нового наступления, я лечу в Словакию, где сейчас назревает восстание в тылу у немцев. Сдал партбилет, документы. Получил все, что полагается парашютисту-десантнику, которому, как улитке, приходится таскать свой домик на себе. Познакомился с ребятами из формируемого десанта, с их командиром, высоким, лобастым, худощавым парнем, инженером в прошлом, чекистом в настоящем. Десанту этому, в котором два словака из тех, что перешли на нашу сторону еще в Крыму и работали потом в седьмом отделе, предстоит, по нашей задумке, там, в Словакии, где уже все кипит народным гневом, обрасти людьми, превратиться в роту, батальон, а повезет — так и в целую бригаду.

Мы находимся в польском городе Кросно, небольшом, очень симпатичном центре небольшого нефтеносного района, освобожденного войсками левого фланга Первого Украинского фронта, и как бы еще не пришедшем в себя после оккупации. Она, эта оккупация, здесь, куда немцы согнали из концентрационных лагерей для работы на нефтяных промыслах много разноплеменного люда, была особенно остра. Около города — небольшой аэродром, с которого и должны стартовать десантные самолеты «ЛИ-2». Но беда в том, что неожиданная в эту пору непогода накрыла и этот аэродром и горы Татры, куда нам предстоит лететь.

Низкие тучи, сочащиеся противной влажной пылью, как бы прижали самолеты к взлетной дорожке. Туман так густ, что, стоя у конца крыла, не разглядеть самой машины. И вот мы топчемся возле самолета в вынужденном безделье, мучась тягостным чувством, как человек, приготовившийся прыгнуть в ледяную прорубь и оттягивающий момент прыжка.

Боюсь?.. Дважды уже приходилось мне приземляться с парашютом в тылах врага. И ничего — получалось. Но то было на родной земле, в родном Верхневолжье, где каждая березка и ель были тебе другом и защитником, а тут надо будет прыгать в чужих горах, в чужой, оккупированной стране, общаться с людьми, языка которых не знаешь. Впрочем, как убедили нас наши словацкие спутники, Янко и Ладислав, языки наши похожи

и если, как уверяют они, говорить медленно, нас поймут. Чтобы погасить остроту тягостного ожидания, ребята, сидя в пустом ангаре, целые дни поют украинские и русские песни, а меня вот полонил начальник аэродрома, инженер-майор Бубенцов, москвич, тоскующий по Москве, человек, говорящий на трех языках, в том числе и на польском, большой любитель литературы и музыки.

Так как сегодня с утра метеорологи сообщили безнадежный для нас прогноз, Бубенцов увез меня к себе в интеллигентную польскую семью, где он снимает комнату. За отличным обедом, которым нас угостила хозяйка, он рассказал одну здешнюю историю, которую я подробно записал. Как я уже упомянул, вокруг города нефтяные промыслы. Оккупанты качали нефть, используя иностранных рабочих разных национальностей. Держали их в бараках за колючей проволокой под током. Вдоль забора бегали сторожевые собаки. На работу и с работы водили под конвоем. Утренние и вечерние переклички. Телесные наказания. Да-да, наказания по определенной, с немецкой аккуратностью составленной шкале.

Собеседник отложил нож и вилку. Встал. Принес официальную бумагу, где что-то было отпечатано по-немецки и по-польски.

— Вот возьмите,— сказал он. И перевел: — «Невыполнение норм единичное — три удара, невыполнение норм вторичное — пять ударов, троекратное (здесь написано третичное) — десять...» Ну вот тут еще: «Порча инструментов — пятнадцать ударов, нарушение распорядка — пятнадцать...» ну и так далее. А чем били, я вам сейчас покажу.— И он передал мне гибкий хлыст — стальной прут, облитый резиной.— Между прочим, продукция массового производства. Видите штемпель: «Эрик Бок верке. Франкфурт»... Так вот, несмотря на эти строгости, в лагере поднялось восстание, да какое — все тут к чертям разнесли и разбежались, ушли в леса. И знаете, кто его поднял? Да наши же, русские, вместе с местными поляками. Тут ведь очень боевые поляки— горняки, отличные конспираторы и партизаны. В особенности здорово действовали на железных дорогах, подрывали пути и мосты... И знаете, как их фамилии, этих русских? Тюхин и Телеев — так их поляки называли. Странные фамилии, правда?.. И вот как эти фамилии получились. Добавьте к этим фамилиям здешнее уважительное обращение «пан». Что выйдет? Да, да, именно: Андрей

Пантюхин и Федор Пантелеев. Андрей — штурман сбитого здесь бомбардировщика дальнего действия, а Федор тоже наш летчик, а в прошлом бурильщик-нефтяник из Грозного, которого немцы отобрали среди военнопленных. Видите, какие паны тут воевали? Если не верите, спросите у пана Ежи, у хозяина этого дома, инженера-нефтяника, а еще лучше у его дочери пани Марыси, варшавской студентки, она была здесь в подпольной молодежной группе.

Инженер-майор вышел из комнаты, поговорил с хозяйкой и вернулся ни с чем.

— Нет их обоих дома. Ничего, может быть, подойдут... Так вот, пока я вам расскажу, что эти достопочтенные паны Тюхин и Телеев натворили. Ну сначала подбивали тут рабочих на саботаж. Даже лозунги у них свои были — «Команда икс, работа нихтс»... «Чем хуже работаешь, тем ближе победа...» Даже русское слово «помаленьку» тут все понимали. Ну, а потом и восстание подняли. На марше атаковали конвоиров, да так атаковали, что, перебив несколько вооруженных эсэсовцев, блокировали контору, разоружили полевых жандармов, зажгли нефтебаки, прострелили несколько цистерн с нефтью, а потом ушли в горы, унеся захваченное оружие и продовольствие... Я не быстро рассказываю? Успеваете записывать?.. Так вот, когда из соседнего местечка подоспели каратели, восставших и след простыл. Они тут десятка два-три людей расстреляли, но тех, кто в восстании не участвовал, а так просто, похватали на улице кого пришлось, заложников.

— Ну, а где же они сейчас, эти паны Тюхин и Телеев?

— Заинтересовались? Пригодится?.. Ну я рад, не зря со мной вечер проведете. Так вот этого-то я вам не скажу. Не знаю. Я-то сам их не видел, я сюда со своим хозяйством позже прибыл, а население рассказывает. Когда наши части сюда подходили, первыми-то кавалеристы подошли, им бы трудно было на укрепления в атаку идти. Так вот в этот самый момент у немцев, что в укреплении сидели, за спиной как грянет «ура!». Что такое? Окружение? Немцы развернули фронт, растерялись. Кавалеристы в атаку, а потом после боя встретились, все и узнали. Оказывается, кавалерийской части партизаны помогли. Одетые кто во что, но все при оружии. Двое подошли к командиру и докладывают:

— Разрешите представиться: лейтенант Красной Армии Андрей Пантюхин, штурман авиации.

— Старшина летчик-радист Федор Пантелеев.

Ну и, конечно, сидеть они тут не стали, люди-то в армии как нужны, особенно летчики. Но память они по себе оставили. Подождите, кажется, молодая хозяйка пришла.— И громко сказал: — Пани Марыся! Пше прашу до нас.

Вошла прехорошенькая девушка лет двадцати, одетая по-спортивному, в вязаном свитере и рейтузах, в горных ботинках на толстой подошве. Вошла, по-мужски протянула мне маленькую руку, неожиданно для ее миниатюрной фигурки грубым голосом представилась:

— Мария.— И вопросительно взглянула на инженер-майора.

— Пани Марыся, то есть российский дзеньникаж, он интересуется паном Анджеем и Тадеушем.

Марыся, девушка, видимо, в политических делах не без опыта, посмотрела на мои погоны, тряхнула пшеничным чубом и принесла любительский снимок. На нем было запечатлено трое: в центре она с немецким автоматом на шее, а по бокам весьма живописно одетые парни. Один коренастый, чернобровый, с квадратным лицом и тяжелой челюстью.

— То есть пан Анджей,— пояснила она.

Другой высокий, худой блондин, с удлиненным лицом и мечтательными глазами.

— То есть пан Тадеуш.— Показала и вышла, стуча об пол подковами альпийских своих башмаков.

— ...С Федей-то этим, Тадеушем, у нее роман был,— сказал инженер-майор.— Славная история, правда? Вот и напишите о них. И поставьте заглавие «Двое с неба».

Действительно, в ожидании самолета я написал такую корреспонденцию, но называлась она не «Двое с неба», такого заглавия у меня бы не пропустили, а «Пан Тюхин и пан Телеев».

НАКОНЕЦ-ТО!

Обязательный инженер-майор в тот же вечер отправил корреспонденцию с офицером связи на армейский телеграф. Но надежды на то, что она увидит свет в «Правде», по совести говоря, мало. Наш новый начальник в «Правде», генерал Галактионов, военный до мозга костей, обо-

жает оперативные корреспонденции о боевых действиях воинских подразделений, частей, соединений и не любит такие вот очерки, называя их художественным свистом. По возможности в набор он их не засылает, а если и зашлет, то недели две или месяц спустя пишет на уголке своим мелким, очень разборчивым почерком: «Устарело, в разбор».

Отправив очерк, долго бродил по садику перед зданием, где на полу, свернувшись и прижавшись друг к другу, как котята, мирно и беззаботно спали мои товарищи по десанту. Не спали только Янко и Ладислав. Сидели у стены, подперев ладонями головы, и молчали. У них было о чем молчать. Родная земля была близко, рядом, и скоро должна была сбыться мечта, с которой они, подняв руки, выходили из леса навстречу нашей воинской части, мечтая воевать с общим врагом уже на словацкой земле. А я ходил и раздумывал над своей миссией. Ведь как-никак предстояло приземляться в чужой, незнакомой стране. До оккупации жил я в своем Калинине, даже в Москву наезжал редко, а Чехословакии, разумеется, даже и во сне не видел. Нельзя сказать, что она была мне совсем неизвестна. Нет. С юных лет люблю чешскую литературу, увлекался Гашеком и Чапеком, читал в журнале «Интернациональная литература» стихи Лацо Новомеского, Витезслава Незвала и других поэтов этой страны. А главное, корреспондентский путь мой не раз приводил меня к чехословацкому соединению, действующему на территории Советского Союза. Случайно посчастливилось даже стать свидетелем того, как это соединение, тогда еще Особый чехословацкий батальон, входило в свой первый бой с гитлеровскими войсками на Украине у села Соколово.

Я был свидетелем этого сражения и с тех пор полюбил этих храбрых, дружелюбных, веселых боевиков, смело и умело сражавшихся на советской земле за свою еще далекую тогда родину. Потом не раз наезжал в эту часть, которая постепенно превратилась из батальона в бригаду, из бригады в корпус. Корпус этот сейчас в составе нашего фронта в резерве. Он здесь, в Польше, недалеко от границы своей оккупированной родины. На пути в Кросно я посетил его. Все здесь были настроены оптимистически.

Генерал Людвик Свобода дружески принял меня в садике маленького домика, служившего ему штаб-кварти-

рой. Вышел ко мне в гимнастерке с закатанными рукавами. Мы присели на крылечке веранды.

— Завидую тебе, я бы тоже хотел так вот спрыгнуть в родную Моравию, как ангел с неба, но, увы, нам придется идти по земле,— говорил он. С дерева упало к нашим ногам переспевшее яблоко. Он поднял его, обтер носовым платком, предложил мне и, когда я отказался, стал есть сам, задумчиво продолжая разговор: — Вам только зенитную зону благополучно миновать, а там каждое дерево, каждый камень будет вам помогать... Язык? О, тебя там поймут, если не будешь трещать как пулемет. И ты их поймешь. Наш чешский — другой, а русский и словацкий — близкие языки.

Прощаясь, крепко пожал руку своей маленькой, но сильной рукой.

— Ну, содруг, ангел, счастливо слетать с неба на нашу землю. Желаю удачи, а в успехе не сомневаюсь.

Настоящий солдат никогда не сомневается в успехе предстоящего дела, но все-таки... И вот уже третьи сутки маемся мы на этом маленьком аэродроме, обложенном туманом, как гигантским пуховиком. Но к середине ночи с гор подул ветер, похолодало и из кипени облаков, курчавившихся над слоями тумана, стала высовываться луна. Наконец и горизонт развиднело, а небо вызвездило. Летчики торопливо снимали с моторов чехлы, а высыпавшие из ангара десантники выстраивались в линейку, кладя перед собой оружие и тяжелые рюкзаки. Вот уж и командир группы выкликнул мою фамилию, я выступил из шеренги вперед и остановился перед своим рюкзаком и автоматом.

Наконец-то!

КАК ТРУДНО БЫТЬ АНГЕЛОМ

Наш верный воздушный труженик «ЛИ-2», обшарпанный и ободранный, как старый автобус, как-то очень буднично отклеился от сырых плит взлетной дорожки и, набрав высоту, лег на курс. За иллюминатором виднелось звездное небо, а внизу тот же туман, посеребренный лунным светом,— целый океан тумана. Ничего не было видно, но карта говорила, что под слоем этого голубовато мерцающего массива — горные вершины, долины, извилистые речки. От Кросно до места нашей высадки на

карте так и чередовались гребешки хребтов с густыми лесами.

История этих «двух с неба», с которой я познакомился у инженер-майора, действовала успокаивающе. Нашли же эти два русских парня общий язык с поляками, вон какие дела делали. А мои спутники, молодые украинские и словацкие ребята, должно быть, вовсе не испытывают никакой тревоги, сидят на скамейках, как на деревенской посиделке, друг против друга и кричат украинские, русские и словацкие песни, как бы прикуривая их одну от другой.

Я стал даже дремать, но вдруг какая-то сила сорвала меня со скамейки, бросила на пол. Самолет дал резкий крен на крутом развороте. Потом меня перекатило в другую сторону. Я понял, он маневрирует, и, подобравшись к иллюминатору, увидел, как внизу вспыхивают красивые огоньки и, будто разноцветные елочные бусы, к машине тянутся огни трасс. «Зенитный заградительный огонь»,— догадался я, когда весь этот фейерверк остался позади и внизу обозначились темные контуры гор, облитых лунным светом.

Вскоре самолет стал давать большие круги, и мы увидели, как в кабине, наклонившись друг к другу, что-то нервно обсуждают пилот, штурман и командир десанта. Догадался: мы вышли уже к месту выброса, а сигнала с земли не дают. Бывалые ребята тоже поняли это, поднялись, разминаются, проверяют ремни. Облаченные в зеленые комбинезоны, немножко, как водится, хлебнувшие для храбрости, в эти минуты они выглядят несколько торжественно, легко стоят под грузом своих удобных заплечных мешков. И вдруг один из них запевает столь дорогую мне с некоторых пор песню:

...Дывлюсь я на небо, тай думку гадаю,
Чому я не сокил, чому не литаю...

Летят, летят соколы. Летят, покинув землю, в небе, над чужим, незнакомым краем. Им сейчас прыгать, а они вот, надо же, поют. Таковы уж украинцы в любой ситуации. А может, и поют, чтобы скрыть вполне естественное волнение, ведь как-никак приземляться придется на чужой земле, да еще в горах. А словаки наши, как приникли к иллюминаторам, когда самолет был обстрелян зенитками, так и не отрывают глаз от земли, что кружится теперь под нами, изредка указывая друг другу на какие-то мерцающие внизу огоньки.

Когда в самолете зажигается зеленая лампочка и в открытый десантный люк с ревом врывается холодный сырой воздух, приходится преодолевать тот психический барьер, который известен, вероятно, и самым опытным парашютистам. Встаю посредине очереди. Копируя опытных десантников, тоже поправил ремни заплечного мешка и, театрально крутнув ус, зажмурившись, шагнул в грохочущую пропасть, хотя, честно говоря, душа уже ушла в пятки.

Нет, кажется, все в порядке. Сильный рывок. Хлопок. Легкое покачивание. Прыгнул благополучно и самодовольно вспомнил слова генерала Свободы: опустишься в Чехословакию, как ангел с неба. Но на этом и кончается «ангельский» полет. Начинается серия глупейших приключений. Где-то уже у земли, когда я изготовился к тому, чтобы по инструкции спружинить у земли и повалиться на бок, падение... внезапно прерывается. Я повис, беспомощно болтая в воздухе ногами. От резкого рывка заплечный мешок срывается и летит вниз уже без меня. Что такое? Когда испуг проходит, начинаю понимать, что парашют накрыл верхушку какого-то дерева, а я беспомощно болтаюсь на неизвестной мне высоте и не могу ничего разглядеть из-за густого тумана. Дерево пружинит, тихо раскачивает меня, и воображение, разумеется, рисует внизу обрыв... пропасть... скалы... горный поток.

А главное, ведь ничего не сделаешь. Даже штурмовой нож, который я не сунул за голенище, как это сделали перед прыжком другие, оторвался от пояса и исчез.

Однако сколько же можно вот так висеть? Наверное, где-то уже взвились зеленые ракеты и командир, опытный десантник, уже собирает своих людей. Тут приходит на ум: зажигалка. Комический фильм продолжает крутиться. Дрожащей рукой я достаю из кармана зажигалку и начинаю пережигать стропы. Одну за другой. Ох и крепки же эти тоненькие веревочки, всего две осталось, а держат. Вот тлеют последние. Зажмуриваюсь, поджимаюсь в комок и... Когда перегорела последняя стропа и я освободился от парашюта, большого толчка не последовало. Оказывается, я болтался... над самой землей. И опять не повезло: хотя под ногами был сырой мягкий мох, ухитрился-таки поскользнуться и как-то не то вывихнуть, не то растянуть ногу. Словом, понял: полз-

ти еще смогу, а идти нет. Встать на ноги невозможно: острая, обжигающая боль.

А между тем заметно светало. Первые солнечные лучи скользнули по верхушкам зеленых гор; набрякшая в тумане листва сочно зазеленела, и из тумана открылась горная лесосека: штабеля свежесрубленных и уже обтесанных бревен. Шалаш. И у шалаша человек.

Вот тут-то я убедился, сколь правы были генерал Свобода и люди из его корпуса в оптимистических предсказаниях. Первый увиденный мною словак оказался другом, да каким еще другом!

Подойдя ко мне, он спросил по-словацки:

— Кто си? Русски? Ё?.. Ты си достойник? Откуда си?.. З неба? Ё?

Я убедился, что действительно понял каждое его слово, а он понял мои ответы.

Это был невысокий жилистый человек лет шестидесяти. Лесоруб. В эту ночь он спал в шалаше на лесосеке, слышал, как в небе кружился наш самолет, видел зеленые ракеты, видел, как я опустился и застрял на дереве. Он спустился вниз, подобрал мои пожитки, а потом без особых разговоров посадил меня «на кошла» и понес по извилистой тропинке куда-то вниз. Я доверился этому человеку, от которого так вкусно пахло сосновой смолой, хлебом, крепким мужицким потом, так доверился, что даже не стал уточнять, куда, собственно, он меня несет.

А он принес в живописную деревеньку, расположившуюся по крутым склонам лесистого распадка вдоль говорливой горной речушки. Деревня называлась Балажа. Но в дом он меня не понес, а ссадил возле большого сарая, где сушились бруски древесины, помог забраться по лестнице на антресоль, притащил вязанку свежей соломы. Через некоторое время принес еды и кринку какого-то напитка, по его уверениям, обладавшего целебным свойством. Лесорубы лечат этим напитком все недуги: и простуды, и ревматизм, и такие вот, как у меня, нелепые травмы.

Это был... горячий сливовый самогон, наполовину разбавленный топленым бараньим салом — и выпивка и закуска одновременно. Не знаю уж, от этого ли универсального средства или от черной вонючей мази, которой приглашенная ко мне старуха ведунья смазала мою ногу, но боль ослабла и даже опухоль вроде бы стала меньше. Потом мой спаситель, как все его называли,

старчку Милан — то есть старик Милан, неведомо какими путями связался с нашими десантниками из другой группы, высадившейся раньше нас, добыл для меня фельдшера, а через день на какой-то желтой бричке, похожей на ту, на какой ездил Чичиков, меня отвезли в штаб десантников.

При расставании с деревней Балажей произошел эпизод, который мне никогда не забыть. Я уже поднимаюсь, хожу с палочкой, но узкий офицерский сапог не лезет на поврежденную ногу. И вот перед отъездом старчку Милан принес мне вместо моих щегольских, с голенищами-бутылочками и совершенно негодных для партизанского бытия сапог свои, широченные, просторные, с подошвой толщиной в палец. Это были праздничные его сапоги. Перед тем как мне их дать, старчку Милан стер с них рукавом слой пыли.

Несколько дней, проведенных мной на чердаке древосушилки, беседы со старчку Миланом, со старухой ведоньей, с какими-то парнями, которые, как говорил Милан, не сегодня-завтра уходят в партизаны, укрепили во мне чувство, что мы действительно в очень дружественной стране, что тут с волнением следят за передвижением войск Первого Украинского фронта, слушают наши передачи, со дня на день ждут Красную Армию, которая освободит их от ненавистных гитлеровцев.

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКОМ

Готовясь к полету, я хотя по-репортерски бегло, однако все-таки изучил обстановку, создавшуюся в Словакии. Но для меня совершенной неожиданностью оказалось, что в горной стране этой, в ее разных концах и особенно в Средних Татрах действует уже несколько партизанских отрядов, и не только словацких, но интернациональных, и в иных из них сражаются и русские, и украинцы, и французы, и бельгийцы, и поляки, и англичане, даже американцы (среди них один негр) и даже немцы антифашисты. Большинство из них попали сюда, в горы, бежав из концентрационных лагерей, с принудительных работ, так что каждый имеет с Гитлером, помимо общественных, и свои личные счеты.

Большой радостью было для меня, что среди них оказался мой старый друг и полный тезка подполковник Борис Николаевич Николаев, наш тверяк, с которым мы

сдружились еще на Калининском фронте. Что он тут делает, я, разумеется, не уточнял. Но он, как всегда, незаметно и тихо делал здесь какие-то свои, по-видимому, важные и таинственные дела. Два земляка обнялись, расцеловались, и он, отлично изучивший обстановку, рассказал мне, что где-то тут, в Западной Словакии, руководит интернациональным отрядом еще один наш земляк по фамилии Горелкин, по партизанскому прозвищу Костя — парень с «Пролетарки», с фабрики, на которой и я начинал когда-то свой трудовой путь.

— Как он сюда попал?

— Не видел я его, точно не знаю. Кажется, бежал откуда-то из лагерей военнопленных не то в Албании, не то в Югославии. Не записывай, это неточно, но отряд у него боевой. Тут два таких отряда — его и еще один, на обувном комбинате знаменитого фабриканта Бати в городке Бативаны. Этот чисто словацкий. Весь из рабочих. И руководит им механик, некий Троян. Они так и зовут себя: хлопцы с Бативана.

Рассказал он мне о том, что по просьбе Компартии Чехословакии сюда на помощь местным партизанам через фронт переброшены небольшие группы обстрелянных ребят из России, с Украины, Белоруссии, что группы эти, как снежный ком, сорвавшийся с вершины гор в оттепельную погоду, обрастают людьми. Из двух-трех десятков сброшенных на парашютах вырастают чуть ли не полки и бригады.

— Вот тут, где мы с тобой находимся, место действия бригады имени Сталина. Ее командир Алексей Егоров. Я с ним контактуюсь. Вообще-то он не военный. По профессии инженер. Чекист. У него было человек семьсот, а сейчас почти три тысячи... Видишь, как воюем.— Высокий, худой, обычно бледный, Николаев загорел, завел пышные рыжеватые усы. Вообще выглядел настоящим партизаном. Карие разнокалиберные глаза — один поменьше, другой побольше — смотрели весело, уверенно.

— А как ты сюда попал?

— Да так же, как и ты, с неба. Я уж тут поболе месяца. Ты держись за бригаду Сталина. С ними не пропадешь. И еще тут есть один интересный дядя — Алексей Никитич Асмолов, полковник. Он тут заправляет партизанским штабом. Умнейший человек, и опыту дай бог. В партизанских краях под Ленинградом, а потом в псковских лесах делами вертел. Только его здесь сейчас нет,

он в Банска-Бистрице на реке Грон. Сейчас там, так сказать, партизанская столица. Тебе надо туда ехать.

— А на чем?

— Ну сейчас для нас это не вопрос. Все дороги в этом краю в руках повстанцев, а машину организуем.

Ну что ж, разумеется, надо посетить столицу.

— А как со связью? Как мне материалы передавать?

— В Бистрице, как и полагается столице, работает радиостанция. Даже две. Но как твои сочинения переправлять в Москву, уж и не знаю. Ну ничего. Обмозгуем. Помогу. Мне тут все люди знакомы.

В СТОЛИЦЕ ВОССТАНИЯ

Банска-Бистрица на редкость красивый город, лежащий в долине горной реки, обрамленной по горизонту мягким зигзагом лесистого хребта. Это промышленный и культурный центр Средней Словакии, невдалеке от которого расположен большой фешенебельный курорт Слияч, славящийся своими целебными водами. Совсем еще недавно этот край жил тихой, размеренной жизнью. Сейчас все тут ходит ходуном, как в прифронтовом городе. Браво печатая шаг, проходят колонны словацких солдат. Стаями идут партизаны в живописных одеждах, увешанные разнообразным, порой самым невероятным оружием. Там и тут прямо во дворах работают бюро волонтеров, возле которых теснятся и юные пареньки, и пожилые дядьки. Мобилизовав их, им тут же выдают обмундирование, и они переодеваются, зайдя в чей-нибудь двор. Интендантские солдаты гонят по улицам коров. Туда и сюда носятся мотоциклисты. Стены домов, заборы, афишные столбы шелушатся от воззваний и объявлений. Ветер гонит по красивым улицам обрывки газет.

И каково же было мое удивление, когда, зайдя в партизанское велительство, как красиво называется по-словацки штаб, я встретил на его пороге... Сергея Крушинского.

— Хотели мне вставить фитилек? — сказал он, ядовито улыбаясь, еще до того, как мы обнялись и расцеловались.— Не вышло и не выйдет никогда. Запомните это, Бе Эн.

— Вы как, тоже с неба?

— Тоже. Но другим, менее романтическим, но куда более разумным путем. На самолете, но с посадкой на аэродроме «Три дуба». Ага, не слыхали еще про этот

аэродром! Есть тут такой, туда сейчас наши летчики боеприпасы, медикаменты и продовольствие для повстанцев таскают... Вот так-то, друг мой.— И ревниво спросил: — А вы что-нибудь уже передавали в «Правду»?

— А как тут передашь?

— А я передал. Как? Не делаю из этого секрета. На тех же самолетах с обратным рейсом. Пойдемте-ка мы в бар, выпьем пивка, посидим, помиркуем, как говорят на Украине.

— Пивка? Где? — За время пребывания на нашем бурно наступающем фронте я, честно говоря, забыл, что есть такой напиток и что, кроме нашей столовой военторга, существуют питейные заведения.

— Пиво пьют здесь в барах, дорогой мой коллега,— поучительно сказал Крушинский.— И пива здесь сколько угодно. И отличное пиво. Кстати, у вас есть местные деньги? Нет? Ну вот видите, что значит торопливо и втайне от друзей собираться. А у меня есть, я в финансовой части наменял. Пойдемте-ка, Бе Эн, так уж и быть, буду вас угощать и кормить.

И мы действительно зашли в бар, где нам, двум советским офицерам, было уделено исключительное внимание. Тотчас же припорхнула миловидная девица, мгновенно поставила перед нами на чистую, пахнущую свежестью салфетку две толстые, матовые от измороси кружки. Тут я почувствовал, что совершил не только прыжок из одной страны в другую, но перешагнул из горнила войны, из разрушенных городов Польши, где голодные жители считают куски, на какой-то этакий спокойный, залитый солнцем остров, лежащий пока в стороне от больших военных бед и тягот.

Кружку за кружкой пили мы отличное, выдержанное пиво, заедали настоящими сосисками и обменивались новостями. Выяснилось, что, вылетая сюда, мы в общем-то приблизительно представляли себе всю сложность подготовки к словацкому народному восстанию. Нам даже казалось, что разгорелось оно стихийно, как степной пожар от искры, вылетевшей из трубы проходящего мимо паровоза. Разгорелось и на глазах продолжает разрастаться, охватывая все новые и новые города Средней Словакии. На борьбу с оккупантами поднимаются заводы, железнодорожные узлы, села и даже глухие горные деревушки, вроде приютившей меня Балажи, куда и газеты-то приходят на третий день.

Руководит восстанием Словацкий национальный совет. В нем очень разные люди, представители разных партий, отличающихся и по своей классовой сущности, и по убеждениям. Но душой этого Совета является коммунистическая партия. Отсюда, из этого промышленного города Погронья, всеми средствами связи в другие города распространяются призывы, и не только призывы, но распоряжения Национального совета, противопоставившего себя фашиствующему правительству Тисо, Тука и Махи.

С помощью Бориса Николаева мне уже удалось познакомиться с одним из руководителей этого Совета, может быть, самым важным членом его, Каролом Шмидке, старым боевым словацким коммунистом. Высокий, худой, с темным от усталости лицом, он походил бы, пожалуй, на какого-то святого со старинной русской иконы. Такой же высокий у него лоб и так же старательно прочерченные поперек этого лба глубокие морщины. Походил, если бы не большие очки, ибо русские великомученики очков, как известно, не носили. В беседе, которую мы вели с Каролом Шмидке глубокой ночью в маленькой комнатушке, где он обитал, он рассказал мне о сложностях восстания.

— Стихия? Нет, ни в коем случае. Я вообще не верю в стихийные возмущения даже в природе. Все они причинны. Организация. Только организация. Словацкий национальный совет сплотил все население: рабочих, крестьян, интеллигенцию, мелкую, среднюю, да, и среднюю, буржуазию и военных. Сплотил вокруг идеи неизбежного восстания. А искрой, от которой восстание загорелось, были победы Красной Армии. И то, что Чехословацкий корпус уже подошел к родной границе. Вы же знаете, в корпусе словаки и чехи. Словаки и чехи, бьющие нацистов.

Я занимал единственный в комнатушке стул, а Шмидке сидел на кровати. Сидел, ссутулившись, положив руки на колени, как молотобоец, отдыхающий после тяжелой смены.

— Сейчас все восторгаются Красной Армией. Все захвачены первыми успехами восстания. Все кричат «ура». «Ура» и «наздар», конечно. Но не думайте, что все эти силы едины. Нет! Мы были бы плохими марксистами, если бы так думали. В стране существует идея, рожденная тисовским, по существу, фашистским режимом. Идея отъединения Словакии от Чехии и Моравии и создания

самостоятельного словацкого государства, что с помощью Гитлера и было осуществлено. Есть концепция чешской буржуазии о единой чехословацкой нации, о подавлении словацкой самобытности и самостоятельности. С нею носится Бенеш в Лондоне. Есть даже идея о присоединении Словакии к Советскому Союзу в качестве одной из республик. Да, да, и такая идея есть.

Но, по мнению компартии, ни то, ни другое, ни третье для нас не годится. Для нас идеал — братство народов, живущих под одной крышей. Пример — ваша страна, где народы живут в одной семье, не теряя, однако, ни своей самобытности, ни своей культуры, ни своих традиций. Живут в одной семье как равноправные дети. Только так, только это...

Этот высокий худой усталый человек говорил негромко, но задорно, будто с кем-то полемизировал с трибуны перед лицом большой аудитории.

Воспользовавшись тем, что он так разговорился, я походатайствовал о том, чтобы разрешили передавать корреспонденции в «Правду» и в «Комсомольскую правду» через радиостанцию Банска-Бистрицы открытым текстом.

— Что ж, передавайте, я там скажу товарищам. Пусть мир знает, что мы делаем тут, в наших Татрах. Пусть другие угнетенные Гитлером народы берут пример с нашей маленькой горной страны,— устало сказал он, но предупредил: — Только ни фамилий, ни места действия: Икс, Игрек, Зет. Иначе будете помогать нашим врагам. Наши передачи немцы регулярно записывают.

Прощаясь, учтиво проводил меня до двери.

— Пишите, передавайте, но соблюдайте наше джентльменское соглашение. Ну да не вас учить, вы человек военный. — И уже в дверях сказал: — Советую вам повидаться и поговорить с товарищем Яном Швермой. Он тут представитель Центрального Комитета Компартии Чехословакии. Прилетел по заданию Готвальда. Умнейший и обаятельный человек. Вот только болен. С легкими у него — кашляет, плюется кровью.

«МАЛЕНЬКАЯ «ПРАВДА» И ДРУГИЕ

Живу я теперь в «гостевом доме», разместившемся в помещении какого-то гимназического интерната на большой площади у старинного собора, так что добрый ан-

гел, изображенный в гербе города, осеняет и меня своими гусиными крыльями. Утром меня будят бой старинных часов на колокольне и очень даже современные крики мальчишек-газетчиков:

— «Час»!.. «Правда»!.. «Ново слово»!.. «Народни новины»!.. «Боевик»!.. — И опять, снова, особенно напористо и голосисто: «Правда»! «Правда»!..

Газет выходит много. Они маленькие, как наши многотиражки. Газеты разных партий, направлений, взглядов. Сейчас, когда это единственное в своем роде восстание против Гитлера, гитлеризма и доморощенного фашизма поднимается в свой зенит, большинство партий, в том числе и весьма реакционные, стараются по возможности заявить о себе в восстании и выпускают свои газеты.

У Сергея Крушинского поразительные способности к славянским языкам. На Украине легко говорил по-украински, в Польше довольно свободно объяснялся с паней Ядзей и даже ухитрялся конструировать для нее старомодные шляхетские комплименты. Здесь мы утром покупаем все газетки, он быстро просматривает их, умея при этом выколупать самые интересные новости. А новости падают, как град. В общем-то, хорошие новости. Успешные бои идут не только в Средней Словакии. Партизаны опрокидывают под откос один за другим воинские эшелоны гитлеровцев. На пути врага летят в воздух железнодорожные мосты, ощущается новый прилив волонтеров в повстанческую армию, теперь уже из деревень и горных сел.

Но, разумеется, с особым интересом читаем мы «Правду», орган Коммунистической партии Словакии, «маленькую «Правду», как называет ее редактор, в отличие от «Правды» большой, которую представляю я. Когда удается вырвать время, а у нас его мало, ибо наряду с корреспондентскими мы выполняем здесь и офицерские обязанности, редактор этой «маленькой «Правды», жизнерадостный словак, выпускавший свою газету с двумя сотрудниками, питает нас свежими новостями. Его многочисленные, если можно так выразиться, партизанкоры не оставляют его без интересных новостей. Почта у него большая, и нам, двум московским корреспондентам, пребывающим очень далеко от своих редакций, находящихся на улице Правды, 24, очень полезно беседовать с этим жизнерадостным человеком.

Мы с ним тянем боровичку из фляги запасливого, но непьющего Крушинского, ведем политические и даже, я бы сказал, философские дискуссии, пытаясь осмыслить все то необыкновенное, что происходит вокруг нас.

Словацкое восстание, несомненно, одна из самых героических страниц второй мировой войны. Героическая, своеобразная. Немногочисленный народ этот — язык не поворачивается назвать его маленьким — в центре Европы, окруженный со всех сторон гитлеровскими войсками, смело поднимает восстание против своего могущественнейшего врага. Борется за свою свободу с поражающим упорством, как не боролась в эту войну ни одна из больших западных наций. В восстании этом пока что, я подчеркиваю для себя это «пока», сотрудничают, пока плодотворно сотрудничают прогрессивные силы и их тоже пока очень далекие попутчики, настраивающие свои приемники по лондонским позывным. Действительно, странно видеть в этой борьбе рядом Шмидке или Шверму и подтянутого сурового генерала Голиана, толстого полковника Миллера — типичных буржуазных военных, получивших свои чины и звания от карманного президента Тисо.

Этот поп-президент — старая хитрая лиса, которая в целях демагогии, чтобы покорить умы крестьян, ездит из столицы служить в приходскую церковь родного села, завернув себе на дорогу курицу и десяток яиц вкрутую. Но Тисо уже за линией образовавшегося фронта, и его военачальники пока сотрудничают с коммунистами. Сотрудничают, вероятно, потому, что коммунисты выдвигают в восстании такие привлекательные лозунги, что их нельзя уже ни объехать, ни обойти. Несомненно, что армия генерала Монтгомери, все еще топчущаяся на Британских островах, этим буржуазным военным гораздо ближе по духу, но обстоятельства заставляют их контактоваться с войсками маршала Конева, ведущего сейчас битву на границе Словакии у Дуклинского перевала, в составе которых сражается и героический Чехословацкий корпус генерала Людвика Свободы.

Как бы интересно можно было обо всем этом рассказать читателям «Правды», но Шмидке прав: корреспонденции передаются по радио открытым текстом. Шифром мы не располагаем. Да и как их зашифруешь? Наши многоречивые творения — не разведсводки и не боевые донесения. Пробуем посылать их с летчиками, но, кажет-

ся, ничего не выходит. По два-три рейса совершают ребята за ночь, им не до наших сочинений и корреспондентских забот.

ЯН ШВЕРМА

Сегодня повезло. Познакомился с интереснейшим человеком, вероятно, самым ярким на этой вавилонской башне идей и политических направлений, какой является Словацкий национальный совет, башне, в фундаменте которой, однако, лежат монолиты, заложенные коммунистами. Это тот Ян Шверма, о котором говорил Шмидке.

Знакомство состоялось неожиданно. Утром я узнал в «маленькой «Правде», что на деревообрабатывающем заводе будет большой митинг рабочих. Туда как раз собиралась девушка-фотокорреспондент. Согласилась меня подбросить. И мы погрузились в ее крохотную, похожую на консервную банку машину, которая вся звенела и дребезжала на ходу. Митинг собрался во дворе в обеденный перерыв. Рабочие расположились на штабелях досок и бревен, вынули из сумок свертки с бутербродами, бутылки молока или пива.

Организаторы хлопотали возле грузовика, которому предстояло выполнять роль трибуны. Потом у импровизированной этой трибуны появился высокий, плечистый, но очень худой человек в темном плаще, в кепке, с шеей, которая, несмотря на теплую погоду, была закутана белым шарфом. При его появлении жиденько зааплодировали. Подпрыгнув, он легко перескочил борт грузовика и через минуту уже говорил, опираясь о крышу кабины. Он снял кепку, открыв свою продолговатую, с большими залысинами голову, и, говоря, стал размахивать этой кепкой, зажатой в руке. Голос у него был глухой, говорил быстро. Я улавливал лишь смысл его слов, и смысл этот, признаюсь, меня удивил. Газеты всех толков, в том числе и «маленькая «Правда», на все лады рассказывали о победоносных боях, о том, как растет партизанская территория, о переходе на сторону повстанцев новых и новых частей, словом, об успехах восстания. Этот высокий худой человек, на бледных щеках которого пылал слишком яркий румянец, тут, на массовом митинге, говорил как раз о трудностях восстания, о ярости немецких контратак, о тех зверствах, которые творят гитлеровцы,

когда им удастся занять населенные пункты на партизанской территории. Мы, разумеется, обо всем этом знали от моего тезки подполковника Николаева. Но то мы. А тут шел массовый митинг, и он своей откровенной речью буквально заворожил аудиторию. Забыты завтраки. Все слушают, напряженно вытянув шею, в иных местах речи по аудитории проходит шумок, будто внезапный порыв ветра касается деревьев.

— Кто же это? — спросил я спутницу, которая покидала меня, чтобы сделать снимки, а сейчас снова меня отыскала.

— Как, вы не знаете? Это же и есть Ян Шверма.

Так вот он какой!

В конце речи, там, где ораторы чаще всего бросают на закуску какую-нибудь припасенную заранее бодрую цветистую фразу, он, не меняя интонации, сказал:

— Товарищи, наше восстание, наше дело в опасности. Все на защиту восстания! — Сказал, отошел в сторону, обтирая со лба и с лица обильный пот, а потом закашлялся. Кашлял тяжело, закрыв рот платком. И уже кто-то другой призвал рабочих вступать в ряды повстанцев, браться за оружие. Но действенность первой речи была большая. У грузовика появилось несколько человек, желающих сейчас же ответить на этот призыв.

В Бистрице Шверму нелегко поймать, поэтому я протиснулся через кольцо окружавших его людей. Протиснулся к нему и рекомендовался.

— ...А, вот вы какой, слыхал о вас, слыхал. Ну будем знакомы, коллега. Вам ведь до Бистрицы? Вот и отлично, едемте вместе. Пока нас довезут, и поговорим.

Сели в машину, в блестящую лаком «татру», принадлежавшую директору завода.

— Это хорошо, что вы здесь. Когда я улетал из Союза, товарищ Готвальд мне говорил, что не худо было бы обобщить опыт подготовки восстания, в котором коммунистам удалось сплотить все национальные силы. Наш Национальный совет, это, так сказать, Ноев ковчег. Как вы, русские, говорите, всякой твари по паре. Но мы, коммунисты, имеем в руках пятьдесят один процент акций. И пока, как вы видите, можем вводить движение в правильное, в единственно правильное русло.— И снова прозвучала мысль, уже однажды слышанная от Шмидке.— Об этом стоило бы написать. Может быть, наш малень-

кий опыт пригодился бы коммунистам других оккупированных стран.

Говорил он по-русски довольно чисто, и небольшой акцент придавал его речи особый аромат.

— А каково сейчас положение?

Он вопросительно взглянул на меня. Подумал. И вдруг я услышал:

— Тяжелое... Нет, нет, восстание развивается. Но мы с вами коммунисты и, следовательно, должны смотреть правде в глаза... Вы знаете, что немцы срочно стягивают в Словакию новые и новые части... Ваше наступление у Дукли продолжается, но части восставшей словацкой армии, которые по договоренности с вашим командованием должны были бы наступать навстречу вашим войскам, увы, своей задачи не выполняют... Им, по-видимому, не по силам одолеть очень уплотнившийся немецкий фронт. Ваши войска и Чехословацкий корпус, взаимодействующий с ними, не получают обещанной поддержки,— собеседник болезненно поморщился, будто от зубной боли.— Немец бросает сюда новые дивизии, а этот лондонский стратег генерал Виест не хочет тесно взаимодействовать с партизанами. Он, видите ли, за войну по воинским правилами, за джентльменскую войну...

От Николаева я примерно знаю обстановку, и то, о чем рассказывал Шверма, для меня не новость. Немецкое радио в своих передачах на Словакию с утра до вечера бубнит о своих победах у горы Дукля. Да и союзнички в передачах Би-Би-Си, как мне кажется, не без тайного злорадства говорят об успехах немецких контратак. Но мы тут, в Словакии, уже видели, что наше наступление, начавшееся 8 сентября, было спичкой, от которой вспыхнула ярким пламенем национально-освободительная борьба повстанцев, поднялся боевой дух свободолюбивого народа, укрепилась его решимость восстановить независимость республики чехов и словаков...

Все это я уже знаю, вижу собственными глазами. Но услышать такую суровую правду от Яна Швермы, который, может быть, и есть скрытая душа восстания, все же как-то необычно. Я сразу же зауважал этого человека за его прямоту и умение бесстрашно смотреть правде в глаза.

— Ну, а какова же будет судьба того, что вы назвали Ноевым ковчегом?

Шверма помолчал. Думал. Потом сделал рукой жест, будто снимал с лица паутину.

— Не знаю. Не хочу быть мрачным пророком... Это несомненно, что все эти словацкие господа в дни успеха восстания перед угрозой немецкой оккупации честно сотрудничают с товарищами. Но буржуазия есть буржуазия. Помните религиозную притчу — еще трижды не пропоет петух и так далее. К этому мы должны быть готовы. Ведь истинный марксист не может путать борьбу за национальное освобождение с революционной, пролетарской борьбой. Национализм и социализм очень разные вещи. Иногда пути борьбы и совпадают. Но надолго ли, до какого предела, до какого рубежа? Это трудно предугадать. Может быть, до первых серьезных испытаний...

— Так нужны ли были сегодняшний митинг и ваш лозунг, и эта очередь на запись в волонтеры?

Он поднял на меня свои узкие глаза, глубоко запавшие в темных глазницах, и с убеждением, почти фанатически сказал:

— Да, нужен.— И повторил: — Нужен... Смотрите, смотрите.

По дороге навстречу шла колонна пестро одетых и столь же пестро вооруженных новобранцев, спешивших к станции. Они пели песню, но не маршевую, а какую-то народную с веселым припевом, под которую им, вероятно, трудно было даже держать шаг. Проводив колонну ласковым взглядом, Шверма сказал:

— Пополнение... Наверное, поедут в Святой Мартын Турчанский. Разведчики донесли, что туда подтягивается новая немецкая танковая бригада, привезенная из Франции.

Прощаясь, он протянул руку, и рука его оказалась горячей, влажной. Да как же он болен! И в жару поехал на этот самый митинг.

Очень им заинтересовавшись, у здешних правдистов узнал биографию этого человека. Ему едва исполнилось сорок лет. Здешний уроженец. Юрист по образованию. Подававший большие надежды юрист, с юных лет бросившийся в революционное движение. В коммунистическую партию вступил в дни ее организации — в двадцать первом году. Был одним из создателей чехословацкого комсомола. Писал в «Руде право». Занимался большой политической публицистикой.

Впрочем, компартия бросила сюда, в самую гущу событий, все свои лучшие силы. Культурой и печатью заправляет здесь тот самый поэт Лацо Новомеский, стихи которого я читал в русских переводах еще до войны. Пропаганду направляет Густав Гусак, юрист, тоже, несмотря на свою молодость, старый коммунист, отличный оратор и, как мы в том все время убеждаемся, хороший организатор. А рядом с ними маленький, коренастый, крепкий, будто из бронзы отлитый Карол Бацилек, рабочий, шахтер, организатор забастовок — все яркие, колоритные фигуры.

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ?

Только в дни самых бурных наших наступлений доводилось нам работать так, как работаем сейчас. Занимаемся партизанскими делами, пишем и отправляем написанное через день. Доходят ли наши корреспонденции до редакции — это вопрос, ибо, вручая их летчикам или бросая в эфир по партизанской рации, мы не знаем их дальнейшей судьбы. Обратной связи нет, как проверишь?

После того как я рассказал Крушинскому о Яне Шверме, мы до рассвета проговорили о партизанах. Крушинский только что вернулся из села Детва, этого своеобразного заповедника бытовой словацкой культуры, где люди ходят в костюмах минувшего века, пашут старинными плугами, сохраняют в обиходе традиционную глиняную утварь. Вот в этом-то тихом селе, где жизнь как бы замерла и дедовские обычаи тщательно охраняются, большинство мужчин, оказывается, ушло в волонтеры, захватив с собой охотничьи ружья и чуть ли не пищали, заряжающиеся со ствола шомполами.

Ну а пока Крушинский жил в этом заповедном селе, я успел побывать с Николаевым, наоборот, в самом ультрасовременном месте Словакии — на обувных заводах Яна Бати в поселке Бативаны. Мы побывали в рабочем партизанском отряде, который Шверма с гордостью называл «Наша гвардия». Официально отряд называется Отрядом капитана Трояна, а неофициально хлопцы с Бативана. Хлопцы с Бативана оказались отнюдь не вольницей, а настоящим боевым дисциплинированным подразделением, кстати сказать, отлично оснащенным венгерским, румынским и даже немецким

оружием: винтовками, пулеметами, минометами. И не трофейными, а... купленными или выменянными у интендантов на обувь, кожаные куртки или иные изделия фабрик... коммерческими агентами предприятия.

Познакомился с капитаном Трояном, крупным брюнетом, с красивым чеканным профилем, который, как мне сказал тезка, вовсе никакой и не капитан, а механик фабрики, присвоивший себе воинское звание для представительности. Впрочем, человек этот, как мне кажется, прирожденный военный. Все операции его отряда продуманны. Марши, которые отряд предпринимает на грузовиках фирмы, всегда стремительны. В отряде хорошая разведка, состоящая главным образом из девушек, свободно проникающих в стан противника в гражданской одежде. Неплохо поставлена саперная служба. Оделись хлопцы с Бативана в особую, сшитую на их предприятии форму; щеголяют в белых меховых папахах, перетянутых наискосок красными лентами.

Пока подполковник Николаев, выполняя поручение командования, занимался своими делами, я в отличной заводской столовой за кружкой неведомо как завезенного сюда настоящего пильзенского пива говорил с Трояном о делах, которые отряд уже совершил, и о тех, которые замышляет. У него все продумано. В минуту затишья его люди, как всегда, работают в цехах. После работы он устраивает учения. Организовал даже курсы для командиров взводов. У него даже составлен план перехода на подпольный режим, если немцам удастся занять Бативаны. А ведь он только механик по ремонту оборудования. Когда в армии отбывал срочную службу, был всего лишь свободником — один из самых низших чинов. Словом, восстание не только разбудило в стране лучшие революционные силы и привело их в активное движение, но и выдвигает уже своих талантливых командиров, не имеющих никакого отношения ни к генералу Голиану, ни к генералу Виесту.

Когда я рассказал обо всем этом Крушинскому, он снова спросил:

— Признавайтесь, вы об этом уже написали?

— Написал. Так и озаглавил: «Хлопцы с Бативана».

— И послали?

— Направил с летчиком.

— Ну тогда я вас сейчас уконтропулю. Мы тоже мух ноздрей не ловим.

И он рассказал о другом партизанском вожаке по фамилии Жингор, о котором Николаев мне тоже как-то упоминал.

Есть тут город со сложным названием Святой Мартын Турчанский, где, собственно, и началось восстание. Словаки, всегда подспудно борясь против австро-венгерского владычества, еще в прошлом веке создали своеобразное учреждение, именуемое Матица Словенска. Это учреждение ставило задачей воспрепятствовать ассимиляции. Делалось это умно, хитро, под флагом развития словацкой культуры и словацкой самобытности. Собирались древние и современные рукописи, записывались песни, сказания, мелодии. Все это хранилось и береглось. Людям прививалась вера в словацкую самобытность, гордость словацкой историей. У общества этого, респектабельного, буржуазного, все время подчеркивающего свою аполитичность, на местах были свои филиалы, в которых группировались энтузиасты и делали свое дело. И все-таки нет ничего парадоксального в том, что именно в этом музейном городе и вспыхнуло восстание, в ходе которого некоторую роль играет и отряд Жингора. Мы с Николаевым побывали там проездом, мимоходом, а Крушинский задержался и вот, оказывается, добыл интереснейший материал.

Жингор, молодой человек с обликом итальянского карбонария, не очень подчиняется штабу партизанского движения, предпочитает действовать самостоятельно, на свой страх и риск. В прошлом скромный, ничем не примечательный работник социального страхования, он теперь раскрылся как смелый, даже дерзкий человек. Его небольшая группа атакует из леса немецкие колонны в горловинах горных дорог, взрывает воинские эшелоны. Навели на немцев такой страх, что те пускают теперь перед паровозом платформы с песком. Но и это их не спасает. Находятся смельчаки, которые забираются на виадуки, нависающие над железнодорожным полотном, прячутся в ожидании поезда, а потом бросают сверху в тендер паровоза мину с дистанционным взрывателем. Поезд спокойно продолжает идти, и через несколько минут или часов в отдалении от виадука раздается взрыв, и все летит под откос.

— Ловко, а? — говорит Крушинский, и в узких его глазах задор.— А однажды в гостинице Жингор сам застрелил командира немецкого карательного отряда.

Застрелил и сам же поднял по этому поводу шум, помогая искать злоумышленников, и даже навел немецев на след одного предателя-словака, которого те и захватили.— Подумав, Крушинский оговаривается: — Не знаю, может быть, тут есть и плоды фантазии. Может быть... Такие люди порядочные фантазеры, но два-три факта, которые я проверял, действительно были. А вот командования он не очень признает, говорит: «Я тот кот, который ходит сам по себе». Любопытнейший парень. А вы знаете, кто его идеал? Нипочем не догадаетесь.

— Ну и кто же?

— Дубровский. Да, да, пушкинский Владимир Дубровский. Что, плохой, скажете, материал?

— Вы об этом написали?

— Конечно. И озаглавил: «Дубровский из Низких Татр».

— И отослали?

— Конечно, еще вчера, самолетом... Только, боюсь, забракуют. Не любят у нас котов, которые ходят сами по себе. Ну черт с ними, я его в свой будущий роман вставлю.

— В роман? Это новость. Как это?

— Очень просто. Я обязательно напишу роман об этом восстании. Я уже и заглавие придумал. Знаете какое? «Горный поток». Как, ничего заглавие?.. Не сейчас, не сейчас, конечно. Какие сейчас романы? А как говорил наш содруг бравый солдат Швейк: в семь часов после войны. — И встревоженно спросил: — А как вы, Бе Эн, думаете, доходят все-таки до редакции наши корреспонденции? Ну хоть что-нибудь туда прорывается?..

В самом деле, доходят ли, печатают ли их?

ПАРЕНЬ С «ПРОЛЕТАРКИ»

Ведь какой тесной стала планета сейчас, в разгар этой гигантской войны, сколько людей сорвала она с насиженных мест. Сегодня в Банска-Бистрице встретил еще одного земляка, точнее говоря, нашего тверяка. Того, о котором мне говорил Николаев.

В этот день я задержался в партизанском велительстве и так устал в шуме, гаме, в облаках табачного дыма, что решил перед сном пройтись по улицам.

Осень уже входит в свои права. Зеленые горы, обложившие старый город со всех сторон, изменили окраску. Зеленеют они только наверху, потом идут багровые тона, а у подножия уже все переходит в золото. Каштаны, стоящие вдоль улиц, испещрили тротуар лапчатыми листьями. Малейший ветерок стряхивает с них плоды, и они шлепаются о бетонные плиты тротуара так, что кажется, будто кто-то сзади бросает в тебя камушки.

Иду, волочу по тротуару свои невероятного размера сапоги старчку Милана, задумался, и вдруг сзади на чистом русском языке:

— Товарищ подполковник.

Вздрогнул, оглянулся. Советских офицеров в городе по пальцам перечесть, я их всех знаю, а тут незнакомый голос. Партизанская столица, да еще такая беспечная, где ночные патрули предпочитают обниматься с девушками или сидеть в кафе,— место довольно беспокойное. Не останавливаясь, убыстряю шаг. Незнакомец не отстает, но и не догоняет. Идет сзади. Поравнялись с баром, откуда на тротуар льется яркий свет и доносятся звуки скрипки. Людное место. Остановился. Меня нагнал невысокий, прочно сложенный человек в форме старшего сержанта Красной Армии, хорошо сшитой из дорогого габардина. Форма как форма: погоны, две лычки за ранения. Но вооружен незнакомец крайне оригинально — немецкий «шмайсер» висит у него на груди, как саксофон. За пояс, туго перехватывающий гимнастерку, засунута пара гранат, рукоятка штурмового ножа торчит из-за голенища.

— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? Старший сержант Константин Горелкин, а ныне командир партизанского отряда.— Он усмехнулся, обвел свою выставку оружия.— А ныне словацкий повстанец. Вы ведь тот Борис Полевой, который в «Пролетарской правде» писал?

— Ну а вы тот, который Костя?

Усмехнулся:

— Костя, Костя, так меня сербы еще прозвали.

Признаюсь, я все-таки переосторожничал, произвел маленькую проверочку.

— А в Калинине где вы жили?

— Во дворе «Пролетарки». В семидесятой казарме, которую зовут Париж, в глагольчике!

Глагольчик, так тверские текстильщики зовут закоулки своих общежитий. Только они. Теперь можно было, не опасаясь, обнять земляка. Должно быть, человек этот неизвестной мне судьбы совсем уже оевропеился и, когда я предложил ему присесть на скамейку в сквере, несколько картинно удивился: зачем? Показал мне на дверь ресторана «Золотой баран», откуда доносилась музыка цыганских скрипок.

— О деньгах не беспокойтесь — порядок полный,— и он похлопал себя по карману гимнастерки.

Вошли. Метрдотель, которого, вероятно, привлекли не столько наши погоны, но пестрое вооружение Горелкина,— сама услужливость. Отвел нас к свободному столику рядом с оркестром. Цыгане сейчас же заиграли «Очи черные» вперемежку с «Катюшей». Посетители, среди которых были и словацкие офицеры, с интересом поглядывали в нашу сторону. На столе появились склянка боровички, два бокала пива под шапками пены и еще мясо по-словацки, оказавшееся попросту вареной говядиной, какой кормили нас по праздникам наши мамы в благословенной Твери. На словацком языке Костя объяснялся неплохо, изредка, правда, ввертывал в свои фразы слова из какого-то другого славянского языка. Но его понимали. Вот поведанная им одиссея.

На третий месяц войны он был ранен где-то уже за Смоленском. Попал в плен. В Белостоке, в этапном лагере, пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, повезли на юго-запад через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди них был учитель, понимающий немецкую речь, а конвоир-австриец проболтался, что везут их в Грецию на строительство военного порта в Салониках. Горелкин и два его друга решили бежать и, когда поезд тянулся в гору, выломали в вагоне доски из пола и выбросились в образовавшийся лаз. Выбрасывались, прижимались к полотну, и поезд проходил над ними. Выяснилось, что бежали они... в Албании. Решили там не задерживаться и двигаться всеми способами домой. За границей Югославии наткнулись на партизанский отряд. Несколько месяцев повоевали в нем, прошли через много тяжелых боев, отличились: все вроде было хорошо. Но нет, тоска по родине тянула друзей в родную армию, которая, как они уже знали, наступала. Один из тройки погиб, а двое с разрешения партизанского командования оставили отряд и двинулись дальше. Прошли

через Австрию, очутились в Словакии. Тут уже назревало восстание. Не стерпели — решили присоединиться. Теперь под командованием Горелкина отряд в триста человек. Разноплеменные люди, преимущественно бежавшие из лагерей.

— Даже один из какого-то там Лихтенштейна есть, до сих пор не знаю, где и страна-то такая... По-немецки шпарит — будь здоров. И по-французски тоже.

— А почему вы, командир отряда, носите сержантские погоны?

— Что наше командование дало, то и ношу. Мои ребята на плечи не смотрят. А вот красноармейская форма, это да, это звучит. Сейчас и немцы перед Красной Армией хвосты поджимают. У них там тоже не сахар. Когда пробирались мы через Австрию, только и слышали «нихт гут, нихт гут»...

Странное дело. Он, этот партизанский командир, к графинчику с боровичкой не прикоснулся, а пил мелкими глотками минеральную воду. Мне показалось даже, что из-за этого метрдотель подозрительно поглядывал на него: дескать, уж не шпион ли, работающий под русского. Но когда подошедшему к нам цыгану-скрипачу, игравшему нам прямо в уши «Коробушку», Горелкин дал весьма крупную купюру, подозрение, видимо, улетучилось, потому что в этой стране не принято разбрасываться деньгами.

— Не хотел я вас, товарищ подполковник, беспокоить, а только надо было мне вам сказать. Назревает, как мне кажется, здесь нехорошая петрушка. Солдаты хорошие, свойские ребята, от души воюют, а вот на их офицеров, особенно на тех, что повыше, надежды большой нет. Вот увидите, немцы как следует нажмут, они хенде хох сделают. Говорил я об этом нашему земляку Николаеву, у него тоже это на подозрении. Надо, говорит, ко всему быть готовыми... Это уже вы доложите там кому побольше. Вы, поди-ка, и самого маршала Конева знаете?

— Знаю.

— Вот ему бы и доложили. Докладывал, мол, о том партизанский командир старший сержант Красной Армии Константин Горелкин... Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил... Как-то там, в Калинине? Наша семидесятая казарма, наш Париж уцелел?

— Уцелел.

— Так вот и еще у меня просьба: доберетесь до нашего фронта, бросьте в ящик эти письма.— Он передал мне два тоненьких конверта.

Один был адресован Евдокии Михеевне Горелкиной, другой — Майе Кораблевой.

— Матери и милке моей. Вместе с нею в школе Плеханова учились. Поди-ка, похоронили они меня давно... Так вот уж, пожалуйста, бросьте.

Я обещал. Мы было уже простились, когда он сказал:

— Погодите, я вас довезу куда вам надо. Тут у меня машиненка стоит.— И действительно в переулке стояла «татра»-вездеход, этакое железное корытце на колесах. Он уверенно завел мотор.— Ну, куда вас?..

В этот день я долго не мог заснуть. Все перелистывал страницы разговора с земляком, и почему-то казалось мне, что в мрачноватых прогнозах своих о судьбе восстания опытный земляк был прав.

КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?

Партизанских частей теперь много. Сейчас, когда немцы, все время получая новые подкрепления, с двух направлений ведут наступление на район восстания, партизаны дерутся стойко. У большинства бригад свои названия. Есть бригада имени Штефаника, бригада «За свободу славян», есть имени Яношека — легендарного героя далекого прошлого, свободолюбивого разбойника, боровшегося с немецкими баронами, жегшего их усадьбы и раздававшего награбленное добро крестьянам. Есть бригада имени Героя Советского Союза Яна Нелепки. Есть бригада имени Яна Жижки.

Но первая и самая большая бригада носит имя Сталина. Командует ею советский партизанский командир Алексей Егоров, собранный, волевой и опытный, несмотря на свою молодость, человек. В его частях, которые провели уже немало победоносных боев, до четырех тысяч человек. Отличная дисциплина и почти никаких ЧП.

Я подружился с Егоровым. Человек он глазастый, наблюдательный, не только толковый командир, но и хороший политик. Знает, что нашему брату газетчику нужно. Однажды он отвез меня на перекресток дороги, ведущей на курорт Слияч, и познакомил с врачом Хеленой Генриковой, которая в те дни, когда борьба здесь еще только

началась, устроила в глухом подвале своего дома, стоящего посреди сада... партизанский госпиталь. Да, да. Оккупанты по пути на Слияч частенько останавливались у этого дома отдохнуть, выпить, закусить. Очень миловидная хозяйка радушно принимала их, и, пока они бражничали в столовой, в подвале под полом лежали ее раненые пациенты. Однажды в этом же подвале пережидал внезапный немецкий наезд и сам Алексей Егоров.

Ну разумеется, мы с Крушинским захотели познакомиться с начальницей столь замечательного лазарета, и Егоров отвез нас туда. Встретила нас полная, совсем еще не старая, привлекательная женщина, в темных волосах которой серебрилась седина. Егорова встретила как старого друга, с нами познакомилась. Накрыла на стол и, пока на кухне что-то там жарилось и парилось, провела в свой тайник. Лаз в него шел... из передней. Довольно большую дверь — в нее можно войти не наклоняясь — загораживала вешалка, на которую немецкие гости и вешали свои шинели. От двери вниз вела лесенка в довольно просторное помещение, где и сейчас еще стояли топчаны и был электрический звонок. Когда доктор Хелена нажимала кнопку, все внизу замирало.

Сейчас, когда палаты богатого курорта уже официально превращены в партизанский лазарет, доктор Хелена продолжает там работать. Работает не покладая рук.

— А как, они сюда не придут опять? — спросила она.

Нельзя, просто бессовестно было обманывать эту мужественную женщину. Егоров ответил:

— Не знаю.

Она вздохнула, поправила свою прическу.

— Я ведь особенно не боюсь. Спрашиваю, чтобы узнать, нужно ли мне заготавливать вату, бинты, медикаменты.

Егоров утвердительно кивнул головой. Помолчали...

Бои, упорные бои шли на юге, на западе. Партизаны, в особенности партизаны первой бригады имени Сталина, дерутся, хотел было сказать, как львы, но точнее будет, как сталинградцы, как те, кто форсировал когда-то Днепр, кто участвовал в сражении Корсунь-Шевченковском.

По ночам воздух над Банска-Бистрицей гудит. Наши самолеты несут на аэродром «Три дуба» боеприпасы,

медикаменты, а на обратном курсе уносят раненых. Партизаны сражаются, но части словацкой армии действуют как-то инертно. Иные подразделения тают. Лучшие солдаты и офицеры уходят в партизаны, а те, что не крепки духом, разбредаются по домам. Неужели прав мой земляк Константин Горелкин? А я ведь не сумел выполнить его поручения и передать его предупреждение маршалу Коневу или в Москву. Как передашь?

В общем-то невеселые дела. Мы с Крушинским не виделись несколько дней. Бриться некогда. Он оброс рыжеватой бородкой, а мои усы отросли и, так как я ими не занимаюсь, обвисли, и я стал похож на киноактера Пата...

Мой тезка прислал с попутным нарочным записку: «Из Бистрицы не выезжай, есть серьезное дело». Невеселое, должно быть, дело. Немцы стали бомбить города, железнодорожные узлы. Вчера раскатали радиостанцию Банска-Бистрицы. Подожгли с воздуха больницу. Роскошные постройки курорта Слияч не трогают, наверное, берегут для себя, и потому раненых, которых становится все больше, везут туда. Наши самолеты уже редко летают на аэродром «Три дуба». Вчера улетел Крушинский. Улетел без меня, оставив записку с советом следовать его примеру.

Собственно, действительно оставаться в Бистрице смысла нет. Нет, это еще не крах. Штаб партизанского движения уже разработал план организованного отхода на восток под прикрытием горных хребтов. Шверма, у которого здоровье, говорят, еще ухудшилось, и Асмолов предложили сделать то же самое командованию словацкой армии, которая понемногу тает. Генералы Голиан и Виест отказались. Голиан говорит об этом с искренней печалью, потому что, кажется, сроднился с партизанским движением, поверил в него. Виест же, прилетевший сюда из Лондона, тучный румяный человек, принявший командование от Голиана, еще недавно в беседе с Крушинским и со мной развивавший план ведения наступательной войны, считавший, что армии вредно контактоваться в своих действиях с необученной, не одетой в форму толпой, этот карманный военный, знающий войну только по сводкам да по старым боевым уставам, по-видимому, сознательно держит курс на то, чтобы распустить армию, и, во всяком случае, не мешает ее самоликвидации.

Увы, так обстоят сегодня дела.

Побывал у Карола Шмидке. За эти дни он так исхудал, что глаза за стальными очками стали почти круглыми, как у филина, а веки набрякли и покраснели, как будто у него насморк. Однако и в этом состоянии он разговаривал спокойным, ровным голосом.

На столе вместо скатерти лежит карта. Кто-то опытной рукой наносит на нее каждый день обстановку. Обстановка тяжелая. Непрекращающиеся дожди в горах снизили темпы продвижения Красной Армии. Немецкие дивизии, наступающие по хорошим дорогам с запада и с юга, имеют возможность легко маневрировать. Повстанцами потеряно много городов и два важных железнодорожных узла. Моторизованные части наступают, несмотря на яростное сопротивление партизан. В районе Стечно страшный удар приняли на себя бригада имени Сталина и отряд француза Лекурьена, сформированный из военнопленных. Несколько дней они отражали атаки гитлеровских частей, и все же вынуждены были отступить — слишком неравные силы.

— Видите, какое наше положение?

Вижу, конечно. Вижу и слышу, ибо звук отдаленной канонады доносится уже до Бистрицы, так что стекла иногда дребезжат в рамах. И все-таки Шмидке говорит ровным голосом. Удивительное самообладание у этого человека!

— Это не поражение, нет.

Снимает очки и начинает их протирать. Глаза его будто сразу уменьшаются, становятся беззащитными, но голос по-прежнему ровный.

— Это не конец, это начало. Наш рабочий класс, наш народ приобрел навыки, закалился. Напишите в своей газете, расскажите советским товарищам, что в этих испытаниях мы избавились от многих иллюзий и выходим из них опытными солдатами. Передайте, обязательно передайте нашу благодарность маршалу Коневу, всей Красной Армии, без которой нам не поднять бы это восстание.

С тяжелым сердцем выхожу после этой беседы на улицу. Эвакуационная сутолока, царящая вокруг, напоминает мне августовские дни сорок первого года на нашем Верхневолжье. Урча, идут танки. Проносятся грузовики, набитые каким-то людом. Торопливо проходят воинские части. Бумажки порхают по мостовой вместе с золотыми листьями облетающих кленов. Эх, достать бы

машиненку да поехать к Алексею Егорову в его бригаду. Зря не полетел с Крушинским. Ну что ж, останусь здесь, буду воевать среди егоровцев, другого выхода, по-видимому, нет. И вдруг сзади:

— Бе Эн!

Ага, Николаев. Откуда он взялся? Мой тезка тоже оброс. И длинные, такие же, как у меня, усы, но в отличие от меня он напоминает украинского дядька пасечника, а не артиста Пата.

— Такое время, а ты не говоришь, куда едешь,— упрекает он и протягивает листок бумаги. Обычный листок из полевой книжки. Незнакомым четким почерком написано: «Немедленно передайте корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому приказ возвращаться в войска фронта. Организуйте отлет». Незнакомая подпись. Но я сразу догадываюсь, кто за ней скрывается.

— Ну что ж, организуйте.

— Уже организовал. Едем в «Три дуба». Последние словацкие самолеты перегоняют во Львов. Полетишь в одном из них на месте штурмана. Забирай свои манатки, и пошли. У меня машина.

— Но надо же проститься с местными товарищами.

— Им нужно твое прощание как рыбке зонтик. Штаб уже в Дановалах. Туда же на восток отходят партизанские бригады, и Лешка Егоров со своими ребятами тоже. Он прикрывает отход.

Уже по дороге Николаев рассказывает, что принято решение отойти в горы и продолжать борьбу. Голиан и Виест отказались уходить. Они, видимо, решили сдаться на милость противника. Я вспоминаю слова этого карманного генерала о том, что армии нельзя контактоваться с партизанами, о джентльменской войне. Вот что они означали. Ох уж эти лондонские стратеги!

— Пусть суют голову в петлю. Это, в конце концов, их право, — говорит Николаев и добавляет: — Дурак, старый дурак.

В «Трех дубах» меня просто впихивают на штурманское место в одном из самолетов с опознавательными знаками словацкой армии, который словацкий же летчик должен вести во Львов. Это немецкий самолет «Ю-87», самолет-штурмовик из тех, что в нашей армии зовут лаптежниками. Сколько раз за годы войны мне приходилось отлеживаться в воронках и кюветах под пронзительный вой пикирующих лаптежников, и никогда даже не

приходило в голову, что настанет день и я буду лететь на одном из них. Отличный самолет. Он не взлетел, а как-то сразу сорвался со взлетной полосы, мелькнули мимо деревья, штабеля железных бочек, вкопанные в землю цистерны, и вот мы уже над горами, окрашенными во все оттенки теплых тонов. Горы. Серые нити дорог. А по ним движутся, растянувшись на многие километры, людские потоки: партизанские бригады уходят в чащу горных хребтов.

Но что это? Внизу творится что-то неестественное. Автомашины с разгону срываются с дороги в обрывы и, перевертываясь, летят в пропасть, где белеет быстрый горный поток. Одна за другой, одна за другой. Только когда странная картина эта уже осталась позади, я начинаю понимать, что там творилось: это же партизаны сбрасывают свою боевую технику в пропасть, чтобы она не досталась врагу.

И все: и горы, и дороги, и людские потоки на них расплываются, начинают терять очертания. Отворачиваюсь и смотрю будто бы в сразу затуманившееся стекло, чтобы летчику в зеркальце не было видно моего лица. Негоже, чтобы словацкий офицер видел плачущего советского командира. Снова вспоминается утренняя беседа с усталым человеком в больших круглых очках.

Что же, что это все значит — конец или начало?

СТРАТЕГ ИЗ ЛЬВОВСКОЙ КОМЕНДАТУРЫ

Я давно уже заметил, что многие кадровые офицеры, оторванные тыловой должностью от текущих боевых дел, страшно любят воевать по карте. Комендант Львова, перед которым я предстал, исключения не представлял. Боевой офицер, китель которого пестрел орденскими ленточками, усадил меня в кресло на львиных лапах, приказал дежурному никого без крайней надобности не пускать, достал из сейфа свернутую карту, на которой со штабной тщательностью была обозначена линия фронта, и стал посвящать меня в то, что творится сейчас в войсках Первого Украинского.

Честно говоря, мне было бы больше по душе, если бы он предложил мне с дороги ужин или хотя бы «ворошиловскую дозу». Ужин, правда, был обещан. Но на первое была подана все же лекция о нашем наступлении.

Вдруг где-то на середине беседы комендант прервал рассказ странным замечанием:

— Я ведь почему разговорился? Я вас, военных корреспондентов, уважаю. Есть вас за что уважать.

И тут вдруг ошеломил меня новостью: на днях ему пришлось хоронить одного из моих коллег, фотокорреспондента «Известий» капитана Павла Трошкина. Это был один из самых боевых военных журналистов, известный своими снимками еще в дни сражений на Халхин-Голе и озере Хасан. Трошкин возвращался из Бухареста, который был недавно взят войсками Второго Украинского фронта, и на дороге между Колымыей и Станиславом попал в бандеровскую засаду. Не растерялся. Принял бой. Его так и нашли у простреленных колес машины, где он лежал, отбиваясь от противника. Пуля пробила сердце.

— Я похоронил его с почестями,— рассказывал комендант.— Над могилой трижды дали траурный салют. Так мы хороним только героев,— и, добавив: — Опасная у вас профессия,— вернулся к карте и стал объяснять обстановку на фронте.

За время моего отсутствия «пятачок», на котором я когда-то побывал, превратился в мощный плацдарм, имеющий по фронту около семидесяти пяти, а в глубину до шестидесяти километров. Район этот густо порос лесом. Лес подступает на карте к голубой жилке реки, а через эти зеленые массивы на запад, на север и в южном направлении от большого города Сандомира тянутся, повидимому, удобные дороги.

Очертив на карте плацдарм, стратег из львовской комендатуры торжественно сообщил:

— Все эти леса сейчас битком набиты войсками, техникой. Я сюда, во Львов, из Сталинграда дошел. Такой концентрации даже в Сталинграде ни у нас, ни у немцев не было... Тысячи танков и самолетов, десятки тысяч орудий, в том числе и самой большой мощности. Чуете, что назревает, а? А эшелоны все идут и идут. По десятку эшелонов наш узел в день пропускает.

Все, что он говорил, было интересно, а главное, очень мне нужно, но есть хотелось страшно. Отыскал в кармане какие-то крошки, положил их в рот, стараясь демонстративно жевать, но увлеченный стратегией собеседник этого не замечал.

— Вы знаете, что, по-моему, это означает?.. Конев задумал удар на Берлин.

— Но ведь на Берлин нацелены войска соседа. Белорусский фронт. Недаром командование им передано маршалу Жукову.

— Недаром. Но ведь Берлин огромный город, брать его будет нелегко. Вы говорите, знаете Сталинградскую битву. Ну вот, как помните, и его освобождали силами двух фронтов. А ведь Берлин побольше Сталинграда.

Я смотрел на карту. За фронтом Сандомирского плацдарма лежали Радом, Ченстохова. Ниже, уже за Одером, огромный город Бреслау, южнее Дрезден. Берлин был значительно севернее, как раз против плацдарма Первого Белорусского фронта.

— Это так,— согласился собеседник.— Однако какой же командующий сейчас не мечтает участвовать во взятии Берлина. А вы нашего Конева знаете. Да и кто может предугадать, как развернутся дела. Война ж.

Тут я вспомнил о дорожном указателе, стоящем на старой площади Львова.

— А сколько до Берлина от кромки Сандомирского плацдарма?

— Сейчас прикинем,— охотно согласился собеседник. Достал из стола линейку, циркуль, поколдовал с ними.— По прямой выходит почти шестьсот. За два месяца треть пути прошли.

Я как-то незаметно для себя взял со стола у коменданта кусок печенья и начал грызть. Это он заметил.

— Позвольте, а вы обедали?

— В последний раз ел в Банска-Бистрице, часов восемь назад.

— Ай, яй, яй, а я тут воюю. Ну сейчас двинемся ко мне. Вы у меня и поедите, а машину вашу вызовем прямо к моей штаб-квартире.

Комендант жил в богатой адвокатской квартире, где до освобождения Львова обитал какой-то видный коллаборационист, работавший в управлении немецкого гебитскомиссара, бежавший с гитлеровскими войсками. В роскошном жилье этом все было покрыто мохнатым слоем пыли. Комендант с солдатской скромностью разместился в комнате для прислуги, спал на госпитальной койке и трапезовал на кухонном столе. Хозяйствовал у него молодой украинский хлопец с таким пылающим румянцем на лице, что хоть прикуривай от него. Получив команду

приготовиться к приему гостя, он к нашему приходу шикарно развернулся. На кухонном столе на листках газет стояла горилка с перцем. В граненой хрустальной вазе — консервы «второй фронт». В супной миске севрского фарфора парил суп из горохового концентрата. Не бог весть какая еда. Но с голоду она показалась мне вполне достойной роскошной посуды. Я ел и пил, а перед глазами все время стояла одна и та же картина: эти будто бы сбесившиеся машины с ходу бросаются с откоса и, кувыркаясь, летят в пропасть, где белеет горный поток.

А потом была отличная горячая ванна, в которой, признаюсь, пришлось менять воду раза три. Мягкая кровать и чистейшее белье голландского полотна с монограммами, так хитро вышитыми, что переплетение букв как бы сливались в графскую корону. Я уже стал засыпать, когда в дверь постучали. Ну конечно, это был хозяин. Он появился в трусах и стоптанных тапках на босу ногу.

— Не спите? А я вот все думаю о нашем разговоре. Я ведь Конева знаю еще по Второму Украинскому. Во время Корсунь-Шевченковского побоища полком командовал. Он ведь хитрый, Конев. Помните, как он вдруг на север завернул и этого самого Штеммермана со всей его группировкой накрыл, как шляпой. И сейчас вот у Сандомира недаром он такой кулачище собирает. Что-то такое особенное он там задумал.

Характерно, что о Словацком восстании, о его судьбе мой собеседник спросил только вскользь и то лишь в связи с тем, что, по его мнению, группе словацких самолетов, с которой летел и я, повезло, так как на эти немецкие по своему силуэту машины чуть было не обрушили огонь все батареи противовоздушной защиты Львова.

«ГОТОВЬТЕСЬ К БОЛЬШИМ ДЕЛАМ»

В отличие от коменданта-стратега командующий фронтом маршал И. С. Конев проявил к восстанию, его силе, его кадрам, к его судьбе большой интерес. Попросившись к нему на прием, я передал ему приветы от Яна Швермы, Карола Шмидке, передал их благодарность войскам фронта за деятельную помощь. Маршал был очень занят. Его адъютант подполковник Саломахин просил не затягивать визита и показал длинный список дел

и бесед, намеченных командующим на этот день. Но события, происходящие в тылу левого фланга фронта, маршала, несомненно, интересовали. Расспросил подробно о силах партизанских бригад, уходящих в горы, о настроении Шмидке, о здоровье Швермы, о поведении генералов Голиана и Виеста.

— Был и у нас тут один из Лондона. Его чехословацкое правительство, сидящее в Лондоне, определило командовать Особым чехословацким корпусом вместо генерала Свободы... Вместо боевого генерала... А он только на карте, не выезжая из своей штаб-квартиры, и умел воевать... Пришлось отстранить его к чертовой матери.

Как я убедился, по существу, я почти ничего нового не сообщил командующему. Он хорошо был осведомлен об обстановке там, в тылу врага, за гребнем Татр.

О предстоящей операции на Сандомирском плацдарме спрашивать не стал. У маршала, если повезет, можно было узнать, что было и как произошло, но никогда о том, что будет, что замышляется, планируется. Он сказал только:

— Мы не зря вас вызвали. Скоро у вас будет о чем писать.— И добавил: — Признаюсь, мне никогда за всю войну не приводилось сосредоточивать такую массу войск и техники.

Вспомнив коменданта-стратега, его мечту об участии нашего фронта в штурме Берлина, я все-таки спросил, не изменилась ли разгранлиния между фронтами, нет ли у командования такого намерения. Маршал скупо улыбнулся:

— Какой советский солдат не мечтает о штурме гитлеровского логова? Сандомирский плацдарм действительно является сейчас пистолетом, нацеленным в висок врага, но не пытайтесь забегать вперед времени. Учтите, что противник против нашего плацдарма выставил огромную силу. Весь этот район укреплен в несколько обводов — видите? — Он развернул одну из карт и показал разведанную схему немецких укреплений. — Немецкий солдат еще крепок, без приказа не отходит, соединениями, выставленными против нас, командуют очень опытные генералы. А ведь тут дело пойдет о немецкой земле. Умение будет помножено на фанатизм. Борьба предстоит жесточайшая. Поэтому не гадайте-ка вы на кофейной гуще. Пустое это для военного человека занятие. Никчемное.

Он со стуком положил карандаш на стол. Я стал прощаться. И уже вслед услышал наказ:

— Нет ничего вреднее, чем недооценивать силы врага. Но мы вас не зря вызывали: готовьтесь к большим делам.

За четыре года знакомства я привык взвешивать все, что говорил этот немногословный человек. Дважды повторенное «не зря вызывали», несомненно, означало, что скоро начнется крупная операция.

На нашу корреспондентскую штаб-квартиру я приехал уже поздно. Все материалы и в «Комсомольскую правду» и в Совинформбюро были переданы — так пока что мелкие материалы, как мы говорим, «сосульки», о местных стычках, воздушных боях, поисках разведчиков. Крушинский, обмотав щеку мохнатым полотенцем, маялся зубами — простудился в самолете на обратном пути. Пани Ядзя лечила его шалфеем. Шабанов под гитару исполнял ставший теперь уже необыкновенно популярным солдатский вальс «С берез, неслышен, невесом...». Майор Навозов и пан Чёсных пыхтели над шахматной доской.

Крушинский уже выяснил точно, что наш корреспондентский коэффициент полезного действия во время Словацкого восстания был равен коэффициенту полезного действия паровоза: пять процентов, не больше. У него прошло три корреспонденции, у меня две. Но друг мой не унывал, его теперь все больше захватывала мысль написать на этом материале роман. Нежно пестуя свою раздутую щеку, он вслух мечтал о том, как выведет он в этом романе и коварного попа ханжу Тисо, и Виеста с Голианом, и, конечно, Шверму, Шмидке, Егорова, Асмолова — всех этих колоритных участников восстания. Рассказывая, он позабыл боль и даже заулыбался.

— «Горный поток», а? Как? Отличное заглавие, просто чудесное. Оно мне еще там, в Бистрице, в голову пришло...

— И пусть же смерть в огне, в бою
Бойца не устрашит.
И что положено кому,
Пусть каждый совершит, —

с особой выразительностью пропел Шабанов, как бы утверждая идею романа «Горный поток».

Узнав о моем возвращении, зашел Виктор Полторацкий. Несколько дней назад по поручению своей редакции

он выезжал во Львов хоронить Трошкина. От него я узнал подробности трагического происшествия. Трошкин погиб, ведя бой с бандеровцами. Возле его тела валялась россыпь стреляных гильз. В происшествии этом была одна странная деталь. Обычно бандеровцы забирали у убитых документы, офицерскую форму. У Трошкина взяли только оружие и фотоаппараты. Залитый кровью партбилет находился в левом кармане гимнастерки...

— Виделся с командующим? Что он говорит? — поинтересовался Полторацкий.— Скоро начнется?

— На счет этого он ничего не говорит. Сказал только: вовремя прибыли. Это значит, пора нам, други, передислоцироваться на запад. Поближе к войне. Может, завтра и тронемся, как, хлопцы? А?..

— Нам будет без вас так скучно, паны офицеры, мы так полюбили вас,— пропела, узнав об этом нашем решении, пани Ядвига.

— Нам тоже, тем более что все мы до сих пор жалеем, что так и не удалось отведать обещанных вами домашних колбас и кабаньих окороков,— сострил, бреясь у зеркала, Крушинский.

— Давайте, хлопцы, тронемся завтра утром,— как бы подытожил наши намерения Навозов, безжалостно тесня противника на шахматной доске.

Ну что же — трогаться так трогаться. Словом, жизнь уже вошла в обычную колею, и недели, проведенные среди повстанцев Словакии, вспоминаются как некий странный сон. Жаль только, что Сашу Устинова не застал. Он где-то на Сандомирском плацдарме, а мне нетерпится поскорее проявить словацкие снимки. Я брал с собой фотоаппарат Петровича. «Настрелял» четыре кассеты. Но фотограф я жалкий, и вышло ли что-нибудь у меня, не знаю. А как хотелось, чтобы вышло!

Но капитана Устинова дома нет, и что у меня получилось на пленках, не знаю.

ВИЗУАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА

Поднявшись чуть свет, увидел во дворе Устинова уже за работой. Он, оказывается, проявил не только свои, но и мои пленки.

— Ну как, полный «прокол»? Пустые?

— Нет, кое-что вышло... Кое-что... Процентов десять получилось...

Это сказано было, разумеется, с иронией, но у меня сердце радостно вздрогнуло: целых десять процентов! Я принялся жадно рассматривать проявленные ленты. Шверма, Гусак, Асмолов, Егоров не получились. Шмидке вышел совсем неплохо — средневековый святой в круглых очках, а вожак хлопцев с Бативана — романтический «капитан» Троян просто хорошо. И некоторые сцены тоже не дурны. Пусть фотографии лучше, чем память, сохраняют картины этого героического и трагического восстания, пока что единственного народного восстания в тылу гитлеровских армий.

Два дня Петрович возит меня по частям, расположенным по кромке Сандомирского плацдарма. Действительно, войск в лесах напихано столько, что все семьдесят километров фронта кажутся единым, скрытым в лесах воинским лагерем. Строевые части, танки, артиллерия всех калибров — и ствольная и реактивная, саперы со своим сложным хозяйством, мостовики с громадными понтонами, наверное, сотни тысяч людей. И все скрыто, и не только с дороги, но и с воздуха вряд ли можно что-либо заметить.

Артиллеристы тоже применяют в этой подготовке новый метод. Это так называемые карты-бланковки. Эти карты составлены на основе разведывательных данных и розданы по всему участку будущего прорыва, вручены каждому командиру батареи. Кусок обычной жесткой бумаги, на которую разведчики нанесли все укрепления противника, систему его огневых точек, а для строевых частей обозначили первые объекты атак. Имея такую карту, командиры заранее знают цели первой очереди, цели второй очереди и заблаговременно примериваются к ним.

Второе, что характерно,— повсюду создаются штурмовые батальоны. Им предстоит идти в атаку сразу же за огневым валом, занимать первые траншеи.

Кочуя по этим батальонам, узнал и такое. Оказывается, здесь уже дважды побывал вместе с командиром дивизии, с командармом генерал-полковником Н. П. Пуховым и командующий фронтом И. С. Конев. Бойцы с удивлением, уважительно вспоминали, как ходили они по передовым траншеям, осматривали позиции, о чем-то спорили, разговаривали с бойцами. В этом я узнал старый конев-

ский принцип, которому он и следовал на всем боевом пути в этой войне. Принцип, нашедший себе столь убедительное выражение в дни Корсунь-Шевченковского побоища.

— ...Мы, старшие военачальники, перед наступлением должны сами весь передний край ползком обползать,— учил он тогда командиров.—Нужно все своими глазами увидеть, взвесить, оценить объекты атаки. По моему глубокому убеждению, такая вот пластунская рекогносцировка полезнейшее дело. Иные говорят, такая черновая работа на местности не нужна, это, мол, дело командиров низшего звена. Чепуха, вредная чепуха!.. Такая визуальная разведка прекрасно сочетается с оперативным искусством и укрепляет его...

То, что удивило солдат тут, за Вислой, я не раз уже видел на других дорогах войны. В часы штурма Калинина командующий находился на наблюдательном пункте, на холме у деревни Змиево, откуда можно было видеть наступающие части даже без бинокля. В горячие дни Корсунь-Шевченковской битвы он прилетел на самое узкое место перемычки, замкнувшей окружение немецких войск, в село Толстое, через которое летали снаряды, и оттуда руководил отражением контратак, в то время как гитлеровцы таранили перемычку с обеих сторон. Здесь было то же. Теория не расходилась с практикой.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Артиллерийское наступление — этот термин сравнительно недавно вошел в воинский лексикон. И вот сегодня тут, на Сандомирском плацдарме, мы, почти весь наш корреспондентский корпус, еще с вечера занявший места в огромной, добротно построенной конюшне, находившейся вблизи наших позиций, увидели, что означает этот термин в его жизненном воплощении.

Я пишу эти строки больше чем через сутки, а в ушах все еще стоит звон. И картины вздыбленной земли, вывернутых, подбрасываемых вверх бревен, досок, деревьев все еще мельтешат перед глазами.

Сейчас, когда пройдена уже вторая линия немецких укреплений и оборона неприятеля не только прорвана, но уже осталась в тылу наступающих войск, можно оценить и идею и подготовку этой операции. Тут поняли мы, что означают эти карты-бланковки, о которых я уже писал и

которые в этом наступлении сослужили большую службу и стрелкам и в особенности артиллеристам. Наступление в целом развернулось по фронту около семидесяти километров. И у каждого участвовавшего в прорыве звена была такая карта-бланковка. Каждый полк, батальон, батарея были сориентированы на строго определенные цели.

Каждое из многих тысяч орудий било в час прорыва не по площади, не по местности, а по своему, заранее разведанному, определенному окопу, блиндажу, опорной точке, по месту сосредоточения резервов, по мосту, дамбе, дорожному перекрестку.

Подполковник Дорохин с вечера подсказал место, с которого лучше будет наблюдать происходящее. К четырем часам ночи мы оккупировали эту роскошную графскую конюшню с узкими, как амбразуры, окнами в массивных кирпичных стенах. Здесь пахло теплым навозом, а на стенах меж окон висели портреты, да, не фотографии, а именно портреты каких-то особенно заслуженных скаковых лошадей.

Конюшня эта уцелела, вероятно, потому, что противнику и в голову не приходило, что кто-нибудь может находиться в этом легко обозреваемом месте на пригорке. Отсюда открывался широкий вид на сильно укрепленную немцами пойму небольшой речки. В пять часов взвились сигнальные ракеты, раздались мощные артиллерийские залпы. Под их прикрытием штурмовые батальоны бросились в атаку и после короткой борьбы овладели первыми траншеями. Не знаю, может быть, в этом-то и был замысел командования, потому что после первого огневого удара наша артиллерия вдруг стихла. Очевидно, решив, что наступательный порыв иссяк, противник открыл мощный ответный огонь и таким образом обнаружил свои огневые средства, которые тотчас же и были засечены.

Вот тогда-то и вступили в действие карты-бланковки, позволившие артиллерийским командирам через головы людей, занимавших первые траншеи, бить по вторым, бить по резервам, готовящимся к контратаке. Значение этих карт усугублялось еще и тем, что все кругом окутывал густой холодный туман, с неба валили хлопья липкого, набрякшего влагой снега, подушками ложившегося на стены, на деревья и тотчас же таявшего на земле. При наличии карт он, этот туман, не мешал, а, наоборот, несколько даже облегчал работу славных наших пушкарей.

Маскируя район наступления, он не ослеплял их. Они вели огонь не вслепую, а по картам-бланковкам.

И еще. Артиллерийское наступление шло как бы в несколько слоев. Небольшие и средние калибры били по первому и второму поясам вражеской обороны. Артиллерия большой мощности, включившаяся в этот орудийный хор, била по перекресткам дорог, по мостам, по местам сосредоточения ближних резервов.

Неприятель, разумеется, не дремал. Вел ответный огонь. Бросался в контратаки. Но прицельность артиллерии, по-видимому, все же дезорганизовала связь на его линиях, и неприятельские военачальники лишились возможности маневрировать силами и организовать отпор. Так это или не так, покажет допрос пленных, которых вчера взято немало. Среди них есть офицеры и, как говорят, даже один представитель высшего штаба. Но уже по результатам минувших суток ясно, что прорыв осуществлен и осуществлен в весьма широком масштабе.

Когда относительно рассвело, я говорю относительно, потому что день завязался серый, тусклый, какой-то матовый, мы пешком обошли участок прорыва. Такого еще я не видел ни в Сталинграде, ни на Украине. Все было как бы перепахано гигантским плугом. Проходы были уже разминированы, «обвешены», и в пролом густо входили войска. Тут мы опять почувствовали почерк Конева: во всех своих операциях, начиная с битвы за Калинин, он смело вводил в прорыв танковые соединения с приказом идти без оглядки в пробитую брешь, оставляя стрелковым дивизиям и корпусам расширять район наступления, очищать занятую территорию, а артиллеристам крепить фланги.

Все увиденное в этот день так захватывало, что мы забыли об усталости и даже о еде. С ночи, проведенной в конюшне, во рту не было ни корки хлеба, но ничего, мы как бы были сыты впечатлениями.

МАТКА БОСКА ЧЕНСТОХОВСКА

Операция развивается поистине молниеносно. Вряд ли гитлеровская армия, объединив под своими разбойничьими знаменами армии своих вассальных государств, когда-либо наступала такими темпами и с такими результатами, каких достигли войска фронта во второй половине

января 1945 года. После артиллерийского удара враг так и не оправился. Две танковые армии ворвались в проломы и, оставив позади все, что уцелело от немецких сил, понеслись вперед. Одна, держа курс на северо-запад, на город Ченстохова, другая — на север, в обход большого города Кельце, в лесах под которым когда-то я так безнадежно пытался завязать контакты с польскими партизанами.

Москва уже дала победные салюты и за Кельце и за Ченстохову, но освобождение этих городов я позорно прозевал, не отметив этих побед в моей газете ни строчкой. Прозевал по причинам уважительным. Однако вряд ли с ними посчитается мой строгий начальник генерал Галактионов. Обычно он не прощает своим корреспондентам таких «проколов». И виновата в этом моем «проколе», как ни странно... ченстоховская богоматерь, или, как ее называют поляки, матка боска Ченстоховска.

Наши танковые соединения, освободив Ченстохову, понеслись дальше. Стрелковые соединения за ними, естественно, не поспевают. Между двумя слоями наступающих войск образовалась незаполненная пустота, и вот в этом-то промежутке и движутся, отступая, остатки разбитых немецких частей. И, надо сказать, организованно движутся, правда, сторонясь шоссейных дорог и больших населенных пунктов. Словом, образовалось то, что на военном языке называется «слоеный пирог».

А тут разведчики принесли известие о коварной провокации, замысленной гитлеровским командованием и осуществленной какой-то эсэсовской частью. В Ченстохове существует знаменитый Ясногурский монастырь, а в нем вот уже много столетий хранится чтимая всеми католиками мира икона божьей матери, считающаяся чудотворной. Поляки с гордостью говорят даже, что это вторая по значимости святыня после раки святого Петра, хранимой в римском соборе. И вот разведчики сообщили, что эсэсовцы заминировали монастырскую церковь, в которой находится эта икона, заложив под нее огромный заряд взрывчатки с дистанционным взрывателем. Расчет такой. Когда в городе разместятся части Красной Армии, взрыв разворотит церковь и погребет реликвию. Вина падет на нас, и против нас обратится проклятье всего католического мира.

Маршал Конев, начавший свою военную службу с комиссарских постов, оценил все последствия такой про-

вокации. Опытный офицер, как раз тот самый подполковник Николаев, который только что вернулся от словацких партизан, получил приказ вылететь в Ченстохову. Приземлиться. Связаться с комендатурой. Мобилизовать любую проходящую мимо саперную часть, выставить у монастыря охрану, в монастырь никого не впускать, кроме саперов, разминировать церковь и сохранять строжайший порядок. Не знаю уж, простят ли меня в «Правде», но, пользуясь старой дружбой с Николаевым, я упросил его захватить меня в этот полет. Уже вдвоем мы уламывали опытнейшего пилота из эскадрильи связи штаба фронта забрать нас обоих. Уговорили, а потом, пока пилот со штурманом прокладывали по карте новую для них трассу до Ченстоховы, Николаев сообщил мне печальные вести.

— ...В горах на походе умер Ян Шверма. Доконал-таки его туберкулез. Вымокли мы там все. Одежда на ветру обледенела. На первой же стоянке, до которой мы добрались, в какой-то избушке лесорубов он, сбросив мокрое, грелся у огонька и все надсадно кашлял... Знаешь ведь, как он кашлял: отвернется, загородится ладонями, только и видишь, как плечи вздрагивают... Впрочем, продолжал работать, провел с Асмоловым совещание командиров, потом еще чем-то занимались. Лег спать поздно, а утром уже не встал. Можно сказать, на ходу умер. Хотели его тело нести, но где же? Дороги-то сейчас в горах окаянные, и самолет не вызовешь — кругом скалы... Там его и похоронили...

Не сразу оправился я от этой вести. Перед глазами сразу встал этот высокий человек с длинным худым лицом и пронзительным взглядом, с густым румянцем, болезненно пылавшим на висках и щеках. Этот Коммунист с большой буквы.

— А как Асмолов, Егоров?

— Как всегда в трудах. Скучать не приходится... Асмолов, между прочим, плакал, когда Шверму хоронили.

Я попытался представить себе плачущим этого знаменитого партизанского вожака — маленького, белокурого, в высокой, трубой, папахе, с мягким лукавством в глазах. Не вышло. С виду он был покладистый, с тихим голосом, но глаза всегда были тверды, как решения, которые он принимал, и команды, которые отдавал.

— И еще для тебя тяжелая новость: деревню Балажу, ту самую, что тебя по первости приютила, гитлеровские

каратели сожгли — партизанское селение. Всю, до последнего дома...

И мужчин, которых в ней застали, всех расстреляли. Даже подростков.

— А старчку Милан? Тот, что мне сапоги пожертвовал?

— Не знаю... Чего не знаю, того не знаю. Человек оттуда, догнавший нас в горах, говорил, что тем, кто был на лесосеке, все-таки удалось спастись... А был ли среди них твой Милан, сказать не могу... Ну не горюй, не горюй — война.

Но на этом тяжелые вести не исчерпывались.

— Генералы Голиан и Виест сдались немцам,— продолжал рассказывать Николаев. — И их обоих повесили. Впрочем, так надо было и ожидать. Вот она, «джентльменская война», на которую рассчитывал Виест. Даже не расстреляли, а повесили... Голиана-то, между прочим, жалко. Он был искренний человек и хороший словак. Да и этот лондонский стратег тоже по-своему честный солдат...

Оставив меня размышлять, Николаев заторопил летчика:

— Семен, а пора бы. Хватит над картой колдовать. Матка боска нас заждалась. Рассердится, погоду испортит, вот и кружи тогда.

Мы втиснулись вдвоем на одноместное штурманское сиденье, и самолет, немного потарахтев по земле, не без труда оторвал лыжи от мокрого, набрякшего снега. Вскоре мы пролетели над участком прорыва. Сверху он на довольно большую глубину напоминал поле, на котором неистовствовали какие-то гигантские кабаны. Деревья обезглавлены, изломаны, расщеплены. Потом пошла лесная чаща, и где-то примерно через полчаса полета увидели мы на дорогах, пробитых сквозь зелень, движущиеся на запад войска в чужой серо-зеленой форме. И было странно видеть, как при появлении маленькой нашей машины, которую немцы насмешливо звали «каффе-мюлле» — «кофейная мельница», солдаты сбегали с дорог, маскировались в кустах. В нас не стреляли. Это явно была одна из разбитых на Сандомирском плацдарме частей, что откатывалась вслед за нашими танками на запад. По привычке Николаев отметил местонахождение части на карте, хотя вряд ли у него была близкая возможность связаться из Ченстоховы со штабом.

Танкистов мы, разумеется, не догнали. Только видели все время следы их гусениц, они, эти следы, и вывели нас к Ченстоховой. Богоматерь, видимо, все же на нас рассердилась за опоздание: город был окутан оттепельным туманом. Он еле вырисовывался во влажной шевелящейся мгле, и, кружась над ним в поисках посадочной площадки, мы вдруг увидели шпиль колокольни, возникшей из мглы справа от нас. Крест был даже выше, чем мы летели. Подходящую площадку нашли за вокзалом. Сели. Помогли летчику развернуть самолет, раскрутить винт, а потом, взвалив на плечи рюкзаки, с автоматами в руках двинулись в город.

Право же, за линией фронта, в краю повстанцев, мы чувствовали себя спокойнее и увереннее, чем в этом освобожденном уже городе, в тылу нашей танковой армии, к которому двигались неприятельские группы. Однако до места добрались, комендатуру нашли. Красный флаг развевался над каким-то массивным зданием, похожим на склад, с толстенными, в метр, стенами и узкими, забранными железной решеткой окнами, из которых глядели два станковых пулемета, державшие под прицелом площадь. Комендант — молодой капитан, загорелый грузин — был в танкистском комбинезоне при двух револьверах, один висел у него спереди, а другой сзади. Казалось, он вылез из машины, только что побывавшей в бою,— так судорожно-напряженно было его лицо. Он знал, конечно, что неприятель приближается с востока, знал и готовился его встретить. Для того и поставил в амбразурах пулеметы, а внутри помещения в углах комнаты аккуратно сложил гранаты.

В комендатуру сначала нас не пустили. Комендант долго рассматривал нас в стекло двери, затем вышел к нам с расстегнутой кобурой на животе. Только тщательно проверив документы и полномочия Николаева, он подобрел, пригласил нас в свой кабинет — чулан со сводчатым потолком, где половину помещения занимал письменный стол на львиных лапах. Даже извинился за свою излишнюю осторожность.

— Хуже, чем в окружении, ей-богу. В городе ни нас, ни их. Это как во втором действии «Любови Яровой», а любители пограбить в таких обстоятельствах всегда найдутся. Здесь, доложили мне, появились власовцы. В нашей форме. У них от немцев задание грабить,

безобразничать, насиловать, чтобы потом все свалить на Красную Армию, потому я так в ваших документах и ковырялся.

Он был умница, этот танкист, в прошлом аспирант одного из тбилисских институтов. Выполняя приказ командующего, он уже взял под охрану культурные ценности этого древнего города. Икону Ченстоховской богоматери тоже охранял, выставив у ворот монастыря круглосуточный караул. Вошел в контакт с игуменом, приславшим к нему монаха-курьера.

— Как же вы с ним разговариваете? На каком языке?

— А на французском. Мы оба знаем французский. Но это так, для шику. Поляки, что постарше, в большинстве своем русский знают. А этот игумен хитрющий старик. Завести с нами добрые отношения ему выгодно... Насчет языковых контактов не беспокойтесь, у него там среди его павлинов есть такой брат Сикст, глубокий старик. Он по-русски лучше нас с вами чешет, этот старый павлин.

— Павлин? Что значит павлин?

— А они сами себя так называют. Они в ордене Святого Павла, вот и зовут себя павлинами. Этот Сикст на рояле играет и литературу русскую хорошо знает. Пушкина наизусть целыми стихотворениями шпарит.

Комендант понял значение возложенной на нас задачи. Приказал усилить охрану, сам повез нас к монастырю и по пути показал такое, во что мы нипочем не поверили бы, если бы сами не побывали на месте происшествия.

Ясногурский монастырь со своими тяжелыми средневековыми постройками, с изящной многоярусной колокольней, шпиль которой скрывался в тумане, расположен на горе, окруженный массивными стенами. Когда в этот город неожиданно нагрянули наши танки, командир какого-то немецкого подразделения пытался на этих стенах организовать оборону. Со стороны города, по склону холма ведет к монастырю широкая каменная лестница. Так вот, чтобы не дать противнику организовать на стенах оборону, головной танк разведки с ходу рванулся вверх по этой лестнице, одолел ее, протаранил массивные ворота и заставил неприятеля бежать.

Выслушав этот рассказ коменданта, мы с Николаевым переглянулись. Всякое видели мы на войне, но танк,

карабкающийся по лестнице, представить себе было трудно. Должно быть, перехватив эти наши недоверчивые взгляды, капитан указал нам па отчетливые следы, оставленные траками гусениц на ступеньках из известкового камня. Потом улыбнулся:

— Когда-то в Одессе Сергей Уточкин удивил весь мир, съехав на мотоцикле с потемкинской лестницы. Слышали, конечно, о таком факте? Так вот, о нем писали не только русские, но и все европейские газеты... А тут на танке вверх по такой лестнице! А ведь я вам даже фамилии экипажа собщить не могу — где его сейчас отыщешь, когда все в наступлении...

Настоятель оказался человеком очень респектабельной внешности и самых светских манер. Миссию нашу он высоко оценил и обещал всемерную помощь.

Нам здорово повезло. Через город на запад в этот день проходил парк мостовиков. Связались с их командиром, инженер-подполковником. Тот выделил нам в помощь старшего сержанта Королькова, по словам подполковника, «сапера милостью божьей», специалиста по разминированию. Корольков, худой, с какими-то соломенными усиками, будто приклеенными к его загорелому лицу, без особого труда отыскал место, где немцы заминировали алтарь, и толково расставил с лопатами целую команду павлинов, выделенную ему в помощь отцом настоятелем. Словом, дела наладились, устроились мы с комфортом, и комендант даже дал в отведенную нам келью нитку полевого телефона.

К нам же был прикомандирован этот самый образованный брат Сикст, действительно говоривший по-русски так чисто и красиво, как говорили интеллигенты прошлого века. Это был старик лет восьмидесяти. Высокий, прямой, с лицом, будто обтянутым пергаментом, на котором, однако, какой-то своей жизнью жили серые, быстрые, как мышки, глаза. Из-под рясы у него торчали худые ноги в каких-то невероятного размера полуботинках, похожих на клоунские башмаки. Наверное, для того, чтобы завоевать наши симпатии, он рассказал нам свою историю, весьма романтическую. В начале века он был преподавателем русской литературы и языка в аристократической женской гимназии имени императрицы Марии в Варшаве. Играл на рояле, пел. И тут черт его дернул увлечься ученицей старшего класса родовитой панночкой

графского звания. Она ответила ему взаимностью. Разыгрался скандал. Молодого учителя с треском вытолкали из гимназии. Его возлюбленную отправили в Париж, где срочно выдали замуж за какого-то обнищавшего французского аристократа. Незадачливый учитель пошел в монахи и при пострижении принял имя Сикст. Ну чем не сюжет для сентиментальной оперетты Кальмана?

Не знаю уж, выдумал ли брат Сикст эту историю или она произошла в действительности, бог его знает. Но одно было несомненно: он был русофил, говорил по-русски с изяществом и ради нас даже проявил свои музыкальные способности. В малой церкви монастыря стояла фисгармония. Аккомпанируя себе, он приятным голосом спел нам сначала «Аве Мария», потом «Варшавянку» и наконец... «Очи черные».

Наша миссия чрезвычайно осложняется тем, что в трапезной монастыря лежат на излечении немецкие раненые. Братия лечит их, по мере умения. Рвут свои простыни и наволочки на бинты. Щиплют бельевую ветошь, делая из нее перевязочный материал, который они называют «корпией». Так вот, когда мы познакомились с игуменом, первое, о чем он нас попросил, было... не расстреливать этих пленных. Мы сначала удивились, потом даже обиделись: разве русские когда-нибудь расстреливали раненых и в первую мировую и в эту войну?

— Нет, нет, паны офицеры, мы знаем, сколько зла причинили вам германцы, знаем, что это зло нельзя простить, что кровь ваших, пролитая на просторах России, взывает к мести. Но умоляем вас именем Христа всемогущего и божьей матери: будьте милосердны.

Мы были милосердны по мере возможности. Но, так как среди немецких раненых были и ходячие, прыгавшие на костылях, пришлось поставить часового и у двери трапезной.

Понемногу дела налаживались. Сержант Корольков установил, где именно заложена взрывчатка. Установил, что это авиационные бомбы и что их немало. Опасаясь, что помимо дистанционного взрывателя, немецкие саперы поставили мины-ловушки, он решил вести раскоп так, чтобы подойти к минам, так сказать, с тыла. Сейчас павлины, заткнув за пояс полы своих ряс, с отменным усердием копают землю и разбирают фундамент, а Корольков наблюдает за работой и отдает команды, которые как ни странно, монахи понимают.

— Отойдите вы, пожалуйста, от греха подальше,— мрачновато сказал он нам с Николаевым.— Наше дело такое: всю войну со смертью под одной шинелкой спим. Этим «братьям»,— он с усмешкой показал на своих монастырских помощников,— им бог помогает, а вам к чему рисковать... А мины-то он, сволочь, точно под алтарь подложил, под самый контрфорс с расчетом на эту икону.

— А вы ее видели?

— Ну как же не видеть, первым делом сходил глянуть, из-за чего головой рискую. Жиденькая, между прочим, эта богоматерь. Старая какая-то. У нас в селе в церкви и то красивше намалевана, ей-ей.

Мы с Николаевым переглянулись. Впечатление сапера о знаменитой иконе вполне совпадало с нашим. Образ мадонны, этого воплощения юной чистой красоты, населяет все храмы христианского мира. Среди них Ченстоховская, по-моему, самая будничная — усталая немолодая женщина с темным изможденным лицом, прижимающая к себе, как кажется, не сына, а внука. К тому же шрам на щеке. Икона старинная. Риза на ней поразительной чеканки, и она, и все вокруг усыпано алмазами и драгоценными камнями, сверкающими в полумраке, из которого икону высвечивает желтое мерцание множества восковых свечей. Но все это не сообщает ей обаяния. Просто не понимаю, в чем сила, которая в течение многих веков привлекает к ней сонмы паломников чуть ли не со всего мира. Признаюсь, мы с Николаевым, бывшие комсомольцы и, разумеется, безбожники, на долю которых неожиданно выпало участие в спасении этой религиозной святыни, уходили от иконы разочарованными: как предмет искусства она, по нашему, не очень, конечно, компетентному заключению, большой цены не имела.

Сикст, должно быть, получил от отца настоятеля наказ всячески опекать и ублажать нас, ну и, вероятно, наблюдать за нами. Он неотступно следовал по пятам. А вечером, после того как Николаев, проверив ход работ и осмотрев посты, возвратился, мы нашли в моей келье на столе еду и питье в каких-то затейливых графинчиках — монастырские настойки бог знает каких давних годов. Со вкусом пообедали, но к графинчикам прикасались осторожно. Заметив это, наш опекун по-своему по-

нял такую скромность и, чтобы показать, что питье не отравлено, лихо хлопнул по стопке из каждого графинчика. Это были сладкие, ароматные напитки, отдаленно отдававшие то черной смородиной, то малиной, то рябиной, но знакомые запахи заглушал в них аромат неведомых трав.

Напитки оказались довольно крепкими. Святой отец — глаза у него заблестели, замаслились — разболтался.

— Мы с вами элита. Соль земли, братья по духу,— заявил он вдруг, когда Николаев ушел проверить ход работ и мы с ним остались одни. Он, очевидно, исключал моего друга из этого сословия.— Вы ведь атеист, да? Все вы атеисты... В бога не верите? Совсем не верите? Ну, знаете, напрасно, вы очень обеднили этим свой мир. Но это ваше дело. Не смею спорить. Я тоже не верю в этих деревянных богов, в эти ярмарочные святые чудеса. В этом монастыре я сорок лет и до сих пор никак не привыкну видеть, как мужики и бабы, крестясь и шепча молитвы, на четвереньках подползают к иконе. Отрыжка средневековья... Но матка боска,— он наклонился ко мне и, дыша в ухо ароматом настоек, зашептал: — О, это совсем другое. Вам она не показалась, нет?

Старик не слышал, не мог слышать нашего разговора с сапером Корольковым, при нем мы об иконе вообще не говорили. Как только он догадался?

— Нет, отчего же,— дипломатично промямлил я.— Просто не разбираюсь я в иконах.

— Не понравилась,— упрямо твердил он.— Не понравилась и не могла понравиться, потому что вы ее не видели, потому что она не хотела вам показаться.

— Как это не хотела показаться? — внезапно спросил Николаев, тихо возникший в дверях и слышавший последние слова. Он был прямо с улицы, на ресницах его сверкали растаявшие снежинки.— Как это так не показалась? — настаивал Николаев, и в узеньком карем глазу его, в том, который был поуже вследствие контузии, запрыгали веселые чертики.

— Она не показалась нам, потому что мы безбожники, да? Как это несправедливо с ее стороны. Религиозные фашисты, у которых на пряжках ремней написано «С нами бог», хотели вон ее уничтожить — и она им ничего не сделала. Безбожники, рискуя жизнью, ее спасают, а она им, видите ли, не желает показываться.

Где же справедливость, святой отец? Наоборот, мы вправе рассчитывать на самый радушный прием с ее стороны... Кстати, у ваших евангелистов были более широкие взгляды, чем у вас, Сикст. Иисуса-то Христа, по их легенде, открыли иноземные волхвы, наверняка безбожники. Они ведь не были ни иудеями ни, конечно, христианами, ибо христиан тогда не существовало. И потом волхвование — это самая безбожная профессия. Так ведь выходит по вашему Святому писанию?

— А вы знаете Святое писание?

— Знаю,— ответил Николаев.

Брат Сикст заерзал на стуле, поднялся.

— Пардон. Я должен поговорить с отцом настоятелем,— сказал он.

— Сидите. У вас игумен администратор что надо. Ему докладывать нечего. Ваши павлины к нему через каждые десять минут бегают информировать... Он в курсе...

Брат Сикст с видимым удивлением смотрел на безбожника, знакомого с религиозными легендами.

— На все воля всевышнего,— заявил он не очень уверенно.

— А тридцать шесть авиационных бомб, заложенных под алтарь, которые сейчас ваши монахи извлекают из-под собора, это тоже по его воле?

— Что, уже раскопали минный заряд?

— Раскопали. Обезвредили. Сейчас ваши павлины вытаскивают бомбы из-под алтаря,— и, обращаясь ко мне, Николаев пояснил: — Там их уже целый штабель лежит, этих бомб. Если бы взорвались, тут бы и кирпичей не собрать. Ух, молодец этот старый солдат. Я его данные записал.

— Так взрыва не будет? — сложив сухие руки на груди, наш собеседник, глядя на стоявший в нише стены крест, творил молитву. Потом снова попытался встать.— Нет-нет, об этом я должен доложить отцу настоятелю. Сейчас же. Как имя этого вашего солдата?

— Константин. Молитесь за раба божьего Константина,— усмехнулся Николаев.—Без него никакой бы бог вам не помог и не видать бы вам вашей церкви. Мы этого Константина к ордену представим, а вы молитесь себе, вреда ему от этого не будет. Спасая вас, действовал по Писанию: отдай живот свой за друзи своя... Или у вас, у католиков, этого в Писании нету?

Последняя рюмка явно оказалась для святого отца лишней. Он как-то сбросил свою интеллектуальность, сидел, выставив из-под рясы ноги в клоунских башмаках, добродушно улыбался и уважительно поглядывал на нас.

— Пардон, миль пардон, господа. Имею срочную физиологическую надобность.

Он вышел нетвердой походкой. Николаева монастырские наливки не взяли. У него был озабоченный вид. И в самом деле, несколько тонн бомб с неразряженными взрывателями лежат возле самой церкви. В госпитале — раненые немцы, а где-то там лесами идут и, может быть, приближаются к городу разбитые неприятельские части, которые мы видели с самолета. Связь только с комендатурой. И сил никаких, кроме тех ребят из танкового десанта, которых выделил нам комендант.

— О чем он тут тебе брехал? О чудесах каких-то? Хитрый, между прочим, старчина. А в общем-то симпатяга. Так о чем он?

Я рассказал. И когда Сикст, по-видимому, справив свою «физиологическую надобность», вернулся к столу, Николаев, глядя ему в глаза, спросил:

— Ну, святой отец, расскажите-ка, как ваша богоматерь показываться умеет.

К удивлению нашему, брат Сикст с готовностью встал.

— Пойдемте. Не берите шапки, через двор идти не придется.

Но все-таки мы пошли через двор, где, властвуя над всем, светил щедрый месяц. У главного храма трудились монахи. Сказав часовому пароль, мы открыли дверь и вошли в полутьму, освещенную десятками мерцающих свечей, выхватывающих из мрака пьедестал, на котором, сверкая драгоценным окладом, стояла знаменитая икона.

НЕМНОГО МИСТИКИ

В темноте храма, пропахшего воском и мышами, виднелись несколько монашеских фигур, стоявших в молитвенных позах. Они созерцали икону, но выражение лица у ближайшего к нам немолодого коренастого розовощекого монаха было отнюдь не молитвенное, а какое-то восторженно-возбужденное.

Наш провожатый поставил нас в отдалении от иконы.

— Глядите на нее, глядите и старайтесь ни о чем не думать. Забудьте, где вы, кто вы и зачем вы здесь. Просто стойте и смотрите.— Брат Сикст уже проветрился по дороге. Говорил связно и даже напористо.

Мы постарались воспользоваться его советами. Но против воли всяческие мысли лезли в голову. Этот неведомо что сулящий нам «слоеный пирог» из воинских частей, эти бомбы, лишь чудом не взорвавшиеся, и этот высокий старик со своей романтической историей — было о чем подумать. Но усталость, а может быть, и замысловатые настойки брали свое. Я было начал дремать, но что это? Раскрыл глаза. Икона, во всяком случае, лик и рука богородицы будто бы покрылись туманом, растаяли, а потом из тумана стало прорисовываться другое лицо: округлое, совсем юное.

Оно проступало не сразу, как бы отдельными частями — сначала губы, брови, потом нос, глаза, прядь волос, выглядывавшая из-под оклада. И вот уже совсем иной образ смотрел на нас из искрящейся бриллиантами ризы. Оклад, риза, ребенок — все это осталось, как было раньше, а вот сама богородица неузнаваемо изменилась.

Она не была похожа ни на одну из известных богородиц или мадонн, не напоминала ни одну из картин итальянского Возрождения, и если что-то и роднило ее с теми образами, то это черты человеческой чистоты. Это была смуглая девушка ярко выраженного восточного типа, девушка лет пятнадцати, шестнадцати. Здоровье, физическое и духовное, как бы проступало сквозь смуглоту кожи. Продолговатые глаза, большие, миндалевидные, несколько изумленно смотрели на нас, а пухлые, неплотно сомкнутые губы вызывали отнюдь не религиозные эмоции. Мне почему-то пришло в голову, что девица эта походила на Суламифь, и не из Библии, а в интерпретации известного рассказа Куприна.

Кто-то тихо пожал мне локоть. Николаев смотрел на меня, и лицо у него было несколько растерянным.

— Ты что-нибудь видел?

— А что?

— Чертовщина какая-то.

Мы оглянулись. Сикст стоял возле все в той же позе и, как казалось, даже дремал. Фигуры монахов будто растаяли. Так же потрескивали свечи, освещавшие лик богоматери, немолодой, измученной заботами женщины, прижимавшей к себе ребенка.

— Что ты видел?

— А что ты?

— ...Может быть, господа офицеры желают спать, ведь у вас был такой тяжелый день,— сказал Сикст, будто и не слышавший наших удивленных восклицаний.

Мы вышли из храма. Снег совсем прекратился, и луна, светя в полную силу, заливала все подворье. В фиолетовом ее свете как-то особенно красиво выделялись пухлые белые подушки, покрывавшие с подветренной стороны сучья и стволы деревьев, стены храма, штабель пузатых мин. Сержант Корольков сидел на этом штабеле и курил, а его монашеская команда теснилась возле, напоминая стайку грачей. При виде нас он вскочил, лихо откозырял. Монахи тоже вдруг вытянулись. Сразу стало видно, что он недаром провел с ними время.

— Разрешите доложить, разминирование закончено. Тридцать шесть авиабомб извлечены и разряжены. Отысканы два взрывателя, один ударный — ловушка в лазе, другой химический, с дистанцией дней на десять. Вот они.— Он показал на два каких-то прибора, лежавших в сторонке на доске.

Брат Сикст томился возле нас, дрожа от холода.

— Идите-ка вы спать, отче. Мы сами найдем дорогу. Нам больше ничего не нужно,— сказал Николаев.— Спасибо за угощение и помощь.

Монах не очень охотно, но послушался. Ушел.

— Задание выполнил. Разрешите продолжать следование? — продолжал сержант.— Неохота от наших далеко отрываться.— Глаза сапера смотрели устало, но весело.

— Ну что ж, Корольков, спасибо от лица службы, а потом командование вас обязательно поблагодарит. Ступайте.

— Вы бы, товарищ подполковник, замполиту записочку написали, а то ведь я вдруг собрался-то, по устному приказу, без аттестата. Аттестат — шут с ним, харчей они мне на дорогу под завяз отвалили, а вот спрашивал табаку, табаку у них нет.

Солдат выполнил приказ, и какой приказ! Совершил свое чрезвычайно опасное дело, которое в некотором роде было уникальным. Но явно не видел в этом ничего особенного. Спас своей храбростью, своим умением величайшую католическую реликвию, а озабочен, видите ли, только отсутствием табака.

Очень, ну очень напоминал мне Константин Корольков другого сапера, Николая Харитонова, о котором я писал когда-то в свою газету в очерке еще из-под Ржева. Тот, спасая наш танк, наступивший шпорой трака на мину-тарелку, каждое мгновение могущую взорваться, как говорят саперы, бок о бок со смертью пролежал возле машины несколько часов, дыханием растапливая снег под миной, осторожно рукой подкапывая ее. Потерял за эти часы не один килограмм весу и заработал себе седые виски.

Николаев отдал Королькову свои папиросы и сказал, что направит в его часть соответствующую телеграмму.

Потом мы проверили посты у ворот, поговорили с караулом у входа в зал трапезной, где лежали раненые немцы.

— Сперва они все на меня глазеть вылезали, приоткроют дверь и глазеют, теперь нагляделись, бросили,— сказал часовой.— Успокоились.

Когда возвращались в свои кельи, Николаев вдруг спросил:

— А что ты видел?

Я ответил и спросил, что видел он.

— Молоденькая, пухлявая, лет шестнадцати? Красивая девчонка? Все как надо: и брови, и зубы, и губы. Хороша?

— Да.

— Вот что,— сказал он решительно.— Давай зайдем еще раз глянем. Может, у них там какой-нибудь секрет. Может, проекционный аппарат, через который они туманные картины наводят. Ведь она не сразу появилась, да? А вроде бы из тумана?.. Религия у них хитрейшая, фокусники, мастера стряпать всякие там реликвии — гвозди из креста Иисуса, волосы из бороды святого Николая.

Перед тем как войти в храм, спросили часового, дрожащего от промозглого холода:

— Там кто-нибудь есть?

— А шут их знает, они каким-то своим ходом ходят. Никто не входил, не выходил, а были. Это точно, были...

Храм был пуст. Мерцали свечи, сверкали драгоценные камни. Пожилая женщина со шрамом на щеке прижимала к себе ребенка, похожего на куклу. Осмотрели все, что было напротив икон, обшарили колонну, никаких отверстий, откуда можно было бы бросить на икону

луч, не нашли. Может быть, это отверстие ловко закрывалось? Я подставил спину. Николаев влез на нее, ощупал колонну. Отверстия не было.

Обошли пьедестал иконы, осмотрели ее, так сказать, тыловую часть. Она была прикрыта белым шелковым пологом, на котором лежала густая пылища, видимо, к пологу никто не притрагивался. Оставалось лишь предположить, что мерцание бриллиантов на окладе и на всяких там сердечках и драгоценных фигурках, которыми была как бы обложена икона, в дрожащем освещении свеч, может быть, загипнотизировало нас. Может быть. Но тогда почему мы увидели одно и то же? Или нас гипнотизировал этот монах, глаза у него действительно пронзительные не по возрасту. Но он же вроде бы дремал, на нас не смотрел. Да и стоял не напротив нас, а рядом.

Ничего не поняли. Попробовали повторить все сначала — не вышло.

— Все-таки они, должно быть, похитрее нас. Что там ни говори, а за плечами у католицизма не одна тысяча лет. А может, она на нас за наше неверие обиделась, а? Дамы — народ обидчивый, — сказал Николаев, когда мы выходили из церкви.

— Девушка,— поправил я.

— Ну девушка. Хорошенькие девчата еще обидчивее, чем женщины... А до чего ж хороша! Так вот перед глазами и стоит и даже вроде бы чуть-чуть улыбается, и зубки белеют. А ты заметил, с каким выражением на лицах смотрели на нее монахи. — И вдруг сказал: — А может, этот старый черт дурманом нас каким-нибудь угостил?.. Ну пошли, утро вечера мудренее.

Старший сержант Корольков бодро шагал нам навстречу, направляясь к монастырским воротам. На спине у него горбом топорщился битком набитый солдатский сидор.

— На целую команду харчей дали,— весело сказал он.— И еще вот это мне главный-то ихний отвалил за особые заслуги.

Он достал из внутреннего кармана шинели маленькую живописную копию с иконы. Матка боска Ченстоховска. Довольно хорошая копия. А сзади к ней был прикреплен кусок старого шелка.

— Это, он сказал, от фаты ее, что ли. Вон те ребята говорят,— он показал на братьев павлинов, закапывающих

возле собора яму, из которой были вытащены бомбы.— Они говорят, что грехи теперь мне отпустились, а какие у солдата грехи? Дома еще иной раз к какой-нибудь вдове чай попить пожалуешь, а тут иностранные бабы, как с ними договоришься?

При прощании с отцом настоятелем мы с Николаевым тоже получили по копии знаменитой иконы и по куску шелкового полога. Но об отпущении грехов сказано нам ничего не было.

В РЕЗИДЕНЦИИ ПОЛЬСКИХ КОРОЛЕЙ

Пока мы выручали из беды матку боску Ченстоховску, за стенами монастыря совершалось действительно чудо. Чудо военного искусства. Тот самый смелый ввод двух танковых армий в пробитую артиллерией брешь замечательно себя оправдал. Войдя в нее, танкисты решили сразу две задачи. Их развернули направо и налево. Войска «правой руки», как говаривали в старину, освободили город Кельце, предварительно обойдя его с юго-запада. Центральная ударная группировка, успешно наступая на запад, прошла далеко за Ченстохову. Армия «левой руки» быстро продвинулась и, к удивлению всего нашего корреспондентского корпуса, рапортовала об освобождении Кракова — древней столицы Польши, былой резиденции польских королей. При этом подполковник Дорохин, информировавший нас об этом, особенно подчеркнул, что этот красивейший город Польши остался почти целым, мало пострадал от авиации и артиллерии и войска наши, обложив город с двух сторон, заставили противника бежать, нанося ему удары уже на полевых просторах после того, как он город покинул.

Я посмотрел на карту сражений и опять увидел характерное для Конева решение задачи: охват, клещи, а главное, сражение уже за пределами городских улиц.

Когда-то перед началом этой операции, я застал маршала Конева за разглядыванием какого-то старого художественного альбома. Это оказался альбом с видами Кракова.

— Красивый город. Старый город. Надо бы нам спасти его от разрушения,— сказал он.

И вот, оказывается, спасли.

Разумеется, все мы тремя машинами, Крушинский, Александр Устинов и я, двинулись в Краков.

Крушинский человек предусмотрительный. Перед тем как выехать сюда, он, зная, что нам предстоит увидеть нечто интересное, приобрел у пана Чёсныка такой же художественный альбом видов Кракова, какой я видел на столе командующего. И не только приобрел, но и изучил этот альбом. И вот теперь он едет впереди корреспондентской колонны, держа на коленях развернутый альбом, как карту.

Дорога на подходах к городской окраине была еще не разминирована, саперы шарили по ней своими «ухватами», поэтому мы въехали в город с юга. И сразу же перед нами на холме возник массивный замок Вавель. Когда мы приблизились к цепному мосту, перекинутому через заросший захламленный ров, саперный лейтенант писал на стене: «Проверено, мин нет». Написал. Полюбовался. Добавил восклицательный знак и подписался: «Лейтенант Карпухин».

Мы спросили Карпухина, что в замке интересного и где именно.

— Каменный сарай,— пренебрежительно сказал он.— Холоднее, чем на улице. Как они там, эти бедные короли, жили. Вот только библиотека классная. Книги невероятной толщины и весом килограммов на десять.— И снова пожалел королей: — Как они, бедные, их читали, их не в раз и повернешь.

Как это ни странно, скептицизм молодого офицера оправдался. Обстановка была не то спрятана, не то украдена оккупантами. Из стен торчали крюки да гвозди. Лишь под одной из лестниц были свалены рыцарские доспехи. Свалены, как дрова. Мы рассмотрели их и подивились: ни шлемы, ни латы ни одному из нас не подошли бы. Все они были малы, из чего можно было заключить, что королевская гвардия была малорослой, хлипкой и что в смысле роста человечество с тех пор сделало несомненный шаг вперед.

Словом, знаменитый Вавель, сохраненный для Польши, не оправдал наших надежд. Зато на обратном пути повезло. В воротах мы повстречали старого поляка, учителя, хорошо говорившего по-русски, который, собственно, и стоял тут, предлагая свои знания и свои услуги нашим командирам, посещавшим крепость. Премилый старик рассказал, что при германцах жилось им лихо, мно-

го похватали, увезли, что сам он вынужден был работать в школе с тройной нагрузкой и при всем при том ему нечем было кормить своих трех дочерей. Предложенная ему банка консервов «второй фронт» вызвала на его глазах слезы благодарности.

— Вавель вас сейчас уже не интересует, ведь так? — И, снизив голос, сообщил: — Самое ценное мы перед войной закопали. Коллекции фарфора, гобеленов, полотна нашего Матейко. Остальное гитлеровцы растащили. Просто питекантропы какие-то эти эсэсманы. Гобеленами покрывали лошадей, уникальными мечами кололи лучину.— И еще тише: — Они ведь и всех нас, поляков, хотели истребить и очистить нашу землю для своих колонистов. Увы, это так.

Да, счастье, что этот город удалось сохранить. Мы ехали по средневековым улицам, и спутник нам говорил: пятнадцатый век, шестнадцатый век, восемнадцатый век.

— Вот здесь, пожалуйста, остановите.

Мы вышли, и учитель торжественно заявил:

— Перед вами десятый век. Часовня Феликса и Адаукта. Жемчужина Европы.— И действительно можно было залюбоваться образцом великолепной архитектуры. Архитектуры строгой и в то же время своеобразной, неповторимой. Здание точно бы летело, устремленное в небо.

Потом старик повел нас в какой-то собор. Мы слышали свои шаги где-то впереди себя, и эхо старательно дублировало наши голоса, будто откликаясь нам откуда-то из-под купола. Отличные скульптуры смотрели на нас, но провожатый все вел вперед, не давая остановиться.

И вот мы оказались в какой-то боковой капелле и замерли в удивлении. Стены капеллы оказались покрытыми... фресками русских мастеров. Те же мотивы, те же извечные евангельские темы, но все такое российское. Будто бы сразу запахло родными лесами и березы зашуршали листвой в чинной полутьме чужого храма. Русские? Откуда? Что? Как?

— Да, да, паны офицеры, это русское. Польские короли были хорошими ценителями искусства, и они, вот видите, пригласили ваших мастеров расписать эту капеллу.

Не знаю, может быть, это и нехорошо, нечестно по отношению, так сказать, к хозяевам дома, но эти стены, расписанные фресками в стиле наших палешан,

показались мне самым ярким и самым интересным из всего того, что мы увидели.

Потом мы попросили нашего добровольного провожатого везти нас туда, где держал свой флаг наместник Гитлера в Польше Ганс Франк. Учитель довез нас до здания, украшенного шеренгой массивных колонн. Сопровождать нас туда он отказался: пусть паны офицеры извинят, там не будет его ноги. Простились с ним друзьями.

У здания генерал-губернаторства стоял наш часовой. Вызвали дежурного офицера, показали документы. Он не очень охотно повел нас. «Ничего занятного нет. Контора как контора. Бюрократы как бюрократы, чего там глядеть. А архивы наши смершовцы уже забрали, увезли». Но потом разговорился и рассказал, что удар на Краков был для обитателей этого дома так внезапен, что даже сам этот Ганс Франк был вынужден бежать так поспешно, что бросил свой китель с какими-то там фашистскими регалиями. Должно быть, бежал, переодевшись в штатское. Он показал этот китель. Это была хорошо знакомая нам черная эсэсовская форма, и то, что гитлеровский владыка Польши бросил впопыхах даже свои награды, говорило о том, какой внезапный удар был нанесен по Кракову.

БУМЕРАНГ

В штабе фронта ликование и подъем. Наступление развивается весьма успешно. В исключение из правил сегодня подполковник Дорохин согласился сделать очередной разбор не в своей комнате оперативного отдела, а приехать к нам. Штаб фронта расположился теперь в городских домах Ченстоховы, недалеко от Ясногурского монастыря. Нас отлично разместили. У нас есть даже что-то вроде гостиной, так что было где принять друзей.

В этот день мы затеяли устроить в честь Дорохина обед. Петры все утро кухарили, и мы угостили нашего друга на славу. Пели хором и соло. Виктор Полторацкий читал свои стихи. Вообще он у нас поэт, и не только в душе, но и, так сказать, работающий поэт. Пишет мало. Печатает стихи еще меньше. Но в списках стихи его ходят по рукам корреспондентов и пользуются успехом.

Сегодня ради гостя он прочел нечто свежее, только что написанное.

Лохматые тучи нависли
В осенней предутренней мгле.
Мы нынче ночуем на Висле,
На раненой польской земле.
В окопах и знобко и сыро,
Бойцы в охранепьях не спят.
Мадонны с высот Сандомира
Глядят на усталых солдат.

О моем рейде в Ясногурский монастырь я рассказал друзьям в самых общих чертах применительно к заметке о спасении иконы, которую направил в «Правду». Зная их острые языки, в подробности не вдавался. Но Николаев оказался разговорчивее. В штабе уже знали о нашей ночной вылазке в церковь, и гость простодушно попросил описать подробности «чудесного преобразования». Все навострили уши. «Давай, давай, рассказывай, чего там». Пришлось рассказывать. Что будешь делать? Все, конечно, сразу же решили еще до получения информации от Дорохина направиться в монастырь: надо же посмотреть диковинку.

— Поскольку ты знаком теперь с этой дамой, ты нам ее и представишь,— сказал Полторацкий, польщенный тем, что его стихи несколько человек стали переписывать для себя.

В монастырь ввалились всей гурьбой. Я взял слово, что друзья будут благопристойными паломниками, не будут шуметь, войдя в храм, снимут фуражки и смеяться ни при каких обстоятельствах не станут.

Все стали серьезными. Хотя после освобождения города прошло всего несколько дней, не только сам храм, но и двор перед ним был полон пестрой толпой. Столько людей — и городских и сельских — пришли сюда, так что нам буквально приходилось продираться сквозь толпу. Кто-то из павлинов засек нашу группу, и на паперти мы были встречены братом Сикстом. Он смиренно поздоровался, попросил советских офицеров извинить отца-настоятеля, который, к сожалению, нездоров и не может сам встретить таких гостей. Вызвался показать все, что мы пожелаем видеть, познакомить нас с достопримечательностями церквей, с монастырской библиотекой, музеем. Все двинулись за ним. Но, естественно, слушали его объяснения вполуха. Храм был набит, как тыква семенами. Шла служба. То пел хор с верхней террасы, то при-

нимались петь все молящиеся. Они то вставали на колени, то поднимались. Над всем этим в свете свечей сияла икона.

— Отче мних, то есть правдом, что пана клястора Ясногурского может совершать чудеса и менять свой облик? — спросил Крушинский, на этот раз замешав фразу из русского, польского и словацкого языков.

Брат Сикст взглянул на меня и, по-моему, усмехнулся, но с самым смиренным и благостным видом ответствовал:

— Если к ней обращаются с молитвой, верой и любовью.

Теперь вся наша команда смотрела на меня, и я чувствовал, что чертов монах утопил меня в ложке воды. Теперь-то уж не будет границ для розыгрышей.

— Не знал, что наш Бе Эн такой дамский поклонник, — сказал Шабанов. — И ведь не пожалел времени для молитвы и любви.

Словом, потребовались героические усилия, чтобы выбраться из фанатичной толпы поклонников чудотворной иконы, не оскорбив их веры смехом.

Когда мы вернулись в нашу штаб-квартиру, шутники поуспокоились. Дорохин развернул карты и начал свою информацию.

Мы уже знали, что командующий танковой армией Рыбалко, до сих пор шедшей прямым курсом на Бреслау, находящийся за Одером, не дойдя до реки, вдруг сделал крутой поворот на юг и повел свою армию как бы в тыл Верхне-Силезского угольно-металлургического бассейна. Многое довелось нам видеть на войне. Командование фронтом уже не раз показывало образцы маневрирования крупными воинскими соединениями. Но вот такого, буквально молниеносного, поворота целой армии с приданными ей стрелковыми частями видеть еще не случалось.

Мы все уважаем Павла Семеновича Рыбалко. Сколько уже раз, приезжая к нам из этой армии, правдист майор Михаил Брагин, собирающий материал для военно-исторической работы о танкистах, с энтузиазмом рассказывал о полководческих способностях любимого командира. Мы знали, что Рыбалко инициативен, смел, но такого разворота и от него нельзя было ожидать. Повернуты были не только войска Рыбалко, но и общевойсковая армия генерал-полковника Гусева и приданный

ей гвардейский корпус генерала Баранова. Армия генерала Коровникова, укрепленная танковым корпусом Полубоярова, продолжала наступать восточнее, держа курс на Катовице.

— Так что же, берем в охват Силезский бассейн? — спросил корреспондент «Красной звезды» майор Михаил Зотов.— Выходит, мы хотим повторить Краковскую операцию в еще большем масштабе? Но ведь это же не город. Это же сгусток городов.

— Что задумано, знает лишь командующий и его начальник штаба генерал армии Соколовский,— уклоняется от ответа Дорохин.— С такими вопросами обращайтесь к командованию.

Но не таков был Миша Зотов. Он налег на карту грудью, начав что-то прикидывать и вымерять.

— Ну да, ясно. Осуществляется охват Силезского бассейна, а он ведь у немцев слывет вторым Руром. М-да. Операция эта затеяна, когда немец уже бежит.

— Ну, ну, ну, это пока ваши мечты,— остановил Дорохин.—Противник вовсе не бежит. Он отступает, и пока организованно отступает.

— Но за время наступления мы уже прошли с боем больше пятисот километров. Я тут прикинул. Это почти пятнадцать километров в день. Это не бегство?

— Нет, не бегство. За это говорит соотношение пленных с убитыми. Пока что один к десяти «в пользу убитых». Разве это бегство? —спокойно парирует Дорохин.— Противник со свойственной ему организованностью создает один за другим оборонительные рубежи. То ли еще будет, когда мы вступим на землю их фатерланда.

— А как же все-таки узнать, в чем замысел новой операции? — мечтательно говорит напарник Зотова капитан Фаддей Бубеннов, большой, добродушный, храбрый офицер.

— А вы спросите у вашего Бе Эн,— вполне серьезно отвечает Дорохин. — У него теперь роман с Ченстоховской богоматерью. Он ведет дела с потусторонними силами, а им ведь, наверно, известно все наперед.

— Верно, верно, подойдите еще раз к ней с молитвой, верой и любовью,— подливает масла в огонь Крушинский.— Ну что вам стоит?.. Попросите ее устроить для нас небольшую пресс-конференцию...

Ужасно глупое положение. Боюсь, из-за ответа чертова монаха вся эта история, получившая уже совершенно

комический вид, разлетится теперь по штабу фронта, и трепу хватит до самого Берлина. Так ударил меня по голове запущенный мною же бумеранг.

Кстати, вернувшийся из частей капитан Устинов отпечатал мои словацкие пленки. С волнением перебирали мы с Крушинским снимки, как бы перелистывая в памяти картины трагического и героического восстания.

Вот повстанец и сельский кузнец, вступающий добровольцем в повстанческие войска. Помнится, снял я их в каком-то дворе веселых, полных надежды на победу, на окончательное освобождение.

Вот колонна «сталистов» — как зовут себя ребята из бригады Алексея Егорова. Колонна на марше — организованная, дисциплинированная, хотя и одетая кто во что.

Вот сценка во дворе какого-то дома в Банска-Бистрице. Лесорубы, спустившиеся с гор, облачаются в военную форму.

Митинг на деревообделочном заводе, Шверма на трибуне почему-то не получился, а вот колонна новобранцев, которую мы обогнали на обратном пути, те, что шагали на станцию погрузки с развеселой какой-то песней, отлично вышла, хотя и снял я ее на ходу, не останавливая машины.

Интересно получилась сценка у входа в помещение Компартии Словакии. Мне очень приглянулся бравый усатик, стоявший на часах у входа. Но когда я навел на него аппарат, он заявил, что их трое, и отказался сниматься. Вызвал остальных. Они пришли даже с пулеметом и снялись, приняв грозные, живописные позы, как будто я собирался штурмовать секретариат компартии.

Хорошо получился Карол Шмидке. А боевого руководителя хлопцев с Бативана капитана Трояна мне удалось даже снять в засаде на дороге. Впрочем, признаюсь, для этого мы с ним специально выезжали за город, и он мне великолепно подыграл, снявшись в форме хлопцев с Бативана, в папахе в честь наших сибирских партизан и в кожанке, какие он видел на наших революционных матросах в каком-то фильме.

Неплохо вышла сценка в партизанском велительстве. А эти четыре хлопца-летчика, которых я снял на аэродроме «Три дуба» у подраненного самолета на фоне пробитого фюзеляжа, так этой пробоиной горды — будто орден получили. Знать бы им, сколько таких дырок приносят наши пилоты почти после каждого боевого вылета.

Как дороги мне все эти картины, воскресшие с помощью Устинова на светочувствительной бумаге. Ведь идет грандиозное сражение. Кругом грохочет. Весь фронт в победном наступательном движении. Освобождены Краков, Кельце, Ченстохова. Впечатления небывалые как бы громоздятся одно на другое. Мы с Крушинским взволнованно перебираем эти еще не совсем просохшие фотографии и думаем, а что-то там, за гребнями Татр? Как-то живется всем этим славным, храбрым ребятам, живы ли они, или погибли в бою, или приняли страшную смерть от руки карателей, преданные и проданные коллаборационистами.

Николаев рассказывает, террор царит страшный. Отряды карателей-эсэсовцев лазят по горам в поисках партизан. Говорят даже, что где-то недалеко от Бистрицы живых людей бросали в печь для обжига извести. Ну а буржуазия, та, что тоже ходила с бантиками в петлицах, помогает гестаповским карателям, выдает и продает.

Ну что ж, оправдываются слова Шмидке: буржуазия есть буржуазия.

У ГЕНЕРАЛА РЫБАЛКО

Танкистов генерал-полковника Рыбалко нам удалось догнать уже возле самого Верхне-Силезского угольного бассейна. В Германии этот промышленный район действительно именовали «наш второй Рур». Мне же он напоминал Донбасс, проезжая через который, час за часом видишь города, как бы наплывающие один на другой, горизонт, истыканный заводскими трубами, черные пирамиды терриконов, виднеющиеся в буроватой мгле.

Несмотря на то что двигались мы по незнакомой еще территории, заглядывать в карту не приходилось. Шли по следам танковых гусениц, видневшихся и на грунте, и на асфальте.

По мере приближения к городу Баутцену пейзаж менялся. Плоские деревянные постройки польского типа сменились приземистыми домиками с островерхими крышами. Деревни были чистенькие, ухоженные, с палисадниками, в которых вяли прошлогодние георгины, стояли веселые глиняные гномы или блестели зеркальные шары. Наконец мы нагнали арьергарды танкистов, вереницы

машин следовали одна за другой. Авиация наша теперь абсолютно господствует в воздухе, и когда нет-нет да и появлялись немецкие самолеты, их тотчас же атаковали советские «ястребки». Завязывался воздушный бой и карусель сражающихся отваливала в сторону от дороги. Бомбы же падали и рвались где-то уже на полях. А танки все шли и шли на юг, не соблюдая даже установленных интервалов между машинами.

Мы с Петровичем вспомнили дороги Калинина, Великих Лук, украинские шляхи от Харькова до Днепра и даже до Молдавии. Вспоминали, как команда «воздух» сжимала сердце и сколько трагедий развертывалось на глазах под свист и грохот авиационных бомб. Как все изменилось. Теперь мы вот движемся себе по дороге, даже ленясь глядеть в небо, где завязался очередной воздушный бой.

Конец января. Дома сейчас крещенские морозы, дуют ледяные ветры, деревья стоят одетые инеем. Сугробы до окон изб. Здесь же что-то вроде нашего позднего ноября. Под ногами слякоть, падает какая-то снежная мокреть, застилая поля, дороги. Танки сердито урчат в грязи, и пехотинцы, сидящие на броне, облеплены грязью так, что напоминают статуи.

НП славной гвардейской третьей танковой армии, оказалось, находится... под открытым небом. На покатом холме, на зелени вытаявшей из-под снега ровной, расчерченной озими, стоят несколько танков. Возле одной из машин — маленькая раскладная табуретка и раскладной алюминиевый стол. У стола, распекая кого-то, стоит невысокий коренастый человек в черном танкистском комбинезоне и папахе, заломленной на затылок. Это и есть Павел Семенович Рыбалко, один из известнейших танковых военачальников второй мировой войны. Он распекал какого-то танкиста, стоявшего перед ним навытяжку.

Я познакомился с ним еще на Днепре и несколько дней пробыл в его армии, наступавшей тогда, вопреки законам божеским и человеческим, по страшной украинкой грязи. Пехотинцы с трудом выдергивали из грязи ноги, а танки Т-34 шли по этой грязи, наступали, маневрировали. Закончив свой разнос, командарм рассеянно взглянул на меня и, весь занятый своими мыслями, сказал:

— А, вы? Как вы меня отыскали?

— Ваша армия, товарищ генерал, славится на весь фронт образцовой связью.

Мой комплимент повис в воздухе. Генерал был захвачен зрелищем, развертывающимся на горизонте. С холма отлично просматривалась долина небольшой речки, за которой в свете тусклого зимнего дня вырисовывался промышленный город. Пирамиды терриконов, копры шахт, массивные заводские постройки с гребешком труб. С юга на город наступали танки. Шли строем «гуся». Двигались прямо по зеленым озимям, а с городской окраины по ним палили пушки. Все это, напрягая зрение, можно было увидеть без бинокля. Видно было, что два танка окутывает желтый дым, а один почему-то вертится как сумасшедший на месте.

— Ах, не так, не так пошел Арбузов,— с досадой произнес командарм, отнимая от глаз бинокль и смотря на карту.— Ну разве можно вот так, в лоб? Две машины про...садил. А мог бы обойти вот отсюда.

— Передать приказ повернуть? — спросил другой человек в таком же танкистском комбинезоне без погон.

— Не надо, пусть уж идет. А за эти две машины я с него штаны спущу. Ага, видите, видите. Вон там снова задымило. На улицу ворвались. Из-за домов их уже не видно. Молодец все-таки Арбузов. И доты, должно быть, подавил.

В первый раз довелось мне непосредственно наблюдать за танковым наступлением с НП. Похоже было, что это не бой, а маневры, что наступают красные, обороняются синие, а не сошлись в смертельной схватке соединения двух самых мощных армий. Сквозь хлопки выстрелов и разрывов там, у города, просочился гул авиационных моторов.

— Ага, вызвали авиацию,— произнес Рыбалко.

— Павел Семенович, уходите в траншею,— решительно сказал высокий танкист неизвестного звания.

— Да, да, это верно,— деловито отозвался командарм, и приказав мне: — Отгоните вашу машину,— он пошел к земляной щели, над которой еще трудились его саперы. Совсем было сошел в эту щель, но потом поднялся и сердито сказал мне: — Вы что, заговоренный, марш в укрытие... А машину вашу пусть отгонят подальше, для летчиков ориентир: раз машина, значит, начальство.

Но пикировщики прошли над нами и опростали свои кассеты над предместьем, в которое уже втягивались

танкисты. Рыбалко получил сообщение — выведены из строя еще две машины. Но танкисты уже прорвались к центру города. Другая группа пикировщиков зашла с юго-запада. Но уже во весь голос говорила артиллерия прикрытия. Один из самолетов как-то клюнул на нос и ушел за горизонт, волоча за собой дымный хвост.

— Один — три. Плохая игра,— сквозь зубы сказал командарм и вдруг взорвался: — Где медицина? Медицину на поле!— Но люди в белых халатах уже бежали к горящим танкам, а позади них мотался фургон с красным крестом. И вот командующий сказал высокому танкисту: — А похоже, за этим артиллерийским заслоном у него ничего серьезного и нет.

Первая волна танков скрылась на улицах города. Вторая волна шла за ней, орудия на окраине молчали.

Только тут командарм снял папаху, обтер ею наголо выбритую голову и сказал мне уже обычным голосом:

— Ну еще раз здравствуйте. Видели, какие дела. Лиха беда начало... Ух, нет ли у нас там квасу?

Молодой танкист, проворный, быстрый, уже отвинчивал крышку большого термоса и протягивал стакан.

— Два стакана. Стакан гостю,— приказал командарм. Он сам налил мне красную жидкость, оказавшуюся каким-то брусничным напитком.— Вам, журналистам, говорят, безалкогольные напитки противопоказаны. Не обессудьте. Во время боя ничего крепкого не принимаю. И другим не даю. В бою нужно быть трезвым, с ясной головой... Не разделяете этих воззрений? Многие не разделяют, говорят, под хмельком смелее в атаку идти, а я запретил даже ворошиловские сто граммов перед боем давать. Зато как приятно выпить с устатку.

Сам он жадно выпил два стакана брусничного своего напитка. Вытер голову носовым платком.

— Ну давайте ваши вопросы. Время, время... Чем я сейчас занят? Видите, атакую Верхне-Силезский район. Вернее, охватываю. Полного окружения силезской группировки, вероятно, не будет. Это немножко, может быть, странно, но командование фронта право. Что бы осталось от Кракова, если бы город оказался взятым не в исходе окружения? Камни, щебень. Немцы — упорные солдаты, без приказа не отходят. Вы Краков видали? Целехонек. А Силезия — ведь это цепь промышленных городов: шахты, бетонные корпуса заводов, стены толщиной в метр и так сплошь на десятки километров. Гляньте на карту. Да

что карта, вот посмотрите на этот город. Для спасения Силезского промышленного района командующий и приказал мне не окружать противника, а повернуть мою армию на Ратибор... Это чертовски трудно было сделать такой маневр. Но видите — делаем...

Помолчал, отдал распоряжение готовиться в путь и оканчивал беседу уже скороговоркой:

— Вы ведь, судя по вашим писаниям, были в Сталинграде. Знаете, как там немцы атаковали? За каждый дом шла борьба. Цену кровью заплатили огромную, но иссякли и город так и не взяли. На Тракторном линия фронта вдоль большого конвейера проходила — одна стена наша, другая их. Перестреливаются, и ни туда, ни сюда. А ведь здесь сколько таких стен из бетона. Во что бы нам этот район обошелся, если затевать в каждом городе уличные бои. А впереди Берлин. Люди и техника как там нужны будут! У вас все?

— Последний вопрос. Как вы думаете, Павел Семенович, будет наш фронт участвовать в штурме Берлина?

Засмеялся.

— Об этом вы спросите главковерха Сталина или господа бога.

— Вы верите, что Силезский район мы возьмем малой кровью?

Уже раздраженно:

— Что такое: верю, не верю. Не военный разговор. Надо взять — возьмем. Ясно, что маршал затеял тут нелегкую, но интересную операцию, а раз затеял, доведет до конца... Желаю здравствовать. Доброго пути.

Он торопливо подошел к ближнему танку. Легко, не воспользовавшись протянутыми к нему руками, вскочил на гусеницу. Забрался в башню. Танк заурчал, окутался дымом, двинулся вперед, а командарм так и остался стоять, по пояс высунувшись из башни,—невысокий, кряжистый, в одежде танкиста, такой, что его не отличишь от солдат и командиров.

ЭКСПЕДИЦИЯ В АД

Утром солдат-рассыльный принес пахнущую клейстером свежую телеграмму.

— Весьма срочная. Распишитесь и проставьте час вручения.

В телеграмме было: «Из Рычага в Семафор. Корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому. Вручить немедленно. Интересуетесь адом немедленно выезжайте освобожденный Освенцим. Известите Крушинского. Найдете меня первой штубе. Николаев».

Что такое штуба, мы не знали. Но знали подполковника Николаева — разведчика с душой корреспондента, человека, знающего, что нужно нам, журналистам. О гигантском концентрационном лагере с таким названием все годы гитлеризма ходили жуткие слухи. Но точно мало что знали. Живых свидетелей не было. Оттуда никто не выходил, и лагерь этот представлялся кусочком ада на земле.

Мы не выехали, мы вылетели. Снова, как когда-то с Николаевым, втиснулись вдвоем на заднее одноместное сиденье.

Погода была прескверная. Лететь пришлось против ветра. Шел крупный липкий снег. Винт как бы пробивал в нем дорогу, и мы летели, будто бы закутанные в какой-то шевелящийся марлевый кокон. Было промозгло, холодно, но мы этого как-то даже и не замечали. Мысли были там, в Освенциме, где, как говорят, действовал целый комбинат уничтожения и сожжено три или четыре миллиона человек.

Полет был трудный, но перед Освенцимом снег перестал, и в унылых красках непогожего дня перед нами открылся небольшой город, приютившийся возле железнодорожного узла. Очень уютный, безобидный город. Летчик вопросительно обернулся: где же лагерь? Крушинский показал ему знаками, что нужно лететь спирально, искать. Совет был правилен. На втором обороте под нами оказался огромный химический комбинат, гигантские цехи, какие-то торчащие из земли цилиндры, баки, пересечения толстых труб.

Он, Освенцим! Ведь большинство его узников, как мы знаем, работало на химических заводах. А вот и сам лагерь. Огромное пространство, покрытое низкими прямоугольными постройками. Они лежат цепочками, как аккуратно разложенные кирпичи. В центре была какая-то площадь. Недалеко от нее шеренга четырехугольных закопченных труб возле странного продолговатого бетонного сооружения. И все это оцеплял массивный забор с проволокой и проводами высокого напряжения. По улицам металась масса людей. Они двигались как-то стран-

но, как бы бесцельно, точно осенние листья под порывами ветра.

Летчик уже наметил посадочную площадку. Приземлились. Помогли развернуть машину, а сами по запорошенному талым снегом полю двинулись к лагерю. Асфальтированная дорога привела к массивным железным воротам, на козырьке которых виднелась сплетенная из кованых прутьев надпись: «Arbeit macht frei» [1].

Здесь эта надпись воспринималась как беспримерная циничность. Когда мы приближались к воротам, из них вывалила толпа человек в двести. Все были в одинаковых брезентовых куртках, полосатых штанах, шапочках пирожком, в матерчатой обуви на деревянных подошвах. Все худые и не бледные, а даже какие-то зеленоватые, но на изможденных лицах как бы брезжили робкие, недоверчивые улыбки. Они что-то кричали туда, назад, в открытые ворота, в которых такие же полосатые люди махали руками им вслед. От толпы несло карболкой, потом, тяжелым запахом нестираной одежды.

Какой-то человек выбежал на поле, схватил горсть снега и начал его есть. Его примеру последовали другие. Несколько человек с разбегу прокатились по продолговатому ледку. Передний упал, остальные повалились на него, и все счастливо смеялись, как школьники, возвращавшиеся домой. А другие еле волокли ноги, шаркая деревянными подошвами по асфальту. Троих вели под руки.

На пути нашего фронта концентрационные лагеря еще не попадались, и первая эта встреча с узниками нацизма — поляками, не дождавшимися организованной эвакуации и пешком двинувшимися домой,— просто ошеломила нас. Штуба оказалась двухэтажным зданием за номером один. Тут мы и нашли Николаева. Он сидел в одной из канцелярских комнат. В ней толпились полосатые люди, казавшиеся нам все на одно лицо. Николаев попал в лагерь вместе с танкистами, освободившими его. С горсткой людей из седьмого отдела он оставлен здесь и вот сейчас по поручению штаба фронта наводит порядок.

По-видимому, кое в чем он уже разобрался и сумел принять какие-то организационные меры. Вызвал полевые кухни. Наладил питание. Расставил по блокам меди-

[1] Труд делает свободным.

цинские посты, обеспечив их военными врачами из резерва армии. Сколотил из самих освобожденных какой-то актив и с его помощью понемногу вылавливал эсэсовцев из охраны, заплечных дел мастеров, штубовых, чиновников из лагерной администрации. Большинство, конечно, удрало. Начальник лагеря гауптштурмфюрер СС Рудольф Хесс, говорят, еще заблаговременно исчез вместе с семьей, бросив дом и все добро, но кое-кого из его подручных внезапный приход наших танкистов захлопнул здесь. Они теперь стараются слиться с многотысячной массой лагерников, переодевшись в лагерные костюмы.

— Вон сколько их шкур, в разных местах отыскали,— говорит Николаев, показывая в угол комнаты, где кучей валяются куртки из зеленоватой кожи, черные эсэсовские мундиры с двумя «молниями» в петлицах.— В разных местах находили. Скинет шкуру, залезет в лагерную робу — и исчезает. Поди ищи его. Тут больше сотни тысяч людей. Но находим, находим, лагерники помогают.

— Сколько уже выловили?

— Двадцать восемь. А их тут, наверно, сотни. И этого Хесса упустили, а ведь на его душе около трех миллионов загубленных, больше чем все население нашей Калининской области.

— Где же вы их держите?

— В карцерах. В холодных карцерах, где температура как на улице. Что ж, справедливо, никто нас за это упрекнуть не может. Сами они их строили.

У Николаева масса дел. Рвут на части. Его контуженный узенький правый глаз, который всегда смотрит на мир с веселой иронией, сейчас просто закрывается от усталости, а тут еще корреспонденты.

И он сипит сорванным голосом:

— Братцы, я вам просигнализировал, и больше от меня ничего не просите. Видите, не до вас. Смотрите, пишите или вот,— он мотнул головой на стоявшего рядом высокого костистого человека,— попросите товарища Антонина быть вашим Вергилием в путешествии по этому аду. Он за два года по всем кругам ада прошел.

Антонин чех. Бывший профсоюзный работник из города Кладно. Старый коммунист. Бывал в Москве, сносно говорит по-русски. Сейчас он что-то вроде комиссара в антифашистском лагерном комитете. Очень деятельный человек. У него продолговатое бледное лицо. Он так худ, что лагерная полосатая роба развевается на ходу, но

глаза из темных провалов глазниц глядят на мир активно, оживленно. Когда-то он сам пописывал в «Руде право» и природу журналистской работы знает. За двумя шеренгами двухэтажных домов, существовавших, как оказывается, для всяческих иностранных визитеров и представителей международных организаций, приезжавших ознакомиться с состоянием заключенных, где для некоторых лагерников были созданы сносные условия, идут бесконечные ряды деревянных бараков, одноэтажных, наполовину вкопанных в землю, без печей, без вентиляции, где люди лежали на трехэтажных нарах сплошь, как шпроты в консервных банках.

Вот огромный сарай — склад размером со средний ангар. Здесь хранились волосы тех, кого отправляли в печи крематория. Хранились аккуратно, строго рассортированные — отдельно длинные, отдельно покороче. Разделенные по колерам. Волосы блондинок, шатенок, брюнеток, волосы каштанового цвета. У дверей волосы лежали навалом, а в середине помещения они были уже в тюках, завязаны, обшиты мешковиной, предназначенные к отправке.

Это были уже не человеческие волосы, но ценное сырье для промышленности.

Вот другой склад, вещевой — горы ботинок, туфель, сапог, гетр, краг. Здесь и старческие стоптанные штиблеты, и пинетки младенцев, и изящные женские туфельки.

— Если бы вдруг поднялись из пепла те, кто ходил в этой обуви, все лагерные улицы были бы забиты,— говорит Антонин.

Большой склад одежды умерщвленных закрыт и охраняется. Были случаи заразных заболеваний. Лагерный комитет прекратил туда доступ. Выставил своих часовых.

Странное чувство испытываешь, бродя по этому нацистскому аду, такому организованному, упорядоченному. Ходишь и никак не можешь отделаться от странной мысли, что все это будто видишь не наяву, а в страшном сне. И не груда человеческих волос, не горы ботинок, не россыпи челюстей и зубных коронок, вырванных из мертвых ртов и хранившихся в сейфах, особенно страшны. А деловитость, с которой здесь рассортировывались эти отходы смертного производства, организованность, тщательность упаковки. Узник здесь был не человеком, а служил как бы первичным сырьем для какой-то окаянной про-

мышленности. Ну а это были отходы производства, утиль, из которого тоже что-то изготовляли и за который с кого-то получали деньги.

— Мы захватили в канцелярии бухгалтерские книги,— говорит наш Вергилий,— там все это записано — тонны волос, тонны обуви, тонны одежды... Есть даже записи о том, сколько узниц направлено химическим фирмам для «проведения особых испытаний» с новыми препаратами. Сколько в штуках и по какой цене. В переписке так и значится: партия товара столько-то штук... Мы эти книги передали вашему командованию...

Антонин обратил наше внимание на какие-то продолговатые груды бетона, нагроможденные взрывами. Это были свежие, недавние развалины.

— Тут было самое страшное, — сказал он. — Лаборатории, где врачи и фармацевты экспериментировали на людях. Это у нас считалось более страшным, чем смерть. Эти лаборатории охранялись особенно тщательно. Сюда и эсэсманы ходили по особым пропускам. Тех, кого отбирали для опытов, никогда никто уже больше не видал. По окончании опытов их ночью увозили прямо во второй крематорий, который обслуживали эсэсовцы. А держали их вон там.— Антонин показывает на другую длинную развалину, виднеющуюся из-за забора.— Врачей, которые здесь экспериментировали, привозили и увозили в машинах с зашторенными окнами.

— Сколько же человек замучили в этих лабораториях?

— Этого никто не знает. Сейчас, по крайней мере. Когда приблизились ваши танки, эсэсманы взорвали эти здания. Говорят, что уничтожили даже тех своих, кто мог об этом что-нибудь рассказать. Но это так, предположения, слухи. Волк ведь не жрет волков.

В заключение Антонин отвел нас в детские бараки. И это было, пожалуй, самое жуткое из всего, что он показал. Здесь были ребята разного возраста. На них тоже производились какие-то опыты. О детях в суматохе эвакуации гитлеровцы почему-то забыли. И вот они, сотни две мальчиков и девочек разных возрастов со старческими лицами, сидят и лежат на нарах в своих полосатых халатиках, провожая нас равнодушными, отрешенными взглядами изверившихся во всем людей.

— Ни на одном из языков не отвечают,— сокрушенно говорит женщина-врач, капитан медицинской служ-

бы.— Что тут над ними творили, мы еще не выяснили. Тоже ставили какие-то опыты. Вводили им в вены какие-то препараты. Странно: среди них много близнецов, братьев и сестер. Может быть, это нелепо, это только мое предположение, но мне кажется, изыскивались какие-то способы усиления размножения населения.— Капитан медицинской службы, судя по орденам и нашивкам за ранения, бывалый, опытный воин. Но тут, в этом детском филиале освенцимского ада, она явно растерялась. Курит папиросу за папиросой.— Господи, какой ужас! Если бы я не видела все это, я бы никогда не поверила, что такое может быть не в кошмарном сне, а наяву.

В комнате Николаева и вообще в этом доме первого штуба людно. Выловили еще несколько эсэсовцев, в том числе и женщину в черном мундире, что заведовала этими страшными складами. В разных комнатах заседают комитеты по национальностям: русские, украинцы, чехи, евреи, французы, венгры... На втором этаже несколько бывших заключенных, ювелиры по специальности, инвентаризуют только что сделанную находку. Дело в том, что перед сожжением из ртов убитых здесь вырывали золотые и платиновые коронки, мосты. Отыскивали драгоценности: кольца, серьги, браслеты, золотые монеты, которые заключенные, все еще надеясь на освобождение, порой припрятывали в самых укромных местах, даже глотали. Все это из лагеря периодически по мере накопления направлялось в рейхсбанк. Лагерные фюреры уложили остатки в чемоданы. Хотели унести, но едва сами унесли ноги. А чемоданы побросали. Теперь вот здесь, так сказать, инвентаризуют страшную находку.

Мы пробыли в лагере почти до ночи. Утром за нами должен подъехать Петрович. Условились встретиться в комендатуре. А вот где ночевать? Антонин предложил было воспользоваться домиком начальника лагеря Рудольфа Хесса. Мы уже побывали в этом жилье и поразились тому, что один из величайших злодеев нацизма, человек, уничтоживший миллионы людей, вел скромную жизнь среднего бюргера: чистенькие комнатки, обставленные неновой мебелью в чехлах, вышитые салфеточки, разбросанные по диванам и креслам. На стенах пластинки с поучительными сентенциями «С богом родился, с богом живи», «Не торопись, каждый шаг приближает к могиле» и даже лозунг в спальне «Два раза в неделю не вредит

ни тебе, ни мне»... Плюшевый медведь, восседающий в углу дивана... Стопка альбомов с марками... Альпийские часы с кукушкой... Набор пивных фаянсовых кружек... У палача были очень скромные вещи. А в окно из-за цветущих гераней можно было видеть гребень четырехугольных труб гигантского крематория, дымивших и день и ночь...

Словом, дом этот был, так сказать, на ходу: и свет, и тепло, и постельное белье — все к нашим услугам.

Мы отнюдь не сентиментальные люди. Раз под Ржевом мы с Крушинским преспокойно переночевали в полузатопленной немецкой землянке, в которой, как потом оказалось, под нарами плавали трупы немцев. И выспались и страшных снов не видали. Но ночевать в доме человека, уничтожившего около трех миллионов людей! Нет уж, товарищ Антонин, этого мы не сможем..

Выход находится. Отличный выход. Нам на помощь приходит представитель профсоюза железнодорожников Анджей Кнып, пришедший к Николаеву поговорить о восстановлении лагерных железнодорожных коммуникаций. Случайно услышав наш разговор, он вдруг предлагает: пусть паны советские офицеры ночуют у него. Это недалеко, на окраине Освенцима. У него мотоцикл с коляской. Двух таких нетолстых панов он сможет увезти. А пани Кнып будет рада предоставить кров офицерам доблестной Красной Армии...

ЧЕРНЫЙ СНЕГ БИРКИНАУ

Железнодорожник по-польски — колеяж. Пан Анджей Кнып — железнодорожник, сын железнодорожника, внук железнодорожника. И очень этим гордится. Сам он мастер депо Освенцим-один. А вот дед был машинистом, и таким машинистом, что однажды даже вел из Варшавы в Петербург поезд с императорской семьей. Последний из Кныпов, Анджей, разумеется, не монархист, он профсоюзный уполномоченный своей дистанции, член партии Роботничей, и все-таки он гордится своим дедом: плохого машиниста на такой рейс не поставят.

Жена Анджея, пани Ирена, добродушная милая толстуха, извиняется за то, что угостить ей нас нечем: «Вшистско герман забрал». Однако достает откуда-то из глубин комода праздничную, жестко накрахмаленную

скатерть, топорщившуюся на сгибах, стелет ее на стол. Ставит на нее котелок дымящейся вареной картошки, мохнатую от пыли бутылочку с постным маслом и блюдо маринованных помидоров. Может ли быть что-нибудь лучше, после того как мы целый день прослонялись по лагерю не евши?.. Нет-нет, там уже дымили походные кухни, из которых лагерникам выдавали питание. Антонин нас подводил то к одной, то к другой, но от всего увиденного кусок не лез в горло.

А за чаем с ароматным малиновым вареньем начался разговор, из которого выяснилось, что сам лагерь Освенцим не был еще пределом нацистских зверств, что было на земле место и пострашнее: это Биркинау, другой лагерь, лагерь уничтожения, находившийся сравнительно недалеко от Освенцима.

И пан Анджей рассказывает нам такое, во что действительно сразу и поверить трудно. Освенцим в своей основе был все-таки рабочим лагерем. Его заключенные, пока они были здоровы, сохраняли силы, использовались на разных работах. Сжигались лишь те, кто терял силы от истощения, у кого падала производительность, кто, так сказать, становился нерентабельным. Взамен сожженных вставали другие, за ними третьи. Так и вращалось колесо смерти, но вращалось сравнительно медленно.

Биркинау был лагерь уничтожения. Из всех оккупированных и вассальных стран и из самой Германии на Биркинау шли поезда, битком набитые заключенными. Их везли экспрессными маршрутами, в пути вагоны были заперты, их охраняли и открывали по ночам лишь для того, чтобы вынести нечистоты и покойников. Любой высунувшийся из вагона без предупреждения получал пулю.

Поезд с обреченными прибывал на станцию Биркинау, название которой в отличие от Освенцима было мало кому известно. С виду это была солидная узловая станция. Несколько пар рельсов отходили от нее в разных направлениях. У станционного здания висело расписание поездов, отходивших на Берлин, Дрезден, Бреслау, Варшаву, Вену и т. д. Перрон был чистенький, по нему ходили люди в железнодорожной форме. Прибывший эшелон как бы ставился на запасной путь. Вагоны открывали. Измученные за несколько дней пути пассажиры выбирались из них, жадно глотая свежий воздух. Вежливые переводчики поясняли, что это конец их испытаний. Тут, на этой

станции, необходимо пройти санобработку, помыться, произвести дезинфекцию вещей. Отсюда их повезут уже в пассажирских вагонах на места работы. Тем, у кого были деньги, продавали бутерброды и иную еду. Недалеко от станции виднелись два больших продолговатых здания: «Баня для мужчин», «Баня для женщин и детей».

Радуясь, люди входили в эти здания, сдавали вещи на дезинфекцию, раздевались, получали номерки, получали по куску мыла и шли в большие и чистые помещения, с покрытыми цинком полами, с душами с горячей и холодной водой. Начиная мыться, они не замечали, что двери за ними плотно, герметически закрывались. Потом в помещение сверху пускали газ — циклон-два, циклон-три. И через десять-пятнадцать минут тысячи с радостью моющихся людей превращались в трупы. «Камины» Биркинау работали день и ночь. Но подходили новые и новые эшелоны обреченных. Новые и новые тысячи трупов на вагонетках отвозили к печам. А когда печи не успевали пожирать все это страшное сырье, трупы укладывались штабелями в большие бетонные ямы, поливали газолином и сжигались открытым способом, по двести, по триста трупов зараз.

— Вы летели, видели, какой у нас снег. Черный снег,— говорит пан Кнып.— Черный как антрацит.

— Мы уже пять лет дышим таким воздухом,— добавляет пани Ирена.— Вот смотрю на вас и все не верю, неужели все кончилось?

Утром нас разбудил Петрович. Мы попросили пана Кныпа отвезти нас в Биркинау. Он согласился.

Эсэсовцы недели две назад все взорвали. И станцию, и бани, и пути. Там теперь только груды бетона да искореженные рельсы.

Была бурная оттепель. Она слизнула вчерашний молодой пухлявый снег, и мы увидели, что действительно снег до самого горизонта, покуда хватал глаз, черный. Жирно черный. Испачкав об этот снег руку, я даже содрогнулся: ведь эта гарь — частица праха сотен тысяч людей, живших, чувствовавших, любивших, страдавших.

Развалины всегда развалины. По ним трудно что-нибудь угадать. Здесь они были закрыты снегом и окрашены в один этот черный тон. Но с помощью пана Анджея мы восстановили для себя и станцию Биркинау, бутафорскую станцию с бутафорскими службами. Из бетонных глыб торчал жестяной кусок расписания поез-

дов, мы увидели стрелки, рельсовые тупики. Побывали у развалин страшных бань. С крематория взрыв снес лишь крышу, а ряд печей стоял среди поля, и в открытых дверцах можно было разглядеть остатки обгоревших черепов, ребер. И еще показал нам пан Анджей гору извлеченного из печи пепла. Голубоватого, сухого, известкового пепла, который не хрустел, а будто бы стонал под ногами.

Обо всем этом пан Анджей знал, все это уже видел, но смотреть это снова было страшно и ему. Он шел с обнаженной головой и нервно мял в руках свою форменную фуражку с четырехугольной тульей конфедерата. Мял и все повторял:

— Езус Мария! Езус Мария!..

Когда мы, битком набитые этими страшными впечатлениями, уже под вечер вернулись в штаб фронта, нас ожидала интересная новость. Днем был взят город Крайцбург — центр крейса. Город с немецким населением. Последний город на подступах к Одеру. Два офицера из седьмого отдела, капитан и лейтенант, побывавшие уже в Крайцбурге, рассказали смешную историю. Они прибыли туда с танкистами и отыскали дом крейслейтера, интересуясь архивами крейса.

Пока рылись в бумагах, в брошенной канцелярии, на столе вдруг ожил телефон и брюзгливый начальственный голос сказал по-немецки:

— Франц, это вы? Где вы, к черту, пропадаете, я вам звоню с утра. Хоть бы кого-нибудь оставляли у аппарата.

— С кем я говорю? — спросил тоже по-немецки удивленный капитан.

— Франц, вы что, пьяны? — прогремела трубка. — Вы с ума сошли, черт бы вас всех подрал. Иваны наступают, говорят, они приближаются к вашему городу, а вы пьете и болтаетесь неизвестно где.

— Еще раз спрашиваю вас, с кем я говорю? — как можно тверже ответил капитан, уже догадываясь, что означал этот разговор.

Выяснилось, что говорит он с гаулейтером города Бреслау, принимавшим его за своего подчиненного. То, что гаулейтер не знал, что один из подведомственных ему городов, к тому же находившийся сравнительно недалеко от Бреслау, уже занят нашими войсками, и то, что с этим занятым нашими частями городом продолжала

работать нормальная связь, уже это о многом говорило — о начинающейся панике в немецком тылу, в чиновничьем аппарате, в нацистской партии, ибо «крейс» и «гау» — не военные и не административные деления. Это нацистские партийные органы...

На ночь мы с Крушинским съели все снотворные таблетки, какие только оказались в запасе у корреспондентского корпуса. Это мало помогло. Стоило закрыть глаза, и сразу виделся черный снег, оставляющий маслянистый след при прикосновении.

НАПАДЕНИЕ ВЕРВОЛЬФОВ

Штаб перебрался на окраину города Крайцбурга, того самого, где третьего дня произошел знаменательный разговор капитана из седьмого отдела с гаулейтером Бреслау. Комендант штаба отвел под прессу двухэтажный дом, состоящий из четырех больших буржуазных квартир. Все на ходу. На парадной двери четыре звонка и микрофон. Звонишь, и в рупор Петрович спрашивает:

— Кто там? К кому надо?

Услышав ответ, Петрович, не сходя вниз, с помощью электрической кнопки, которая еще действует, открывает дверной замок. У него сейчас это любимая игрушка, и, как мне кажется, он даже жалеет, что у нас мало посетителей.

Крайцбург, как я уже сказал, центр крейса с чисто немецким населением. При приближении наших войск большинство жителей ушло на запад, а немногие оставшиеся вывесили из окон, с балконов белые простыни — символ сдачи на милость победителей и дрожат сейчас в своих квартирах, хотя с первого же дня оккупации в Крайцбурге наведен порядок. Ходят по улицам парные патрули. Щеголеватые регулировщицы в начищенных сапогах командуют движением машин, катящихся на запад.

Подъезжая к Крайцбургу, мы все время наблюдали два встречных человеческих потока, тянущихся по обочинам. В правом потоке на запад, в глубь страны, двигались женщины, старики, дети, шли, толкая перед собой тачки, садовые тележки, детские коляски, набитые добром, ведя обвешанные узлами велосипеды. На руках, на

закорках несли детей. Ребята, что постарше, бежали сами, держась за руки взрослых. Смотрели мы на этот поток и вспоминали свое. Вот так же когда-то бежала из родного Калинина моя жена, учительница, унося на руках семимесячного сына Андрейку. Так же вот ее сестренка, семиклассница, шла за ней, неся на плечах узелок с детскими вещицами. Уходили под бой артиллерии, под бомбежкой с воздуха. Теперь пришла очередь немцев. Но как-то даже и в голову не приходит злорадствовать. С болью смотрят бывалые солдаты на эти печальные вереницы. Зачем уходите? От кого бежите? Куда? Разве мы что-нибудь вам сделали?

Член Военного совета фронта генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, человек с виду спокойный, неторопливый, а на самом деле очень энергичный, одно за другим проводит совещания комендантов, назначаемых в занятые города. Издаются строжайшие приказы о наведении порядка, и порядок этот наводится железной рукой. Для нелегкой комендантской службы отбираются лучшие офицеры. Работники седьмых отделов, говорящие по-немецки, просто сбились с ног. Но что поделаешь: страх срывает людей с насиженных гнезд. Крайцбург, оккупированный нами, более чем наполовину пуст, и движутся, движутся эти печальные вереницы по дорогам, ведущим на запад.

Ну а навстречу тем потокам, тянущимся в глубь Германии, по другой, по левой стороне шоссе идут наши люди, идут на восток, возвращаясь из лагерей и с принудительных работ. Одетые кто во что, исхудавшие, может быть даже голодные, они улыбаются едущим в машинах солдатам, машут вслед гремучим вереницам танков. Одежда порой самая фантастическая. А лица родные. И солдаты улыбаются им.

Когда-то в разгар войны, когда Германия была еще бесконечно далеко и Берлин мерещился нам лишь как символ нацизма, как гитлеровское гнездо, много было разговоров о том, как поведут себя немцы, когда, наступая, мы придем в их фатерланд. Вот, наверное, будет борьба-то! Да и сейчас нам поначалу показалось, что в оставленных жителями квартирах будут мины-ловушки, присоединенные к безобидным сувенирам, отравленные пища и питьевая вода. Шли разговоры о вервольфах [1],

---

[1] Волки-оборотни — термин из «Нибелунгов».

о которых как о грозной силе чуть ли не каждый день кричит доктор Геббельс по радио.

Вервольфы!.. Еще недавно, когда война шла далеко от Германии, наши солдаты и офицеры, из тех, что побывали в немецком тылу, в окружении, и особенно те, кому приходилось изведать пытки плена, кроме ненависти к Гитлеру и гитлеризму, выносили убеждение, как тогда казалось, ложное, что, когда мы придем в Германию, в нашем тылу не будет ни партизанской войны, ни диверсий.

Теперь, когда мы занимаем пустые города, мне все время вспоминается один такой побывавший в немецком плену офицер-танкист, с которым мы встречались в Корсунь-Шевченковский операции.

— Не будет, не будет у них партизанской войны. Немецкий солдат в наступлении страшная машина, в обороне — кремень. Но вот расстрой управление, лиши его возможности получать приказы и команды, он сразу же и растерялся. А партизаны — это высокий дух человеческий. Это когда у человека есть что защищать и за что каждый день жизнью рисковать. Уж поверьте мне, битому-мятому. Кого они будут защищать? Гитлера? А на хрена он им сдался, Гитлер...

Странными казались тогда эти рассуждения бывалого танкиста. А вот теперь жизнь подтверждает его прогноз. На случай диверсий приняты все меры предосторожности, усилены патрули, выставляются усиленные караульные наряды, но до сих пор я не знаю ни одного случая партизанской войны. Да, да. Вот здесь, в Крайцбурге, произошла примечательная история. Двадцатипятилетний капитан, бывший комсомольский работник, знающий немецкий язык, был назначен комендантом. В первый же день своей комендантской деятельности он вывесил приказ сдать все множительные аппараты. На следующий день во дворе комендатуры лежали горы пишущих машинок различных моделей. Сдавали даже копировальную бумагу. На приказ сдать оружие, помимо револьверов, охотничьих ружей тащили старинные пистолеты и пищали, заряжающиеся со ствола шомполами и, вероятно, долгие годы украшавшие стены адвокатских и докторских кабинетов.

Словом, ни о каких вервольфах мы пока еще не слышим. Так же, как и об отравлении пищи и воды.

В квартире, где мы разместились, была, очевидно, очень рачительная хозяйка. Весь огромный стенной шкаф оказался набитым склянками с солениями и маринадами весьма аппетитного вида. В чуланчике за кабинетом хозяина обнаружился изрядный запас рейнских и мозельских вин. Соблюдая инструкцию, мы запретили нашим водителям что-либо трогать. И они исправно кормили нас традиционной кашей-«блондинкой», осточертевшей нам на пути от Сталинграда до Германии. Но однажды Петрович как бы невзначай спросил нас, что помогает при отравлении, и мы назвали, что знали: рвотное, касторка, молоко. Занятые описанием выхода наших войск на Одер, мы как-то даже и не спросили, зачем это ему понадобилось. А вечером, вернувшись со второй информации, застыли в дверях в ужасе, оба Петра лежали в кухне на полу среди банок и бутылок... Отравились! Я бросился было к телефону звонить в медсанчасть, но Крушинский остановил:

— Не надо, слышите, как они храпят.

— Хрипят? — спросил я, холодея.

— Да нет же, храпят. Они просто вульгарно пьяны, дорогой мой Бе Эн.

Так и оказалось. Тут мы обратили внимание, что на кухонном столе стоят в нетронутом виде предусмотрительно заготовленные рвотные порошки, пузырек с касторкой и с литр молока. Оказывается, Петры наши не выдержали столь тягостного испытания и решили на себе попробовать трофейные харчи.

Наутро Петры как ни в чем не бывало проснулись, допили то, что оставалось в бутылках, и ушли к своим машинам. И тут разыгрался второй акт этого водевиля. Приехал наш штабной врач, плечистый, грузный, мрачный мужчина в халате. В дверях сменил фуражку на белую докторскую шапочку и прямо шагнул ко мне.

— Как вы себя чувствуете, подполковник? Вам лучше?.. Вы бы, батенька, все же поосторожней с харчами. Но рвотное, которое я вам прислал, это хорошо. Очистить желудок всегда полезно. Позвольте, батенька, ваш пульс.

Я неуверенно протянул руку, спачала не поняв, откуда взялся врач и почему он озаботился моим здоровьем. Крушинский понял раньше меня и, подмигнув мне из-за спины врача, выкатился из комнаты. Ну конечно же. Петры, мучимые желанием добраться до трофейных пищевых сокровищ, доехали до врачебного околотка,

рассказали, что я отравился какой-то дрянью, и исходатайствовали для меня все подобающие лекарства. Разоблачать их врачу я не стал, поблагодарил за помощь. Врача мы угостили роскошным завтраком из трофейных харчей, он запил его рейнским и мозельским и уехал, довольный, оставив, однако, на всякий случай еще рецепт на олеум рицини, что по-русски означает — касторка.

Итак, легенда об отравлении продуктов вервольфами, несмотря на истерические вопли и угрозы доктора Геббельса, обернулась в нашем случае анекдотом. Гитлеризм оказывается совершенно неспособным поднять народную войну. Но творческая интеллигенция все еще верит романтическим легендам о вервольфах, и это породило еще одну историю.

С великим смущением ходит мое перо по бумаге. К нам прилетел из Москвы на подкрепление к Крушинскому известный фотомастер, назовем его условно капитан Иван. На фронт он выезжает редко и, отправляясь к нам, в дополнение к своему командирскому пистолету ТТ прихватил маленький трофейный «вальтер». Спутницей Ивана в этом рейсе была известная московская певица, летевшая к своему мужу, видному нашему генералу. Летели они к нам, полные опасений, рассказывая друг другу всякие истории о вервольфах и, как всегда это бывает с тыловыми людьми, смакуя в разговорах те опасности, которые их ожидают. Артистка предвидела, что муж ее, естественно, будет очень занят, и взяла с нашего коллеги слово при случае представить ее фронтовым журналистам и писателям. Они простились. Иван позабыл об этом своем обещании, и вот вчера вечером позвонил генерал, сказал, что не худо бы было, чтобы мы пригласили их на вечерок в гости.

— У вас, я слышал, хороший концертный рояль. Она вам споет. Соскучилась она тут со мной.

Корреспонденты любили этого генерала, понимавшего нас, знавшего специфику нашего дела и всегда по мере сил помогавшего нам и советом и делом. Решили принять гостей как следует. Петры отправились за город, где в те дни по вышедшим из-под снега зеленым озимям в поисках пищи бродил беспризорный домашний скот, паслись целые стаи кур и гусей. Решили поразить дорогих гостей, зажарив огромного гуся. Петрович облачился в женский фартук и часа два хозяйничал на кухне. Тем временем Петр Васильевич и Миша Батов под руководством быва-

лого Ивана застилали стол белоснежной скатертью, сервировали его. Благо посуды было в шкафах хоть отбавляй. И действительно, гости наши уже с порога были поражены роскошной сервировкой. Но главное, по их признанию, аппетитнейшими запахами, доносившимися из кухни.

Вечер удался хоть куда. Гусь оказался необыкновенно вкусным. Бокалы не пустовали. Под аккомпанемент шабановской гитары мы пели хором как могли. Наша гостья, одетая в старорусское платье с богатой вышивкой, которое очень шло к ее простому, милому, курносому, очень русскому лицу, аккомпанируя себе на рояле, пела народные песни. На закуску Шабанов, подражая ведущей из хора Пятницкого, торжественно, стальным голосом объявил:

— А теперь я исполню только что рожденную на нашем фронте песню. Слова нашего коллеги Виктора Полторацкого. Музыка цельностянутая.

И он, закатывая глаза, под рокот гитары даже не спел, а прошептал действительно популярные в те дни на нашем фронте стихи Полторацкого, этакие гусарские стихи в стиле Дениса Давыдова, в которых была такая элегантная строфа:

...Мы утешались едкой махоркой
И задыхались в чертовой пыли,
И соль цвела на наших гимнастерках,
Когда у вас акации цвели.

Песенка имела успех. Гостья даже прослезилась. Она достала из сумочки блокнот и принялась записывать слова. Вот тут-то и произошло событие, смутившее умы гостей и хозяев.

Воспользовавшись паузой, Иван тихо исчез за естественной надобностью. Дисклокация квартиры была такая: перпендикулярно к столу, за которым мы все сидели, шел темный коридор, и по нему направо располагалось учреждение с двумя нулями, весьма комфортабельное учреждение со всеми удобствами и ванной. Иван решительно раскрыл эту дверь. И вдруг мы услышали, как падает что-то тяжелое. Крик, дверь распахивается от удара ноги, и оттуда вышел, нет, не вышел, а вылетел наш друг в приспущенных шароварах. В руках он держал два пистолета и, целя в темноту неосвещенной уборной, с отменной мужественностью кричал:

— Хальт!.. Хенде хох!..

Над столом пронесся холодный ветер паники. Все мы похватались за пистолеты. Наша гостья стояла бледная, ни жива ни мертва: ну как же, приехать на фронт и пасть от руки вервольфа.

И тут из кухни выбегает раскрасневшийся Петрович и, прикрыв собой капитана, под трубный гусиный крик, доносящийся из уборной, поясняет:

— Мы же там птицу заперли.— И зловещим шепотом: — Товарищ капитан, штаны, штаны подтяните...

Первой от шока оправилась милая наша гостья. Послышался ее звонкий, заливистый смех. Мы смущенно застегивали кобуры. Генерал, оказавшийся на высоте, смягчил неловкое молчание шуткой:

— Ну, признаюсь, я не знал, что фронтовые корреспонденты перешли на подножный корм и завели гусиную ферму.

Так закончилось единственное нападение вервольфов на наши боевые порядки.

ИНТЕРВЬЮ НА ПЕРЕПРАВЕ

Все эти последние дни мы, так сказать, жили Одером. Да иначе и быть не могло: перед нами была широкая река, прикрывающая путь в глубь Германии. Мне довелось беседовать с воздушными разведчиками, ежедневно прощупывающими сверху берега Одера. Говорили, всюду ведутся большие земляные и строительные работы. Показывали снимки. Сверху казалось, что берега будто источены муравьями. Ребята из дивизионной разведки, плававшие за реку в ночной поиск, приволокли языка — пожилого немца, фольксштурмовца. Рассказал, что на строительство укреплений мобилизовано все окрестное население — старики, женщины, подростки. Работают день и ночь: копают рвы, строят по берегу доты, роют ходы сообщения. Сам этот старый немец из-под Берлина. И оттуда привезли людей.

Все это напоминало мне трагические дни осени 1941 года, когда мои земляки и землячки так же вот день и ночь возводили укрепления вокруг города Калинина, а немецкие самолеты летали над нами, сбрасывая листовки с образцами нацистского остроумия:

...Бабочки! Не ройте ваши ямочки.
Все равно их перейдут наши таночки...

Ясно, что на Одер, как на труднейшую водную преграду на пути в глубь Германии, нацистское командование возлагало большие надежды.

И вот Одер форсирован. Форсирован с ходу, на большом протяжении, и в форсировании этом был повторен опыт Днепра и Вислы: сначала были созданы за рекой многочисленные «пятачки», потом небольшие плацдармы, потом наведены мягкие и жесткие переправы. И вот теперь из передовых соединений поступают сведения, что они быстро движутся в глубь Грмании, захватывая новые и новые города.

А ведь перед нашим фронтом у неприятеля огромные силы: тридцать семь дивизий. Из них семь танковых и четыре мотострелковых. Воздушная разведка докладывает о движении эшелонов с запада. Мы бомбили эти эшелоны в пути, но все же перед фронтом уже обозначались новые части двадцать первой танковой и восемнадцатой механизированной дивизий врага.

Продолжая наступать на запад и юго-запад, наши войска, как это было уже за Вислой, оставляют у себя в тылу огромные окруженные группировки, в частности, так вот обойдены и блокированы Бреслау, Глогау, Оппельн.

— А не опасно ли, что в этом наступлении мы оставили в тылу такие большие, хорошо укрепленные города-крепости? Не могут ли их гарнизоны выйти из укрепленных районов и ударить по нашим тылам? Не многим ли мы рискуем в таком своем быстром продвижении? Ведь, в конце концов, начиная с античных времен, крепости для того и создавались, чтобы удержать врага угрозой ударить по его тылам, отрезать его коммуникации. Ведь только в Бреслау, по данным разведчиков, окружено пятьдесят тысяч войск.

Все эти вопросы я задал маршалу Коневу, перехватив его у переправы через Одер. Он очень занят. Все время находится то в одной, то в другой, то в третьей из наступающих армий. Там на наблюдательных пунктах корпусов и дивизий он и питается и отдыхает. За ним ездит походная радиостанция, люди из подразделения правительственной телефонной связи. Оттуда он отдает приказы командующим армий, докладывает Ставке, даже, как говорили, недавно беседовал с И. В. Сталиным. У себя же в штаб-квартире бывает редко.

И вот повезло. Его машины застряли в ожидании пе-

реправы, а сам он нетерпеливо расхаживал по дорожке, похлопывая прутиком по голенищу сапога. Вспомнив, как однажды, на Украине, когда командующий ожидал, пока его машины вызволят из грязи, я брал у него интервью, я и задал ему свои вопросы.

Он задумался, смотря вниз, на реку, где по жесткой переправе сплошной лентой тянулись танки, орудия, машины, а по льду двигались колонны пехоты.

— У противника сейчас появилась, как мне кажется, новая тактика обороны,— ответил маршал, произнося эти слова раздельно, четко, как будто диктуя давно уже обдуманные мысли.— Он, противник, уже то ли из-за недостатка времени, то ли из-за нехватки сил отказался от строительства укрепленных районов. Даже здесь вот, на Одере, мы не дали ему возможности закончить сплошные, глубоко эшелонированные рубежи. Он теперь, как в средние века, вынужден делать ставку на укрепленные города. На города-крепости с двойными, внутренним и внешним, обводами, и гарнизоны этих городов получают задания ни в коем случае не сдаваться, держаться насмерть. Представляете себе, сколько сил, средств, войск потребовалось бы, ну, чтобы, скажем, штурмовать такой город, как Бреслау? В уличных боях мы перемололи бы множество людей, техники, которые ох как пригодятся в нашей борьбе за Берлин.

— Наш фронт будет драться за Берлин? — повторил я свой, когда-то задававшийся мною вопрос.

— Нет, это я так, условно, фигурально. Так вот, на этот яд мы, кажется, нашли хорошее противоядие. Мы обходим эти города, жестко блокируя их, выставив достаточные заслоны, и движемся дальше. Они нам руки не связывают. А им связывают, выводя огромные гарнизоны из активной борьбы. Смекаете?

Командующий неторопливо посмотрел на переправу.

— Саломахин, скоро там?

— Сейчас, товарищ маршал. Вот еще несколько танков пройдет, и наша очередь,— ответил его адъютант, маленький белокурый подполковник.

— Немецкие генералы люди опытные и хитрые. Это не глупая штука — эти города-крепости. Вот и сейчас они, атакуя внешнее кольцо, окружающее Бреслау, делают вид, что хотят выручить его гарнизон. Мы отбиваем атаки и видим, что не в этом их задача. Они хотят связать как можно больше наших войск осадой городов-крепостей,

связать нам руки, вымотать нас, а главное, замедлить продвижение в глубь страны. Но мы нынче тоже хитрые. И не пугливого десятка. Мы их блокируем и продвигаемся на запад. Понятно это вам, товарищ писатель? Смекаете?

— Товарищ маршал, путь очищен.

— Вижу, поехали.

Командующий сел в один из вездеходов, и три его машины влились в поток войск, втекающих в горловину моста.

ГИБЕЛЬ «ПЕГАШКИ»

А со мной эта одерская переправа через несколько дней сыграла злую шутку. И все Петрович, это его всегдашнее нетерпение, желание всех обогнать, обставить, всюду прийти первым. Я ехал за Одер, к Бреслау, в авиакорпус генерала И. С. Полбина, старого моего знакомого, пикировщики которого сейчас поддерживают шестую армию, блокирующую Бреслау, и бьют по группировке, рвущейся извне как бы на выручку бреславскому гарнизону. Полбин коренастый, чернобровый, цыгановатый красавец, человек большого обаяния, летчик, как говорится, милостью божьей, до сих пор водящий группы своих самолетов на штурмовку особо важных объектов. Я помню его майором, командиром авиаполка. Еще тогда приставал к нему с просьбой взять меня в один из своих боевых полетов, о которых мне уже приходилось писать.

— Потом, потом, после... В атаку на Берлин возьму. Честное пилотское,— отшучивался он тогда на Днепре.

Сейчас мы были уже на Одере. Вчера встретил его в штабе фронта и затащил к нам.

Сидим, и я снова донимаю его той же просьбой. Как было бы здорово слетать с ним на пикировку. В голове роятся аппетитные заголовки: «Мы пикируем на укрепления Бреслау», «Рядом с советским орлом, устремляющимся на врага», «Пикирующие бомбардировщики». Словом, будет о чем написать, ей-богу...

— Да вы же не выдержите. Знаете, какие на пикировании перегрузки?

— На бомбежку вылетал? Вылетал. На штурмовку вылетал? Вылетал. С парашютом прыгал? Прыгал.

— Но пикировщики совсем иное дело. Мы же идем вниз на форсаже.

— Так я уже летал и на пикировщике.

— Как, когда, с кем?

— На немецком пикировщике «Ю-87» со словацким пилотом.

— Как это могло быть? А ну расскажите.— Черные выразительные глаза генерала смотрели несколько настороженно. Дескать, не разыгрывай-ка ты меня, знаю, мол, я вашего брата корреспондента. Я рассказал, как, когда. Рассказал и о восстании. Он покачал головой, поднял руки и, улыбаясь, сказал:

— Сдаюсь, больше не спорю. Приезжайте завтра ко мне в штаб к двум ноль-ноль. Полетим.

Завтра наступило, и вот мы мотаемся в длинном хвосте очереди перед одерской переправой, время от времени сотрясаемой налетами «фоккеров».

Вот тут-то Петровичу и пришла пагубная идея. В то время как машины, танки двигались по жесткому мосту, пехота шла справа по льду. Иногда в ее колонне проскакивал через реку и какой-нибудь резвый «виллис». Петрович все время присматривался к этому обходному маневру, но я решил придерживаться святого лозунга «тише едешь — дальше будешь». А время шло. До двух ноль-ноль оставалось не так уж много. Тогда Петрович с невинным видом посоветовал мне перейти по льду на тот берег и поискать попутку, идущую в нужном направлении. Затея показалась резонной. Если Петрович вовремя переберется, он меня догонит в пути, а если нет, сам доедет до штаб-квартиры Полбина, нахождение которой он уже пометил на карте.

На попутных путем прямого и открытого голосования мы ездить научились. Сколько километров проделано таким образом. Но, когда, поднявшись на тот берег, я оглянулся, увидел, что «пегашка» наша уже сбежала на лед и проворно пересекает реку. Взяла тут меня досада: надул-таки хитрый леший. Ну куда это годится: получил приказ, договорились, черт возьми, к чему искушать судьбу? В досаде я пошагал было прочь, но с реки послышались крики, возбужденные голоса. Оглянулся, что такое? Там, где только что пробегала «пегашка», чернела овальная промоина и солдаты помогали кому-то вылезать из воды на лед. Было далеко, лиц не разглядишь. Но по силуэту я понял: Петрович. А машина? И тут

сердце захолонуло. Эта овальная промоина — могила нашей «пегашки». Пока я приходил к такому выводу, человек там, на льду, вдруг бросился на лед и яростно застучал по нему кулаками. Теперь я уже не сомневался: это Петрович. Сбежал вниз, подбежал к промоине.

Петрович сидел мокрый и жалкий. Вода сбегала с него ручьями и образовывала под ним на льду лужу. Толпившиеся возле проруби бойцы обсуждали происшествие.

— Тут подо льдом, видать, бырко, наверное, метра три будет. Разве достанешь?

— Ничего, не горюй, парень, пешком походишь. Здоровее будешь. Моли бога за то, что самого-то вытащили.

— Правильно. Машину, ее дадут. Вон их сколько теперь трофейных по дорогам бегает.

Кто-то протягивал флягу.

— Хлебни-ка, земляк. Так-то сидеть простынешь.

А кто-то осуждал реку.

— Одёр, он Одёр и есть. И название ему — Одёр.

— А ты, старшина, чего расселся на льду? Стань, пробегись, а то душа к кишкам примерзнет...

Это был правильный солдатский совет, и, так как пораженный Петрович продолжал сидеть над черным провалом во льду, я попытался поднять его на ноги. Он только тупо повернулся в мою сторону.

— Встать! — заорал я как можно грознее, как никогда не орал на своего верного водителя и друга за всю войну. Тут сработал солдатский инстинкт. Он вскочил. Вода стекала с полушубка ручьями, и сам он походил на толстого, вытащенного из ведра щенка.

Может быть, в эту минуту я и узнал в полную меру, как дорог мне этот человек, с которым мы проездили всю войну по многим фронтам. Машина и все имущество наше покоились на дне коварного Одера. У нас осталось только то, что было надето. Но что все это значило по сравнению с человеческим здоровьем! Было уже ясно, что не поспеть мне к двум ноль-ноль в штаб генерала Полбина. Представил, как посматривает он на часы, как по привычке щиплет свои жесткие полубачки и усмехается: струсил, мол, или, как летчики говорят, «пустил цикорий».

Но нам чертовски повезло. Как раз спускался на переправу грузовик «додж» со знакомым мне офицером связи из штаба фронта. Мы усадили потерпевшего в кабину,

шофер включил отопление и к моменту прибытия на место нагнал такую температуру, что, вылезая из кабины, Петрович был красен как рак.

— Ташкент... Жарища...

Он даже горестно продекламировал из своего любимого «Василия Теркина», по обыкновению безбожно комкая слова:

Переправа, переправа,
Берег левый, берег правый...
Кому орден, кому слава,
Кому черная вода...

Заснул Петрович мгновенно, каменным сном. А я вот уснуть не мог. Сон не шел. Судьба «пегашки» не выходила из головы. Конечно же, было жалко и потерянную машину, и погибшее нехитрое наше имущество, которое так трудно будет восстановить в военное время. Но не в этом было дело. Я жалел «пегашку» как живое существо, ибо все четыре года войны связаны с этой машиной.

Сейчас, когда я думаю о ней, мне даже кажется, что однажды она спасла мне жизнь. Под Калинином корреспондент Совинформбюро и я в дни нашего первого наступления, еще необстрелянные и неопытные, пожелав увидеть войну в «непосредственной близости», в сумерки двинулись по полевой дороге, как мы задумали, на передовую. Ехали резво, с ходу проскочили посты и очутились на полоске земли, что именуется ничейной. Немцы, видя, что по направлению к ним идет машина, не стреляли, вероятно, полагая, что это движутся перебежчики. Наши тоже не били, ибо у машины был фронтовой номер. Первым пришел в себя Петрович. Он не стал разворачиваться, дал задний ход. Так, пятясь, мы миновали свои передовые посты и остановились лишь, когда заехали под прикрытие высотки. Ну а если бы в эту минуту отказал мотор? Если бы Петрович стал разворачиваться и застрял в снегу?

Мы ездили на нашей «пегашке» в жару и в холод, и в сухую степную пылищу под Сталинградом, и по непролазным грязям Украины, которые не всегда преодолевали даже гусеницы.

В дни, когда на пути нашем пошли сожженные деревни, а уцелевшие избы оказывались всегда так забитыми, что и прошагнуть было трудно, Петрович, отогнав «пегашку» на фронтовой авторемонтный завод, реконструи-

ровал ее. Переднюю спинку он сделал откидной, так что теперь, опустив ее назад, мы обретали удобные спальные места. Потом, развивая свою творческую мысль, он приделал позади переднего сиденья подъемный столик, так что, остановившись где-то в пути, можно было, не выходя из машины, писать. Словом, у нас, как у улитки, был подвижный дом с той лишь разницей, что не мы носили его, а он носил нас.

А однажды, это было в бурном наступлении по степям Молдавии, «пегашку» увели. Петрович направился в административно-хозяйственную часть получить для нас подметки. Вышел с подметками, а машины нет. Утром на заре он отправился на поиски «пегашки».

Второй Украинский фронт бурно наступал. Все было в движении. Где в этой каше найдешь нашу пеструю «эмочку»? А ведь нашел. Нашел и пригнал. А потом дней десять обхаживал ее.

— Как же тебе посчастливилось?— поражались мы.

— А очень просто. У нас шины с выпуклым протектором. Помните, вы все ворчали, шумят на ходу, а они и выручили. Ни у кого таких шин нет. По следу и нашел. Конники ее... случайно прихватили.

— И они тебе отдали?

— Ну а как же. И заправили, и на дорогу харчей и бензиновых талонов дали — только не шуми. Хорошие ребята, добрые. У них машины с хвостами, не очень-то на них наездишься.

И вот теперь эта «пегашка», наш друг, наш боевой товарищ, где-то там, на дне чужой реки. Эх, здорово не повезло. Но ничего, не пропаду. В крайнем случае стану пешкором. Ну, например, как Алексей Сурков, человек, пользующийся у нас особым уважением. Он старый солдат с времен гражданской войны. Несмотря на свое высокое военное звание и положение в литературном мире, он считает, что пехотинец должен ходить пешком, делить с солдатами все тяготы войны. Так и изложил он однажды мне свою позицию, когда подо Ржевом мы перегнали его на фронтовой дороге, по которой он бодро шагал с солдатским мешком за плечами. Что ж, честь ему. Вообще он несколько странный, мило странный. Бывало, пришагает он в какую-нибудь нашу штаб-квартиру, захотим мы его угостить, ну, разумеется, встанет вопрос, как добыть и «горючее». На эту операцию брать его с собой нельзя. Мы доходим с ним до конторы военторга, сажаем

его на видное место где-нибудь на пеньке или на крылечке, но действуем от его имени сами. Военторговские люди с ледяными сердцами, давно привыкшие к корреспондентам, недоверчиво спрашивают: «Сурков? Какой Сурков? Тот самый? «Землянка»? «То не тучи — грозовые облака»? Он к нам приехал?» — «Ну конечно, отвечаем, приехал, вон он сидит». И показываем в окно. Ледяные сердца расплавляются. Выдается соответствующая записка на склад. Но брать с собой автора знаменитой на всех фронтах «Землянки» нельзя, гиблое дело. В солдатской шинели, в кирзовых сапогах, не умеющий и не желающий попросить для себя что-то, чего не полагается по аттестату, он обязательно испортит все дело. Тут и «Землянка» не поможет. И ходит пешком.

Ну что же, отличный и для меня пример.

И все-таки жаль, жаль нашу «пегашку». Как представишь ее вместе со всеми ее приспособлениями там, в черной пучине подо льдом немецкой реки, так комок и подступает к горлу.

ПРИВИДЕНИЯ В ЗОФИЕНХАЛЛЕ

Ничего, как оказалось, работать можно и без машины. Может быть, даже и лучше. Так сказать, ближе к боевым порядкам. Сегодня узнал, что танковая армия генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, боевого полководца-танкиста, начала большой рейд за Одером. Я устроился в машину к армейским журналистам, моим старым знакомым, тоже уходившим в этот танковый рейд к сердцу Германии. За рекой танкисты, как говорят, «легли на автостраду», и колонна устремилась на запад, гремя гусеницами по благоустроенному, ровному шоссе. Скучно, да и небезопасно двигаться по такой дороге. Ее легко бомбить. Есть и другая опасность — ровное, размеренное движение вызывает дрему, водители засыпают за рычагами и от этого случаются и столкновения и катастрофы. Так вот, ехали мы на открытом вездеходике, дремали и вдруг шофер, притормаживая, произнес:

— Ой, что это? Откуда такие красавицы?

На обочине справа у небольшого ответвления шоссе стояла группа женщин. Они были странно одеты. Комбинезоны из мешковины. На головах какое-то тряпье. Ноги тоже обмотаны тряпьем.

А день морозный. Курясь над полями, тянула поземка, и асфальт был, наверное, обжигающе холоден. Колонна танков шла и шла. Женщины махали танкистам руками, что-то кричали, но танки шли безостановочно мимо них.

И вдруг перед нашей машиной выскочила простоволосая женщина с огненно-рыжими волосами, развевающимися на ветру.

— Товарищи, товарищи! — кричала она, загораживая дорогу. Пришлось свернуть на обочину. Женщины сейчас же обступили машину, крича, плача, что-то говоря и по-русски и по-украински. Та, рыжая, что остановила нас, рекомендовалась.

— Я секретарь тайного комитета советских граждан в поместье Зофиенхалле. Меня зовут Катерина Кукленко.

Черт его знает, на какие можно напороться чудеса. Еще утром этот край был в руках немецких войск. Война шла где-то на востоке, сюда лишь едва доносились звуки канонады. А сейчас нас встречают какие-то землячки из какого-то тайного комитета советских граждан. Рыжая протянула лист прекрасной веленевой бумаги с грифом «Клара Рихтенау. Зофиенхалле».

Но на бумаге этой по-русски перечислялось, сколько этот неведомый тайный комитет советских граждан хочет сдать Красной Армии скота, зерна, фуража, а также передать военнопленных из фольксштурма. В переписи военнопленные шли следом за коровами и в графе «количество» было проставлено «6 штук».

Открывалось нечто необыкновенное, нами еще не виданное. Не вылезая из машины, мы провели с коллегами, так сказать, блицсовещание. Решили свернуть с дороги, посетить этот самый Зофиенхалле, познакомиться с деятельностью тайного комитета, помочь этим женщинам.

И тут узнали мы удивительные вещи. Поразительные. И в то же время, может быть, в какой-то степени и характерные для этого этапа войны. Нас привезли в поместье. В глубине парка стоял большой двухэтажный старый особняк. С крыльца его виднелись скотные дворы, конюшни, силосные башни, какие-то сараи, амбары, а вокруг лежали поля, на которых тучные ярко-зеленые озими островками выглядывали из-под снега.

Все это — дом, парк, поля, обширное хозяйство — принадлежало Петеру Рихтенау, полковнику из старых рейхсверовцев. Он воевал на восточном фронте и еще в

прошлом году присылал своей жене Кларе письма и посылки из России. Хозяйство вела, и очень толково, сама фрау Клара. Благодаря заслугам мужа власти крейса к ней благоволили. Ей дали привилегию самой отбирать рабочую силу в партиях невольников, прибывших из оккупированных стран. Среди них и оказались рыжеволосая Катерина Кукленко из-под Киева и высокая худая Людмила Серебрицкая из Белоруссии.

Невольницы жили в нечеловеческих условиях. Их размещали в пустовавшей конюшне. Спали на нарах на тюфяках, а иногда и просто на соломе. Пищей был хлеб, выпеченный с примесью отрубей, и кружка бурякового варева. Лишь по воскресеньям к этому добавлялся кусочек мяса или рыбы. Рабочая одежда шилась из мешковины. Это были безобразные комбинезоны. В конюшне печей не было. Имелись времянки, но фрау Клара экономила топливо и зачастую не выдавала угля. Голодом и холодом она, видимо, старалась убить в русских батрачках все человеческое, сломить волю, превратить в покорных рабынь. За невыполнение нормы, за опоздание на работу оставляли без еды. А вот за препирательства с администрацией поместья били. Хватали, тащили в чулан, и тут шофер фрау Клары бил их хлыстом. Спокойно, деловито, без злобы отсчитывал положенное количество ударов.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что после того как одна из избитых девушек бросилась в реку, начальство крейса наложило на фрау Клару денежный штраф, и избиения прекратились.

Вот в этих условиях Катя и Людмила и объявили себя «тайным комитетом», якобы кем-то свыше организованным. Главной задачей этого самосоздавшегося комитета было сохранить у невольниц человеческий облик. Девушки не давали им опускаться, заставляли следить за собой, заботились о больных. По вечерам из хозяйской конюшни раздавались песни. Среди невольниц была библиотекарша. Она по памяти пересказывала им произведения Пушкина, Гоголя, Горького, читала стихи Некрасова, Маяковского. Невольницы все время чувствовали поддерживающую и направляющую руку этого комитета. А это уже многое значило.

— Знала ли фрау Клара о вашем комитете?

— Да, наверное, знала, догадывалась,— ответила Катя.— После того как ей попало за избиения, ей, мо-

жет быть, и выгодно было с нами ладить и чтобы мы следили за собой. Ей ведь это ничего не стоило. Но о том, что мы делали, она, конечно, не знала.

— А что вы делали?

Однажды будто бы сам собой загорелся и сгорел дотла сарай с сеном. У свиней вдруг начался падеж. В свинарник остарбайтер не пускали. Там работали немецкие батрачки. В поместье свинарник был святая святых. А свиньи падали и падали. Думали, эпизоотия, и не догадались, что им в пищу подкладывают мелко нарезанную щетину. Комитет даже лозунг дал: чем меньше сделаешь, тем ближе свобода.

Всяческие беды начали одна за другой обрушиваться на это некогда процветавшее и доходное хозяйство. Чувствуя нараставшее сопротивление, фрау обратилась к властям крейса. Приехал чиновник в эсэсовской форме.

Он определил в Зофиенхалле на постой шесть пожилых фольксштурмовцев, долечивавшихся после госпиталя. И все-таки фрау Клара не знала покоя. Ходила вооруженная. По ночам ей казалось, что кто-то бродит по двору, крадется в комнаты, и она зажигала электричество.

А фронт придвинулся совсем близко. На дорогах появились вереницы беженцев. Их видно было с холма Зофиенхалле. Не надеясь на фольксштурмовцев — старых немцев, которые, прибыв в поместье, в конфликте между хозяйкой и невольницами заняли нейтралитет, фрау Клара вечером отобрала у девушек обувь. Вот почему сегодня мы и увидели их на шоссе с ногами, замотанными в тряпье.

Такова история, которую нам рассказали Людмила и Катя — девушки, взявшие сейчас управление имением в свои руки. Особенно любопытно, что в женском комитете этом, оказывается, имелся и мужчина, причем немец, механик и электромонтер поместья, старик, друживший с девушками и по мере сил помогавший им.

— Ну а что теперь, девчата, собираетесь делать?

— Домой, конечно,— ответила Людмила.

— А может, в армию примут? — поинтересовалась Катя. И тряхнула рыжими волосами.— Сами пойдем и приданое с собой принесем. Зря мы, что ли, тут батрачили, пот проливали. Явимся к вашему командиру: принимай от нас скот, фураж, имение и все такое. И нас принимай. Нет, вы не уезжайте, помогите нам все это добро сдать. Его тут много. Одних свиней не сочтешь, да

какие свиньи-то. Если мы все бросим и уйдем, кто же их кормить станет? Пооколевают, и большой урон будет.

Этот тайный комитет умел, оказывается, думать по-государственному.

— Ну а эта фрау ваша куда делась? Бежала?

Последовало замешательство. Девушки посерьезнели и переглядывались.

— Здесь она,— холодно ответила Людмила.

А Катя запальчиво, с вызовом почти выкрикнула:

— Мы ее убили.

— То есть как это убили? — вырвалось у моего коллеги.

— А лопатой,— точно давая справку, ответила какая-то курносая девчонка.— Лопатой по голове. Там и лежит в своей спальне, сходите взгляните.

Оказывается, получив по телефону известие о том, что наши танки совершили прорыв, фрау Клара принялась судорожно укладывать добро в чемоданы, рассовывать по ним деньги, облигации, драгоценности. Шофер, тот самый, что выполнял при ней роль экзекутора, заправил машину на дальнюю дорогу и уже подвел ее к черному ходу. Девушек еще с утра он запер в конюшне. Он получил приказ, перед тем как тронуться в путь, поджечь свинарник, скотные дворы и конюшню, где были заперты невольницы. Но случилось по-иному. Старик механик, друживший с девушками, которого они звали дядей Карлом, отпер конюшню, предупредив девушек об опасности, и они, похватав кто что смог, вооружившись косами, вилами, ломами, двинулись к дому. Камердинер запер двери, но разъяренная толпа уже ломилась в них. Девушки пустили в ход топор. Дверь рухнула, они ворвались в дом, оттеснили старика, бросились в комнаты.

Фрау Клара Рихтенау выхватила «вальтер», но выстрелить не успела: железная лопата раскроила ей череп.

— Где ее труп?

Нас с коллегой из армейской газеты провели в спальню. У кровати на полу лежало тело женщины лет сорока. Вокруг нее на полу валялись банкноты, россыпь каких-то ценных бумаг.

— Ценности мы все собрали, сейчас составляем опись,— сказала Людмила.

— Кому собираетесь сдавать?

— Конечно, Красной Армии. Мы и на скот, и на фураж списки составили, и на зерно.

— А где же фольксштурмовцы, про которых вы рассказывали?..

— А они в домике управляющего. Оружие они сдали. И этот старичишка камердинер там... А шофер удрал на машине...

— Фольксштурмовцы вас не тронули?

— А зачем им. Они дядьки хорошие, с ними дядя Карл поладил...

Эта высокая красивая девушка, удар которой и раскроил череп помещицы, говорила все это спокойно, я бы сказал деловито, не обращая внимания на труп, лежащий на полу.

То была уже перевернутая страница, а они начинали другую, и начинали, как видно, довольно уверенно.

Было уже поздно. Двигаться по дорогам этой еще не освоенной территории было бы необдуманно. Посовещавшись, решили заночевать здесь. Нам постелили на диванах в кабинете хозяина Зофиенхалле.

Здесь мы увидели в альбоме фронтовые снимки Питера Рихтенау — седого военного в походной форме. Целая история в снимках. Рихтенау на границе в окружении офицеров у поверженного пограничного столба с нашим гербом... Русский зимний пейзаж, шоссе. Закамуфлированная машина стоит у дорожного немецкого указателя. На стрелке надпись: «Москау 90 километров». Рихтенау в шинели с бобровым воротником позирует у этого столба.

— Посмотрите, товарищ подполковник, что я тут нашел,— сказал мой коллега, протягивая какой-то предмет. Это была пепельница, не без выдумки вырезанная из курчавого березового нароста. На ней было выжжено «Городня» и дата: декабрь 1941 год. Может быть, это была та самая Городня, что есть на Волге? Мы, тверяки, считаем ее самым русским из всех русских мест нашего Верхневолжского края. Там, на мысу, вознесенная высоко над рекой, церковь XVI века — древний форпост сил российских, у которого мои земляки не раз скрещивали оружие с интервентами. Так вот куда добрался господин Рихтенау! Вот откуда гнали мы его сюда, за Одер, а может, и не гнали, может быть, лежит он где-то в безымянной могиле на одном из тысяч пройденных нами с боями километров...

Кожаный диван чертовски мягок, так и тонешь в нем. Вместо одеял новые хозяйки Зофиенхалле пожаловали

нам перины. Чистейшие простыни хрустят, но хоть день был и нелегкий, очень емкий день, опять не спится. За дверью кабинета идет странная жизнь. Там работает, уже не тайный, комитет поместья. Отдаются распоряжения, дискутируют о том, как все сохранить, чтобы кто-нибудь не подпалил, и как быть с шестью фольксштурмовцами, которые сидят в домике управляющего.

— Выгнать их в шею — и делу конец. Возись тут с ними. Карауль. На черта они нам сдались.

— Так они ж пленные.

— Пленные это когда солдаты, а какие они, к лешему, солдаты, старые дядьки, и формы-то у них путевой нет. Мы их обезоружили, и пусть катятся колбасой по домам.

— Как это можно так рассуждать, «колбасой»? Война-то идет. Их опять вооружат и против наших пошлют. Стрелять в наших будут.

— Куда они там будут стрелять. Нас-то ведь они не трогали.

И тут раздается предложение позвать на совет дядю Карла. Зовут старика. Бухают по паркету кованые его башмаки. Кто-то из девушек уже по-немецки задает ему этот вопрос. В кабинет сквозь щели просачивается запах злого какого-то табака, вступающий в противоборство с сигарным ароматом кабинета. Я не совсем понимаю разговор, но, кажется, Карл советует расконвоировать фольксштурмовцев и заставить их работать по хозяйству. Ну а потом отвести в ближайшую советскую военную комендатуру. Будет же тут военная комендатура. Ведь так полагается.

Слушаешь все эти разговоры и невольно поражаешься просто-таки государственной мудрости этих вчерашних невольниц фрау Клары...

Нет, не заснешь. Одеваюсь, выхожу из кабинета. Несколько женщин спят в креслах и на полу. Та курносая девчонка, что выполняет сейчас, кажется, роль адъютанта при Людмиле, дает мне пачку писем и просит бросить их в ящик полевой почты. Письма родителям, знакомым, милым, если у них сохранились еще прежние адреса, если они живы, если они помнят.

— Минск очень разрушен? — спрашивает Людмила.

— Я там не бывал, но слышал, что очень.

— Прелестный был у нас город. И как мы его строили... Проспекты-то как в Ленинграде... А вы знаете,

что тут за Одером действовал партизанский отряд имени СССР? Не слышали?

— Нет.

— Услышите. Он еще в начале зимы тут появился. Говорят, в нем много людей. Они в большие города не заходили, а вот тут в лесах, на дорогах. Очень их фрау Клара боялась. На них целые облавы устраивали.

Известие это меня заинтересовало. Партизанский отряд в самой Германии. И еще имени СССР. Мы както ни разу даже не слышали, что такой существует. Николаев бы обязательно о нем сказал.

— В нем даже немцы есть,— говорит девчонка-адъютант, кося своими козьими круглыми глазами.

Я записываю все, что слышу об этом отряде. Конечно же, надо будет навести справки, собрать материал. Это ведь тоже будет неплохая корреспонденция. Но может быть, это один из добрых мифов, какие несчастные люди сочиняют для себя в утешение?

Зовут Карла. Старый солдат первой мировой войны, он стоит перед офицером навытяжку. Трубка, скрытая в его кулаке, дымит. Разговариваем. Людмила переводит. Каждый раз, когда к нему обращаются, старик вытягивается, стукает каблуками башмаков, по всем старым правилам ест глазами начальство.

Да, такой отряд был, это не фантазия... Да, он действовал и здесь, вокруг Бреслау, и дальше, вниз по Одеру... Да, властям от него было большое беспокойство, в особенности железнодорожным. Но никаких особых подробностей и Карл не знает.

Снова укладываюсь на диване, натягиваю на себя перину, но и сквозь перину слышу, как мой коллега капитан храпит во все завертки. А я опять не сплю. Радуюсь тому, что узнал сегодня. Ведь какие необычные страницы войны открывались вдруг передо мной. Да, в пешкоровском положении есть свои преимущества. А об этом отряде имени СССР обязательно надо узнать подробнее. Это что-то оригинальное.

РУССКИЕ ЛЮДИ

Став пешкором, я теперь все-таки стеснен в перемещении. Жди, когда подвернется попутчик. Но интересный материал, оказывается, можно добыть и на месте, в

Крайцбурге. Вот сегодня я согласно пословице нашел топор под лавкой.

Заехал в армейский госпиталь попросить что-нибудь от ангины и наткнулся на молодого разговорчивого врача, который, оказывается, тоже немножко занимается литературой, и узнал историю, которую он, врач, в свою очередь, услышал от пациента, лежащего в госпитале после операции.

Эта маленькая драма разыгралась недавно, уже в дни нашего наступления в Верхней Силезии. Жили четверо молодых русских людей с очень разной судьбой. Владимир Чесноков был монтером Курской электростанции. Призвали в армию. Дрался под Москвой, был ранен, вернулся в строй. Был снова ранен уже под Орлом. На этот раз ему не повезло — раненным попал в плен и направлен на работу сюда, в Силезию, в промышленный город Оппельн. Степан Зарубин — слесарь-лекальщик с машиностроительного завода в Орле. До последнего часа участвовал в демонтаже оборудования, а потом, когда кольцо гитлеровских войск замкнулось за Орлом, был мобилизован в остарбайтер и тоже получил направление в Оппельн на тот же завод. Инженер-механик из Харькова Геннадий Суслов, что греха таить, убоялся голода и, заболев цингой во время голодной зимы, польстился на посулы немецкой пропаганды и сам записался на работы в Германию.

Четвертый — Владимир Сибирко, тоже русский, но родился в Париже в среде эмигрантов. Работал на заводе «Ситроен» оператором на конвейере. Оккупантами был мобилизован и уже в качестве вестарбайтера прибыл на тот же завод.

Встретились они в распределительном лагере в городке Нейштадт, бывшем, так сказать, рынком подневольной рабочей силы. Познакомились. Разговорились. Понравились друг другу. И постарались получить назначение на один завод, что, в общем-то, оказалось делом нетрудным, ибо все они были людьми дефицитных профессий. Их поместили вместе в одном бараке, и, так как завод производил в числе другого шестиствольные минометы и боеприпасы к ним, друзья, каждый по своей специальности, включились в тайную войну, которую организовали мобилизованные рабочие. Вели ее не только они. Были и другие, но пока речь об этой четверке.

Строгости на заводе были невероятные. Каждого, кого

подозревали во вредительстве или саботаже, хватали, и он исчезал без следа. Но друзья действовали с умом. Чесноков оперировал на электростанции, и частые аварии турбин были делом его рук. Однажды ему удалось столь серьезно испортить машину, что остановились основные цехи. Зарубин, работавший на ремонте, был у немецкой администрации на отличном счету. Ремонт делал быстро, надежно, но, ремонтируя одно, портил другое.

Суслов и Владимир Сибирко по мере сил дезорганизовывали работу конвейера. Из месяца в месяц, не затихая, шла эта тайная война непокоренных людей, но боролись каждый в одиночку, на свой страх и риск, не доверяя даже соседу по барачной койке и советуясь лишь вчетвером.

Когда же по заводу пошли слухи, что Красная Армия приближается, что линия немецкой обороны на Висле, которую доктор Геббельс называл «несокрушимой цитаделью Германии», прорвана, друзья решили действовать активнее. Администрацией был получен приказ грузить остарбайтеров в вагоны. Но вдали уже слышалась канонада. Над городом, над дорогами носились советские штурмовики, обстреливая колонны, эшелоны, стоящие под погрузкой. На заводе поднялась паника. Вот теперь-то и решили четверо: пора. Разработали план.

В бригаде Суслова затеяли якобы драку. Людей из заводской охраны втянули в толпу и тут с ними и расправились. Вооружились их винтовками. Поднялся настоящий бунт, который шел под аккомпанемент приближающейся перестрелки. Немецкие рабочие в нем не участвовали, но и не препятствовали ему. Действовали ост- и вестарбайтеры.

Вот тогда-то Степан Зарубин отыскал в будке железнодорожника красный сигнальный флажок, залез на заводскую трубу и привязал его там к громоотводу. Он был первым, кого срезал залп солдат военной комендатуры, вызванных на помощь разоруженным заводским охранникам. Он упал замертво, но флаг продолжал развеваться над заводом и над городом, а стихийно возникший бунт перерос в настоящий бой. Восставшие забаррикадировались в цехе и отстреливались из окон. Солдаты втащили во двор завода несколько орудий. Разбили снарядами забаррикадированные двери. Рабочие дрались в узких проходах, пустив в ход железные штанги, чугунины. Это

может показаться, пожалуй, невероятным, но толпа рабочих, подбадриваемая звуками приближавшейся перестрелки, которую вели советские танкисты, продержалась до подхода советских танков.

В этой борьбе пал Владимир Сибирко, оборонявший лестницу. Инженер Суслов, раненный в ногу, продолжал вести огонь из оконной амбразуры и выпустил винтовку только тогда, когда пуля попала ему в лоб.

Лишь один из четырех друзей, Владимир Чесноков, уцелел. Раненный в плечо, он находится сейчас на излечении в военном госпитале у врача, рассказавшего мне эту историю.

Вскоре по приглашению врача в кабинет пришел Владимир Чесноков, своими курчавыми темными волосами походивший на цыгана, и мы уже вместе уточнили подробности маленькой одиссеи четырех русских парней.

— И много пало в этом бою?

— Кто их считал? Каждый умирал в одиночку. А ведь среди нас и немцы были, а в конце боя и немало. Тут вообще много хороших людей, в Силезии. Коренной рабочий класс. А были и среди своих, которые нас же и предавали. Однако мало, ложка дегтя.

— Ну вот, доктор говорит, подлечил тебя, скоро выпишут. Что делать будешь?

— Как что? — с обидой переспросил Чесноков и тряхнул своей вздыбленной шевелюрой.— Как что? Воевать, конечно. На мою долю войны осталось. Разве нет?

КУЗНИЦА И КОЧЕГАРКА ГЕРМАНИИ

Борис Николаев зашел сегодня и сообщил тяжелую весть: погиб генерал Полбин. Повел группу своих пикировщиков на какой-то особенно важный объект в районе Бреслау, вошел в пике и не вышел из него. Подбитый самолет врезался в землю.

Когда это было, Николаев точно не знает. Он тоже знал Полбина. И мы грустно помолчали несколько минут, вспоминая этого замечательного летчика. Потом, встряхнув головой и будто бы отогнав эти воспоминания, Николаев показал мне обращение, изданное от имени Гитлера и адресованное солдатам и рабочим Силезского угольно-промышленного бассейна.

«Солдаты! Вы защищаете великую кузницу нашего отечества. Здесь добывают уголь, который согревает ваши семьи. Здесь куется оружие германской армии, оружие славных побед... В эти грозные часы, когда восточные орды ломятся в ваши дома, угрожают вашим женам, вашим детям, вашим родителям, вашему отечеству, будьте в этих боях мужественными и стойкими германцами, отстаивайте жемчужину Германии — Силезию, кочегарку и кузницу нашего фатерланда».

— Отпечатано в Берлине?

— В том-то и курьез, что отпечатано в Бреслау, который сейчас блокирован шестой армией. И отпечатано с опозданием, ибо весь Силезский бассейн в наших руках.

— Неужели весь?

Я в последние дни из-за неудобств передвижения пропустил уже несколько информаций. Николаев достал из планшета карту.

— По существу весь, видишь, города Катовице, Гляйвиц, Гинденбург, Баутцен, Ратибор, ну и иные, видишь, все заштриховано красным.

Мне сразу вспомнилась беседа с Павлом Семеновичем Рыбалко, когда он вел бой у первого из городов Силезского бассейна. Сожалея о том, что его армии в самый разгар наступления пришлось резко повернуть на юго-запад, чтобы не замыкать кольцо окружения, он понимал, что здесь, на большом пространстве, командование хочет повторить столь удачный краковский маневр.

— Заводы остались целыми?

— Многие целы.

В самом деле, разве не интересно будет сообщить читателю о том, что происходит на заводах этого «второго Рура Германии» через неделю после вступления Красной Армии. И вот Петр Васильевич везет нас с Крушинским по шоссе Бреслау — Баутцен, по одной из лучших автострад в Германии. Дорога прямая, как полет стрелы. Она разделена газоном на два полотна. Все деревни отселены от нее в сторону, а пересекающие ее дороги перелетают над нею, вознесенные вверх виадуками.

Думается, что отличная эта автострада со дня своей постройки не видела такого мощного движения, какое происходит на ней сейчас. Мощного, но и странного. На северо-запад тянутся наши наступающие части: вереницы танков, самоходок, орудий на механической тяге, идут

понтонные парки, закрытые брезентами «катюши». По обочинам идет пехота, потная, усталая, непобедимая пехота. Обгоняя все это, на рысях проходит кавалерийская часть. Гремят гусеницы, урчат моторы, шуршат шины.

А навстречу этому военному потоку движется другой поток.

Это недавние невольники возвращаются к себе на родину. Сколько их жило в этих областях гитлеровского рейха, вывезенных из разных стран! Кто знает. Когда-нибудь это будет обязательно подсчитано. А пока вот, смотря на этот поток, можно сказать: много, очень много. А ведь это только те, кто дожил до освобождения, кто миновал смерть. И вот они сейчас идут к своим очагам пешком, не дожидаясь, пока восстановят железные дороги и наладят сообщение.

Это ведь тоже не просто — в месяц буранов и метелей двинуться в тысячекилометровый путь в рваной одежде, не сытыми, не обеспеченными едой. Но желание поскорее уйти из этих мест, связанных со столь страшными воспоминаниями, тяга родины сильнее холодного разума, и вот идут, неся за плечами рюкзаки, и идут, представьте себе, весело, приветливо машут руками встречным войскам, а иногда даже и поют.

А какой человеческий конгломерат движется сейчас по закопченным снегам индустриальной Силезии: русские, украинцы, французы, датчане, чехи, словаки, сербы. Иногда где-то среди толпы шагает мохноногий немецкий першерон, таща фуру с нагруженными узлами, котомками, и тогда все идут, держась за ее грядки. Но это редко. Больше все несут на себе. Под руки ведут обессиленных. Поддерживают стариков. На каждом дорожном пункте им советуют: подождите. Комендатура отводит под ночлег большие здания. Организованы пункты обогрева. Висят письменные обращения на всех языках: потерпите несколько дней, наладится железнодорожный транспорт, развезут по домам. Нет, прочь из этих мест, скорее вон из неметчины. «Неметчина» — это слово, должно быть, с легкой руки русских невольников, сейчас стало, так сказать, интернациональным, синонимом рабства, бесчеловечия. У меня из головы все не выходят наши девушки с их тайным комитетом в поместье Зофиенхалле. Они вот не растерялись, нашлись в этой обстановке. Но много ли таких?

По дороге мы обгоняем группу. Высокий, плечистый мужчина тянет саночки, на них завернутый в одеяло парнишка. Другой, лет восьми, шагает самостоятельно. Крушинский человек добрейшей души. Кроме того, он любит слушать рассказы случайных попутчиков, в которых, как он уверяет, порой можно отыскать золотой самородок. Почему эта троица движется навстречу потоку? Куда? Остановились, потеснились, посадили и мужчину и ребят. Даже их санки рачительный Петр Васильевич прикрутил к бамперу машины. И оказалось: мужчина француз, а ребята русские. Морис Ламерсье из Нанта. И русские мальчуганы из Орши, Петя и Кирилл, шести и восьми лет. Вот ведь какие бывают встречи сейчас на дороге Бреслау — Баутцен.

И история их содружества для нас, литераторов, действительно маленький самородок.

— Мерси, спасибо... Большой благодарность... Мерси бьен,— повторяет француз, грея дыханием озябшие руки.

— Вы говорите по-русски?

— О ла-ла, говорю. Немножечко. Маленько. Плохо... Мы верили: русские придут, помогут, спасут. Мы штудировали, занимались, учили русский. У русских господ, но... не у русских...

— Товарищей,— подсказывает Кирилл.

— О да, товарищей... Русский говорить лучше... Пушкин, Достоевский, Тургенев. О ла-ла, хорошо.

Вот так, с трудом конструируя фразы из небогатого своего словаря, он с комментариями Кирилла поведал свою историю.

Ламерсье — инженер, с женой Луизой был мобилизован на работу в Германию еще в 1942 году. Попал в Оппельн. Так как знал немецкий, стал переводчиком с немецкого в группе французов, через год жена умерла. Он, по его словам, подружился с русской женщиной, тоже Луизой, Елизабет, Лиза. Стали жить вместе, в одной комнатке. Лиза заболела и тоже умерла.

— В октябре месяце,— уточняет Кирилл.

— Так, так, верно, точно, правильно. Октябрь месяц.

И вот он, Ламерсье, взял на себя заботу о русских сиротах.

— Куда же вы их везете?

— Туда, восток, Совет Унион.

— Мы едем к папе,— подает голос маленький Петя.

— А где папа?

— Как где, он на войне. Дядя Морис обещал отвезти нас домой.

Мы довозим эту трогательную группу до Баутцена, сдаем их краснолицей, хриплоголосой и, по-видимому, очень энергичной регулировщице, объясняем ей ситуацию. Объясняем так, что на обветренном лице ее появляются слезы. Просим устроить эту троицу в машину на Львов. Петр Васильевич отдает половину нашего сухого пайка. Желаем французу «бон вояж» и едем дальше. Мы уже в индустриальном районе. Снег здесь темный, и сами кирпичные дома Баутцена бурые, прокопченные, и, хотя большинство из них цело, они имеют не очень-то привлекательный, я бы даже сказал, мрачноватый вид.

Когда с танкистами Рыбалко я въехал в этот город, он казался совершенно пустым. Кошка не пробежит, птица не чирикнет. И дома казались мертвыми. Лишь там и тут из окон и с балконов свешивались простыни и наволочки. Белые флаги — символы капитуляции. Лишь эти флаги, пожалуй, и говорили, что в домах кто-то есть. Прошло всего несколько дней, и город, пожалуйста, ожил. Улицы стали даже людными, открылись ставни, подняты жалюзи. Но белые флаги по-прежнему свешиваются из окон. Кроме них, появились еще двухцветные, краснобелые, говорящие о том, что здесь живет польская семья.

По улице семенит толстый человечек в шляпе с перышком, в короткой куртке и в штанах гольф. На руке у него белая повязка. Почему? Мы остановились, спросили.

— Сдаюсь... Покоряюсь,— сказал он и для ясности поднял вверх руки.— Хенде хох. Гитлер капут.

— Вы же не военный?

— Военный нет, аграрий. Аграрий, да.

Узкие глазки в коротких ресницах так и бегают на толстом лице этого агрария. Ох, что-то не понравился он нам. Не сродни ли он, этот аграрий, фрау Кларе из Зофиенхалле. Она ведь тоже величала себя, как рассказывали девушки, аграрием.

Зато на заводах совсем иная обстановка. Здесь царит порядок. По двору расхаживают штатские люди с красными нарукавными повязками. Ветхость одежды, впалость щек на худых лицах выдают в них недавних невольников, но винтовки на плече, и шагают они с такой уверенностью и достоинством, что напоминают двенадцать красно-

гвардейцев Блока. Уполномоченный комендатуры, не располагая достаточным количеством солдат, организовал охрану из этих наших только что освобожденных людей.

Остановил один такой патруль. Совершенно неожиданно, несмотря на нашу форму, начальник патруля потребовал документы, и нужно было мобилизовать все чувство юмора, чтобы не рассмеяться, глядя, с какой тщательностью эти документы изучались.

— Ну а как в городе? — спросили мы, когда патрульные, убедившись в том, что мы те самые, за кого себя выдаем, сразу подобрели.

— Да в общем-то ничего. Немцы тихо сидят. А вот эти сволочи власовцы, они ведь что делают: в нашу форму переодеваются и безобразничают, по квартирам шарят, к женщинам пристают, грабят. Этих ловим, да трудно, как их узнаешь — форма наша, язык наш... Их, говорят, Гитлер нарочно засылает всякие безобразия творить, чтобы на Красную Армию тень пала.

— Ну выловите, а как с ними дальше?

— Не знаем, наше дело задержать и доставить, а там уже с ними разберутся,— говорит патрульный, что постарше.

— А по-моему, с ними должен быть разговор простой: к стенке и все. Раз ты Гитлеру служил, в своих стрелял, тут тебе и смерть.

Конечная цель нашего путешествия — вот этот самый машиностроительный завод. Когда танкисты Рыбалко заняли город, мы с заместителем командира бригады по политической части были первыми советскими офицерами, появившимися на этом заводе. Я уже писал в «Правде», как иностранные рабочие выбегали к нам навстречу, окружали нас и приветствовали чуть ли не на всех европейских языках. Сейчас встреч уже не было. На заводе царил полный порядок, инженер Буряковский, бывший сотрудник Харьковского металлургического института, человек, знающий три языка и служивший у немцев переводчиком, сейчас по уполномочию комендатуры выполняет обязанности директора. Это он организовал охрану, восстановил порядок. У входа в цехи проверялись пропуска. Бурый дымок курился над трубами печей литейного цеха.

Настоящей работы еще не было. Просто поддерживали огонь, чтобы не «закозлить» печи и не вывести из строя сложнейшие агрегаты.

Андрея Леонидовича Буряковского мы встретили во дворе, у здания электростанции, которая уцелела и тщательно охранялась. В эту минуту он отчитывал французов, которые, узнав, что мимо завода идет колонна тяжелых танков ИС, покинули свои посты у двери и забрались на площадку пожарной лестницы, откуда танки были видны. Инженер этот, как и в тот день, когда я увидел его впервые, был в той же облупившейся кожаной курточке, в двух разных ботинках, но чисто выбрит, и из-под блузы виднелся белый воротничок.

— Вестарбайтеры все рвутся домой,— сказал он.— Ну как же, родина зовет, о семьях ничего не известно. Мы очень-то не удерживаем. Однако ж надо завод охранять. Как-никак ценный трофей Красной Армии, да и комендатура уже дала кое-какие заказы на детали для машин. Но мы тут митингнули, воззвали к пролетарской солидарности. Французы и бельгийцы остались.

— Ну а немцы как работают?

— Хорошо работают. Охотно работают. Вообще, знаете, дисциплине у них поучиться, ни подталкивать, ни уговаривать, ни упрашивать не надо. Сказал — сделает, и хорошо сделает, только деньги плати.

Тут инженер Буряковский как бы спотыкается и вопросительно смотрит на нас: хорошо ли хвалить немцев офицерам Красной Армии? Потом, преодолев это свое смущение, тверже повторяет:

— Работяги, мастера отличные.

Признаюсь, очень странно слышать такие вот похвалы от человека, который недавно был здесь в невольниках у этих самых немцев.

Вот как выглядит Силезия через несколько дней после вступления Красной Армии. Не удалось гитлеровцам ни отстоять ее, ни уничтожить. Заводы ее на ходу и вот даже начинают выполнять армейские заказы.

Едешь через эти уцелевшие города, видишь дымящиеся трубы и как бы реально ощущаешь результат замысла маршала Конева не выбивать, а выживать противника, не вступая в уличные бои, создавать ситуации окружения, заставлять врага уходить — та самая задумка, о которой говорил мне генерал Рыбалко.

ИМЕНИ СССР

После форсирования Одера я дал в «Правду» небольшую заметку о партизанском отряде имени СССР, действовавшем в глубоком тылу самой Германии. Совинформбюро сообщило об этом отряде в одной из сводок, и я получил задание дать о нем очерк.

Мне повезло. Я узнал имена двух командиров, в расположение которых этот отряд пробился через фронт. Это были капитан-сапер Алексей Кустов, участвовавший в форсировании тринадцати больших и малых рек, и майор-танкист из армии генерала Лелюшенко Сергей Наумов, трижды раненный и четырежды награжденный. Они описали, как все произошло.

— Вы понимаете, обстановочка,— говорил Кустов простуженным голосом.— Можно сказать, пикантная. Ночью я кое-как на лодках, на бревнах, на досках, словом, как говорится на подручных средствах переправил своих хлопцев через реку. Ну захватили с ладонь земли. Тут и его, майора Наумова, мотопехота к нам подоспела. Наладили уж паромный трос крепить, а немецкая оборона здесь, сами догадываетесь, какая была. Пушек, пулеметов и этих, как бойцы наши называют, скрипух — шестиствольных минометов — везде у них понатыкано, и каждая былиночка трехслойным огнем перекрывается. Ну и принялись фашисты наш пятачок колошматить. Аж земля на дыбы. У меня народ крепкий. Стрельбой их пе испугаешь. Держим пятачок, а майор орудиями своих танков и самоходок с той стороны нас поддерживает. Словом, атаки кое-как отбиваем. Однако все жиже у нас огонь. Несу потери, и боеприпасы на исходе... Только бы, думаю, до ночи продержаться. И вдруг слышу...

— Вы, капитан, в земле под берегом сидели и только слышали, а мне с той стороны, с горки, из танка все видно было, дайте уж я продолжу,— вмешался в разговор Наумов.— Вижу, над немецкими артиллерийскими позициями мины рвутся. Что такое? Откуда? У меня минометов нет. Что за чертовщина? И фрицы тоже заметили, что кто-то их из собственного тыла минами угощает.

— Верно. И оттого растерялись, должно быть. И обстреливать нас перестали,— перебивает капитан.— Ну думаю, что бы там у фрицев ни происходило, будем тянуть канат. А сам высунулся из-за прибрежного гребня и вижу: бегут от леска через болотце люди, кто в ком-

бинезонах, кто в цивильном, кто в полосатых каких-то куртках, бегут, стреляют и кричат «ура!». И ведь немало, не одна сотня. Не понимаю, кто такие, откуда. Моим командую: не стрелять. Да уж какая тут стрельба, видим, свои, видим, они-то и есть наша выручка. И немцы растерялись, по ним не стреляют. Тут уж передние до моих саперов добежали, видим, на руках красные повязки, а на них — «СССР». Спрашиваю, кто такие. Выходит один из них. Большой такой, рыжий, краснолицый. Представляется: «Старшина партизанского отряда имени СССР».— «Чьи вы, откуда взялись?» — «Советские люди, были насильно увезены немцами из родных мест, а кое-кто из пленных. Работали на химкомбинате, узнали, что Красная Армия наступает, бежали, организовали отряд. С боем пришли сюда, к Одеру». И, помню, первое, что он у меня спросил, примут ли весь отряд в Красную Армию. Говорю, я сапер, в этих делах ничего не решаю, но наверное, примут. Услышали они это «примут» и ну «ура!» кричать... Ведь вот советский человек, в десяти щелоках его вари, а он советским останется,— обобщил в заключение Кустов.

Историю отряда я на следующий день услышал от того самого «большого рыжего человека», как он себя называл, «старшины отряда», Серафима Шумилина. До войны он работал в транспортном цехе на Мариупольском металлургическом заводе, потом был угнан в Германию, стал остарбайтером номер 816-бис в филиале фирмы «И. Г. Фарбениндустри». Этому человеку в одну из заварушек, вспыхнувших на заводе, заводские охранники разбили грудную клетку, разговаривая, он то и дело захлебывается, в приступе кашля сплевывает в платок кровавую мокроту.

— Не стану я говорить, как мне жилось в неметчине,— рассказывал Шумилин,— не лучше и не хуже, чем другим остарбайтерам. Для вестарбайтеров у них другие условия были: и бараки почище, и нары в один этаж, и даже посылки им с родины приходили. А у нас работа десять часов в сутки, еда — буряковое пойло, питье — морковный чай, словом, такая жизнь, что завидуешь тем, кто помер. За какой-нибудь клочок газеты, найденный в кармане, человек попадал в лагерь, а что такое лагерь вы, наверное, знаете. И все-таки от вестов, у которых другой режим был, которые и радио могли слушать, мы знали, что Красная Армия наступает. Ну ждали, конечно,

часы считали — скорее бы. А потом стало заметно, что у немцев что-то неладно. Шоссейка на запад близко от нашего комбината шла. Так вот, видим мы, на шоссейке беженцы, машины с каким-то добром, и все туда, в глубь страны. Поняли, у немцев дела плохи. Решили — пора. И, когда англичане на город налетели, мы, осты, воспользовались суматохой и с чугунинами, с кирпичами бросились на охрану, смяли ее, похватали ее оружие и бежали.

Бежало человек двести. Ночью в лесу собрались обсудить, что дальше делать. Решили организовать партизанский отряд, назвали его: отряд имени СССР.

Решили пробиваться через леса Саксонии и Нижней Силезии навстречу Красной Армии...

В первую же ночь, располагая всего лишь несколькими винтовками, разведка отряда совершила налет на маленькую товарную станцию, где стоял состав с боеприпасами и снаряжением. Охранники бежали, побросав с перепугу оружие.

Постепенно вооружаясь, отряд имени СССР стал двигаться на восток. По пути он рос, в него вливались все новые и новые люди: бежавшие военнопленные, остарбайтеры с маленьких заводов, из поместий и ферм, которые отряд освобождал.

Потоки беженцев, двигавшиеся с востока к центру Германии, заполнявшие дорогу, теснившиеся в деревнях и городах, помогли отряду стать неуловимым. Он шел, оставляя повсюду свои «визитные карточки». Подожженные под Калау артиллерийские склады... Взорванный шоссейный мост через Шпрее... Два виадука, обрушенные на рейхсавтобан — имперскую дорогу, по которой машины могут идти двумя встречными потоками по четыре в ряд...

Разгромленная автоколонна с какой-то аппаратурой, эвакуированной с химических заводов... Большое крушение на железной дороге Дрезден — Котбус... Десятки больших и малых дел — вот вехи продвижения советских партизан по Германии.

К линии фронта отряд подошел хорошо вооруженным. Имелось не только личное оружие и гранаты, но и минометы...

Закончив рассказ, Серафим Андреевич вновь захлебнулся приступом кашля, с каким-то хрипом и свистом, исторгавшимся из разбитой груди. Прокашлявшись, вытер

кровь с губ и испарину с лица. Он явно был тяжело болен. Но о болезни даже говорить не хотел. Около трехсот его людей уже было мобилизовано в Красную Армию и отправлено в запасной полк. Его самого положили в госпиталь. Он уже одет в красноармейскую форму третьего срока, которая просто-таки трещит на его могучей фигуре. Он тоже готовится воевать.

Вот что удалось мне узнать в конце концов об этом отряде, о котором с такой надеждой думали когда-то русские девушки — невольницы Зофиенхалле.

РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ...

Из Москвы вдруг пришла телеграмма, несколько удивившая меня. Вот она. «Выполнив самые срочные дела, немедленно вместе с водителем вылетайте в Москву, передав оперативную работу Сергею Борзенко, Михаилу Брагину. Генерал Галактионов, полковник Яхлаков».

— Что такое? Почему срочно?

На фронте, правда, наступила оперативная пауза. Коммуникации растянулись на сотни километров. Железнодорожники не успевают перешивать колею и наводить разрушенные мосты. Армия снабжается лишь автотранспортом. Дивизии сильно поредели, нуждались в доукомплектовании, да и люди, наступавшие непрерывно почти пять месяцев, поустали. Телеграмма не только удивила, но и обрадовала: в Москву мне было необходимо попасть позарез, потому что я теперь пешкор и нужно добыть транспорт.

Но, если по совести, главное, что меня тянуло в столицу, это то, что мы с женой со дня на день ожидали прибавления семейства. Жена у меня хорошая солдатка. За всю войну, как ей там ни приходилось трудно в эвакуации и в Москве, ни одного упрека, ни одной жалобы. Письма от нее идут самые оптимистические. Но я-то, время от времени наезжая в редакцию, вижу, как трудно мои живут. Хлеб для себя чуть ли не бритвой режут, чтобы куски были потоньше. Собрав урожай картошки на общественном, правдистском, огороде, жена с мамой пересчитали ее поштучно и разложили по три-четыре штуки на день. У сына Андрейки от недоедания на голове струпья. Жена как учительница получает УДП. Эти литеры официально расшифровываются — усиленное до-

полнительное питание, а неофициально — умрешь днем позже. Так вот это УДП и служит им единственным подспорьем. А чем я им могу помочь? Зарплата? Сотни, огромные, как простыни, что они значат, если на одну такую сотню нельзя купить килограмм масла?

Словом, неожиданный вызов очень кстати.

Перед отъездом возникает осложнение. Петрович отказывается лететь. Говорит, не любит самолетов. До Львова мы добрались бы голосованием, а дальше на поезде, куда как хорошо. Но сколько уйдет времени? Приходится прибегнуть к силе приказа.

Самолет — все тот же труженик «ЛИ-2», который переносит по воздуху и срочные фронтовые грузы, и десантников, и оружие для партизан, и раненых, требующих срочной операции. И в этот рейс он чем-то нагружен. Для людей оставлены только две алюминиевые скамейки вдоль бортов.

Из пассажиров, кроме нас, летят генерал из политуправления фронта, большая умница, наш давний друг, и его порученец-капитан.

Самолет еще не оторвался от земли, когда я узнал просто поразившую меня новость. Оказывается, Петрович, этот едва ли не самый лихой шофер фронта, ни разу не летал, боится подниматься в воздух, а когда мы взлетели, выяснилось, что его организм необыкновенно бурно реагирует на летные условия. Столь бурно, что Петрович чуть ли не на четвереньках перебрался к большому ведру за занавеской.

Летчики потчевали его таблетками аэрона, генерал пожертвовал ему лимон. Пожилой бортмеханик, старый воздушный волк, летавший до войны в Арктике, по арктическому обычаю заставил его выпить стакан круто посоленной воды. Все эти верные, испытанные средства тотчас же оказывались в параше.

А тут, как на грех, летчик вел машину чуть ли не на бреющем, так что верхушки сосен и елей едва не задевали за брюхо самолета. Из-за этого машина шла неровно, как будто неслась по булыжной мостовой. Попробовали было убедить его подняться повыше, пожалеть мающегося над ведром человека.

— Не можем, инструкция летать ползком.

Выяснилось, что самолеты на этой трассе иногда обстреливаются украинскими националистами, бандеровцами. Ну что тут поделаешь. Стали дремать. Мы с гене-

ралом улеглись на своих скамеечках, а Петрович свернулся калачиком на полу под сенью спасительной параши. Сколько мы спали, не знаем, но проснулись от какого-то странного, не очень громкого звука. Штурман, вышедший из кабины, начал почему-то оглядывать пол, потолок салона, потом усмехнулся, хмыкнул, покачал головой и молча скрылся в кабине летчика. Мы же с генералом опять погрузились в дремоту. И вдруг дикий крик, сопровождаемый русскими, украинскими, польскими и даже немецкими ругательствами. Что такое?

Посреди самолета стоит Петрович и исторгает этот фейерверк интернациональных ругательств, обвиняя нас в том, что кто-то из нас шутки ради... выплеснул на него содержимое параши.

На шум вышел все тот же бывалый штурман. Он молча указал на небольшое, с рваными краями отверстие в потолке кабины как раз над парашей. Для убедительности сунул в него палец и повертел.

— Благодари своего бога, что влепили в сортир, а не в твою башку,— сказал он расстроенному Петровичу.

Оказалось, что пуля пробила самолет, разворотила дно параши и ушла через потолок, никого не задев.

Остаток пути Петрович провел у рукомойника, отмываясь и очищаясь с таким усердием, что даже позабыл о своей воздушной «нетранспортабельности».

В Москве к нему вернулась его предприимчивость. Кинув в трубку телефона-автомата кучу самых цветистых комплиментов, адресованных диспетчерше, он быстро организовал разгонную машину. Но прежде чем проститься у моего подъезда на Беговой улице, он все же не преминул меня упрекнуть:

— Горького плохо помните. Сказал же Горький: «Рожденный ползать летать не может»... А вы все — лететь, лететь.

И это говорил, и говорил искренне, человек, проделавший за войну по самым невероятным дорогам не одну сотню тысяч километров.

ОПЕРАЦИЯ «АЛЕНА»

Плохой, очень плохой я отец и муж. С лета, с начала нашего наступления у Львова и Бродов, не сумел вырваться домой. Мой сын, маленькое белокурое кудрявое

существо, с удивлением и даже, кажется, с испугом уставился на дядю в шинели, с мешком за плечами, возникшего в дверях комнаты.

— Андрейка, это же твой папа,— не без надрыва сказала жена и лишь после этого бросилась ко мне, смеясь и плача.— Приехал, приехал.— И, обращаясь уже к моей матери, очевидно, оканчивая какой-то спор, сказала: — Вот видите, я же говорила, что его все-таки вызовут, и вызвали.

Да, на этот раз, как это ни странно, меня вызвали вовсе не по какой-то срочной редакционной надобности, а потому, что ей, моей жене, приспело время рожать. Вообще-то в «Правде» суровые порядки. Нашему брату кэйфовать в тылу не полагалось. Но, когда вот так назревало какое-то важное событие в жизни, когда кто-то из близких серьезно заболевал, редакция вызывала человека и с активного фронта, даже иногда посылала за ним самолет. В случае со мной, вероятно, помогло и такое обстоятельство. У нашего редактора П. Н. Поспелова когда-то при родах умерла жена, оставив ему девочку. Должно быть, помня свое горе, этот человек, вообще отличающийся чуткостью, узнав о моих семейных обстоятельствах, одобрил вызов.

Целый вечер в кругу правдистских друзей мы разбирали только что отгремевшие сражения. Наш начальник, убеленный сединами, представительный, образованный генерал Галактионов, разложив на столе карту, уточнял по моим сообщениям детали обстановки. И хотя по нашим корреспондентским репортажам и телеграммам с места трудно было следить за тем, что происходит, карта его оказалась весьма точной. В общем-то, он мою деятельность одобрил. И все-таки на прощание не удержался, упрекнул:

— С этим вылетом в Словакию, в немецкий тыл, вы, товарищ подполковник, нас все же удивили. Ну как же, исчез корреспондент. На телеграммы не отвечает. Борзенко и Устинов отстукивают: ничего о нем не знаем. Разве можно так?

— Да, друг мой, ты тут нас заставил пометать икру,— грохотал своим громоподобным басом заместитель Галактионова полковник Яхлаков.— Ну а потом вдруг, откуда, сами не знаем,— прорывается корреспонденция «У словацких повстанцев». Одна, другая и снова пауза. Кстати, примерно через месяц пять штук, и опять неведо-

мо откуда прибыли. Мы их для тебя сохранили, для твоих будущих военных мемуаров.— И он передал мне аккуратно перепечатанную пачечку моих, уже забытых мною сочинений.

— Как у вас там, не готовятся к заключительному прыжку?

Ответил, что в самом деле, похоже, что нам скоро предстоит наступать. И, видимо, предпринимать решающее наступление, а я вот тут, в Москве, выполняю долг мужа и отца.

— Не психуй,— утешал добрейший Яхлаков.— Там такие зубры, как Борзенко и Брагин. Ты себе тут спокойно рожай. Они твой фронт продержат.

И все-таки на душе кошки скребут. Готовится последнее наступление войны, может быть, ее заключительный аккорд, и не увидеть, не услышать его! И черт меня дернул поделиться этими моими терзаниями с женой. Маленькая мужественная женщина, стойко переносившая тяготы военного времени, тащившая на своих плечах всю семью, не падавшая духом при любых трудностях, помогавшая мне святой ложью своих писем — все хорошо, слава богу, все есть, Андрейка растет здоровый и крепенький,— на этот раз не выдержала и обиделась.

— У тебя наступление, ну и уезжай завтра. Уезжай и забудь о нас. Что же мне, с комода прыгать, чтобы скорей родить, как это раньше делали?

Но тут же взяла себя в руки. Весь вечер сидели мы с ней рядышком на диване. Временами она брала мою руку, прикладывала к животу, и я чувствовал, как там что-то уже живет, ворошится. Это будущее живое существо, по уверениям жены, должно быть девочкой. Уже даже имя она для нее приготовила — Алена. Оказывается, видела даже эту девочку во сне.

На дворе уже весна. Грязный снег бурно тает. Проезды улиц не только уже освободились ото льда, но даже высохли, и в полдень над асфальтом кружатся завитушки пыли. Без дела слоняюсь по редакции. Единственное, чего я в те дни добился, так это добыл наряд на получение вездехода горьковского завода по фронтовой кличке «козел». С этим нарядом Петрович вылетел немедленно в Германию, победив свое отвращение к авиации. А будущая Алена все заставляет себя ждать. Ей, разумеется,

нет никакого дела до наступления, назревающего на юго-западном участке великого фронта.

Но в результате она все-таки оказывается молодцом, эта еще неведомая мне девочка. Ночью мы с сыном отвезли нашу маму в родильный дом, а едва добравшись до квартиры, я услышал телефонный звонок. Незнакомый, усталый и ласковый голос, послышавшийся в телефонной трубке, поздравил меня с дочкой. Роды прошли хорошо. Ребенок здоров. Вес нормальный. Роженица шлет всем привет. Утром мы с сыном понеслись в родильный дом и, заехав по пути на Центральный рынок, купили у грузин пять тюльпанов, за которые в Германии, если считать на оккупационные марки, можно было приобрести корову. К нашей маме мы, естественно, не были допущены. Свидание с нашей мамой и Аленкой происходило через стекло окна. Увидели мы разное. Я — маленькую хорошенькую чернявую девочку. Сын скептически заявил:

— Она какая-то старушонка, вся сморщенная.— И, разочарованный, удалился в машину.

Пока мы с женой обменивались сквозь окно жестами, он с женщиной-шофером успел уже разучить весьма поучительный стишок:

Ходит зайка чуть живой,
Он гулял по мостовой.
Не послушал зайка папу,
Отдавили зайке лапу.

— Пап, я не буду больше гулять по мостовой,— сделал вывод разумный сын.— И ты не гуляй там, в Германии, ладно?

Я обещал по мостовой в Германии не гулять. И мог ли я думать, что почти такой же наказ через пару часов получу от нашего редактора, всеми нами любимого Петра Николаевича Поспелова.

В редакции тем временем уже оформлялась командировка. Договорились с ВВС о самолете, который должен был доставить нас на фронт. Решено было, что мы вылетим завтра утром. Мы, потому что со мной летел писатель Вадим Кожевников. Правдист-фронтовик, он, оставив работу в редакции, спешил на наш фронт. Перед отъездом мы зашли проститься к редактору.

— Ну доброго вам пути,— сказал Петр Николаевич и показал не без гордости: — Вот только что получил телеграмму от Всеволода Витальевича Вишневского... Пре-

дупреждаю вас обоих: война кончается. Не смейте рисковать. Будьте осторожны, не лезьте зверю в пасть.

— Петр Николаевич, ну зачем нам лезть зверю в пасть? Ради чего?

— Ради чего? А вот извольте прочесть эту телеграмму. Вишневский. Он рвется туда, где опасно.— И редактор торжественно прочел: — «С каперангом Золиным только что вернулись из столицы проклятого фашизма. Берлин горит. Наши доблестные войска наступают. Дважды в боевых порядках пехоты шли в наступление. Прострелена шинель. Подробности в корреспонденции. Всем пламенный правдистский фронтовой привет. Кавторанг Вишневский».

Мы с Кожевниковым невольно переглянулись и не сумели сдержать улыбки. Мы оба знали склонность этого замечательного писателя, как бы это сказать, к романтике. Опыт военных лет научил нас обоих, что корреспонденту мало что может дать пребывание в наступающей цепи — очень ограничен обзор. И узнаешь лишь то, что происходит в немногих метрах от тебя.

И если Вишневский был среди наступающей пехоты, которая, по нашим сведениям, только что оседлала Зеловские высоты, он мог оттуда рассмотреть Берлин разве что в телескоп.

Увидев лицо редактора, мы сразу же убрали свои иронические улыбки, но было поздно.

— Циники! — вскричал он.— Изживайте этот ваш солдатский фатализм, учитесь ценить героизм товарищей. Я требую, чтобы вы там под огонь не лезли. Слышите? Запрещаю рисковать!

Получив это напутствие нашего умного, но иногда слишком уж доверчивого к нашему брату редактора, мы через час были на Центральном аэродроме. Все шло вроде бы хорошо. Самолет был на старте. Но, поднявшись в воздух, мы вдруг узнали, что летим на другой конец Силезского бассейна и сядем километрах в пятидесяти от аэродрома, возле которого я назначил свидание Петровичу.

Приземлились в Гляйвице. С час маялись в ожидании какой-нибудь попутной машины. Видя наше нетерпение, начальник батальона аэродромного обслуживания посоветовал:

— А вы поезжайте на трамвае.

— На трамвае? Это вы так, в переносном смысле?

— Нет, в самом прямом. Тут ведь города слились. Вот посмотрите на карту, видите, синее — это трамвайные линии. Все впритык друг к другу... Только предупреждаю, придется брать билеты. Здесь у немцев строго, бесплатно никого не возят. Пфенниги есть? — И протянул нам горсть монет.

«На трамвае по Силезии!» Чудесный заголовок. Но как-то оно окажется на практике. Держим с Кожевниковым совет. Э, была не была — на трамвае так на трамвае. И тронулись в путь. Если когда-нибудь потом придется нам рассказывать внукам о том, как мы проехали на трамвае через четыре города, они, вероятно, нам не поверят. А ведь проехали. Доезжали до конца линии, до поворотного круга, брали с собой пожитки, шли к поворотному кругу следующего города, брали билеты — и дальше. И, что удивительнее всего, заняло это не не так уж много времени. Трамвай нас довез к месту, где был аэродром, возле которого я назначил свидание с Петровичем. У ворот, где мы должны были встретиться, «козелка» не было видно. Стоял огромный красивый черный «бьюик». Именно из этой роскошной машины появился Петрович, картинно раскрыл дверцу и, даже не поздоровавшись, сказал:

— Битте дритте,— это у него такое приглашение, состряпанное из двух немецких слов и в переводе совершенно бессмысленное.— Здорово, что вы задержались. Я хоть выспался. А то ведь теперь спать не дадите. Фронт уже перешел в наступление. Нейсе форсировали.

— Нейсе? Врешь...

— Не в церкви, без обману. Еще третьего дня на Нейсе бой завязался.

— Ну а машина такая откуда?

— Наша,— скромно сказал Петрович, опуская свои плутовские глаза.— Нет, все по закону. По наряду получили. Им был «козелок» позарез нужен. Ну а нам взамен они эту выдали из трофейного барахла. Теперь ведь трофеи навалом...

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ФРОНТЕ

Штаб Первого Украинского фронта разместился километрах в полутораста. Но что значили эти полтораста километров для машины с восьмицилиндровым мотором,

которая будто летит по великолепному шоссе, без напряжения давая сто двадцать — сто сорок километров. По дороге узнали, что штаб фронта расквартирован на территории старинного замка, что для корреспондентов в парке этого замка отведен домик пастора... Офицеры живут в одной половине, шоферы — в другой. А в мезонине фотографы оборудовали для себя лабораторию. Очень удобное помещение.

— Как же тебе выдали такую машину?

— Так вот и выдали. Им новенький вездеход нужен был позарез для какого-то генерала. Мне и говорят: взамен наряда выбирай любую трофейную. А когда я выбрал эту, майор, начальник автобазы, даже удивился: такую рухлядь, не нашел лучше? Она и верно походила на рухлядь. Вся измазанная. Заднее сиденье выгорело. На указателе двести восемьдесят тысяч миль, кому она нужна.

— Но она же почти новая.

— Рухлядь это для лопухов,— поучительно объяснил Петрович,— а для умного человека мировая машина. У нее с мотора и пломба еще не снята. А что до счетчика — чепуха... Я вам с помощью электрического сверла за день хоть миллион миль накручу... А вот с горючим плохо. Что плохо, то плохо.

— Что же, для нее нужно особое горючее?

— Да не для нее, для нас. Вместо положенных ворошиловских ста грамм вермудь какую-то дают. Сначала она ничего, эта вермудь, горькенькая такая. Ее хоть ведро выпей, только до ветру бегать будешь... Разве матушку-водочку, господнюю слезу, заменит? Коммуникации, говорят, растянулись, подвоза нет...

Оставив свой сидор в пасторском доме, я рванулся в «оперу» и нашел подполковника Дорохина в одной из замковых комнат, стены которой были затянуты голубым шелком. Друзья-офицеры, оказывается, уже знали об успешном окончании, как они выражались, операции «Алена», и, прежде чем заглянуть в карту фронта, я принял целый ворох поздравлений.

— Прилетели вы вовремя,— сказал Дорохин.— Мы наступаем и на двадцать четыре ноль-ноль прошедших суток прорвали три пояса укреплений обороны противника на реке Нейсе на протяжении...— Дорохин прикинул по карте,— вот видите, на протяжении тридцати километров по фронту и примерно на столько же прошли в глубину.

Признаюсь, я как-то даже поначалу не поверил. Это уже была коренная немецкая земля, Нейсе — один из последних водных рубежей перед Берлином. Но красная стрелка на карте действительно глубоко вонзилась в массив синих овалов и кругов, что были за голубой жилкой реки. Эти овалы, круги, прямоугольники были как бы раздвинуты, разъединены, оттеснены.

— Но ведь там же очень развитые оборонительные сооружения?

— Да, конечно... были. И не один, а три пояса, видите? Но их уже прорвали и прошли.— И Дорохин, как и большинство оперативников, человек спокойный и уравновешенный, старающийся в своих сообщениях избегать восклицательных знаков, вдруг переходя на «ты», воскликнул: — Видишь, как воевать стали! Об инженерных войсках написать обязательно надо... Тут, на Нейсе, они показали класс.

И рассказал, как проходило форсирование Нейсе. Оказывается, пока мы с Кожевниковым катали на трамваях по Силезии, тут происходили действительно удивительные события. Под прикрытием густой дымовой завесы, выставленной авиацией над поймой Нейсе, завязался прямо-таки классический бой. Первый рубеж неприятельской обороны был накрыт залпами мощной артиллерийской подготовки, и штурмовые батальоны, уже натренированные на форсировании Одера, на подсобных средствах переправлялись па западный берег и создали там много небольших плацдармов. И тут же взяли слово инженерные части. Они начали наводить мосты.

Сначала это были штурмовые мостики, по которым на тот берег цепочкой пробежали передовые подразделения. Потом минут за сорок—пятьдесят были наведены уже понтонные мосты с большей грузоподъемностью, через которые стали переправляться танки и самоходные орудия, а через четыре-пять часов существовали уже жесткие мосты, по горбам которых проходили тяжелые танки ИС, КВ и орудия самого большого калибра. И все это под бомбежкой, под обстрелом.

А пока строились мосты, работали и понтонные, и лодочные переправы.

— Сто тридцать переправ наведено за сутки! — воскликнул подполковник Дорохин, оставив для этой последней фразы минимум три восклицательных знака.

— Ну а противник, противник?

— Противник, что ж, разумеется, противник таранит сейчас наши фланги. Пленные офицеры показывают, что есть приказ самого Гитлера столкнуть нас в реку. Обозначились новые соединения, которые спешно подвозятся на этот участок. Бросают на стол козыри. Подтянута танковая дивизия «Охрана фюрера». И еще одна, тоже эсэсовская, «Богемия». И противотанковая передвижная бригада, ее название пока еще не установлено.

— Опасности для флангов нет?

— Вы представляете, сколько Конев войск туда ввел? Черта лысого теперь они нас потеснят. Три полосы обороны пройдены за сутки. Где и когда это было?

Нет, положительно наш немногословный друг ведет сегодня разговор на одних восклицательных знаках.

— У меня есть поручение от редактора к командующему. Как мне его найти?

— Вот это трудновато будет. Он где-нибудь там, на направлении главного удара. Вчера на наблюдательном пункте генерала Пухова был, а сегодня? Звонит откуда-то по телефону. Сегодня с утра Рыбалко активничает, наверное, тоже хочет Шпрее с ходу форсировать. Вот и наш, наверное, там. Ищите вот здесь.— И он указал на карте извилину голубой жилки Шпрее, где она подступала к зеленой массе леса.

Ну, разумеется, мы с Крушинским отправились туда.

СВИДАНИЕ НА ШПРЕЕ

Петрович отпросился на несколько дней в автобат восстанавливать заднее сиденье нашего «слона», как мы прозвали «бьюик». Что ж, в самом деле, не сидеть же нам, офицерам, как сельским девчонкам под окном на деревянной скамейке, слушая «страдания». Догадываюсь, что мой дорогой водитель, как некий веселый вдовец, продолжая вздыхать о погибшей «пегашке», влюбился по уши в эту роскошную иностранку, и ему не терпится приласкать и похолить ее.

Да и в самом деле это великолепное детище американских автострад все-таки мало приспособлено к движению по фронтовым дорогам, в особенности по сегодняшним, пролегающим там, где вчера еще бушевали яростные бои. Тела убитых противников еще не убраны, и видно,

что погибли они, отступая, а не в бою. На подступах к Шпрее стали попадаться наши подбитые и сгоревшие танки. А потом мы обогнали несколько колонн, находившихся на марше или замаскировавшихся в лесках. Уточнили: да, это третья гвардейская танковая. Да, мы с Рыбалко. Но как отыщешь его наблюдательный пункт, когда все находится в движении?

Остановили двух всадников, молодых лейтенантов, на замученных конях. Странно было видеть их здесь, в царстве могучей техники, странно было вдыхать запах лошадиного пота тут, где господствовали запахи солярки и бензина. Да, мы угадали, они офицеры связи. Да, только что с наблюдательного пункта командарма.

— Командующий фронтом маршал Конев там?

Они потребовали наши документы. Проверили.

— Так точно, там.

— Что он делает?

— Не могу знать,— сказал один.

— Он стоит с генералом Рыбалко на берегу и смотрит, как переходят через реку танки.

— Переходят танки? Неужели уже форсирована Шпрее и наведены мосты?

— Нет, вброд переправляются. Много уже перешло.

— И немцы не сопротивляются?

— Ну как же: стреляют вовсю. Такая кругом пальба. Слышите? Это оттуда доносится. Разрешите следовать?

— А как найти этот НП?

— Поезжайте на звук перестрелки. Там, за лесом, низина, болотце, а потом снова наверх. Вот и наблюдательный пункт за ними.

Поехали на звук перестрелки. Честно говоря, я ничего не понимаю. Какие процессы начались в немецкой армии за те недели, что я был занят операцией «Алена»? Фронт форсирует вторую реку, вторую немецкую реку за три дня. И не какие-то там ручьи или протоки, а реки немалой ширины. Когда-то на Волге, под Калинином или под Сталинградом, под Курском, на Днепре мы мечтали дойти до Шпрее. Само это название как-то со школьных времен увязывалось с понятием «центр Германии». И вот танки уже форсируют ее... вброд. Разумеется, на пути от Волги сюда мы перешли через десятки, а может быть, сотни рек, накоплен огромный опыт, но даже суворовским чудо-богатырям, вероятно, не доводилось

за такой короткий срок переходить через такие водные преграды.

Дорога пересекает густой саженый лес, просвечивающий складками просек. С нетерпением смотрим вперед. Вот-вот должна показаться эта самая немецкая из всех немецких рек — Шпрее. Для нас, литераторов, это не просто река и не просто водный рубеж на пути наступления. Сколько раз упоминали мы ее в своих публицистических выступлениях. Прощаясь при расставании, шутливо говорили друг другу: «На Шпрее встретимся». В день, когда Москва праздновала разгром фашистов под Сталинградом, в газетах были шапки: «На Шпрее расплатимся за все». И высшей мечтой воинов и на Волге, и на Днепре, и на Дону, и на Буге, и на Неве, и на Москве-реке было: «Дойти до Шпрее».

И вот она наконец перед нами. Шпрее, с виду не очень даже широкая, быстрая, по-весеннему бурная река, лежит в оправе ярко-зеленых травянистых берегов. У переправы, как солдаты в очереди в баню, выстроились танки. Они по одному с урчанием сбегают с отлогого берега, плюхаются в воду и идут по дну, заливаемые водой до самых башен, а потом с ревом и как бы отряхиваясь выходят на том, противоположном, берегу и направляются куда-то в лес. И идут они, нагруженные всяким танкистским добром. К бортам придраены канистры и банки с горючим, бревна, ваги.

На некоторых будто мелкие мошки, оседлавшие большого жука, десанты пехотинцев, которые, миновав реку, сейчас же спрыгивают с машин и строятся в боевые подразделения.

Все очень буднично. Никакой романтики. Долгожданная река нашими танками форсируется как на учении.

На холме в куще лип дом. На балконе его мы сразу увидели маршала Конева и генералов Рыбалко и Лелюшенко — командующих двумя знаменитыми гвардейскими танковыми армиями. Они о чем-то оживленно разговаривали, следя одновременно за переправой. Ну, а возле дома мы встретили двух опередивших нас коллег из «Известий», Полторацкого и Булгакова. Посмеиваясь, они рассказали, что произошло сейчас с ними. Еще вчера, обуреваемые все той же общей мечтой поскорее увидеть Шпрее, они приехали в 13-ю армию Пухова, когда к реке еще только выходила разведка. Вместе с разведчиками

под прикрытием тумана подобрались к самой реке. С той и с другой стороны постреливали. И тогда романтически настроенному Полторацкому вспомнилось, что в «Слове о полку Игореве» русские вины, прорвавшись на реку, шеломами пили воду. Шеломов у наших коллег, естественно, не было. Не оказалось и касок.

Попечалившись об этом, они все-таки нашли выход. У Булгакова на поясе была пристегнута солдатская фляга. Привязали к ней ремень, опустили в реку и добыли воды. Вода из Шпрее! Но даже вода знаменитой реки не тот напиток, который уважают корреспонденты. Пить ее было неинтересно. И тогда у друзей родилась идея поднести эту воду из Шпрее в подарок командующему фронтом как свидетельство журналистской оперативности, дескать, а мы уже побывали на Шпрее.

В эти минуты переправа еще только намечалась. Первый танк с самым опытным экипажем шел в реку, как бы прощупывая гусеницами брод. И командующий фронтом и командарм были заняты одной мыслью: пройдет или не пройдет? От этого многое зависело. С той стороны танк поливали огнем. Командующий рассеянно выслушал наших друзей и даже, по-видимому, не очень понял, зачем это ему протягивают флягу. Да еще с водой.

— Что за фляга? К чему вода? — А уразумев, сказал с досадой: — Тут война, а вы с какой-то ерундой. Вон ее целая река, а вы с флягой...

И вот теперь мы уже вместе стояли возле барского дома, и я не знал, как поступить. Задание генерала Галактионова — взять у командующего хотя бы несколько слов по поводу нового наступления. Но Конева я хорошо знал. Когда он занят, под горячую руку ему лучше не попадаться. Но, по-видимому, напряжение уже схлынуло. Переправа через Шпрее работала, можно сказать, идеально. Ему докладывали, что и в других местах танковые колонны уже отыскали и осваивают другие броды. Стрелковые армии Жадова и Гордова, ведущие на флангах бои с контратакующим противником, держатся стойко. Все вроде бы шло хорошо. С тем чувством, с каким бросаются в холодную воду, я поднялся, почти вбежал на крыльцо террасы.

— А, вот кто появился,— сказал командующий.— Вовремя, вовремя. Нюх у вас есть. Еще немножко помедлили и все бы на свете прозевали. Видите, как наши Шпрее форсируют? То-то вот, за считанные минуты.—

Командующий был явно в хорошем расположении духа и непрочь был поговорить.

Подтянулись остальные коллеги.

— Ну а какова сейчас задача? — спросил Полторацкий, позабыв, что о задачах наступления, о целях его полководцев спрашивать не годится.

— Теперь наша главная задача — быстрота. Вот как тот танк, с ходу вброд — и на той стороне. Смело вырваться вперед на оперативную глубину и основными силами наступать, не оглядываясь. А опорные пункты обходить и блокировать. В затяжные бои не втягиваться. К Берлину надо подойти свежими, боеспособными...

— К Берлину? — в один голос спросили мы. Берлин был значительно севернее. На дальних подступах к нему уже вел гигантские бои Первый Белорусский фронт под командованием маршала Жукова.

Конев усмехнулся.

— «К Берлину», это я выразился фигурально. Это, так сказать, общая мечта наших воинов. Понятно это вам? — Он говорил своим ровным голосом, спокойно, но я, знавший его более трех лет, все-таки уловил веселые искорки в его голубых глазах.

Неужели в самом деле и нашему фронту тоже предстоит участвовать в штурме Берлина? Но командующий явно умышленно прервал разговор на эту тему.

— Ну а как там Москва?

— Салютуют почти каждый день. Ждет от нашего фронта новых побед.

— Ждать ей долго не придется. Будут победы. Разве форсирование вот этой самой реки не победа?

Устроившись тут же, в этом доме за каким-то столом, все мы постарались, как у нас говаривают, побыстрее «отсмолить» свои сочинения. Я озаглавил свою корреспонденцию «Прорыв на Шпрее» и отправил ее с попутным офицером связи на армейский телеграф. Когда мы вернулись в нашу штаб-квартиру, меня уже ждал ответ Москвы: «Тема превосходная, спасибо, но восклицательные знаки не заменяют фактов. Дополните корреспонденцию фактами героизма танкистов Рыбалко и Лелюшенко. Генерал Галактионов». Ну что ж, он прав, наш генерал. Сегодня перевернулась значительная страница военной истории, и бегло описывать происшедшее нельзя. Шпрее — последняя большая водная преграда на нашем пути в глубь Германии, а может, кто знает, и к Берлину.

«РЕЙНЕКЕ-ЛИС ШАНЦЕ»

Начальника штаба командования немецкими сухопутными войсками генерала Альфреда Йодля, как свидетельствуют пленные офицеры, в немецкой армии не любят и зовут Рейнеке-Лис. Есть такой сказочный персонаж в немецком фольклоре — хитрая, изворотливая, бессовестная зверюга. Ну а город Цоссен, что южнее Берлина, и собственно, даже не город, а район возле этого города, да и не сам район, а заболоченный лес, в котором был построен поселок, где размещалась ставка генерального штаба сухопутных сил, немецкие военные звали «Рейнеке-Лис шанце» — логово рейнского лиса.

Так вот, это логово взято сегодня, 21 апреля, танкистами генерала Рыбалко. Здесь в подземных убежищах, в просторных бетонированных бункерах, разрабатывались планы нападения на мирные страны, в том числе и на Советский Союз. Здесь опьяненные легкими победами в Западной Европе, гитлеровские генералы воплощали в директивы, инструкции, планы мечту фюрера о покорении мира, «по крайней мере, на ближайшую тысячу лет». Здесь, по сведениям нашей разведки, неоднократно подтвержденным теперь показаниями многих сдавшихся в плен офицеров, генштаб помещался до последних дней.

Цоссен — один из бастионов так называемого берлинского оборонительного кольца. Теперь мы видим, что это хорошо укрепленный район с разветвленной системой инженерных сооружений. Лесистая болотистая местность окружает его, затрудняя танкистам маневр. Но к нам в руки этот укрепрайон попал почти нетронутым. По словам П. С. Рыбалко, человека прямого, не любящего, как говорится, золотить пилюлю, он мог бы здесь надолго застрять, если бы дух немецких войск не был уже подорван неудачами в предыдущих сражениях. Как только авангарды танкистов заняли городок Барут и над цоссенским районом нависла опасность окружения, штабисты стали разбегаться, успев, однако, взорвать бункера.

Ходим по цоссенскому лесу и убеждаемся, что логово это было задумано действительно хитро. В лесу разбросаны небольшие коттеджи, с виду ни дать ни взять средней руки дачи. С воздуха все это, вероятно, выглядит как безобидный дачный поселок, каких много вокруг. Но из некоторых этих домиков лестницы вели в подземные бункера, где под защитой толстого слоя литого бетона были

просторные комнаты, кабинеты, залы, в которых генералы, планируя новые операции, проигрывали их на макетах. Это-то и было истинным «Рейнеке-Лис шанце».

Мы приехали туда, когда там уже хозяйничали наши саперы. У некоторых объектов еще стояли синенькие колышки с надписями «Осторожно, заминировано!». Вокруг построек плавным шагом двигались саперы-миноловы. В самом деле, несмотря на поспешное бегство штаба, мины здесь были рассованы довольно щедро, и несколько ухарей, не обративших внимания на эти синенькие колышки, уже подорвались.

Всеми этими работами руководил инженер-майор, веселый человек с лицом, густо усыпанным веснушками. Он показал входы в подземные убежища. В люках поблескивала вода.

— Это у них, должно быть, так и задумано было, чтобы в случае необходимости пустить воду и затопить. И вот затопили. Огромные, вероятно, помещения были. Но туда уж теперь не попадешь.

— Откуда вы знаете, что огромные? Удалось захватить планы?

— Ну что вы. Немцы — народ аккуратный. Разве они планы оставят? Угадываем мы это вот по чему. Тут ведь кругом болота. И пруды были. Так пруды эти сейчас высохли. Начисто. Только тина осталась. Это сколько же нужно было воды спустить, чтобы такие пруды высушить. Идемте, я вам покажу.

Идем. Вместо живописного пруда, обрамленного космами плакучих ив, еще покрытых желтоватой весенней зеленью, лишь черные пятна высыхающей грязи, где в водорослях шевелятся лягушки и тритоны.

— Тут ведь и рыба была. Отличная рыба. Собрали ее, сейчас варим и жарим. Жирнейшие караси. Но караси черт с ними, досадно, что эти шанцы свои, или как они у них там назывались, затопили. Там ведь, наверное, интересно у них было. Смотрите, сколько проводов туда идет. Вот электриков вызвал. Провода эти им пригодятся.

Ночевать мы с Петровичем остались в одном из лжедачных домиков. Заснули на отличных, удобных койках немецких штабистов и спали, пока на заре не разбудил нас боец-посыльный.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить. Наш майор вас к себе требует.

— Как это требует? Что такое?

— Каких-то там немцев, говорят, что ли, под землей откопали.

— Подземные немцы? Живые?

— Так точно. Только пьяным-пьяны. Еле на ногах держатся. Майор велит вам прийти поскорее.

Одеваясь и застегиваясь на ходу, спешу на зов. И подхожу как раз в момент, когда часовой конвоирует трех немецких солдат, небритых, в расстегнутых кителях, с физиономиями, обросшими щетиной. Четвертого он вынужден вести, обняв за талию. Меня приводят к одному из домиков. Спуск в бункер откопан. Воды нет. Внизу электрический свет.

Появляется вчерашний веснушчатый майор.

— Происшествие, как рассказ Эдгара По,— говорит он, улыбаясь.— Опишите, я уже и заглавие для вас придумал — «В подземном Цоссене»... Что, плохое заглавие?

Что же случилось? Оказывается, кому-то из связистов понадобился конец провода. Подошел, тяпнул топором и свалился — топор пробил изоляцию, и боец получил весьма ощутимый электрический удар. Провод был под напряжением. Смышленый солдат пошел по проводу и заметил, что он уходит в землю возле одного из домиков. Позвал подмогу. Спуск, в который уходил провод, был завален землей, но воды там не оказалось. Спустились. Просторные помещения. Горит свет. Зал, в нем щелкают телеграфные аппараты, возле которых на полу лежат четыре вдрызг пьяных немецких солдата. А на стенке у входа фанерка, и на ней по-русски нацарапано: «То не надо ломать. То есть ценный трофей». Против входа в другую сторону отыскали скрытую железную дверь. Она вела в чуланчик. Там стояли корзины с бутылками шнапса, французского коньяка, рейнских и мозельских вин. Замок был сбит, и много бутылок валялось пустыми.

Солдат-телеграфистов либо оставили здесь, обрекая на смерть, либо просто забыли впопыхах. Их офицер, какой-нибудь начальник этой телефонной или телеграфной станции, пожалел эту действительно отличную технику. Написал плакат и улизнул. Ну, а когда команда эсэсовцев подрывала подземелье, взрыв, по-видимому, оказался слабоват. Он лишь завалил вход. Но не пустил воду. И вот погребенные взрывом солдаты решили весело дожить последние деньки. Мощные аккумуляторы работали,

давали энергию, свет, крутили вентиляторы, ну и шнапса оказалось, на их счастье, достаточно.

— Это целое сокровище, миллионы стоит, — сказал, опустившись в подвал, наш офицер-связист.— А главное, все на ходу, все работает. И вообще интересно, кто же написал этот плакат. Если хотите узнать, подождите, пока эти четыре гаврика протрезвятся.

Мне ждать было некогда. Корреспонденция о Цоссене, задуманная просто как очерк, неожиданно приобрела оперативное значение.

В корзине возле аппарата лежали контрольные ленты. Я забрал их с собой, подумав, что интересно будет узнать, какие разговоры велись в подземной норе Рейнеке-Лиса в последние часы ее существования.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

В Германии великолепные дороги. И не только рейхсавтобан, но и обычные сельские дороги соединяющие городки и поселки. Сейчас дороги эти тут, под Берлином, представляют, как мне кажется, уникальное зрелище.

На северо-запад, на запад и северо-восток движутся по ним войска. Сплошной гремящий, гудящий поток, окутанный сизой гарью дизельного топлива. Хотя об этом нам никто не говорит, но уже ясно, что два фронта, Первый Белорусский и Первый Украинский, берут Берлин в клещи, а может быть, даже и в кольцо. По крайней мере, на эту мысль наводит направление и маневрирование армий правого крыла нашего фронта. Значит, и мы будем брать Берлин, хотя маршал, верный своему обычаю, говорит только о том, что было, и никогда о том, что предполагается.

Да, дороги, дороги. Был бы я кинооператором, не пожалел бы пленки, чтобы запечатлеть это напряженное движение. В одну сторону наши войска, а навстречу им по обочинам все время толпы людей. Движутся на восток, движутся на запад. Движение их не носит стихийного характера, какой оно носило в первые дни, когда освобожденные люди шли, лишь бы подальше уйти от страшных мест, где столько пережито. Идут организованно, чаще всего сгруппировавшись по национальности. Не знаю уж как, раздобыли или изготовили флажки своих держав,

ленточки национальных цветов. Идут с этими флажками или с ленточками в петлицах. Звучит по дорогам разноязыкая речь.

Идут французы, бельгийцы, голландцы, норвежцы, югославы, датчане. И, конечно же, наши, русские, украинцы, белорусы.

Идут налегке. Весь дом за плечами. Все имущество в чемоданчике, рюкзаке или котомке. Иногда в центре такой толпы плывет телега. Видели даже допотопный автомобиль без мотора, к которому были приделаны оглобли и который был с верхом нагружен какими-то узлами и сумками.

Идут голодные, дрожа от ночной весенней прохлады, кутаясь в рваные одежонки, и все-таки веселые, жизнерадостные. Французы и итальянцы иногда поют. Встречая колонны наших войск, приветливо машут руками, смотрят вслед, кричат слова благодарности. И нам достается своя доля приветов. Едешь и невольно начинаешь сентиментально размышлять о том, какое это все-таки счастье носить форму Красной Армии в середине беспокойного двадцатого века.

Дорожные комендатуры стараются делать все, чтобы помочь этим людям добраться до дома. На брошенных фольварках организованы пункты питания, маршруты примерно расписаны, кое-где устроены довольно удобные ночлеги. Но регламентировать людские потоки не удается, ведь война-то все еще идет рядом, ведь Берлин еще не взят. На ночлегах этих пилигримов убеждают подождать хотя бы несколько дней, пока будут организованы переселенческие маршруты. Слушают, улыбаются, согласно кивают головами: да, да... Так, так... Иес. И утром чуть свет поднимаются — и в путь. Тяга к дому оказывается сильнее доводов рассудка.

Лишь в одном пункте, как кажется, в распределении этих потоков появилась настоящая организация. Здесь на перекрестке дорог дежурят по очереди три девушки-регулировщицы. Три приятельницы. У них иные настоящие имена, но на фронте они получили прозвища Вера, Надежда, Любовь. Чем-то они похожи друг на друга: маленькие, шустрые, крепкие, этакие котята в огромных кирзовых сапогах. В чем-то не похожи. Не похожи по цвету чубов, выбивающихся из-под пилоток. Вера — брюнетка. Надежда, как и полагается быть надежде, белокура, голубоглаза. У Любы зеленоватые глаза и волосы

того цвета, который вежливые люди зовут палевым. Подружки четко регулируют движение, размахивая своими флажками, выписывая при этом такие пируэты, что, глядя на них, становится весело. При ином таком пируэте так и кажется, что эта малявка вот-вот выскочит из своих сапог. Водители гудками салютуют им. От шуток, изъявления чувств, предложений отбою нет. В ответ только:

— Потом... После войны... Я при обязанностях... Мне не положено.

И, получив такой отрицательный ответ на свои искания, едет дальше водитель по военной дороге и все-таки улыбается, унося в сердце тепло девичьих глаз. Ах, какая это на военной дороге важная вещь — простодушная, искренняя улыбка.

Так вот, эти самые Вера, Надежда и Любовь, гвардии рядовые Зуева, Свирская, Ромм, сами придумали, да и сами осуществили способ регулирования потока репатриированных. Поулыбались, пощебетали, поиграли глазками перед какими-то лейтенантами из седьмого отдела, и те по их просьбе отстукали на папиросной бумаге по-русски, по-французски и по-немецки этакие маленькие листовочки с указанием маршрутов до пунктов питания и пунктов ночлега с ласковым обращением «Дорогой друг» и заключительной фразой «Счастливого пути». И вот теперь, завидев очередную толпу репатриантов и узнав по флажку их национальность, проворные девчата вручают им бумажку с маршрутом вместе с улыбками и добрыми напутствиями. Пустяковое, в сущности, дело, но можно быть уверенным, что иноземные парни, вернувшись в свои Варшавы, Парижи, Белграды и Антверпены, долго будут улыбаться, вспоминая когда-нибудь об этой встрече на дорожном перекрестке с Верой, Надеждой или Любовью.

Шофер командующего Григорий Иванович Губатенко, серьезный бесстрашный казак, провозивший Конева все четыре года войны, рассказывал Петровичу, что маршал как-то на Военном совете ставил этих девчат в пример, приказал поддержать их инициативу, представить их к наградам.

— Эх, жаль, что я женат, а то б на всех трех женился,— сказал как-то Петрович, приветливо поднимая свою кожаную перчатку с крагой в ответ на молодцеватый салют, сделанный флажком одной из этих девиц.— Гово-

рят, что армейский ансамбль песни и пляски уже поет про них песню, которая так и называется «Вера, Надежда, Любовь».

23 АПРЕЛЯ, БЕРЛИН

Генерал Соколовский покинул наш фронт. Он переведен на Первый Белорусский, а к нам на должность начальника штаба прибыл генерал армии Иван Ефимович Петров, известный на всех фронтах, где ему довелось воевать, своим добрым отношением к нашему брату, военному корреспонденту. Боевой командарм, герой Севастополя и Одессы, он отличается интеллигентностью, знанием литературы, искусства.

Шел я к нему представляться и раздумывал, стоит ли напоминать, что не раз бывал я у него, когда он еще командовал армией. Люди часто, ох как часто меняются. Но, оказалось, напрасно раздумывал. Он был все такой же, только морщин прибавилось на высоком лбу да орденских ленточек на груди. Коренастый, ловко сколоченный, с наголо бритой головой, с усиками, в круглом пенсне с золотой перемычкой, с продолговатой ямкой на небольшом подбородке, этот бывший рабочий, пришедший в армию еще красногвардейцем, да так и оставшийся в ней навсегда, внешностью чем-то напоминает дореволюционного офицера, этакого полковника Бородина из фильма «Чапаев». И речь у него своеобразная. Нет-нет, да и вставит в нее какой-нибудь оборотец вроде «батенька» или «голубчик мой». И еще. Есть у него привычка величать знакомых офицеров не по званию, а по имени и отчеству.

Явился я к нему, представился и, помня его былое доброе ко мне отношение, спросил, куда бы это мне лучше сейчас поехать.

— К Берлину, дорогой мой Борис Николаевич, именно к Берлину. С юго-запада, разумеется. Рыбалко доложил, что он вышел вчера на Тельтов-канал, вот здесь,— он указал на карте нужный пункт.— Это уже Берлин. Отметьте-ка себе, батенька мой, место. Напишете оттуда корреспонденцию и шикарно задатируете: «23 апреля, 18.00, город Берлин».— Он улыбнулся.— Знаю, знаю, повидал я вашего брата. Знаком этот ваш форс.

И вот мы на роскошном нашем «бьюике» несемся в заданную сторону, стараясь попасть туда засветло, ибо по лесам теперь бродит немало немецких солдат из разбитых частей. Ведут они себя в общем-то тихо, но среди них попадаются эсэсовцы, фанатики в черных мундирах, с ними встречаться не следует. На такой случай Петрович раздобыл еще один трофейный «шмайсер», а сумку с гранатами кладет себе под ноги. Судьба Павла Трошкина нами еще не забыта.

Тельтов-канал, каков он там ни будь, вряд ли надолго задержит, ведь у танкистов Рыбалко великолепный опыт бросков через Вислу, Одер, Нейсе, Шпрее. Еще засветло без особых приключений прибываем к отмеченному на карте месту. Город Тельтов уже взят. Тут и там пылает несколько зданий. Масса нашей боевой техники — танков, самоходок, саперных машин с понтонами и лодками — теснится на узеньких чистых улицах. Артиллеристы вместе со своим громоздким хозяйством уже подтянулись к каналу.

Хочется, очень хочется скорее взглянуть на Берлин. Но откуда? Кто-то из командиров посоветовал подняться на крышу «небоскреба».

— Небоскреба?

— Ну да, есть тут один такой длинный дом. На его крыше летчики свой пункт наведения организовали.

«Небоскреб» оказался довольно высоким зданием, поднимающимся над другими домами. Там на всех восьми или девяти этажах помещается контора концерна «И. Г. Фарбениндустри». Лифт, разумеется, не работал. По лестнице поднялись на плоскую крышу. Там под прикрытием целой гребенки закопченных труб уже расположились летчики во главе со своим полковником. Он оказался приветливым и гостеприимным человеком.

— Крыша к вашим услугам,— пригласил он.— Днем буду корректировать отсюда моих бомбачей, или бомбил, как уж там лучше сказать... Отсюда все будет видно.

Пока что не было видно ничего. По небу торопливо плыли седые облака. Город тонул в холодной мгле. Лишь изредка, когда молодому месяцу удавалось просунуть меж облаков свои острые рожки, из этого сероватого месива выглядывали какие-то улицы, освещенные багровыми заревами пожаров.

Вместе с полковником поужинали. Оказалось, что водится у него и коньячок, что было не лишним, ибо

апрельская ночь была довольно промозглая. Петрович спустился вниз и приволок из какого-то кабинета большой пушистый ковер. Мы сложили его вдвое, на одну половину легли, другой покрылись, и я заснул сном довольного всем человека: сыт, погрелся, есть подстилка и одеяло. И место благодаря совету Ивана Ефимовича занял, как говорится, в первом ряду партера. Все отсюда вижу и, может быть, действительно, если повезет, задатирую завтра корреспонденцию «23 апреля, Берлин».

Проснулся утром от какой-то сутолоки, поднявшейся на крыше. Что такое? Стрельба? Нет. И вчера еще пули изредка повизгивали, рикошетом отлетая от массивных труб. Так почему же сутолока? Ах, вот что! Через чердачную дверь поднялись и заняли посты у входа два знакомых мне автоматчика из охраны командующего. Я все понял и вылез из своего коврового кокона. На крыше «небоскреба» появились Конев, Рыбалко и еще какие-то незнакомые большие командиры.

— Вы как сюда попали? — спросил командующий, обратившись ко мне.

Немецкие наблюдатели там, за каналом, наверное, засекли появление на крыше группы военных. На той стороне затрещали пулеметы. Целый веер пуль с визгом отрикошетил от крыши. По телефону на батареи был передан приказ подавить огневые точки противника. Завязалась огневая дуэль.

А тем временем Конев, Рыбалко и другие командиры отошли под прикрытие труб и что-то очень горячо обсуждали. А я, присев на своем ковре, раздумывал об этой привычке маршала «обползать передовые», руководить прорывами с наблюдательных пунктов дивизий и даже полков.

Сколько раз подчиненные слышали от него, что военачальники не только частей, соединений, но и воинских объединений должны «обползать на брюхе» передовую на месте прорыва, осмотреть все своими глазами. Сидя на крыше высокого, в общем-то открытого для немцев здания, наблюдая этого человека, я восстанавливал в памяти давние и еще свежие картины.

Вот зима 1941 года. Вьюжный день под Калинином. Высотка у деревни Змиево, где саперы для командующего вкопали в песок небольшую избу. Отсюда хорошо виден бой, идущий на подступах к городу. Пули, залетая

сюда, по-птичьи цвикают о мерзлую землю. Конев, навалившись грудью на бруствер, следит за развитием наступления. Не отрываясь, отдает распоряжения, которые тут же передаются по телефону. Вот он на берегу Ворсклы в часы боев за Полтаву. Стоит рядом с артиллерийским наблюдателем в неглубоком окопчике и смотрит, как наводят переправу. Сюда уже подведен телефон, и командующий руководит и переправой и всем наступлением. Вот разгар Корсунь-Шевченковского сражения. Труднейшие его часы. Северная группа фашистских войск, стремясь вырваться из кольца, таранит его, а навстречу таранят кольцо танки генерала Хубе. И командующий в беспутицу, в оттепель летит на самую узкую горловину этого кольца, в деревню Толстое.

Нет, это не привычка. К этому, наверное, привыкнуть нельзя. Это, вероятно, сознание своего полководческого долга, это уверенность, что именно так вот и надо руководить сражением в его решающие минуты.

Генерал Петров, ставший сейчас начальником штаба фронта, с удивлением подчеркивал редкую способность маршала видеть перед собой поле боя.

— Вы понимаете,— говорил Иван Ефимович своим тихим, отнюдь не генеральским голосом.— Я докладываю ему. Обсуждаем ситуацию, а он даже на карту не смотрит. Вся обстановка у него в уме. Он видит ее умозрительно, как хороший шахматист расстановку фигур, не глядя на доску, и может самые сложные ходы и комбинации предусмотреть. Это, батенька мой, редкий дар полководческого видения.

Иван Ефимович в этой войне сам командовал армиями, фронтами. Толк в военном и в штабном деле знает. И этой оценке, данной маршалу, можно верить.

Я познакомился с И. С. Коневым в тяжелейшую зиму войны. Хорошо помню, когда у неприятеля был отбит Калинин, мой родной город, в деревушке, занесенной снегом, он диктовал мне, тогда еще начинающему корреспонденту «Правды», статью об итогах Калининской операции. Очень понравился мне в человеческом плане этот новый командующий молодым фронтом, уже перешедшим в те дни в наступление. И родилась у меня мысль написать о нем очерк.

«Глупости. Кто о живых военачальниках во время войны пишет? Вот возьмем Берлин, кончим войну, по-

жалуйста, если к тому времени живы останемся. Пишите сколько угодно. А сейчас кому это надо?»

Возьмем Берлин! Это было сказано, когда до Берлина было три тысячи километров, а до Москвы рукой подать. А теперь Берлин вот он. Я его вижу с этой самой крыши. И каюсь: тяжело смотреть на черный, полуразрушенный, горящий во многих местах город. Чей бы он ни был. Но для командующего это, наверное, счастливейший день в войне, день, к которому он упорно шел почти четыре тяжелых года.

Вот он стоит у парапета крыши с биноклем в руках. Не знаю, доводилось ли ему когда-нибудь прежде с такой вот удобной позиции обозревать передовые части своего фронта. Утро завязалось ясное. Дымы лишь над городом, а над Германией голубое небо. Отсюда, с этого долговязого дома, на левом фланге, на горизонте, не очень четко просматривается, вероятно, Потсдам, за который бьются танкисты генерала Лелюшенко, а направо, за крышами Тельтова, можно видеть части правого фланга фронта, которым вот где-то тут, у окраины Берлина, предстоит участвовать в историческом событии — соединиться с левым флангом войск Первого Белорусского фронта.

Окружение! Окружение главной цитадели нацизма! Доводилось ли кому-нибудь из военачальников этой или любой другой войны решать более сложные и более важные задачи, чем та, которую вот сейчас должны решать войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов в этом великом сражении, в которое введено несколько миллионов солдат, десятки тысяч орудий, танков, самолетов.

А между тем лицо у Конева спокойное, я бы даже сказал, деловито-обыденное. Вот опять из-за канала послали очередь. Где-то у самых его ног цвикнула пуля и, взвизгнув, срикошетила и, как говорят солдаты, «ушла за молоком». Он только посмотрел в сторону выстрела и продолжал говорить по телефону с командармом Лелюшенко, давая ему какие-то указания.

Выбрав удобную минуту, я спросил, что он думает о предстоящих боях за Берлин.

— Сложный город,— ответил он задумчиво.— Постройки-то крепостной толщины. Их средним калибром не взять. А реки, речки, каналы, вон их сколько, и все в гранит одеты. Эти гранитные шубы никаким снарядом не возьмешь. А метро? Смотрели на план, какое у них

метро? — И повторил: — Сложный город. И защищать они его будут до последнего. Квартал за кварталом, дом за домом придется брать.— И, подумав, добавил: — Зато возьмем — и конец войне.

Отойдя в сторонку, я тщательно записал эту фразу и сейчас вот, двадцать пять лет спустя по окончании войны, взявшись за обработку своих дневников, просто переписал ее сюда из старого блокнота, ибо, как мне кажется, узнать, что думал в минуту перед решающим штурмом один из славнейших полководцев второй мировой войны, было подарком судьбы для военного журналиста.

Штурм Берлина стоил многих жертв, ибо каждую цель приходилось подавлять массированным огнем, а каждый дом по берегу канала становился крепостным редутом. Я не имею обычая записывать номера частей, но тут вот, сегодня, дело особое, ибо на этом участке они первыми вступили в Берлин. Из состава нашего фронта на северный берег канала перешли части девятого механизированного корпуса. Контратаковав, неприятель предпринял попытку сбросить танкистов в канал. Так завязался здесь первый бой. Яростный бой. Танкистов потеснили. Но штурмовые батальоны 22-й мотострелковой бригады под аккомпанемент артиллерии, обосновавшейся на южном берегу канала и делавшей один огневой налет за другим, на лодках, на бревнах, на каких-то ящиках переплывали канал, перелезали через него по железному кружеву взорванного моста.

Любопытный штрих: кто-то из передового батальона уже на том берегу прикрутил к мостовой ферме красный флаг. Было ветрено, флаг этот тотчас же развернулся. На атакующих это произвело такое впечатление, что темп форсирования сразу вырос и к утру, когда саперы спустили на воду понтоны и резиновые лодки и принялись за наведение мостов, враг уже был оттеснен от берега.

К полудню генерал Рыбалко доложил командующему, что часть его армии, продолжая наступать в северном и восточном направлениях, уже соединилась с армиями Белорусского фронта. Вокруг Берлина сомкнулось, образно говоря, стальное кольцо. Свидетельствую: это произошло 24 апреля в 14 часов 20 миннут.

Я почти бегом спустился по лестницам с крыши «небоскреба». Скорее писать, писать. Ясно было, что в завтрашний, а может быть, и в послезавтрашний номер это не попадет. «Правда» очень строга к такого рода сенса-

ционным сообщениям. Наберут нили опусы и ожидают соответствующего сообщения Совинформбюро. Но материал просто чесал руки. Наверняка такие журналистские асы, как Моржанов, Горбатов, Золин, как тот же Вишневский, действующие на восточном краю Берлина в частях Первого Белорусского фронта, опишут все, что было там, на их стороне. Могу ли я отставать от них?

Когда я вернулся с узла связи, Крушинский, тоже уже передавший свою корреспонденцию о том, что произошло в этот замечательный день, сказал:

— Не распрягайте свою роскошную лайбу. Звонили от генерала Петрова. Он требует, чтоб вы тотчас же явились к нему. Спросил у порученца, по какому делу, он чего-то очень многозначительно замутил, дескать, там узнаете. Что вы, Бе Эн, об этом скажете?

Что? Действительно, зачем я мог понадобиться начальнику штаба фронта? Меня провели к нему прямо в личную резиденцию. Сводка уже прошла, боевое донесение было готово. Сняв китель, генерал отдыхал за чашкой крепчайшего чая. Отдыхая, слушал радио, что-то истерично кричавшее по-немецки. Голос был странный, гортанного тембра, но звуки слышались точно бы из бочонка.

— Доктор Геббельс. Собственной персоной,— пояснил генерал.— Он ведь командует зоной обороны Берлина, и видите, какая истерика... Будем защищать сердце фатерланда до последней капли крови... Берлинцы, славные берлинцы, потомки великих германцев, защищайте свой родной город, свои семьи, своих жен, которых ждет страшная судьба... Видали, как завинчивает.— Генерал выключил приемник и домашним голосом сказал: — Хотите чаю? Только я ведь пью крепкий, как деготь.

Он наполнил из термоса стакан. Положил в стакан лимон. Я вопросительно смотрел на него, желая понять, зачем все-таки меня позвали. Он неторопливо снял большое круглое пенсне, протер его и вдруг очень строго сказал:

— Мне доложили, что вы передали девушкам из седьмого отдела на перевод ленты телеграфных переговоров, которые вы взяли в подземелье Цоссена.

— Так точно. Я думал...

— Не знаю уж, что вы там думали, но, очень мягко говоря, вы совершили грубейшую ошибку.

— Но я не знал...

— Вы не знаете, что было на этих лентах? Не знаете? Так вот, полюбуйтесь.— И только тут, водрузив пенсне на место, он улыбнулся.

У меня в руках оказались листки переводов последних переговоров узла связи верховного командования вооруженными силами с немецкими военачальниками, находившимися на юге Германии и в странах, еще оккупированных немецкими войсками. На одном конце провода — встревоженные ходом событий гитлеровские военные сатрапы, а на другом — четыре пьяных солдата-телеграфиста, заживо похороненные в бункере узла связи и мысленно уже простившиеся с жизнью.

Вот отрывки из этих разговоров, в которых я по причинам, легко понятным, заменяю наиболее выразительные слова многоточиями уже при обработке дневников.

Эдельвейс. Генералу Кребсу. Вручить немедленно. Отсутствием всякой информации вынужден ориентироваться обстановке радиопередачами англичан. Сообщите обстановку. Введите курс дальнейших действий. Подписано А-19.

Ответ. Вручить не могу. Вызвать кого-либо тоже. Погребены могиле. Передачу прекращаю.

Эдельвейс. Что за глупые шутки? Кто у провода? Немедленно позвать старшего офицера. А-19.

Ответ. Офицер насалил пятки. Все насалили пятки. Замолчи, надоел.

Эдельвейс. Какая пьяная скотина отвечает? Немедленно позвать дежурного офицера. У провода генерал!

Ответ. Поцелуй в... свою бабушку, вонючее дерьмо... Заткнись.

Эдельвейс. К аппарату У-16. Требует М-11. Весьма срочно.

Ответ. Не торопись в петлю.

Эдельвейс. Не понял, повторите.

Ответ. Не торопись в петлю, вонючий идиот... Все драпанули. Над нами ходят Иваны. К тебе еще не пришли?..

Эдельвейс. Снова настаиваю связи с Кребсом. Сообщите обстановку Берлине. М-11.

Ответ. В Берлине идет мелкий дождик. Отстань.

Эдельвейс. Кто со мной говорит? Назовите фамилию, звание.

Ответ. Подавись... Надоел. Все удрали. Понял? Танки Иванов над нашей головой...

И так лента за лентой, густо уснащенная сочнейшими ругательствами. Легко представляю себе, каково-то было лейтенантам в юбках переводить эти ленты последних переговоров с Цоссеном. Да, признаю, сплоховал. Но разве можно было это предвидеть?

— Ну, батенька, понимаете теперь, чем вы угостили милых, интеллигентных девушек-переводчиц? — смеялся генерал.— Они вам этого никогда не простят. Лучше и на глаза не показывайтесь.— Потом посерьезнел.— Вряд ли вам этот трофей понадобится, но вообще-то эти ленты действительно интересный материал. Все-таки кусочек истории. Я их оставлю у себя. Возьмите, если хотите, переводы.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

Утром меня снова вызвал генерал Петров. Он сидел за большим письменным столом. Был строг, официален, в кителе с орденскими лентами, застегнутом на все пуговицы.

— Товарищ подполковник,— сказал он сухо.— Передаю вам задание командования. На Втором Украинском вы у нас действовали по части иностранных дел. Помните, и ко мне привозили в армию югославскую военную делегацию. Так вот, вам задание по этой же, по иностранной части.

— Но я же... Такие события, я же корреспондент «Правды».

— Но прежде всего вы офицер Красной Армии, не так ли, голубчик? Карта с вами?

— Так точно.

— Соблаговолите найти на ней город Торгау, что на Эльбе.

— Нашел. Это в районе действий армии Жадова?

— Точнее говоря, корпуса генерала Бакланова. Так вот, завтра, 25 апреля, в этом месте произойдет событие, между прочим, небезынтересное вам и как корреспонденту. Встреча союзнических армий, нашей и американской. Так вот, сегодня вечером соблаговолите быть там. Свяжитесь с товарищами из армейского седьмого отдела и действуйте вместе. Машина в порядке? У вас, говорят, роскошная машина? Очень кстати. Для связи к вам прикомандировывается старший лейтенант в юбке, переводчица, знающая английский язык... Нет-нет, не бой-

тесь. Она те цоссенские перлы не переводила. Вопросы есть?

— Никак нет.

— Вот еще. Следите, чтобы славяне на радостях не хватили лишнего. Нет-нет, немножечко, в норме это можно.— Он засмеялся.— Но, как рекомендовал один священнослужитель, во благовремении и плепорции...

Немало разных, чисто военных заданий приходится выполнять нашему брату, военному корреспонденту. Сергей Борзенко вон несколько дней десантным батальоном командовал. Но такого задания, какое я только что получил, пожалуй, ни у кого еще не было. Остренькое задание. Крушинского отыскать не удалось. Он, конечно же, в Берлине. Известил его запиской о предстоящей поездке, а сам с фотокорреспондентом «Правды» капитаном Александром Устиновым и прикомандированным лейтенантом в юбке, очень интеллигентной девицей-грузинкой с тоненьким голоском, озорной физиономией и поэтическим именем Лола, выехал в район Торгау. Все были в отличном расположении духа, и Устинов по такому случаю напевал какие-то арии из разных опер. Эта страсть к оперным мелодиям просыпается в нем всякий раз, когда предстоят интересные или опасные дела.

Командира корпуса в штабе не оказалось. Поехали в полки, которые уже подошли к реке и остановились в прибрежных лесках, выбросив на берег хорошо замаскированные дозоры. Весна набирает темпы, неистово цветет черемуха. Местами кусты казались покрытыми сугробами, и в сырой прохладе поймы воздух был неподвижен и так густо насыщен горьковатым ароматом, что казался плотным, хоть режь его ножом. Эльба золотилась в лучах заката, и за ней темнели здания Торгау, казавшегося совершенно безлюдным.

Разно, очень разно относились мы к союзникам, и отношение это менялось с ходом войны. В дни Сталинграда, когда до Волги оставались считанные метры и Красная Армия один на один сражалась с армиями пяти стран гитлеровской коалиции, отношения эти были явно неприязненными. Политработникам приходилось прилагать немало усилий, чтобы неприязнь эту, если и не заглушить совсем, то как-то нейтрализовать. Потом, когда было сказано, что на Волге мы уже сломили хребет гитлеровскому зверю, что было совершенно справедливо, неприязнь к неторопливым союзникам сменилась ирони-

ей. Мы, конечно, были благодарны за помощь, получаемую по ленд-лизу, но разве могла она, эта помощь, заменить в этой нечеловечески трудной войне боевое сотрудничество! И ходили по войскам шутки: свиная тушенка — «второй фронт», шерстяные подштанники — «дары Черчилля». Танки БМ-4 расшифровывались «братская могила четверых», ибо танки эти, великолепно сработанные, оказались весьма уязвимыми для фаустпатронов, а губчатая резина, которой они были обиты изнутри, от шума и от толчков не очень предохраняла, зато при первой же искре вспыхивала и превращала машину в факел. После вступления союзников в Нормандию шутки эти и без агитации политработников как-то сами собой изжились. А когда наступление союзных войск в Арденнах превратилось в отступление, наши солдаты уже искренне жалели их братской жалостью: ну что ж, ребята ведь еще не закалились. Ничего, помаленьку научатся воевать.

И вот эта встреча тут, на юге Германии. Война как бы остановилась на этой реке. Штурмовые батальоны, закаленные на Висле, Одере, Шпрее, с ходу и без труда захватили бы заречный плацдарм, но их остановили и расположили на отдых в прибрежном лесу. Политработники разъясняли: наступление прекратилось, вышли на рубеж, оговоренный союзническими соглашениями. Этим рубежом и стала река Эльба.

И тут в кустах началась яростная подготовка к дружеской встрече. Стирали и сушили на кустах гимнастерки, пуговицы надраивали до ослепительного блеска, подшивали подворотнички, чистили сапоги. Характерный штрих: вакса, гуталин и одеколон — предметы, на которые всю войну не было спроса. Ну а теперь их будто дождем смыло с прилавков военторга. Пришлось даже срочно гонять машину во второй эшелон за этими товарами, вдруг ставшими дефицитными. Политорганизаторы рассказывали об Америке, о ее государственном устройстве, освободительных войнах Вашингтона, об антирасистских мерах Линкольна, о законах Джефферсона.

А пока шла эта подготовка к встрече, над рекой буйствовала дружная весна. В кустах черемухи пересвистывались соловьи и так старались, что невольно приходила на ум ставшая в тот год очень популярной новая песня «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Тревожили. Еще как тревожили.

Договорились, что гостей, если они прибудут на этот

берег, встретить дружески-учтиво и не очень пугать разудалым русским гостеприимством. Капитан Александр Устинов, которому предстояло увековечить эту встречу, выискивал среди связисток и младшего медперсонала девчат посимпатичней и подородней, чтобы они на его снимках сразу представляли и красоту и мощь русских женщин. Словом, все было организовано так, как задумывалось. Но при встрече благие пожелания полетели ко всем чертям.

Когда над закопченными руинами Торгау, возвышающегося на противоположном берегу, поднялось большое румяное, точно только что умывшееся в холодной реке солнце, наблюдатели, лежавшие в прибрежной полосе, доложили: за водной переправой в районе объекта появились военные.

Не выходя из кустов, мы с лейтенантом подошли к реке. Действительно, из глубины улиц на высокую набережную выскочил «джип». Он был битком набит дюжими ребятами в незнакомой, никогда еще не виданной нами форме, напоминавшей наши лыжные костюмы. На головах были каски, обтянутые маскировочной сеткой. Все сразу же поняли — американцы.

И что тут началось! Вся пойма, только что выглядевшая безлюдной, как настороженная передовая, покрылась бойцами на всем протяжении до поворота реки. Махали руками. Бросали вверх пилотки и фуражки. Сложив ладоши рупором, кричали:

— Здорово, ребята!

— Давай к нам!

На той стороне тоже стало людней. За «джипом» на набережную вылезли грузовики. Американцы тоже что-то кричали и тоже махали руками. Спросил Лолу, что именно кричат.

— Кто их знает, что-то не разберу... Словом, радуются. Приветствуют.

Чувствовалось, что бойцам нашим не терпелось войти с союзниками в непосредственное соприкосновение. Несколько старых лодок, опрокинутые, лежали в песке. Но солдатам было внушено: водораздел является демаркационной линией между двумя союзническими армиями. А вот американцы нарушили эту самую линию, отыскали какой-то ветхий баркасик, спустили на воду и, за неимением весел гребя досками от скамеек, стали пересекать реку с быстрым весенним течением. На быстрине баркас

подхватило, понесло прямо на железное кружево взорванного моста, свисавшего в воду. Для баркаса создавалась опасная ситуация. Его могло ударить о железные швеллера. Но тут пришла на помощь русская смекалка.

Несколько солдат побежали по берегу к мосту, скинули сапоги, вскарабкались на свисающую к воде стальную конструкцию и, когда баркас донесло до моста, десятки рук подхватили его, не дали ему удариться, а несколько солдат, спрыгнув в воду, подвели к берегу.

Дружественный десант, столь храбро, без весел форсировавший быструю Эльбу, был принят в распростертые объятия. Отобранные Устиновым девчата преподнесли союзникам букеты черемухи, и сам Устинов, с невероятными усилиями преодолев бушующую стихию гостеприимства, организовал группу встреченных и встречающих. Без устали щелкал затвором аппарата, повторяя сразу на трех языках:

— Еще раз... Нох айн маль... Уан мо...

Что там греха таить, были забыты все правила военного этикета. Солдаты союзнических армий стали просто русскими и американскими парнями, искренне радовавшимися этой встрече. Обнимались, целовались, толкали друг друга кулаком в грудь, звонко шлепали ладонью по спине. Из сидоров извлекались заветные фляги, кружки, сделанные из консервных банок. Союзники вытаскивали из карманов банки консервов, плитки шоколада. Наши — куски пожелтевшего сала, сохранившегося на черный день еще со времен, когда война шла на Украине. И все это происходило на зеленой, залитой солнцем пойме, благоухающей молодой листвы, насыщенной птичьим щебетом.

Между хозяевами и гостями даже завязывались беседы, и весьма оживленные, которые велись с помощью двух-трех взаимно известных русских или английских слов и множества выразительных жестов, среди которых преобладали два: поднятый вверх большой палец или большой и указательный палец, сложенные в бараночку, что у собеседников означало примерно одно и то же — отлично, о'кэй!

И, конечно же, гармонь. И, конечно же, песни. И, конечно же, пляс, такой искренний и вдохновенный, что казалось — от топота сапог и бутс берега реки трясутся, будто от бомбежки. Смотрю на это такое естественное и искреннее веселье и думаю о своей второй миссии. Надо что-нибудь здесь корректировать или поправлять? Да нет

же, не надо, конечно. Забыты взаимные былые досады и подозрения. Сердца солдат союзнических армий инстинктивно нашли путь друг к другу, и это веселье, как мне казалось, значило гораздо больше, чем оперативное соприкосновение двух союзнических армий, давно уже с боями двигавшихся навстречу друг другу с запада и с востока. В этом шумном солдатском торжестве на берегу немецкой реки нашло, как мне казалось, выражение взаимное уважение народов, живущих на разных концах земли, народов, которые никогда между собой не воевали, всегда относились друг к другу с интересом и походят один на другой своей жизнерадостностью, изобретательностью, оптимизмом.

Среди гостей, которых уже довольно много переправилось на наш берег, особенно понравился мне невысокий, коренастый, черноглазый американец, младший лейтенант по званию. Джозеф Половски. Жоржик, как рекомендовал он себя. Внук дореволюционных эмигрантов из царской России, он «сохранил остатки русского языка». Он как раз и организовал тот самый первый десант, который чуть было не разбился о взорванный мост. Он знал несколько русских слов, а по-английски говорил с частотой стреляющего пулемета, так что Лола едва успевала переводить. Он рассказал, с какой надеждой следили на его родине за ходом боев на Восточном фронте и как в Америке уважают дядю Джо.

— Дядю Джо?— переспросил я.

Оказалось, так простые люди в Америке называют И. В. Сталина.

Этот лейтенант, сын крохотного бизнесмена из Чикаго, как оказалось, подготовился к встрече. Он достал из кармана гимнастерки листок бумаги, на котором было напечатано высказывание великого поэта Уолта Уитмена о России, сделанное в 1881 году.

— «Вы русские, а мы американцы,— перевела мне Лола.— Россия и Америка такие далекие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта... и все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи... Сердечный салют с наших берегов от имени Америки».

— Я перепечатал это по-английски и раздал нашим ребятам. Это хорошие, храбрые ребята, но они, увы, не читали Уитмена. Кто он, парень, написавший эти слова, спросил меня один. Он по профессии мясник. У него ма-

ленькое дело в Нью-Йорке. Откуда ему читать Уитмена. А вы возьмите эту бумажку себе.

Это было, несомненно, актом дружелюбия. На него нужно было ответить, но у меня было слишком мало времени для подготовки к этой встрече и ничего подобного я с собой не захватил. Но Лола оказалась предусмотрительнее. Она тоже достала из кармана гимнастерки свернутый листок.

— А на два десятилетия раньше, чем эти слова написал Уитмен, один великий русский написал такие,— и Лола прочла: — «Между Россией и Америкой... целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого местничества и остановившейся цивилизации... Обе страны переизбыточествуют силами, духом организации, настойчивостью, не знающей препятствий».— Лола прочитала эти слова по-английски, а потом перевела для меня.

— Кто же все это сказал? — поинтересовался Половски.

— Александр Герцен, пламенный борец с царизмом,— произнесла Лола и, победно взглянув на меня, передала бумажку нашему собеседнику.

Потом мы вместе сфотографировались, обменялись адресами, обещали переписываться [1].

Расставались уже под вечер, когда над Эльбой курился прохладный туман. На прощание я преподнес Половски на память бутылку водки, а Лола, любящая, как и все ее земляки, пышные, образные выражения, шутя сообщила ему, что это и есть как раз тот эликсир, который давал богатырскую силу солдатам Сталинграда.

— Сталин тоже пьет этот эликсир? — спросил Половски.

— Нет, мы грузины, живем в стране великолепных вин, наши мужчины предпочитают золотой сок нашей земли,— цветисто ответила Лола и добавила: — Грузины один из древнейших и культурнейших народов земли, и, по античным легендам, Прометей, по-нашему Амиран, был грузином и в наказание был прикован богами к скале именно в горах Кавказа.

---

[1] После войны мы долго переписывались с Джозефом Половски. Он стал организатором прогрессивного американского общества ветеранов встречи на Эльбе, отважно действовавшего даже во времена лютого маккартизма. Мы с ним не раз встречались потом и в Чикаго и в Москве.

— А кто он был, этот, как вы сказали, Прометей? — неожиданно спросил наш собеседник.

На миг Лола удивленно подняла на него свои черные выразительные глаза. Но не стала его конфузить и, виновато улыбнувшись в мою сторону, сообщила:

— Так, один хороший храбрый человек. Рассказывают, что он когда-то украл у богов огонь и отдал его людям.

После этого экскурса в античный мир, совершенного уже на берегу перед самой посадкой на один из катеров, пришедших за нашими гостями с той стороны, мы искренне расцеловались. Катера, фырча мощными моторами, отчалили, и сквозь рев их моторов Джозеф, сложив рупором руки, что-то крикнул нам с удаляющегося судна. А потом все начали что-то скандировать.

На лице Лолы появилось растроганное выражение. Даже слезы выступили на ее красивых, миндалевидных черных глазах.

— Чего они кричат? — спросил я ее.

— Половски крикнул: «Регардс ту онкл Джо — привет дяде Джо». А теперь вот все они скандируют: дядя Джо, дядя Джо...

Лола вытерла глаза комочком носового платка...

Сегодня вечером Москва поздравляла наш фронт со встречей с американскими союзниками двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами.

ПЕРЕДОВАЯ НА ЭЙЗЕНШТРАССЕ

Бои в Берлине в особых, именно берлинских условиях потребовали от наших войск применить новую тактику. Каждый дом становится здесь дотом, каждая улица — линией обороны, и, сколько их ни обходи, сколько ни заходи в тыл, каждое такое укрепление как бы живет самостоятельно. Ведь отступать-то противнику некуда.

И вот на фронте появился новый вид подразделений — штурмовые отряды. Это особая часть, в которую входят и стрелковые подразделения, и танки, и самоходки, иногда «катюши» и обязательно группа саперов. При этом танкисты как бы организационно сливаются с пехотой и не только взаимодействуют, но и активно помогают друг другу в бою. Я решил написать об опыте этих штурмовых групп, которых в Берлине действует, и успешно

действует, уже несколько. И все они дальше других частей пробились к центру города.

Зашел в «оперу» посоветоваться, где бы лучше посмотреть такую боевую группу в действии. И тут мне случайно повезло. От оперативщиков узнал, что как раз в такую группу, действующую в западной части города, на Эйзенштрассе, возвращаются два бойца, приезжавшие в штаб фронта получать награды. Я их подкину на место действия, а они доведут меня до своего штаба. Кто бы мог знать, что случайное это знакомство сделает меня свидетелем удивительного подвига.

Оба мои спутника оказались старослужащими, и путь их сюда, в Берлин, пролегал через всю войну.

— Старший сержант Трифон Лукьянович,— представился мне один из них, худощавый, белокурый, обладатель грохочущего баса.

— Ефрейтор Николай Тихомолов,— стукнув каблуками, рекомендовался другой. Он говорил, напирая на «о», и это сразу выдало в нем прирожденного волгаря.

Были они оба в чисто выстиранных, тщательно отглаженных гимнастерках, на которых рядом со старыми, уже покрытыми патиной наградами блестели ордена Красного Знамени. И получили они этот славный орден, по их словам, «так, за пустяк»,— взяли в плен большого немецкого генерала, командира корпуса, взяли, по их словам, чудно́. Возвращались на мотоцикле с задания, увидели на лесной дороге двух офицеров и старика в штатском. Боя не произошло, встреченные подняли руки. Чтобы они в дороге, грехом, не разбежались, Тихомолов снял с их шаровар ремни и обрезал пуговицы. Расчет был такой: не очень-то побежишь, держа шаровары обеими руками. А когда стали обрезать пуговицы у «цивильного старикана», все трое запротестовали. И оказалось, что этот «цивильный» — генерал. Словом, как бы там ни было, они доставили всех троих в штаб, сдали кому нужно и были очень удивлены, когда через некоторое время в их часть пришло извещение об их награждении и вызов прибыть в штаб фронта за получением наград. И вот сейчас они возвращались в свою часть, в тот самый штурмовой отряд, что глубже других продвинулся с юго-запада в центр Берлина.

Доехали мы быстро. Лишь в одном месте пришлось свернуть с автобана, и то, в общем-то, зря. В последние недели немцы ввели в бой новые, беспропеллерные,

вернее, реактивные самолеты. Снизу было чудно глядеть: летит самолет, стреляет, а мотора не слышно, только сзади расплывается мохнатый хвост. Обычно летают они вдоль шоссе. Обстрел их особых потерь не приносит, но все же Петрович свернул с удобнейшего автобана на одну из боковых дорог, и тут мы попали неожиданно в штаб истребительной дивизии А. И. Покрышкина. Его самолеты как раз и охотились за этой немецкой новинкой. Истребители взлетали прямо с шоссе, которое и служило для них взлетной полосой.

— А что, очень даже удобно,— сказал нам майор, руководивший полетами.— С аэродрома когда еще до места дотянешь, а тут рукой подать. Да и бомбят они наши аэродромы, страсть как бомбят. Напоследок боеприпасов не жалеют.

Дорога — аэродром. Это тоже могло быть неплохой темой для предпраздничного очерка, но мои спутники очень торопились в свою часть, и мы продолжали путь. Спутники, старые солдаты, хорошо уже ориентировались в Берлине. С их помощью мы благополучно доехали до той точки города, до которой можно было безопасно двигаться на машине. Остальной путь до позиции штурмовой группы прошли пешком через дворы и стенные проломы. Штаб группы располагался в маленькой каморке истопника в подвале одного из массивных, уже обрушенных домов. Начальник штаба, молодой капитан, армянин, с веселыми, будто приклееными к верхней губе усиками, сообщил, что командир, майор по званию, вчера был ранен, замены еще не прислали и что пока он принял командование на себя. Несмотря на мальчишеский румянец, пылавший на круглом лице, наш новый знакомый оказался не только толковым, но и опытным офицером. Разложив на столе самодельную карту Эйзенштрассе, он познакомил нас с деятельностью своей штурмовой группы, рассказал о взаимодействии стрелков с артиллеристами, танкистами, саперами. Они успешно пробились еще третьего дня к этой самой Эйзенштрассе. Но вот тут наступление застопорилось.

— Эти эсэсовские дьяволы на той стороне улицы стоят намертво. Они нас тут здорово потрепали, приданный нам танк и две самоходки фаустами подбили. Знаете, какое это ядовитое оружие в уличном бою? И людей положили немало. Командиру руку оторвало. Улица широкая, с гранатой на них не бросишься. Вот и перестрели-

ваемся через дорогу, как в Сталинграде... Постойте, что это?

Сквозь звуки перестрелки, к которой ухо привыкает так, что ее как-то уже не замечаешь, послышались возбужденные голоса, чьи-то шаги.

— Что такое? — Капитан вскочил.— Извините. Не идите за мной. Это что-то на нашей передовой случилось.

И в самом деле, в конце темного подвального коридора высвечивалась обрушенная часть дома. Это и была передовая. Крепко и умело организованная передовая: амбразуры, выложенные из кирпича, многочисленные пулеметные точки. Под защитой этого кирпичного бруствера толпились солдаты, о чем-то возбужденно переговаривались.

— Что такое? Почему собрались?— спросил капитан.

— Ребенок там,— пояснил один из бойцов,— чу, слышите, плачет.

— Разрешите доложить, товарищ капитан,— сделав шаг вперед, произнес знакомый уже мне Тихомолов.— Обстановка следующая. Снаряд вон в тот сортир угодил, вон что посреди улицы. Должно быть, какая-то женщина с ребенком там отсиживалась. Ее убило или ранило, а маленький, вон он, слышите, надрывается.

Действительно, сквозь пулеметную стрельбу и редкие разрывы мин доносился детский плач.

— Вот это задача,— протянул капитан.— А может, они нарочно нам приманку подкидывают? Эсэсовцы, от них всего можно ждать.

И вдруг какая-то фигура молча метнулась к стене. Лишь в следующую минуту, когда человек перемахнул через бруствер, сверкнув орденами и медалями, я понял, что это Трифон Лукьянович. Перепрыгнув бруствер, он сразу же распластался на асфальте и под прикрытием развалин пополз туда, откуда доносился плач. Из дома напротив по нему стреляли. Пули зло взвизгивали, рикошетили об асфальт, но он был для них недосягаем. Так он дополз до разрушенного уличного туалета. Потом мы увидели его с ребенком на руках. Он сидел под защитой обломков стены, точно бы обдумывая, как же ему дальше быть. Потом прилег и, держа ребенка, двинулся обратно. Но теперь двигаться по-пластунски ему было трудно. Ноша мешала ползти на локтях. Он то и дело ложился на асфальт и затихал, но, отдохнув, двигался

дальше. Теперь он был близко, и видно было, что он весь в поту, волосы, намокнув, лезут в глаза, и он не может их даже откинуть, ибо обе руки заняты. Он уже тут, рядом, почти у самого бруствера. Кажется, протяни руку и до него дотронешься, однако над бруствером гуляет смерть.

— Пулеметчики, огонь по амбразурам. Самый плотный. Длинными очередями! — прокричал капитан.

Кругом загрохотало. Дома, что были напротив, окутались красновато-белой пылью от битых кирпичей и штукатурки.

В этот момент высокая фигура Лукьяновича на миг возникла над бруствером, а потом как бы соскользнула вниз в подвал. На руках солдата была маленькая белокурая кудрявая девочка. Вцепившись ручонками в его гимнастерку, она приникла личиком к его орденам и медалям. Но, очутившись у своих, Лукьянович стал как-то странно опускаться, будто ноги у него таяли.

— Возьмите девчонку, — хрипло произнес он и, передав ребенка в чьи-то руки, сполз по стене на пол...

— И ведь что самое дивное, что семья Лукьяновича в Минске вся погибла, весь его род,— рассказывал час спустя капитан, когда мы снова сидели с ним в каморке истопника.— Это еще в первые дни войны было. Деревню, где его родня жила, сожгли... Вот это-то тут, по-моему, самое важное.

Снарядов еще не подвезли, действий штурмовой группы повидать не удалось, но я не огорчался. Все-таки не зря съездил я сюда, в Берлин. Случай, свидетелем которого я стал, дал, по-моему, отличный материал для первомайской корреспонденции. Я так и озаглавил ее «Передовая на Эйзенштрассе».

Собственно, следовало бы во втором издании этих дневников написать этот заголовок по-другому. И вот почему. Когда немецкий редактор этой моей книги Лео Кошут готовил ее издание, он прислал мне в Москву том-справочник «Улицы Берлина 1939 года» и сообщил, что я могу убедиться, что улицы Эйзенштрассе в Берлине не было. Как быть? И в самом деле, бывая в Германии, я несколько раз пытался найти в Берлине — и в Восточном и Западном — место, где совершил свой подвиг советский солдат Трифон Лукьянович, умерший потом от раны в нашем госпитале. Но параллельно с книжным изданием эти дневники по главам печатал к 30-летию

окончания войны популярный немецкий журнал «Фрайе Вельт», и вот, когда была напечатана эта глава, пошли от читателей письма: благородный советский солдат спас немецкую девочку не на Эйзенштрассе, а на Эльзенштрассе. А немецкие школьники-следопыты, опросив население, выяснили точно и место происшествия, хотя улица эта неузнаваемо изменилась и стала проспектом. Это место оказалось в Трептов-районе, всего в каких-нибудь полутора километрах от знаменитого мемориала Воину-победителю, которым скульптор Евгений Вучетич увенчал подвиг Советской Армии и советского солдата. Теперь на этом месте по решению бургомистрата Берлина поставлена стела, посвященная подвигу Трифона Андреевича Лукьяновича, а сейчас вот известный белорусский скульптор Заир Азгур работает над памятной доской, которую он мечтает поместить у ворот Минского радиозавода, где до войны работал этот славный воин.

Мне же из письма ответственного секретаря Общества германо-советской дружбы приятно было узнать, что в день открытия этой стелы перед толпой народа известный немецкий артист прочел мой очерк, который теперь, больше трех десятилетий спустя, пришлось переименовать в «Передовую на Эльзенштрассе».

«ФЮРЕРБУНКЕР»

Под утро нас разбудил телефонный звонок подполковника Дорохина.

— Друзья мои, вы любите употреблять применительно к своей работе слово «прокол». Так вот, вы накануне огромного прокола. Это, конечно, не мое дело. Я должен информировать вас о действиях нашего фронта. Но не могу не сообщить вам, что сосед справа, Первый Белорусский, берет рейхстаг и атакует рейхсканцелярию, ну а теперь досматривайте свои сны.

Рейхстаг. Как много связано с этим словом у всех людей мира. Ведь именно это здание сжег когда-то Герман Геринг, а зарево этого пожара было сигналом для травли коммунистов и социалистов. Рейхстаг... Лейпцигский процесс... Провокатор Ван дер Люббе... Поединок Георгия Димитрова с Герингом... Димитров, из обвиняемого становящийся прокурором... Все это для моего поколения, носившего в молодые годы юнгштурмовки и

певшего песни Эрнста Буша,— незабываемые страницы биографии. И вот этот рейхстаг, цитадель нацизма, в наших руках.

Разгранлиния между фронтами служит разгранлинией и в нашей корреспондентской деятельности. Нам, может быть, даже несколько неэтично нарушать ее и вторгаться в зону деятельности наших коллег с Первого Белорусского фронта. Тем более, что там действуют такие асы военного журнализма, как Борис Горбатов, Мартын Мержанов, Иван Золин, Всеволод Вишневский. Но можем ли мы утерпеть? Хотя бы просто не взглянуть на это событие? Да, конечно же, не можем. Петрович без обычной своей раскачки просто слетает со своего топчана и через несколько минут подводит свою машину к домику пастора. Размещаются в ней Сергей Крушинский, Сергей Борзенко и я.

Хотел поехать с нами и Александр Шабанов, вскочил, умылся, побрился, подошел к машине, постоял и, махнув рукой, пошел досыпать. С некоторых пор он нашу машину побаивается. Мощный восьмицилиндровый мотор ее легко набирает огромную скорость, причем ее почти не ощущаешь, а у Шабанова странная болезнь — боязнь скорости. Он ездит только медленно, «шепотом», как говорит шофер, а по отделам штаба и политуправлению предпочитает ходить «пешим строем». Однажды он сел в «бьюик». Петрович, зная о его болезни, набрал скорость осторожно, постепенно, и Шабанов не заметил, как стрелка спидометра добралась до цифры «сто». И только когда мы были у цели, он взглянул через спинку водителя и увидел эти «сто».

— Что? — воскликнул он.— Это в милях? — прошептал он побледневшими губами и чуть не потерял сознание.

Так вот, ехали мы вчетвером. На исходе была чудная майская ночь. Лунища на небе сияла вовсю, серебря космы лохматых туманов, тянувшихся по ложбинам, и ровная гладь шоссе мерцала в матовых отсветах. Вовсю, соревнуясь между собой, свистели соловьи.

Через час пути на горизонте заалело два зарева — на востоке от восходящего солнца и на северо-западе от пожаров. Это горел Берлин. Окруженный, разъятый на части, насыщенный нашими войсками, он продолжал сопротивляться, и каждая из его долек, отделенных уже друг от друга, продолжала яростно сражаться.

Заговорили об этом сопротивлении разбитых, разрозненных частей, которое было тем более удивительно, что война-то была уже явно проиграна и никаких надежд хотя бы на малую, частную победу у противника уже не было. Однако фашистские солдаты и офицеры сдаются в плен, лишь когда уже нет другого выхода. Дерутся стойко, без приказа не отходят. Откуда у них эта стойкость? Что заставляет их так яростно сражаться?

— Страх,— предположил Крушинский.

— Боязнь ответственности,— сказал Борзенко.

А я подумал, фанатизм. Но, обдумав все трезво, пришел к выводу, что именно Борзенко прав больше, чем мы оба. Есть, конечно, и страх. У эсэсовцев, у подростков из гитлерюгенда, которые идут на автоматы с фаустпатронами в дрожащих руках, есть и фанатизм. Но, вероятнее всего, действует дисциплина. Получив приказ, немецкий солдат выполняет его, как бы он к нему, этому приказу, ни относился. Это у него в крови, это от дедов, от предков, это и в злых и добрых делах.

Все мы побывали уже в Берлине по нескольку раз, но впервые въезжали в этот город с востока. С той части, которая была за разгранлинией нашего фронта. Приходилось поминутно останавливаться, сверять улицы с планом, спрашивать дорогу.

Так постепенно и добрались мы через хаос разрушенных улиц и проспектов, где кирпичи и глыбы бетона валялись вперемешку со срубленными деревьями, до огромной площади, на которой в сутолоке танков, самоходок, военных грузовиков, невдалеке от изувеченных снарядами каких-то триумфальных ворот, увенчанных бронзовой квадригой, поднималось массивное здание, знакомое нам всем по газетным снимкам тридцатых годов. Рейхстаг. Тяжелая, помпезная громада. Над решетчатым куполом ее действительно реял маленький красный флаг, трепетавший под свежим утренним ветром. Снизу он казался игрушечным.

Поднявшееся солнце четко высвечивало здание. Оно прорисовывалось с какой-то стереоскопической ясностью на буром фоне пылающих пожаров, а невдалеке от него находилось святилище нацизма, построенное в античном стиле по плану гитлеровского лейб-архитектора Альберта Шпеера, бывшего одним из первых лиц гитлеровской династии, «национал-социалистский Парфенон», как, с легкой руки доктора Йозефа Геббельса, именовала

нацистская пресса рейхсканцелярию. Но если Гитлер, любивший, когда его сравнивали с Наполеоном, по меткому выражению, походил на Наполеона не больше, чем котенок на льва, то рейхсканцелярия походила на Парфеон не больше, чем какой-нибудь процветающий туристский отель. Не по размерам, нет. Размер рейхсканцелярии был огромный. Не по количеству колонн. Их тоже было понатыкано достаточно. А по какой-то скупой бюргерской утилитарности, свидетельствующей о сочетании баснословных материальных возможностей с полной нищетой мысли.

Недалеко звучит канонада. Но здесь бои уже отгремели. Наши солдаты бродят по разрушенным залам рейхсканцелярии. Роскошная хрустальная люстра лежит на полу. Золоченые знаки нацистской геральдики превратились в куски искрошенного гипса. Солдаты вертят огромный глобус, стараясь отыскать на нем Берлин. Знаем, что у этого глобуса Гитлер любил позировать фотографам. Этот глобус был украшением его кабинета. По комнатам с отчаянным визгом бегает лохматый пес, которому шутник повесил на шею рыцарский железный крест, и пес, постанывая от тоски, пытается освободиться от этой награды.

Из кабинета Гитлера ступени широкой террасы ведут в сад. Разбитое полукружье фонтана, скамейки перед ним. Толпа солдат окружает прямоугольную яму пустого бассейна. В это ложе собраны тела защитников рейхсканцелярии, погибших в ее стенах. Солдаты уверяют, что среди тел этих якобы и Адольф Гитлер. Всматриваемся. Действительно, что-то похожее. Бледное лицо, челка, свернутая набок. Усики. Да, есть какое-то отдаленное сходство. Но у этого лжегитлера поношенный штатский пиджачок, а на ногах заштопанные носки.

— Где его подобрали?

— Да где-то тут, на площади. Вот принесли для опознания,— отвечает нам сразу несколько голосов.

В глубине выломанного артиллерией сада большой куб из бетона с массивной стальной дверью. Он как бы замаскирован яркой и нежной весенней зеленью. Это вход в подземный бункер, где провел свои последние дни Гитлер, где он в конце своей жизни, как говорят, женился, где покончил с собой, не то отравившись, не то застрелившись, а может быть, то и другое.

Мы втроем идем к этой двери «фюрербункера», как

называют это подземное убежище. Часовой останавливает нас, вызывает высокого худощавого майора. Тот тщательно проверяет наши документы, сверяет приклеенные к ним фотографии с оригиналами. Лицо его сурово и непреклонно. Никого в бункер не пускать — таков приказ члена Военного совета генерала Телегина.

Но тут выступает вперед Сергей Борзенко. Его правдистское удостоверение вместе со Звездой Героя, украшающей его застиранную гимнастерку, и на этот раз производит неотразимое впечатление. Вероятно, только поэтому нас, журналистов, приехавших с другого фронта, даже в нарушение приказа члена Военного совета впускают в это последнее прибежище гитлеровских бонз.

Майор даже сам вызывается быть нашим провожатым.

Подземелье многоэтажное. Лестница ведет вниз. Это похоже на огромные бетонные соты, вкопанные в землю. Электричества нет. Вентиляция не работает. Тяжкая, промозглая духота. Под ногами хрустят какие-то осколки. Майор освещает дорогу карманным фонарем. Вот луч высвечивает на стене лестничной клетки нишу, из которой выступает молчаливый часовой. Вот массивная дверь с резиновыми прокладками и винтами. Еще один спуск. Еще один этаж. Входим в коридор. Бутылочных осколков под ногами все больше, а воздух все гуще, все тяжелее.

Луч фонаря обегает небольшой зал. Массивный стол, покрытый зеленым сукном, по стенам стулья.

— Это комната совещаний,— говорит майор.— Здесь по утрам Гитлер проводил то, что он называл военной ориентацией.

На бетонных стенах картины в массивных золотых рамах. Желтоватое пятно фонаря сползает к сукну стола. С одного края оно залито какой-то темной жидкостью. Ноги наталкиваются на бутылки, которые раскатываются в разные стороны, шумом своим вызывая эхо в коридоре. Прошу осветить картины. Хорошие полотна — горные пейзажи, исполненные в манере старой мюнхенской школы. Картины на стенах этого помещения кажутся благородными пленниками на пиратском судне.

— Здесь один генерал застрелился,— рассказывает майор.— Тут взяли троих офицеров живыми. Были пьяным-пьяны. «Папа-мама» не выговаривали. Один даже пытался петь и лез целоваться к конвоиру.

В соседней комнате сияла яркая ацетиленовая лампа. Два майора и девушка-лейтенант с тонким, умным личиком рылись в каких-то документах.

— Тут у них что-то вроде временного архива было. Пытались его сжечь, но, видите, почти все уцелело,— говорит наш провожатый и рекомендует нас.

Офицеры разгибают спины, потягиваются. Девушка-лейтенант усмехается:

— Опаздываете, товарищи журналисты, опаздываете. Двое из «Правды» здесь еще вчера побывали. Мартын Мержанов и Борис Горбатов.— И добавляет не без яда: — Древние римляне говорили: опоздавшим — кости.

Ужасно вредная девица. И Борзенко парирует остроту:

— А мы сюда, товарищ лейтенант, не обедать пришли. Все кости вам останутся.

Крушинский, который очень ревнив ко всяческим «фитилям» и опять же «обскокам», наоборот, шумно выражает зависть к опередившим нас коллегам.

Движемся дальше. Свернув к одной из дверей, стукаюсь лбом обо что-то металлическое. Луч фонарика с опозданием упирается в алюминиевого нацистского орла. Бедняга висит на одном гвозде боком, загораживая полированную дверь.

— Личные апартаменты фюрера,— поясняет майор.— Тут они и покончили с собой. Он, его жена. А любимую собаку отравили.

Минуем комнату дежурных охраны: диван, столик, телефоны. В открытом шкафу черные фуражки и плащи из зеленой кожи с эсэсовскими «молниями» на петлицах. Следующая за этой комната просторней. Потолки в ней повыше, на стене картины все той же мюнхенской школы. Старинные. Выбранные со вкусом. Что-то вроде туалетного столика, тоже старинной работы, а над ним овальный портрет Фридриха II. И карта Берлина, вся в дырочках от флажков.

Здесь темно, и фонарь нашего провожатого по очереди высвечивает все эти подробности. В заключение лучик его останавливается на двух невысоких креслах. На обивке следы собачьей шерсти. Затем мы видим продолговатый диван, по сиденью которого расплывается темное пятно.

— Кровь?

— Да, кровь,— отвечает майор.

— Но ведь он же отравился.

— Да, есть такая версия. Отравился, перед этим отправив на тот свет свою молодую жену, любимую собаку и ее щенка. Так утверждают многие из тех, кого мы захватили в бункере. Но это пока тоже только версия, прошу вас не записывать и, конечно, не доводить до своих читателей.

— А кровь?

— Есть сведения, что адъютант в него, уже мертвого, пустил пулю. Ну, как же, всемогущий фюрер — и вдруг отравился, как крыса. Ну и влепил в него, а револьвер бросил рядом. Он, револьвер, вот здесь и валялся.

Входим в следующую, на этот раз уже большую комнату. Это комната семьи Геббельса, обжитая, даже в какой-то мере уютная. Письменный стол, две кровати, а у стены аккуратненькие нары в два этажа. Отвратительная смесь двух запахов: горелой шерсти и резких французских духов.

— Вот ведь семейка была,— говорит майор. — Магда Геббельс отравила всех своих пятерых дочек, а потом отравилась сама вместе с мужем. Ведь это же поднялась рука таких крох отравить! Вот они все тут.

Майор взял со стола семейную фотографию. Красивая, крупная, белокурая женщина сидит рядом с маленьким обезьяноподобным уродцем, у которого глаза занимают чуть ли не половину лица, а огромный затылок как бы оттягивает назад голову. А кругом пять девочек. Все они, как мать, блондинки, с правильными чертами лица. Ни одной в отца.

— Где же их трупы?

— Детей закопали в саду. Геббельса и Магду по завещанию должны были сжечь, но бензина не хватило, трупы лишь обожгло, но они не сгорели. Сейчас их увезли для опознания в тюрьму Плетцензее. Представитель «Правды» Мартын Мержанов туда вчера поехал. Может быть, он и сейчас там.

— А Гитлер с новобрачной?

— Разыскиваем. Сдалось несколько человек из его ближайшего окружения. В разных комнатах записывают их показания. Пока при сопоставлении их рассказов вырисовывается такая картина. Гитлер и Ева сначала отравили свою собаку и ее щенка, предположительно, для того, чтобы испытать на них действие яда. Потом отравилась Ева и наконец он сам. В этом показания сходятся. Так,

по-видимому, и было. Дальше начинаются расхождения. Все говорят, что тела их были завернуты в ковер и вынесены в сад, чтобы быть преданными огню. Есть лица, которые видели, как их поливали бензином и как они вспыхнули. Часовой даже утверждает, что он вынужден был отойти подальше из-за тошнотворного запаха горелого мяса. Но потом версии разнятся. Начался обстрел. Все сошли в бункер, а когда вышли, останков не было. Есть такие предположения. Их раскидало взрывом снаряда, это раз. Они действительно сгорели, это два. Выброшенная взрывом земля закопала их, это три. Впрочем, то, что они успели совсем сгореть, почти невероятно... Пойдемте, я вам покажу еще одну комнату. Мартина Бормана. Слышали о таком деятеле?

— Заместитель Гитлера по национал-социалистской партии?

— Да, его правая рука. Страшный, между прочим, тип. Говорят, его боялся даже сам Железный Генрих, как называли Гиммлера. Словом, про него, как про отца бабелевского Бени Крика, можно сказать: среди биндюжников он слыл хулиганом.

Комната раза в четыре меньше, чем жилье Геббельса. На стене оленьи рога. На рогах охотничьи ружья. Зачем? Почему? На узкой койке охотничий костюм. Тирольский, зеленый, с петлицами в виде дубовых листьев и пуговицами из оленьего рога. Тут же шляпа с тетеревиным перышком. Похоже, что все это было брошено после торопливой примерки.

— А где же Борман?

— Исчез.

— Куда же исчез? Нам все время говорят, что тут все было окружено плотным кольцом войск.

— Ну, знаете, что значит в берлинских условиях выражение «плотное». В Берлине многокилометровые подземные коммуникации, метро. Имеются отличные бомбоубежища. И всюду литой бетон. Словом, пока что скажу одно — его не нашли. Можно только предполагать, что этот костюм он примерял перед бегством, хотел скрыться, но вовремя спохватился — охотник на улицах Берлина сейчас выглядел бы белой вороной.— Майор посмотрел на часы.— Еще вопросы, товарищи, у вас есть, а то я...

— Есть вопрос. Что из того, что вы нам сообщили, можно написать в наши газеты?

— Ничего. Пока это только предположения, версии, игра следовательских умов. И иностранным своим коллегам, если вы их встречаете, ничего не рассказывайте. До полного расследования.

— Значит, мы вытащили пустой номер?

— А я вам ничего и не обещал для ваших газет. Мержанов с Горбатовым приняли это условие и обещали пока ничего не писать. Ну, если больше вопросов у вас нет, тогда...

Прощаемся с майором со сложной, незапоминающейся фамилией и, почти рысцой взбежав по лестнице, вырываемся на волю. Весеннее солнце ослепляет нас уже на пороге. Боже, как хорошо! Ветерок, запах земли, травы. Глаза не глядят ни на развалины рейхсканцелярии, ни на тела, уложенные на кафеле бассейна, ни на лжегитлера в штопаных носках. Хочется подставить лицо солнцу, закрыть глаза и дышать. Даже этот развороченный снарядами сад после подземелья, где догорел нацизм, кажется нам райским садом. Из центра города доносится канонада. Там еще идет борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, а тут в нежной, желтой весенней листве чирикают какие-то птички, которым нет никакого дела до больших и малых человеческих трагедий.

Нет, что там ни происходи, все-таки здорово жить на белом свете.

СОВЕТСКАЯ ДУША

За четыре года скитаний по фронтовым дорогам завелось у меня в армии много друзей, и есть среди них один, с которым меня связывают особенно острые и потому особенно дорогие воспоминания. Это генерал Александр Родимцев, в дивизии которого я провел самые тяжелые дни Сталинградской обороны.

Говорят, самые крепкие воспоминания оставляет пережитая опасность. Но в те дни, что я провел в знаменитой 13-й гвардейской дивизии, которой командовал Родимцев, тогда еще совсем молодой полковник, непосредственно мне опасность не угрожала и ничего особенно страшного переживать не пришлось, хотя фронт обороны в этой дивизии местами был меньше километра в глубину.

Так вот, на участке этой дивизии был дом, крепкий купеческий каменный особняк. Стоял он от уличного порядка в глубине, и, когда ценой больших потерь неприятелю удалось захватить улицу, в доме этом осталось два солдата, минчанин Михаил Начинкин и цыган из Молдавии Юрко Таракуль. Были они из пулеметного взвода, но взвод отступил, а они остались. Осталось с ними немало оружия: два пулемета, боеприпасы. И вот эти двое, из которых один был потом ранен, в течение нескольких дней из подвала этого дома вели круговую оборону, отбивая новые и новые атаки. Укрепленный дом этот был потом, так сказать, деблокирован перешедшим в контрнаступление батальоном. И, когда он снова очутился на нашей стороне фронта, комиссар батальона написал на стене этого дома мелом: «Здесь стояли насмерть бойцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть».

Такие надписи можно было сделать, пожалуй, на любой развалине, расположенной на тех пяти километрах сталинградской земли, которые обороняли бойцы 13-й гвардейской. В том числе и на командном пункте Родимцева, помещавшемся в гранитном водоводе под железнодорожной насыпью,— весьма неуютном месте, куда ветер порой доносил немецкую речь с близлежащих передовых позиций. И вот теперь, когда над рейхстагом взвилось красное знамя, генерал-лейтенант Родимцев привел свой стрелковый корпус сюда, на Эльбу. Подразделения этого корпуса теперь, как я узнал, готовятся к штурму Дрездена.

Знаем, конечно, что Дрезден — один из красивейших городов Германии, что в туристских буклетах называют его Северной Флоренцией, что в этом городе единственная в своем роде художественная коллекция — Дрезденская галерея. Известно и то, что в марте без особой военной надобности авиация союзников совершала на этот город два гигантских «ковровых» налета, в которых участвовало по тысяче и больше самолетов, и превратила столицу Саксонии в большую каменную руину. Очень хотелось мне туда, к Дрездену. И не для того, чтобы полюбоваться на жилища саксонских курфюрстов и на их знаменитую галерею, от которой, говорят, остались после налетов рожки да ножки, а чтобы пожать руку старому другу, которого я не встречал со сталинградских времен.

Весна буйствует над автострадой Берлин — Дрезден. Вопрос о Берлине, в сущности, уже решен. Конев поворачивает свои армии на юг, очевидно, целя на Дрезден, на Чехословакию, где еще остается последняя не разбитая очень крупная немецкая группировка «Центр». Ею командует Шернер, опытный, решительный военачальник, получивший от Гитлера совсем недавно фельдмаршальское звание. Как раз вчера разговаривал я на эту тему с Иваном Ефимовичем Петровым. Он показывал карту: дивизии Шернера занимают часть Саксонии, Австрии, почти всю Чехословакию.

— Нам кажется, у этого Шернера хитрая задумка,— говорил генерал Петров, то снимая, то вновь надевая свое пенсне.— И силы у него есть, как-никак двенадцать дивизий с приданными им частями. Трудно предположить, что такой военный, как Шернер, не понимает, что война проиграна. Он не так наивен, чтобы на что-то надеяться. Наверняка мечтает двинуть свою мощную группу на запад и сдаться американцам. Части у него боеспособны. Тут все может быть. А может ввалиться в Прагу, засесть там, занять оборону, и придется в уличных боях волей-неволей разрушить этот город, который совсем не пострадал.

— А что мы собираемся предпринять?

Начальник штаба водрузил свое пенсне на нос и строго взглянул на меня.

— Вы интеллигентный человек, вам непростительно ставить меня в неловкое положение такими вопросами, батенька мой, и, кроме того, вы неправильно адресуетесь... Сие решает командующий. Могу только сказать, что им задумана смелая и интереснейшая операция.

Генерала Родимцева я нашел в заречном пригороде Дрездена, который был накануне освобожден частями его корпуса. Дом, скрытый среди других аристократических особняков, стоял высоко над Эльбой, затененный молодой, еще желтоватой листвой мощных буков. В штабе его, как всегда, строжайший порядок. Сам же генерал, когда я появился в дверях его кабинета, отчитывал какого-то инженер-майора, не сумевшего за ночь навести переправу. Три года мало изменили этого живого, подвижного человека. Все та же русая челка набегает на лоб, светлые глаза смотрят весело, озорно, в уголках крупных губ ироническая улыбка.

— Ба, кто пришел-то! — воскликнул он, вставая.— Вы свободны, но чтобы приказ был выполнен, слышите? — это незадачливому майору.— Точно с неба свалился,— это мне. И мы обнялись по-братски, потому что те, кто воевал в Сталинграде, кто помнит сталинградские дни и ночи и пережил их, тот как бы приобщился к особому военному братству.

И, как всегда в таких случаях, заговорили, перебивая друг друга: а знаешь?.. а помнишь?.. а этот-то!.. а тот-то!.. У Александра Родимцева были горячие дни. Центр Дрездена, отделенный широкой в этих местах Эльбой, все еще находился в руках противника. Мосты взорваны. Подходы к переправам простреливались с той, нагорной части. Сохранился только один железнодорожный мост. Поминутно приходили с докладами командиры частей, офицеры связи приносили донесения. Генерал работал, именно работал. И работал спокойно, деловито, как когда-то в своей водосточной трубе в Сталинграде совсем рядом с позициями противника. И все же между двумя донесениями или приказами он ухитрялся бросить дружескую реплику, сказать несколько слов.

Потом мы сидели с ним за роскошно накрытым столом. Топорщилась по углам накрахмаленная скатерть. Голубовато отсвечивала грань хрустальных бокалов. В большое открытое окно просто-таки совал свои ветви какой-то куст, осыпанный ярко-желтыми цветами. А мне вспомнился другой, дорогой и милый моему сердцу стол, сколоченный из неотесанного байдака, там, в каменной водосточной трубе, вспоминались кружки, сделанные из консервных банок, наполненные спиртом, который разбавлялся снегом. Вспоминались скромные, весьма скромные ужины, которые подавались на этот грубый стол. Мы, корреспонденты, знали, что в дивизии Родимцева можно добыть сколько угодно интереснейшего материала, а вот вкусно пообедать нельзя. Обед комдиву приносили с солдатской кухни. А тут накрахмаленная скатерть, стол, сервированный фарфором и хрусталем.

— Мура это,— сказал Родимцев, отодвигая в сторону сервировочную роскошь, которую, по-видимому, и поставили-то на стол ради гостя. Достал две чайные чашки, налил водки.— Вот так-то лучше. Давай выпьем за старую дружбу.

Сидел за этим столом с человеком удивительной и в то же время очень типичной для советского военачаль-

ника судьбы. Совсем молодым деревенским пареньком пришел Александр Родимцев в Красную Армию. За сметливость, бравый вид был определен в знаменитую школу имени ВЦИКа. Стал кремлевским курсантом. Кончил школу, получил командирское звание, ну а потом, когда фашизм поднял голову в Испании, пошел добровольцем в республиканскую армию. У него получилось совсем по Михаилу Светлову: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Там среди республиканских бойцов он, командир пулеметной роты, стал называться сначала сеньор официале, потом дон Пабло, потом Пабло, потом Павлито. Бесстрашный Павлито. Так его называли испанцы. Командовал. Обучал бойцов искусству пулеметного боя. Участвовал, и всегда счастливо, в отражении самых лихих атак. И вот в Сталинграде он уже командир легендарной теперь дивизии, показавшей миру русское умение «стоять насмерть».

Вот там в ночь под новый, 1943 год в гранитной его трубе, мы поднимали кружки со спиртом за победу, которая в те дни была еще очень далека. Пили за красный флаг над Берлином.

Провозгласив этот тост, мы не очень стройными голосами запели песенку «Давай закурим», особенно любимую защитниками Сталинграда. Эта песенка, немудрящая, но сердечная нет-нет да и сейчас приходит на память, хотя от Нижней Волги до среднего течения Эльбы, от Сталинграда до Дрездена пройдены уже добрые три тысячи километров и хотя на этом боевом пути было сложено, спето и забыто много песен.

...Дует теплый ветер, замело дороги,
А на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

И вот мы вспоминаем эти дни, хотя Волга сейчас бесконечно далеко, хотя солнце вовсю сияет над Эльбой и ветер, дующий с реки, шевелит тяжелые портьеры. Друг-песня, простенькая солдатская песня, сидит с нами за этим роскошно сервированным столом, на котором в ходу лишь две простые чашки.

Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой.

У комкора большие заботы. Командующий армией генерал-полковник А. С. Жадов послал через Эльбу в город парламентеров. Предложена безоговорочная капитуляция. Вернувшись, парламентеры рассказали: город страшно побит, но все еще красив. А вот бургомистр, принявший парламентеров, не дал еще ответа. Ведь знает, что Гитлер и Геббельс отравились. Знает и тянет волынку. Он, видите ли, должен соединиться с Берлином, получить указания от правительства. А где оно, германское правительство? Кто ему будет давать эти указания? Гитлер, что ли, из своей неизвестной могилы?

— Огневых средств достаточно?

— Этого сейчас хватает, но ох как не хочется бить по этому городу. Красавец город.

Выходим на балкон. Отсюда сверху видим лишь нагорную часть города, остовы дворцов, соборов и еще обугленные деревья. Все завалено. На улицах ни души, никакого движения. Какое-то спящее царство из старой русской сказки. Над зеленью поймы, зыбясь, поднимается вверх студенистое марево. Весна, великолепная весна, а там в городе все мертво.

На столе у Родимцева план центра города, который по приказу командарма Жадова надлежит брать его корпусу. А рядом с этим планом лежит отличный альбом. Альбом видов города. В свободные мгновения, которые все же выпадают у комкора, Александр Ильич заглядывает в этот альбом.

— Никак не пойму союзников, что это, глупость или подлость? За каким лешим вот теперь, когда до конца войны остались считанные дни, так вот разбомбить, разрушить, сжечь город, и какой город?! Судя по снимкам, он даже красивее Мадрида, а главное, зачем они исторический центр бомбили, черт их побери. Военные заводы — вот они, слева. Целехоньки. Только что не дымят. Гитлеровцам отомстить за их зверства? Так они, гитлеровцы, вот в этом загородном аристократическом районе. Тут все цело, ни одного разбитого стекла, все цветет. Нет, прямо по центру, по дворцам, по театрам, по музеям, по старинным соборам ахнули. Не понимаю, ничего не понимаю.— И, снизив голос, говорит: — Вот мне этот город штурмовать, а я его жалею.

Командарм Жадов, комкор Родимцев — оба герои Сталинграда, города, который был весь превращен в огромные руины. Это люди, прошедшие через сотни разру-

шенных и сожженных наших городов и сел. И вот тут, на чужой реке Эльбе, сокрушаются о страшной судьбе разбитого Дрездена и озабочены тем, как сохранить его от дальнейших разрушений.

Мы уже простились. Я спешу в штаб фронта. И, пожимая на прощание руку, Родимцев опять сказал:

— Интересно, а уцелело ли что-нибудь от Дрезденской галереи? Ночью просматривал альбомы. В этом доме их полно. Какие там есть вещи! В Мадриде когда-то франкисты несколько снарядов в музей Прадо влепили... Так вместе с испанцами и мы переживали. А тут... Неужели все это там, под развалинами?

Вот она, истинно русская, я бы сказал, советская, да, именно советская, душа.

ОСИП-ИОСИФ-ДЖОЗЕФ-ДЖО

Ночью позвонил адъютант начальника штаба. Попросил меня немедленно прибыть.

Чудесная майская ночь стоит над Германией. Она ясна, прохладна, густо насыщена горьковатым запахом черемухи, а звезды такие ясные, что хоть на карту их наноси. Сквозь ветви деревьев, как куски сахара, белеют постройки старинного замка. Тарахтит движок походной электростанции, и петухи ведут свою предутреннюю перекличку, напоминая о русском утре, о русских деревнях.

Доводилось мне видеть генерала Петрова и в штабе, и на наблюдательном пункте, и на концерте, который давали для штаба заезжие артисты. Всюду он был одинаков: китель застегнут на все пуговицы, крахмальный подворотничок жестко подпирает подбородок, аккуратно подстриженные усики и круглое адвокатское пенсне, которое при разговоре он иногда снимает и начинает протирать. Вот и теперь, поблескивая стеклами пенсне, он сидит за рабочим столом, покрытым картой, как скатертью, подтянутый, собранный, как будто позади не было беспокойного штабного рабочего дня.

— У меня для вас новость, батенька мой,— говорит он.— Мы вас сегодня передаем из ведения военного ведомства в Наркомат иностранных дел... Не надолго, не надолго.— Глаза его откровенно посмеивались за своей стеклянной защитой. — Не понимаете? Поясню. Предстоит

встреча нашего командования с командующим американских войск в Европе генералом Омером Брэдли. Он приезжает к нам с дружеским визитом. С ним приедет целая свита корреспондентов союзных стран. Вас, Борис Николаевич, мы назначаем дуайеном нашего корреспондентского корпуса.

— Дуайеном? Что такое дуайен? — спросил я, ибо до сих пор как-то не приходилось вдумываться в значение этого в общем-то знакомого слова.

— Э, батенька мой Борис Николаевич, нехорошо. Уж кому-кому, а вам, братьям-писателям, следует знать русский язык. Впрочем, «дуайен» слово французское, а по-русски оно переводится как «старшина», вернее, «старейшина». Так вот, на встрече вас представят генералу Брэдли как дуайена. В списке его свиты значится такой дуайен. Ну, а вот вы будете нашим.

— Иван Ефимович, вы же знаете, я по-английски ни бум-бум.

— Для этого мы к вам снова прикомандируем очаровательного лейтенанта, известную вам Лолу. Возражаете? Нет? Это уже хороший признак.— Он взглянул на стоявшие на столе часы, по-видимому, сувенир с какого-то сбитого неприятельского самолета, на которых стрелки светились, а секундная пульсирующим шагом бегала по кругу.— Если вопросов нет, то не кажется ли вам, сэр, что нам обоим пора немножко поспать?.. Да, кстати, господин дуайен, как пишется в дипломатических приглашениях: форма одежды парадная, ордена.

Так я неожиданно стал дуайеном. Дуайеном корреспондентского корпуса... на один день. Коллеги встретили это мое назначение, как и водится, великим трепом. Саша Шабанов даже продекламировал по этому поводу что-то весьма язвительное из Беранже. Однако все деятельным образом помогали мне собрать у штабных офицеров комплект соответствующих регалий, ибо мои, естественно, хранились в Москве в комоде жены. Но на кого многозначительное звание «дуайен» произвело впечатление, так это на Петровича. Он, как говорится, до того преисполнился, что по собственной инициативе вычистил бензином мою форму, проутюжил, подшил к кителю целлулоидный подворотничок, отвратительно душивший шею, а пуговицы и собранные по знакомым регалии под его мастерской рукой засверкали так, что к моменту отъезда я превратился из нормального военного коррес-

пондента в манекен витрины столичного магазина военторга, и капитан Устинов увековечил меня в таком торжественном виде.

Оставив инициативу экипировки дуайена в руках друзей, я тем временем знакомился с боевыми действиями 12-й армейской группы американских войск, возглавляемой Брэдли, и с его военной биографией. Судя по документам, генерал этот в отличие от многих военачальников союзных войск был настоящим солдатом, участником многих больших сражений и битв. При встрече все это подтвердилось. Американских солдат мы видели уже на Эльбе, славные, боевые ребята. Они запоздали включиться в эту нечеловечески трудную войну и потому воспринимали ее несколько легкомысленно, но в дружелюбии, сердечности им отказать было нельзя. Когда же к крыльцу роскошного особняка, который для этой встречи был наскоро превращен в штаб-квартиру маршала Конева, подкатил запыленный «виллис», пискнув тормозами, застыл у парадного крыльца и из него выскочил, именно не вылез и не вышел, а выскочил высокий пожилой человек, прикомандированный ко мне лейтенант по имени Лола даже удивилась, что у известнейшего генерала союзников... такой пожилой телохранитель.

В самом деле, Омер Брэдли был одет в солдатскую форму. Только три белые звездочки на каске, надетой чуть набекрень, говорили о его высоком воинском звании. Да, несомненно, это был не штабной полководец, а генерал-солдат, и, вероятно, именно это помогло ему сразу же найти общий язык с нашим командующим, который тоже слыл в наших войсках как маршал-солдат. Впрочем, сегодня мы командующего просто не узнавали. С дней сражений в моих тверских, верхневолжских лесах, с которых я его помню, он всегда служил примером суровой солдатской неприхотливости. Его штаб-квартиры обычно располагались в крестьянских избах, ничем не отличавшихся среди других в порядке сельской улицы. И обстановка обычно оставалась хозяйская: лавки, табуреты, фотографии на стенах, иконы в углу. Только обеденный стол заменялся раскладным, походным, а где-то в светелке ставилась узкая госпитальная койка с жестким одеялом. Даже здесь, в Саксонии, где штаб располагался на территории старинного баронского замка, командующий остановился в домике садовника. А тут роскошные палаты, анфилада

комнат, старинная мебель, ковры, гобелены, и он выглядел в этой обстановке так, как будто в ней и родился.

Гость прибыл со свитой празднично одетых генералов и офицеров. Целый сонм корреспондентов высыпал из армейских автобусов: репортеры, фотографы, кинооператоры, радиокомментаторы. Со свойственной нашей профессии бесцеремонностью они мгновенно заполнили гостиные и с ходу принялись снимать, писать, зарисовывать. Жужжали киноаппараты, ослепительно вспыхивали блицы фотокамер. Мы, признаюсь, с интересом разглядывали своих заокеанских и европейских коллег, наблюдали за их кипучей деятельностью, восхищались их бесцеремонной активностью и тем, как они уверенно действуют в незнакомой обстановке.

Командующие обменялись рукопожатием.

— Нет-нет, мы не успели снять,— решительно заявил высокий и худой, будто жердь, кинооператор.— Исторический снимок — рукопожатие союзников,— он должен хорошо выйти. Уан мор — еще раз. Теперь улыбнитесь — кип смайлинг... Благодарю. Уан мор — еще раз.

Маршал было нахмурился, но на лице его гостя была покорная улыбка. Для него это корреспондентское кипение было привычным, вероятно, даже льстило его самолюбию. Он попросил хозяина дома не очень обижаться — корреспонденты есть корреспонденты, а пресса есть пресса. Пред нею поднимет руки любой храбрец. И ведь действительно встреча в какой-то мере историческая. Конев улыбнулся и поднял руки.

— Нет-нет, поднимите руки еще раз. Исторический кадр: непобедимый советский военачальник сдается американским репортерам... Сэнкью... Данке шён... Мерси... Спасибо...

Меня сразу же представили дуайену журналистского корпуса 12-й американской армии. Мы церемонно рекомендовались, обменялись какими-то пустяковыми фразами о необычно теплой погоде, выразили удивление бесполезному упорству немецких войск в Берлине, слегка поспорили о возможной дате окончания войны, а потом как-то сразу перешли на разговор о положении военных журналистов в союзнических армиях. Я познакомил гостя со своими друзьями. Ребята были на высоте, и американский коллега подивился количеству на-

град, украшавших их кителя и гимнастерки. Особенно поразила его Золотая Звезда Сергея Борзенко.

— Высший знак военной доблести у военного корреспондента! Поразительно! — воскликнул и добавил: — Да, видать, у вас журналистам действительно можно работать. Вы офицеры, вы все можете видеть собственными глазами и во всем сами активно участвуете.

— А вы?

— У нас положение иное. Мы только корреспонденты своих газет и журналов... Нет, нет, особых претензий к командованию у нас нет. Образованные офицеры ежедневно информируют нас обо всем происходящем. Они настолько любезны, что дают нам письменные пресс-релизы, так что мы может даже не вынимать блокнотов. Но, увы, эти сведения уже пропущены сквозь мелкое штабное сито.— И он горько улыбнулся.— Дистиллированная вода. Вы знаете, господа, дистиллированная вода химически самая чистая, но пить ее противно и, если пить только ее, можно даже заболеть. За всю войну я единственный раз видел бой. Это было в день высадки в Нормандию, когда начиналась операция «Оверлод». И то, ручаюсь, что никто из нас не мог принять на себя командование десантом, как ваш герой,— он показал на Борзенко.— Нет, этого, к сожалению, не было и уже не будет.

Сначала разговор шел через переводчицу. Лола трудилась на совесть. Потом вдруг выяснилось, что дуайен союзников хорошо говорит по-русски.

— Да, это мой материнский язык,— подтвердил новый знакомый.— Моя мама была русская. Она была курсисткой Высших женских курсов в Москве и вместе с родителями эмигрировала в Америку после первой вашей революции. Свои первые слова все мы, ее дети, произносили по-русски.— А потом с неожиданным простодушием произнес: — Мое настоящее имя Осип. Зовите меня Осип.

Осип был высокий худой человек с рыжим чубом. Его лицо, шея и руки были, будто охрой обрызганы, осыпаны большими веснушками. По-русски он говорил действительно хорошо, даже изящно, как говорят старые интеллигенты.

— Я не ас репортажа. Я представляю небольшую газету.— И вдруг признался: — Это мой русский язык

сделал меня дуайеном... для этой встречи. Только для этой встречи.— И вдруг спросил: — Если можно, скажите, ваши войска пойдут на Прагу? Какая армия? Когда?

Я насторожился и невольно вопросительно посмотрел на Осипа.

— Ну, а как же ваше настоящее имя, сэр Осип?

— Меня зовут Джо. Осип — это Джо по-американски. Осип, Иосиф, Джозеф и Джо,— ответил он с простодушным видом. И тут же, спохватившись, добавил: — А что, я задал вам нетактичный вопрос?

— Нет, отчего же. Но ведь мы с вами репортеры. Мы пишем о том, что произошло, а не о том, что произойдет. У нас как-то не принято говорить о пожаре за несколько минут до его возникновения. А у вас?..

— Мне бы очень хотелось узнать, что произойдет в Чехословакии. Судьба Берлина ясна. Но Прага... Мои читатели очень интересуются Прагой.

Произносил он это, кажется, искренне, и мне хотелось ему помочь, но как? На всякий случай я сказал:

— Задайте свой вопрос маршалу Коневу.

— Вы думаете, что можно? Он мне ответит?

— Попробуйте. А потом, может, и мне расскажете, что произойдет, я этим тоже интересуюсь.

Между тем в соседней гостиной между двумя командующими происходила дружественная беседа. Брэдли как раз показывал Коневу карту размещения своих войск на линии смычки фронтов двух армий. Оба они, склонившись над ней, представляли действительно интересную группу — два союзнических полководца над картой. Со мной был фотоаппарат. Я попросил Осипа-Джо подержать футляр и сфотографировал их. У Осипа-Джо фотоаппарата не было. Оценив значение такого кадра, он мгновенно убежал, чтобы одолжить его у кого-то из своих коллег, позабыв даже вернуть мне футляр.

За обеденным столом мы сели рядом слева от стола генералитета. Из наших генералов были за столом члены Военного совета генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, генерал Н. Т. Кальченко, командующий 5-й гвардейской армией А. С. Жадов, командир стрелкового корпуса Г. В. Бакланов, части которых встречались с американцами в тот памятный день на Эльбе. Стол был обильный. Вдоволь было и икры, и белорыбицы, и водки. Но я заметил, что Осип-Джо не пьет и, не выпуская из рук

блокнота, делает в нем какие-то заметки. Ну что же, если он даже и не представитель скромной провинциальной газеты, как он рекомендовался, все же не худо будет, если он зафиксирует те сердечность и дружелюбие, которые царят за этим столом. А добросердечность была несомненная.

Вот короткие отрывки из тостов, которыми обменялись И. С. Конев и Омер Брэдли. То, что я успел записать на уголке бумажной салфетки.

Конев. ...Мы приходим к великой нашей победе через такие испытания в боях, каких не доводилось еще испытывать ни одной армии мира... Наша победа будет желанной победой. Народ наш заплатил за нее миллионами жизней, но наша Красная Армия выходит из этой нечеловечески трудной войны еще более могущественной, чем она была в ее начале... Большую роль в исторической победе антигитлеровской коалиции сыграл американский президент Франклин Делано Рузвельт, имя которого с уважением произносится в нашей стране. И за этим столом я хотел бы с особым уважением помянуть имя этого великого антифашиста, немало сделавшего для победы войск антигитлеровской коалиции, и выразить надежду, что его преемник продолжит дело Рузвельта и укрепит дружбу наших народов, рожденную боевым братством в дни войны.

Тост был закончен здравицей в честь американских союзников.

Брэдли. ...Для меня большая честь встретиться за этим столом со славным предводителем войск Первого Украинского фронта. Наш народ всегда с восхищением следил за боями и победами славной Красной Армии, и мои солдаты и офицеры стремились подражать боевому примеру, который подавали им войска Первого Украинского фронта... Сейчас, когда победа близка, можно лишь выразить сожаление по поводу внезапной и безвременной кончины президента Рузвельта, который столько сделал для достижения победы войск антигитлеровской коалиции... Ваш пример доблести и мужества — огромный вклад в нашу общую победу над армиями нацизма...

Тост был закончен здравицей в честь славной Красной Армии и ее Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Ну а потом гости перешли в большой зал, где должен был выступать красноармейский ансамбль Первого Украинского фронта. Киевская артистка Лидия Чернышова организовала его сразу же, как только была освобождена столица Украины. Сначала это был просто солдатский хор. За полтора года под ее руководством этот хор вырос в такой ансамбль, какой мог дать фору любому профессиональному коллективу. Нам доводилось его видеть то в одной, то в другой наступающей части. Иногда он как бы распочковывался, разбивался на маленькие группки из нескольких певцов и плясунов, которые выступали прямо на передовых во время редких боевых затиший. Но в целом мне его еще не доводилось слышать. И я был поражен. Боже ж мой, какое он произвел впечатление на союзников! На суровом лице Брэдли появилось просто-таки растроганное выражение. Когда пели «Реве тай стогне», несколько американцев, по-видимому, украинского происхождения, украдкой вытирали слезы. А когда певцы на английском языке грянули весьма популярную у нас солдатскую песенку «Нашел я чудный кабачок», и с гостями и с хозяевами произошло что-то непередаваемое. Те и другие вскочили и, вторя ансамблю, по-русски и по-английски подпевали певцам. Потом спели тоже известную у нас песню американских летчиков: «Мы летим, ковыляя во мгле, мы летим на одном крыле».

Ну а о танцах и говорить нечего: и русская пляска и украинский гопак вызвали такой гром аплодисментов, что лучшие военторговские официантки, отобранные из всех столовых фронта, позабыв свои обязанности, стояли в проходах, пораскрывав рты.

— Это великие артисты, да? Это из Москвы, да? Ну зачем вы скрываете, так могут танцевать только настоящие артисты,— с упреком говорил мне Осип-Джо.— Мне-то, Борис, вы можете сказать, что они прилетели из Москвы или Киева. Кто же поверит, что такой ансамбль можно создать на фронте из солдат?

Под конец этого вечера ко всему виденному и слышанному добавилась еще одна красочка. Подошла хорошенькая корреспондентка в форме солдата американской армии. Лолы рядом не оказалось. Мою напарницу, демонстрировавшую одновременно и ум и красоту советских женщин, взяли в плен американские штабисты. Но

Осип-Джо любезно перевел мне слова коллеги. Оказывается, корреспондентка эта привезла с собой номер своего журнала и хотела показать его нашему командующему. В номере этом на целую страницу был изображен дружеский шарж, созданный на основе известной васнецовской картины «Три богатыря». Богатыри, как им и полагается, сидели на своих мохнатых богатырских конях, но у них были сегодняшние, знакомые черты. В Илье Муромце, сидевшем в центре, легко было узнать маршала Г. К. Жукова, в Добрыне Никитиче — И. С. Конева, а в Алеше Поповиче — маршала К. К. Рокоссовского. В подписи значилось: русские богатыри.

— Как вы полагаете, ваш маршал не обидится, если я ему покажу этот шарж? Кто он был, этот...— и она с трудом выговорила: — Добрыня?

— Э-э-э... Ну как вам сказать... В русском эпосе это выдающийся военный... Среди своих собратьев он слыл джентльменом... Один из самых любимых богатырей...

— А я не покажусь слишком назойливой, если при этом попрошу маршала оставить на этом рисунке свой автограф?

— Полагаю, что нет...

— И еще,— тут собеседница замялась.— Могу я задать ему вопрос?

Тут Осип-Джо прервал перевод и сразу увел разговор в сторону, но я все-таки ухитрился понять, что очаровательная собеседница желала бы узнать, будем ли мы брать Прагу. Уже второй из гостей интересуется Прагой. Смятение Осипа-Джо тоже не могло ускользнуть от моего внимания. Должно быть, этот вопрос особенно занимает сейчас американцев.

Мы уже знали, что командующий мощной немецкой группировкой «Центр» Шернер, располагающий более чем двенадцатью дивизиями, стягивает свои войска к Праге. Знали, что население Праги, вдохновленное победами Красной Армии, подняло антигитлеровское восстание. Слышали передаваемые по радио призывы пражских повстанцев, обращенные к союзническому командованию, к Красной Армии. Все это убедительно подтверждало предположение нашего командования о том, что Шернер двинет свои дивизии на Прагу с тем, чтобы под прикрытием ее архитектурных святынь отсидеться до прихода американцев. Наверное, отсюда и повышенный интерес коллег к нашим намерениям на левом фланге фронта.

— Задать такой вопрос вы, конечно, можете,— ответил я, игнорируя то, что конец фразы этой дамы мне не был переведен.— Только у нас говорить о том, что будет, в армии не принято. Понимаете, коллега, плохая примета. А наши полководцы суеверный народ.

— Вы думаете, что он не ответит,— огорченно сказала собеседница.— Кстати, господа, где мой журнал?

А журнал с шаржем между тем пошел вдоль стола, передаваемый из рук в руки, перекочевал за соседние столы. И исчез. Испарился. Его попросту кто-то прикарманил. Собеседница была вдвойне огорчена.

— Терпеть не могу эту нашу отвратительную американскую привычку все тащить на сувениры... Кстати, вы не могли бы мне дать на память об этой встрече что-нибудь? Ну хотя бы вот эту звезду с фуражки?

Осип-Джо смеялся, переводя ее слова, и собеседница удовлетворилась тем, что заставила всех нас расписаться на память на голубой ленте, подаренной ей украинскими танцорами.

Потом произошел обмен сувенирами, так сказать, на высшем уровне. Постукав вилкой по бокалу и потребовав внимания, генерал Брэдли заявил, что хочет подарить хозяину дома как память боевого братства вездеход «виллис». Это была отличная машина специальной сборки. Ее патронные ящики оказались набитыми американскими сигаретами. На щитке управления была прикреплена серебряная дощечка: «Командующему Первой Украинской группы Красной Армии маршалу И. С. Коневу от солдат американских войск 12-й группы армии».

Мы с интересом смотрели на командующего. Как он поступит? Что предпримет в ответ? И ответ оказался достойным. С давних пор со Степного фронта, с дней битвы на Курской дуге, был у командующего вороной жеребец, отлично выезженный дончак. Конь этот сопровождал его в дни большого наступления от Белгорода до Карпат, через Украину, Молдавию до Румынии, а потом все те восемьсот девяносто шесть километров, что части Первого Украинского фронта прошли от Львова до Берлина. Конев — хороший наездник, любит верховую езду. Это мы знали, но никто из нас не видел его в седле. Довоюем, наездимся, говорил он, поглаживая шелковистую гриву коня.

Вот этим-то конем он и отдарил своего гостя, позаботившись о том, чтобы в походные переметные сумы было заложено достаточное количество икры и коньяка. Полководцы расстались как боевые соратники. Под вспышки блицев и жужжание киноаппаратов они обнялись, расцеловались, а потом снялись, дружески держась за руки, как бы свидетельствуя меру взаимного солдатского уважения.

НАЙДЕННЫЕ СОКРОВИЩА

Вернувшись со встречи с союзниками, нашел у себя на столе телеграмму: «Завтра в 12.00 все пишущие, снимающие и рисующие обоих фронтов соберутся на ступеньках рейхстага для коллективной исторической съемки. Сообщи всем ребятам. Ждем. Каперанг Золин, кавторанг Вишневский, подполковник Горбатов, майор Мержанов, капитан Темин». Уже по тому, как торжественно подписались под телеграммой правдисты с Первого Белорусского фронта, я понял, как увлекла их и в самом-то деле добрая затея. У нас инициатива соседей вызвала взрыв энтузиазма. Наиболее нетерпеливые, оказывается уже выехали в Берлин. Мы с Крушинским, располагающие мощной автотехникой, решили все-таки выспаться после маршальского приема.

Но, как говорили в старину, человек предполагает, а бог располагает. Не успели мы натянуть на себя одеяла — телефонный звонок. У аппарата адъютант командующего подполковник Саломахин, давний друг всех пишущих и снимающих.

— Ты стоишь или сидишь?

— Я лежу, а что?

— А то упадешь... Найдена Дрезденская галерея.

— Но ведь она разбомблена.

— Здание, этот самый дворец Цвингер разбомблен, а картины, оказывается, сохранились... Сейчас у самого был этот ученый трофейщик из 5-й гвардейской. Ты его знаешь. Рабинович. Он только что доложил маршалу: сокровища найдены.

Нас с Крушинским будто пружины выбросили с постелей — Дрезденская галерея! Известно было, что авиация союзников, совершившая свои «ковровые» налеты на открытый город, разнесла весь его исторический центр и, в частности, Цвингер. Но оказалось потом, что разби-

ли только коробку. Взяв город, в развалинах не нашли ни одного предмета искусства. Стало быть, сокровища спрятаны. Но где?

Командующий, несмотря на наступательную горячку этих дней, все же находил время регулярно интересоваться судьбой галереи. В гвардейской армии у генерала Жадова среди офицеров трофейной бригады оказался ученый искусствовед, тот самый Рабинович, о котором только что сообщил Саломахин, толковый, деятельный, энергичный человек, кстати сказать, хорошо говоривший по-немецки. Вот ему-то командующий и поручил руководить поисками. Из Москвы прибыла группа искусствоведов. Но шли дни, поиски ничего не давали. И вот эта новость.

Зеленоватая майская ночь уже тронута на востоке розовой зарей. Душистая прохлада наполняет старый замковый парк. Маленький кудрявый подполковник Саломахин, свесив чуб над картой, показывает местонахождение найденных сокровищ.

Тем временем рассвело. Курчавые головы грабов и буков окрасились в оранжевые тона, выступили из предрассветной мглы, и горькие ароматы цветущей черемухи приобрели предутреннюю остроту. Дорога лежит по-над Эльбой, повторяя ее некрутые величавые изгибы. Сильный лимузин бесшумно глотает километры.

Крушинский, следящий за дорогой по карте, поднимает руку. Снизив скорость, машина сворачивает направо, и перед нами в горном распадке открывается старая, заброшенная каменоломня. Подчеркиваю, заброшенная, ибо всем — и рыжими, заржавевшими рельсами, ведущими куда-то в глубь горы, поврежденными вагонами, гниющими на путях, высоким, в человеческий рост, бурьяном, словом, всем своим видом каменоломня являет собой картину мерзости запустения. Но, как оказалось, все это было лишь искусной маскировкой.

Двери огромных ворот, не видных из-за каменного завала, прикрывали путь в штольню, из которой когда-то вывозили добытый камень. За первыми ветхими воротами были другие, такие же с виду ветхие, но крепкие, плотные, с резиновыми прокладками, какие бывают у дверей бомбоубежищ. Открыв калитку, мы сразу же как бы перешагнули в волшебное царство. Сияло электричество, а в причудливых изломах стен виднелись приборы, какие бывают в музеях и картинных галереях, в общем,

в помещениях, где поддерживается заданная температура и влажность.

Да, это была поистине волшебная пещера, ибо из глубины ее на нас уже смотрели с детства знакомые по множеству репродукций лица. Молодой веселый Рембрандт, смеясь, поднимал бокал, обнимая полный стан своей молодой супруги, сидящей у него на коленях... Очаровательная шоколадница с чуть приметной улыбкой на серьезном красивом лице держит поднос с чашечкой. А из глубины провала парила «Сикстинская мадонна», держа на руках лохматого очаровательного малыша. И казалось, не электрические лампы, а она, прекраснейшая из юных женщин, сама излучает этот мягкий голубоватый свет, которым полна картина.

Глаз как-то сразу зафиксировал эти три полотна, и уж потом мы увидели фигуры солдат, бережно выносивших оттуда, из глубины пещеры, картины, обернутые в пергаментную бумагу. Несколько офицеров в нескладных, в необмявшихся шинелях, пахнущих нафталином интендантских складов, с погонами майоров и подполковников тихими, вежливыми голосами застенчиво руководили этими работами. Все они напоминали статистов какой-то массовки на провинциальной сцене, наскоро нарядившихся в чужую одежду. Команды, которые они отдавали, звучали весьма своеобразно:

— Товарищ, товарищ, я очень прошу вас, пожалуйста, поставить это к стене, а вот это, будьте добры, поверните так, чтобы можно было рассмотреть.

Солдаты иронически относились к командам «ряженых» майоров и подполковников и охотно слушались энергичную женщину в штатском. Это известный московский искусствовед Наталия Соколова. С ней, активной участницей поисков галереи, мы уже знакомы.

— Господи, это такие сокровища! — воскликнула она, даже еще и не поздоровавшись, когда мы робко подошли к ней.— Какое счастье, что все это цело!

Все ли цело, этого пока еще никто не знает. Картины были спрятаны с умом и заботой. Те, кто их прятал, были, несомненно, опытными людьми. Отопление, освещение, осушающие приборы — все это должно было действовать автоматически. Сильнейшие аккумуляторы с подводных лодок питали все эти механизмы электроэнергией. Словом, задумывалось, так сказать, в идеале. Однако близкие бомбежки расшатали камни. В появившиеся

трещины просочилась вода. С улицы стал задувать ветер. Климат пещеры, несмотря на все эти умные приборы, изменился. В результате, по свидетельству Наталии Соколовой, большинство картин оказались «больными». У отсыревших полотен стала отставать краска, появились пузырьки, местами густо выступила плесень.

Наша собеседница вынимает носовой платок и осторожно касается им полотна. Он сразу почернел.

— Нет, какое счастье, что мы все это нашли вовремя! — она повторяет свои слова.— Большинство полотен серьезно больны.

— А ваших больных можно лечить?

— Все можно. Мы реставрируем и не такое, — ответил один из «ряженых» с подполковничьими погонами. — Но в реставрационных мастерских, в специальных лабораториях, а не здесь, не на войне...

— Нет, вы посмотрите, как он несет картину! — восклицает Наталия Соколова. Мимо нас шел пожилой боец из трофейной команды в коротенькой шинели третьего срока. Он нес картину в старинной тяжелой раме. Нес на вытянутых руках, осторожно шагая по шпалам, будто нес больного ребенка.— Такая любовь, такое уважение к искусству. Этому просто удивляться можно. Эти старики из трофейной команды обращаются с картинами, как настоящие музейные работники... И, обратите внимание, какая здесь тишина, прямо-таки музейная тишина.

В самом деле, хотя в штольне каменоломни было немало людей, ее как бы наполняла густая тишина. Походило на фильм, в котором вдруг отключили звук. Фигуры солдат-трофейщиков, как бесплотные тени, бесшумно двигались впереди, и только капитан Рабинович, тот самый, что отыскал сокровища, бегал, стуча сапогами, и все никак не мог оправиться от своего счастья.

— Сколько же здесь картин?

— Кто ж знает, пока учли больше двухсот.

— Их примерная стоимость?

Все майоры, подполковники и полковники в мятых, топорщившихся солдатских шинелях с удивлением, я бы сказал, с осуждением смотрели на меня, будто я спросил нечто неприличное.

— Миллионы?

— Миллиарды,— сердито ответил один из собеседников.

— Нет цифр, которыми можно определить стоимость найденного,— столь же сердито сказал другой.— Разве так можно ставить вопрос, когда речь идет о сокровища• искусства?

А солдаты освобождали из плена оберток все новые и новые картины. Бесшумно двигались, расставляли их вдоль стен.

— А ведь нам, Бе Эн, надо обо всем этом сегодня написать,— напомнил Крушинский.— Если успеем вовремя передать, это ведь может пойти и в завтрашний номер.

На обратном пути мы забрали во вместительную нашу машину двух искусствоведов, спешивших в штаб фронта с предварительным докладом. Все еще находясь под гипнозом того, что открылось в пещере, они восторгались то одной, то другой картиной и, конечно же, «Сикстинской мадонной». Я ляпнул по поводу этой находки что-то восторженно-неуклюжее, и Крушинский, обращаясь к нашим ученым спутникам, сострил:

— Легкомысленный у нас человек подполковник Бе Эн. Увидел девушку помоложе, и прости-прощай старая любовь к матке боске Ченстоховской.

Пришлось рассказывать историю спасения Ченстоховской богоматери. И. так как это были квалифицированнейшие искусствоведы, я попросил их объяснить странное явление этого как бы второго облика старой иконы, который представился нам с Николаевым ночью в темном монастырском храме.

Наши спутники иронию Крушинского не разделили. Задумались.

— Это не могло быть проекцией из какого-то спрятанного волшебного фонаря?

— Исключено, мы тщательно обшарили все вокруг.

— Живописцы средневековья умели писать на иконах глаза так, что они как бы следили за зрителем, поворачиваясь в его сторону,— задумчиво ответил один.— Это простой и вовсе не мистический секрет. Писали строго фас, и это создавало эффект вращения глаз. Но тут ведь, по вашим словам, менялся облик.

— А в Новгороде в церкви Спас-Нередица огромная фреска на куполе,— сказал другой спутник.— Она написана так, что в зависимости от освещения как бы меняется выражение лица: то этот Спас мягок и благостен, то суров и гневен. И еще его рука. Она то благословляет,

то как бы грозит. Старинная фреска... Есть даже легенда, что, когда Спас разожмет руку, воды озера выйдут из берегов и хлынут на город... Много, много секретов унесли с собой старые живописцы... Кстати, вы с этим своим другом стояли на месте или двигались по храму?

— Стояли на месте.

— Тогда это вряд ли живописный эффект... Может быть, гипноз? Или это новое, как это называется, телепатия, что ли? Католические ксендзы большие мастера всяких подобных фокусов. Тысячелетний опыт...

— А вам известна история этой иконы?

— Ну, в искусстве она широко известна... После раки святого Петра в Римском соборе она считается второй святыней католизма. По религиозной легенде, ее писал святой Лука, писал как бы с натуры, что ли... Но это, понятно, легенда. А по живописному стилю это просто очень старая икона византийского письма, и попала она в Польшу, может быть, даже и через Киевскую Русь... А все-таки интересно, что же там менялось, вся икона или только живописная часть?

— Только лицо и рука.

— Вы говорите, риза усеяна драгоценными камнями. Сверкание камней в определенных условиях тоже может давать гипнотический эффект...

— Джентльмены! — провозгласил Крушинский.— Мне кажется, вы не задали нашему Бе Эну главный вопрос, какими настойками их потчевал ученый монах...

— Первый едет,— прервал наш разговор Петрович.

Действительно, навстречу нам неслись два вездехода. Один с охраной, а на втором, сверкающем лаком «джипе», который был преподнесен от имени американской армии нашему командующему, на переднем сиденье мелькнула коренастая фигура маршала Конева. Машины с урчанием разминулись.

— «Сикстинку» смотреть поехал, — сказал Петрович.

Новое словообразование прозвучало прямо-таки кощунственно. Но наши ученые спутники, к счастью, пропустили его мимо ушей.

— Удивительный у вас командующий,— сказал тот, что был в полковничьих погонах.— Ведь это он вытребовал нас сюда, хотя проблема галереи все еще висела в

воздухе. «Ищите,— говорил он нам при первой встрече.— Ищите, как хлеб ищут. Мы теперь отвечаем за нее головой перед всем человечеством».

ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ РЕПОРТАЖ

В Берлине подписана безоговорочная капитуляция Германии. Даже не верится, что война окончена. И боже ж мой, как хорошо на душе! Когда подполковник Дорохин известил меня об этом по телефону, я признаюсь, сразу даже и не осознал всего значения этой вести. Поблагодарил. Положил трубку на зеленый ящик, и только после этого до сознания дошло, что это же кончилась война. Достал из кармана фотографию жены, сына, крохотной чернявой Алены и, в этом стыдно признаться, вдруг заплакал. Заплакал первый раз за всю войну.

А через полчаса в белесой майской ночи деревья старого парка просто-таки затряслись от беспорядочной разнокалиберной стрельбы. Палили все, кто из чего. Палили, не жалея патронов — к чему они теперь, когда кончилась война? Признаюсь, и я не утерпел и опустошил обойму в раскрытое окошко. За этим несерьезным занятием и застал меня фоторепортер капитан Николай Фиников. На нем не было лица в переносном смысле и не было одежды в смысле буквальном.

— Товарищ подполковник, налет на штаб?

— Какой налет? Что с вами?

— У меня в комнате пули свистят.

Действительно, в самом нашем доме стреляли, отчего надтреснутое зеркало жалобно звенело на стене. Но почему пули свистели у Финикова?

Эта загадка разъяснилась так. Фоторепортеры со своей лабораторией расположились наверху, в мезонине. Чтобы не мешал свет, они наглухо завесили окна одеялами. Фиников, отпечатав снимки, залег спать и ничего о капитуляции Германии не слышал. Проснулся от веселой этой пальбы, причем действительно несколько пуль просвистело у него в комнате. Оказывается, это шоферы на радостях стрельнули из винтовок в потолок. Пришлось дать им нагоняй. И вот теперь, притихшие и пристыженные, они накрывали в комнате праздничный, пиршественный стол.

А в парке еще палили... Под грохот этих веселых выстрелов и позвонил дежурный с военного телеграфа, Поздравил с победой и тут же прочитал полученную из Москвы срочную депешу. Я берегу ее до сих пор, это последнее военное задание, пришедшее ко мне, когда на всех фронтах, кроме нашего, война уже кончилась. Вот она: «Из Сапфира в Аметист. Вручить немедленно корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому. Подробно осветите освобождение Праги. Место не ограничиваем. Учтите, корреспондент «Комсомолки» Крушинский идет в Прагу танками Лелюшенко. Генерал Галактионов».

Ой-ой-ой! Ай да Крушинский! Он исчез с утра, никому ничего не сказав. Решили, что репортерский дух погнал его на Первый Белорусский смотреть подписание капитуляции. Мы-то тут стреляем в воздух, бражничаем по случаю победы, а он, видите ли, идет с танками Лелюшенко. Схватив со стола кусок колбасы, покидаю дружескую компанию и отправляюсь в «оперу». Подполковник Дорохин дежурит по оперативному отделу и мается в одиночестве. Он подтверждает: да, в Праге антигитлеровское восстание развивается. Многие районы в руках повстанцев, но части СС, не сложившие оружия, атакуют их. Положение у повстанцев тяжелое, одна за другой в эфир идут трагические телеграммы. Мне показывают их запись.

«...Немцы стягивают в город новые части. Ведем неравные бои. Просим Красную Армию, армии союзников о срочной помощи...»

«...Положение вечером ухудшилось. Немцы ввели в бой танки. Артиллерия расстреливает баррикады. Мы истекаем кровью. Братья, ждем помощи... Красная Армия, сотвори еще чудо. Спаси нас...»

Дорохин объясняет детали обстановки: пражское восстание охватило центр города и его индустриальные районы. Эсэсовцы не признали подписанную в Берлине капитуляцию. Ведут яростные бои. Наступают. Туда же, в Прагу, откатывается из Силезии мощная группировка «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера.

Судя по всему, предположение маршала Конева о том, что этот Шернер замышляет ворваться в Прагу, соединиться там с эсэсовскими частями, чтобы, прикрываясь архитектурными святынями города, завязать длительную борьбу и дождаться американских дивизий, это предположение явно оправдывается. А восстание, судя по

трагическому тону телеграмм, по-видимому, действительно истекает кровью в уличных боях.

— Ну а что предпринято нашим командованием?

— Маршал Конев разработал план молниеносной операции, и Ставка утвердила его. На Прагу двинуты три общевойсковые армии с приказом форсированно наступать. Танковые армии Лелюшенко и Рыбалко с приданными им артиллерийскими частями брошены к Праге через горы по двум разным дорогам. Их задача подойти к городу и окружить его. Танкисты должны отрезать пути отхода Шернера на запад, преодолеть чешские Рудные горы и, не задерживаясь, с максимальной скоростью подойти к Праге, оставив Шернера за спиной. Рыбалко ворвется в Прагу с востока и северо-востока, Лелюшенко — с юго-запада. Главная цель — прикрыть Прагу стальным кольцом.

— Большие идут силы?

Дорохин усмехается. Война окончена. Табу с секретов снято.

— Двинуты десять танковых корпусов. Армиям Пухова, Жадова и Гордова приказано на максимальных скоростях двигаться вслед за танкистами. Смелее наступать Лучинскому, Коротееву, командующему 2-й армией Войска Польского генералу Сверчевскому.

Да, сейчас, когда все человечество отдыхает и спокойно отсыпается после войны, здесь, на этом фланге нашего фронта, продолжается грандиозная битва.

Майская ночь стоит над Германией. Весь огромный фронт молчит. Только тут, на участке Средней Европы, на земле Чехословакии, славянской страны, которая близка и дорога нам, советским людям, война продолжает бушевать с прежней силой.

Не дав моему другу закончить его несколько академические пояснения, я попросил его помочь добыть самолет, чтобы вылететь в Прагу. Крушинский идет в этот поход на танках. Стало быть, для меня единственной возможностью не отстать будет самолет. Этого, разумеется, я Дорохину не сказал. Просто показал телеграмму генерала Галактионова. Такая операция! Это же грандиозно.

Выслушав просьбу, подполковник даже свистнул.

— Самолет! Вот чего захотел! Во-первых, обычная «уточка» туда и обратно не долетит. Кто тебя там будет заправлять? Во-вторых, ни один летчик не возьмется

лететь ночью без подготовки, тем более, что трасса не разведана, неизвестно, где там можно сесть. В-третьих, не фантазируй, пожалуйста, садись-ка лучше, выпьем, у меня тут есть коньячок.

Настаивал. Убеждал: историческое сражение, финал войны... И тут Дорохин проговорился.

— Не можем же мы дать тебе самолет с единственным летчиком, приблизительно знающим эту трассу. Он должен привезти подтверждение о взятии города. Этот самолет в распоряжении начальника штаба фронта.

Ах, есть такой самолет! Вот в него-то я и вцепился.

— Подтверждение? Отлично. Я смогу передать это подтверждение.— И не такие задания приходилось выполнять военным корреспондентам. Ночь Победы, светлая, зеленоватая, великолепная ночь. В такую ночь и невозможное возможно.

Хожу по фронтовому начальству, выпрашивая самолет. Никто не спит. Никто не заботится о светомаскировке, и очень странно видеть сверкание огней в окнах зданий, где располагается штаб фронта. Все необыкновенно добры. Приветствуют корреспондента с подчеркнутым усердием, будто неожиданно нагрянувшую тещу. Тащат к столу. Потчуют. Но о самолете и заговаривать не дают. Постепенно поднимаюсь по ступенькам штабной лестницы, получая отказы в самой милой и доброжелательной упаковке, поднимаюсь до штаб-квартиры командующего.

Он, разумеется, тоже не спит. Склонился над рабочим столом, на котором вместо пиршественных угощений карта, как раз тот самый ее отрезок, который только что показывал мне Дорохин. Просматривая листок с очередным донесением, маршал удлиняет на карте красные стрелки, вонзающиеся в двух направлениях в зелень Рудных гор.

— С победой, товарищ Маршал Советского Союза!

Неторопливо дорисовав стрелы, Конев откладывает карандаш, лупу, снимает очки.

— Рановато поздравлять. Она запаздывает к нам, окончательная победа. Нам ее еще предстоит одержать. Такие-то вот дела. Ну что скажете хорошенького?

Я вдруг начинаю вспоминать, как когда-то в первый раз пришел к нему представляться, когда армии Калининского фронта еще только готовились к сражению за мой родной город. Я намеревался тогда пробраться в полуокруженный штаб танковой бригады полковника

Ротмистрова и сообщил ему об этом своем намерении... Командующий слушает эти воспоминания, и где-то в глубине его голубых глаз мелькают этакие хитрые искорки, и вдруг прерывает меня на полуслове:

— Самолет, да?

— Иван Степанович, ей-богу, в последний раз.

— В последний раз,— теперь он откровенно смеется.— Так, значит, в последний раз? А ведь и верно, как я полагаю, вам больше не представится случая гробить штабные самолеты. Мне тут о ваших происках уже позвонили. Я отдал соответствующее распоряжение.— Крепко пожал руку своей сильной рукой.— Ну, летите, что с вами сделаешь... Передадите, как там в Праге. Москва ждет.— И вдруг необыкновенно тепло: — Понимаете? Желаю удачи.

Удачи! Может ли быть удача лучше этой? Восток еще только начинает румяниться, когда штабная «уточка», «ушка», милый самолет «У-2», у которого столько названий — и «огородник», и «кукурузник», и «этажерка»,— тарахтя мотором, выруливает на старт, оставляя на серой, покрытой росой траве ярко-зеленые, изумрудные полосы.

Мы с летчиком, моим старым знакомым и другом, капитаном Севастьяновым, с которым летали и в Освенцим, и на спасение матки боски, уже наметили по карте маршрут через Рудные горы на большой промышленный город Мост. Там, если повезет, присядем, сориентируемся в обстановке и оттуда уже двинем на Прагу.

Правда, на этот раз помимо корреспондентских обязанностей предстоит выполнить и обязанности штабного офицера. Связаться с руководством восстания, уточнить обстановку, попытаться передать ее по повстанческой рации, через которую в эфир идут воззвания. Ну что же, повезет — передадим.

— Чего же вы на этот раз в одиночку? Дружок-то где? — спрашивает Севастьянов, который возил нас с Крушинским в Освенцим.

— Дружок идет с танками Лелюшенко.

— Конкуренция?

— Социалистическое соревнование.

Летим, как договорились, на значительной высоте. Первые лучи солнца уже сияют за гребнем гор, еще погруженных во тьму.

Ага, вон там на серых ниточках дороги движение. Машины с пехотой, танки, самоходки и снова машины.,

Несколько километров с перерывом, и опять на дороге густые колонны войск, движущихся с полным вооружением. Но на этот раз уже немецкие войска. Что ж такое? Где же наши танки? Прозевали мы их, что ли? Да нет же, они выполнили задание командующего, пробились сквозь боевые порядки Шернера. Вон же они, будто по муравьиной тропе вереницами спускаются с гор на дороги холмистой долины. Ну да, танки. И на броне пехота.

Эх, нет на самолете рации, передать бы в штаб фронта об их передвижении.

Делаю Севастьянову знак снизиться. Да он и сам уже угадал своих, снижается. Теперь прямо-таки ползем по вершинам зеленых, пологих, очень красивых холмов навстречу чему-то большому, затянутому бурым, ядовитым дымом. Что же это там горит?

Севастьянов передает мне планшет с картой. Это город Мост горит. Как быть? Решаем садиться. Снижаемся прямо на шоссе и тут оказываемся окруженными толпою крестьян. Жмут руки. Что-то приветственно кричат. Тянут к себе в деревню. Но нам некогда. Узнаем, что фашисты ушли из Моста вечером, подожгли нефтеперегонный завод и двинулись к Праге.

Множество добровольцев, изрядно мешая друг другу, помогают нам развернуть самолет против ветра. Когда он начинает бежать на взлет, кто-то залепил в лицо летчику увесистым букетом черемухи. Я прячу в записную книжку маленькую цветочную гроздь — память о первых встречах с Чехией.

Идем на небольшой высоте. Солнце уже выбралось из-за холмов, река, петляющая между ними, серебрится в его лучах. Что это, Эльба или уже Влтава? Но, прежде чем успеваю определиться по карте, уже вижу на горизонте в утренней дымке острые шпили церквей, торчащие из тумана.

Прага! Никогда не виданный мной, но давно желанный город, который я заочно полюбил еще по рассказам словацких повстанцев. И прекрасный город этот горит тут и там. Но пожаров, к счастью, немного. На первых же улицах видим национальные флаги. Видим толпы по-весеннему пестро одетых людей. Летчик на незначительной высоте описывает широкий круг над городом. Всюду толпы. Множество народу. Но кое-где улицы и целые районы пусты. Там баррикады, там бой. Особенно густо стреляют у трех мостов. Там огонь ведет артиллерия. Но наш само-

лет не трогают. По нему никто не стреляет, должно быть, не до нас, а может быть, мы для немцев незначительная цель.

Пишу летчику записку: «Снижайся, ищи место посадки». Прочел, обернулся с усмешкой, дескать, учи ученого. И кружит. Кружит настолько низко, что стрельчатые шпили церквей проходят на уровне крыльев.

Люди внизу, вероятно, уже разглядели красные звезды на крыльях. Наша маленькая машина, которую немцы презрительно зовут «кофейная мельница», вызывает там, внизу, в этих толпах, великий энтузиазм. Нам машут, что-то кричат. Уж скорей бы сесть, что ли.

Сначала приладились было приземлиться на большой прямоугольной площади. Площади! Наши летчики уже знают, что личный пилот Гитлера, храбрая и искусная женщина, села на самолете на одной из площадей Берлина, чтобы вывезти «обожаемого фюрера». Может быть, и Севастьянов хочет повторить ее опыт? Люди там, внизу, по-видимому, угадав намерение летчика, стали очищать проезжую часть площади. Но на посадке летчик разглядел паутину трамвайных проводов и, слава богу, круто взял вверх. Описали круг побольше. Ага! За рекой на холме какой-то большой стадион, окруженный огромными трибунами. Пригляделись. Лучше посадочной площадки не найдешь. И где только не приходилось капитану Севастьянову сажать свой самолетик! Под Корсунь-Шевченковским в весеннюю распутицу он сажал самолет на огородах у деревни Толстое, на котором прилетел командующий, на посадочную полосу... выложенную соломой по талому снегу, который, в общем-то, не мог выдержать его веса.

Ну, была не была! Как бы соскользнув прямо с трибуны, самолет всеми тремя точками прикоснулся к ровному спортивному полю. Благополучно пробежал по нему и в последний момент клюнул носом и разбил винт о деревянную ограду трибуны на противоположной стороне. Сели относительно благополучно, катастрофы не произошло. На мгновение мелькает мысль: а как же взлетим без винта? И тут же другая: а зачем?

Танки-то уже на подходе.

Через поле к нам бегут какие-то вооруженные люди в песочного цвета комбинезонах, с красными ленточками на беретах. Догадываемся, это и есть повстанцы. Что-то кричат. Жмут руки. Хлопают по плечам, а потом, будто сго-

ворившись, подхватывают на руки и несут через стадион и осторожно приземляют перед дверью ресторана или бара, вписанного в трибуну с противоположной стороны. Мы успеваем прочесть вывеску — «Чемпион». И оказываемся за столом. Ну что же — «чемпион» так чемпион. По-русски это тоже звучит неплохо.

В баре людно. Те же песочные комбинезоны. Некоторые в штатском, в рабочих куртках. Но все туго, по-солдатски перепоясаны, у всех оружие. Оказывается, здесь что-то вроде районного штаба. Узнаем, что немцев тут уже нет. Бои в центре, у заводов и у мостов. Особенно у мостов. Там немецкая артиллерия. И танки.

Начальник штаба, сухонький пожилой человек, тоже в песочном комбинезоне, но в форменной фуражке с большой кокардой чехословацкой армии, знакомой мне по корпусу генерала Свободы, достает туристскую карту и умело изображает на ней обстановку: объекты борьбы, места сосредоточения эсэсовцев, их батареи, танки.

— Вы офицер?

— Ано, ано, офицер. Достойник.

Карту с нанесенной на ней обстановкой он без всякой с нашей стороны просьбы дарит нам. Очень сообразительный человек. Без объяснения понял, зачем мы прилетели.

— Нам нужен штаб восстания. Штаб.

— Ано, ано. Штаб повстанцев есть тут.— Он отмечает на карте дом вблизи площади.

— И еще радиостанция.

— Ано, ано, рация тут.— Оказывается, он уже изобразил ее для нас. Даже об этом позаботился. Да, черт возьми, сегодня хорошо иметь красные звезды на крыльях самолета.

— А как мы попадем в штаб?

— Вон пан доктор довезет вас.

Машина у «пана доктора» удивительная, с толстым пузатым баллоном, закрепленным на крыше. В баллоне, оказывается, газ. Вместо бензина она работает на газе. Однако довольно ходко бегает. Доктор провозит нас по мосту, на котором в затейливых позах возвышаются какие-то каменные святые, изображенные в стиле такого лихого барокко, что кажется, будто у них болят животы и они извиваются от боли. Этот мост свободен, а справа и слева еще идут бои.

На центральных улицах много народу, но там стрельба. Это выбивают с чердаков засевших там эсэсовских пу-

леметчиков. Те из чердачных окон палят по толпе. Но и с ними тоже не церемонятся и, изловив, просто сбрасывают с крыш. Повсюду национальные флаги, огромные полотнища свисают с балконов, из окон, флажки поменьше на дверях магазинов. Вместе с трехцветными национальными флагами тут и там красные.

Минуем огромную продолговатую площадь, где мы намеревались сесть. «Вацлавское наместье»,— называет ее доктор. А вот и другая площадь. Иного средневекового вида. Посредине памятник Яну Гусу. Гус стоит среди своих приверженцев и, как кажется, с болью смотрит на какое-то красивое старинное здание, полыхающее перед ним.

— Ратуша,— поясняет нам доктор.— Наша старая ратуша.— И в глазах у него слезы.— Эсэсманы не пощадили даже это.— И в переулке он показывает нам старинные часы, куда гитлеровцы влепили снаряд. Эти часы ходили пятьсот лет.

Недалеко от этих часов вход в большой подвал. Там, оказывается, и был штаб восстания. Но теперь подвал пуст. На столах и на полу изжеванные окурки, бумага, в углу окровавленное эмалированное ведро, из которого торчит... ампутированная рука. Должно быть, здесь производились операции.

Где штаб, никто не знает. Его пребывание, по-видимому, в секрете. Даже наша военная форма, вызывающая такой энтузиазм, не помогает напасть на его след. И предосторожность эта не лишняя, говорят, по городу шныряют власовцы, тоже в нашей форме. Впрочем, штаб нам не так уж и нужен. Поручений у меня в штаб нету, но нужно передать об обстановке в городе.

— Ну, а радио?

— Ано, ано, радио. Розглас.

Доктор везет нас с Севастьяновым на улицу, где помещается здание, как он говорит, розгласа, вероятно, радиокомитета. За это здание бой, как видно, шел совсем недавно, баррикады еще не разобраны. Несколько немцев в черных эсэсовских мундирах валяются на асфальте. А в подворотне тела повстанцев. Убитые прикрыты национальным флагом. Под ногами звенят стреляные гильзы. На мостовой их целая россыпь.

Доктор ведет нас не в главный подъезд, который забаррикадирован изнутри, а куда-то во двор, в подвал. Бомбоубежище? Нет, операционный зал. У входа пуле-

мет и часовые. Удивленно смотрят на нас в упор и, не спрашивая пропусков, прямо-таки подталкивают к двери, где стоят аппараты. В зале какие-то усталые, небритые люди бросаются к нам на шею, обнимают, жмут руки. Они все еще в боевом пылу. Ну да, отбили свой розглас. Не дали немцам занять радиостанцию.

Узнаю, что именно отсюда, из этого подвала, и летели в эфир трагические призывы повстанческого штаба, адресованные советским братьям, войскам Красной Армии.

Объясняю, что сейчас нужно мне на той же волне передать сообщение в штаб фронта.

— Вам что угодно, господин подполковник? — вдруг спрашивает один из них на чистейшем русском языке.

— Вы говорите по-русски? — несколько настороженно спрашиваю я.

— Я русский. Моя фамилия Чириков. Евгений Евгеньевич Чириков.

— Чириков? Евгений Евгеньевич? Случайно, вы не сын писателя Евгения Чирикова?

— Как, у вас еще помнят моего отца? — обрадованно спрашивает собеседник.— Я радиоинженер. Я к вашим услугам. Рация работает... Неужели вы читали книги Евгения Чирикова?.. Будете передавать открытым текстом или у вас шифр?

— Война кончилась, кого нам стесняться в эфире?

— Увы, у нас она еще идет. Только что погибли два моих друга. Вы видели их тела?

Присаживаюсь к микрофону и в нарушение всяких правил прошу наших связистов записать обстановку в Праге. Карта офицера повстанцев лежит передо мной. Сын писателя-эмигранта, симпатичный хромой человек, приходит мне на помощь, когда я начинаю путать чешские названия. Прошу фронтовых радистов записанное немедленно передать Второму, как по наивному коду именуется начальник штаба фронта генерал Петров, а потом диктую длиннейшую корреспонденцию уже в Москву, в «Правду», рассказывая, что сейчас происходит в городе. Итак, «смолю» фитиль. Последний фитиль второй мировой войны. Коварный Крушинский, потихоньку от нас уехавший с танкистами, еще где-то идет к Праге на танках Лелюшенко, а мое сочинение, если повезет, скоро ляжет на стол моего строгого начальника генерала Галактионова.

Диктуется легко. Перед глазами ничего, кроме микрофона и тех картин пражского восстания, о которых я рассказываю. В это время позади раздаются шум, восклицания.

— Советую вам, пан подполковник, добавить еще одну фразу к вашим сообщениям: на заре советские танки вступили в город со стороны Крушевиц. Население восторженно встречает их цветами.— Оглядываюсь. Это Евгений Евгеньевич стоит, улыбается во весь рот, опираясь на свою палку. Оказывается, розглас только что получил эту радостную весть. Что ж, отличная фраза и очень кстати. Добавляю ее, благодарю фронтовых радистов, принявших это мое сочинение.— Передайте в Москву, что это первая часть. Продолжение корреспонденции передам в шестнадцать ноль-ноль.

День Победы. День чудес. В этот день, как мне кажется, чудесам и надлежит происходить. Капитан Севастьянов беспокоится о самолете. Доктор-повстанец увозит его на своем драндулете в Страгово на Сокольский стадион, где стоит его машина, а меня два вооруженных парня сопровождают до Вацлавской площади. Вид не изменился. По ее огромному прямоугольнику движутся наши танки. Они идут осторожно, как добродушные слоны, пробиваясь в огромной толпе. Пропыленные до костей мотопехотинцы застенчиво улыбаются, сидя на бортах. Из толпы летят цветы, пачки сигарет, венки, сплетенные из липовых ветвей. Какая-то предприимчивая девица стоит на броне в национальном костюме в эдакой позе Свободы с картины Делакруа, и руки танкистов бережно поддерживают ее. И вот тут у какого-то массивного конного памятника, что стоит на высоком пьедестале над площадью, происходит удивительная встреча. Сергей Крушинский! В танкистском шлеме, в гимнастерке, будто бы замшевой от пыли, он, поминутно приподнимая налезающий ему на глаза шлем, раздает направо и налево автографы на открытках, которые протягивают ему со всех сторон. Он прибыл с головной колонной Лелюшенко и теперь принимает на себя огонь восторгов и благодарности, адресованных армии-освободительнице.

— Вы?.. Тоже здесь?.. Откуда?

Обнялись, расцеловались. Попытались выбраться из толпы, но это нелегкое дело. Поминутно останавливают, обнимают, целуют. У здания музея дорогу нам решитель-

но преграждает какой-то пожилой гражданин. В руках у него хрустальный графин и рюмка. Он требует, чтобы советские офицеры... отведали его настойку. Сам он легионер. Бывал в России в первую мировую войну и помнит русский язык. А настойка у него «особенная». Он, оказывается, закопал бутылку в землю семь лет назад, когда Прагу оккупировали немцы. Закопал и дал жене слово не трогать эту бутылку, пока столица не избавится от бошей. Вот пришло время. И он по-сибирски произносит вдруг: «Откушайте-ка». Мы, разумеется, не заставляем себя долго упрашивать, тем более, что черносмородиновая настойка эта, семь лет дожидавшаяся в земле, действительно заслуживает внимания. Пьем и слушаем.

— Ать жиэ Руда Армада!.. Прази — наздар!

Наздар так наздар. Правильно. Пьем по второй. Прощаемся со старым легионером, благодарим, продвигаемся дальше, и вот тут происходит встреча действительно уже фантастическая.

На углу Вацлавской площади возле какого-то шикарного магазина видим невысокую немолодую женщину с кудрявой головой и на редкость миловидным круглым лицом. Из толпы ее выделяет национальный костюм — «крой», как поясняет уже начинающий вживаться в пражскую среду Крушинский. В накрахмаленном кружевном чепце, из-под которого выбиваются веселые кудряшки, в богато вышитой кофте, в короткой наплоенной юбке и в полосатых чулках, женщина эта выглядит милым персонажем из «Проданной невесты», сошедшим со сцены в публику. У нее в руках корзинка, покрытая салфеткой. В корзинке, как оказывается, объемистый сосуд и маленькие стопочки-наперстки. Она тоже решительно заступает нам дорогу и, показывая на корзинку, произносит с милым чешским акцентом по-русски:

— Паны офицеры, пожалуйста, прошу вас немножечко попить сливовичку.

Мы переглядываемся. О сливовице с дней Словацкого восстания у нас остались самые теплые воспоминания. Но местных денег у нас, разумеется, нет. Женщина поняла наше смущение.

— Нет, нет, вы наши, вы мои гости. Я вас хочу немножечко попоить.

Выпиваем за победу, за Прагу и, разумеется, за милую хозяйку, которая, улыбаясь, наполняет наши стопочки. Крушинский вспоминает свой корреспондентский

долг и лезет в планшет за блокнотом. С дней Словацкого восстания он еще помнит несколько словацких фраз.

— Пане, как се есть ваше имя?

— Майерова,— говорит собеседница, мило улыбаясь.

— Вы не родственница Марии Майеровой, автора романа «Сирена»?

— Я сама есть Мария Майерова... Вы знаете мой роман?

Тут мы, разумеется, рекомендуемся, в свою очередь, и она говорит, что до оккупации читала наши газеты — и «Правду» и «Комсомольскую правду», бывала в Москве, вела дела с нашими издательствами. Встреча коллег-литераторов на Вацлавской площади в такой день! Ведь этого нарочно не придумаешь. Она просит нас заехать к ней отдохнуть, пообедать. Она даже готова проститься для этого обеда со своей единственной курицей, которая, по ее словам, является ее другом. Честно говоря, ох как хочется пообедать. С утра во рту крошки не было. Взятый на дорогу сухой паек лежит в самолете там, на стадионе. Но Крушинский уже пришел в то предельно лихорадочное состояние, которое на него накатывает всякий раз, когда в руках у него интересный материал, и длится до тех пор, пока этот материал он не выложит на бумагу и не отправит в редакцию. Нет уж, пусть курица-друг остается жить и кормить писательницу своими яичками. Дело прежде всего! Мы выпиваем за новые встречи в Праге или в Москве и расстаемся друзьями.

Авангард армии Лелюшенко, как рассказывает Крушинский, от предместья до центра Праги провожал какой-то железнодорожник, которого десантники взяли на броню. Он рассказал по дороге, что есть тут тюрьма под названием Панкрац. В ней подручные Гейдриха, которого казнили чешские патриоты, расправлялись с антифашистами, подвергая их нечеловеческим пыткам. Ну, в Панкрац, так в Панкрац. В провожатых недостатка нет. Через час мы оказываемся на месте. У тюрьмы тоже только что закончилась схватка с эсэсовцами, засевшими в ее громоздком здании.

Возле ворот несколько наших танков. Их командир молоденький капитан с желтыми усиками, с рукой, висящей на грязном бинте. Он просто вырывает наши документы и подозрительно поглядывает на нас. Впрочем, немудрено. Нам тут уже многие говорили, что в Праге рассеялась какая-то власовская часть, одетая в нашу форму.

Безобразничают. Чинят провокации. Словом, картина, похожая на Ченстохову. Те же методы. Тот же стиль. Убедившись, что мы это мы, капитан добреет, так сказать, опускает иголки и ведет нас в тюрьму.

— Там конвейер смерти. Мы его на ходу, тепленьким захватили,— поясняет он, открывая ногой массивную дверь, обитую войлоком.

Большая комната. Помост. На помосте черный тяжелый стол, три таких же массивных стула, и на спинке среднего орел со свастикой. За этим столом эсэсовцы играли роль судей, скороговоркой оглашали смертные приговоры. Должно быть, «конвейер» действительно еще вчера работал. Бежав, судьи бросили свои формы, а заодно и сутану пастора. Ага, а вот эта длинная с фиолетовой оторочкой хламида, должно быть, служившая какому-то высшему судейскому чину..

— Тут приговор, а там мясорубка,— поясняет капитан тоном экскурсовода.

В другом конце комнаты большой, отгороженный черным сукном помост. К потолку приделаны рельсики, с рельс вниз свисают лоснящиеся смазкой петли. Они на колесиках, которые движутся по рельсикам, словом, тут на глазах судей вешали, а потом откатывали повешенного за занавес, чтобы освободить место для другого... третьего... пятого. Всего десять петель находилось в работе. За сукном стояли и гробы на колесиках и с ручками. Большинство гробов пусты, но в двух оказались трупы повешенных — мужчина и женщина, вернее девушка.

Капитан хмуро говорит сквозь зубы:

— Не успели спрятать, сволочи.

У капитана в распоряжении машина-вездеход из тех, что в армии зовут «козлами». Он приказывает шоферу отвезти нас в розглас, ведь наше задание еще не выполнено. Конец корреспонденции еще за мной, а Крушинский вовсе не начинал свою обойму. Трупы у розгласа уже убраны, кровь с асфальта смыли. Знакомлю Крушинского с Евгением Евгеньевичем Чириковым, и, пока они разговаривают о книгах его отца, спорят о его последнем романе «Зверь из бездны», который Крушинский подобрал где-то в Берлине, я кричу в микрофон заключительную часть корреспонденции.

Что именно кричу, плохо помню. От всего виденного, пережитого и выпитого в голове каша. Но диктуется

необыкновенно легко и остается ощущение большой, бестолковой радости. Крушинский, по обыкновению, диктует неторопливо, обстоятельно, выговаривая все точки и запятые, и я сквозь дрему не без зависти слушаю его округлые, законченные импровизации.

В заключение мы оба, адресуясь в эфир, умоляем фронтовых связистов, среди которых у нас много друзей, пошефствовать над нашими корреспонденциями, переложить их на телеграфный язык и отправить в Москву. А связистов Генерального штаба просим предупредить наши редакции о получении корреспонденций...

Смутно, совсем смутно помню, как прощаемся с чешскими радистами, как по-российски целуемся с Евгением Евгеньевичем, и совсем не помню, как шофер, веснушчатый солдат, довозит нас до стадиона и бережно вводит в бар «Чемпион». Капитан Севастьянов спит богатырским сном. Хозяин бара, по-видимому, в прошлом боксер, массивный человек с плоским носом и сплющенными ушами, торжественно ставит перед нами блюдо горячих сосисок, тарелку с горчицей и пиво в больших тяжелых кружках. По-видимому, он двинул в бой все свои пищевые резервы, но деньги тоже наотрез отказывается брать — вы мои самые дорогие гости. И когда Крушинский, человек просто-таки не терпящий одолжений, начал было настаивать, бармен всерьез обиделся. А потом вдруг попросил что-нибудь написать на память на мраморной доске стола, ну хотя бы засвидетельствовать, что самые первые русские военные гости были именно у него в баре.

— Напишите и поставьте дату. И день и час. На этом стадионе выступают лучшие спортсмены мира. Но самолет на нем никогда еще не приземлялся. Это ведь тоже рекорд.

На мраморном столике было уже изображено чернильным карандашом: «Подтверждаю, что я приземлился за этим столом 9 мая 1945 года в 7 часов 15 минут». И размашисто подпись: «капитан А. Севастьянов». Думаю, что бы такое написать этим славным, гостеприимным ребятам, которые так тепло, так по-братски нас встретили. Но мысли разбегаются, как тараканы на свету. И не нашел я ничего лучше, как написать: «Сие подтверждаю. Подполковник Полевой». А потом голова как-то сама опустилась на стол, глаза закрылись, но сквозь дрему я опять слышу, как неутомимый Крушинский беседует с посетителями бара, уточняя детали любопытнейшей здешней

легенды, утверждающей, что настоящая свобода придет в Чехию, когда русский казак напоит своего коня во Влтаве.

ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО КАМНЯ

Вернувшись из Праги уже на машине, мы с Крушинским тотчас же ринулись на телеграф. Были ли приняты наши корреспонденции, брошенные в эфир на произвол судьбы? Записали ли их на пленку? Ретранслировали ли в Москву? Да, были приняты. Да, их записали. Да, передали в Москву.

— Сегодня утром Москва читала из них отрывки в «Последних известиях»,— сказал нам дежурный связи и, должно быть, увидев, как сразу от волнения раздулись наши ноздри, подтвердил: — Сам, собственными ушами слышал. Дел у меня сегодня мало, не хотите ли глотнуть за победу?

На стене висела на ремешке трофейная фляга, и, как мы догадались по исходившему от дежурного аромату, фляга с коньяком. Но мы от этого соблазна отказались. В руках у нас были катушки телеграфных лент с записями переданных корреспонденций, и, признаюсь, я разматывал свою не без волнения. Что я там накричал в микрофон в этом пражском розгласе? Живут же на свете журналисты, обладающие счастливым умением диктовать свои сочинения стенографисткам или машинисткам. У меня такого дара нет. Всегда пишу от руки. А тут пришлось кричать в микрофон без текста, даже без плана, да еще после обильных угощений. Но по мере того, как катушка разматывалась, я с удивлением убеждался, что брошенная в эфир корреспонденция вовсе не плоха, даже точки и запятые оказались на месте, что, признаюсь, не всегда бывает и в моем рукописном тексте.

Мы насладились чтением своих последних военных корреспонденций и возмечтали добраться поскорее домой и завалиться спать. Но... Сколько этих «но» бывает в жизни репортера! Впрочем, может быть, в этих «но» и прелесть нелегкой и беспокойной работы истинного журналиста. На столе дежурного связи брызнул нетерпеливый телефонный звонок. Капитан поднял трубку.

— Да, они оба здесь, товарищ подполковник. И Полевой и Крушинский,— и протянул трубку нам.

Я услышал голос адъютанта командующего подполковника Александра Саломахина, и в комнату, где жужжали и потрескивали телеграфные аппараты «бодо», воспетые Константином Симоновым в корреспондентской песенке, вошла еще одна новость, при которой забылись мечты об отдыхе,— отыскалась богатейшая ювелирная коллекция саксонских королей. Найдена в подвалах старинного замка, возвышающегося над Эльбой, причем найдена при самых романтических обстоятельствах.

Саломахин сообщил, что через полчаса командующий выезжает в этот замок, именуемый Кенигштейн, что в переводе на русский означает «Королевский камень», и если мой «бьюик» в порядке, можно будет к нему присоединиться. В порядке ли «бьюик»? Этот вопрос прозвучал просто кощунственно. Петрович, по выражению Шабанова, ухаживает за своей новой машиной, как старый вдовец за молоденькой невестой.

С узла связи до нашего пристанища мы бежали резвой рысцой и в назначенное время уже топтались у штаб-квартиры командующего, на этот раз помещавшейся в домике управляющего поместьем.

Должно быть, отдохнув и отоспавшись после последних, невероятно напряженных дней и ночей, маршал выглядел, будто бы только что вернулся с курорта. За годы войны мне доводилось видеть его в разную пору: и в дни напряженных боев, и в дни бурных наступлений. Он всегда удивлял офицеров штаба редким спокойствием, которое, вероятно, было лишь выражением сильной, целеустремленной воли. Чем острее была ситуация, как, например, в часы Корсунь-Шевченковского сражения, тем он казался спокойнее, и это его, вероятно, лишь внешнее спокойствие организующе действовало на окружающих.

Теперь кончилась война и с особым интересом смотрели мы на маршала. Каким же он окажется сейчас, в дни мира?

Работы у него, конечно, не убавилось. Первый Украинский фронт в финале войны представляет собой гигантское военное объединение — больше миллиона солдат, десятки тысяч орудий, танков, самолетов. Все это надо было переводить на мирное положение. Тут можно и растеряться. Нет, и в дни мира он все тот же уверенный в себе, только в голубых его глазах, всегда сосредо-

точенных, как бы замкнутых, появился эдакий добродушный юморок.

— Ну что ж, Прагу освободили и теперь вон чем занимаемся. Клады отыскиваем. Кладоискателем стал... Читал ваши опусы... Действия ваши одобряю. А интересная была операция, правда? В некотором роде уникальная. Этот марш-маневр через чешские Рудные горы, а? Рыбалко и Лелюшенко, Жадов и Пухов под занавес великолепно себя показали. Вот там, на Западе, пишут, Гудериан, Паттон. А ведь таких марш-маневров, какие совершили через горы Рыбалко и Лелюшенко, ни немцам, ни американцам совершать не приходилось. Не будет преувеличением сказать, что наши танкисты спасли этот город от разрушения.

Маршал предложил место в своей машине. И сразу взяв скорость, колонна двинулась к Дрездену.

Весна в самом расцвете. Восточная часть города, где был когда-то штаб Родимцева, район вилл, богатых особняков, замков, он весь остался нетронутым. Когда машины, миновав уже наведенные и образцово действующие переправы, ворвались в южную часть города, мы как бы сразу оказались в местности, пережившей жесточайшее землетрясение. Весь центр разрушен и превращен в черные руины. Бесформенными, безобразными грудами камня громоздились бывшие дворцы, музеи, картинные галереи. Все, чем мы когда-то любовались, листая альбом в штабе корпуса Родимцева, все, за что великолепный город этот именовался Северной Флоренцией, все это разрушено.

И сразу как бы померк великолепный весенний день: из царства буйной жизни мы попали в царство разрушения. Проезды между зданиями еще не были расчищены. Машины вынуждены сбавить ход. Страшный смрад сразу окутал нас. Знакомый смрад тления, смерти.

— Здесь под руинами в подвалах, говорят ребята, тысяч полтораста, а то и двести немцев похоронено, — сказал шофер Губатенко, молчаливый донской казак, провозивший маршала всю войну.

— Это верно. Дрезден считался открытым городом, — подтверждает офицер из трофейного управления, человек, хорошо знающий Германию, немцев, которому и принадлежит честь находки ювелирных сокровищ Кенигштейна.— Именно открытый город, поэтому сюда со всей Германии и стягивались, спасаясь, от бомбежек, женщины,

дети. Их размещали в общественных зданиях, подвалах, бомбоубежищах. И вот всю эту массу людей союзники похоронили под развалинами за две ночи. Что только тут творилось! По приблизительным подсчетам бургомистрата, под развалинами похоронено двести тысяч человек.

На руины, что проносились мимо машины, действительно было страшно смотреть. А смрад местами стоял такой, что мы старались задерживать дыхание.

— А я вот все думаю и никак не могу понять,— говорит командующий.— Зачем это англо-американцам понадобилось? Для чего? С какой целью?.. Мы уже успешно наступали. Разгранлинии наступления были четко установлены в Ялте и Тегеране. И не им, а нам предстояло штурмовать Дрезден. И вот эти чудовищные налеты. С военной точки зрения, это нелепость. С общечеловеческой — дикое варварство... Да, возле этих руин есть над чем задуматься... Сколько тут погребено!

Когда машины наконец прорвались через разбомбленный центр города в сохранившийся район богатых особняков, а затем вышли на уже знакомую нам дорогу, лежащую вдоль реки, все вздохнули свободно. Легкие жадно хватали воздух, настоянный соками весенней земли, свежей сыростью эльбинской поймы, ароматами садов. Сады эти буйно цвели за решетчатыми заборчиками, и не было им никакого дела до только что отшумевшей страшной войны. Впрочем, война почти обошла этот приречный край. Тут все было цело, лишь белые простыни, наволочки, полотенца свисали с окон, напоминая о недавней капитуляции.

По пути наш спутник из трофейного управления познакомил нас с «чудом Эльбы», которое предстояло увидеть. Кенигштейн. Королевский камень. Старинный замок. Некогда самый могучий форпост саксонских королей, господствующий над этой пограничной рекой уже много столетий. Это действительно чудо природы. Не гора, не холм, а гигантский камень, возвышающийся над водной гладью. У него отвесные стены высотой в двести метров. Чтобы построить на верху этого камня большой замок, пришлось пробивать в граните террасы дорог. Теперь, по словам нашего спутника, эти могучие сооружения с зубчатыми стенами, с башнями, с дворцами венчают этот камень, будто завитки крема огромный торт.

— На стену этого замка за сотни лет его существования смог вскарабкаться всего один человек,— продолжает рассказ наш спутник.— Это какой-то ремесленник из близлежащего городка. В какой-то праздник он, выпив, похвастал друзьям, что вскарабкается по отвесной стене. И действительно взобрался с южной стороны. Это сделало его чуть ли не национальным героем Саксонии. Люди собрали для него немало денег. Без него с тех пор не обходилась ни одна свадьба, ни одно торжество. А саксонские курфюрсты даже дали ему под старость небольшую пенсию. Его называли «барс Эльбы»...

А вот уже и знакомые копи, в которых были спрятаны сокровища Дрезденской галереи.

— Может быть, остановимся посмотреть?

— Там уже нечего смотреть,— усмехнулся командующий.— Все вывезено в летнюю королевскую резиденцию. Картины стоят на просушке, над ними колдуют реставраторы.

Тут мне вспоминается смешная история, о которой говорили в штабе. Искусствовед Наталия Соколова докладывала командующему о найденных картинах и горевала о том, как они повреждены и как нуждаются в срочном лечении. Сразу озаботившись, командующий ответил, что готов дать свой личный самолет, чтобы немедленно доставить «Сикстинскую мадонну» и несколько наиболее ценных шедевров в Москву для немедленной реставрации. При этом предложении собеседница будто бы побледнела от страха. «Сикстинскую мадонну» на самолете? Да бог с вами! Разве можно ее на самолете! Человечество не простит, если вдруг...» — «Это отличный самолет с опытнейшим экипажем,— ответил командующий, не понимая ее испуга.— Я сам на нем летаю».— «Но вы же маршал, а она — мадонна!» — воскликнула собеседница. Конев засмеялся: «Что верно, то верно, разница действительно есть». Затея с самолетом была отменена. Каким-то образом разговор этот стал достоянием штаба. Теперь, когда речь заходила о каком-нибудь невероятном предложении или предположении, стали говорить: я же маршал, а не мадонна... Когда мелькнули и остались позади теперь уже действительно заброшенные каменные копи, служившие недавно убежищем картин Дрезденской галереи, командующий сказал:

— А ведь, что там ни говори, вовремя мы освободили мадонну из плена. Мне докладывают, что сырость и тем-

пературные перепады серьезно попортили почти все картины. Ну теперь-то они в верных руках. Мы с Иваном Ефимовичем, когда выпадает свободный часок, иногда ездим полюбоваться.

— Это точно. Такого трофея у союзников нет. Говорят, они захватили все золото рейхсбанка, но ни за какое золото все это не купишь,— отзывается ученый трофейщик и добавляет: — Это будет нам достойной компенсацией за музеи и картинные галереи, которые гитлеровцы разрушили, разграбили и сожгли.

Конев оборачивается на переднем сиденье и сурово смотрит на произнесшего эти слова.

— Вы так полагаете?.. А я вот думаю, вряд ли правительство наше на это пойдет.

— Но ведь немцы, сколько они всего награбили.

— Мы не гитлеровцы.

— А Наполеон? Лувр просто-таки трещит от его трофеев. Он ведь тащил с собой, отступая, все сокровища Московского Кремля, а не дотащив, утопил в каком-то озере. А англичане? Сколько они нагребли для своего Британского музея!

— Вот именно, награбили, нагребли. Мы советские воины, а не Наполеон и не английские империалисты,— говорит командующий.— Понятно вам это, товарищ подполковник?

— Да, да, конечно, товарищ командующий, вы безусловно правы,— спешит ретироваться наш ученый спутник. Но отступал он без всякого энтузиазма. Мы-то знали, что, работая над реставрацией полотен и скульптур, поправляя их пораженные места, заклеивая на них пузыри особым пластырем, нежной рукой снимая с них плесень, наши искусствоведы мысленно размещают их в музеях Москвы, Ленинграда, Киева.

— Конечно, было бы справедливо все это забрать,— как бы думая вслух, произносит полководец.— Но ведь все это принадлежало не Гитлеру, а немецкому народу. А ведь еще в труднейший час войны товарищ Сталин сказал: гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Немецкий народ вечен...

Наш ученый спутник поспешил перевести разговор на другую тему и с повышенным энтузиазмом продолжал рассказ о том, что нам предстояло увидеть. После объединения германских земель в середине прошлого века Кенигштейн — этот грозный форпост на Эльбе — потерял

свое военное значение. Его превратили в политическую тюрьму. Туда сажали заключенных, казавшихся кайзерам особенно опасными. Между прочим, здесь некоторое время находился в заточении и русский анархист Михаил Бакунин... Ну, а в эту войну в Кенигштейне Гитлер держал пленных французских генералов.

— Идеальная тюрьма. Практически из нее невозможно было бежать.

— Но ведь один из генералов все-таки бежал,—говорит командующий. Как всегда, он в курсе всех событий, происходящих на вверенном ему фронте. У него блестящая память. Он запоминает и большое и мелочи. Повернувшись к нам, он дополняет рассказ искусствоведа.— Бежал известный французский генерал Анри Жиро. Махровый реакционер, друг и надежда французских кагуляров. Впрочем, «бежал» в данном случае явно не то слово. Гитлеровцы, по-видимому, сами инсценировали его побег, чтобы во Франции появилась фигура, которую они могли бы противопоставить генералу де Голлю.

— Справедливые слова,— спешит присоединиться ученый спутник.— Бежать из Кенигштейна, как я уже сказал, невозможно. Вы увидите, что это такое. Недаром саксонские сокровища из так называемой коллекции «Зеленого свода» гитлеровцы хранили в казематах этой крепости.

Вдали над Эльбой сквозь зыбкую студенистую дымку, поднимающуюся с земли, стало видно это чудо природы. Не гора, не скала, не холм. Даже по-военному высотой не назовешь. Это гигантский вытянутый прямоугольный камень с отвесными гранями, который, как казалось, природа положила на зеленый ковер земли. Могучая река как бы почтительно обтекала его с севера.

— Ну, а сокровища, вы установили, что это такое?

— Конечно. Это всемирно известная коллекция драгоценных предметов, собранных саксонскими королями. О ней есть во всех энциклопедиях. Ее так и называют коллекция «Зеленого свода» [1]. Это не золото, не серебро, не драгоценные и редкие камни. Это предметы высочайшего искусства, вычеканенные или сделанные из золота, серебра, драгоценных и редких камней. Удивительнейшие вещи. Над ними трудились мастера всего мира. Такое

---

[1] Под этим же названием коллекция выставлена в Дрездене и сейчас в особом, специальном музее.

можно видеть разве что в нашем Эрмитаже... Все это было спрятано глубоко в скале, куда вел замурованный впоследствии ход.

— А как ее отыскали?

— О, целая романтическая история. Приключенческий фильм в духе графа Монте-Кристо... В последний день войны наша часть окружила замок. Командир части подполковник Штыков, кстати, умнейший офицер, сразу понял, что штурмовать замок бесполезно. В него можно было проникнуть только по одной выбитой в скале дороге, и дорогу эту, заминированную, опутанную проволокой, один толковый пулеметчик мог оборонять от наступления целого полка. А от жителей подполковник знал, что в крепости около сотни солдат и офицеров под командованием опытного полковника Хессельмана, офицера старой, рейхсверовской школы. Чтобы избежать кровопролития, Штыков привязал к тесаку носовой платок и сам пошел, так сказать, в пасть зверя. Его пропустили. Он предъявил ультиматум о безоговорочной капитуляции. Пока Хессельман со своими офицерами обсуждал ультиматум, Штыков знакомился с крепостью. Из окон одного из зданий до него донеслись голоса, приветственные крики. Кто-то там запел «Марсельезу». Ну мотив, конечно, знакомый. Штыков понял, там французы. И добавил к ультиматуму еще один пункт — немедленно освободить французских военнопленных.

После короткого совещания офицеры гарнизона ультиматум приняли. Гарнизон сложил оружие. Комендант крепости по старинному обычаю торжественно вручил нашему офицеру ключи. Французские военнопленные были освобождены. Отдавая оружие, полковник Хессельман даже заплакал: «Господа, я старый солдат. Я не боялся и не боюсь смерти. Я много раз видел ее в глаза. Но это моя вторая проигранная война. Вторая и последняя».

Вечером наши бойцы отконвоировали капитулировавший гарнизон вниз, в городок, что лежит у подножия камня и тоже называется Кенигштейн.

— А сокровища?

— Кто-то из французских генералов, спасенных нами от возможного расстрела, так как обычно гестаповцы в таких случаях уничтожали пленных, отблагодарил нас. У французов была связь с охранниками из старых служащих. От них они знали, что где-то в глубине скалы

есть подземные казематы, куда по ночам привозили и прятали какие-то ящики. Все это делалось в атмосфере особой тайны. Французы и указали нашему коменданту место, куда эти ящики были спрятаны. Так и была найдена знаменитая коллекция «Зеленого свода»...

Между тем машины уже подошли к подножию каменного прямоугольника, к тому месту, где начиналась вырубленная в скале дорога. Предупрежденный заранее комендант, невысокий, коренастый, крепкий, как гриб-боровик, человек встретил командующего у цепного моста. Загорелый, хриплоголосый, с мохнатыми черными бровями, нависающими над маленькими, широко расставленными глазками, он на первый взгляд, пожалуй, произвел впечатление грубоватого солдафона. И его «так точно, товарищ командующий», «никак нет, товарищ командующий», сопровождавшиеся пристукиванием каблуков, как бы утверждали это первое впечатление. Но оно оказалось обманчивым. Это был умный, тонкий человек, хорошо понимавший и особое положение подведомственной ему территории и всяческие сложности, с которыми его, фронтовика, четыре года не вылезавшего из войны, в ее финале столкнула судьба. По альбомам и туристским буклетом он успел изучить найденные им в казематах коллекции и знал эти произведения искусства даже до того как их извлекли из ящиков.

Когда он вел нас к спуску в подземные казематы, где уже шла разборка и инвентаризация ценностей, он показал ниши, с которых свисали оборванные провода.

— Позвольте доложить, товарищ командующий, вот тут у них была заложена взрывчатка. Саперы говорят, взрывчатка страшной силы. Гестаповский офицер при гарнизоне имел приказ все это в критический момент взорвать. Тогда бы все оказалось погребено под скалой. Но этот полковник Хессельман был честным солдатом — капитуляция так капитуляция. Он не дал гестаповцу произвести взрыв. Тот с досады застрелился. А может, они сами пристрелили его. Труп его мы нашли.

Опускаемся в тьму и сырь подземелья. Мертвый свет карбидных ламп просто-таки вцепляется в глаза, заставляет отвернуться и зажмуриться. Приглядевшись, различаем в полутьме просторную, вырубленную в скале пещеру и в глубине ее у раскрытых ящиков несколько фигур в военном. Перед ними расставлены на полу клады: изящнейшие изделия, мерцающие старинным серебром,

золотом, сверкающие драгоценными камнями: вазы, шандалы, затейливые подсвечники, вычеканенная из драгоценных металлов утварь. И приходят на память образы из каких-то древнегерманских легенд: сокровища, сокрытые гномами от глаз людских... Солдаты осторожно извлекают сокровища из ящиков, а опытные ювелиры определяют их ценность и инвентаризуют тщательнейшим образом, описывая каждый камешек.

Один из этих «гномов» с майорскими погонами как-то очень по-домашнему докладывает командующему:

— Вот, товарищ Конев, удивительнейшее дело, бесценнейшие вещи. Сверяем по спискам и описям и убеждаемся, никто ничего не спер.

— Как идет работа?

— Да ничего идет. Только жутко трудно тут дышать. Чувствуете, какая атмосфера? Вредное производство. Нам бы, как на химических предприятиях, надо в перерыве сливки давать, ей-богу.— Майор смеется своей шутке, и эхо мрачного подземелья отвечает на суховатый его смех.

— А вентиляция?

— Здесь ее и не было. Видимо, подземелье вырублено в какие-то древние времена. Гитлеровцы только лифт оборудовали... В соседнем каземате у них старинное оружие и снаряжение. Все эти копья, мечи, латы, шлемы, все ржавое. Не хотите ли посмотреть?

Майор зажигает электрический фонарик, и тот выхватывает из тьмы стоящие вдоль стен железные фигуры пехотинцев и всадников, действительно рыжие от ржавчины, которая в свете фонарика кажется даже кровью.

— А какой мелкий народ в то время был,— шепчет мне на ухо адъютант маршала подполковник Саломахин.— На меня и то тут ничего не подберешь.— Подполковник маленького роста и довольно щуплого сложения. Мы в Кракове уже раз удивлялись в замке Вавель, что средневековые воины, которых мы почему-то привыкли представлять себе гигантами, были совсем небольшого роста. Железное воинство Кенигштейна как бы подтверждает эту истину.

Уточнив вопрос охраны и эвакуации ценностей, командующий поднимается наверх. Комендант, оказавшийся, как я уже говорил, не только культурным, но и любознательным человеком, интересно рассказывает о крепости, которую он досконально изучил, показывает

корпус, где сидели французские генералы, кричавшие в окошко «вив Красная Армия!» и певшие от радости «Марсельезу», показывает уникальный колодец, выдолбленный в скале средневековыми шахтерами, колодец глубиной более двухсот метров...

Чтобы мы оценили эту глубину и величие работ средневековых шахтеров, он просит нас засечь по часам время и выплескивает в колодец из кувшина воду. Пока вода долетает до дна и пока шум всплеска доходит до наших ушей, проходит шестнадцать секунд.

— Здесь ведь и наш Петр Алексеевич побывал. Он не поверил, что колодец так глубок. Достал моток ниток и опустил туда камень. Все вышло правильно. Двести метров.

— Простите, какой это Петр Алексеевич? Кто он?

— Да наш Петр I, его еще Великим величали.

Смотрим все эти диковинки, и фраза, сказанная майором в подземелье каземата, не выходит из ума: удивительное дело, никто ничего не спер. Эта фраза как бы перенесла меня обратно через четыре года войны, из этого тайного хранилища сокровищ саксонских королей, из буйной и яркой эльбинской весны в наши верхневолжские леса, в лютую зиму сорок первого года, в отбитый у противника блиндаж, где так же вот специально на то уполномоченные, тогда еще генералом Коневым, офицеры инвентаризовали мешок с драгоценностями, попавший к нам тоже самым романтическим путем. Это были ценности, эвакуированные из рижского банка, которые не удалось довезти до Москвы. Поезд разбомбило. И вот восемнадцатилетняя девушка, банковская машинистка, и старик кассир, первоначально не пожелавший эвакуироваться, понесли эти ценности по немецким тылам вслед за отступающими частями Красной Армии.

Прошли пешком более пятисот километров. По дороге разные люди принимали участие в спасении ценностей. Мешок не раз переходил из рук в руки и, наконец, в целости и сохранности был перенесен через фронт. Пораженные этим случаем, мы с корреспондентом Совинформбюро Александром Евновичем стояли перед столом, на котором горкой лежали драгоценности, и слушали, как скучным голосом безрукий банковский служащий диктовал опись: «Колье белого металла с тридцатью пятью бриллиантами...» А на двухэтажных нарах лежали трое партизан, принесшие эти ценности. Девушка с обморожен-

ным лицом и огромными голубыми глазами на верхних, и два парня на нижних нарах. И вот тогда-то и услышал я от офицера-чекиста, принимавшего участие в инвентаризации, почти такую же фразу: а ведь самое удивительное, ничего к рукам по дороге не прилипло, все цело, никто ничего не спер... Теперь все повторялось в иных условиях и в ином, конечно, масштабе.

Я напомнил командующему давний эпизод, происшедший когда-то на Калининском фронте.

— Что-то я это запамятовал, — ответил он. — Ну мало ли такого было в войну. Золото. Что оно, золото? Красивый металл. Говорил же Ленин, что когда-нибудь им нужники будут покрывать... А вот душа человеческая — это ценность, настоящая ценность.

ПРАЖСКОЕ ГОСТЕВАНИЕ

Этот необычный, столько вместивший в себя день начался очень курьезно. Вчера меня известили, что президент Чехословакии Эдуард Бенеш устраивает в Праге прием в честь армии-освободительницы. Нам вручили приглашения с чехословацким гербом, оттиснутым на плотной веленевой бумаге. Под приглашением мелким курсивом было набрано: форма одежды парадная, ордена.

Поскольку мы уже имели некоторый опыт в международных общениях в день моего мимолетного дуайенства, эта приписка нас не смутила. Чей-то китель и щегольские коверкотовые бриджи с кантом позаимствовал на денек в походной мастерской военторга. У знакомых штабистов раздобыл комплект своих регалий, и Устинов опять увековечил меня в столь необычном, торжественном виде. Впрочем, все сияли регалиями, скрипели подошвами необношенных сапог, звенели медалями, и только Крушинский отверг дипломатические условности и гордо заявил: по одежде встречают, по уму провожают. Уселись в «бьюик» и за час с небольшим прикатили из-под Дрездена в Прагу.

Когда впервые я очутился в чудесном этом городе, цвела только черемуха, а листья на липах сохраняли девственно желтый оттенок. Теперь город оккупировала весна, вдоль дорог цвели яблони, груши. Целые облака сирени окутывали Градчаны, и здание Града, увенчива-

ющее величественный холм над Влтавой, казалось, прямо вырастало из цветущих кустов. Хороша, очень хороша была Прага в этот день. Баррикады были убраны, стекла вставлены, окна освобождены от перекрещивающих их бумажных полос. Только изъязвленные осколками и пулями стены да букеты цветов, лежавшие прямо на тротуарах там, где был убит тот или иной повстанец, напоминали о прошумевшей над городом буре восстания, свидетелями которого нам с Крушинским довелось быть...

Так вот, день этот начался курьезом. Мы подкатили прямо к комендатуре, чтобы определиться на жительство, ибо в штабе нас предупредили, что с гостиницами в городе плохо. Нам выписали ордер в самую роскошную гостиницу «Алькрон».

Гостиница действительно оказалась отличной, но набита была, как Ноев ковчег, ибо вернувшиеся в Прагу посольства разных стран пока еще не обзавелись собственными особняками и потому обитали преимущественно в этой гостинице. Портье, похожий на благородного лорда из какой-нибудь довоенной кинокартины, скромно сообщил, что мы можем с ним объясняться на любом из европейских языков. Изучив наше направление из комендатуры, сказал: «Ано, ано, мне уже звонили». Сказал, что подполковнику Полевому и капитану Крушинскому придется жить вместе, а для старшины Петровича будет отведена особая комната. И вручил два ключа.

Не знаю уж, как обстояло у портье дело с другими европейскими языками, но русский его все-таки подвел, хотя объяснялся он на нем довольно сносно. Видимая близость славянских языков вещь чрезвычайно коварная. Одинаково звучащие слова, как мы уже не раз убеждались, часто означают разные понятия. Помню, еще в дни Словацкого восстания симпатичная девушка-гимназистка поразила меня восклицанием: «Какой у вас красный живот!» Лишь впоследствии, когда я прислушался к языку, я понял, что восхищение относилось не к моему животу, а к красивой жизни советских людей. Тут вышло нечто подобное. Мы поднялись к себе на верхотуру и с печалью убедились, что в роскошных отелях бывают каморки, подобные той, в какой в «Ревизоре» жили Хлестаков и Петрушка. И пахло в ней соответственно. Когда же мы распахнули окно, чтобы освежить атмосферу, из него поплыла густая угольная гарь с примесью кухонных запахов, валившая из трубы.

А через несколько минут ввалился Петрович. В куртке и фуражке из кожи, с кожаными перчатками в руках, он напоминал авиатора времен первой мировой войны. Осмотрел критически нашу комнату, пошмыгал носом.

— Бедно живете, паны достойники.

— А ты?

— Во! — и он поднял вверх толстый большой палец, с которого никогда не смывалось смазочное масло.— И комната во, и ванная во, и уборная во! Сиди себе и пускай водичку, а кругом дипломаты. Рядом со мной какая-то испанская дамочка, во! — И опять большой палец был поднят вверх.— Эта Кармен на меня так поглядела...

Мы с Крушинским переглянулись. При всех своих многочисленных достоинствах Петрович был мало приспособлен для жизни в дипломатическом сеттельменте гостиницы. Решили перебазироваться к нему, и уже втроем шумели водичкой и пользовались другими благами гостиничной европейской цивилизации. Пользовались и недоумевали, за что нам оказана такая дискриминация. Оказалось, подвела все та же близость языков. Услышав из комендатуры, что прибывает некий военный Старшина в сопровождении двух офицеров довольно высокого звания, портье прикинул в уме, раз при Старшине в адъютантах подполковник и капитан, значит, крупная птица. И поместил Старшину рядом с дипломатами.

Впрочем, все это было чепухой и сразу же забылось, как только мы очутились на улице в празднично одетой толпе. Тут, возле отеля, натолкнулись на американских корреспондентов, приезжавших когда-то к нам на фронт. И дуайен корреспондентского корпуса армейской группы генерала Брэдли был среди них.

— О, Борис! — воскликнул он, и мы обнялись на улице Праги, как добрые знакомые.

Наши западные коллеги оказались даже более осведомленными о сегодняшнем празднике. Оказывается, через час на Староместской площади перед зданием сожженной немцами ратуши состоится торжественное посвящение Конева в ранг почетного гражданина столицы Чехословакии. И только потом состоится прием в «Испанском зале» Пражского Града, на который мы были приглашены.

Иноземных коллег по-прежнему интересовала личность маршала. Правда ли, что он учился в царской академии генерального штаба? Правда ли, что был офицером в армии Брусилова? Действительно ли он сын крупного землевладельца русского Севера, спрашивал меня Осип-Джо, и пятна крупных веснушек как-то особенно выделялись на его возбужденном лице.

— Скажите, Джо, откуда у вас такие сведения? Ведь биография маршала не составляет секрета. Она, наверное, известна и у вас, и в ваших штабах безусловно.

— Историю пишут люди. И каждый старается писать ее так, как ему выгоднее,— с убеждением ответил Осип-Джо.— Как вы полагаете, не будет бестактным, если мы зададим ему эти вопросы?

— Ну что ж, задавайте. Предоставите ему возможность посмеяться над вами.

— А вы серьезно думаете, что это прозвучит смешно?

И вот Староместская площадь, запомнившаяся мне в первый визит больше, чем любой другой уголок Праги. В тесно стиснувшихся средневековых постройках, как выбитые зубы, темнеют разбитые и выгоревшие дома. От руин сожженной ратуши еще тянет горькой гарью. Все так же раскачивается на проволочке маленький скелетик перед циферблатом разрушенных старинных часов. Но площадь заливает празднично одетая толпа, облепившая даже памятник Яну Гусу так, что великий чех грустно выглядывает из-за шляп и фуражек.

Вдруг к нам протиснулся тот самый фотограф, с которым мы познакомились на этой площади, когда над ней еще свистели пули. Он достал откуда-то из глубин кармана черный пакет:

— То есть вам, пан достойник... Как это — на паментку?

В пакете были фотографии. Какие фотографии! В этих «зафиксированных мгновениях истории», как любит выражаться капитан Устинов, действительно была запечатлена та радость, с какой население этой страны встретило Красную Армию. Даже была как бы проиллюстрирована старая легенда о том, что счастье и свобода придут к чехам, когда русский казак напоит своего коня во Влтаве — был снят боец из казачьей части, действительно поящий коня у одного из пражских мостов. И древние часы, разбитые нацистским снарядом, были сняты — мы как раз стояли теперь под ними. Я хотел

поблагодарить коллегу, но его уже не было. С отчаянием пловца, бросающегося в холодную воду, он ринулся в гущу толпы, поднимая свой «контакс» на вытянутых руках.

В это время площадь зашумела, содрогнулась от криков, от шумных приветствий, и толпа как бы раскалывается, освобождая путь веренице автомобилей. На первом из них в открытом «ландо» маршал Конев и бывший командующий 1-м Чехословацким корпусом, ныне военный министр, седовласый красивый генерал Людвик Свобода.

Машина медленно прокладывает себе дорогу в толпе, а в приветственных криках, сотрясающих площадь и близлежащие улицы, русское «ура» смешивается с чешским «наздар». Машина подъезжает к сохранившемуся куску ратуши. Стена завешена полотнищем. Вот полотнище снято, а за ним оказывается доска, на которой на двух языках, на чешском и на русском, значится, что командующий Первым Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев получает почетное гражданство столицы Чехословакии Праги.

Что тут только поднялось! Всеобщее ликование просто сотрясает стену. Кажется, что Ян Гус, едва виднеющийся из-за шляп и пестрых платков женщин, тоже что-то кричит.

Ну а потом, после вручения маршалу грамоты и средневековых атрибутов почетного гражданина, как-то сама собой тут же у временной трибуны возникает пресс-конференция. Инициатором ее, конечно, является Осип-Джо. На правах старого знакомого он задержал маршала на последней ступеньке трибуны. Его хотели было оттеснить, ибо пресс-конференция программой не была предусмотрена, но маршал, военачальник с комиссарской душой, вступается за корреспондентов. Почему бы и не ответить на их вопросы? Энергичные западные коллеги совсем оттесняют нас. Надо всеми маячит рыжая голова Осипа-Джо, огромные его веснушки прямо-таки чернеют на возбужденном лице.

— Господин маршал, чему вы обязаны столь убедительным успехом армий, находившихся под вашим руководством, в особенности в последний месяц войны?

— Правда ли, что в молодости вы были офицером старой русской армии?

— Когда и где вы получили военное образование?

Осип-Джо не послушал нас, задал-таки свои вопросы. Нас же очень интересовало, как поведет себя Конев. Знали и помнили, чем кончились попытки некоторых наших слишком уж предприимчивых коллег выспрашивать у него то, о чем ему говорить не хотелось.

Его широкое лицо, которое мне приходилось видеть спокойным даже под артиллерийским обстрелом, было, как всегда, замкнутым. Но в глазах играла нескрываемая усмешка.

— Позвольте, господа, мне сразу ответить на все ваши вопросы,— произнес он.— Я сын бедного крестьянина и принадлежу к тому поколению советских людей, которые встретили Октябрьскую революцию в молодые годы и навсегда связали с ней свою судьбу.— Он сделал паузу, давая возможность корреспондентам все это записать. Импровизированная пресс-конференция развертывалась по всем правилам.— Военное образование у меня наше, советское. Успехи фронтов, которыми я командовал, неотделимы от общих успехов Красной Армии. А этими успехами я обязан тому, что мы, идя через нечеловеческие испытания и трудности, познали ни с чем не сравнимое счастье бороться за дело Ленина, служить своей социалистической Родине и Коммунистической партии, в которой я имею честь состоять с 1918 года... Мы, советские люди в солдатских шинелях, всеми своими корнями связаны с жизнью нашего народа. Мы боролись за наши идеи, в этом наша сила. Была. Есть. И будет... Благодарю и до свидания.

Маршал вместе с военным министром подошел к открытому автомобилю, а корреспонденты, записывая короткий его ответ, поотстали. Когда окончили записи, автомобиль, над которым возвышались фигуры маршала и военного министра, уже как бы уплывал над шумной, ликующей толпой.

— Почему он нас покинул, почему он так скуп на слова? Наши военные, наши политики, даже самые большие, очень дорожат вниманием прессы,— говорил несколько обескураженный Осип-Джо, и на пестром его лице изображалось неподдельное огорчение.— Моя редакция хочет напечатать биографию Конева и интервью любого размера. Любого размера. Это ведь очень редко заказывают. А я вместо гуся подам на стол лишь несколько перышков из его хвоста... Всего несколько слов для мировой пресы! Не понимаю.

А вот мы с Сергеем Крушинским по достоинству оценили и правдивость, и искренность этого ответа. Лаконичность его истекала прямо из полководческого характера маршала, из стиля его жизни. Но как же это объяснить Осипу-Джо, хорошему парню из иного мира, хранящему о России смутные детские воспоминания и совершенно не знакомому с характером советских людей?

Снова встретились мы с нашим американским коллегой уже на приеме в «Испанском зале» Пражского Града. Он снял свою форму, был в смокинге. Галстук-бабочка восседал на его крахмальном пластроне. Он сейчас же дал нам несколько интересных сведений и о Градчанах, и о зале, в котором мы очутились, сведений, свидетельствующих о том, что к такого рода событиям наши коллеги серьезно готовятся.

Град для чехов, как наш Кремль для русских, был святым местом, на котором как бы перекрещивались все линии их истории. Именно сюда, в президентский дворец, после оккупации Праги вселился гитлеровский сатрап Гейдрих, которого потом казнили чешские патриоты. Там же жил потом его преемник Франк, проводивший в Чехии жестокий коричневый террор. Как рассказал Осип-Джо, когда Красная Армия приблизилась к границам Чехословакии, гитлеровцы отпечатали плакат: сапог советского солдата навис над Градчанами, готовый раздавить центр Града — храм святого Вита. Пражане на этот плакат реагировали со свойственным им юмором. Его не срывали и не заклеивали, как это делали с другими гитлеровскими плакатами и воззваниями. Просто писали поперек него по зданиям Града: «Мы здесь не живем». Рассказав об этом, Осип-Джо порылся в кармане смокинга и извлек оттуда снимок плаката с соответствующей надписью. Потом достал немецкую оккупационную банкноту в десять корун, на которой был изображен тощий, очень неприятного вида подросток, как оказалось, сын гитлеровского верховного комиссара Гейдриха.

Сейчас над дворцом развевался трехцветный штандарт Чехословацкой Республики и хозяин дворца, маленький проворный человек, Эдуард Бенеш, которого до войны мы знали больше по карикатурам Бориса Ефимова и Дени, готовился к своему первому приему после войны. Думается, что со времен австрийской императрицы Марии-Терезии, любившей, по рассказу все того же всезнаю-

щего Осипа-Джо, давать шикарные балы в столицах вассальных земель, в зеркалах этого зала не отражалось столько необыкновенных гостей. Дамы дипломатического корпуса, едва ли не самого многочисленного в послевоенной Европе, блистали туалетами, подлинными или фальшивыми драгоценностями, поражали необозримостью своих декольте. Мужчины гремели накрахмаленными манжетами. Слышалась разноязыкая речь.

И в эту разряженную толпу были замешаны наши офицеры, герои сражений у Дукли, танкисты армий Лелюшенко и Рыбалко, наиболее отличившиеся командиры армий Жадова, Гордова, Пухова. Их лица, покрытые фронтовым загаром, их наскоро выглаженные и припахивающие бензином кителя создавали резкий контраст с западной дипломатической толпой. Особой группой, не смешиваясь с остальной публикой, как вода не смешивается с маслом, стояли участники Словацкого восстания, партизаны, мои старые друзья, которые, углядев нас с Крушинским, позабыв всяческие этикеты, принялись нас обнимать, целовать, и подняли в своем углу такой шум, что вызвали удивленный взгляд президента и строгий взор нашего командующего.

Освободил меня из этого партизанского плена адъютант президента, объявивший, что сейчас будут вручать ордена Республики военачальникам и командирам Красной Армии, отличившимся в боях за Чехословакию. Совершенно неожиданной была весть, что и мне предстоит получить орден. Эта новость так удивила, что я с сомнением и недоверием посмотрел на офицера.

— Шутите?

Он недоуменно взглянул на меня и пояснил:

— Из военных корреспондентов награждены Константин Симонов и вы.

— Симонов? Он здесь?

— Ну да, конечно, вон он возле президента. Разговаривает с дамой в розовом. Вы разве его не знаете?

Константин Симонов! Ну кто же из военнокорреспондентской братии не знал этого человека, не завидовал ему, читая в «Красной звезде» его репортажи, очерки, свежие, интересные, проникающие в глубь войны, помогающие осмысливать ее. Кто из нас, когда находил лирический стих, не декламировал «Жди меня». И конечно же, кто из нас не знал шуточных, весьма соленых рифм-ловушек, мгновенно распространявшихся по фронтам, как

мы говорили, от Белого до Черного моря, этих шуточных четверостиший, сочиняемых Сурковым и Симоновым? Но сказать, что знаком с Симоновым, я не мог. Все как-то выходило, что действовали мы на разных фронтах и лишь однажды во время бурного наступления Второго Украинского фронта по холмам Молдавии пути наши перекрестились на вечеринке в редакции фронтовой газеты. Перекрестились ненадолго, на один вечер.

А на нашем фронте он появился лишь на днях. Появился тихо. Просто однажды у дома, где обитали военные корреспонденты «Красной звезды» майор Михаил Зотов и капитан Фаддей Бубеннов, утром вдруг оказалось роскошное «ландо» ядовито-яичного цвета.

— Чье? — поинтересовался я.

— Константина Симонова,— с чувством отрапортовал Петрович. Оказывается, он уже успел осмотреть это чудо автомобильной техники. Оно произвело впечатление.— Во, какие у людей машины... Блеск,— не без вызова заключил он.

Но в части Симонов уехал на каком-то более подходящем транспорте, и с владельцем ослепительного «ландо» увиделись мы лишь здесь, в «Испанском зале» Града. Подойдя к нему, я на всякий случай отрекомендовался. Он удивленно посмотрел на меня и, мило грассируя, сказал:

— Стаик, стаик, мы же знакомы... Помнишь Моудавию? Какие-то там Фалешты или Фотешты... Хорошее винцо быо, помнишь?..

А между тем началось вручение. Велось оно быстро, просто. Президент брал из рук статс-секретаря орден, протягивал награжденному вместе с «кавалерской грамотой», свернутой в трубочку. Были вручены высшие ордена Чехословакии маршалам Коневу и Малиновскому, генералам Еременко, Рыбалко, Лелюшенко, Пухову, Москаленко, Жадову, Гордову, Кравченко и другим. В конце дошла очередь и до нас. Симонов получил орден Белого Льва. Мне вручили боевой Бронзовый крест.

Очень неудобная штука эта «кавалерская грамота». Свернутая в трубочку, хранится в длинном круглом футляре, который в карман не сунешь, приходится все время держать в руках, как некий маршальский жезл, а тут еще идет угощение малознакомым нам способом а-ля фуршет, при котором и есть и пить надо стоя.

Если наши военные гости чехословацкого президента

быстро освоились с ослепительной роскошью «Испанского зала», влились в необыкновенную среду, смешались с ней, то с этим самым а-ля фуршетом дело было куда хуже. В наступлении солдат умеет есть на ходу, а вот стоя орудовать ножом, вилкой да еще балансировать при этом наполненным бокалом, это умение давалось плохо. Говорились всякие хорошие речи, провозглашались здравицы, а ну-ка попробуй поаплодируй на хороший тост, когда в одной руке у тебя тарелка с едой, а в другой бокал.

Даже со знаменитым танковым командармом Рыбалко человеком бывалым, произошел казус. Уклонившись от новой шумной встречи с партизанами, я пришвартовался к нему. Он стоял в сторонке от общего кипения, окруженный командирами-танкистами из славного Чехословацкого корпуса, с которыми ему не раз приходилось взаимодействовать в боях. Все с интересом рассматривали орден Белого Льва, только что полученный командармом. Это крупный красивый орден, в центре которого вычеканен вставший на дыбы лев, очень мужественный лев, с весьма отчетливо обозначенными мужскими признаками.

— А знаете, друзья, этот орден, пожалуй, нельзя надевать при дамах. Рискованно,— пошутил командарм.

Чехословацкие танкисты засмеялись, но командир танкового полка очень серьезно ответил:

— Наоборот, товарищ командарм, при дамах-то его и следует надевать.— И совсем уже всерьез добавил: — Что же вы ничего не кушаете? Что вам положить на тарелку?

И тут командрам вдруг увидел на столе грибы. Чудесные соленые рыжики, точно отлитые из позеленевшей старой бронзы. Ему положили этих грибов, и, к общему нашему удивлению, он налил себе стопку водки. Мне вспомнился разговор во время танковой атаки в Силезии, когда он неожиданно угостил меня каким-то морсом. А тут водка.

— Ничего не поделаешь, рыжик требует соответствующего сопровождения,— пояснил он.

Вот рыжик-то нас и погубил. Возле командарма, грудь которого вся сверкала орденами, стояла статная, очень красивая женщина с розой в высокой прическе, поддерживаемой черепаховым гребнем. У нее было весьма смелое декольте. Сзади оно достигало максимального

уровня. Красавица, постреливая любопытными взглядами из-под длинных ресниц, стояла к нам вполоборота, так что мы могли по достоинству оценить ее лебединую шею, мраморную спину и все остальное... Так вот рыжик, который Павел Семенович, непривычно балансируя с тарелкой, попытался поддеть на вилку, выскочил из-под вилки, описал небольшую траекторию и угодил в глубокий вырез декольте испанской красавицы, которая, как оказалось, была женой мексиканского атташе. Что уж там подумала эта дама, неизвестно, но только подняла страшный визг. Мы стояли оцепенев. Командарм, человек, известный своей выдержкой, храбростью, совсем растерялся. Он бормотал извинения, показывая на рыжики на своей тарелке. На его высоком, сократовском лбу выступила даже испарина. Лишь после того, как один из чешских офицеров, говоривших по-французски, кое-как объяснил даме суть происшествия, она успокоилась. Удалилась, а когда нахальный гриб был извлечен, она как ни в чем не бывало вернулась в зал, обаятельно улыбнулась, протянула смущенному Павлу Семеновичу карточку пригласительного билета и потребовала, чтобы столь знаменитый генерал, которого она назвала советским Гудерианом, оставил ей на память свой автограф. Когда он выполнял эту просьбу, ей-богу, мне показалось, что рука храбрейшего человека дрожала.

КОГДА ЗАЦВЕЛА СИРЕНЬ

Когда в последний раз я прощался с Москвой, жена была еще в родильном доме. Что там говорить, прощался я с грустью. Нелегко расставаться с семьей, даже не поцеловав жену, подарившую тебе дочку, и повидав эту дочку только через стекло. Мой старый друг, бывший военный корреспондент Союзрадио Павел Кованов, ныне работающий в Москве, и жена Александра Шабанова, коренная москвичка, вызвались стать крестными новорожденной. Обещали пошефствовать над женой и над малышкой.

Вот тогда-то, мучаясь родительской тоской, я и задал нашему начальнику военного отдела генералу Галактионову, напутствовавшему меня в эту «последнюю», как он выразился, командировку, глупый вопрос: когда же, по его мнению, закончится война? Генерал — зна-

ток военной истории. И он ответил мне словами Фридриха II: «Когда зацветет сирень».

И вот сирень буйно цветет в замковом парке под Дрезденом, сирень разных цветов и оттенков, и сиреневая, какой ей полагается быть, и фиолетовая, и сизая, и белая. Целые клубы этой белой сирени прямо-таки вкатываются в окна домика замкового пастора, где обитает пресса. Крупная, махровая, напоминающая разваренный рис. Вот в эту-то пору, на грани лета, и пришла к нам телеграмма генерала Галактионова, предписывающая Сергею Борзенко и мне завершать дела в штабе фронта и машинами выезжать в Москву. В адресе не были обозначены наши воинские звания, в подписи слово «генерал» отсутствовало. Мы поняли, что мы перестали быть военными корреспондентами и переходим на мирное положение.

Прочтя эту телеграмму, я взыграл духом: скоро, через несколько дней, увижу жену, маму, сына, а главное, дочку, которую на семейном совете, состоявшемся при участии крестных, уже нарекли Аленой. По сказочным канонам Аленушке полагалось быть русой, светлоглазой. Дочка же, как явствовало из писем жены, была черноволосой смуглянкой. Очень, очень хотелось поскорее ее повидать. Вот так бы бросил сейчас все и полетел в Москву. Но сразу сделать это нельзя. По военным обычаям еще предстояло, так сказать, представиться начальству по поводу отъезда.

Начал с начальника политуправления генерала Яшочкина и члена Военного совета генерала Крайнюкова, которых от души поблагодарил за умную помощь, неизменную отзывчивость к нашим корреспондентским делам и заботам. Немного бы мы преуспели, если бы эти генералы, так сказать, держащие руку на пульсе фронтовой жизни, не помогали нам советами при выборе тем.

Потом направил свои стопы к генералу армии Петрову. Пришел к нему в горячее время. Сочинялось донесение в Ставку, которое по-прежнему еще называлось боевым. В штабе это, так сказать, час священнодействия. И отрывать в такую минуту штабных офицеров от дела рискованно. Но генерал урвал-таки время. Он был, как всегда, приветлив. Начал с того, что поделился интересной новостью: обнаружено еще одно хранилище предметов искусства. Заброшенная шахта. Полотна и скульптуры свалены там наспех, кое-как.

— Вы понимаете, Борис Николаевич, Лука Кранах, Брейгель, великолепные старые голландцы, все лежало навалом... И что особенно важно, даже трогательно, ведь сами немцы указали нам этот клад. Пришли в военную часть двое, местный учитель и пастор: спасите, произведения искусства, могут погибнуть... Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы уже завоевали доверие населения. Это начало нашей второй победы... А Дрезденскую галерею мы второй раз спасли, целый взвод реставраторов над ней хлопочет. Все, все восстановим. Мы с Иваном Степановичем в свободную минуту туда иной раз ездим. Душой отдыхаем. Съездите-ка и вы, сударь мой, обязательно съездите, полюбуйтесь на прощание на эти чудеса...

С командующим прощание получилось необыкновенно сердечным. Первый раз за четыре года знакомства увидел я маршала в домашней одежде. Впервые говорили мы с ним не на военные, а на житейские темы. И разговор этот, тоже впервые, держали за обеденным столом.

Вспомнили освобождение Калинина, битву на Курской дуге, тяжелые дни Корсунь-Шевченковского побоища и невероятное по сложности и тяжести наступление по непролазным грязям Южной Украины, через Молдавию, вспомнили бросок за Прут. Так мы дошли в своих воспоминаниях до дорожного указателя во Львове. До того самого, где на стрелке обозначено «До Берлина 896 километров» и где остряк солдат оставил столь оптимистическую и образную надпись.

— А ведь прав был. Дошли. Еще как дошли-то... Жаль, фамилии автора надписи не знаем... Наградить бы его, честное слово.— Лицо командующего, обычно суровое, собранное, смеялось и ртом, и глазами, и всеми морщинками у глаз.— Вот ведь придумал-то.

896 километров! Этот путь войска фронта, непрерывно наступая, преодолевая сильнейшие укрепленные полосы, форсируя большие и малые реки, прошли менее чем за полгода. А охват Берлина? А только что закончившийся поход и освобождение Праги, этот последний мощный аккорд, завершивший войну?

Да, ему было что вспоминать, полководцу Ивану Коневу, сыну крестьянина-бедняка из Вологодской губернии, солдату первой мировой войны, одному из старейших армейских большевиков.

И тут за беседой вдруг припомнились мне давние его слова, сказанные в моих родных тверских краях, в заснеженной избе, заметенной до самых оконниц. Он, тогда еще генерал-полковник, командующий молодым Калининским фронтом, только что закончил диктовать мне статью об освобождении моего родного города Калинина, первого из освобожденных областных городов. Это, в сущности, и было нашим первым знакомством. И очень понравился мне тогда немногословный, суровый, сравнительно молодой еще генерал. Мелькнула мысль написать о нем очерк. Я тут же сообщил ему эту свою, признаюсь, не очень зрелую мысль. Сообщил и был не рад.

«Глупости,— резко прервал он меня.— Кто о живых военачальниках во время войны пишет?.. Вот возьмем Берлин, кончим войну, пожалуйста, если к тому времени живы останемся. Пишите сколько угодно. А сейчас кому это надо?»

Я прикинул тогда расстояние от Калинина до Берлина. Да, было далековато. Но мысль об этом будущем очерке не оставлял всю войну, как и мечту дать когда-нибудь корреспонденцию о взятии столицы нацизма. И вот теперь я напомнил командующему о разговоре, состоявшемся у нас, на Верхней Волге.

— Как, теперь можно?

— Если считаете нужным, пишите,— сказал он, явно отводя разговор от этой темы. И принялся рассказывать о том, как когда-то он, в ту пору комиссар стрелковой дивизии, ехал вместе с другим комиссаром, партизанским комиссаром Александром Фадеевым, по подпольной кличке Булыга, в одном купе из Читы в Москву на X съезд партии. И как они оба, подружившись в длинной дороге, два молодых человека с едва пробивающимися усами, но уже имеющие опыт гражданской войны, прибыв на съезд, они сразу же отправились со многими другими делегатами в Питер на подавление Кронштадтского мятежа.

Обычно скупой на слова, привыкший точно, лаконично выражать свои мысли, Конев неторопливо вспоминал о том, как в Питере перед штурмом разошлись их пути с Фадеевым: Конев как артиллерист ушел командовать батареей на знаменитый в ту пору мыс Лисий нос, а Фадеев с пехотинцами отправился по льду на крепостные редуты. И как потом вместе с другими делегатами они, вернувшись после победы в Москву на съезд, слу-

шали Владимира Ильича, который повторил тезисы своего доклада специально для тех, кто выезжал на штурм Кронштадта.

Все это было интересно, и по репортерской своей привычке я достал из планшета блокнот. Но тут произошло мгновенное преображение. Рассказ оборвался короткой фразой:

— ...Вот так мы с Фадеевым и повоевали.— Огоньки в голубых глазах затухли. Передо мной опять сидел собранный, сосредоточенный, точно бы застегнутый на все пуговицы полководец.

— Так как же насчет очерка?

— Ладно, потом, потом... Вы же еще вернетесь к нам в Центральную группу войск? Вот тогда и поговорим [1].

Прощание происходит как бы в два этапа. Сначала он жмет руку и официальным голосом произносит:

— Благодарю за службу.

Потом обнимаемся, и уже другим, дружеским голосом произносятся слова:

— Ну до свидания, мой старый боевой друг.

Сказал будто орден прицепил. Недешево стоит такое в устах этого сдержанного маршала-солдата.

А в нашем пасторском домике, бывшем пресс-резиденцией, прощаться не с кем. Он почти пуст, этот уютный домик, где в последний месяц написано столько корреспонденций для разных газет. Корреспондентская братия, не привыкшая к буколической тишине цветущих садов, в поисках материалов разлетелась по разным странам Европы. Звездовцы, тихий, деликатный Миша Зотов и огромный, громозвучный Фаддей Бубеннов, отправились в Прагу. Наш мудрец, автор многих шуток и розыгрышей Виктор Полторацкий с фоторепортером Андрюшей Новиковым, кажется, путешествуют по Австрии, а может быть, уже махнули во Львов посмотреть на свое пустое и разграбленное пепелище на тихой улице с поэтическим названием улица Листопада и положить цветы на могилу Павла Трошкина. Мой добрый напарник из «Правды» Саша Устинов путешествует по Польше. Словом, из всей нашей дружной корреспондентской семьи, прошедшей вместе все восемьсот девяносто шесть

---

[1] Несколько месяцев спустя, уже в Австрии, такой разговор действительно состоялся, и результатом этого разговора стал очерк, а потом уже и книга «Полководец».

километров от Львова до Берлина, на месте только один Саша Шабанов. Остался, как он выражался, «греть пасторскую перину» в нашей пресс-резиденции. У него что-то неладно с вестибулярным аппаратом, и он избегает быстрой и длительной езды.

Впрочем, и с ним не приходится прощаться.

— До Берлина я уж, так и быть, вас провожу. Все-таки, как-никак, теперь родственники, — говорит он, намекая на то, что жена его стала моей кумой.— Только, Петрович, уговор,— больше шестидесяти километров не давать.

— Яволь, герр майор,— отвечает Петрович, вытягиваясь и звонко стукая каблуками на немецкий манер. И, открывая перед Шабановым дверцу «бьюика», приглашает: — Битте дритте.

Произнесенные слова — полная абракадабра. Но выговаривает он их так по-немецки, больше того, с саксонским выговором, будто они действительно что-нибудь означают. Вообще, надо сказать, во время наших скитаний по Европам Петрович обнаружил удивительный лингвистический дар. Не зная, по существу, ни одного иностранного языка, он ухитряется каким-то неведомым образом объясняться и с поляками, и с чехами, и с немцами. Часто для таких объяснений служит ему лишь одно слово, но при его предприимчивости и хитром уме оно дает ему возможность вести целые диалоги с местным населением. При объяснении с немцами у него таким словом является «зо». Произнося его в разных интонациях, он употребляет его и как выражение согласия, и как вопрос, и как «я все понял», и как «ну, мол, а что дальше». Такую же многообразную нагрузку несло у него в Польше слово «так». Ну а в Праге за один день он подцепил слово «ано» и так же ловко оперировал им. «Ано» — согласие. «Ано» — вопрос. «Ано», ано» — «ну что дальше». И так далее.

Впрочем, этими однозначными восклицаниями он не довольствовался. Прощаясь в городе Соколуве с искусительницей Чесночихой, он поразил очаровательную пани Ядзю такой шляхетской фразой: Подам до нужек шановной пани, целую ренчики», что нам перевели как: «Падаю в ножки прекрасной госпожи, целую пальчики». А в Германии он сочинил даже сложную пословицу на русском и немецком языках, пословицу, ставшую популярной в водительском мире: «Лучше три раза рехц, чем

один цурюк», что в переводе с русско-немецкого должно было означать: «Лучше три раза повернуть направо, чем возвращаться назад».

Ну а когда он произносит свое «битте дритте», это звучит у него и как приглашение и как «пожалуйста».

В ОККУПИРОВАННОМ БЕРЛИНЕ

Итак, мы взяли курс на Берлин. Рейхсавтобан, ведущий из Дрездена в столицу Германии, пожалуй, самое лучшее шоссе из всех, какие нам доводилось видеть в этой стране отличных дорог. Двухпутный, разделенный посредине зеленой полосой, он будто бы ударом сабли рассекает поля, леса. Сам же он от начала и до конца не пересекается, и все поперечные дороги переходят через него по бетонным виадукам. Бушевавшие здесь сражения не очень его повредили. Гитлеровцам при отступлении лишь кое-где удалось взорвать эти виадуки или само полотно. Но саперы уже разобрали завалы, засыпали воронки, и после того, как мы миновали Дрезден и щеголеватая регулировщица отсалютовала нам на его окраине своими флажками, машины будто по воздуху полетели.

Ехали, философствуя о том, как быстро равнодушная к человеческим бедам и потрясениям природа прячет следы войны. День раннего лета был просто прекрасен. И разве что эти взорванные виадуки да рубчатые следы, оставленные на асфальте пронесшимися по этим дорогам танковыми армадами, напоминали о войне.

Да еще люди, в одиночку и группами бредущие по обочинам, тащившие на себе рюкзаки с добром, катившие увешанные узлами велосипеды и детские коляски, люди, прицепившие на груди бумажные флажки своих государств — Франции, Бельгии, Польши, Голландии,— напоминали о том, что взбудораженная войной Европа еще не устоялась, что не все в ней встало на свои места.

Где-то уже недалеко от Берлина дорогу нам вдруг преградил гурт скота. Солидно, неторопливо шагали по асфальту породистые круторогие коровы. Деловитые женщины, обмотав головы платками, шли за ними, мирно подгоняя их хворостинами. За гуртом двигались три пароконные подводы, и на них на сене среди каких-то узлов дремало несколько женщин. Круглые курносые лица без всяких флажков свидетельствовали об их на-

циональной принадлежности. Я сразу вспомнил землячек из поместья Зофиенхалле на Одере, тех, что с приходом Красной Армии, расправившись с хозяйкой, самостоятельно наладили жизнь этого большого, как они по-свойски выражались, «совхоза». Вспомнил и подумал, что они, наверное, так же вот вернулись на родину в свои разоренные колхозы не с пустыми руками.

У кольца большого Берлина мы остановили машины, чтобы разобраться в плане города и обсудить, как нам лучше организовать маршрут, чтобы посетить памятные места. Остановились как раз у указателя, на котором было написано: «Берлин».

Мы начали свою берлинскую программу с «небоскреба» фирмы «И. Г. Фарбениндусти», с крыши которого в конце апреля мы наблюдали штурм Берлина с западной стороны. Как запала в память ночь, проведенная на этой крыше! Командный пункт бомбардировочной авиации... Черный, окутанный дымами город, понемногу, как бы на проявляемой фотопластинке, выступающий из сырой утренней мглы... Сосредоточенное, словно бы окаменевшее лицо маршала Конева, начинавшего штурм столицы с юго-запада и, может быть, переживавшего самые волнующие минуты своей полководческой жизни... Грохочущий шквал артиллерийского удара, обрушенного через канал... Красный флаг, трепыхающийся на ветру уже за каналом. Солдат, карабкающийся по фермам взорванного моста. Разве такое когда-нибудь забудешь? Ведь в этом доме, на этой крыше маршалу было доложено, что его войска сомкнулись с войсками Первого Белорусского фронта, штурмующими Берлин с северо-востока, и, таким образом, столица гитлеровской империи взята в кольцо.

Потом воспоминания повели меня на Эйзенштрассе, туда, где мне посчастливилось увидеть удивительный подвиг солдата Трифона Лукьяновича, вынесшего из зоны обстрела немецкую девочку. Много довелось видеть за эту войну, но такого я еще не видал. И вот мы стоим посреди этой самой Эйзенштрассе, тихой, полуразрушенной, будто бы обугленной улицы. Пустые дома, смотрящие на мир провалами разбитых окон. И странно видеть, как на этой улице, где на моих глазах свистели пули, грохотали взрывы фаустпатронов, движутся, и даже неторопливо движутся, пешеходы. Женщина в брюках,

с авоськой, какой-то чистенький старичок, шаркающий по асфальту большими туфлями. Дети, ничего не опасаясь, играют на газоне, с которого Лукьянович выносил девочку. И зеленеет трава, и обезглавленная липа, уткнувшаяся в мутноватое небо своим расщепленным стволом, дала уже боковые побеги.

А потом, отыскав корреспондента «Комсомольской правды» Александра Андреева, красивого жизнерадостного блондина, мы под его опытным руководством посещаем места, которые возбуждают иные, диаметрально противоположные воспоминания. Развалины рейхсканцелярии, выкошенный бомбежкой Тиргартен, сгоревший рейхстаг.

Теперь все выглядит по-иному. В Берлине уже появились войска союзников. То, что мы видели недавно как последнее прибежище кровопийц, заливших кровью всю Европу, теперь стало местами паломничества любопытствующих туристов. Группа шотландских офицеров, весьма живописных в своих клетчатых юбочках и огромных беретах, обнявшись, снимается на террасе гитлеровского кабинета. Огромный глобус белеет толстыми алюминиевыми боками. Оказывается, американцы ободрали этот глобус, который фюрер любил на досуге повертеть, мечтая о господстве над миром, «по крайней мере, на ближайшую тысячу лет», ободрали... на сувениры...

Рейхстаг, и в особенности его знаменитые колонны с тысячами подписей и надписей, стал второй декорацией, на фоне которой по очереди снимали друг друга в героических позах английские офицеры. Это выглядело несколько курьезно — они здорово запоздали сюда, в Берлин. Однако, к чести союзников, надо сказать, что к массе надписей и подписей советских солдат, тех, кто штурмовал эту последнюю цитадель нацизма, никто из союзников не прибавил свои.

Зато за рейхстагом бурлила шумная и пестрая толпа, в которой смешались мундиры всех четырех армий антигитлеровской коалиции. Здесь образовался, так сказать, международный базар, победить который оказываются бессильными все четыре союзнические комендатуры. Меркурий, бог коммерции, сильно потеснил здесь бога войны Марса. Можно сказать, загнал старика в бутылку. Базар этот именуется «рейхстаговка». Здесь можно купить или выменять все, начиная от зажигалки, часов

до казенного американского «виллиса» последней модели. Американские офицеры, и в немалых чипах, задумчиво ходят по «рейхстаговке», поднимая иногда рукав и обнажая руку, унизанную часами различных марок, выбирай какие хочешь. Но особым спросом союзников, и главным образом американцев, пользовались здесь личные вещи, принадлежавшие или будто бы принадлежавшие Гитлеру. В разное время за очень большие цены здесь приобретены настольная лампа со стола Гитлера, китель Гитлера, будто бы принадлежавшая Гитлеру посуда. Даже белье, даже полотенца с вышитой монограммой «А. Г.» Мы-то, видевшие последнее прибежище фюрера в «фюрербункере», знаем, что все это фальшивки, изделия хитрых мошенников. Знаем даже, что через комендатуру давали союзникам совет прекратить этот малодостойный ажиотаж. Но, как я уже сказал, в дни мира проворный и хитрый Меркурий бросил в этой точке Берлина бога Марса на обе лопатки.

БЕРЛИН — МОСКВА

Наш новый знакомый, Александр Андреев, снимает комнату в квартире какого-то немецкого интеллигента, кажется, врача. С хозяевами у него преотличные отношения, и, когда те увидели нагрянувших к их жильцу гостей, сейчас же понаносили такое количество матрасов и пуховых одеял, что на полу можно было уложить спать целое отделение.

Трогались в путь мы, как говорится, по утренней росе. Берлин в этот час показался зловеще пустым. Огромный изувеченный черный город с горами руин вдоль широких улиц, со взорванными, наскоро залатанными мостами, с другими выразительными следами жесточайших боев буквально на каждом перекрестке. Центр города разбит совершенно. И, хотя все мы, вдоволь повоевав, навидались и руин и пожарищ, хотя в памяти у меня еще живы развалины моего родного Калинина и огромная руина Сталинграда, превращенного в каменоломню, признаюсь честно, мне было тяжело смотреть на этот изувеченный город, который, судя по редким сохранившимся штрихам и деталям, был когда-то и величественным и, может быть, красивым. И контрастом этому изувеченному, мертвому Берлину были девушки-регули-

ровщицы, стоявшие на больших перекрестках и ловко орудующие своими флажками.

Когда-то я написал о трех таких регулировщицах, которых фронтовая молва нарекла Верой, Надеждой, Любовью и которых водители в шутку звали королевами фронтовых дорог. Я узнал потом, что этих девушек наградили. Здесь же, в Берлине, все девчата выглядели королевами. Как уж их там подбирали, не знаю, но все они были стройные, крепкие, краснощекие и действовали с таким достоинством, будто в руках у них были не флажки, а маршальские жезлы.

Мы выехали тремя машинами. «Мерседесом» Сергея Крушинского, «эмочкой» Сергея Борзенко, который до конца остался верен своей старенькой фронтовой машине и не захотел менять ее ни на какие трофейные экзоты, ну, и моим «бьюиком». Борзенко, отлично читавший карту, стал флагманом нашего маленького каравана, так и тянулись одна за другой «эмочка», «мерседес» и «бьюик». Причем мы, разумеется, никак не могли предвидеть, что такое построение сослужит нам вскоре недурную службу.

По дороге мы решили посетить могилу корреспондента ТАСС, нашего старого друга майора Саши Малибашева, погибшего уже в дни штурма Берлина. Наметили по карте путь к месту его гибели и заготовили цветы. Может показаться странным, что среди черных руин города, где нет-нет да еще взрываются мины замедленного действия, уже торгуют цветочные магазины, и мы без труда подобрали большой букет сочных тюльпанов, который, узнав о его назначении, хозяин магазина перевязал черной муаровой лентой.

Окраины Берлина сохранились лучше. Комендантский час окончился. Торговцы открывали двери своих магазинов, гремели железными шторами. Худые, изможденные женщины с сумками и корзиночками спешили по тротуару. Молочник на ручной тележке развозил молоко и ставил бутылки прямо у входных дверей. Стайка чистеньких мальчишек в гольфиках гоняла на пустыре мяч. Но спустя некоторое время машины вновь вошли в зону руин, затряслись на израненном асфальте, на котором зияли воронки, напоминая незажившие раны.

Снова мимо машин пронесся уцелевший район, не-

большой городок, чистенький и мирный, а потом опять все кругом было изрыто, избито, сожжено, опять тянулись мрачные руины. Так и шло это чередование, говорившее нам о бешеном сопротивлении, которое тут, на этом генеральном направлении, оказывал противник войскам маршала Г. К. Жукова, о грандиозности бушевавших здесь сражений, о ярости боев, о бесцельности берлинской обороны и о героизме наших воинов, преодолевавших один рубеж за другим.

Чтобы уточнить путь к городку, где была могила Малибашева, мы остановились у дорожного указателя на перекрестке. И дотошный Крушинский насчитал на металлическом столбике двадцать три пробоины и вмятины. Двадцать три!

— Вот выкопать бы этот столбик и захватить в Москву как вечное доказательство того, какие бои нам приходилось вести. Сфотографируйте для меня этот столб. Буду сынам показывать.

Могилу нашего друга нам отыскать не удалось. Здесь, на окраине сильно побитого городка, было множество солдатских могил. Мы положили цветы у фанерного обелиска, возвышавшегося у дороги как коллективный памятник погибшим здесь советским солдатам. Постояли около этого памятника, повспоминали.

— Бе Эн! Помните, как мы провожали вас на Пруте, помните тост Малибашева, последний за нашим опустевшим столом?

Ну как мне было не помнить. Хотя это произошло уже год назад. Буйный молдавский май бушевал в садах. Цветущие черешни сеяли по земле лепестки. Горько пахли цветы абрикосов. Прут уже форсирован. Огонь войны перенесен на землю противника, и мы, военные корреспонденты, аборигены Второго Украинского фронта, и приехавший мне на смену правдист Павел Кузнецов допиваем чудесное румынское вино, привезенное Крушинским уже из-за Прута. Хриплыми голосами кричим забавные корреспондентские песенки. Шум, смех, шуточные тосты. И вот, когда баклаги с вином уже опустели, а на дне кружек остались последние глотки, встал Малибашев, как всегда сдержанный, серьезный.

— Ну а последнее выпьем за то, чтобы когда-нибудь всем нам написать корреспонденции о взятии Берлина.

И, сразу посерьезнев, мы молча запили этот тост.

Нам с Крушинским повезло. Мы-таки написали корреспонденции из Берлина, а принимавший в этой вечеринке участие Лило Лилоян погиб в Румынии. Известинец Павел Трошкин покоится во Львове. Саша Малибашев—вот тут, у знаменитых своими боями Зееловских высот, совсем рядом с Берлином...

На полной скорости несутся машины. Регулировщицы открывают им дорогу. Как-то очень быстро минуем Германию, и на дорожных указателях появляются польские надписи. А из головы все не выходят воспоминания о дружеском тосте, провозглашенном год назад, о не найденной нами солдатской могиле нашего товарища, которому не довелось написать последнюю корреспонденцию о взятии Берлина. Эх, если бы читатели знали, сколько иной раз стоила одна строка военной корреспонденции, один-единственный фотокадр, запечатлевший лишь миг истории....

Совсем недавно на полевом аэродроме под Берлином судьба случайно свела меня с летчиком из эскадрильи связи, майором по фамилии Вештак. Узнав, кто я, он сообщил мне, что получил недавно от редакции «Правды» благодарность.

— За что?

— Да вот возил этого вашего сумасшедшего капитана Темина снимать советский флаг над рейхстагом.

— Знаменитый снимок, который обошел все наши и многие иностранные газеты?

— Ну да, этот самый. Знаете, как он нам достался и чего стоил?

И опытнейший пилот из полка связи 12-й воздушной армии не без юмора рассказал историю этого снимка, которую я по привычке записал.

— Утром 2 мая, когда в центре Берлина еще шли ожесточенные бои, зовет меня командир эскадрильи. «Полетишь с капитаном Теминым на рейхстаг. Снимете знамя, которое наши над рейхстагом подняли...» Как уж там ваш Темин уговорил командование на этот рейс, не знаю. Зенитная сеть у немцев была мировая. Выставляли такие огневые заслоны — мышь не проскочит. И без самой крайней надобности мы к центру Берлина не вылетали. Ну что ж, раз приказ, надо лететь. По плану города наметил маршрут. Хотя какой там маршрут, когда то тут, то там зенитки плюются. Однако прорвались.

Долетели до большой такой улицы, которая на плане значилась Унтер-ден-Линден. У нас она или же у них — не поймешь. Только над головой зенитные снаряды рвутся. Лечу, прижимаюсь прямо к крышам, думаю, как бы не напороться на какую-нибудь колокольню. Признаюсь, жутковато. А он, этот ваш капитан, хоть бы что. Через борт перевесился с аппаратом, щелкает, вот-вот вывалится. Тут снаряд рванул рядом. Самолет сильно встряхнуло. Меня больно стукнуло в плечо. Осмотрелся, ничего, более или менее целы; несущую ленту крыла перебило, ну она меня и хлестнула. Но лететь можно. Лечу... Впереди большая площадь, вся загромождена техникой — машины, орудия, какие-то фургончики. А за площадью большое здание. По картинкам вспоминаю — рейхстаг. Ну а над ним, над самым выгоревшим куполом, словно кровиночка, наше знамя. Огонь усилился. Из какого-то двора прямо по нам шпарят. Однако закладываю вираж. Мой Темин совсем из сиденья высунулся, снимает. Снял. И делает мне знак: давай, мол, еще круг. Нет, думаю, друг, шалишь. Задание выполнили, а снова под зенитки не полезу. Все-таки самолет подранен. Да и кому охота умирать смертью храбрых под самый конец войны... Ну, до аэродрома дотянул, сел, ничего. Тут мой технарь подсчитал — около пятидесяти пробоин и царапин. И как нам мотор не разбили, как мы с этим вашим Теминым уцелели, непостижимо уму. Хотел поздравить Темина со вторым рождением, а его уже и след простыл. Ребята говорят, умчался на мотоцикле на аэродром в Шонефельде отправлять пленку на Москву... Вот за этот рейс меня «Правда» и поблагодарила.

Я записал рассказ летчика для редакционной многотиражки «Правдист». Но этот мой опус опоздал. В очередном «Правдисте» были уже опубликованы две, посвященные этому снимку, заметки. Вот они:

«Правда» на улицах Берлина

3 мая на улицах Берлина появились свежие номера «Правды» за тот же день. Газета была доставлена самолетами из Москвы.

В номере были помещены снимки, сделанные тов. Теминым в Берлине 2 мая.

Известие об этом было подхвачено мировой печатью. Лондонское радио сообщило: «Сегодня на улицах Берлина жители читают русскую «Правду», которая напе-

чатана в Берлине». 4 мая газета «Таймс» опубликовала берлинские снимки тов. Темина, переданные по бильду из Москвы.

«Снимок, который будет жить в памяти»

ЛОНДОН, 4 мая (ТАСС). В утренних изданиях «Ньюс кроникл», «Дейли телеграф энд Морнинг пост» и других газет видное место первой полосы занимают переданные по бильду из Москвы фотографии, изображающие советский флаг над рейхстагом и немецких пленных, проходящих под Бранденбургскими воротами. О последней фотографии «Ньюс кроникл» пишет, что это «один из исторических снимков войны, который будет жить в памяти».

А сейчас вот, после того, как не нашли мы могилу товарища, будто бы зазвучал в ушах хриплый голос этого бывалого летуна, не без восхищения рассказывающего об одном из наших коллег.

Чтобы сократить путь и не торчать подолгу в дорожных пробках на узеньких польских шоссе, мы свернули на боковую дорогу, которая, по мнению Сергея Борзенко, должна была кратчайшим путем привести нас в Брест, где и намечено было заночевать. Ибо в польских лесах было беспокойно, как информировали нас в дорожной комендатуре. Отряды Армии Крайовой, которые расползлись по лесам, перешли на бандитское положение и вели борьбу против народного польского правительства. Банды совершают налеты на села, на маленькие городки. Стреляют в представителей власти на местах. Устраивают диверсионные акты на дорогах, нападают даже на госпитали.

Дорожный комендант прямо заявил: поездка на трех легковых автомашинах опасна. Сказал, что скоро, может быть, завтра в том же направлении, на Брест, будет двигаться передислоцирующаяся танковая часть и нам лучше присоединиться к ней и с ней пройти этот участок.

Судьба Павла Трошкина, погибшего от рук украинских националистов, бандеровцев, была у нас у всех на памяти. Да и «аковская» пуля, врезавшаяся в самолет, из-за которой Петрович принял не очень ароматную ванну, тоже еще не забылась. Но теперь, когда мы попрощались со своим фронтом, Москва так потянула нас, так вдруг затосковалось по своим женам и детям,

что разумное предложение дорожного коменданта показалось просто кощунственным. Мы насмешливо посмотрели на этого пожилого толстого офицера, по представлениям нашим необстрелянного тыловика, с длинными, свисающими украинскими усами, с головой «редькой книзу», напоминавшего одновременно и Тараса Бульбу и Ивана Никифоровича.

— Не смею задерживать вас силой, но дайте мне, товарищи, слово, что в селах ночевать не остановитесь. А лучше всего, доезжайте-ка сегодня до Бреста,— напутствовал нас комендант и предостерегающе повторил: — Дайте мне слово.— И, вздохнув, добавил почему-то: — Эх вы, окуни.

Слово мы ему, разумеется, дали. И маленькая наша колонна тронулась в путь, сохраняя прежний порядок: «эмочка», «мерседес», «бьюик». Я повторяю это, ибо такое построение колонны оказалось для нас, очевидно, спасительным.

Сразу, как только мы свернули на малоезженую дорогу, мы поняли, что карта наша устарела. На ней дорога эта была изображена как шоссе, а на деле оказалась запущенным проселком с булыжным покрытием, с массой выбоин и вымоин — словом, дорога, по которой при всем желании не разовьешь скорость более тридцати километров. Рука сапера не коснулась ее. Узкие колеи, выбитые тележными колесами, заросли травой и хранили воду недавно прошедших дождей. Дорожные указатели оказались снятыми и похищенными. От них остались только столбики.

Однако «эмочка» Сергея Борзенко бодро ковыляла по ухабам, но меня уже мучили сомнения, не зря ли мы пренебрегли советами дорожного коменданта. Когда на каком-то перекрестке мы увидели два сгоревших воинских грузовика «ЗИС-5», сомнение перешло в уверенность. Зря, зря занесло нас в эти густые и красивые пущи, наступавшие с двух сторон на неровную булыжную полоску.

Несколько небольших сел, попавшихся на пути, казались пустынными. Только в одном из них мы увидели женщину, шедшую с ведрами. Остановили машину, спросили у нее, есть ли здесь поблизости наши военные. Она как-то странно посмотрела на нас: «Не разумем, пан офицер, не разумем». — И торопливо побежала

прочь, расплескивая воду. Постучали в избу. Дверь оказалась запертой. Из окошка смотрело испуганное мужское лицо. Постучали покрепче. Из двери высунулся молодой мужик и на вопрос торопливо зачастил:

— Ниц не разумем, пан офицер... Ниц не вем...

Ясно стало, что все тут кем-то или чем-то напуганы и просто боятся общаться с нами. А между тем солнце заметно клонилось уже на вечер, опускаясь на зеленый забор вековых елей. Из леса веяло прохладой.

И вот в одном селе мы вдруг увидели нашего красноармейца. Он стоял возле крепкого двухэтажного каменного дома и предостерегающе поднимал руку. Судя по погонам, это был связист. Но в руке у него был автомат, на поясе болтались гранаты, будто бы он собирался в атаку. Опытный Борзенко выскочил из машины и быстро сориентировался в обстановке. Ах, как ругали мы себя за то, что не послушались дорожного коменданта. Обстановка была скверной. Мы заехали в край, где хозяйничали аковцы. Тут все села у них под контролем. У лесничества расположена какая-то их часть. Совсем недалеко, за речкой. По утрам из села слышно, как их горнист играет зорю, это они поднимают флаг. А с темнотой в открытую на подводах заезжают в село, отбирают продукты, угоняют скот.

— Мы это из верхних окон видим, а что сделаешь?

— Сколько же вас? — деловито спросил Борзенко, уже обдумывая обстановку.

— Нас пятеро, товарищ подполковник.

— А кто вы, почему вы здесь?

— Мы связисты. Линия ВЧ.

— Вас не трогают?

— Нас пока нет. Боятся. Они один такой наш пункт вырезали, тут недалеко по нашей линии. Против них послали самолеты. Теперь вот не трогают, опасаются. А на дорогах разбойничают.

— Две сгоревшие машины — их работа?

— Ну, ясно, их. Да разве только эти две! Но вообще-то они машины не жгут, шоферов убивают, а машины и груз к себе в лес. Как уж они вас пропустили, не знаю.

Борзенко со свойственной военной сметкой сразу же оценил обстановку. Двигаться дальше нельзя. Придется ночевать тут, у связистов, и ждать танковую колонну, о которой говорил комендант. Точка связи поме-

щалась в доме сельского торговца, массивной каменной постройке. Двери и окна нижнего этажа закрывались железными ставнями. Двор окружал солидный забор с воротами, закрывающимися на дубовые засовы. Все это тяжелое, прочное сооружение было нам явно на руку. Такой дом без артиллерии, пожалуй, и не взять.

Машины мы закатили во двор, задвинули под защиту дома. Петрович закрыл «бьюик» сверху какими-то досками.

— Не гут, не гут, — ворчал он. — Поспешили — людей насмешили. Верно комендант-то нас назвал окунями.

Машину он закрывал с особым старанием. Нимало не заботясь о том, что нас всех ждет, он осторожно громоздил на машину доски.

— Не ровен час, метнут через забор гранату.

Борзенко, вообще-то человек неторопливый, тут, ввиду явной опасности, просто преобразился. В голубых мечтательных глазах его загорелась энергия. Речь стала деловой, отрывистой. Он взял на учет все наше оружие. Кроме личных пистолетов, у нас оказались винтовка, два трофейных шмайсера и немало патронов. С автоматами и гранатами, что были у связистов, выходило неплохо. Ночь Борзенко разбил на части. А нас разделил на группы. Мы должны были нести по очереди караул. Потом с помощью связистов мы связались с тем городком, где комендантствовал офицер, назвавший нас окунями. По нашей просьбе тамошние коллеги наших связистов сбегали за ним. Сначала комендант по-отечески выбранил нас, а потом уже начальственным голосом приказал никуда не высовываться со двора, ждать танковую колонну, которая утром выходит по тому же маршруту. Передав эту, так сказать, офицерскую часть приказа, он снова со вздохом произнес: «Эх вы, окуни».

Заступая ночью в наряд вслед за Крушинским, я узнал, что никаких особенных происшествий не было. Правда, был какой-то шум, доносившийся с того конца села, прогрохотали по булыжнику колеса телег, и все.

— Ну, товарищ окунь, счастливой вахты,— сказал Крушинский и вместе со своим шофером передал мне и Петровичу шмайсеры и отправился спать. Уставший в дороге Петрович тоже вскоре задремал, пристроившись на скамейке у ворот в обнимку со своим автоматом. А я расхаживал взад и вперед и раздумывал: окуни, почему окуни? Черт его знает. Но ведь действи-

тельно окуни. Надо же было по своей, и только по своей, вине втесаться в такую историю. Что же может быть глупее и бездарнее, чем пройти через четыре года войны, такой войны, и после того, как она закончилась, погибнуть ни за понюх табаку от руки какого-то бандита? Потом думалось о доме, о жене, о сынишке, который за четыре года вырос без меня в шустрое, кудрявое, разговорчивое существо. О дочке Алене, виданной мной только через оконное стекло родильного дома. Неужели же... Это «неужели же» почему-то никогда не приходило на ум во время войны, а теперь вот, стыдно сознаться, я боялся, по-настоящему боялся, хотя и старался освободиться от этого скверного и унизительного чувства.

Послышались шаги. Заскрипели ступеньки крыльца. Вышел сержант-связист, решившись, должно быть, тоже проверить наряд. Молодой, смуглый, цыгановатый парень, по возрасту он, пожалуй, мог бы быть моим сыном, но на войне год службы считается за два. Это был уже настоящий мужчина и, по-видимому, опытный воин. Присел на скамейку, закурил:

— Я вот все думаю, как же это они вас пропустили, почему не атаковали, через самые ихние места вы проехали. Они ведь такой кусок мимо рта нипочем бы не пронесли... Машины ваши вас выручили, вот что. В такой машине, как ваша, разве что генерал ездит, да и то не всякий. А раз «эмка» впереди, ваша машина сзади, а там еще одна идет, стало быть, генерал при охране. Ну а генералы им не по зубам. Знают, за генерала тут все леса прочешут.— И сообщил, аккуратно пригашивая свою цигарку: — Позвонили ребята, танковая колонна вышла, часам к двенадцати здесь будет.— Посмотрел на часы. Семь.— Вот, слушайте, сейчас у соседей побудка.

И действительно, через минуту где-то далеко в лесу, что за рекой, послышался тонкий звук горна.

— Все, как у людей. И флаг на шесте поднимают, а так бандиты, настоящие бандиты. Ни старого, ни малого не пощадят, девок силком портят, каждую ночь то корову, то две уведут, то в амбаре зерном свои подводы нагрузят... Тут как смеркаться начнет, никто и из изб не показывается. Двери шкафами да комодами заставляют.

— Ну а вы как?

— Как? Несем службу. Нас не смеют трогать. Проучили их тут однажды наши самолеты.

Где-то около полудня за рекой заурчало, задрожала земля, стекла зазвенели в рамах. Шли головные танки. Мы присоединились к колонне и благополучно, без всяких приключений добрались до границы. Впрочем, о том, что Польша осталась позади и мы уже на Родине, мы узнали лишь потому, что появились дорожные надписи на русском и белорусском языках.

Вскоре дорога вывела нас на шоссе и вдали показался Брест. Брестская крепость, знаменитая еще по дням первой мировой войны, обращена своими фортами на запад. Сам город, изрядно разрушенный и сожженный, уже ожил. Пожилые милиционеры расхаживали на перекрестках. Открыты магазины. Некоторые здания обтянуты лесами, заделывают пробоины, чинят, красят. На большой площади на клумбах покачивают разноцветными головами тюльпаны.

Знаменитая крепость представляла собой величественные руины из закопченного красного кирпича. Некоторые здания не просто разрушены, а прямо размолоты. Уцелевшие кирпичные стены рябы от пуль и осколков. Все тут говорит о яростном сопротивлении, которое оказал врагу крепостной гарнизон летом 1941 года. Трава, кусты, маленькие деревца затянули крепостные рвы, проросли сквозь груды кирпича. Но и сюда, в эту разбитую крепость, уже вернулась жизнь. В уцелевших казематах размещался госпиталь. Раненые ковыляли на костылях по зеленой поляне, на ветру порхало развешанное на веревках госпитальное белье.

А потом машины вырвались на шоссе и получили возможность показать свою настоящую скорость. Нет, не следы боев, давних и недавних, напоминали о том, что дважды прошла по этим краям война. Там и тут по обочинам шоссе ржавели танки, наши легкие, средние, обращенные орудиями на запад, немецкие, еще не успев покрыться ржавчиной, с орудиями, повернутыми на восток. И, хотя все они заросли бурьяном, опытному глазу нетрудно было понять, что те и другие нашли свой конец, отступая. Наши — четыре года назад, немецкие — сравнительно недавно. Но жизнь возвращалась уже и на поля. Даже те, что лежали вокруг деревень, от которых сохранились только печные трубы, уже зеленели яровыми всходами. Тут и там видели мы

группы женщин, то поднимавших землю лопатами, то пахавших на коровах. Видели мы и то, что больно пронзало сердце: две-три женщины, запрягшись в ярмо, тащили плуг, а четвертая шла в борозде. Так пахали. Несколько таких картин встретили мы по дороге, и пожилой инвалид, которого регулировщица попросила довезти нас до города Борисова, скручивая цигарку, прокомментировал это зрелище:

— Баба, она нынче вся в ярме. Весь тыл войны на себе вытянула. Был бы я товарищем Сталиным, выстроил бы я всех, сколько их ни на есть, наших баб, на Красной площади, поклонился бы им, нашим бабам, в ножки и сказал бы: спасибо вам, русские бабы, от партии, от Советской власти и от меня лично за то, что бремя войны на себе тащили, как сейчас вон плуги тащите.— Подумал, раскурил цигарку, выдул дым через опущенное стекло. — Святой народ, эти наши бабы. Ох, святой народ. Таких великомучениц и страстотерпиц никакие попы не выдумывали.

Эта сентенция старого солдата запомнилась мне на всю дорогу. И, когда мы проезжали города, даже Смоленск, который уже совсем оправился от войны, залечил свои раны, мне теперь особенно бросалось в глаза, что всюду, везде, и в городе и в деревне, работали преимущественно женщины: женщина-милиционер, женщина-вагоноважатый, женщина за шоферской баранкой, женщины в толпе смены, выплескивающейся из ворот какого-то завода. Нет, были, разумеется, и мужчины. Преимущественно старики и подростки. Но после слов старого солдата они как-то совсем не гляделись в женской массе.

На последних отрезках Минского шоссе, ровного, гладкого, как рейхсавтобан, мне с особой отчетливостью вспомнилось почему-то, как почти четыре года назад мы с Петровичем на нашей покойной «пегашке», находящейся где-то на дне чужой реки, выезжали в первую нашу правдистскую командировку. Вспоминал суровую осажденную Москву, памятники, обложенные мешками с песком, бетонные огневые гнезда на перекрестках, баррикады. Бетонный прямоугольник «Правды», затемненный и настороженный. Мы едем на только что созданный фронт, в родное мое Верхневолжье. По Ленинградскому шоссе ехать нельзя. Оно перехвачено противником где-то недалеко от Химок. Приходится двигаться окружным

путем, через Дмитров. И мысли свои, мысли того дня, помню: куда-то он приведет, этот наш путь? Может быть, в Германию, может быть, в Берлин, а может быть, оборвется скоро и окончится фанерным столбиком где-нибудь возле дорожной обочины. А потом вспоминается указатель, стоящий в центре Львова: «До Берлина 896 км». И бодрая солдатская надпись, изображенная мелом на синей стрелке: «Ни... фига, дойдем!»

Дошли. За одно почти непрерывное наступление с боями прошли эти 896 километров, да еще 130 за Берлин, да еще около 200 до Праги. Дошли и не очень устали. «Есть еще порох в пороховницах и не иссякла казачья сила...»

Въезжаем во двор московского дома, где я живу, на улице Беговой, огромного дома, заселенного рабочими типографии и сотрудниками «Правды». Двор еще загроможден ржавыми тракторами, остатками баррикады, которая преграждала когда-то нашу улицу. Сманеврировав между ними, Петрович с шиком подводит машину к подъезду. Лифт, конечно, не работает. С солдатским мешком за плечами взбегаю на пятый этаж, звоню, от волнения позабыв, сколько кому полагается давать звонков. Проскакиваю мимо удивленной соседки и с какой-то невольной боязливостью открываю дверь своей комнаты.

И тут повторяется с небольшими вариациями сцена, запечатленная Репиным в картине «Не ждали». Прежде чем сказать «здравствуйте», застываю в дверях. Мама, кормящая у стола внука, и сам этот ее внук, мой белокурый кудрявый сынишка, с удивлением смотрят на возникшую в дверях фигуру в военной шинели. Так же удивленно смотрит жена, склонившаяся над кроваткой дочки, плетенной из ивового прута. Смотрит удивленно, и слезы заливают ее серые и такие дорогие мне глаза. Она растерянно произносит:

— Ты?.. Приехал?..

А в распахнутой двери расплывается круглая и красная, как луна в мглистую ветреную погоду, физиономия Петровича. Он с удовлетворением выговаривает «немецкую фразу» собственной конструкции:

— Аллес нормалес...

Июль — май 1944 — 1945 гг.
Первый Украинский фронт.
Март 1971 г. Москва

В КОНЦЕ КОНЦОВ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

КРУШЕНИЕ ОДНОГО ЗАМЫСЛА

Прожил я на свете уже немало лет, но как-то раньше не думал, что есть на земле народ, столь нам дружественный, столь похожий на нас, русских, и по языку, и по характеру, и даже по быту. И живет он не рядом, а, как говаривали раньше, за тридевять земель, на южной окраине Европы. Конечно, уже в юности знал я книги Ивана Вазова и с восторгом следил по газетам за битвой, которую выигрывал в Лейпциге, в фашистском логове, великий коммунист Георгий Димитров. Доходили до нас в дни второй мировой войны в коротких газетных хрониках отзвуки борьбы, которую вели в горах Родоп и в софийском подполье болгарские партизаны. И слово «братушки», которым встречали наши войска болгарские крестьяне у околиц своих сел, слово, одинаково понятное и болгарам и нам, русским, доводилось мне слышать и больше года назад. Все это так, и, однако, только теперь, получив возможность как следует поколесить по болгарской земле, побывать среди горцев Родоп, пожить в селах и горных деревушках, ощутил я полную меру этой близости.

Вот уже больше месяца, как мы с шофером, по имени Весели́н, молчаливым парнем с четким, медальным профилем разъезжаем по стране, отлично беседуя, хотя́, собственно, я почти ни слова не знаю по-болгарски, а он — по-русски. Он коммунист, недавний партизан, сражавшийся в одном из героических отрядов, и мы прекрасно понимаем друг друга. Только когда он что-то отрицает, то согласно кивает головой, а утверждая, поматывает ею, будто не соглашаясь.

Эта командировка в дружественную Болгарию предоставлена мне редакцией как своего рода премия за довольно-таки напряженную работу в конце войны и первые послевоенные месяцы. Колеся по стране, я собираю материал для книги, которую задумал написать, и лишь

изредка даю очерки в «Правду». Так, во всяком случае, мыслилась эта поездка. Но таков уж беспокойный наш век — из доброго намерения моего практически ничего не получалось. Болгария идет навстречу выборам, и в последние недели тут развернулась такая предвыборная борьба, что удержаться на позициях созерцания уже невозможно.

— Наши выборы — это не просто выборы в парламент. Это выбор пути, по которому пойдут страна и народ,— сказал третьего дня Георгий Димитров. Он принял меня в маленьком домике на одной из нешумных улиц столицы. Принял по-простому, по-домашнему. Говорили мы не в кабинете, которого по-моему, в этом скромно обставленном домике и нет, а в небольшой столовой. На столе, накрытом грубой скатертью, стоял кувшин с вином. Глиняные кружки. В корзиночке лежал серый хлеб, нарезанный крупными ломтями. И еще была какая-то рыба домашнего копчения, необыкновенно вкусная. Я, разумеется, во все глаза смотрел на хозяина дома, в которого влюбился еще в дни комсомольской юности, и уже достал было из кармана блокнот, но Димитров мягким движением отобрал его у меня и, отложив в сторону, продолжал говорить:

— Это будет нелегкий выбор, товарищ Полевой. Предстоит борьба, сложная, напряженная.

Он сидел в плетеном кресле и, как крестьянин, уставший на пашне, маленькими глотками отхлебывал терпкое красное вино, заедая хлебом и сыром.

— Одержав свою грандиозную победу, все вы, советские люди, стали великими оптимистами. Ну что ж, это логично. Но нам, коммунистам Болгарии, еще только предстоит выиграть свою Сталинградскую битву. Причем без выстрелов.— Он поставил кружку на стол.— Впрочем, сейчас кое-где уже постреливают... Вы знаете, ходят слухи о том, что в случае победы коммунистов американцы сбросят на Софию атомную бомбу. Это, понятно, чепуха, но само распространение таких слухов говорит, что реакция готова на все.

Вскоре после этого разговора я получил возможность убедиться в правоте Димитрова. И даже на собственном опыте.

Идею моей книжки о глубоких корнях болгаро-советской дружбы Георгий Михайлович одобрил, а на время

выборов посоветовал поехать в город Плевен. Здесь все: сам город, заповедный парк на месте знаменитых плевенских сражений русских солдат и болгарских ополченцев с турками, парк, окруженный забором из трофейных турецких ружей, флеши со старинными орудиями, холм с костницей, то есть хранилищем останков русских солдат, павших на поле боя, знамена и прочие боевые реликвии, сберегаемые в золотом мерцании восковых свечей,— все это, овеянное легендами, красноречиво говорит о том, почему нас, советских солдат, год назад вступивших на землю монархо-фашистской Болгарии и несущих избавление от гитлеризма, встречали у околиц деревень пасхальным колокольным звоном и задушевным словом «братушки».

Записные книжки мои пухли день ото дня. План книги уже сложился в голове. Даже название придумалось: «Братушки». И мечталось: вот кончатся выборы, дам из Плевена оперативный репортаж и сразу засяду за книгу. Прямо тут. На месте рождения этой дружбы.

Но как-то утром болгарский офицер принес мне телеграмму, полученную комендантом из советского посольства: «Просим вас отыскать сотрудника «Правды», полковника Полевого, и помочь ему срочно выехать в Софию». Что такое? Почему выехать, да еще срочно? Ведь выборы. Ведь именно здесь, где избирательная борьба особенно остра, куда из-за этого съехалось много западных корреспондентов, где уже прозвучало несколько выстрелов и ожидаются новые провокации, мне надо писать репортаж. Однако я попросил шофера готовить машину, а сам пешком отправился пройтись еще раз по избирательным участкам.

Судя по всему, абсолютная победа Отечественного фронта обеспечена. Празднично одетые люди разгуливают по улицам. Тут и там уже поют хоры. На площади перед собором длинная цепь людей, взявшихся за руки, под аккомпанемент какого-то домашнего оркестрика танцует народный танец. Живое, плавно движущееся по кругу кольцо людей охватывает площадь. Меня, а точнее говоря, мою советскую военную форму, бурно приветствуют. Почти насильно втягивают в этот ритмически колеблющийся хоровод, и я неуклюже выделываю непривычные коленца...

Еще недавно мы удивлялись, как это грузовик с нашими военными корреспондентами, среди которых были

правдисты, мог прибыть в Софию, обогнав даже передовые наступающие части Красной Армии. Удивлялись и завидовали коллегам. А сейчас вот, отплясывая в этом хороводе, я уже не удивляюсь. Понимаю, что это исконное уважение к русским воинам, помноженное на славу Красной Армии, несущей освобождение народам Европы, и открывало корреспондентскому грузовику его необычный путь. Да, неплохой очерк передам я отсюда и озаглавлю все тем же словом «Братушки». Но на душе все же неспокойно: что за вызов и почему так срочно?

В холле гестиницы портье передает записанную им телефонограмму: «Получили ли извещение? Выезжайте немедленно. Подробности при свидании». Подпись первого секретаря посольства. А тут подбегает растерянный Весели́н. Оказывается, какая-то сволочь порезала у нашего «мерседеса» баллоны. Все четыре. И так порезала, что никакой вулканизацией их уже не спасешь. Болгарские ругательства похожи на наши, и я могу по достоинству оценить все, что мой, обычно такой спокойный, сдержанный спутник извергает на головы неизвестных «злочинцев». Читаю ему телефонограмму. Он морщится, будто от зубной боли. Потом, видно, что-то надумав, кивает головой и исчезает. Собственно, удивляться нечему: подобное уже случалось. Вчера на большом предвыборном митинге кто-то плеснул на меня едкой жидкостью. В лицо не попали, но на спине кителя образовалась продолговатая волнистая дыра, напоминающая очертаниями остров Кипр. Но китель — черт с ним, на людях можно появляться и в шинели, а вот лишиться средств передвижения, и еще в такую минуту... Да, видимо, помимо тех, кто от чистого сердца приглашает нас, русских, в хороводы, есть здесь и другие...

Озадаченный, стою в холле гостиницы, а между тем западные коллеги один за другим торопливо бегут к своим машинам. Мой сосед по номеру — толстый фоторепортер-американец, обвешанный фотоаппаратами, как шаман колокольцами, спешит последним, на ходу засовывая в рот остатки котлеты. В дверях он делает мне ручкой: бай, бай!

И вот тут-то я вновь оцениваю смысл слова «братушки». Только лишь сел за письменный стол в своем номере, как дверь беззвучно распахивается. Появляется Веселин. Что стало с ним, всегда таким подтянутым и

собранным?! Шляпа измята и едва держится на затылке. Руки в масле! Но лицо сияет.

— Понеслись,— говорит он по-русски.

Повторять приглашение не надо. Я тут же вскакиваю. Оказывается, Веселин кликнул клич, и плевенские шоферы содрали резину, не знаю уж с чьих машин, и за какие-нибудь полчаса обули наш искалеченный «мерседес». Кто все это организовал, кто расплатился за эту, вероятно, очень недешевую операцию, неизвестно. Важно, что уже через несколько минут мы вырываемся из города и мчимся в Софию. Чудесные пейзажи открываются справа и слева, живописные деревеньки краснеют черепичными крышами. Домики с террасками, на которых сушатся гроздья золотой, коричневой, даже ярко-красной кукурузы; избирательные участки, украшенные флагами, гирляндами зелени, стеблями той же кукурузы; парни и девушки в национальных костюмах. Все это проносится мимо... В голове по-прежнему одна мысль: что означает такой настойчивый вызов? Уж не беда ли какая дома или в этой сложной обстановке я что-то напортачил в своих писаниях?

На равнине Веселин развивает великолепную скорость. Стрелка спидометра колеблется между цифрами «100» и «110». Где-то на полпути мы обгоняем американский «джип» с окоченевшими, исхлестанными ветром корреспондентами. Начинаются холмы, дорога карабкается в горы Стара-Планины. Вот и зона снегов. Асфальт становится скользким. Объезжаем бричку, на которой под звон бубенцов какие-то очень важные дядьки в расшитых полушубках везут избирательную урну, разукрашенную, как невеста. Машина соскальзывает с асфальта, ее заносит в сторону, и лишь в самую последнюю минуту Веселину удается удержать ее у кромки обрыва. Он бледнеет, сбавляет ход, и мы, теперь уже со скоростью катафалка, распутываем живописные петли обледеневшей горной дороги. Тут «джип» американцев берет реванш, и, хотя толстый фотограф на заднем сиденье, должно быть, совсем окоченев, закрылся брезентом, он не упускает случая показать нам конец веревки — дескать, беру на буксир, что, как известно, у моряков служит довольно-таки злой насмешкой.

Веселин подкатывает прямо к подъезду посольства. Дежурный подтверждает, что меня ищут уже не первый день. Посол встречает укором:

— Голубчик мой, разве так можно — уехать в такое время, даже не оставив маршрута... Москва бьет телеграмму за телеграммой, а мы не знаем, где вы. Вот будет вам от начальства на орехи! Читайте.— И протягивает сразу три телеграммы: «По получению немедленно вылетайте Москву. Есть срочное задание. Генерал Галактионов»... «Сообщите почему не вылетает Полевой. Ответственный секретарь «Правды» Сиволобов»... «Решением редколлегии назначены старшим корреспондентом на процессе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге. Вылетайте первым самолетом. Документы оформлены. Привет. Редактор Поспелов».

Первым самолетом! Кто-то из посольских даже подчеркнул эти слова красным карандашом и поставил восклицательный знак. Посол объясняет:

— Меня просили содействовать вашему вылету. Но погода нелетная. Аэродром закрыт туманом. Вы ведь знаете, какой здесь аэродром.

Да, знаю, конечно. Думаю, что самый коварный аэродром в Европе: мал, тесен да к тому же еще и окружен полуподковой гор. И название у него на русский слух мрачноватое — «Летиште-та Враждебно». Двое наших лихачей уже обломали на нем крылья.

— Может быть, двинете поездом?

Чую, что послу хочется поскорее сплавить меня и доложить об этом в Москву. Но я-то знаю, что значит сейчас тащиться по железным дорогам через три страны Европы, которая все еще никак не придет в себя после войны. Нет, такой роскоши позволить себе не могу. Договариваемся: меня отправят первым самолетом, как только откроется аэродром.

И вот сейчас сижу уже третьи сутки в огромном номере «люкс» гостиницы «Болгария», что напротив царского дворца.

Дворец этот маленький, весь спрятанный за зеленью парка, и где-то там, в раззолоченных с провинциальным шиком покоях, живет, ожидая своей судьбы, девятилетний царь Семеон со своей мамашей — красавицей итальянкой Джиованной. Ходил я во дворец с одним из регентов, Тодором Павловым, который известен нам, советским людям, как ученый-философ Досев. И царенка этого видел — хорошенький чернявый мальчишка с миловидным умным личиком. Бегал он взапуски с собакой по теннисному корту. И, глядя на симпатичного этого

мальчугана, невольно думал: «Угораздило же тебя, парень, родиться в середине беспокойного двадцатого века с такой ерундовой и канительной профессией: царь. Вырос бы хорошим инженером, агрономом или там врачом, а то вот сиди за высоким забором, слушай гневное кипение площадей и чувствуй себя какой-то маленькой фишкой в большой, непонятной, а может быть, и страшной для тебя игре».

Из номера моего слышно, как на площади гремят оркестры. Сюда пришли с окраин рабочие. Приехали крестьяне в расшитых одеждах, в шапках, украшенных цветами. Празднуется победа Отечественного фронта. Внушительная победа. Эх, какую бы книгу обо всем этом можно было написать! Хорошую книгу под названием «Братушки»! Но такова уж, видать, жизнь репортера. События накатывают волна за волной, и каждая последующая почти начисто смывает следы предыдущей. Нелегкая и неблагодарная в общем-то профессия! Но и теперь, на развалинах очередного своего замысла, ни на какую другую я ее не променяю.

ОТ ЛЕЙПЦИГА ДО НЮРНБЕРГА

Сколько в дни войны журналистская братия потешалась над моей привычкой в свободное время вести дневники! Сейчас, когда непогода пришпилила меня к Софии, а писать в «Правду» уже нечего, я вновь предаюсь этому занятию.

Впрочем, сегодняшний день прошел недаром. Удалось еще раз увидеться с Георгием Димитровым. Провел с ним интересную беседу, и как раз о том, что меня вскоре ожидает. Я попросил его принять меня, чтобы попрощаться, и получил согласие. На этот раз встреча была назначена в рабочем кабинете, и тут сразу возник вопрос, как идти в кителе, на спине которого зияет дыра величиной с кулак. Выручили посольские товарищи. Военный атташе одного со мной звания одолжил мне свой китель, который, впрочем, болтался на мне, как на вешалке. В служебном кабинете товарищ Димитров выглядел совсем другим, чем дома. Он казался выше, осанистей. На лице, которое стало собранным, твердым и словно даже помолодело, лежала тень усталости, но руку он пожал по-прежнему энергично, крепко.

Указал на кресло у коротконогого столика, уселся напротив, придвинул хрустальную папиросницу: «Курите — хороший табак. Наш, болгарский. По-моему, лучший в мире».

Я поздравил его со славной и столь значительной победой Отечественного фронта. Задал несколько вопросов о выборах в Плевене, но он тотчас же перевел разговор на другое.

— Слышал, вас направляют на нюрнбергское судилище. Значит, будете судить моего старого знакомого Германа Геринга? Любопытно, как-то поведет себя сейчас этот «второй наци» гитлеровского рейха.

— Вы, Георгий Михайлович, были его первым судьей там, в Лейпциге. Помню, как мы, комсомольцы, зачитывались вашей речью и полемикой с обвинителями. И как мысленно вам аплодировали, когда вы в самом логове у фашистов положили на обе лопатки эту глупую жирную свинью.

Нам принесли ароматнейший кофе. Чашечка, маленькая и тоненькая, как раковинка, целиком исчезла в большой, сильной руке Димитрова. На мгновение он прикрыл усталые глаза, потом задумчиво сказал:

— Но Лейпциг все-таки не Нюрнберг. Учтите, это будет очень нелегкий суд. Кстати, советую вам заблаговременно отрешиться от старых комсомольских представлений о наших врагах. Все это не так просто. Геринг, конечно, свинья, но отнюдь не глуп. Согласитесь, для меня не было бы большей честью, если бы тогда в Лейпциге я просто бы отбился палкой от глупого животного. Если вы станете изображать подсудимых только фанатичными шизофрениками, то едва ли раскроете все величие побед вашего народа и Красной Армии.

Он залпом осушил маленькую чашечку и поставил ее на стол таким легким, изящным движением, что невольно вспоминалось, как держал он у себя дома в горсти толстую фаянсовую кружку с вином.

— Нацизм — это самое страшное, что породил империализм...— продолжал он.— Да, самое страшное. Но, может быть, для современного империализма и самое рациональное? И мечта Гитлера о так называемой всемирно-нацистской империи, по крайней мере на ближайшую тысячу лет,— это ведь не бред маньяка, это, может быть, и сейчас самая заветная мечта империализма как

социальной системы. Ведь многие острые его проблемы социальные, национальные, моральные — куда как легче решать, получив возможность тасовать народы, точно карты, и сжигать инакомыслящих в крематориях...

Димитров довольно свободно, я бы даже сказал, красиво говорил по-русски, а болгарский акцент придавал его речи какую-то особую прелесть.

— Я ведь следил за подготовкой процесса и повторяю: это будет очень нелегкий, а главное, небывалый в истории суд. Человечество вело войны с тех пор, как помнит себя, но всего дважды сделало попытку судить агрессоров. Вот хотя бы Наполеон — сколько людей он погубил, сколько городов испепелил! У нас, в славянских странах, его называли антихристом, проклинали в церквах, и Венский конгресс держав-победительниц пытался его наказать. А чем кончилась эта затея? Подарили «антихристу» остров Эльбу и, как говорят у вас, создали все творческие условия для сочинения мемуаров.— Мой собеседник поднялся из-за стола. Я тоже вскочил, ибо десять минут, которые я просил у него для свидания давно истекли.— Нет, нет, вы сидите. Я только закончу свою мысль. Антанта в 1918 году тоже вознамерилась было судить Вильгельма Второго, но сами же противники, по существу, организовали его побег в Голландию, где он и дожил благополучно свой век в королевской роскоши. Почему так? Да потому, что, если бы страны Антанты осудили Вильгельма, они осудили бы идею агрессии как таковую, а следовательно, и собственные свои мечты о захватах и агрессиях. Они побоялись создать прецедент. Видите, что говорит история. А болгарский народ говорит: ворон ворону глаз не выклюет.

Он как-то очень по-молодому присел на край столика.

— Понимаете, какие сложные у суда проблемы. Придется создать прецедент, заклеймить любую агрессию и зафиксировать осуждение соответствующими международными законами... Мне, вам, всем коммунистам все это ясно, но у советской юстиции будет там всего один голос из четырех. Вашим юристам предстоит тяжелая работа. Если процесс будет доведен до конца, агрессоры осуждены, а международные законы относительно агрессии получат жизненное воплощение, это будет большая

историческая победа.— И добавил тихо, доверительно:— Мне бы самому хотелось увидать, как нацисты будут вести себя там, как будут оправдывать и защищать свою идеологию.—Взглянул на часы.— Извините, я вас задержал. Желаю успеха.— И, уже провожая меня к двери, улыбнулся, открывая ровный ряд белых зубов.— А китель-то вам великоват. Ну, тех, кто порезал резину, нашли, задержали... Матерые фашисты... Так что и китель ваш будет отомщен.

Вылетел в Германию на заре. На пути из Москвы в Берлин в холодном, неуютном десантном самолете, из каких в дни войны мне приходилось трижды прыгать с парашютом во вражеские тылы, среди каких-то ящиков, закрытых промасленным брезентом, я выглядел очень глупо. За неимением кителя пришлось облечься в парадный мундир — неудобнейшее сооружение с золотым шитьем на воротнике и рукавах. Куцее, тесное, совершенно непригодное для будничной работы, которое ко всему прочему нужно перетягивать серебристым поясом. Воображаю, сколько острот вызовет эта одежда со стороны пишущей братии, которая, как известно, за словом в карман не лезет. Но ждать, когда будет готов новый китель, мне не дали. Редакция, едва разрешив мне поцеловать жену, мать, сына и совсем маленькую дочку, которые и после войны продолжают расти без отца, буквально выставила меня из Москвы. Процесс уже начался, всеобщий интерес к нему огромен, газета отводит для него целые полосы.

Лечу, перебирая в памяти мои скудные познания о Нюрнберге. Ведь даже полистать энциклопедию у меня не было времени. Что я знаю об этом городе? Ну, во-первых, промышленный город на юге Германии, на каком-то большом канале, ну, один из католических центров средневековья, где жили и похоронены великий художник Альбрехт Дюрер и известный поэт и мейстерзингер Ганс Сакс. Еще, кажется, кто-то когда-то смастерил там первые в мире карманные часы и жил какой-то, не помню уж, какой по счету, Фридрих, по прозвищу Барбаросса, мечтавший завоевать мир и, вероятно, поэтому особенно уважаемый Адольфом Шикльгрубером, то есть Гитлером. Знаю, конечно, что средневековый город этот стал колыбелью нацизма и по его улицам в дни всегерманских партайтагов под гром барабанов и писк дудок тянулись бес-

конечные факельцуги, а на площадях вокруг костров устраивались дикие антисемитские шабаши. Знаю еще, что в конце войны западные союзники так проутюжили этот город своими «ковровыми» налетами, что сейчас он лежит в руинах. Да еще помню старую баварскую легенду о нюрнбергском мальчике, по имени Каспар Гаузер, которую писатель Якоб Вассерман превратил в роман о чистейшем существе, выросшем без людей и погибшем, когда он вернулся к ним. Но тот нюрнбергский мальчик мне для корреспонденций вряд ли пригодится. Слишком уж невыгодно показали себя другие нюрнбергские мальчики в первой половине двадцатого века...

Негустые, очень негустые познания. А ведь мне придется соревноваться с западными журналистскими асами, мастерами своего ремесла. А главное, процесс-то уж идет. Наши ребята освоились с ним, обрели, как говорится, форму. Пишут, и здорово пишут.

Мой старый фронтовой друг, правдист, капитан первого ранга Иван Золин встречает меня на военном аэродроме Шонефельд, где стоят наши самолеты, и, вручив мне соответствующие бумаги и пропуска, везет на аэродром Темпельгоф, что в самом Берлине. Там пересаживаюсь в американский самолет и вскоре вылезаю на выложенный алюминиевыми плитками нюрнбергский аэродром. И тут меня ждет приятный сюрприз. К самолету движется группа мужчин, почти все они в нашей военной форме. С этим самолетом из советских людей прилетел я один. Неужели это встречают меня? Ну конечно. Вон старый друг капитан Крушинский — боевой корреспондент «Комсомольской правды», всегда оказывавшийся на самом горячем участке фронта в самое горячее время. Вон маленький, в складной шинельке и фуражке домиком подполковник Юрий Корольков. В черной флотской форме капитан второго ранга Ланин из «Военно-Морского Флота» и красавец подполковник Павел Трояновский из «Красной звезды», всегда пользовавшийся необычайным успехом у девушек-телеграфисток и потому постоянно опережавший нас с передачей очерков. Пыхтя и улыбаясь во все свое широкое, добродушное лицо, еще издали раскрыв объятия, идет майор Тараданкин. И среди всех единственный штатский — милейший Михаил Семенович Гус, смуглый человек с курчавой головой, пушкинскими баками и мефистофельской улыб-

кой... Чудесный народ! Отличные боевые публицисты, репортеры-снайперы, с которыми нужно держать ухо востро. Только заглядись, и вставят здоровенный, как говорят журналисты, «фитиль». Иные из них известны в журналистском мире как мастера соленых шуток, розыгрышей. Поэтому я смущенно запахиваю шинель, чтобы не было видно густого золотого шитья мундира.

— Спасибо, ребята, мне просто неловко... такая встреча.

— А мы не вас, мы свои посылки встречаем,— с ходу атакует Крушинский.

В самом деле, по особому, с военных лет существующему среди корреспондентов обычаю я перед отъездом обзванивал семьи товарищей и привез для них целый мешок с гостинцами и письмами.

— Ну зачем так сразу — посылки? Нет, немножечко все-таки и тебя встречаем,— сглаживает остроту Юрий Корольков.

Выполняя наскоро роль деда-мороза, торопливо раздаю посылки и письма. Движемся с аэродрома. Меня засовывают в роскошный «хорьх», который Сергей Крушинский выпросил по такому случаю у кого-то из судейских. Рядом — мой старый фронтовой друг художник Жуков. Зовут его Николай Николаевич, но за семь дней которые он провел тут среди корреспондентов, он обрел вполне западное прозвище «Кока-кола». Я не встречал другого человека, способного так мгновенно увлечься какой-нибудь подходящей натурой. Вот и сейчас в машине он уже достал кожаную папочку, раскрыл ее и, щуря свои маленькие зоркие глазки, будто прицеливаясь, принялся набрасывать профиль солдата, сидящего за рулем.

— Ну, как вы тут, хлопцы? Интересно? Какие условия работы?

— Потом, потом,— отмахивается Жуков, не отрываясь от рисунка.— Лучше расскажи, как там Москва.

— Я ее не видел. Только переночевал дома. Где вы тут меня поместить собираетесь?

— Это смотря по тому, кем ты хочешь быть — курафеем или халдеем?

— Что, что?

— Сейчас, одну минуточку.— Жуков ловким штрихом выводит русый вихор, торчащий из-под фуражки шофера, сдувает с бумаги следы резинки, прищурив-

шись, любуется рисунком, сверяя его сходство с моделью, и, закрыв папочку, удовлетворенно убирает ее в карман.—Сейчас я тебе все расскажу.

КУРАФЕИ И ХАЛДЕИ

Я опоздал на процесс всего на шесть дней, но уже в машине понимаю, как это для меня плохо. Сюда со всех концов Земли слетелось и съехалось свыше трехсот корреспондентов, фотографов, кинооператоров, художников. Все они уже перезнакомились, вросли в необычную, сложную обстановку процесса, успели послать в свои газеты первые очерки, фотографии, зарисовки. Сложился свой, особый быт, а у представителей советской прессы произошло, оказывается, территориальное деление на два племени — курафеев и халдеев.

Дело в том, что вместе с профессиональными журналистами прилетели сюда и известные наши писатели и художники: Илья Эренбург, Константин Федин, Леонид Леонов, Юрий Яновский, Семен Кирсанов, Всеволод Вишневский, Кукрыниксы и Борис Ефимов. Из уважения к этим корифеям их поместили в роскошной, но полуразрушенной гостинице «Гранд-отель». Для журналистов же американская военная администрация отвела огромный дворец карандашного короля Иоганна Фабера, где организован пресс-кемп — лагерь прессы. Очень удобный, комфортабельный, надо сказать, лагерь. Вот в нем-то и в окружающих его флигелях и близлежащих домах и разместились вместе с иностранными коллегами корреспонденты советских газет и радио. А так как всякое географическое разделение требует соответствующего наименования, то «Гранд-отель», где поселились корифеи, получил среди журналистов наименование «курафейник». Писатели, узнав об этом, не остались в долгу и, так как среди журналистов присутствует известный фотокорреспондент капитан Евгений Халдей, пресс-кемп стали называть «халдейник», а обитателей его, соответственно, «халдеями».

— А вы где живете?

— Ну, разумеется, мы «халдеи»,— ответил Жуков, которого, как мне показалось, даже обидел этот вопрос.

— У вас в «халдейнике» еще найдется место?

— Я о вас уже позаботился. Мы живем в особом доме, который американцы зовут «рашен-пэлас» — русский дворец. Это вне замка, что-то вроде придорожного трактира. Нас в комнате четверо. Будете пятым. Устроит?— деловито осведомился Крушинский.

— Разумеется. Какие могут быть разговоры. А на процесс сегодня можно попасть? — Мне не терпится поскорее побывать в суде, увидеть то, что Димитров называл судом народов, и, может быть, если повезет, сразу передать в Москву хоть маленькую корреспонденцию. Просим удивленного водителя везти нас прямо ко Дворцу юстиции.

Корреспондентский билет мне в этот день достать не удается. Канцелярия коменданта суда американского полковника Эндрюса уже закрыта, но мой раззолоченный мундир еще невиданного здесь образца производит впечатление. Полковник — сама любезность — предлагает папиросы, потчует какими-то засахаренными орешками и в довершение всего сам ведет на гостевой, нависающий над залом балкон, битком набитый какими-то респектабельного вида господами и дамами, и усаживает в первом ряду возле очень красивой, немолодой уже, в форме американской армии женщины, лицо которой кажется мне почему-то знакомым. На прощание полковник спрашивает, не нужен ли мне бинокль, и, как сувенир, дарит план зала.

— Вот что значит уметь одеться,— острит Крушинский, из солидарности тоже оставшийся на гостевом балконе.

А я смотрю в зал, на судей, сидящих за продолговатым столом под сенью советского, английского, американского и французского флагов. На подсудимых, размещенных в этаком дубовом загончике, на противоположном конце залитого мертвенным, синеватым светом зала. Смотрю и думаю, что присутствую при осуществлении самой заветной мечты, которой все годы войны жили миллионы моих соотечественников на фронте и в тылу. Смотрю, и перед глазами вдруг встает такая картина. Самый разгар лютой поволжской зимы. Сталинград. Командный пункт командира 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева. Он сам и несколько офицеров его штаба собрались встречать новый, 1943 год. Холод страшный. Ветер, который здесь зовется «сиверко», с

воем несет по торошеному льду Волги сухой снег, встряхивает дощатую дверь блиндажа, вписанного в гранитный водосток под железнодорожной насыпью. Он вдувает в щели снег, колеблет пламя свечей на длинном столе, сколоченном из горбыля, где меж железными кружками лежат плитки шоколада. Сквозь вой ветра, то усиливаясь, то затихая, доносятся звуки перестрелки. До передовой рукой подать. Вся полоска земли у берега, обороняемая дивизией, прошивается простой винтовочной пулей.

Мы сидим у стола, следя за тем, как зеленоватая светящаяся стрелка часов, снятых с какого-то сбитого самолета, медленно, очень медленно подкрадывается к двенадцати. Возникает спор о первом тосте.

— Давайте выпьем за то, чтобы поскорее их всех тут, в Сталинграде, раздавить!

— Ну да, Сталинград — дело решенное. Давайте за то, чтобы гнать их с нашей земли аж до Берлина,— хрипит подполковник с угловатым, землистого цвета лицом, дергающимся от недавней контузии.— И чтобы всех гитлеров, герингов, геббельсов изловить — и к стенке.

— Расстрелять — это для них слишком жирно. За то, чтобы повесить, вот,— произносит хозяин дома, совсем молодой человек в короткой, обшитой светлым мехом бекеше, успевший, однако, повоевать и в Испании. И поднимает кружку со спиртом, разбавленным снегом.

Зеленоватые стрелки сомкнулись вверху циферблата. Пьем мутный, разбавленный спирт — это шампанское защитников Сталинграда,— закусываем чем-то, извлекая это что-то прямо из банок. И я вдруг поражаюсь тишине, такой тишине, что становится слышно, как завывает на реке «сиверко». Тишина здесь — это плохо, это страшно. Это обязательно перед бурей, и действительно: не успевает минутная стрелка оторваться от двенадцати, как начинается густой артиллерийский налет. Все вскакивают из-за стола и торопливо одеваются. Начинается новый, сорок третий, неведомо что сулящий год...

Моя красавица соседка что-то спрашивает у меня по-английски, и мелодичный голос ее сразу же возвращает оттуда, из замерзшего блиндажа, из дней великой битвы, в которой в значительной мере решалась судьба второй мировой войны, в этот большой, облицованный дубом и зеленым камнем зал, где злодеи, развязавшие войну и омывшие кровью земной шар, смиренно сидят на скамье

подсудимых, ожидая своей участи. Соседка, не понимая моего молчания, повторяет свой вопрос, и в ответ я произношу единственную известную мне английскую фразу:

— Ай донт спик инглиш...[1]

Сбылась, сбылась мечта людей. Советские воины там, на берегу Волги, а затем в последующих битвах сломали хребет фашистскому зверю, дошли до Берлина и водрузили свое знамя над главной цитаделью фашизма. Нацистские главари пойманы и вот теперь ждут возмездия.

— По существу, здесь сидит все гитлеровское правительство,— наклоняясь ко мне через ряд, говорит Крушинский.

Да, он прав. Когда-то вот так же и, вероятно, в том же порядке сидели они за столом президиума на позорно знаменитых партайтагах здесь, в Нюрнберге. Не хватает только, как говорят журналисты, трех Г — Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Вот на этих-то троих отсутствующих подсудимые и их адвокаты, как мне уже рассказали, с первых дней процесса пытаются свалить вину за все тягчайшие преступления «третьего рейха».

Должно быть, находясь в плену карикатуристов, я сразу же был поражен обыденностью и, я бы сказал, даже благопристойностью внешнего вида подсудимых. Ничего страшного или отвратительного — просто сидят двумя рядами разных лет господа: кто слушает, кто беседует между собой, кто делает записи в лежащих перед ними на пюпитрах бумагах, кто посылает записки своим адвокатам, сидящим чуть ниже, по ту сторону барьера. И хотя вон тот, добродушного вида толстяк в сером мундире из замши, в первом ряду справа,— это сам Герман Вильгельм Геринг, «второй наци» Германии, поджигавший рейхстаг, организовавший «ночь длинных ножей», подготовивший захват Австрии, Чехословакии, публично грозивший превратить в руины Лондон, Ленинград, Москву; а этот худой с лицом черепа субъект —Рудольф Гесс, правая рука Гитлера в нацистской партии, сочинявший вместе со своим фюрером евангелие нацизма — «Майн кампф»; а благообразный высокий господин — это коммивояжер международных заговоров Иоахим фон Риббентроп; а высокий военный с квадратным суровым лицом и гладко зачесанными волосами — фельд-

---

[1] Я не говорю по-английски.

маршал Вильгельм Кейтель, соавтор захватнических планов Гитлера, хотя кровавые дела этих людей давно известны всему миру, на внешнем облике суперзлодеев это как-то не отразилось. Мирная обыденность подсудимых поразила меня в этом зале больше всего.

И еще сам ход судопроизводства. Сегодня слушаются показания свидетелей. Двое из них рассказывали о концентрационных лагерях и способах умерщвления людей такое, что за одни эти преступления, как мне кажется, следовало без долгих разговоров отправить на виселицу всю компанию подсудимых. Между тем судопроизводство течет медленно. Председательствующий судья — лорд Джефрей Лоренс — коренастый старик с большой головой и сверкающим лысым лбом — ведет его неторопливо, дает защите тормошить свидетелей вопросами о каких-то малосущественных деталях.

И потом этот бледный, ровный, какой-то угнетающий свет, при котором все вокруг приобретает зеленоватый, мертвенный оттенок. Окна плотно зашторены. Оказывается, наш новый знакомый полковник Эндрюс как-то сострил перед журналистами относительно подсудимых: «Я позабочусь о том, чтобы всем им не видеть солнца». Заключенные сидят в камерах тюрьмы, которая расположена тут же, в здании Дворца юстиции. Там тоже искусственный свет, а из тюрьмы в зал подсудимых ведут по специально проложенному тоннелю, лишая их тем самым даже мысли о возможном побеге.

Вот... в сущности... и все те поверхностные впечатления, которые я получил от первого посещения суда. Не густо. Даже маленькой заметки из всего этого не сварганишь, тем более что соревноваться придется с журналистами-снайперами и с такими великолепными публицистами, как Эренбург, Леонов, Федин.

Мои надежды пробраться во время перерыва вниз, в помещение советского пресс-центра или хотя бы в ложу прессы, оказались напрасными. Американские солдаты с повязками военной полиции — дюжие румяные молодцы в лакированных касках и белых гетрах,— проверявшие пропуска, в отличие от своего начальника не проявили ни интереса, ни уважения к моему мундиру и, улыбаясь, весьма решительно преграждали мне путь. Друзья-журналисты, узнав, что я пленен в гостевых комнатах, прошли наверх, и мы обнимались, удивляя иностранцев, как обнимались при встречах на Калининском, Брянском,

Сталинградском, Втором и Первом Украинских фронтах, и каждый тянул меня в шикарный сверкающий мрамором и никелем бар, где очаровательные длинноногие девицы, будто соскочившие прямо с рекламных обложек нью-йоркских журналов, потчевали гостей кофе, соками и, конечно, кока-колой, которая является, вероятно, непременным атрибутом американского образа жизни.

Кстати тут, в баре, я увидел и мою очаровательную соседку, окруженную толпой гостей. Она щедро раздаривала улыбки и автографы, ставя их в блокноты, на визитные карточки и даже на листки меню.

— Кто такая? — спросил я фотокорреспондента «Правды» Виктора Темина.

— Темнота,— бросил он презрительно,— а еще парадный мундир надел! Это же сама Марлен Дитрих.

С возобновлением судебного заседания я вновь очутился в первом ряду возле своей знаменитой соседки. Она сидела, не надевая наушников, и устало смотрела в зал. Потом вынула из сумочки тюбик с пастилками, положила одну в рот, другую протянула мне. Взяв пастилку, я галантно произнес вторую английскую фразу, которую успел выучить уже в Нюрнберге,— «Сенкью вери матч» [1]. Правда, у меня это прозвучало странновато, вроде «Сенька, бери мяч», но я все же был чрезвычайно собой доволен, что не ударил лицом в грязь перед прославленной актрисой.

Возле военных фургонов, развозивших после заседания трибунала по месту жительства судебный персонал и прессу, я познакомился с остальной советской журналистской колонией. Кроме тех, кто встречал меня на аэродроме, здесь оказался фельетонист «Комсомольской правды» Семен Нариньяни, человек с внешностью доброго, задумчивого сатира, корреспонденты ТАСС Борис Афанасьев и Даниил Краминов, сотрудник «Известий» добродушнейший Михаил Долгополов, которого тут все почему-то звали Папа, и несколько незнакомых товарищей из республиканских газет. В меру поострив насчет моего раззолоченного мундира, все полезли в огромный фургон.

И сразу же заговорили о том, что Геринг сегодня выглядел каким-то измятым: наверное, опять к нему про-

---

[1] Большое спасибо.

несли наркотики. Семен Нариньяни вполне серьезно изрек:

— Ничего, еще отвисится.

Ну а вечером, по неписаному здешнему закону, я повел журналистскую братию после ужина в бар. Бывало, летишь из Москвы на новый фронт, и где-то в заветном уголке вещевого мешка, как некая живая вода, таится бутылка водки, бережно завернутая в кальсоны и носовые платки. Привозили ее обязательно, хотя стоила она в коммерческих магазинах очень дорого. А сейчас, когда карманы полны оккупационных марок, имеющих тут, в американской зоне, золотое исчисление, ну как не чокнуться с коллегами? Уселись и пили, закусывая всякими сандвичами и сластями. Иноземные журналисты с любопытством поглядывали, как мы потребляем наше национальное горючее, ибо джин и виски пьют здесь осторожненько, разбавляя водой и сдабривая ледком.

Ведет здешний бар, а может быть, и содержит его веселый, белозубый американец по имени Дэвид, орудующий у стойки в военном обмундировании с унтер-офицерскими знаками различия на воротнике.

Он разливает напитки и сбивает коктейли так ловко, что бутылки, шекеры, фужеры будто живут в его быстрых руках. У него за спиной продолговатый плакат, и на нем наименования коктейлей. Наименования самые фантастические: «Черная кошка», «Манхеттен», «Креолка», «Кровавая Мэри» и так далее в том же роде. В конце списка красными буквами обозначено, как мне разъяснили, название нового коктейля, который мистер Дэвид рекомендует особенно настоятельно. Этот коктейль носил, оказывается, русское наименование, оканчивавшееся на «овка». Похоже было, что происходило оно от фамилии одного из наших коллег.

Мы возвращались в наш «рашен-пэлас» уже поздно. Как я говорил, советская пресса разместилась вне территории замка, в скромном трактире, куда раньше заходили после смены рабочие и конторщики карандашной фабрики. Теперь низ его заняли какие-то тыловые военные учреждения, а верх, где были крохотные номера, стал обиталищем советских журналистов. По пути туда халдеи и объяснили мне происхождение коктейля со странным названием, доказывающим одновременно и русскую изобретательность, и американскую предприимчивость.

Однажды наш коллега Костя Т. забрел в бар, когда там никого не было. Мистер Дэвид скучал среди своих заманчивых бутылок с разноцветными этикетками. Костя решил над ним подшутить.

— Пожалуйста, коктейль.

— Какой именно?

— Вы такого еще не знаете.

— Я знаю все коктейли мира.

— А этого не знаете. Это по особому семейному рецепту, унаследованному мною от деда.

И он принялся наобум называть разные напитки покрепче. Мистер Дэвид, вливая их в миксер, прислушивался со все большим интересом. Потом стал записывать. В заключение Костя потребовал положить маслину и сам бросил ложку горчицы.

Записав все компоненты, бармен быстро сбил все это и налил в бокал мутную коричневую жидкость. Автору вновь рожденного коктейля при виде своего импровизированного произведения стало страшновато. Но он не отступил. Оказалось, пить можно. Залпом прикончив всю эту дикую смесь, лихо поставил бокал на стол. Восхищенный бармен спросил:

— Простите, ваша фамилия?

Наш друг назвал себя. Разумеется, ему и в голову не пришло, как может обернуться эта его шутка. А вечером в программе коктейлей красными буквами значилась «...овка». Тут же оцененная по достоинству знатоками, она неожиданно вошла в моду. Мы отведали — ничего, терпимо. Единственный, кто не мог на нее смотреть, был сам автор, ибо слава о его изобретении дошла до «Гранд-отеля», и, гонимые любопытством, курафеи организовали экскурсию в пресс-кэмп. Начались шутки, остроты. Бремя славы изобретателя оказалось довольно тяжелым...

...Меня поместили пятым в комнате, где жил Крушинский. Кто-то, извиняясь, сообщил, что храпит во сне, и поинтересовался, не будет ли он мне мешать.

Я порадовал новых сожителей сообщением, что могу перехрапеть их всех, и завернулся в одеяло.

Крушинский же вынес в коридор пишущую машинку, и мы долго слышали ее стук. Так закончился мой первый день в Нюрнберге, в городе, который я даже не успел еще посмотреть, на великом суде народов.

НЕВИДИМЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Рано утром, до того, как всем нам отправиться на завтрак в роскошный парадный зал дворца Фаберов, где, говорят, карандашный король не раз давал обеды для Гитлера и его свиты, Николай Жуков устроил в коридоре нашего общежития, так сказать, выставку своих работ. Человек открытой души, он любит делиться с друзьями своими радостями и удачами, и вот сегодня, разложив на полу десятка три эскизов, набросков, зарисовок, он представил их нам на обозрение.

С первого года войны, когда мы познакомились в заснеженных лесах под Калинином, знаю я этого художника. Знаю его жадность к жизни, его негасимый творческий зуд, заставляющий вынимать свой альбомчик для зарисовок в самых, казалось бы, неподходящих местах — за обедом, на беседах с военным начальством, даже на партсобраниях. Знаю и его умение, рисуя, как бы обнажать человеческую сущность своей модели и, сохраняя полное сходство с оригиналом, порою рассказывать о человеке то, что тот глубоко прячет, а может быть, даже и сам не подозревает в себе.

На эскизах-зарисовках скамьи подсудимых, которые он нам сегодня показал, эта способность проникать в глубь образа сказалась с особой силой. Подсудимые, которые поначалу представились мне собранием вполне респектабельных господ, пройдя через творческую призму художника, обрели свое истинное обличье. Настоящий парад-алле злодеев, моральных уродов, изуверов, которые некогда, заполучив огромную власть, не задумываясь, обрекали на гибель миллионы людей и уничтожали их педантично, изобретательно, с деловитой бездушной последовательностью. Нет. Жуков не окарикатуривал врагов, но заострял самые характерные черты и как бы вывертывал наизнанку их души. Поэтому, вновь войдя в зал заседаний трибунала и заняв теперь уже положенное мне место в третьем ряду правого фланга корреспондентской ложи, очутившись в каком-нибудь десятке метров от скамьи подсудимых, я видел их уже глазами художника, внешняя их благопристойность больше не обманывала меня.

Кто-кто, а американцы понимают все значение прессы, и они, надо отдать им справедливость, сделали максимум возможного, чтобы облегчить работу 315 коррес-

пондентов, слетевшихся и съехавшихся на процесс. Мы сидим в удобных креслах в непосредственной близости и от суда и от подсудимых, прямо напротив свидетельской трибуны. За этой трибуной стеклянная, разделенная на клетки стена, и за стеклом вырисовываются лица переводчиков, бесшумно шевелящих губами в своих кабинах. Перевод идет парламентский, синхронный, и мы можем, надев наушники, слушать на русском, английском, французском и немецком языках все, что говорят судьи, прокуроры, свидетели, что отвечают подсудимые. Корреспонденты, пользующиеся услугами западных телеграфных агентств, могут отправлять свою информацию прямо из зала, по частям, даже не поднимаясь с кресла. Напишет несколько страничек, поднимет руку, тотчас же подойдет дежурный солдат и отнесет корреспонденцию на телеграф. Здесь существует пресс-рум — специальная комната прессы, где корреспондент может поставить свою пишущую машинку на удобный столик и сам отстукать написанное от руки. Но в этой комнате постоянно стоит такой шум и треск, что мало кто из наших пользуется ею.

В нашем распоряжении в восточном крыле огромного здания имеется несколько больших тихих комнат, где для тех, кто не умеет печатать, есть машинистки. А неподалеку и военный провод, соединяющий нас с Берлином и с Москвой, так что через час-полтора корреспонденция может оказаться уже в редакции твоей газеты.

В общем, условия отличные. Только работай. А материал все время идет такой, что волосы шевелятся на голове. И хотя я опоздал на процесс и мои более счастливые коллеги уже «сняли пенки» и поведали читателям обо всех особенностях Дворца юстиции, подробно описав и сам зал, и спокойную беспристрастность судей, представляющих человечество, и физиономии подсудимых,— мне будет о чем писать, ибо материал, животрепещущий, страшный по своей небывалой сути, не перестает бить ключом. Сегодня, как сказали мне коллеги, заседание было сравнительно спокойным. Помощник американского Главного Обвинителя, судьи Роберта Джексона, зачитывал документы, рассказывающие о судьбе людей, насильственно согнанных из оккупированных стран на работу в Германию, о рабах гитлеровского рейха, трудившихся на его заводах и полях и низведенных до положения рабочего скота.

Точной цифры не называлось. Говорилось о миллионах. А для меня все эти огромные человеческие массы остарбайтер[1] как бы воплотились в одном образе русской девушки Марии М., с которой я разговаривал в августе 1943 года в городе Харькове, только что освобожденном и еще одетом дымами пожаров.

Марии тогда было девятнадцать лет, с виду же — все сорок. Сквозь темные волосы пробрызгивала седина, губы иссечены мелкими морщинами и втянуты, как у старухи, а на лице непрерывно дергался какой-то мускул. И вот сегодня она как бы незримо вошла в этот зал и встала за спиной американского Обвинителя, ровным голосом читавшего документы, взывавшие о возмездии.

Никогда не забыть мне дрожащий, захлебывавшийся голос девушки, рассказывавшей нам о том, как во время облавы эсэсовцы схватили ее на улице, вместе с другими харьковчанками бросили в товарный вагон и десять дней везли в этом закрытом вагоне, где девушки в буквальном смысле слова задыхались в жаре и зловонии... Потом нацистский невольничий рынок в одном из городов Восточной Пруссии, девушки, выстроенные рядами, и гроссбауеры, которые ходят вдоль этих рядов, щупают мускулы, запускают в рот пальцы, чтобы убедиться, нет ли цинги, не шатаются ли зубы. И потом работа на полях большого поместья. Женщины-надсмотрщицы с ременными хлыстами. Неизменный суп из брюквы. Телесные наказания за нарушение правил по особой шкале, разной для людей из России, из Польши — остарбайтер — и из Франции, Бельгии, Голландии — вестарбайтер[2].

Для Марии, когда она рассказывала об этом, все страшное было уже в прошлом. Она находилась в освобожденном родном городе, говорила с советским офицером, но не переставала как-то инстинктивно боязливо озираться. В Германии, чтобы избавиться от рабства, Мария сунула руку в шестерню соломорезки. Три пальца были раздроблены. Управляющий поверил, что это произошло случайно, и ее не передали в гестапо, как это делали с другими, кто пытался бежать или саботировал работу. Девушку вылечили и, так как для сельскохозяйственных работ она уже не годилась, послали в качестве

---

[1] Рабочих с Востока (*нем.*).
[2] Рабочие с Запада (*нем.*).

пуцфрау[1] к немке, муж которой, эсэсовец, воевал на Восточном фронте. Хозяйка оказалась вздорной и злой. Когда после поражения под Сталинградом Германия оделась в трехдневный траур, хозяйка отхлестала Марию туфлей по щекам. В отчаянии оскорбленная девушка нарочно опрокинула на себя бак с кипящим бельем. Самоубийство не удалось, но ошпаренные ноги перестали слушаться.

Только такой ценой удалось Марии вырваться из неволи и вернуться на Украину...

В наушниках по-прежнему звучал сочный баритон американского Обвинителя. Документы о рабском труде ложились на пюпитр один за другим. Я смотрел на породистую физиономию Альфреда фон Розенберга, этого идеолога нацизма, имперского министра по делам оккупированных территорий, на Фрица Заукеля — обер-группенфюрера СС, генерального уполномоченного по использованию рабочей силы, круглая голова которого, точно арбуз, лежала на барьере, на этих двух злодеев, искалечивших жизнь Марии М. и теперь ежившихся под тяжестью страшных улик, и вместе с голосом переводчицы слышал в наушниках печальный голос девушки-старухи, как бы шептавшей мне:

— Есть ли правда на земле? Неужели они, эти...— Она замялась, стараясь подыскать самое точное слово для характеристики своих мучителей, но так и не нашла его.— Неужели они — все эти — не ответят за меня, за всех нас?

И вот свершилось. Они на скамье подсудимых, те, кто лишил Марию и миллионы ее соотечественников молодости и счастья. Но сколько пришлось Красной Армии идти с боями от Волги до Эльбы и Шпрее, сколько понадобилось выиграть больших и малых сражений, сколько наших солдат полегло на своей и чужой земле, чтобы искалечившие судьбу Марии очутились в этом зале, на этих позорных скамьях! Теперь суду народов предстоит доказать, что есть на земле правда, и утвердить эту правду на скрижалях новых международных законов. В какой мере это удастся — посмотрим. Ведь процесс еще только начинается.

...Читается инструкция Гиммлера об обращениии с остарбайтер. В заключительных словах этого документа

[1] Служанка, горничная *(нем.)*.

содержится все, о чем, плача, рассказывала мне когда-то Мария М. ...Не может быть и речи о свободном времени... Полное подчинение приказу и распорядку... Запретить выходить в перерывы из помещения фабрики, за пределы фольварков, из бараков или спальных помещений. Ни часа праздного времени... Нарушителей карать по законам военного времени германской империи.

— Даже в эпоху рабства в Древнем Египте рабам не запрещали видеть солнце, вбирать в легкие свежий воздух, говорить с себе подобными,— замечает Михаил Семенович Гус, корреспондент Союзрадио, славящийся среди нас как великий эрудит, этакая ходячая энциклопедия, из которой, открыв ее на определенной странице, можно получить любую справку по истории, литературе и даже юриспруденции.— А здесь, видите ли, за нарушение этих окаянных инструкций карается не только раб, но и надсмотрщик, а рабам отказывается в праве общения с себе подобными.

Ах, как мне хотелось, чтобы не только в моем воображении, а на самом деле вы попали бы в этот зал, Мария М.! Вы и миллионы вам подобных, которым Красная Армия вернула человеческий облик и человеческое достоинство. Чтобы вы посмотрели, как под тяжестью новых и новых доказательств, ложащихся на стол суда, начинает дергаться бровь Розенберга, как Заукель, подняв с барьера свою голову-дыньку, пугливо и настороженно смотрит в зал, как застывает в предельном напряжении обманчиво благородное лицо министра вооружения, любимца Гитлера, Альберта Шпеера. Даже Гесс, симулирующий потерю памяти и полнейшую отрешенность от всего происходящего в зале, уже давно оставил полицейский роман, который постоянно читает, и, как мне кажется, тоже напряженно слушает, хотя и не надевает наушников.

Где вы сейчас, Мария? Мне хочется, чтобы вы во всех подробностях знали о том, что происходит в городе Нюрнберге, и очень хочется верить, что в результате процесса вы будете достойно отмщены.

Для корреспонденции все готово. Не дожидаясь конца заседания, бегу в наши комнаты, и первый репортаж единым духом выливается на бумагу. Пишу, ломая графит карандаша, а потом болтаюсь по аппаратной, мешая телеграфисткам. Мне представляется делом чести, чтобы корреспонденция обязательно попала в завтрашний номер, и

по другому аппарату я передаю телеграмму на имя секретаря редакции «Правды» Михаила Сиволобова с этой просьбой...

В заключение этого насыщенного дня мне особенно повезло. Удалось познакомиться и побеседовать с Главным советским Обвинителем Романом Андреевичем Руденко. Он, естественно, очень занят и к нам, братьям журналистам, как говорят, относится довольно сурово. Но у меня есть маленький козырь. Я передаю ему привет и добрые пожелания от Георгия Димитрова. Прокурор заинтересовался, присел, пригласил сесть и меня, попросил поподробнее рассказать, что думает Димитров о процессе. Слушал, кивал своей белокурой головой.

— Правильно. Очень правильно. Ведь впервые с тех пор, как люди воюют, перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие это большое, сильное и некогда славное государство послушным орудием своих преступных замыслов.

— А как насчет надежды подсудимых на то, что в ходе процесса победившие нации перессорятся, процесс будет скомкан и преступники уйдут от ответа? Здесь много об этом говорят.

Прокурор потирает лоб.

— Такая возможность, понятно, в принципе не исключена, но если судить по началу и ходу процесса, сейчас она вряд ли нам угрожает. Вот некоторые объективные показатели. Со дня окончания войны прошло немногим больше шести месяцев. Ведь так? За это время были разработаны устав и процедура Международного Военного Трибунала. Ведь верно? Общими усилиями следствие всех четырех держав собрало и систематизировало основные доказательства обвинения. Верно? Наконец, налажена и скоординирована деятельность довольно громоздкого и сложного аппарата, представляющего юстицию всех четырех держав. Не правда ли? — Теперь мой собеседник говорил, будто с судебной трибуны.— Словом, будущее покажет, но пока что все заинтересованные стороны лояльно сотрудничают и все строится на основе взаимного уважения и согласия. Пока что мы едины в своем стремлении установить истину.

— А не кажется ли вам, что процесс идет слишком медленно, что даже зачитанного только сегодня вполне достаточно, чтобы осудить всех преступников вместе с отсутствующим Борманом?

— Это первый международный процесс, не так ли? Нет еще ни прецедентов, ни опыта. Если хотите, здесь закладываются основы новых международных законов, которые, очень хочется в это верить, помогут предотвратить новые мировые войны. Вы же журналист, советский журналист, и, конечно, знаете, что на Западе есть тенденция поскорее забыть все ужасы второй мировой войны, отрешиться от них. Именно мы с вами, советские коммунисты, и все прогрессивные миролюбивые люди особенно заинтересованы в том, чтобы раскрыть перед миром тайное тайных нацизма, воссоздать перед миром в мельчайших деталях всю картину нацистских преступлений, показать народам, от какой опасности избавила человечество Красная Армия, принявшая на свои плечи главную тяжесть борьбы с мировым фашизмом. И потому с ходом процесса нельзя, не следует торопиться. Впрочем, вы потолкуйте об этом еще с Трайниным. Он знаток истории международного права.

— А много нового откроется на суде?

— Мы, юристы, не имеем права опережать следствие, чего и вам, корреспондентам, не советую делать. Но мой уважаемый коллега, Главный Обвинитель от Соединенных Штатов судья Джексон во вступительной речи заявил: «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна». Он сказал правильно.

Вернулся я в пресс-кэмп в том приподнятом состоянии, которое всегда появляется от сознания, что день прошел недаром. Корреспонденция в Москве, удалось побеседовать с Главным Обвинителем. И наконец-то избавился от необходимости щеголять в великолепном мундире: Сергей Крушинский пожалел меня и пожертвовал свою гимнастерку. Она, мягко говоря, не нова, заношенна, но, как выяснилось, при пресс-кэмпе имеется специальный бокс для бытовых услуг. Мне обещали за ночь почистить и даже подштопать мою одежку.

Спать не хочется. Голова свежа. И хотя окна гостиных пресс-кэмпа сияют и сквозь открытые форточки вместе с табачным дымом вырываются обрывки джазовых мелодий, захотелось побыть одному, подышать воздухом мягкой баварской зимы. Днем шел снег. Нет, не наш — сухой и острый, что в это время года сечет и жалит лица прохожих на улицах Москвы, а какой-то рождественский — крупный, сыроватый. Пушистыми подушками покрыл он ветви деревьев, подветренную сторону их

стволов, застелил мягкими коврами дорожки. Чудо как хорошо в старом парке!

Я шел, протаптывая дорожку в еще нетронутом снегу, и вдруг мне отчетливо вспомнился рассказ одного летчика — Мересьева или Маресьева, слышанный на полевом аэродроме в разгар битвы на Орловско-Курской дуге. Он показался мне необыкновенно интересным, этот рассказ, который мне удалось тогда записать. Тетрадь с надписью «Календарь полетов 3-й эскадрильи», куда я занес одиссею летчика, я протаскал с собою всю войну, собираясь когда-нибудь превратить записи в книгу. Она и сейчас со мной, эта тетрадь. А что, если, ознакомившись с обстановкой и наладив дело, сесть за книгу здесь, в Нюрнберге? Одна корреспонденция в неделю — разве это норма? Времени хватит. Книжка «Братушки» явно уже погорела. Когда я еще попаду к этим своим братушкам! А здесь работать можно. Крушинский, стучавший вчера на машинке до полуночи, оказывается, пишет роман о словацком восстании. Мой новый знакомый, Даниил Краминов, проведший войну в войсках союзников, трудится над книгой о втором фронте. Почему бы и мне не взяться?

Полный решимости, бодрым шагом возвращаюсь я в наш «халдейник». Никого из моих четырех сожителей по комнате еще нет. Достаю стопку бумаги, решительно вывожу на первом листе название: «Повесть о настоящем человеке». Написал и остановился — что дальше? Будет это очерк? Или действительно повесть? А может быть, роман?.. Так, не придя ни к какому выводу, решив, что утро вечера мудренее, малодушно заваливаюсь спать.

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ОДИН

День начался как обычно. Приехали мы пораньше. Зал был еще пуст. Но искусственные солнца уже источали свой мертвенный свет, и ложа прессы стала постепенно наполняться. Мелко семеня торопливым шажком, с озабоченным видом прошел на свое место Всеволод Вишневский с папкой письменных показаний на разных языках и, усевшись, стал деловито их сортировать и раскладывать. Приветливо улыбаясь, раскланиваясь направо и налево, занял свое место элегантный Константин Федин с трубкой в руке. Курить в зале строжайше за-

прещено. Трубка у Федина не зажжена, но он неизменно носит ее с собой как некий маршальский жезл. Отдуваясь и что-то добродушно бормоча себе под нос, усаживается в кресло Всеволод Иванов. Улыбаясь своим, помахивая рукой иностранцам, появляется Илья Эренбург. Здесь, на международном сборище прессы, он, по-моему, становится жертвой собственной популярности. Стоит ему остановить свой торопливый бег, как он сейчас же оказывается окруженным разноплеменной толпой, обращающейся к нему на разных языках, ибо среди корреспондентов бытует ошибочное мнение, что Илья Григорьевич полиглот, знает все языки мира и может действовать без переводчика. В таких случаях он, как черепаха, втягивает голову в плечи и только улыбается. Пришел и, извинившись перед соседями, сел милейший, деликатнейший Юрий Яновский. И наконец вплыли, именно вплыли, Кукрыниксы, двигающиеся обычным своим строем. Втроем. Один за другим, этакой поднимающейся вверх диаграммой: впереди маленький, быстрый Порфирий Крылов, за ним курчавый, голубоглазый, среднего роста Николай Соколов и, наконец, высокий, невозмутимый, по-верблюжьи прямо держащий голову Михаил Куприянов. Все они несли совершенно одинаковые холщовые папки, которые, однако, казались — у Крылова огромной, а у Куприянова маленькой.

В последнюю минуту, когда суд уже занял свои места и обвиняемые в строго установленном порядке расселись на скамьях, когда Геринг окутал себе ноги солдатским одеялом, а Гесс почему-то, к нашему общему удивлению, не раскрыл свой полицейский роман, примчался Семен Кирсанов, который, несмотря на живость характера и быстроту движений, все-таки ухитрялся всегда и всюду опаздывать. Прибежал, опустился на первое свободное кресло, раскрыл блокнот и...

За судейским столом встал лорд Лоренс и своим классически-английским, ровным, бесстрастным голосом объявил, что заседание будет закрытым и он просит публику покинуть зал.

Ну покинуть так покинуть. Вишневский торопливо и озабоченно складывает свои бумаги, Кукрыниксы, которых друзья для краткости именуют Кукры, завязывают свои папки и тем же строем, но в обратном порядке выплывают из зала. Куда пойти? В пресс-рум, слушать под треск пишущих машин бородатые анекдоты — неохота.

В бар, в столовую? Ни пить, ни есть тоже не хочется. Пойду-ка в юридическую библиотеку, нашу библиотеку, о существовании которой я узнал от Главного Обвинителя. Оказывается, мы эту библиотеку привезли с собой. В ней все открытые и закрытые материалы о «третьем рейхе», с самого начала его возникновения — книги, бюллетени, тематически сгруппированные выписки. Начинаю пополнять свое образование, и вдруг раздаются три странных, нетерпеливых рыкающих звука, доносящихся откуда-то из-под потолка. Что такое? Звуки повторяются. Слышу в коридоре топот ног. Еще не понимая, что случилось, как-то инстинктивно присоединяюсь к бегущим, а под потолком трижды зуммерит снова и снова. Обгоняющий меня рослый американец роняет слово «сенсейшен». Сенсация — это понятно и без перевода.

Уже в дверях, где толкаются рвущиеся в зал корреспонденты, западноукраинский писатель Ярослав Галан поясняет мне, что здесь существует такое правило: если в ходе процесса намечается что-то интересное, во всех комнатах Дворца юстиции раздается один сигнал, если предстоит что-то заслуживающее особого внимания, звучит двойной, а если сенсация — тройной. Тройных с начала процесса еще ни разу не передавали, и потому журналистская толпа в дверях кипит особенно круто, вот-вот опрокинет часовых, проверяющих пропуска.

Наконец мы на своих местах. Все судьи уже за столом. Подсудимые и адвокаты переговариваются как-то особенно возбужденно. Но тем же спокойным голосом, который, вероятно, не изменился бы даже в случае землетрясения, лорд Лоренс объявляет, что подсудимый Рудольф Гесс сделает особенно важное заявление.

Гесс — «третий наци» Германии, потенциальный престолонаследник фюрера, с начала судебного следствия объявил, что страдает полной потерей памяти. Симулировать манию величия не для кого: не та аудитория. Объявить себя просто сумасшедшим — вульгарно. Как-никак, не погас еще расчет хоть зайцем, да проскользнуть в историю. И вот он выбрал себе болезнь с благородным названием «амнезия». Должно быть, в предвидении будущего он, даже будучи интернированным в Англии, как раз когда пришли первые вести о разгроме германских войск под Сталинградом, как бы прорепетировал приступ этой болезни. Вторично она якобы овладела им, когда он

увидел на фотографии советский флаг над куполом рейхстага. Но то были лишь репетиции. Память Гессу все-таки была необходима для разных комбинаций, с помощью которых он рассчитывал уйти от суда. Когда же ему это не удалось и началось предварительное следствие, он «потерял память» в третий раз и, как предполагалось, уже окончательно. Поэтому он и сидел на суде, не надевая наушников. Поэтому и читал полицейские романы, как бы подчеркивая, что все происходящее его не касается.

Но его подвергли экспертизе виднейшие психиатры мира, среди которых не последнюю роль сыграл и известный советский ученый Краснушкин. Эксперты сошлись на том, что Гесс симулянт — ловкий, очень волевой, целеустремленный симулянт. Но доказать это было трудно. И вот...

Гесс встает, покусывая губы, и, пригладив рукой жидкие волосы, выжидает, пока перед ним устанавливают микрофон. Потом хладнокровно, хрипловатым, утробным голосом произносит:

— С настоящего момента моя память находится в полном распоряжении суда. Основания для симуляции у меня были чисто тактического характера.— И садится, чуть кривя свой тонкий маленький рот.

Наши западные коллеги срываются с мест и, толкая друг друга, вперегонки несутся к телефонам передать эту сенсацию номер один. Нам некуда торопиться. Для нас это лишь дополнительный штрих к моральному облику подсудимых.

Только позднее, в наших русских комнатах, обсуждаем случай с Гессом. Гесс — в истории нацизма фигура значительная и весьма зловещая. Однополчанин Гитлера, он одним из первых вступает в созданную Гитлером национал-социалистскую партию. После неудачного путча 1923 года он вместе с Гитлером оказывается в тюрьме, а по выходе оттуда пишет вместе с ним знаменитую «Майн кампф», которая через десять лет станет нацистской библией. До своего отлета на Британские острова Гесс — заместитель Гитлера по руководству нацистской партией, и в полет этот Гитлер направил его, вероятно, для того, чтобы начать переговоры о заключении сепаратного мира с англичанами с тем, чтобы, развязав себе руки на западе, обрушить все военные силы на Советский Союз. Это «особое задание», как полагал Гесс, позволит ему обска-

кать Геринга и переместиться по лестнице фашистской иерархии с третьего места на второе.

— А вы знаете, на чем окончательно поймали Гесса? — спрашивает Юрий Корольков, журналист, имеющий обширные связи в судейских кругах.— На просмотре фильма. По совету профессора Краснушкина ему в пустой комнате показывали фильмы — какие-то партайтаги, происходившие вот здесь, в Нюрнберге, перед войной, митинги на партайленде, гром, шум, музыку. Там он всюду был вместе с фюрером.

Гесс смотрел эту хронику, вновь переживая свое былое могущество, улыбался и не знал, что в эту минуту его самого, его лицо снимают на кинопленку. Когда этот новый фильм был готов и его показали Гессу, тот был вынужден покончить с притворством.

— Откуда ты это знаешь?

— От самого профессора Краснушкина, нашего представителя в комиссии по судебно-психиатрической экспертизе.

Любопытно, как же поведет себя теперь этот всесильный «третий наци», вновь обретший свою память!

У меня хорошая новость. Представитель «Правды» в Берлине И. И. Золин прислал мне сюда машину. Ее пригнал шофер Вишневского, веселый морячок самого что ни на есть одесского склада. Но водителя для меня выделить не смогли, пришлось обращаться к американским военным властям, опекающим трибунал. Офицер, заведующий их автотранспортом, широко улыбнулся: «О'кэй, шофер будет».

И вот он любезно позвонил мне во Дворец юстиции, сообщив, что шофер явится ко мне завтра в «рашен-пэлас» в восемь утра. Имя — Вольф Ставинский. Квалифицирован, знает русский язык... Деловой все-таки народ американцы, обязательный. Обещают — сделают.

КОЛЫБЕЛЬ И МОГИЛА

Итак, проблема одежды решена. Мундир повешен в шкаф, а на мне старенькая гимнастерка Сергея Крушинского, которую не только вычистили, но и омолодили. А вот с шофером получилась ерунда, хотя американский офицер, ведающий автотранспортом, оказался человеком очень обязательным, даже, пожалуй, слишком обяза-

тельным. Обещанный им шофер явился в воскресенье утром. Высокий, белесый, с довольно интеллигентным лицом, одетый в кожаные штаны, такую же куртку и гетры. Он отрекомендовался как-то очень по-штатски и даже протянул мне руку.

— Я знаю по-русску,— сказал он со странным, непохожим на немецкий акцентом.

— Откуда?

— Моя фамилия жила Рига.

— Вы знаете машину системы «фольксваген»?

— Я знаю все марка немецких машин.

В общем, он мне понравился. Я попросил переводчицу позвонить в гараж и передать, чтобы шофер к девяти ноль-ноль подал машину к «рашен-пэлас».

— Хорошо, я так сделаю.

Я хотел было позвонить обязательному американскому офицеру, поблагодарить его, пригласить на ленч, но вспомнил, что воскресенья здесь блюдутся свято, в оффисе, наверное, никого нет, и отложил все на завтра. В положенное время машина была на месте. Я уже сколотил компанию ехать осматривать город, который, судя по всем справочникам и путеводителям, обещал быть очень интересным. Крушинский и Жуков охотно согласились принять участие в экскурсии.

Конечно же, среди многих достопримечательностей нас интересовало прежде всего то, что было связано с зарождением нацизма, колыбелью которого и являлся этот средневековый город. В здешних пивных первые штурмовики орали свое «Зиг хайль!» тогда еще мало кому известному австрийцу Адольфу Шикльгруберу. Со здешних трибун возглашались Гитлером, Геббельсом, Герингом, Штрейхером обещания сделать «третий рейх» всемирной империей «по крайней мере на ближайшую тысячу лет». По узким улицам, улицам-ущельям, где с каждого фасада в современность смотрело средневековье, под грохот барабанов и писк дудок шагали бесконечные факельные шествия мракобесов.

На процессе мы уже вдоволь наслушались о позорных страницах биографии этого почтенного средневекового города, выросшего на древнем канале, соединяющем две важнейшие водные артерии Германии — Дунай и Майн. Но хотелось подкрепить это зрительными впечатлениями, вступить с Нюрнбергом, так сказать, в непосредственное общение.

Мой шофер и тут оказался человеком сведущим. Пивная, где выступал Гитлер? Пожалуйста. Она, правда, разрушена, но ничего, кое-что все же сохранилось. И «фольксваген» подкатил к дому, смотревшему на улицу пустыми глазницами заколоченных окон. Над входом на кованой консоли прикреплена ржавая металлическая рука, держащая кружку с пивом. Двери нет. В засыпанном штукатуркой огромном помещении толпились американские офицеры. Стены пивного зала покрыты потемневшей росписью — сценки из старой баварской жизни. Роспись неважная. И все же на высоту человеческого роста все фрески выщерблены. Вот и сейчас американский лейтенант, стоя на табурете, большим ножом отковыривал кусочек фрески. Увидев нас, он смутился, спрыгнул с табурета и спрятал нож.

Мы не сразу поняли, что он делает, но наш всезнающий шофер пояснил: господа американские офицеры любят сувениры. Они хотят взять сувенир из пивной, где выступал сам Гитлер. Нам сувениры были не нужны, и, посмотрев место, где ядовитые споры фашизма дали свои первые ростки, мы откозыряли и ушли.

Поехали дальше, в глубь старого города. Впрочем, поехали — это не то слово. Стали осторожно пробираться между развалин, потому что самого города, прославленного всеми туристскими справочниками, уже не было. Английская и американская авиация на прощание так потрудилась над старым Нюрнбергом, что превратила его в огромную сплошную руину, где немцам за послевоенные месяцы удалось разобрать лишь проезды и проходы вдоль улиц. Здесь произошло нечто непонятное. Заводы, поставлявшие для армии танки, орудия, авиационые моторы, остались целехоньки. Аристократические предместья, где жили богачи и владельцы всех этих заводов, питавших войну, тоже превосходно сохранились, а вот седая старина разутюжена, что называется, всмятку.

Где на машине, где пешком, пробираемся через руины. Какой-то маленький господин с перышком на шляпе, в охотничьей куртке и замасленных замшевых шортах, из которых торчали посиневшие от холода колени, вызвался быть нашим проводником. Пачка сигарет? О, это его вполне устроит! Он давно не курил настоящих сигарет. Убеждаемся, что шофер наш просто незаменимый человек. Он довольно бойко переводит все, что говорит

добровольный гид, и мы гуськом пробираемся через развалины, местами угадывая бывшие улицы лишь по каким-то случайным ориентирам: чудом сохранившейся стене, воротам, ведущим в пустоту, или синей табличке с названием улицы, валяющейся на битом кирпиче.

Эта атмосфера поистине апокалипсических разрушений обнимает нас сразу же за тяжелой аркой Северных ворот, и трудно, очень трудно, даже держа в руках туристский справочник и привязывая себя к сохранившимся ориентирам, зрительно воссоздать облик этого старого и, вероятно, когда-то действительно очень красивого города. На славившейся своей великолепной готикой старинной площади Хаупт-марк, носившей потом наименование Адольф-Гитлерплац, сохранился только фонтан. Знаменитая Фрауенкирхе, искуснейшее сооружение зодчих тринадцатого века, напоминает сейчас старую театральную декорацию, растрепанную и помятую ветром.

Руины, руины, руины. Чудом уцелел Альтенбрюке — горбатый мост через реку Пехнау, соединяющий теперь одни развалины с другими. Как покосившийся театральный задник, стоит фасад древней ратуши, где еще шесть столетий назад духовные предки сегодняшних подсудимых принимали сочиненные ими расистские законы. Между двух гряд битого кирпича поднимаемся к старому замку и по валяющейся среди кирпичей синей табличке узнаем, что идем по Бургерштрассе. Сам замок массивной серой громадой возвышается на скале. Ему тоже досталось: потрескались стены, покосилась старая башня.

— Вам, наверное, приятно смотреть, как союзники отомстили немцам за ваши разрушенные города,— произносит шофер и добавляет: — Ведь говорят, что труп врага хорошо пахнет.

Мы все трое с удивлением оборачиваемся к нему.

Приятно? Да, все мы видели и мой родной искалеченный город Калинин, и руины Сталинграда, и взорванные храмы Киева, и каменные скелеты Минска, на которые со сладострастием взирал с самолета Адольф Гитлер. Но кому придет в голову радоваться, наблюдая варварские разрушения этой великолепной немецкой старины? Вот если бы были разрушены дома фабрикантов оружия и тех, кто ходил во главе факельцугов, это было бы справедливо. Но ведь, повторяю, аристократические предместья, как и военные заводы, целехоньки. Правда, это

не доказано, но ходят слухи, что изрядная часть акций этих заводов находилась в руках американских концернов.

— Да, да. Янки могли, конечно, этого не делать,— поспешно соглашается шофер, должно быть, уловивший наше настроение, и добавляет, наклонившись ко мне: — Вообще американцы — это цивилизованные дикари.

Опыт войны меня кое-чему научил. Услышав эту последнюю, шепотом произнесенную фразу, я как-то инстинктивно настораживаюсь и начинаю приглядываться к новому знакомцу. Экскурсия по руинам заканчивается. Расплачиваемся с нашим немецким провожатым несколькими пачками «честерфильда». Он удивлен и рассыпается в благодарностях, варьируя на все лады слова «данке», «филь данке», «данке шён» и даже «херцлихен данк», что соответствует нашему «покорнейше благодарю»...

— Вы напрасно так щедры,— замечает шофер.— Это не вполне разумно. С него хватило бы и одной пачки.— И опять вполголоса, только для меня: — Янки — страшные скряги. Вы знаете, их солдат, поимев немецкую девчонку, дает ей один чулок, а второй она должна заработать на другой день или тут же у его товарища. Они не балуют немцев.

— Вы знаете, где расположен партайленде, ну, этот стадион, где Гитлер проводил свои слеты?

— О да, яволь, яволь,— оживляется он.

Машина выбирается из развалин, проносится по улице уцелевшего аристократического предместья, вырывается на окраину, откуда виднеются вдали белые угловатые очертания гигантских трибун, охватывающих огромное поле. По сравнению с ним знаменитый Сокольский стадион в Праге, где мне пришлось однажды садиться на самолете, показался бы волейбольной площадкой. Вот здесь-то и происходили гитлеровские шабаши, в которых участвовало до полумиллиона нацистов, съезжавшихся со всей Германии.

Это поле и обойдешь не скоро. В центре огромной трибуны возвышается белый куб. На нем в часы этих шабашей стоял фюрер, а с ним те, кто сейчас сидит на скамье подсудимых. Отсюда он выкрикивал свои речи, в том числе и ту, где сказал, что германский орел уже распростер свои могучие крылья над Европой и скоро, очень скоро распахнет их и над Азией. Сейчас этот орел уж

сколот со лба трибуны, а на месте, с которого кричал Гитлер, перешучиваются и, гогоча, фотографируются на память здоровые, рослые американские морячки. Собственно, смотреть тут больше нечего, и мы едем назад через разрушенный город.

По пути, среди руин, встречаются чудом сохранившиеся памятники каким-то мореходам, изобретателям, поэтам. Бронзовый Ганс Сакс сидит на стопке книг, и кажется, что он недоуменно развел руки, не понимая, как же это могло случиться: вот жили спокойно в этом старом городе многие поколения бюргеров, пили пиво, ели сосиски с капустой, трудились, читали Библию, а потомки этих же бюргеров построили только что осмотренный нами партейленде и уже не только в тесных пивных с зеленоватыми стеклами, а на просторе, не таясь орали о необходимости расширить германское жизненное пространство на все пять континентов, грозились уничтожить всех, кто с этим не согласен. И в ответ на бредовые эти мечты полумиллионная беснующаяся толпа ревела «Зиг хайль!» и «Гох!».

И орды современных дикарей ринулись на мирные страны Европы. Одно за другим падали под ударами их панцермашин европейские государства. Лилась кровь. Бомбы со свистом обрушивались на памятники культуры. Врываясь в города, современные дикари грабили и разрушали, как и не снилось их духовному предшественнику и предку Фридриху Барбароссе, замок которого венчает гигантскую гранитную скалу, господствующую над Нюрнбергом.

Так было здесь до той поры, пока Гитлер в безумной мечте о мировом господстве не бросил свои, считавшиеся непобедимыми, орды против Советского Союза. Посеявший ветер, пожал бурю, а родина мракобесных расистских теорий, колыбель национал-социализма, Нюрнберг готовится сейчас стать его могилой.

А пока бронзовый Ганс Сакс сидит на груде своих свитков и книг в окружении гигантских руин, разведя руки, и вся поза его словно бы говорит: «Н-да, должно быть, и верно предрекало Евангелие: «Что посеешь, то и пожнешь...»

Нелегко живется сейчас гражданам этого некогда очень богатого города. В центре они ютятся в бомбоубежищах, в бункерах, в хижинах среди развалин, сложенных кое-как из ящиков, досок, дверей. Здесь и там мож-

но видеть, как прямо среди камней торчит железная труба и из нее сочится дымок. Стóит остановиться, и сейчас же видишь детей — худых, с запавшими глазами, но чистенько одетых, умытых, в тщательно заштопанных курточках. Они не протягивают руки и не просят милостыню. Боже сохрани! Они стоят молча. Зато красноречиво просят их глаза, и мы, помня детей Сталинграда, Харькова, Полтавы, понемножечку раздаем им свои пфенниги.

Шофер опять замечает:

— Вы, русские, очень великодушны. Даже странно это видеть после того, сколько вы пережили из-за немцев. А вот янки...

— Вы что же, очень не любите американцев? — громко, так, чтобы слышали все, перебиваю его я.

Он пугливо оглядывается на моих спутников.

— Я? Нет, почему же? Я только хотел сказать, что они совсем другие, чем вы.

Чувствую, как во мне все нарастает пока еще безотчетная настороженность и даже неприязнь к этому услужливому человеку, хотя машину он ведет мастерски, сносно говорит по-русски, и так почтителен, что всякий раз, когда нам нужно выходить, выбегает, чтобы открыть дверцу. Неприязнь становится особенно отчетливой после маленького инцидента, происходящего за Северными воротами, где начинается сохранившаяся часть города. Здесь ходит трамвай. Проезжают редкие машины. Несколько раз мы встретили громоздкие, старинного образца фаэтоны и даже карету, которую тащила пара кляч. Так когда-то в таких вот экипажах разъезжали по старому городу туристы. Теперь из-за отсутствия бензина, добываемого немцами пока лишь путями неправедными, эти туристские экипажи возят, так сказать, всерьез, заменяя автомобили.

В этом-то сохранившемся районе на одной из афишных труб мы увидели плакат с изображением белокурых, пышногрудых девиц, отплясывающих какие-то танцы в костюмах праматери Евы. Ночное кабаре! Масса удовольствий! Только для военнослужащих войск союзников! Мы что-то поострили на тему о том, что не худо бы было организовать туда экскурсию представителей прессы, а шофер, слышавший этот разговор и воспринявший его всерьез, тут же заявил, что может сегодня же познакомить нас с молоденькими и вполне порядочными девочками и что сделает это вполне бескорыстно,

«из уважения к доблестным русским офицерам». Стоить развлечение будет недорого, и расчеты можно будет произвести не только деньгами, но даже предпочтительно продуктами.

— Очень, очень люксусные фрейлины, шик модерн!

— Где это вы такого фрукта откопали? — довольно громко сказал Крушинский.

Ответить я не успел: мы подъезжали к пресс-кэмпу. Высадив спутников, я приказал везти меня во Дворец юстиции. Нужно было отдать на телеграф написанный еще вчера очерк. Когда мы остались одни, шофер спросил меня, доволен ли я его ездой.

— Да, вы неплохо водите машину.

И тут он вдруг разоткровенничался:

— Герр оберст, я ненавижу американцев. Они вульгарны, они необразованные, грубые люди. От них нас, европейцев, просто тошнит. Русские — совсем другое дело. Мне вы очень понравились, и я могу быть вам полезен. Я хорошо знаю город, у меня здесь много друзей, очень серьезных людей... Могу вас с ними познакомить.

Это был уже явный перебор. Двадцать два, как говорят карточные игроки, и я довольно бесцеремонно перебил его, забыв, что уже спрашивал об этом.

— Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

— Я ведь вам говорил, я из Прибалтики. Фольксдойч,— ответил шофер несколько смущенно.— Там жило много прекрасных русских людей, и я с ними дружил. Но пусть герр оберст не думает, что я воевал против России. Я был в батальонах Тодта — строил дороги, укрепления, аэродромы. Могу поклясться на Библии, что я не стрелял в ваших соотечественников.

Тут мы подъехали к месту назначения. Шофер выскочил из-за руля и, обойдя машину, открыл дверцу.

— Когда и куда завтра подавать?

— Сколько вы хотели бы получать в месяц?

— Здесь платят двести марок,— ответил он, называя несусветно малую цифру.

— Вот вам пятнадцать за сегодняшний день. Отгоните машину в гараж и можете быть свободны.

— Варум? — спросил он по-немецки.

— Ауфвидерзеен,— ответил я и потом, найдя переводчицу Майю — маленькую девушку в форме младшего лейтенанта, которую все мы зовем Оловянный солдатик,

попросил ее соединиться по телефону с американским капитаном, ведавшим автохозяйством.

— Капитан у телефона,— вскоре сказала она.— Спрашивает, как понравился присланный им шофер, знает ли он машину?

— Ответьте ему, только переводите, пожалуйста, поточнее, что машину он знает, а людей нет.— Переводчица удивленно оглянулась.— Да, да, так и переводите. Скажите капитану, что это действительно хороший шофер, но очень плохой артист... Так и скажите — артист. Вы меня правильно поняли... Скажите еще, что я благодарю капитана за любезное содействие и от души советую ему не пользоваться больше услугами этого типа.

— Капитан спрашивает, а кто же будет водить вашу машину?

— Скажите, пока что буду ходить пешком, и попрощайтесь с ним в самой вежливой форме.

Девушка положила трубку.

— Вы знаете, мне кажется, что капитан был очень огорчен.

— Ну еще бы! Я тоже.

Так я снова вышел из почтенного круга корреспондентов-машиновладельцев и стал пешим корреспондентом, или пешкором, как говаривали мы в дни войны.

КОМНАТА № 158

Человек, говорят, ко всему привыкает. Понемногу привыкли и мы к потоку страшных материалов, которые ежедневно перерабатывала громоздкая и неторопливая судебная машина. В погожий день нет-нет да и пахнет весной, да так, что сердце забьется от воспоминаний о наших тверских веснах, которые наступают хотя и попозже, чем баварские, однако не менее прекрасны и сильно бередят человеческую душу. В такие вот дни трудно сидеть в уже поднадоевшем зале. Кое у кого из-за искусственного освещения стали болеть глаза, и некоторые судейские, мы, корреспонденты, да и подсудимые обзавелись темными защитными очками. Что там греха таить — во время судебных заседаний редеют наши ряды в корреспондентской ложе, зато в баре не протолкнешься.

Вот тут-то и встретил я сегодня, и совершенно неожиданно, старого знакомого, с которым впервые столкнулся в Праге в те беспокойные часы, когда пражские повстанцы вели бои за мосты, а советские танки еще только подходили к окраине столицы Чехословакии. Мечтая дать последнюю корреспонденцию о последнем сражении Великой Отечественной войны, я выпросил у маршала И. С. Конева самолет с очень опытным летчиком, чтобы, опередив танковые колонны, шедшие на выручку повстанцам, приземлиться где-то поближе к городу и описать встречу первых танков из армий Лелюшенко и Рыбалко. Маршал-полководец с комиссарским сердцем умел понимать наши корреспондентские души. Самолет был получен, и еще до рассвета мы вылетели из-под Дрездена на юг, к Праге. Не буду описывать подробности этого путешествия. О них рассказано в предыдущей книге. Мы благополучно приземлились на Сокольском стадионе в Страгове, повстанцы доставили нас к центру города, и вот тут, у развалин горевшей ратуши, я впервые встретил человека, с которым сегодня столкнулся здесь, во Дворце юстиции.

Эсэсовцы с пулеметами еще занимали чердаки в домах, окружавших Староместское Наместье. Они не давали гасить пожар, и всякий раз, когда кто-то из повстанцев высовывался на площадь, асфальт прошивала очередь визжащих пуль. А человек, о котором идет речь, в песочного цвета комбинезоне с трехцветной национальной ленточкой на берете, примостившись среди развалин, старался заснять эсэсовцев, ввинтив в аппарат толстенную трубу телескопического объектива. Заработает пулемет — он прячется. Смолкнет — снова нацеливает трубу на чердак.

Мы с летчиком окликнули его. Он оглянулся и, увидев двух офицеров в советской форме, бросился к нам. Но прежде чем подать руку, все-таки присел, сделал еще несколько снимков, потом отрекомендовался:

— Карел Гаек. Фоторепортер.

— И повстанец?

— И повстанец, но фоторепортер в первую очередь...

Так мы познакомились. А потом, когда советские танки уже вошли в город и отделили его стальным щитом от двигавшихся к нему немецких дивизий, этот человек пригласил нас к себе. Познакомил с женой — очаровательной артисткой музыкальной комедии, показал нам

свои фотоальбомы. Он оказался знаменитым фотографом — анималистом. Работы его известны во многих странах.

Вот его-то я и встретил сейчас у стойки пресс-бара. Заказали кофе и принялись обмениваться воспоминаниями. Он был все такой же неугомонный Карел — большой, добродушный, веселый, похожий на огромного ребенка, с трудом засунутого в военную форму западного образца. Как всегда, он горел планами, замыслами, шумно радовался тому, что сделал, и был горд тем, что предполагал сделать. А мечтал он создать альбом Нюрнбергского процесса, отразив в нем прошлое и настоящее подсудимых, суд, картины преступлений.

— Ты что же, только что приехал? Ваши сидят рядом, мы уже подружились с Висентом Нечасом, с Яном Дрдой.

— Нет, я здесь с самого начала. Сижу напротив скамьи подсудимых за стеклом и навожу на них объектив, выжидая подходящего момента. Это, пожалуй, интересней чем снимать диких зверей. Хочешь, покажу, что получается?

Он куда-то ушел, принес папку, с чисто репортерской бесцеремонностью, смягченной милой улыбкой, согнал с окна каких-то англичан и быстро разложил на подоконнике снимки. И я поразился, сколь выразительными оказались запечатленные на них мгновения истории... Нюрнбергская улица, украшенная флагами. По ней движется бесконечная колонна штурмовиков со штандартами и знаменами, а на тротуарах беснуется восторженная толпа, облепившая памятник Гансу Саксу. А на другой фотографии, сделанной с той же точки, в тот же час дня, та же улица, превращенная в груды щебня, и в глубине Ганс Сакс поднимается из руин таким, каким мы его недавно видели. И еще группа людей, впрягшись в ручную тележку, везет какую-то рухлядь.

Стадион партайленде. Он весь от края до края полон упитанными светловолосыми девицами весьма пышных форм, в одинаковых белых кофточках и темных юбках. Бесконечные ряды этих юных брунгильд вскинули руки в нацистском приветствии и что-то отчаянно вопят. Лес рук, ряды искаженных криком лиц. Вдали на белом кубе трибуны видна фигурка Гитлера... И вновь снимок, сделанный с той же точки. Партайленде. Пусты огромные трибуны. Через поле бежит голодная собака, а на перед-

нем плане негр в форме американского сержанта обнимает пухлую белокурую девицу, прильнувшую к нему.

Вот Геринг и Гесс на очередном торжестве в парадных нацистских костюмах, увешанные орденами. Они же рядом на скамье подсудимых... Риббентроп во фраке с орденской лентой через плечо, усмехаясь, поднимает бокал шампанского на дипломатическом приеме, и он же в тюрьме ест кашу из крышки котелка... Тонущий в море огромный английский броненосец, торпедированный немецкой подводной лодкой, сотни людей, бросающихся через борт в море... Какие-то военнопленные крючками выволакивают из вагонов тех, кто, не доехав до места назначения, умер в пути... Горы тел у разверстых пастей печей ожидают сожжения.

Особенно поражает сопоставление двух снимков: гитлеровское правительство сфотографировалось во главе с фюрером в президиуме какого-то партайтага — в первом ряду сидят Фрик, Риббентроп, Геринг, Гитлер, Розенберг, Гесс, а сзади, улыбаясь, — Функ, Франк, Ширах, Кейтель, Редер, Штрейхер. Рядом снимок — скамья подсудимых, где почти в том же порядке те же лица слушают перечень своих преступлений. На этих снимках как бы видишь движение самого колеса истории: оно то повертывается в недавнее прошлое, то возвращается в сегодняшний день; такое сопоставление придает запечатленному на фотографиях особенную глубину.

А какие сильные фоторепортеры! Гаек схватывает свою модель в тот момент, в том психологическом состоянии, когда ее истинная сущность раскрывается с особой полнотой. Вот Геринг бешено скривил свой широкий лягушачий рот... Вот Штрейхер, оскалившийся, как шакал. Как некогда рассматривая рисунки Жукова, так и теперь, разглядывая коллекцию Гаека, я проникал в самую суть натуры, заснятой им.

— Здорово! Сколько же тебе приходится выжидать, пока поймаешь подходящее выражение?

— Иногда проходит целое заседание. Расстреливаешь не одну пленку,— спокойно отвечает Гаек, довольный впечатлением, произведенным его работами.

— Так много?

— Я расходую значительно больше, когда снимаю собак.

— А где ты раздобыл эти потрясающие снимки прошлого?

— О, это мой профессиональный секрет,— и смеется.— Секрет моей фирмы. Но мы с тобой познакомились в таком месте и в такое время, что от тебя у меня нет секретов, тем более что ты не фотограф, а значит, не конкурент. Слышал такое имя — Генрих Гофман?

— Нет, не слыхал.

— Это лейб-фотограф самого Гитлера. Он здесь, в этом здании, в комнате № 158. Герр Гофман сейчас эксперт по фотодокументам. О, это любопытная персона! Я тебя с ним познакомлю.

— Но как же попал сюда этот лейб-фотограф?

— Сейчас расскажу.

И он рассказывает историю, в которую я, ей-богу, не поверил бы, если бы по протекции Гаека сам не побывал в таинственной комнате № 158 и не познакомился лично с главным персонажем этой почти детективной истории.

Генрих Гофман был ловкий фотограф, добывавший себе на жизнь, фотографируя мало одетых девиц и распространяя эти снимки из-под полы. Потом он расширил поле своей деятельности, начав изготовление фривольных открыток. Моделями служили танцовщицы и танцовщики второразрядных ночных кабаре. Одной из таких моделей стала девица Ева Браун. Она оказалась не только привлекательной, но сообразительной и предприимчивой. Приглянулась Гофману. Он сделал ее своей постоянной помощницей.

Случилось так, что на одной из съемок эта его помощница попалась на глаза Гитлеру. Он задал ей какой-то вопрос, она ответила бойко и умно. Так завязалось знакомство. Всемогущий фюрер «третьего рейха» приблизил девицу Еву к себе.

Умная Ева знала, что в руках ее бывшего патрона остались негативы фотографий, для которых она когда-то позировала. Это было опасно и для нее, и даже для ее всемогущего покровителя и его международного престижа. В стране уже был широко известен случай, когда Геринг с помощью таких же улик сумел расправиться со своим конкурентом — старым фельдмаршалом Бломбергом, человеком, пользовавшимся особой благорасположенностью фюрера и занимавшим кресло военного министра. Через третьих лиц Геринг свел старика с девицей Эрикой Грюн, и, когда раскисший маршал пришел к нему посоветоваться, жениться ему на ней или нет, дал совет жениться, и даже выступил в роли посаженого

отца. Свадьба была пышная, на ней присутствовал сам Гитлер. А на следующий день открытки с изображением Грюн в соблазнительных позах вместе с каким-то партнером были переданы — опять же через третьих лиц — в бульварные французские газеты. Разразился скандал. Фельдмаршал Бломберг был устранен со своего поста. Кресло военного министра освободилось.

Вся эта история в свое время наделала много шуму в Берлине. Ева Браун знала это. Конечно, при ее возможностях не представляло особого труда физически устранить Гофмана. Мало ли людей исчезало тогда в Германии без всякого шума. Но она знала, что ее бывший шеф дальновиден и негативы хранит где-то за границей. И знала еще, что при аресте Гофман все расскажет в гестапо, а Гиммлер давно уже следит за ней. Хитрая от природы, она нашла третий путь, оказавшийся самым верным.

С помощью Евы ее «учитель» Генрих Гофман стал лейб-фотографом Гитлера и сделал блистательную карьеру. Ему были присвоены звания профессора и доктора искусств. Его наградили золотым значком нацистской партии, хотя, по его сегодняшним уверениям, он никогда не был ее членом. Это, кажется, правда. Гофман основал большое издательство, имевшее монополию на изготовление портретов гитлеровских бонз, правительственных альбомов и проспектов. Издательство делало миллионные обороты. Молодой человек — партнер Евы по снимкам — попытался было отломить свой кусочек от жирного пирога, но однажды и навсегда пропал с глаз людей и из жизни. Ева уже открыто жила под одной крышей с «первым наци» Германии.

Итак, мы направились в таинственную комнату № 158. Нас встретил пожилой приземистый немец в сером пиджаке тирольского покроя, с пуговицами из оленьего рога и дубовыми листьями на зеленых лацканах. У него полное лицо, бычья апоплексическая шея, по виду это типичнейший баварец с плаката, рекламирующего пиво. И серебряный бобрик на голове, и толстые улыбчивые губы, и маленькие свиные глазки, настороженные и хитрые.

Держался он довольно уверенно. С достоинством отрекомендовался, прибавив к своему имени звание «доктор», сказал, что у него очень мало времени, что герр судья только что прислал ему на экспертизу пачку фотогра-

фий, представленных как раз советским обвинением. Поэтому он может уделить «герру оберсту» всего несколько минут. Свои коллекции он покажет в другой раз, а пока вот, пожалуйста, эти снимки, которые всегда и интересуют иностранцев, в особенности американцев. Большие деньги платят. Можно заказать комплект.

Он бросил на стол целый веер открыток — Гитлер в быту. Бросил тем же жестом, каким, вероятно, бросал когда-то перед оптовым покупателем свежую серию развеселой продукции. Вот Гитлер и Ева на веранде дома в горах, по-видимому, в Бертехсгадене... Нюхают цветы... Ласкают собак... Они же в охотничьих костюмах и шляпах с тетеревиными перьями... Гитлер и какие-то генералы на той же веранде, и Ева в скромном фартучке потчует их чаем... Она же в купальном костюме на берегу озера. Любопытно, что на всех этих, так сказать, семейных снимках Гитлер тоже ни на минуту не остается самим собой, явно позирует, что-то изображает. По-видимому, он вообще никогда не был самим собой. Все время играл, и не какую-то одну, а множество ролей.

— А вот портрет несчастной Евы.

Ну что ж, высокая блондинка, недурна собой, отлично сложена, по-спортивному подтянута, но лицо грубоватое и слишком уж правильное. Какая-то Брунгильда из «Нибелунгов» в провинциальном исполнении.

— Посмотрите, какой была фрейлейн Ева,— повторяет Гофман.

— А я ее видел,— отвечаю я как можно равнодушнее.

— Когда? Где? Возможно ли? Герр оберст шутит?

Выдержав достойную паузу, я спокойно говорю:

— В снарядной воронке возле фюрербункера и рейхсканцелярии.

Справедливость требовала бы добавить, что, хотя у друзей и соратников могущественнейшего фюрера «третьего рейха» не хватило бензину для того, чтобы сжечь по завещанию тела его и его молодой жены, оба трупа оказались настолько обгоревшими, что невозможно было рассмотреть хоть какие-либо черты. Но пускаться в подробности я не стал, ибо о том, что тела эти были найдены, официально вообще не объявлялось.

Кстати, такова уж, должно быть, судьба фашистских диктаторов и их возлюбленных. Ведь незадолго до самоубийства Гитлера туша итальянского дуче и тело дамы

его сердца, актрисочки Клары Петаче, казненных партизанами, были повешены вверх ногами на всенародное обозрение у бензиновой колонки на одной из площадей Милана. Но об этом я тоже, разумеется, Гофману не сказал. Не мне его воспитывать! Выслушав меня, он заявил, кажется, с неподдельной грустью:

— Бедная Ева. Она все-таки была неплохой девушкой, очень умная, и художественный вкус у нее был, она сама неплохо фотографировала.— И, адресуясь, вероятно, к моим классовым чувствам, добавил: — Она ведь дочь простого труженика. Папаша Браун и сейчас работает и честно добывает себе на хлеб. Может быть, вы не верите? Посмотрите.

Он протянул мне вырезку из американской солдатской газеты «Старз энд страйпс», что в переводе на русский язык означало «Звезды и полосы». Звезды и полосы американского флага. Там действительно было интервью со старым Брауном. Он распространялся о том, что обе дочери его были хорошими, скромными девушками, заботливыми, трудолюбивыми. Надо же было случиться такому несчастью, что одна приглянулась этому сумасшедшему Гитлеру. А за ней и вторая выскочила замуж за генерала СС Фогелейна. Старший зять расстрелял младшего. И вот сейчас он, Браун, на старости лет совсем одинок. Разве это достойная судьба для честного труженика?..

Уходим, оставив на столе магарыч — бутылку виски «Белая лошадь» и увесистую банку свиной тушенки. Доктор искусствоведческих наук, профессор роется в негативах и делает вид, что мзды не заметил.

МЫ ТЕРЯЕМ СОН И АППЕТИТ

Я уже записывал слова Главного американского Обвинителя, судьи Джексона, который, начиная свою первую речь, пообещал:

— Мы приступаем к предъявлению доказательств преступлений против человечества... Господа, предупреждаю, они будут такими, что лишат вас сна.

Признаюсь, при этих словах советские журналисты переглянулись: можно ли чем-либо вызвать подобную реакцию у тех, кто своими глазами видел Бабий Яр, Треблинку, Майданек, Освенцим? Но судья Джексон ока-

зался прав. Уничтожение людей представляло собой в нацистском рейхе большую, широко развитую, хорошо спланированную и организованную индустрию. Мы уже притерпелись к страшным доказательствам, закалились, что ли, задубенели, и сна, а в особенности аппетита, это нас не лишало.

Того и другого мы лишились, и лишились не фигурально, а в полном смысе слова, когда на трибуну поднялся помощник Главного советского Обвинителя Лев Николаевич Смирнов. Образованный юрист, отличный оратор, апеллирующий в своих речах не столько к сердцу, сколько к разуму судей, он привел такие данные и подкрепил их такими доказательствами, что вызвал раздор даже и на скамье подсудимых, где обвиняемые принялись спорить между собой, а Шахту стало плохо, и его увели отпаивать какими-то успокоительными средствами.

Нет, эта сцена не должна быть забытой, и я опишу ее поподробней, ибо позднее, по прошествии времени, трудно будет даже поверить, что такое когда-то могло произойти на Земле — планете, населенной разумными существами.

О выступлении советского Обвинителя было объявлено еще накануне. Поэтому ложа прессы, далеко не ломившаяся в эти дни от избытка корреспондентов, была сегодня полным-полна. Войдя в зал, мы удивились: посреди стояли стенды, а на столах лежали какие-то массивные предметы, закрытые простынями. На трибуне Обвинителя тоже стояло нечто прикрытое салфеткой, а на столе его ассистента лежала толстенная книга в кожаном переплете, напоминавшая своим видом средневековые инкунабулы.

Л. Н. Смирнов, называя в ходе своего выступления количество жертв, умерщвленных в одном из нацистских лагерей, показывал эту красиво переплетенную книгу. Нет, это был не семейный альбом обитателей какого-нибудь рейнского замка и не коллекция снимков призовых скаковых лошадей. Это был бесконечный список людей разных национальностей, застреленных или отравленных газом. Обвинитель не без труда поднял этот фолиант и, обращаясь к судьям, произнес:

— Это всего только деловой отчет генерал-майора Штруппа своему начальству об успешной ликвидации варшавского гетто. Тут только имена умерщвленных.

Ваша честь, прошу вас приобщить эту книгу к вещественным доказательствам.

При этом взоры всех невольно обратились к скамье подсудимых, где, точно окаменев, опустив на глаза темные очки, сидел генерал-губернатор Польши Ганс Франк. Сей изувер, заботясь, вероятно, о собственном месте в истории, имел привычку вести дневниковые записи своих преступных дел и мыслей по их поводу. Об этих поражающих своим цинизмом дневниках мне уже рассказывал другой помощник советского Обвинителя — Лев Романович Шейнин, человек, известный у нас не только как юрист, но и как публицист и писатель, автор популярных «Записок следователя».

Десятки толстых тетрадей, в которых душа этого нациста широко распахивалась для обозрения, находятся сейчас в распоряжении обвинения.

И вот Л. Н. Смирнов цитирует одну из зафиксированных на бумаге мыслей Франка: «То, что мы приговорили миллионы евреев умирать с голоду, должно рассматриваться лишь мимоходом». Эту цитату из своих сочинений Франк встретил кривой улыбкой. Но когда книга с именами убитых перекочевала на судейский стол и с трибуны во всеуслышание зазвучала трагическая повесть о ликвидации варшавского гетто, Франк откинулся на спинку стула, сломал карандаш и стал так явно нервничать, что его сосед Розенберг, сделав презрительную мину, откровенно толкнул его локтем.

Каждая страница, каждая строка этой страшной книги рассказывала миру о том, что скрывалось под понятием «национал-социализм».

На процессе в документах американского обвинения немало уже говорилось о массовом истреблении людей в самой Германии и в оккупированных странах, о том, как сотни тысяч лишались имущества, изгонялись из домов, как миллионы гибли в газовых камерах и душегубках. Но того, что содержал отчет генерал-майора Штруппа, нам слушать еще не приходилось. 23 апреля 1943 года рейхсфюрер СС отдал через фюрера СС в Кракове приказ: «Со всей жестокостью и безжалостностью ликвидировать варшавское гетто».

Докладывая начальству о выполнении этого приказа, Штрупп сообщал: «Я решил уничтожить всю территорию, где скрывались евреи, путем огня, поджигая каждое здание и не выпуская из него жителей».

Дальше деловым тоном говорилось, как осуществлялось это мероприятие, как эсэсовцы и приданная им в помощь военная полиция и саперы заколачивали выходные двери, забивали окна нижних этажей и затем поджигали здания. В густонаселенных домах, где теснились согнанные со всего города семьи, слышались душераздирающие вопли заживо горящих людей. Они инстинктивно пытались спасаться от огня на верхних этажах, куда пламя еще не доставало. Но пламя шло за ними по пятам. Пленники выкидывали из окна матрацы, тюфяки и, думая спасти, выбрасывали на эти матрацы детей, стариков, сами же выпрыгивали из окон, ломая ноги, разбиваясь насмерть. Тех, кто чудом оставался невредимым и пытался отползти от пожарища, унося детей, преследовали. В отчете так и писалось: «Солдаты неуклонно выполняли свой долг и пристреливали их, прекращая агонию и избавляя от ненужных мук».

Штрупп — военный чиновник гитлеровской школы — своей рукой описал все это в докладе начальству. Где-то в конце, боясь, очевидно, что начальство все же заподозрит его в либерализме или нерадивости, он особо подчеркивал, что тех, кому как-то посчастливилось скрыться в руинах, разыскивали с собаками. Он признается, что некоторые из преследуемых все-таки ухитрялись заползать в канализацию, и оттуда слышались их стоны и крики. И опять же лишь «для того, чтобы прекратить бесполезные мучения», был вызван химический взвод, он бросил в люки газовые шашки, а когда, ища спасения, люди высовывались из люков, их пристреливали, как сусликов, показавшихся из своей норы. «В один только день,— повествует Штрупп,— мы вскрыли 183 канализационных люка и бросили туда шашки. Евреи, думая, что это смертельный газ, пытались спасаться наружу. Большое количество евреев, которое, к сожалению, не поддается точному учету, было истреблено также путем взрыва канализационной системы. Саперы показали себя при этом мужественными людьми и мастерами своего дела».

Дальше, делая в своем докладе, так сказать, лирическое отступление, характеризуя действия участников этой изуверской операции, Штрупп рисует созданный национал-социалистами идеал немца: «Чем больше усиливалось сопротивление, тем более жестокими и беспощадными становились люди СС, полиции и вооруженных

сил... Они выполняли свой долг в духе тесного сотрудничества и показывали при этом образцы высокого солдатского духа... Работали без устали с утра до поздней ночи. Искали евреев и не давали им пощады... Солдаты и офицеры, полиция, в особенности те из них, кто побывал на фронте, так же доблестно и прекрасно проявили при этом свой германский дух».

Вот он, идеал гражданина нацистского государства. Вот образец, следуя которому все те, кто сидит сегодня на скамье подсудимых, стремились воспитывать «истинных германцев». Вот как они толковали свой национальный долг и как на свой лад понимали извечные человеческие понятия чести, храбрости, воинской доблести. Вот чем они хвастались и за что награждали.

— Знаете, какая мне пришла сейчас в голову мысль? — сказал мне в перерыве Юрий Яновский, нервно похрустывая суставами пальцев.— Если бы кровь всех, кого они убили, отравили, замучили, выступила из земли, они бы захлебнулись в этом кровавом озере.

Все это действительно было страшно, но самое страшное, как оказалось, ожидало нас впереди. Еще не раскрытыми стояли стенды посредине зала. И по-прежнему что-то массивное, затянутое простынями, белело на столах. И вот советский прокурор после перерыва сорвал покрывало с одного из этих предметов, и в зале сначала наступила недоуменная тишина, а потом послышался шепот ужаса. На столе, под стеклянным колпаком на изящной мраморной подставке стояла... человеческая голова. Да, именно человеческая голова, непонятным образом сокращенная до размера большого кулака, с длинными, зачесанными назад волосами. Оказывается, голова эта была своего рода украшением, безделушкой, которые вырабатывали какие-то изуверские умельцы в концентрационном лагере, а потом начальником этого лагеря дарились в качестве сувениров знатным посетителям.

Приглянувшегося посетителю или посетительнице заключенного убивали, каким-то определенным способом, через шею, извлекали остатки раздробленных костей и мозг, соответственно обрабатывали и съежившуюся головку снова набивали, превращая в чучело, в статуэтку.

Мы смотрели на эту голову под стеклянным колпаком и чувствовали, как мороз продирает по коже. Над нами, на гостевом балконе, истошно вскрикнула какая-

то женщина. Затопали ноги: выносили ту, что потеряла сознание. А между тем Лев Николаевич Смирнов продолжал свою речь. Теперь он предъявлял суду показания некоего Зигмунда Мазура, «ученого» сотрудника одного из научно-исследовательских институтов в Кенигсберге. Спокойным, сугубо деловым языком этот «ученый» рассказывал, как в лабораториях института решалась проблема «разумной промышленной утилизации» отходов гигантских фабрик смерти — человеческого мяса, жира, кожи.

По распоряжению прокурора были сняты все простыни со стендов и столов. Оказалось, что там находится человеческая кожа в разных стадиях обработки — только что содранная с убитого, после мездровки, после дубления, после отделки. И, наконец, изделия из этой кожи — изящные женские туфельки, сумки, портфели, бювары и даже куртки. А на столах — ящики с кусками мыла разных сортов: обычного, хозяйственного, детского, жидкого для каких-то технических надобностей и туалетного, ароматного, в пестрых, красивых упаковках.

Прокурор продолжал свою речь в абсолютной тишине. Подсудимые сидели в напряженных позах. Риббентроп со страдальческой миной закатил глаза и закусил губу. Геринг, кривя рот, писал своему защитнику записку за запиской. Штрейхер истерически кашлял или хохотал, Шахта вновь вывели из зала: ему опять стало дурно. Его обычно неподвижное, жесткое бульдожье лицо было бледно и растерянно.

Когда-то нам с Крушинским довелось первыми из корреспондентов побывать в Освенциме, называвшемся тогда по-немецки Аушвиц. Прилетев туда вслед за нашими войсками, мы видели эту гигантскую фабрику смерти еще почти на ходу, видели склады рассортированных человеческих волос — в кучах и уже завязанных в тюки и приготовленных к отправке. Хотя все это еще было живо в памяти, представленные сейчас изделия, изготовленные из отходов фабрик смерти, потрясли и нас.

Я чувствовал, как тошнота подкатывает к горлу, хотелось вскочить и броситься вон из зала.

Собственно, что было в этом для нас нового? Ведь американское обвинение уже предъявило бывшему директору рейхсбанка и уполномоченному военной экономики Вальтеру Функу документы, в которых он предписы-

вал строго учитывать, собирать и хранить в сейфах золото и платину в виде искусственных челюстей, коронок, протезов, вырванных изо рта убитых в концентрационных лагерях, специально организованными по его распоряжению командами. Мы знали, сколь велики были «поступления» такого рода металла в рейхсбанк. Это было очень страшно, но все же это можно было слушать, а тут... в той спокойной деловитости, с которой Зигмунд Мазур излагал свои показания: «Человеческая кожа, лишенная волосяного покрова, весьма хорошо поддается процессу обработки, из которой, по сравнению с кожей животных, можно исключить ряд дорогостоящих процессов» или: «после остывания сваренную массу выливают в обычные, привычные публике формы, и мыло готово»,— заключалось нечто ужасное.

В первый раз я наблюдал, как все трое Кукрыниксов в ошеломлении сидят над своими раскрытыми папками, не притрагиваясь к карандашам.

— После всего этого дантов ад — просто увеселительное заведение,— шепчет кому-то Юрий Корольков, но в зале стоит такая тишина, что мы слышим его через два ряда.

С заседания расходимся в молчании.

— Братцы, я, ей-богу, теперь не смогу есть мяса,— произносит, залезая в фургон, Михаил Гус.

— По логике вещей вам теперь не дòлжно и мыться с мылом,— грустно шутит Семен Нариньяни.

С нашей переводчицей Майей делается плохо. Она сидит в трясущейся машине, истерически всхлипывая, кусая губы, и сидящие возле нее машинистки суют ей в нос пузырек с какой-то остро пахнущей дрянью.

Не знаю, надолго ли, но на сегодня мы таки действительно потеряли аппетит и сон.

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГЕРМАНА ГЕРИНГА

Я уже упоминал, что Дворец юстиции, где идут заседания Международного Военного Трибунала,— это каменный остров, каким-то чудом сохранившийся среди развалин Нюрнберга. Ни одна бомба не упала на его территорию, ни один осколок не оцарапал его массивных, почти крепостных стен. Развалины же, окружающие дворец, разбирают сейчас пленные эсэсовцы — крупные,

толстомордые, рыжие типы, которым, судя по цвету лица и упитанности, не так-то уж худо живется в американском плену. В своей черной форме они строем приходят на работу и расползаются по развалинам под охраной двух-трех джи-ай, охраной, в сущности, условной, ибо американские солдаты в течение дня обычно сидят где-то в сторонке на солнышке, переговариваясь и пожевывая свою резинку.

Честно говоря, нас, ежедневно слушающих сейчас повести о «подвигах» этого черного воинства, подобный либерализм злит и беспокоит, и я знаю, что наши судейские не раз протестовали против такого соседства. Но командование первой американской дивизией, оккупирующей Нюрнберг, вежливо отводило эти протесты. Война кончилась, пленные — только пленные, и, кроме того, существует же Женевская конвенция.

И вот сегодня утром, подъехав к Дворцу юстиции, мы были поражены: эсэсовцев на привычных местах работы не было, во дворе суда по углам стояли четыре танка, грозно развернув стволы пушек на ближайшие уличные перекрестки. По бокам от обоих ворот поднимались объемистые дзоты, сложенные из мешков с песком, из их амбразур торчали стволы с пулеметами. Дзоты поменьше обступали вход в здание, над которым свисали флаги держав антигитлеровской коалиции. И совсем маленькие, так сказать, карманные дзотики из мешочков были выложены в самом здании по углам коридоров.

Что такое? Почему за одну ночь все приняло столь воинственный вид? Оказывается, эсэсовцы бежали из лагеря, рассеялись по развалинам, ушли в горы и, говорят, готовят нападение на тюрьму с целью освободить главных военных преступников.

В перерыве между заседаниями я отыскал уже знакомого мне коменданта суда полковника Эндрюса. Он был явно смущен, озабочен, занят, но в беседе не отказал. Как и все американские деятели, он неравнодушен к прессе и не чурается журналистов.

— Почему суд сегодня похож на осажденную крепость?

— Это интервью?

— Нет, просто беседа. Об этом я писать не буду.

— Нет, почему же? Можно и написать. Можете сообщить в «Правду» мои слова: «Всякая возможность по-

бега для моих клиентов исключена. Принятые нами сегодня меры имеют лишь психологическое значение».

— Вы так уверены, что побег невозможен?

— Если бы вы знали, как мы их охраняем, вы бы, несомненно, со мной согласились.

— А как вы их охраняете?

— Если обязательно хотите видеть,— он взглянул на массивные золотые часы, которые совсем по-штатски извлек из кармана брюк, — если непременно хотите, приходите ко мне в двенадцать. Сейчас, простите, я занят... Этот инцидент с эсэсовцами — все-таки скверная штука.

Точный и обязательный, как все американцы, в назначенное время полковник принял меня и переводчицу. Эндрюс — высокий, плотный человек с интеллигентным лицом, в пенсне с круглыми стеклами. Маленькие усики, подстриженные на латиноамериканский образец, придают ему несколько фатоватый вид, но из-за стекол пенсне смотрят умные, внимательные глаза. Он тщательно одет, подтянут и даже у себя в кабинете не снимает лакированной каски, сдвинутой чуть набок. Но, несмотря на это, вид у него, повторяю, сугубо штатский, да и обращение тоже.

— Присаживайтесь... Виски? Джин? Может быть, вермут? Вот сигареты, или вы предпочитаете сигару?.. Я в вашем распоряжении.

У него на стенде план тюрьмы. Дворец юстиции — это, так сказать, целый комбинат правосудия. Здание с четырех сторон обступает маленький двор. Тюрьма помещается в одном из его крыльев. Прямо из тюрьмы, непосредственно к залу заседаний, теперь, как я уже говорил, ведет подземный тоннель. Подсудимых водят в зал суда только по этому тоннелю.

— Это исключает возможность даже попытки побега, ибо оба конца тоннеля строго охраняются, а весь тоннель простреливается. По малейшей же тревоге мы мгновенно перекроем все выходы вот здесь и здесь,—объясняет Эндрюс, показывая все это на карте.

— Ну а камеры? Есть ли окна?

— Нет. Я уж не вам первому говорю, что мои клиенты не видят солнечного света. Только искусственное освещение. Но если бы окна и были, все равно никто ничего не смог бы сделать. После этой прискорбной истории с Робертом Леем часовые не спускают с заключенных

глаз ни днем, ни ночью в самом буквальном смысле слова. Хотите, я вам все это покажу?

— Ну разумеется.

— Только вот мисс,— он кивает на нашего Оловянного солдатика.— Женщинам вход в тюрьму воспрещен. Только как же быть с переводом? Впрочем, у меня есть солдат — хорват по происхождению. Ведь хорватский и русский языки довольно близки, не так ли? — Он нажимает кнопку звонка и приказывает найти хорвата.

— Ну а как же все-таки прозевали Лея?

— Лей? Да, это, конечно, неприятная история.

История действительно неприятная. Среди подсудимых значится и Роберт Лей, одна из самых отвратительных фигур нацизма, член руководства нацистской партии, главарь так называемого «трудового фронта». Но на скамье подсудимых его место пусто. Он ушел от ответа, покончив жизнь самоубийством вот тут, в Нюрнбергской тюрьме.

Когда Красная Армия окружила Берлин и Гитлер со своими приближенными, оказавшись в этом кольце, заполз в свою подземную нору, Роберт Лей, бросив фюрера, бежал к себе на родину, в Баварию, надеясь скрыться в Баварских Альпах, которые были ему хорошо знакомы с детства. Он сбрасывает форму генерала СС, облекается в альпийский костюм, отращивает бороду и прячется в горной хижине с документами на имя доктора Дестельмайера. Но население боялось и ненавидело этого своего «земляка». Он был слишком хорошо известен разгромом рабочих организаций и созданием системы жесточайшей эксплуатации немецкого рабочего класса. В штаб американской парашютной дивизии, разместившейся в любимой гитлеровской вотчине Бертехсгадене, приходит сразу несколько писем, указывающих местопребывание Лея. Настигнутый в горном охотничьем домике в полупьяном виде, Лей пытается ускользнуть.

— Это же ошибка,— уверяет он.— Я даже не знаю Лея, никогда его не видел. Моя фамилия — Дестельмайер. Вот документы. Совершенно не понимаю, чего вы от меня хотите.

Он пьян, глаза его красны. Неопрятная бороденка благоухает застарелым перегаром. И это служит еще одним признаком, разоблачающим Лея, ибо палач рабочего класса Германии был давно известен как горький

пьяница. С помощью одного из старейших членов нацистской партии, задержанного до этого, устанавливается подлинная личность Дестельмайера. Лей сдается.

— Я проиграл, — говорит он.

Лея водворяют в Нюрнбергскую тюрьму, и тут, протрезвев, он развивает бурную деятельность. Он делает ставку на ссору американцев с Советским Союзом. Руководитель «трудового фронта» хорошо знает давнишние довоенные связи нацистской и североамериканской экономики, тайные и явные союзы могущественнейших корпораций. И он начинает бомбардировать американское командование письмами и проектами: Германия всегда представляла собой защитный вал, отгораживающий Запад от большевистской России и ее идей. Теперь этот вал разрушен. Красная Армия, вышедшая победительницей, угрожает странам Запада и самой великой идее свободного предпринимательства. Нужно, и поскорее, восстановить этот барьер, и в этом деле он, доктор Лей, может принести немалую пользу... Он к услугам американского командования и американского правительства... Он так прямо и пишет: «Наиболее уважаемые деятели и активные граждане, которые работали гаулейтерами, крейслейтерами и ортсгруппенлейтерами, представляют собой деловую элиту Германии. Сегодня эта элита лишена свободы. Но именно они, их авторитет, их организационный опыт должны послужить благородной цели примирения с Америкой и превращения Германии в могущественного американского союзника в Европе». И дальше: «Эта акция должна быть осуществлена в полной тайне. Я думаю, что она прямо вытекает из современных интересов американской внешней политики и в настоящем и в будущем для того, чтобы американские руки в послевоенной Европе не были бы слишком видны».

Эти мысли Лея сформулированы письменно. Они доведены и до сведения печати. Он обратился даже со специальным посланием к Генри Форду-младшему, зная, что сей автомобильный магнат сочувственно относился к нацизму. Он выразил готовность ознакомить Форда с опытом сооружения заводов «Фольксваген», с широким привлечением средств населения к строительству автомобильных гигантов и высказал надежду, что он, Лей, может оказаться Форду весьма полезным, если тот захочет использовать немецкий опыт.

Словом, протрезвившись сам, Роберт Лей довольно трезво оценивал поведение американской администрации в Германии, рассчитывал уйти от ответственности и даже сохранить за собой под крылышком американцев достойное место в элите послевоенной Германии. Но он был слишком известной, слишком одиозной и слишком ненавистной фигурой.

Когда ему предъявили для ознакомления обвинительное заключение по делу главных военных преступников, среди которых значился и он, Роберт Лей, в настроении этого «трезвенника поневоле» происходит резкий перелом. Он то впадает в прострацию, то начинает метаться по камере, то вдруг бросается на колени и, за неимением креста, принимается молиться на унитаз. Наконец, примерно за месяц до начала процесса, однажды ночью между ним и часовым происходит последний диалог:

— Эй, вы почему не спите, доктор Лей?

В ответ часовой слышит неясное бормотание: «Они не дают мне спать, эти остарбайтер, эти евреи... Их же нет, они мертвы. Так почему же они тут, в камере?»

Часовой пожал плечами и пошел дальше по коридору. Когда он снова заглянул в глазок двери, то увидел, что Лей сидит на рундуке, наклонившись вперед. Успокоившись часовой снова двинулся в обход. Когда очередь вновь дошла до камеры Лея, он увидел его по-прежнему неподвижным в той же позе. Взволнованный часовой вошел в камеру. Лей висел над стульчаком в петле, скрученной из полос разорванного одеяла. Вся эта история довольно широко прошла по страницам печати и особого интереса сейчас не представляла. Но тюрьму посмотреть хотелось, и я, не желая, однако, быть назойливым, только озабоченно спросил полковника Эндрюса:

— Вы не опасаетесь, что кто-либо из подсудимых захочет воспользоваться опытом доктора Лея?

— О нет. Сейчас это исключено. Вы сами в этом убедитесь.

Переводчик-хорват уже пришел. Это высокий черноволосый парень, на котором ладная форма 1-й американской дивизии сидит как-то особенно ловко. По массивным коридорам идем в тюрьму. Несколько раз на дверях гремят какие-то замки, часовые спрашивают пропуск. Наконец мы в тюрьме. Она трехэтажная. На верхних этажах двери камер выходят на железные га-

лереи. Но сейчас занят лишь нижний этаж. Взглянув вдоль обширного зала, я даже как-то растерялся: около каждой двери вполоборота к ней стоял солдат и безотрывно смотрел в глазок, вделанный в верхнюю половину двери. Две шеренги солдат, глядевших в стальные отверстия. Кроме того, к каждой двери пониже глазка была приделана лампа с рассеивающим рефлектором, которая освещала все углы камеры. Солдаты стояли буквально замерев и даже при появлении высшего тюремного начальства не отвели глаз от отверстий в двери.

— Ну что? Может кто-нибудь у меня отправиться вслед за Леем? — не без самодовольства произнес начальник тюрьмы.

— Действительно, довольно надежно.

— Я сам создал эту систему,— сказал полковник Эндрюс с гордостью изобретателя, осчастливившего человечество великим открытием.— Отличная система, не правда ли? Но очень трудно — стоять вот так, не отрывая глаз от отверстия. Мои ребята долго не выдерживают. Их сменяют трижды в час. Устанавливаем для них дополнительный отдых.

— А можно заглянуть в камеру?

— Пожалуйста.

Мы как раз остановились у двери № 1. На ней висела эмалированная табличка: «Г. Геринг». Полковник приказал часовому отступить. Я заглянул в волчок. Передо мной была квадратная глухая комната размером три на два с половиной метра. В глубине — койка, стул, столик. Справа — у двери — рукомойник и унитаз. «Второй наци» Германии сидел на койке в сапогах, все в том же сером замшевом мундире и, поставив на стул крышку от алюминиевого котелка, что-то неторопливо ел из нее. На столике лежали какие-то бумаги, стояла женская фотография в рамке...

Гесс, в вязаном свитере, в рубашке без воротничка, что-то читал. Должно быть, услышав шум в коридоре, он вдруг поднял глаза.

Наверное, именно такой взгляд бывает при приближении людей у волка, попавшего в капкан,— столько было в нем бессильной злобы...

Заукель — этот страшный эсэсовский воротила, распоряжавшийся судьбами миллионов рабов, на вид маленький, невзрачный,— перебирал на столе какие-то фотографии, любуясь то одной, то другой...

Глава морских корсаров, гросс-адмирал Эрих Редер, отправивший на дно морское сотни мирных судов и множество торговых караванов, в теплом стариковском жилете и в подтяжках делал из бумаги петушка. Несколько таких петушков уже стояло на столике. Вид у адмирала был мирный, скучающий, как у пассажира, ожидающего на вокзале запоздавший поезд.

Перед уходом я снова заглянул в волчок двери Геринга. Крышка от котелка была пуста, Геринг подбирал остатки пищи с помощью галеты, а потом отправил ее в рот... Потянулся... Вздохнул и замер, уставившись глазами в угол. Невольно подумалось: этот человек, больше всех кричавший о жизненном пространстве для арийцев, мечтавший, будто резинкой, стереть с лица земли целые народы, сейчас вот живет в этой келейке и рад будет прожить здесь всю жизнь, если ему, конечно, удастся ее сохранить. Он, один из богачей разбойничьего рейха, на лукулловы пиры которого когда-то мечтала попасть вся берлинская знать, доволен тем, что начисто облизал крышку от котелка кусочком галеты. И еще подумалось: сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать.

ПУТЕШЕСТВИЕ С КОНСТАНТИНОМ ФЕДИНЫМ В ЕГО ЮНОСТЬ

В суде продолжается предъявление преступникам обвинений в преступлениях против человечества. Кажется, что могло красноречивее раскрыть лицо нацизма, чем представленные Л. Н. Смирновым экспонаты промышленной утилизации отходов комбината смерти. Давно уже сбылось предсказание Главного Обвинителя от США Джексона, и даже нас, недавних военных корреспондентов, превращенных ныне волею наших редакций в судебных хроникеров, эти доказательства лишили сна. Уходим с заседаний потрясенные. На ночь глотаем лошадиные дозы снотворных, чтобы избавиться от кошмаров, то и дело предстающих перед нами в торжественной тишине Дворца юстиции.

Но оказывается, что и это еще не все, что в запасе обвинения новые и новые ужасающие улики. Такие улики мы видели сегодня. Суду была предъявлена серия кустарных изделий из человеческой кожи. Жена начальника одной из фабрик смерти тяготела к искусству и

решила создать единственную в мире коллекцию татуировок. Да, да, татуировок, которые иные люди делают себе, накалывая под кожу сажу, синьку или фуксин. Этим особенно увлекаются моряки. В больших портовых городах есть специальные заведения, где самые затейливые татуировки делаются по рисункам художника, представляя собой подлинное и своеобразное творчество.

Упомянутая нацистская фрау, которая, кстати сказать, слыла женщиной набожной, хорошей матерью и добродетельной супругой, коллекционировала эти татуировки. Разумеется, вместе с кожей. Когда в лагере появлялся новый заключенный с татуировкой, ей немедленно сообщали об этом. Глазом знатока она оценивала татуировку, и, если та ей нравилась, человека умерщвляли, свежевали, вырезали кусок кожи с нанесенным на нее рисунком, вымачивали в жиру, а потом выделывали по какому-то специальному способу. Лучшие, оригинальные экземпляры шли в коллекцию фрау. Из тех, что попроще, выделывались абажуры, настольные бювары, сумочки и всевозможная галантерея. Несколько толстых альбомов с образцами татуированной кожи из коллекциии этой женщины были сегодня представлены суду. Показывались также абажуры и бювары, которые эта дама дарила как сувениры женам начальников и высокопоставленным знакомым.

И снова была паника на скамье подсудимых. Шахт сидел, закрыв глаза, Папен демонстративно затыкал уши, Нейрат не поднимал головы, а Геринг и Гесс перешептывались с нарочито бесстрастным видом, хотя легко было заметить, что и им страшновато. Снова кого-то в беспамятстве унесли с гостевого балкона.

Нервы так взвинчены, что обязательно нужно чем-то отвлечься. Поэтому мы и уговорили Константина Александровича Федина погулять вечерком по Нюрнбергу. Впрочем «погулять» здесь совсем не подходящее слово. Скорее — полазить, потому что, как я уже писал, улиц в центральной части города практически нет, а есть лишь асфальтированная траншея между грудами развалин.

Итак, мы отправились гулять, и с нами наш Оловянный солдатик, который, как мне кажется, немножко влюблен в Константина Александровича. Пройдя более или менее разобранные кварталы, мы очутились на узенькой дорожке, проложенной меж гряд битого кирпича

и причудливых закопченных обломков старинных зданий. Мы шествовали гуськом — так легче было пробираться там, где тропинка сужалась и обломки стен преграждали ее.

Возглавлял процессию Федин. Несмотря на болевшую ногу, которую он повредил уже здесь, в Германии, шел он быстро и как-то очень уверенно находя дорогу, шел, попыхивая трубкой, оставляя нам, идущим вслед за ним, в качестве ориентира приятный медовый запах хорошего табака.

Прошли мы порядочно, почти не разговаривая. На одной из улиц Федин вдруг остановился. Перед нами возвышались чудом сохранившиеся массивные старинные ворота. Они вели в никуда и никого и ничего не охраняли. Дома не было, не было и двора, а ворота остались целехоньки, по-немецки основательные, массивные, сделанные на века.

Задумчиво глядя своими светлыми выпуклыми глазами туда, где из-за посеребренных снегом развалин выкарабкивался тоненький, молодой месяц, Федин сказал:

— В этом доме, которого сейчас нет, я когда-то жил, а из этих ворот выходил в последний раз в этом городе. Давным-давно, перед возвращением в Россию.— И, посипев трубкой, он выколотил ее о стойку ворот.

— Как, вы здесь жили? — наивно и с недоумением воскликнул Оловянный солдатик.— Как это могло быть... Да ну, вы меня разыгрываете?

Я знал фединскую биографию и помнил его роман «Города и годы» — одну из самых удивительных наших книг. Этот роман был в числе любимейших произведений моей юности. И героя этой книги, обер-лейтенанта фон Цур Мюллен Шенау, я легко представил себе сейчас здесь, возле старинных этих ворот,— его прямую сухощавую фигуру, мундир с Железным крестом, породистую голову, рассеченную ровным шрамом аккуратнейшего пробора, его надменные речи, его диковатые мечты и угрозы. Тут, среди развалин того самого Нюрнберга, который в книге Федина описан процветающим, благополучным, самодовольным бюргерским городом, я вспомнил это произведение и будто сразу получил разгадку сатанинских ужасов нацизма, история которого проходила теперь перед нами в кровавых одеждах изо дня в день.

Ну да, вот этот самый мир прусского офицерства, узко ограниченный, замкнутый, надменный, безжалост-

ный, вырастил и вскормил всех этих гитлеров, герингов, риббентропов, франков. Из такого вот барона фон Цур Мюллен Шенау и выросли верные служаки фашизма, подобные Кейтелю, Йодлю, гросс-адмиралам Редеру и Деницу. И Константину Федину первому из русских писателей еще в двадцатые годы удалось не только подсмотреть, но как бы даже предугадать зарождение того, что потом буйным цветом начало расцветать в нюрнбергских бирхаузах и локалях, что, войдя в силу и обретя гигантскую неограниченную власть, залило кровью не только Германию, но и всю Европу.

Сумерки между тем сгущались. Лунный серпик скрылся в морозной мгле и как бы растворился в ней. Изрядно продрогнув, мы двинулись в обратный путь. Шли в том же порядке — Константин Федин, Оловянный солдатик и я. Шли молча. Все так же попыхивала фединская трубка. Каждый из нас думал о своем...

— Вы уже, вероятно, знаете, друзья, что «рашенпэлас», где вы изволите жить,— внезапно прервал молчание Федин,— это старый штайнский бирхауз. Могу вас заверить, что там некогда подавали отличное пиво и сосиски с капустой... Откуда мне это известно, как вы думаете?

Мы остановились, заинтригованные.

— В самом деле, откуда?

— По субботам и воскресеньям я играл там на скрипке, зарабатывая себе на жизнь,— сказал Константин Александрович.— Мне порядком надоел наш «Гранд-отель», или «курафейник» как вы изволите его называть. Поедемте к вам, я вспомню этот штайнский бирхауз, посидим в баре пресс-кэмпа. Идет?

Предложение было принято. Добравшись до Дворца юстиции, мы сели в очередной фургон и неплохо провели вечер, который, правда, для меня был несколько испорчен одним курьезным обстоятельством.

Дело в том, что всем нам за время пребывания здесь до чертиков надоела американская еда, которой нас столь обильно потчуют в парадном обеденном зале замка Фаберов. Удивительно красивая и аппетитная с виду и... безвкусная. Слов нет, хозяева стараются как могут. Даже белый хлеб доставляют сюда в красивых станиолевых обертках. Он ноздреватый, пухлый, с румяной корочкой. Но положишь его в рот — никакого впечатления, будто жуешь бумажную салфетку. Подают знаменитые

американские стейки, поджаристые, толщиной в руку куски мяса с горошком, таким зеленым, будто он сейчас снят с грядки. А положишь в рот — и опять никакого вкуса. Консервы, все в консервах. И не только мясо, но и яйца привозят в замороженном виде, бог весть какого года хранения. Много варенья, повидла, консервированных фруктов и овощей. Но все обманчиво. Хлопнешь рюмку водки, вонзишь вилку в зеленый пупырчатый огурчик, а он, оказывается, сладкий, да такой, что и глотать его не хочется.

Поначалу, плененные обилием и красочностью еды и к тому же ее крайней дешевизной в переводе на оккупационные марки, мы было поднажали на нее: просили добавок первого, съедали по два, по три вторых. Но скоро остыли и теперь тосковали по простому черному хлебу, по разваристой картошке. Не хватало и витаминов. Правда, их сколько угодно продают в военном ларьке, и все в роскошной упаковке с мудреными учеными названиями. Но разве самая лучшая пилюля или таблетка заменит луковицу или головку чеснока? Я протелеграфировал жене просьбу прислать мне с нашим самолетом хоть пару чесночных головок. Когда посылка прибыла, наш стол ликовал.

— Чеснок, он, как юмор, такая же драгоценная и необходимая вещь,— говорил Николай Жуков, густо натирая поджаристую корочку безвкусного хлеба.— С ним, братцы, любую дрянь съешь да еще и облизнешься.

Очевидно, консервированная еда плохо действовала не только на русские желудки. Когда мы садились за обед, благоухание чеснока расплывалось по залу, и обязательно какая-нибудь соседствующая с нами нация шла к нам за русской помощью. Уже на следующий день мы все в зале заседаний соответственно благоухали.

Оказывается, эта чесночная эпопея привлекла внимание корреспондента газеты «Звездочки и полоски», как мы ее называли. В сегодняшнем ее номере я появился изображенным в моем утрированно роскошном мундире при каких-то невероятных орденах на груди и иных местах. Я сидел на скамье против скамьи подсудимых и дышал в сторону Геринга и компании. Под рисунком была подпись: «Новое секретное изобретение русских в борьбе с нацизмом» и еще: «Корреспондент «Правды» на Нюрнбергском процессе Борис Полевой дышит чесноком в лица подсудимых. В компетентных медицинских кру-

гах сообщают, что вследствие этого некоторые из них могут скончаться, не дождавшись приговора».

Обитатели «халдейника» ликуют. Я получил в подарок по крайней мере десяток номеров с этой карикатурой. У стойки бара Дэвид встретил меня аплодисментами, а внимание бармена ценится здесь чрезвычайно высоко. Словом, не знал куда и деваться.

— Вот как в наши дни завоевывается популярность! — воскликнул иронический Гус.

Особенно неловко чувствовал я себя перед Фединым, ибо человек этот слывет в корреспондентском корпусе образцом истинного джентльмена. А тут такой спектакль! Но он сумел сделать вид, будто ничего и не замечает. Лишь прощаясь, вдруг наклонился и спросил шепотом: «Нет ли у вас головки чесноку?» Увы, в заветном мешочке, присланном женой из Москвы несколько дней назад, шуршала только шелуха.

КУХНЯ ДЬЯВОЛА

Еще раз убедился в силе настоящей литературы. По моей просьбе жена добыла в библиотеке «Правды» и прислала мне роман Федина «Города и годы». За пару ночей я перечел его, а потом книга пошла по рукам братьев журналистов.

И — такова уж магия литературы — с тех пор и в «правой, военной руке Гитлера», фельдмаршале Вильгельме Кейтеле, и в изворотливой красноносой лисице Альфреде Йодле — начальнике штаба оперативного руководства верховного командования вооруженных сил Германии, и в гросс-адмирале Эрихе Редере, и даже в Геринге, который за дни процесса так похудел, что теперь никто из корреспондентов уже не называет его в своих репортажах толстой свиньей, я в часы допроса невольно вновь и вновь ловлю черты召 фединского барона фон Цур Мюллен Шенау, постаревшего на двадцать пять лет и сделавшего неплохую карьеру при Гитлере. А эти военные как раз в центре внимания все последние дни.

Мы сейчас как бы находимся на кухне дьявола. То, что мы узнаем, заслуживает именно такого названия. Благодаря документам, предъявленным обвинением, ясно видишь, как кучка международных разбойников, опьяненных своими кровавыми успехами в Западной

Европе, совершенно хладнокровно планировала не только расчленение нашей Родины, не только ограбление ее народов, «не только — так прямо и говорилось в одном из документов — возвращение их к изначальной первобытной жизни», но и физическое их истребление.

Все это, оказывается, было запланировано задолго до того, как в светлую июньскую ночь фашистские воздушные и наземные пираты обрушили смертоносный груз на мирные наши города, спавшие крепким предпраздничным сном, и бронированными армадами бросились на наши границы.

Конечно, нас, советских людей, документы, представленные в последние дни американским Обвинителем, не очень удивили. Новым было то, что нас вводили в самую кухню нацистского дьявола, показывали, как на тайных заседаниях Гитлера и его сообщников принимались планы онемечивания Советского Союза, как далеко шли эти чудовищные планы.

На совещаниях Гитлера, стенограммы которых цитируются американским Обвинителем, присутствовали только самые доверенные лица — подсудимые Кейтель, Розенберг, Геринг, Борман и рейхсминистр Ламмерс. Им незачем было рисоваться друг перед другом, что-то скрывать или маскировать. Говорили прямо, не стесняясь в выражениях, говорили на циничном, разбойничьем языке:

«Принципиально мы должны теперь поставить перед собой задачу разрезать громадный пирог в соответствии с нашими потребностями для того, чтобы: во-первых, доминировать там, где мы хотим; во-вторых, обстреливать, как мы хотим; в-третьих, эксплуатировать».

Так с циничной откровенностью, заявил Гитлер, зная, что встретит только восхищение у своих высокопоставленных сотрудников по кровавым делам.

И тут же они принимались резать и кромсать на карте нашу страну и планировать не только уничтожение ее как самостоятельного государства, но и физическое истребление населяющих ее народов. Гитлер заявил, что по его конечному замыслу территория всех Прибалтийских республик должна войти в состав Германской империи. Балтийское море должно стать немецким морем. В Германскую империю должен быть включен Баку со всеми нефтеносными районами, «весьма

необходимыми нашему (германскому.— *Б. П.*) хозяйству», а также плодоносные районы Украины. Без всяких обиняков фюрер сказал:

«Начиная войну, мы должны ясно сознавать, что мы никогда не покинем эту страну».

Это очень легко себе представить — карта Советского Союза лежит на столе, шестеро нацистов, окружив его, вожделенно следят за тем, как палец фюрера режет и кромсает советскую территорию. Они изнывают от восторга, даже аплодируют, и Ламмерс, ведший для истории протокол этих тайных совещаний, делает ремарку:

«План фюрера был встречен полным единодушием и вызвал восторг всех присутствующих».

Итак, не испеченный еще пирог уже разрезан, установлены главные цели задуманной войны. Начинают говорить о средствах достижения этих целей. Как лучше реализовать захват? Как поступить с многомиллионным народом, населяющим эти районы? И тут Гитлер хладнокровно и обдуманно предлагает призвать на помощь хорошо организованный голод. По его мысли, именно массовый голод лучше всех прочих средств может уничтожить народы Советского Союза и очистить его территорию для немецких колонистов.

На суде мы познакомились и с документом, намечавшим организацию массового вымирания населения. Называется он скромно: «Директива по экономической организации на Востоке». Датирован 23 мая 1941 года, то есть месяцем ранее вероломного нападения на Советский Союз.

Согласно этой директиве массовое вымирание центральной части СССР должно было быть достигнуто путем «немедленного и полного прекращения снабжения всей северной зоны, включая промышленные центры — Москву и Санкт-Петербург». Костлявой рукой голода предполагалось сдавить горло населению промышленных районов и очистить их от рабочих, технической и иной интеллигенции, которой Гитлер особенно боялся.

«Вся промышленность в недостаточно плодородных районах, в особенности Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также Уральский промышленный район должны быть оставлены без снабжения».

И дальше:

«Не должно быть исключения и в отношении какого-либо другого промышленного района или какого-нибудь промышленного предприятия».

Отрезав промышленные районы севера и северо-востока, прекратив доступ туда какого-либо продовольствия, Гитлер планировал разрушить и сельское хозяйство этих районов с тем, чтобы уже в первые годы нацистского господства оно не имело никаких излишков и ничего не могло давать городам.

«Нужно сделать его фактически сельским хозяйством только для тех, кто им занимается. В результате там не будет товарного зерна и никаких товарных продуктов. Не должно быть товарного сельского хозяйства вообще. Необходимо совершенно исключить молочное хозяйство и свиноводство».

Чтобы ускорить процесс обезлюживания в захваченных территориях, форсировать организованный голод и не дать населению воспользоваться имеющимися запасами, а также существовать за счет убоя имеющегося скота, в директиве подчеркивается, что все запасы на оккупированных территориях нужно немедленно изымать.

«Необходимо немедленно захватывать скот и передавать его армии, а также вывозить его как можно скорее в Германию. Поскольку никаких кормов не будет, рогатый скот и свиньи должны исчезнуть в ближайшем будущем... Если мы не захватим все это сами и не используем это для военных нужд и нужд Германии, то население в ближайшее время использует его на свои нужды, без всякой пользы для Германии».

Гитлер требовал действовать в указанном направлении немедленно, сразу же после вторжения в нашу страну нацистских войск. В секретной инструкции предписывается:

«Городское население этих районов, а также тяготеющих к городам сел, должно быть готово встретиться с самым настоящим голодом. Нужно будет выселить из них людей в Сибирь и дальше».

А для окончательной ясности вновь подчеркивается:

«Всякое снабжение русских промышленными товарами также должно быть прекращено. Мы должны макси-

мально ускорить возвращение страны к примитивному сельскому хозяйству. Многие десятки миллионов людей в этих районах умрут, остальные вынуждены будут уходить в Сибирь и дальше. Это все должно быть ясно и и четко понятно».

Я записываю все это без намерения в ближайшем будущем опубликовать эти дневники. Может быть, это и удастся когда-нибудь... Кто знает, может быть, когда будет воссоздаваться полная картина второй мировой войны, они и пригодятся.

Так или иначе, знай, будущий историк, как, при каких обстоятельствах, в какой обстановке Гитлер и его разбойничья компания делили «огромный пирог» — нашу страну, занимающую одну шестую земной суши. Знай, с какими надеждами берлинский маньяк бросал свои войска, самолеты и танки на наши границы.

Теперь, когда судебные документы — и процитированные мною здесь, и многие другие им подобные — пронумерованы, приобщены к протоколам заседаний, когда тайное стало явным, всемирно-исторические победы Красной Армии как бы еще выросли в своих масштабах.

Но вот лорд Лоренс, взглянув на свои пузатые часы, по обыкновению мягко и вежливо произнес:

— Теперь, как мне кажется, настало время закрыть заседание до следующего дня.

Мы двинулись к выходу и в дверях оказались рядом с пожилой американской журналисткой, изучающей русский язык. Она смущенно обратилась к нам:

— Сенкью... спасибо... Спасибо всё — Красной Армии спасибо большой... Солдат, офицер, дженераль — спасибо.

Эта корявая фраза и крепкие рукопожатия, сопроводившие ее, очень растрогали нас. Это была естественная реакция рядового человека на все то, что в последние дни мы слышали на суде...

Между прочим, «Города и годы», обойдя наш «халдейник», перекочевали куда-то к судейским. Роман переживает в Нюрнберге свою вторую молодость и пользуется новым успехом. Боюсь, что жене придется краснеть перед строгими библиотекаршами «Правды» за слишком зачитанную книгу.

ДВА ПОДАРКА САНТА-КЛАУСА

Со вчерашнего дня в большом зале дворца Иоганна Фабера воцарилась пышная елка. Дэвид рассказывает, что на добычу этой елки 1-я американская дивизия снаряжала целую экспедицию куда-то далеко в Баварские Альпы. Дерево везли по горным дорогам на машине с прицепом и с трудом, через окно, на веревках, подняли на третий этаж. Сейчас чудесное мохнатое, пышное дерево это водружено в центре зала и распространяет аромат свежей хвои, напоминая всем о детстве и о семьях, живущих далеко. Вся пресса ходит благостная, с оттаявшей душой, и даже возле стойки неутомимого Дэвида не вскипают страсти, не слышно ни хохота, ни жестоких споров.

Под елкой большой дед-мороз, говорят, прибывший из Америки на самолете. Здесь он выступает под псевдонимом Санта-Клаус, на нем красная, отороченная белым шуба, красный сверкающий колпак с кисточкой и посох из прозрачного стекла, который, по-видимому, будет сверкать и светиться, ибо к нему подключен провод. Елку украшают на особый манер, и если наверху сверкают обычные стеклянные игрушки, бусы, канитель, флажки, то пониже на ниточках висят бутылки виски, джинов, ликеров, пакетики сушеных фруктов и орешков, а также автоматические ручки, фотоаппарат и даже портативная пишущая машинка. Всё с номерками. Американский дед-мороз — дед деловой, практический. Оказывается, он затеял грандиозную лотерею-аллегри, и каждый, имеющий что-то в кошельке, сможет попытать счастья возле его объемистого мешка.

Впрочем, я от деда-мороза свои подарки уже получил. Их два. Во-первых, редакция разрешила мне на время рождественских каникул отправиться в короткое путешествие по Европе с друзьями из Югославии. Во-вторых, я нашел-таки шофера, и на этот раз, кажется, действительно неплохого.

Направил его ко мне уже не офицер американского армейского автохозяйства, а наши советские ребята — шоферы, обслуживающие машины судейского персонала. Пришел водитель главного судьи, члена Международного Военного Трибунала, Никитченко, немолодой, плотного сложения человек с круглым, истинно русским лицом.

— Мы слыхали, что вы шофера ищете? Есть тут у нас один на примете — Куртом звать. Немец. Из военных. Летчиком вроде был, в нашем гараже за механика подрабатывает. Толковый парень, немножко даже по-русски кумекает.

— Здешний?

— Здешний... Его будто наши где-то на Северном фронте сбили, вернее, в воздухе подожгли. Он весь обгорелый и хромает, но, говорю, толковый. Мы его тут давно наблюдаем, и все как есть за него ручаемся. Семья у него — мать, сестра... Может, взглянете? Мы пришлем.

И вот приходит ко мне американец-часовой, стоящий у дверей нашего «халдейника». Жестом показывает, что кто-то меня спрашивает.

— Пропустите.

Открывается дверь, появляется высокий человек лет тридцати. Браво вытянулся. Бросил руку к виску. Очень бойко произносит по-немецки.

— Господин полковник, по вашему вызову такой-то явился.— И тут же не без труда выжимает из себя по-русски: — Я пришел.

У него продолговатое лицо из тех, что у нас называют лошадиными. Соломенного цвета волосы, умные, усталые глаза. Кожа на висках и щеках красная, стянута шрамами.

Я указал ему на стул. Но он не сел и, стоя, сразу начал рассказывать о себе. Здешний житель, из Штайна. До войны работал водопроводчиком на фабрике Фабера. Окончил авиашколу в Мюнхене. Летчик-истребитель. Старший лейтенант. Должен предупредить, что воевал на советском фронте, награжден Железным крестом за победы в воздушных боях. В одном из них, на Северном фронте, был подожжен советскими истребителями, но дотянул горящий самолет до своего аэродрома. Инвалид третьей группы.

— В национал-социалистской партии, в гитлерюгенд состояли?

— Гитлерюгенд — да. Наци — нет.

— Ну, а какие бы вы сейчас хотели условия, сколько денег?

— Как можно больше. У меня больная мать, сестра и два племянника. Мать воспитывает детей своего брата, тоже вдовца, погибшего в Берлине... Как можно больше денег, в разумных пределах, конечно.

Он мне понравился этой своей прямотой. Я усадил его за стол, достал из чемодана заветную бутылочку водки и длинную пачку печенья. Выпил он охотно, но к печенью не притронулся и попросил разрешения несколько штук взять с собой.

Я пригласил переводчицу и попросил ее сообщить все тому же любезнейшему капитану, ведающему автотранспортом, что шофер меня устраивает, пусть ему дадут право вождения. Обычно милый и расторопный, капитан на этот раз проворства не проявил.

Сейчас, сказал он, когда бежали эсэсовцы, многих из которых поймать еще не удалось, весьма опрометчиво с моей стороны брать шофера-немца, да еще бывшего офицера. Нет-нет, он настойчиво советует мне подумать, не желая, чтобы я рисковал собой.

— Напомните господину капитану, что по правилам Трибунала корреспонденты приравнены к судебному персоналу, и он не имеет права без особых на то причин стеснять меня в моих действиях. Что же касается моей безопасности, передайте ему, что я привык заботиться о ней сам.

Выслушав это, капитан заявил, что и он тоже не имеет права выдавать немцу пропуск для выезда за город и будет вынужден ограничить езду городской чертой.

Тут уж я не выдержал:

— Скажите капитану, черт с ним. Нет, нет, без черта конечно. Скажите, что машина нужна мне для работы, и я не собираюсь ездить на пикники.

Когда наконец в трубке прозвучало «о'кэй», произнесенное весьма кисло, я понял, что пошел на попятный зря. Ведь впереди были рождественские каникулы, поездка по Западной Европе. Ну что ж, придется, вероятно, проситься в машину к югославам. И все же мне, пожалуй, не стоит обижаться на подарки Санта-Клауса.

НОЖ РАЗБОЙНИКА

Югославские друзья деятельно готовятся к каникулярному путешествию. До войны жил я в своем городе Калинине, ездил мало, даже в Москву выбирался редко и с туристскими путешествиями по Европе вовсе незнаком. Но югославские коллеги выросли в иных условиях. И сейчас они энергично и умело готовятся к поездке, добывают нужные документы, меняют в банке оккупаци-

онную валюту и настолько любезны, что хлопочут заодно и за меня. Я тем временем написал и отнес на телеграф последнюю в этом году корреспонденцию, озаглавленную «Нож разбойника». Гитлер называл части СС своим верным оружием. Он был разбойником по натуре и по делам, а самое верное оружие у разбойников — понятно же, нож.

Последние дни обвинители предъявляют документы и вызывают свидетелей, вскрывая деятельность черной гитлеровской лейб-гвардии, так называемых штурмштафельн, стяжавших себе в войну страшную славу под названием войск СС.

Народы Европы, которым Гитлер всаживал в спину этот нож, а потом с помощью его заживо свежевал и сдирал шкуру со своих жертв, еще долго будут с содроганием вспоминать это любимое детище и опору гитлеровского режима.

Штурмштафельн — СС — отнесены к числу преступных организаций и являются коллективным подсудимым Международного Военного Трибунала. Я слушал обвинителей, знакомился с документами, и мне все время вспоминалась встреча с первым увиденным мной эсэсовцем, давняя встреча на Калининском фронте в лесу зимой 1941 года, в самом начале нашего первого наступления.

В этот день мы с Александром Фадеевым, приехавшим тогда к нам с корреспондентским билетом «Правды», узнали, что в дивизии генерала Поленова захвачен первый пленный эсэсовец, да еще из дивизии «Адольф Гитлер», которая в те дни еще только появилась перед войсками Калининского фронта. Мы бросили все дела и, несмотря на сорокаградусный мороз, по замерзшей Волге рванули по направлению к городу Старица, где находился генерал Поленов.

Разведчики, захватившие этот необыкновенный трофей, размещались в просторной избе лесника. Здесь было жарко натоплено. Пленный сидел на корточках в углу — большой, плечистый, рыжий в черном, еще не виданном нами мундире с «молниями» на петлице кителя и серебряным черепом на пилотке. На рукаве у плеча была нашита ленточка с надписью «Адольф Гитлер», которую эсэсовец, видимо, пытался содрать, но не успел. В жаркой избе лицо его пылало, как начищенная медная кастрюля, пот стекал с жирного лба, задерживаясь на жестких, будто проволочных бровях. В светлых маленьких, заплывших глазках было столько злобы, сколько бывает у хоря,

угодившего в капкан. Имя его я уже забыл, а вот лицо помню хорошо. Оно мне даже потом снилось.

Пленный уже дал показания. По словам допрашивавшей его девушки-лейтенанта, он довольно охотно рассказал все, что знал о вооружении и дислокации своего полка. Его сообщения в основном совпадали с имевшейся в дивизии разведсхемой. Но наиболее интересным оказался не сам этот эсэсовец, ни даже его показания, а нечто снятое с него при обыске и лежавшее теперь на столе, являясь предметом пристального созерцания всех наших, собравшихся в хате.

— Вот, товарищ бригадный комиссар, полюбуйтесь, что он носил на себе,— сказала, адресуясь к Фадееву, девушка-лейтенант, допрашивавшая этого редкого зверя, и брезгливо коснулась карандашом чего-то матерчатого, затертого, грязного.

Мы увидели своеобразные брезентовые вериги, которые эсэсовец носил на теле под нижней рубашкой,— этакий широкий пояс с бретельками. К поясу были пришиты плоские матерчатые мешочки, набитые золотыми и бумажными деньгами тех стран, где воевала дивизия «Адольф Гитлер», ювелирными изделиями, превращенными для компактности в комочки золота, и, наконец, золотыми, платиновыми мостами и коронками, очевидно, вырванными этим типом изо рта своих жертв. Таких коронок и протезов оказалось около ста двадцати. После того как все это добро было высыпано на стол, гитлеровец, поначалу державшийся довольно уверенно, даже завыл от жадности и страха.

— Может быть, вы нумизмат? — спросила его по просьбе Фадеева девушка-переводчица. Но выяснилось, что эсэсовец даже не знает этого слова.

— Для чего же тогда вы все это собирали?

Тот даже брови поднял, пораженный наивностью такого вопроса.

— Разумеется, для того, чтобы весело пожить после войны. Все солдаты об этом мечтают.

Я помню, как переводчица, обычная русская девушка из института иностранных языков, успевшая допросить за войну уже многих пленных и ко многому привыкшая, бросила с отвращением:

— Чудовище! Какая гадость!

Фадеев— человек необыкновенно любознательный — больше ничего не спрашивал, а только что-то старательно

записывал в блокнот, который редко когда вынимал. Хорошо помню, что тогда этот вот эсэсовец представился нам даже не человеческим выродком, а экземпляром какой-то новой, еще неизвестной зоологам породы зверей, сочетавшим в себе все худшие черты животного мира и лишь замаскированным под человека...

Сейчас перед судом уже не какой-то случайный эсэсовец, а целая организация, в которой вырос этот человекоподобный зверь. Найдены, раскрыты ее тайные сейфы. В наушниках звучат отрывки их секретных документов, написанных ее вожаками. Их ровным голосом читают обвинители, со всей убедительностью доказывая, что экземпляр, когда-то так поразивший нас с Фадеевым,— это всего один из тех, кого в гитлеровском рейхе выращивали сотнями и тысячами. Путем целой великолепно продуманной системы отбора и воспитания, путем систематического вытравливания естественных человеческих черт и привычек и упорного насаждения кровожадности, хищности, злобы, хитрости. Так появлялись эсэсманы — люди в черной форме, без чувства чести и совести, без мыслей, без всего того, что отличает человека от хищного зверя.

Эсэсовцы были «орудием удара», как высокопарно называл их Гитлер. Первый его подручный, Гиммлер, в подчинении которого находилась эта черная гвардия, ставил перед ней единственный и основной принцип: слепое, нерассуждающее повиновение вышестоящим.

Эсэсовцы были не только палачами, но и изобретателями многообразных аппаратов уничтожения и массовых убийств, практиковавшихся в лагерях. Все понятия о сути человеческих профессий в СС были перевернуты с ног на голову. Солдаты в концентрационных лагерях практиковались на истреблении женщин, стариков, детей. Врачи, призванные спасать больных и облегчать человеческие страдания, в своих тайных лабораториях разрабатывали средства массового отравления, ставили на людях изуверские опыты, обычно кончавшиеся умерщвлением. Инженеры-строители и инженеры-механики, облаченные в черную форму, чертили проекты газовых камер, печей-крематориев, машин для дробления костей и механизмов для выделки из размолотых костей и пепла туков для удобрения полей.

Один эсэсовец, кстати, в прошлом педагог, преподаватель гимнастики в школе кадетов, изобрел и выправил

секретный патент машины для механического засекания людей. Машина эта сама обручами прижимала жертву к колоде, сама отсчитывала количество ударов, которое ей задавалось заранее. Другой инженер-эсэсовец сделал заявку на аппарат для медленного вывертывания суставов. Рекламируя свое изобретение, он писал начальству, что человек, находящийся в станке его аппарата, может только кричать и будет не в силах оказать даже малейшего сопротивления; приводящему же приговор в исполнение не нужно тратить никаких физических усилий, а только двигать всего один рычажок.

Перед судом прошла модель и еще более страшной машины — газенвагена, этого автомобиля смерти, который был впервые опробован изобретателем у нас на юге и лишь после того, как были письменно запротоколированы «хорошие убедительные результаты», запущен в массовое производство. Из трофейных документов суд узнал и подробности первых смертных рейсов, совершенных этой машиной в районе Таганрога. Автор изобретения искал наиболее рациональный режим его эксплуатации. Он опробовал свою машину на людях разных возрастов, затем отдельно на женщинах и на детях. В хорошую и в плохую погоду. При ветре и в безветрие. Его доклады свидетельствовали, что именно на женщинах и детях машина достигает оптимального эффекта. В докладах содержалась даже жалоба на то, что «шоферы, к сожалению, не всегда понимали все великое значение технических испытаний». Они, оказывается, сразу включали рычаг, подающий в машину выхлопные газы, отчего удушение начиналось немедленно, когда машина шла еще по населенному пункту и крики жертв могли обратить на себя внимание и вызвать «нежелательный эффект». Или, наоборот, запаздывали с включением газа, и наиболее выносливые из обреченных на смерть в конце рейса оказывались живы, что тоже могло бросить тень на эффективность изобретения, которое, однако, «при нормальной эксплуатации работает безукоризненно...».

Я слушал эти документы, и рыжий душегуб из дивизии «Адольф Гитлер», пойманный нашими охотниками за «языками» четыре года назад, начинал казаться мне каким-то отсталым кустарем в сравнении с этой технически оснащенной, механизированной индустрией смерти, созданной инженерами-эсэсовцами и изготовленной германской промышленностью.

Не знаю, какой приговор вынесет Международный Военный Трибунал, что скажут высокообразованные юристы, но мне думается, что все, носившие черную окаянную форму СС, заслуживают наказания. Ведь мало вырвать нож из руки разбойника, нужно уничтожить этот нож, чтобы другой разбойник не завладел им и вновь не пустил в дело...

После заседаний мы с Крушинским отыскали на стоянке мою машину. Курт читал какую-то книгу, оказавшуюся немецко-русским словарем. Несмотря на наступление рождественских дней, было сыро. Отстукивала увесистая капель. Снег с мягким шумом оседал под ногой, и, ей-богу, уже отчетливо пахло весной.

В машине была хирургическая чистота. Протертые стекла ослепительно сияли. Чтобы избавиться от тяжких впечатлений дня, мы попросили Курта свезти нас в какую-нибудь пивнушку для народа, где по вечерам собирается простой люд, в этакий рабочий локаль, о которых мы столько читали в книгах Вилли Бределя.

Мгновение Курт сидел, как бы напрягая память, по-видимому, стараясь понять, что от него хотят. Потом сказал по-немецки: «Яволь»,— и тут же сам перевел на русский: «Хорошо». Минут через десять мы были уже на окраине Штайна, за карандашной фабрикой, в небольшой чистенькой пивной, где женщина и девушка в одинаковых клетчатых платьях домашнего покроя, в чистых, накрахмаленных нарукавниках и передниках разносили тяжелые кружки с пивом. Занято было всего несколько столиков. Русских, да еще военных русских, здесь, должно быть, никогда не бывало, и потому все эти пожилые мужчины в широких пиджаках или вельветовых куртках, сидевшие у столиков, с интересом уставились на нас. Мы заказали пиво и сосиски. То и другое по существующим после войны ценам было необыкновенно дорого и самого низкого качества: пиво жиденькое, как чай, сосиски толщиной в карандашик, и все-таки нам показалось здесь куда уютнее, чем в парадных залах дворца Фабера. Пожилые немцы неторопливо посасывали трубки. Женщины-подавальщицы, конечно же, мать и дочь, крупные, скуластые, похожие друг на друга, бесшумно и приветливо разносили кружки. Уходя, мы заметили, что Курт, выпивший свое пиво, к сосискам не притронулся. Он положил их на кусочек хлеба, завернул в бумажную салфетку и конфузливо спрятал в карман.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАКАЗАНИЕ

ВУРДАЛАКИ ИЗ ДАХАУ

Ну вот рождественское путешествие по Западной Европе осталось позади.

За 12 дней промелькнули, именно промелькнули, за окнами нашей машины шесть европейских стран: Германия, Бельгия, Франция, Швейцария, Лихтенштейн, который без лупы не найдешь на карте, и, наконец, чистенькое, крошечное Монако. Вот уж буквально галопом по Европам неслись мы с югославскими друзьями. Пейзажи менялись точно в калейдоскопе, границы мелькали, как телеграфные столбы, и все это протекало так стремительно, что не было времени толком что-нибудь рассмотреть. Мы даже не вынимали блокнотов.

Впрочем, несколько штрихов этого стремительного путешествия все-таки запомнилось, и прежде всего отношение людей самых разных национальностей к Красной Армии. Моя шинель и офицерская фуражка еще незнакомого здесь образца были в этой поездке своеобразной волшебной палочкой, открывавшей перед нами сердца и души, а иногда и двери частных домов. В игрушечной столице Лихтенштейна, городке Вадуц, лежащем в долине меж гор, где мы остановились из-за какой-то неисправности в моторе, вокруг машины собралась толпа. В добровольных помощниках и консультантах нехватки не было. Разные люди подарили мне несколько открыток, на которых был изображен владетельный герцог этого государства, отправляющийся на велосипеде в церковь. На одной из открыток стоял даже его автограф. Такие открытки, оказывается, можно купить в туристском магазине. Они служат укреплению местных финансов. Мне же, в свою очередь, пришлось надписать несколько открыток с видами Москвы.

В Париже прославленная героиня Сопротивления Мадлен Риффо, поэтесса и журналистка, застрелившая в праздничный день на одном из парижских мостов шефа гестапо, очаровательная девушка с темной косой и смуг-

лым лицом рафаэлевской мадонны, сама повезла нас на автомобильчике, похожем на коробку из-под сардин, на бульвар Сталинграда. Тут уж пришлось выпить не один стаканчик перно с французами, которые усаживали нас за стол чуть ли не силой.

А в Монако, в одном из самых фешенебельных казино, куда мы, разумеется, заскочили поглазеть на знаменитую рулетку, начальник или директор этого заведения, русский белогвардеец-старик с аристократической картавинкой, со щечками-котлетками, свисающими на высокий, оскар-уайльдовский, туго накрахмаленный воротничок, затащил моих спутников и меня к себе в кабинет и там потчевал какой-то особого приготовления рыбой. Рецепт этого блюда его семья вывезла еще из Ростова-на-Дону. После угощал шотландским виски и французским коньяком, пытаясь ошеломить нас тем, что в его заведении бывает его высочество великий князь Кирилл и когда-то, правда инкогнито, играл в рулетку его величество король Югославии. Но первый тост он провозгласил за героев Сталинграда и Ленинграда (правда, он выразился, Санкт-Петербурга):

«Перед святым мужеством этих людей я снимаю шляпу».

— ...Я готов вашему Сталину сапоги целовать за то, что он возвеличил и приумножил Россию,— заявил он, торжественно вытягиваясь, будто на нем был надет не опереточный фрак, а по крайней мере гусарский мундир...

— Благодаря твоей военной форме мы путешествовали как у Христа за пазухой,— сказал мой югославский друг Радован, когда за стеклом машины вновь показались руины Нюрнберга.

...Все это вспоминается сейчас как некий полузабытый сон. Хотя елка, освобожденная за праздничные дни от самых привлекательных своих украшений, еще стоит в парадной гостиной на третьем этаже, все уже окунулись в судебные будни.

Снова страница за страницей листается книга чудовищных преступлений гитлеровцев. Западная Европа, как мы видели, все-таки дама легкомысленная. Беда прошла — и ладно. Хотя еще голодно, хотя разрушения, принесенные войной, пока что кое-как стыдливо окружены заборами, заклеенными афишами, там все-таки мало

вспоминают о том, что всего восемь месяцев назад по улицам порабощенных столиц шагали германские солдаты, свирепствовали филиалы гестапо, а лучшие сыны этих стран дрались в подполье, с надеждой наблюдая за гигантским единоборством, которое вела Красная Армия с главными силами их врага.

Но вот здесь, в центре Европы, суд, представляющий народы всей земли, продолжает листать книгу нацистских преступлений, равных которым не знало человечество, и, кажется, им, этим преступлениям, нет числа. Я уже говорил, что в системе СС даже самые гуманные человеческие профессии трансформировались в полную свою противоположность. Так было и с профессией врача. В пещере близ города Халлейна американскими военными властями был обнаружен замурованный среди камней сейф Гиммлера; в числе папок этого тайного архива оказались медицинские документы, которые в гитлеровской Германии хранились, что называется, за семью печатями. Сейчас их читают суду. Об этих извергах в белых халатах и гудит сейчас на разных языках наша вавилонская башня, именуемая пресс-кэмпом.

Нас с Сергеем Крушинским эти материалы, как и многие прежние, не очень удивляют. Мы познакомились с изуверскими экспериментами задолго до их обнародования здесь и уже писали о них в своих газетах. Это было, когда войска Маршала Советского Союза И. С. Конева, наступая через Западную Польшу, вслед за Краковом освободили Освенцим — самую большую фабрику смерти из всех созданных гитлеризмом. В то утро мы выпросили в штабе фронта связной самолет, вдвоем втиснулись в одноместное гнездо заднего сиденья и по пути с нетерпением следили по карте за маршрутом. Об Освенциме в штаб фронта уже пришли жуткие вести. Не терпелось все скорее увидеть самим, и нам казалось, что самолет летит слишком медленно.

И вот наконец мы у массивных железных ворот с печально знаменитой издевательской надписью: «Труд делает свободным». Лагерь взят недавно. Здесь царит суталока. Но командованию нашей танковой части, занявшей эти края, уже удалось сколотить из освобожденных что-то вроде лагерного комитета. Прилетевший из штаба фронта подполковник Борис Николаев, высокий, бледный, с прищуренным от контузии глазом, с помощью этого комитета из лагерников немного разобрался в обстановке.

Кое-как наладил питание. Расставил по блокам присланных сюда военных врачей. Сколачивает охрану, чтобы предотвратить диверсии и задержать больших и малых фюрерчиков, командиров колон, штубовых[1], палачей из газовых камер и крематориев, которых понемногу вытаскивают из потайных щелей. Дел у Николаева много. Его буквально рвут на части. А тут еще корреспонденты свалились на голову.

Мы с ним старые друзья, с этим Николаевым. Еще с Калининского фронта. Но сейчас он только сипит сорванным голосом: «Братцы, не до вас, сами видите, что здесь творится. Смотрите сами и пишите. Вот попросите товарища Антонина быть вашим Вергилием».

И тот, кого Николаев назвал Антонином, ведет нас по этому громадному лагерю, по всем кругам здешнего ада. Он чех, бывший профсоюзный работник из Кладно. Старый коммунист, бывал до войны в Москве, хорошо понимает и сносно говорит по-русски. Сейчас Антонин что-то вроде комиссара в антифашистском комитете. У него бледное, как бы сплошь состоящее из острых углов лицо, большие уши. Он так худ и костист, что полосатый костюм висит на нем, но глубоко запавшие глаза светятся энергией. О, он знает, что нужно здесь показать корреспондентам,— он сам пописывал когда-то в «Руде право». Антонин показывает нам огромные амбары, от пола до крыши набитые обувью сожженных, где в больших кучах тяжелые башмаки рабочего соседствуют с изящной женской туфелькой и крохотной пинеткой, снятой с ножки ребенка. Ведет в другие амбары, не меньшего размера, где собраны горы человеческих волос — и лежащих навалом, и рассортированных по длине и колерам, и уже упакованных в тюки для отправки на фабрики.

Потом мы останавливаемся перед продолговатой грудой каменных развалин.

— Тут было самое страшное,— объясняет Антонин. — Лаборатория, где врачи и фармацевты экспериментировали на людях. Это было большим секретом. Тщательно охранялось. Те, кого брали для опытов, жили отдельно и никогда уже потом не возвращались живыми. По ночам их увозили прямо в крематорий. И жили они вон там.— Он показывает на другую массивную развалину.— Врачей, делавших опыты, привозили и увозили

---

[1] Надзиратель в блоке бараков концлагеря.

в машинах с занавешенными стеклами... Когда стала слышна ваша канонада, оба эти здания взорвали. Всех, кто подвергался экспериментам, убили и успели сжечь. Мы уже несколько раз давали по радио объявления, просили зайти к нам тех, кто побывал здесь. Никто не пришел. Тайна, полная тайна, и только по слухам можно судить о том, какие страшные тут производились эксперименты...

И вот наконец тайна раскрылась. На этом заседании мы с Крушинским сидели рядом и, затаив дыхание, узнавали о том, до чего в только что освобожденном Освенциме так и не удалось докопаться ни подполковнику Николаеву, ни умнейшему Антонину. Среди бумаг рейхсфюрера СС Гиммлера и были найдены доклады ученых извергов, экспериментировавших на людях в особо секретных корпусах концентрационных лагерей.

Узнали мы о новой сатанинской отрасли медицинской науки, которая в гитлеровское время родилась и получила довольно широкое развитие в стране Коха, Вирхова, Лефлера. Узнали и о самом зарождении этой отрасли.

Произошло это осенью 1941 года в Италии, в здании немецкого посольства в Риме, где за дружеским кофе у посла фон Мекензена встретились знатные визитеры — министр здравоохранения Италии граф доктор Леонард Конти и пожилой ученый, немецкий профессор доктор Клаус Шиллинг, деятели малярийной комиссии при Лиге наций. Разговаривая о том о сем, стали толковать о трудностях, встреченных Муссолини в Африке, об эпидемии лихорадок, поражающих солдат итальянского экспедиционного корпуса. В то время нацистская верхушка уже готовила вторжение войск генерала Роммеля, и африканские лихорадки заранее беспокоили немецкое командование. И словно невзначай граф Конти мягко упрекнул Шиллинга в том, что наука отстает от жизни и исследования в области борьбы с лихорадкой ведутся не в должном темпе. Смущенный ученый стал оправдываться трудностями военного времени, нехваткой подопытных животных: кроликов, собак, морских свинок. И тут граф Конти подкинул ему идейку: а люди? Сколько отличного подопытного материала находится в концентрационных лагерях! И немецкий ученый с мировым именем, получивший когда-то из американского фонда Рокфеллера премию за борьбу с малярией, клюнул на это предложение. Люди? Великолепно! Отличная мысль. Как это ему раньше само-

му не пришло в голову! Одним выстрелом убиваются два зайца: сокращаются расходы на подопытных животных и оправдываются расходы на кормежку и содержание лагерников.

Идея, одобренная обеими сторонами, была сразу подхвачена. В Вейндкунене собирается научная конференция, разумеется, в строжайшем секрете. Начальник медицинской службы войск СС доктор Гравитц предлагает Шиллингу на выбор любой из концентрационных лагерей Германии. Профессор называет Дахау, один из самых старых лагерей. Ведь рядом Мюнхен, университетский город с медицинскими институтами и отличными лабораториями. В районе Дахау молниеносно воздвигается здание, получившее скромное наименование филиала медицинского института. Доктор Шиллинг сам выбирает среди заключенных несколько сот человек, которые кажутся ему подходящими для опытов, и начинает заражать их всеми известными видами лихорадок.

Престарелый ученый, почетный член многих иностранных академий, хладнокровно заражает страшными болезнями здоровых молодых людей, сам недрогнувшей рукой вводит им в вены фенол и потом хладнокровно наблюдает агонию, фиксируя минуты и секунды различных ее стадий.

Из сотен подвергнутых подобным экспериментам удалось выжить лишь одному. Это ксендз из Польши по фамилии Михайловский. Он случайно избежал крематория. Он и поведал от имени сотен и тысяч жертв доктора Клауса Шиллинга о последних опытах преступного профессора.

А между тем из-за спины Шиллинга выплывает еще более зловещая фигура доктора Зигмунда Рашера, его достойного ученика в области сатанинских опытов, развившего дело Шиллинга, превратившего его скромную лабораторию в целый комбинат этой «медицины навыворот». О, эта фигура еще более колоритна и характерна для нацистских нравов! Рашер был профессором авиационной медицины в Мюнхене, гауптштурмфюрером войск СС, другом Гиммлера и потому пользовался его могущественным покровительством. Жена Рашера, певичка кабаре Нина Диль, тоже пользовалась благосклонной симпатией всесильного владыки гестапо, жила с ним, имела от него ребенка. Эта связь открывала перед Рашером уже ничем не ограниченные возможности. Сначала он

разрабатывал проблему пребывания живого организма в разреженной воздушной среде, предвидя полеты в стратосфере и в субстратосфере. Он попросил своего, так сказать, «родственника» отпустить ему побольше человеческого материала для «очень важных для рейха опытов спасения жизни наших летчиков на больших высотах». Люди были отпущены в неограниченном количестве. И вот в Дахау, при так называемом сверхсекретном блоке № 5, где уже велись эксперименты на людях, был построен специальный корпус со стальными герметическими кабинами, в которые были вмонтированы смотровые окошки. Туда вводили человека или группу людей. Начиналось экспериментирование с пониженным давлением: воздух постепенно откачивали, и человек начинал как бы распухать от внутреннего давления во всем теле и в черепе. Откачка проводилась до тех пор, пока не лопались сосуды и люди не падали замертво. Доктор Рашер и его ассистенты Руф и Румберг в смотровые окна следили за поведением умирающих жертв, за их агонией, а потом еще не остывшие трупы клали на столы, вскрывали и начинали исследования.

Это повторялось снова и снова. Любопытная черта: Нина Диль тоже нередко присутствовала при таких опытах, фотографировала, стараясь запечатлеть для своего любовника труды своего мужа. Сколько людей погибло при этом, прокуратуре подсчитать точно не удалось. Много, очень много. На основе подобных экспериментов и родился труд с циничным названием «Опыты спасения жизни на больших высотах», который Гиммлер считал нужным хранить в своей тайная тайных. А фельдмаршала Мильха работа Рашера привела в восторг, и в пышных фразах он выразил автору благодарность за нее.

Вскоре тот же Мильх поставил перед Рашером другую «проблему». Под ударами советских и английских истребителей немецким летчикам приходилось все чаще попадать в ледяную воду северных морей. Иногда их подбирали еще живыми, но они умирали в лодке. Мильх заговорил о необходимости найти способы отогревания человека, долгое время пробывшего в ледяной воде. Сказано — сделано. Экспериментальные работы в этой области развились особенно широко. Рашер потребовал подмогу. В секретный пятый блок Дахау приезжают из Киля профессор Хольц Локар, из Инсбрука — Ярек, а из Мюнхена — известный патологоанатом доктор Зингер.

Началась новая серия изуверских исследований. В ванны, поставленные во дворе зимой, опускали заключенных — и совсем нагих, и в обычной одежде, и в летных комбинезонах. В ванны начинали бросать лед, вода в них постепенно замерзала. Ученые с секундомерами в руках, введя в живое тело испытуемых особого устройства термометры, следили за понижением температуры и конвульсиями жертв. За судорогами, за онемением мышц, за тихой агонией и, наконец, смертью. Множеством экспериментов установили: для охлаждения тела до критической температуры в двадцать девять градусов требовалось семьдесят—девяносто минут, смерть же наступала еще через час — при температуре между двадцатью четырьмя и двадцатью пятью градусами. Дальше, как и полагается в научном труде, приводится множество примеров. Протоколы испытаний... окончательные выводы. Отмечался исключительный случай, когда среди массы испытуемых оказался субъект, который не погиб при температуре в двадцать шесть и пять десятых градуса, преодолел намеченный учеными смертный барьер. Чтобы умертвить этого могучего человека, пришлось замораживать его еще восемьдесят минут. За его агонией профессора наблюдали с особой тщательностью. Его жизненная сила поразила их, привела в восторг, но они все-таки прикончили его «во имя науки».

В этих опытах жертвы не всегда умерщвлялись за один прием. Параллельно велись работы по изысканию способов отогревания замерзших. В этой серии опытов тело испытуемого, уже лишенное признаков жизни, подвергали разным способам оживления: пробовали спирт, возбуждающие препараты, тепло постели, тепло солнца и даже... тепло женских тел. На эту мысль Рашера натолкнуло какое-то древнегерманское сказание, согласно которому некая юная дева отогрела теплом своего тела замерзшего воина. Ну что ж, стоило попробовать и это, и доктор Рашер выписал для очередного опыта четырех молодых цыганок из женского лагеря в Равенсбрюке.

Людей охлаждали и отогревали, доводили до шокового состояния и возвращали к жизни. Но в финале во всех, абсолютно во всех случаях была смерть. Чех Антонин из Освенцима был прав: ни один человек не выпускался живым после этих опытов. Отчет Рашера, опять-таки проиллюстрированный фотографиями, сделанными его женой, снова привел в восторг фельдмаршала Мильха. Он

письменно благодарит экспериментаторов и коменданта Дахау, «сделавших благородное и гуманное дело во славу рейха».

Но война на Востоке приобретала для Гитлера все более крутой оборот. Провалившаяся под Москвой зимняя кампания, разгром под Сталинградом, огромные потери, понесенные от советской артиллерии, которые здесь относились на счет русских морозов, выдвигают перед изуверами проблему «спасения человеческого организма, пострадавшего от замерзания». Начинается третья серия еще более изуверских опытов. Заключенных раздевают донага и кладут на землю в снег. Потом, доведя до состояния окоченения, вносят в комнату и отогревают разными способами. Но тут размаху опытов помешал мягкий климат Баварии. Для того чтобы проморозить человека до бесчувственного состояния, уходило слишком много времени. Да и не на Западном фронте вставала эта проблема. И вот лабораторию доктора Рашера переводят поближе «к соответствующим климатическим условиям в восточном пространстве», в секретный блок Освенцима.

Мы с Крушинским переглядываемся. Так вот кто там злодействовал, вот чего нам не удалось увидеть и что лежало тогда в руинах! Впрочем, Рашера мы бы все равно там схватить не могли. Советское наступление за Вислой развивалось безудержно, и дальновидный Гиммлер поторопился под каким-то предлогом расстрелять Зигмунда Рашера и его супругу. Он переставал быть честолюбивым. Лишние свидетели его «подвигов» были ему больше не нужны...

Внизу, в русском крыле судебного помещения, мы взволнованно обсуждаем материалы сегодняшнего заседания.

Ведь ничего подобного человечество не знало даже в самые черные дни глухого средневековья.

— Кошмарно... Чудовищно... Непостижимо...— рубит взволнованный Всеволод Вишневский, ставя после каждого слова жирную точку, какими вообще изобилует его речь.— Нюрнберг — он всегда славился своими палачами... Седое средневековье... Железная дева... Стальные башмаки... Венец Иисуса... Все это здешнее, но такого... Ужас... Кошмар... Бред...

— Мефистофели в роли Фауста,— комментирует западноукраинский писатель из Львова Ярослав Галан,

человек очень образованный, очень молчаливый и очень замкнутый.

— Что вы, батенька, зачем таким сравнением обижать ловкого немецкого черта? — отзывается Михаил Гус.— Да Мефистофеля бы стошнило от всего этого. Вурдалаки — вот кто они. У вас в украинском языке есть такое слово — «вурдалак»?

— Да, есть. Вурдалаки есть у всех славянских народов,— серьезно, даже академично отзывается Галан.— Да, вы, пожалуй, нашли более подходящее сравнение.

К стыду своему, я не знаю значения этого слова. Слышал когда-то в детстве. На фабрике «Пролетарка», где я вырос, оно бытовало как безобидное ругательство. И вот Галан начинает терпеливо объяснять:

— Вурдалак— это непременный персонаж славянской мифологии. Это великий грешник, проклятый людьми и богом, которого не принимает могила. В темные, безлунные ночи он встает из земли, бесшумно прокрадывается в селения и пьет у спящих кровь, прокусывая им горло. Насосавшись человеческой крови, он на некоторое время может даже вернуть себе свой прежний облик. В Закарпатье гурали до сих пор верят, что избавиться от вурдалака можно лишь загнав в новолуние в его могилу осиновый кол,— заканчивает свои пояснения Галан.

— Загоним кол... Пришьем к земле... Истребим... Всех истребим...— говорит Вишневский, посылая сквозь зубы слова, как пули, и стучит кулаком по столу.— Цивилизованные дикари, загоним в вашу могилу осиновый кол... Загоним по самую маковку.

«Осиновый кол» — вот как я озаглавлю свою следующую корреспонденцию.

МЫ ОПУСКАЕМСЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ

Все эти дни мысли наши вертятся вокруг Дахау. Снова и снова смотрим на карту Баварии. До Мюнхена километров полтораста. На наш, военный счет — рукой подать. Ну а знаменитый лагерь, где проводились все эти изуверские эксперименты, оттуда совсем недалеко. Дорога отличная, как, впрочем, и все современные немецкие дороги. Весь вопрос в машине. Курта этот чертов американский капитан так-таки лишил права выводить

машину за черту большого Нюрнберга. У ТАСС и радиокомитетчиков машины в постоянном разгоне. Где ее добыть, машину?

И вот сегодня счастье, что называется, упало прямо к ногам. Во время завтрака ко мне подошли чехи Висент Нечас и Ян Дрда — толстяк, с большой, увенчанной львиной гривой волос головой, и, будто прочитав мои сокровенные мечты, предложили:

— Мы тремя машинами с нашим генеральным юристом собираемся в Дахау. Хочешь с нами? Три свободных места будут.

Хочу ли я? Надо ли об этом спрашивать? Мы с художником Николаем Жуковым давно уже подружились с этими славными ребятами. Отличная компания, да и Дахау сам по себе сильнеший магнит для репортера. Решаем ехать втроем: Жуков, Михаил Долгополов и я.

Чехословацкая делегация ездит в отличных «татрах» — машинах, несколько странных, каких-то рыбьих форм, но сильных, выносливых, с мотором, размещенным позади, отчего шум совершенно не слышен. Квадратный Дрда садится на переднее место, высокий Нечас усаживается с нами. Кстати, в нашей делегации его прозвали Старушка, потому что, как-то кокетничая с нашими девчатами-переводчицами, этот цветущий мужчина хотел сказать им: «Ну что вы, я уже старик»,— а получилось: «я есть старушка». С тех пор это прозвище к нему так и прилипло. Машины легко срываются с места и, набрав ход, начинают распутывать улицы Нюрнберга, ловко лавируя меж руин. Вот они вырвались из зоны развалин и, оставив город позади, выходят на великолепный рейхсавтобан, по которому когда-то автомобили двигались шестью потоками.

Отличное это шоссе уже очистилось от снега и было пустынно, как театральный зал ночью. Лишь изредка увидишь на обочине подводу на толстых, надутых воздухом, шинах, влекомую массивной долгогривой лошадью, или обгонишь велосипедиста, старательно крутящего педали. Местность кажется вымершей, но поля, уже освободившиеся из-под снега, отлично обработаны, и ранние здешние жаворонки звенят над ними. Февраль тут похож на наш апрель. Снежок лежит лишь по лощинкам. Земля, напоенная влагой, терпко пахнет весной и лишь на ночь покрывается слоем ледка. И хотя до того, как рас-

кроются почки, еще далеко, деревья днем кажутся подернутыми лиловой прозрачной дымкой.

Проезжаем несколько придорожных трактиров. Собственно, выпить кружечку пива было бы сейчас ради воскресного дня неплохо. Но Нечас, посмеиваясь, многозначительно мотает головой:

— Минуточку терпения.

И вот вдали показывается трактир, возле которого, как лошади у коновязи, тесно толпятся машины: американские, английские, французские и наши. Ну да, и наши, с флажками Трибунала на радиаторах. Что такое? Почему такой большой съезд? Нечас на минутку останавливает машину перед большим, от руки написанным плакатом, установленным возле дороги: на плакате — рука, указывающая на трактир, и ниже надпись:

Здесь никогда не останавливались ни Фридрих Великий, ни Бисмарк, ни Рузвельт, ни Черчилль, ни Сталин,
но
здесь всегда хорошее пиво и много веселых людей. Зайдите и убедитесь!

Как видно, в желающих убедиться недостатка нет. Поскольку головная машина тоже остановилась, нам и сам бог велел. Пиво оказывается очень посредственным, жиденьким, как и везде здесь, но оно точно бы освещено остроумием необычного приглашения, и к стойке трудно протиснуться. Пьем, закусываем захваченными в дорогу сандвичами и движемся дальше. Здесь Германия целехонька, почти не поврежденная, чистая, аккуратная, и трудно даже заметить приметы недавно отгремевшей страшной войны.

Красавец Мюнхен со своими вековыми парками, прудами, широченными улицами тоже был не раз накрыт авиацией союзников, но пострадал куда меньше, чем Нюрнберг. Он напоминает старого благородного мужчину не первой молодости, с седыми висками. Только, как разорванное кружево, висит разбомбленный мост, да коегде руины, окруженные аккуратными заборами.

Мы быстро минуем Мюнхен и берем курс на Дахау. Тут и там живописные деревни. Островерхие постройки с черепичными шапками и белыми стенами, перечеркнутыми бревенчатыми прожилками. Большие фольварки, помещичьи дома, прячущиеся в старинных парках. Но вот указатель «На Дахау». Около указателя сложенный

из мешков четырехугольный дзот с амбразурами на все четыре стороны. В амбразурах темнеют пулеметные стволы. Проволочные заграждения из спирали Бруно. Нитка полевого телефона бежит по зеленеющим полям. Ага, недавний побег эсэсовцев научил-таки кое-чему. Короткий разговор с часовым контрольного поста: да, из штаба дивизии звонили: пожалуйте ваши документы. На чехах форма западного образца, по их документам лишь небрежно скользят глазом. Наша непривычная советская форма вызывает настороженность и любопытство. Из дзота появляется лейтенант. Похоже, что его только что разбудили. Еще раз проверяет документы, звонит кому-то по телефону, потом подходит к генеральному юристу и берет под козырек: «Можете следовать».

С железных ворот лагеря еще не снята выведенная из кованого железа надпись: «Каждому свое». Говорят, это остроумие самого фюрера. Снова повторяется еще более длительная процедура проверки документов. Нам приказывают оставить машины и следовать пешком. Но уже за воротами мы видим высокого, толстенного подполковника, с трудом втиснувшего себя в щеголеватую форму караульного образца. Да, да, он, конечно, был предупрежден о столь знатном посетителе, как Генеральный прокурор, и просит извинения за то, что сам не встретил нас у ворот. Дела, дела, столько дел! Легко ли быть комендантом такого огромного лагеря!

Подполковник ведет нас в дом коменданта, в бывший кабинет своего нацистского предшественника — большую комнату, обставленную громоздкой мебелью. Внешне здесь, видимо, ничего не изменилось. Только вместо портрета Гитлера портрет Трумэна, а в углу, на специальной подставке, вместо нацистского знамени звездно-полосатый флаг. Знакомый вопрос:

— Чай? Кофе? Виски? Вермут?

Сидим, потягиваем кто что. В лагере сейчас преимущественно эсэсовцы. Сколько? К сожалению, комендант не может сообщить точной цифры. Много. По нормам лагеря. Питание хорошее, согласно Женевской конвенции — солдатский рацион. Администрация заботится о времяпрепровождении заключенных. По субботам и воскресеньям концерты, три раза в неделю кино. На рождество приезжали даже из Мюнхена артисты. Можете спросить любого лагерника, ручаюсь — он скажет, что доволен... Эсэсовцы? Ну что ж, они ведь тоже были солдатами. Аме-

рика — демократическая, гуманная страна, она заботится обо всех военнопленных.

У нас, уже вдоволь наслушавшихся о зверствах эсэсовцев, от подобной заботливости, как говорится, волосы встают дыбом. Даже высокий чехословацкий гость, славящийся своим хладнокровием, от слов коменданта начинает нервничать. Он резко отодвигает бокал с виски и встает.

— Может быть, вы будете так любезны показать нам лагерь?

— Вас, конечно, интересует пятый блок?.. Сейчас он всех интересует, но, увы, его нет. Немцы взорвали его, когда гусеницы наших танков загрохотали по дорогам Баварии.

Комендант показывает нам основательно подорванное бетонное здание, от которого остались только груды кирпича и прутья изувеченной железной арматуры. Лагерь же целехонек. Чистота, порядок. Только состав изменился: вместо живых скелетов в полосатых куртках и штанах, каких мы видели в Освенциме, здоровенные, откормленные, ражие молодцы в привычной черной форме. Разве только знаков отличия и различия нет, да и щегольские сапоги несколько поизносились.

— Тебе не кажется, что они их для чего-то берегут? — спрашивает меня Жуков, по обыкновению делая на ходу какие-то зарисовки.— Ведь это подумать — такая «забота о людях»!

— Черт их знает, этих американцев. Войну-то они только из окон своих машин и видели. Откуда у них взяться настоящему гневу?— задумчиво произносит Долгополов.

При приближении нашей группы эсэсовцы, находящиеся поблизости, вытягиваются, что называется, едят глазами начальство, и подполковник отвечает им, небрежно бросая руку к пилотке.

— Дом отдыха имени Трумэна,— невесело острит Ян Дрда. Он жил в оккупированной Праге, видел эти черные мундиры в действии, и ему, как и нам, сейчас не по себе.

Блок № 5 администрация лагеря успела взорвать, а вот, так сказать, цех смерти взорвать не успели или забыли. Здесь все осталось как было. Комната для отрубания голов, которое применялось к немецким антифашистам. Чистая, светлая, облицованная кафелем комната с

гладкими, покатыми полами, наклонные желоба для стока крови, шланги со сверкающими наконечниками, чтобы смывать эту кровь в желоб. Другая комната, где вешали. Эта побольше. Под потолком изогнутый рельс. На нем на колесиках блоки с петлями. Несколько блоков. Темный пюпитр для представителя прокуратуры, следившего за повешением. В углу кафедра для священника. Рационализация производства, своего рода конвейер. Вешали. Констатировали смерть. Прямо в петле катили по рельсу в другую комнату, а тем временем выползал другой блок, с другой петлей... И, наконец, третья комната, уже не столь технически оборудованная,— помещение для расстрелов. Оно напоминает приемную врача. Всяческие приборы для измерения силы, кубатуры легких, объема грудной клетки. И роста. Да, и роста. Человек вставал на площадку этого прибора, прижатого к стене, приникал головой к измерительной линейке и в это мгновение через отверстие в стойке получал пулю в затылок. Противоположная стена за занавесочкой была выложена толстой резиной, чтобы пуля, пробив голову, не давала рикошетов.

Цехи смерти. Конвейер смерти. Все продумано до последней гайки. Но все это уже устарело. Что значит это хозяйство по сравнению с освенцимскими «газовнями», где за пятнадцать минут уничтожалось разом до тысячи человек!

Наконец, так сказать, «на закуску», комендант демонстрирует нам некое нацистское чудо. Подросток, угловатый, нескладный подросток. Белокурый, голубоглазый, с бледным лицом, не лишенным привлекательности, — оказывается, сын бывшего нацистского коменданта лагеря по имени Макс. Папаша воспитывал и закалял его в чисто нацистском духе. В день рождения вместо именинного пирога с соответствующим возрасту количеством свечей ему позволяли расстреливать соответствующее количество пленных — двенадцать, тринадцать. Четырнадцать расстрелять не удалось. Это чудо природы держат в заключении в особой комнате. Судя по его виду, хорошо питают. И не знают, что с ним делать. Суду не подлежит — несовершеннолетний. Не организовывать же из-за него одного лагерь для малолетних нацистских преступников! Но и отпустить нельзя. О его именинных развлечениях знают слишком многие.

Молчаливые, подавленные всем виденным, возвраща-

емся в Нюрнберг. Даже Ян Дрда, шутник и любитель анекдотов, всю дорогу по пути в Дахау напевавший озорные чешские и словацкие песни, смолк и притих. Трактир со своим остроумным плакатом сияет огнями. Машин возле него еще больше. Но мы минуем его, даже не сбавляя скорость. Не до того.

Вернувшись в наш «халдейник», узнаю хорошую новость. Главный корреспондент ТАСС Беспалов улетел в Москву. В «халдейнике» освободилась крошечная комнатушка под лестницей, и ребята решили отдать ее мне. Жизненное пространство у меня теперь, как у Германа Геринга, плюс окошко, выходящее во двор, и минус санитарные удобства. У окна крошечный столик. Стула нет, и Курт привозит его из своего дома, взамен того, что развалился под тяжестью моего предшественника. По моей просьбе Курт притащил еще старый будильник с никелированной шапочкой. Тикает он так, что слышно, вероятно, и в коридоре, а в назначенный час издает такую пронзительную трель, что я, очевидно, буду вскакивать, будто в меня ввинчивают штопор.

Встаю я сейчас по-крестьянски, затемно, в шесть часов, и все пытаюсь на свежую голову наладить свои литературные дела. Но пока безуспешно. Правда, корреспонденции посылаю исправно. Довольно аккуратно веду, неведомо для кого и для чего, этот дневник. Но вот безногий летчик мне все еще не дается. Написал когда-то на листе заглавие — «Повесть о настоящем человеке». Отличную бумагу в Трибунале стащил, на такой только шедевры писать, но так и лежит эта бумага на столике рядом с горластым будильником. Иной раз ночью проснешься — вот он в темноте, этот летчик: скуластый, черноволосый, с фанатическими карими глазами, каким я видел его под Орлом. Даже голос его слышу: хрипловатый, глубокий, усталый. А сяду за стол, возьму карандаш — все исчезло. Не дается мне этот летчик, хотя Курт, с которым мы, кажется, подружились, своей военной выправкой и изуродованным лицом постоянно напоминает мне о моем долге перед этим необыкновенным парнем.

Рассказал о своей задумке пока только двум людям — Николаю Жукову и Михаилу Аверкиевичу Харламову, приехавшему недавно сюда из Москвы. Оба слушали недоверчиво: мол, могло ли такое быть? Но все же тему одобрили.

— Только сложно. Об этом надо хорошо написать

или не писать вовсе, — задумчиво сказал Харламов. — Такой материал не часто вашему брату литератору в руки дается.

А Николай Жуков со свойственной ему доброжелательной экспансивностью вскричал:

— Пиши! Ей-богу, пиши! Буду иллюстрировать.

Он сам так загорелся этой темой, что по утрам вместо «здравствуй» спрашивал: «Ну как, пишешь о летчике? Нет? Эх, ты, тоже мне, наобещал сорок бочек арестантов».

ПРАВДА, ТОЛЬКО ПРАВДА, НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ

Перед Трибуналом уже прошла длинная вереница свидетелей, граждан разных государств, людей разных профессий, разного интеллектуального уровня. Из их показаний, часто простых, бесхитростных, лицо нацизма вырисовывается даже выпуклее и ярче, чем из страшных документов, которые продолжают ложиться на стол судей.

Летопись процесса была бы неполной, если в ней не представить и свидетелей. Расскажу хотя бы о некоторых из тех, кого вызвало советское обвинение и записи о которых сохранились в моих блокнотах.

Вот по ходатайству советского прокурора лорд Лоренс вызывает на трибуну русского крестьянина из деревни Кузнецово Порховского района Псковской области. С медленной, я бы сказал, величественной неторопливостью проходит свидетель через зал, поднимается на свидетельскую трибуну. Настает тишина. Суд уже много слышал о том, как хладнокровно немецкая армия разрушала Варшаву, Новгород, Псков, сотни городов, тысячи селений, превращая порою в «мертвые зоны» целые районы. Все это уже есть в протоколе суда.

Но вот Яков Григорьев из деревни Кузнецово начинает свое неторопливое повествование. Он рассказывает, как 28 октября 1943 года пьяные жандармы ворвались в его деревню, находившуюся уже в глубоком тылу немецких войск. О том, как загорелась деревня, подожженная с четырех концов, как люди кричали, молили о пощаде. Их сгоняли к дому колхозного правления, загоняли туда, а потом, подперев двери кольями, подожгли. Суд уже знает и о французах, сожженных в церкви города Орадур, и о деревне Лидице, начисто стертой с земли Че-

хии. Но бесхитростный рассказ Якова Григорьева выжимает слезы даже из глаз судей.

Не торопясь, Григорьев повествует о том, как палачи в военных мундирах выловили в домах и расстреляли у сенного сарая девятнадцать жителей.

— Я сам и два моих сына стояли там у стенки. Одного — старшего — убили первым залпом. Второй, мальчишечка, упал с простреленной ногой. Мне пуля попала вот сюда.— Он показывает на плечо.— Я тоже упал, а на меня еще другие. Кучей мертвяки лежали. Я очнулся под ними. Ночью метель завязалась, я тела раздвинул, выбрался, взял сынишечку, и пошли мы в поле. Ну потом, конечно, след-то на снегу они заметили и пошли за нами. Даже собак будто бы по следу пускали. Только мы уж до леса добрели, а в своем лесу я что дома, черта с два кто меня там отыщет,— заключил он, косясь на скамью подсудимых.

Доктор Джон Джильберт — американский врач-психиатр, который по заданию американского обвинения систематически следит за психическим состоянием подсудимых, пользуется правом входить к ним в камеры и беседовать с ними,— говорят, рассказывал, как Кейтель и Йодль, участвовавшие в разработке планов нападения на различные страны, в том числе и на Советский Союз, спокойно обрекавшие на смерть миллионы, в день выступления свидетеля Григорьева были как-то особенно смущены и подавлены.

На свидетельской трибуне Евгений Ковельш— украинец, военный врач, человек богатырского сложения. Он совсем молод, а посмотришь попристальней в его глаза — старик. Он побывал в фашистском плену, пережил такие муки, что, по его словам, ему теперь стоит жить только для того, чтобы рассказывать о преступлениях нацизма.

На суде этот молодой человек с глазами старика, мудрыми и грустными, привел неопровержимые доказательства того, как расчетливо и продуманно производилось массовое уничтожение военнопленных с целью избавить оккупантов от потенциальных противников. Ведь только «мертвый русский безопасен для нашей армии»,— возглашал нацист-штубовой в том лагере, где сидел Ковельш.

А вот Абрам Суцкевер — житель Вильнюса, поэт. У него испитое лицо великомученика со старой русской

иконы, непрерывно передергивающееся. Недавно в Париже у него вышла книга «Виленское гетто». Сейчас она переводится на русский и на английский языки. Об ужасах этой фабрики смерти он и рассказывает суду. Голос поэта дрожит, временами он срывается на нервный крик, его шатает, и он хватается за трибуну.

Он не называет цифр. Он говорит о судьбе своей собственной семьи. О жене, на глазах которой был убит ее ребенок. О том, как впоследствии на его глазах застрелили жену. Мостовые гетто порой были красны от крови расстрелянных. Она стекала с тротуаров в желоба, в сточные канавы. Люди служили гестаповцам мишенью для тренировки в стрельбе. Живые мишени: беги, спасайся, а потом «бах». Заключенных заставляли вылизывать грязь с солдатских сапог, есть свой кал. В созерцании этого палачи-садисты находили особое наслаждение.

Польская писательница Северина Шмаглевская около двух лет провела в одном из самых страшных лагерей — Биркенау, филиале Освенцима. Я помню лагерь, о котором она рассказывала. Я был там в день освобождения этого района и напечатал в «Правде» корреспонденцию под заглавием «Дымы Биркенау». Это была не менее страшная фабрика смерти, чем сам Освенцим. Польская писательница была права, заявив суду, что именно там нацизм пошел на одну из самых изощренных своих подлостей. Людей уничтожали там не десятками, не сотнями — целыми эшелонами. Для этого на большом пустыре была построена ложная узловая станция. С зданием вокзала, с сетью путей, с расписаниями поездов, будто бы отходившихся отсюда на Берлин, на Вену, Прагу, Мюнхен, Будапешт, Милан. На самом деле рельсы вели в никуда. Они обрывались сразу же за пределами видимости. Это был железнодорожный тупик. Биркенау представлял собою огромный лагерь с сотнями бараков. Но он находился в стороне от станции и как бы не имел к ней отношения.

Подходили эшелоны из Венгрии, Румынии, Польши, битком набитые людьми, заполнявшими товарные вагоны с закрытыми наглухо дверями. Люди задыхались. Спали вповалку на полу и на двойных нарах. В три этажа, сплошняком. Воздух был много раз пропущен через легкие, отравлен запахом нечистот. И вот наконец станция Биркенау, судя по всему, большой железнодорожный узел. Эшелон встречают расторопные приветливые

военные. Играет оркестр, людям говорят, что путевые испытания окончены. Сейчас их ждет баня. Дезинфекция одежды. Отсюда их развезут уже в пассажирских вагонах к месту работы. Как трава к солнцу, человек, несмотря ни на что, тянется к лучшему, жаждет верить в это лучшее. И люди верили, хотели верить в то, что им говорили и что казалось им избавлением.

Их вели с вокзала в большие продолговатые здания. «Баня для мужчин», «Баня для женщин и детей»,— гласили белые эмалированные таблички на дверях.

Люди входили в просторный зал — «камера хранения». Тут принимали чемоданы, узлы, рюкзаки, взамен выдавали аккуратные стальные номерки. Дальше была «раздевалка», и снова вручался такой же аккуратный номерок. После этого прибывшие попадали в облицованный кафелем зал — просторное помещение без окон, хорошо освещенное. Ряды душей — холодная и горячая вода. Истосковавшиеся по чистоте люди начинали мыться, но замечая, что двери за ними не только закрыты, но и герметически задраены. Потом в люк сверху сыпался какой-то зеленоватого цвета порошок, и по помещению быстро распространялся ядовитый запах. Сначала першило в горле, потом мучительная боль, будто разрывало легкие. Жертвы уже все понимают, бросаются к запертым дверям, умоляют, кричат, стучат кулаками в глухой бетон. Бесполезно. Через пятнадцать минут все умирают в конвульсиях и корчах, не зная о том, что за их мучениями наблюдают в специальные глазки. Тогда мощные вентиляторы выдувают газ. Приходят заключенные с крюками, выволакивают трупы, шлангами смывают пол. Специальные люди собирают стальные номерки, куски мыла. Их сдают обратно для следующей партии. Другая специальная команда снимает с жертв кольца, серьги, вырывает изо ртов коронки и протезы из драгоценного металла. Только после самого строгого осмотра, устанавливающего, что на трупах ничего больше нет, тела везут в крематорий. Производительность этого страшного комбината — тысяча, а иногда и полторы тысячи трупов в день. Когда крематории, печи которых дымили круглые сутки, не справлялись с переработкой такого огромного количества «сырья», трупы сваливали в огромные бетонированные ямы, укладывали штабелями, обливали из шлангов нефтью и сжигали, так сказать, открытым способом. Для

ускорения этого процесса вдоль ям ходили люди с длинными черпаками на металлических палках. Они собирали вытекающий из горящих тел жир и поливали им костер. Так сгорание шло быстрее и полнее...

Когда мы с Сергеем Крушинским добрались до Биркенау, все постройки этой имитированной узловой станции и газовые залы были взорваны. Сохранилась только путаница рельсовых путей. Да еще торчало из груд искореженного бетона обычное, такое мирное расписание: «Отправление поездов на Вену... на Белград... на Париж... на Милан...» Польский партизан в железнодорожной форме, с четырехугольной фуражкой на голове говорил по-русски. Он-то и рассказывал нам обо всем, что происходило здесь. Показал корпуса взорванной «бани». Показал серые холмы чего-то, похожего на каменноугольную золу, в которой белели какие-то каменистые осколочки. Это был пепел из каминов [1], человеческий пепел. Он как-то странно хрустел, будто стонал под ногами. Точно «пепел Клааса», пепел Биркенау стучал в наши души, взывая к мести...

Северина Шмаглевская жила в этом лагере два года с лишком, дышала воздухом печей Биркенау, ходила по снегу, густо припорошенному черной жирной копотью. Она с ужасом вспоминала на суде детали, о которых прошлой весной не успел или не смог рассказать поляк-железнодорожник. Она видела, как в «газовню» толпами водили детей.

— Умерщвление детей для эсэсовцев было чем-то вроде спорта, острого развлечения, и был среди них человек по имени Адольф, который любил расстреливать детей в присутствии родителей... Когда «газовни» не успевали справляться со своей работой, детей подводили прямо к каминам и тут же пристреливали, — изверги, настоящие изверги!

Свидетельница почти кричит. Глаза у нее горят, будто прямо тут, в солидной тишине зала, перед ней обреченные малыши, в которых стреляют эсэсовцы. И, повернувшись в сторону подсудимых, она обессиленным шепотом задает им вопрос, который, однако, очень четко слышен в наушниках:

— От имени всех женщин, побывавших в лагерях, спрашиваю вас: где наши дети?

---

[1] Так назывались здесь печи, в которых сжигали трупы.

И в эту минуту все видят, как нацистские изверги, уже привыкшие к плавному, довольно спокойному течению процесса, сидят окаменев, опустив глаза, вобрав головы в плечи.

Весь зал притих, когда на свидетельскую трибуну поднялся старик с красивой головой библейского пророка и с седой курчавой бородой — академик Иосиф Абгарович Орбели. Он не без гордости заявил, что все годы ленинградской блокады провел в осажденном городе. Он выступил и как свидетель и как прокурор. Он обвинял от имени науки и от имени культуры. Ведь он собственными глазами видел, как немецкие войска, выполняя приказ Гитлера, переданный в армии через Кейтеля: «уничтожить Петербург как город», с тем, чтобы «лишь в таком виде мы смогли передать его финнам»,— методично обстреливали Ленинград из тяжелых орудий и бомбили с воздуха. Орбели видел, как неприятель старался уничтожить город квартал за кварталом, причем памятники искусства и архитектуры брались на особый прицел.

Директор Эрмитажа, Орбели жил там. И в это всемирно известное хранилище художественных сокровищ немецкая тяжелая артиллерия слала снаряд за снарядом. Чтобы рассеять впечатление, произведенное выступлением Орбели, защита сейчас же бросается в контратаку:

— Господин академик, разве вы артиллерист? Как вы можете, не являясь профессиональным артиллеристом, утверждать, что германская армия посылала свои снаряды и бомбы именно на ваш Эрмитаж, а не била по находящимся рядом с ним мостам, являющимся, как известно, стратегической мишенью?

— Я не имею специального артиллерийского образования,— спокойно отвечает Орбели,— но я собственными глазами видел, что в Эрмитаж и Зимний дворец попало тридцать три снаряда, и только героизм гражданской обороны спас эти исторические здания от всеуничтожающего пожара. Повторяю, ваша честь,— обратился он к судье,— в Эрмитаж попало тридцать три снаряда, а в находящийся рядом с ним большой мост — всего один. Я могу уверенно говорить о том, куда целили нацисты. В этих пределах я, безусловно, артиллерист.

Если бы в суде можно было аплодировать, зал, безусловно, устроил бы Иосифу Абгаровичу бурную овацию. Даже лорд Лоренс на этот раз слегка изменил свою

обычную формулу и вместо слов «не кажется ли вам, господа, что настало время объявить перерыв?» произнес:

— Не кажется ли вам, господа, что после такого блестящего выступления свидетеля настало время объявить перерыв?

После выступления Орбели Вишневский, Федин, Саянов — все ленинградцы и яростные патриоты своего города,— отбив ученого у атаковывавших его корреспондентов и собирателей автографов, притащили его к нам.

— Иосиф Абгарович, вы выступали, как бог,— шумел Саянов, тиская руку ученого.

— Как бог — это плохо. Ведь бог на этом процессе мог выступить лишь как попуститель и соучастник. Есть, кажется, такая статья — попустительство преступлению, — отшучивался Орбели, сам взволнованный своим успехом.

— Вы их пригвоздили... Разгромили... Растоптали эту падаль...— рубил в обычной своей манере Вишневский.— Как ленинградец, как блокадник, как морской офицер, как советский гражданин, жму вашу руку. Сильно... Здорово... Успех!

Тихий и вежливый Юрий Яновский стоял в стороне. Он вообще малоразговорчив и даже, кажется, застенчив. Только когда страсти вокруг ученого отшумели, он подошел к нему и молча пожал руку.

Перед тем как подняться на трибуну, свидетели, по установленному порядку, кладут руку на Библию и, подняв два пальца, произносят сакраментальную формулу:

— Клянусь говорить правду. Только правду. Ничего, кроме правды.

Советские свидетели избавлены от присяги на Библии, но правда их обвинений обрушивается на подсудимых, как адский пламень, жжет их окаменевшие в преступлениях сердца, и наши товарищи узнали от доктора Джильберта, что даже Геринг — любитель поесть и поспать — лишился сейчас аппетита.

ПОСЛЫ ШЕСТОЙ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

Сегодня, в субботу, мы с Крушинским, возвращаясь из суда, попали в довольно глупое положение. Девушки-машинистки договорились накануне воскресенья совершить экскурсию по Нюрнбергу, которого они, как оказа-

лось, до сих пор толком и не видели. Для этого справедливого дела были мобилизованы все корреспондентские машины и, естественно, моя тоже, ибо Курт неплохой знаток своего родного города.

Таким образом, сами мы сегодня спешились и вместе с Крушинским топтались на остановке фургона, который должен был отвезти нас в пресс-кэмп. Стоим и видим, как сумасшедшим аллюром несется по улице «джип». За рулем Пегги — корреспондентка каких-то нью-йоркских женских журналов, знаменитая в корреспондентском корпусе своей яркой красотой, экстравагантностью и страстью к самым невероятным пари. «Джип» ее, проскрежетав тормозами и пройдя юзом метра три, остановился возле нас.

— Пресс-кэмп?

— Иез, пресс-кэмп.

— Плиз... Садитесь... Карашо? Так?

Мы забрались на заднюю скамеечку, конечно же, не предполагая, чем может обернуться такое мирное ежедневное путешествие. Пегги на этот раз была в форме солдата американской армии. Куртка, перепоясанная широким ремнем, шаровары, заправленные в белые гетры, башмаки на толстой подошве, вероятно, специально сшитые по ее маленькой ноге. Из-под пилотки волной выплескиваются пышные, медного цвета волосы. Любимое ее занятие — менять костюмы, и в любом из них она ухитряется выглядеть настоящей манекенщицей, будто только что соскочившей со страницы мод одного из журналов, которые она представляет. У всех судейских, даже, кажется, и у наших, она пользуется неизменным успехом. Благодаря им она свободно проникает туда, куда нашего брата корреспондента обычно не пускают. Но монополии из этих своих преимуществ Пегги не делает и, как может, помогает журналистам всех наций. В частности, меня она свела с самим доктором Джильбертом — психиатром для подсудимых, до тех пор совершенно недоступным для прессы человеком.

Итак, простодушно разместившись в «джипе», мы и предполагать не могли, что учинит эта озорница. А она прямо с места взяла скорость миль семьдесят и понесла нас по узким улицам Нюрнберга, едва намеченным между развалинами.

Мы знали, что в последнее время в городе участились автомобильные аварии. Их стало так много, что военная

администрация установила на одной из площадей своеобразное предостережение шоферам-ухарям. На коричневом пьедестале посреди площади возвышался «джип», побывавший в какой-то особенно лихой аварии и походивший на раздавленную консервную банку. Многозначительная надпись на четырех языках: «Я обгонял» — огибала этот необычный памятник. Ну, а Эм-Пи[1] получила приказ вылавливать и строго наказывать всех превышающих в черте города скорость в 50 миль. Ясно, что к нам сейчас же прицепился, отчаянно сигналя, «джип» Эм-Пи. Пегги делает самые невероятные повороты, волосы ее развеваются, хлещут по плечам, на лице румянец, глаза горят. Гангстерский фильм, да и только.

— Пегги, вы с ума спятили? Что вы делаете?

— Мой не понимайт.

— Сбавьте скорость, сейчас же! Эм-Пи!

— Мой — тьфу.— И она лихо, по-мальчишески плюет в сторону.

На какое-то мгновение ей удается уйти от погони, забравшейся, вероятно, в тупик в путанице развалин. Но ведь у них полицейские машины радиофицированы. Несемся дальше. Кратчайшим путем сворачиваем на другую дорогу, ведущую на Штайн. Атмосфера плохого гангстерского фильма сгущается. Ничего себе положение: два советских офицера в форме мотаются на заднем сиденье американской машины по воле этой взбалмошной девчонки.

— Стойте! — И показываю ей кулак.

Хохочет, сверкая белыми зубами, а где-то позади снова слышатся прерывистые сигналы машины Эм-Пи. Наверняка та первая машина, от которой мы удрали, дала извещение по радио. За нами гонится теперь другой патруль.

— Стойте! — Но Пегги только отрицательно мотает головой, волосы развеваются, как флаг. Внезапно она делает крутой поворот, пятит машину задом, заползает за какую-то развалину. Мимо нас проносятся преследователи, а Пегги снова, изменив направление, ведет машину на Штайн. К пресс-кэмпу мы подъезжаем вполне чинно. Пегги высаживает нас у главного подъезда и, не дождавшись традиционного «сенкью», снова срывается с места

[1] Милитер-полис — военная полиция.

и уносится дальше. Уже входя в двери, мы видим, как мимо ворот замка мелькает машина Эм-Пи.

Словом, хорошенько прокатившись перед обедом, входим в обеденный зал, не испытывая никакого аппетита...

Я пишу об этом смешном случае, потому что давно уже собираюсь потолковать о наших коллегах — иностранных журналистах, которых я лично, да и большинство из нас, в сущности, до сих пор мало знали, в особенности корреспондентов западных стран, и подходили к ним, что там греха таить, вначале процесса довольно предвзято. Мы держались этакой сплоченной стайкой, вместе располагались на корреспондентских скамьях, той же стайкой ходили в бар и вместе покидали его, как-то инстинктивно отгораживаясь от иностранцев. Есть даже среди нас один чубук, который, знакомясь с иностранцами, всякий раз называет новую вымышленную фамилию, по наивности считая свою собственную, к слову сказать, мало кому известную, государственной тайной. Ох, как это мешало нам и в каком выгодном во всех отношениях положении сразу оказался Даниил Краминов, проведший войну в качестве советского журналиста в армиях второго фронта, умный человек, отлично знающий английский язык!

В Нюрнберге мы, советские журналисты, в особенности те из нас, кто не снял военную форму и как бы носит на себе отблески военной славы Красной Армии, находимся даже в преимущественном положении. В зале заседаний в амфитеатре корреспондентских кресел нам отведены хорошие места. Иностранцы, даже англичане, тоже всегда держащиеся своим особым кружком и как-то, похоже даже инстинктивно, стремящиеся не сливаться с общей массой, охотно с нами знакомятся и никогда не отказываются, когда на журналистских вечеринках, периодически устраиваемых в пресс-кэмпе по субботам, им предлагают присесть в «русском углу» или за «русским столом».

Может быть, западными коллегами движет не только вежливость, но и чисто профессиональный интерес ко всему русскому, который проявляет западноевропейское общество после войны. Одна из парижских журналисток, Мадлен, неугомонная, неистовая в поисках интересных материалов, фотографии которой в американском, очень привилегированном «Лайфе» недавно заняли целый разворот, по вечерам, раздобыв кого-нибудь из своих сооте-

чественников, говорящих по-русски, с помощью его узнает от нашей компании разные интересные для нее сведения о русской жизни, заставляет вспоминать о выдающихся сражениях Красной Армии, о партизанских делах и особенно о советских женщинах. Спрашивает. Записывает. Бдительный товарищ, который столь старательно скрывает от иностранцев свою незвучную фамилию, просто изнывает от тоски: шпионка, наверняка шпионка. Он мне все уши на этот счет прожужжал, и отбиться от него помог только милейший Михаил Харламов, которому он докучал теми же сомнениями. Тот просто послал его ко всем чертям.

Корреспондент английского телеграфного агентства — веселый, энергичный голубоглазый мистер Эрик, успевающий иногда направить за день в свое агентство четыре-пять корреспонденций, находит сейчас время изучать русский язык. Смеется — без знания русского языка сейчас корреспондентской карьеры не сделаешь. Он дал себе обещание изучать в день по десять русских слов. И действительно, кое-что уж начал понимать. Встретившись, говорит раздельно: «Здравствуй-те», а прощаясь — «Свидания-до», непонятно почему разрывая слово. А американец, не буду уж называть его имени, почтенный человек с уникально сизым носом, свидетельствующим о его давней дружбе с шотландским виски, однажды порадовал нас блестящей, самостоятельно сконструированной фразой:

— Господа! Ай есть ваш старый добрый русский панибрат.

Есть тут один швейцарец — маленький белокурый, голубоглазый и очень подвижный. Он пишет отсюда, по его словам, сразу в двенадцать швейцарских столичных и провинциальных газет всех направлений, от самых правых до самых левых. Причем ухитряется подавать каждой из этих газет особенно любимое ею блюдо. У этого корреспондента два родных языка — французский от отца и немецкий от матери. Это недавно привело беднягу к неприятному инциденту. Он забыл у себя в комнате пропуск и попытался без оного вернуться в пресс-кэмп. Часовой его не пустил. Он попытался убеждать его по-французски. Тот этого языка не знал. Тогда он стал возмущаться на немецком, и это его погубило. Часовой принял его за немца, пытающегося «фуксом» проникнуть в святилище пресс-кэмпа, хотя там и висели надписи: «Немцам вход воспрещен».

— Ах ты, бош проклятый, еще хитришь! — зарычал солдат, схватил бедного швейцарца за шиворот, и тот пересчитал мраморные ступени роскошной парадной лестницы.

В читальном зале пресс-кэмпа на столах каждое утро появляются газеты многих стран мира. Самолеты регулярно доставляют сюда и наши «Правду», «Известия», «Труд». Интерес к русскому языку такой, что они утром же исчезают. Коллеги, изучающие русский язык, уносят их в свои комнаты. Американский начальник пресс-кэмпа майор Дин, с которым мы в наилучших отношениях, получил даже протест по этому поводу, и мы всерьез обсуждали с ним, как бороться с таким агрессивным отношением к советской печати — не приковывать же газету цепями.

С журналистами славянских стран — почти со всеми — мы друзья. Просто трогательно, с каким интересом относятся они ко всему, что происходит у нас в Союзе. Почти все они в разное время обращались к нам с просьбой помочь им попасть к нам хоть ненадолго.

Западные коллеги любят говорить о прессе: «Мы — шестая великая держава мира».

Шестая держава, как же разнообразны и разнокалиберны твои граждане здесь, в этой вавилонской башне, именуемой пресс-кэмпом! Недавно прилетал сюда из Англии журналист Ральф Паркер, с которым мы познакомились и подружились в разгар войны за Днепром, на 2-м Украинском фронте. Зная, что я в Нюрнберге, он захватил с собой две мои книжки, вышедшие в Лондоне в весьма фешенебельном издательстве «Хачинсон», и в память о былых встречах — литр водки и банку черной икры. Он наотрез отказался от предложения майора Дина устроить в честь него специальный прием в пресс-кэмпе. Он заявил, что хочет встретиться со своими русскими друзьями. Многие знали его по Москве, где Паркер пользуется доброй славой, и мы приняли его приглашение. Однако вечер, задуманный как русский, привлек общее внимание. Голубая гостиная наполнилась так, что не хватило кресел. Сидели на подоконниках, на полу. Литр водки был разлит в такое количество сосудов, что каждому досталось не больше наперстка, а икра распределилась такими порциями, что приходилось закусывать, так сказать, воздухом. Однако вечер удался, и в честь Советского Союза провозглашались тосты, завершавшиеся

возгласами «ура», «виват», «вив», «прозит», «наздар», «живио» и даже «гох».

В длинные вечера в гостиных пресс-кэмпа, в его читальнях, в баре между нами и зарубежными коллегами возникают беседы и споры, иногда острые, но чаще всего добродушные.

В этих спорах нашим боевым слоном неизменно служит Даниил Краминов, свободно говорящий по-английски, а главное, хорошо знающий зарубежных коллег и условия их работы.

— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора, конгрессмена, и мне ничего не будет,— напирает представитель херстовского агентства.— А вы можете?

— Можем. Ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг: самокритика нужна нам, как воздух, как вода.

— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышание: Трумэн — дурак. А вы?

— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать: «Трумэн — дурак»,— отвечает Семен Нариньяни.

— А можете вы сказать это о Сталине?

— Не можем. Это было бы клеветой. Он такого не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление.

После такой пикировки включается в разговор Даниил Краминов.

— А вот своего босса, сенатора или депутата, с которыми ваш босс дружит и на которых он ориентируется, сможете вы обругать? Ну? Вас напечатают? А если напечатают, что с вами потом произойдет? — с мягкой улыбкой спрашивает он.

Наступает пауза. Наши западные коллеги переглядываются. Здесь ценят острое слово и, что особенно приятно, умеют посмеяться и над собой. На вопрос Краминова предпочитают не отвечать. Этот постоянный спор о свободе печати и демократии обычно никогда не доводится до конца, ибо каждая сторона вкладывает в понятия «свобода», «демократия», «свобода печати» свой собственный смысл... Однако и здесь можно проявить уважение к чужому мнению, не играя в поддавки и не изменяя своим убеждениям.

Подружился я тут еще с одной любопытной американской четой. Он — Ральф Д., видный публицист, заведующий европейской редакцией одной из нью-йоркских

газет, пожилой, сутуловатый, бледный человек с усталыми глазами. Она — Таня Л., дочь русских еще дореволюционных эмигрантов, хорошенькая женщина, с премилым курносым личиком, с голубыми, широко распахнутыми, прямо-таки есенинскими, рязанскими глазами. Оба они ходят в американской офицерской форме. Жуют резинку. Таня лихо водит их дорогую машину, напевая негритянские песенки, отстукивает на плоской, как блин, машинке свои информации, а в минуты отдыха сидит в читальне с каким-нибудь детективным романом в руках, положив на спинку впереди стоящего кресла свои ножки в крохотных армейских бутсах. От матери Таня унаследовала имя, внешний облик, смутное знание русского языка и какое-то, скорее всего инстинктивное, тяготение к «стране своих отцов», которую она никогда не видела.

В спорах о свободе печати умный Ральф участия не принимает. Сидит, улыбается, думает о чем-то своем. На днях по газетам прошумела его статья, в которой он рассказывал, что под крылышком американской военной администрации в Баварии постепенно формируются объединения из изменников, бежавших из славянских стран в боязни ответа за совершенные во время оккупации преступления. Я знаю об этих формированиях от Ярослава Галана, который, прекрасно владея немецким языком и располагая обширными связями, пристально следит за этим процессом, понимая, что он может быть чреват весьма серьезными последствиями. Я переслал газету со статьей Ральфа в Москву. Статья была перепечатана в «Правде» и широко прошла по нашей прессе. Желая сделать приятное Ральфу и Тане, я дал им номер «Правды» с этой статьей. Ральф только грустно улыбнулся и вздохнул.

Уже позднее Таня рассказала мне, что ее муж получил от главного босса хороший нагоняй. Пришла гневная телеграмма, сообщавшая, что в таких статьях редакция не нуждается и, если что-либо подобное повторится, она перестанет нуждаться в услугах самого Ральфа.

В этот вечер мы сидели в баре у Дэвида. Пили неразбавленное виски и молчали, ибо даже обаятельной Тане не удавалось расшевелить мужа. Уже трижды мигнуло электричество, что означало: пора, братцы, спать. Уже опустел бар, и, кроме нас, в нем остались лишь два норвежца, нагрузившихся настолько, что им трудно было отклеиться от своих стульев. Дэвид и помогавшие ему

девушки быстро мыли бокалы и рюмки. И вдруг Ральф заговорил:

— Мистер Бóрис, вот вы тут спорите о свободе печати, наши не обманывают вас, когда говорят, что могут обругать конгрессмена или сенатора. Это, в общем-то, правда. Но можно ли назвать это свободой? Вот меня занимает множество острых тем, как мне кажется, нужных и очень важных. Но они не нужны моей редакции, моему издателю. Писать о них бесполезно. Не напечатают или вернут с объяснением, что я сошел с ума, и со счетом за бесполезно потраченные телеграфные расходы. Понимаете? Писать я действительно волен, что хочу, а вот печататься... Вот так обстоят дела. Вы когда-нибудь наблюдали, как птица, залетевшая в комнату, бьется о стекло? Ей кажется, что ничто ее не держит. Небо, поле, лес — вот они, рядом. Она летит и падает, больно ударившись о что-то невидимое... Допьем виски, а? Ведь за него все равно заплачено.

— Не надо, милый.— Таня заботливо отвела его руку от бокала.

— Дорогая, сегодня мне это необходимо,— твердо сказал Ральф, поднимая бокал.— Свобода печати. Мы ею гордимся, и она действительно утверждена законом. Но сколько таких вот невидимых преград! — Он поднял худую руку с растопыренными пальцами.— Направление твоей газеты — раз.— Он загнул один палец.— Оно меняется, и иногда кардинально, в соответствии с политической погодой. И я, журналист, должен меняться в соответствии с ним. Иначе стану белой вороной и меня изгонят из стаи. Читатель — два.— Он загнул второй палец.— Ох, вы и не подозреваете, что такое наш читатель. У него политический горизонт десятилетнего мальчика, и он ничего не хочет знать за пределами своего крохотного мирка. Статью, в которой нет ни крупицы «сенсейшен», он читать не станет. Когда нацизм был сенсацией, он боялся его, интересовался им, а сейчас ему уже неважно, что в освенцимских печах сожгли два с половиной миллиона людей, таких же, как он сам. Освенцим — это прошлое, и теперь читателя интересуют не преступления нацизма, а результаты соревнований по регби между командами «Янки» и «Сенатор»... И каждый из нас должен умерять свой рост, укорачивать себя, подравниваться под уровень читателя. Иначе ты станешь скучен и сделаешься для него не нужен. В-третьих...— Он загнул третий

палец, но Таня легонько толкнула его ногой.— Да, дорогая, ты права, я слишком разболтался. Мы утомили нашего друга. Борис, еще виски?

Я отказался, мы поднялись и направились к выходу. Ральф был опять сосредоточен, взгляд его был обращен как бы внутрь. Таня крепко держала мужа под руку. На лестничной площадке он остановился.

— Птица, залетевшая в комнату, ударившись раз-другой о стекло, или разбивается, или начинает понимать, что ее отделяет от леса невидимая, но непреодолимая преграда, и оставляет наконец свои попытки покинуть тесный комнатный мир... Ну, бай-бай!

Он помахал мне рукой и стал спускаться по лестнице. Все это говорил не коммунист и даже не левый, а видный буржуазный корреспондент.

Разговор на ту же тему состоялся у меня и с уже упоминавшимся мной милым, веселым Эриком, никогда не теряющим хорошего настроения. Он прочел изданную во время войны в Англии и привезенную мне Паркером книжку моих военных дневников «От Белгорода до Карпат». Пришел ее вернуть. Я знал: Эрик — это боевой репортер. Провел войну в действующей армии, участвовал во вторжении. Мнение такого человека стоило уважать. Спросил его, не написал ли он сам что-либо подобное.

— Эге, приятель, чтобы писать такие вещи, мало быть корреспондентом-созерцателем, нужно участвовать в событиях, быть не только представителем своей газеты при штабе, а офицером армии. Все это может удивить, но после вторжения мне не удалось видеть ни одного боя... Нет, нет, мы не были слепыми и глухими и не могли пожаловаться на отсутствие хорошей информации. Образованные офицеры рассказывали нам о том, что произошло и происходит. Командующие редко отказывали нам в пресс-конференциях или даже индивидуальных интервью. Но вот участвовать в сражениях нам не приходилось, хотя поверьте, наши ребята не менее храбрые, чем у вас. Мы, так сказать, переваривали информацию, пропущенную через очень мелкое сито в штабе армии, или ловили во втором эшелоне участников событий и делали сообщения такого рода: «По словам авторитетного офицера» или «Как говорят в осведомленных кругах». Понимаете? Какие же тут, к черту, настоящие репортажи? Сборник казенной хроники. Записки тыловика.

То, что он говорил, было, очевидно, верно. Даниил

Краминов, проведший войну в войсках союзников, рассказывает примерно то же. И все-таки кое-чему нам стоит поучиться у наших западных коллег. И прежде всего профессионализму, постоянной заботе о том, чтобы факт был сообщен не сам по себе, а подан «в хорошей упаковке». Их сноровке, быстроте, стремлению обойти других и первыми прийти к финишу на газетной полосе. Возразят: их заставляет делать это конкуренция. Да. Борьба за место в жизни? Да. Ну, тогда пусть нас заставляет поступать так соревнование, социалистическое соревнование. Пусть это будет называться борьбой за честь и авторитет своего журналистского имени.

Ведь, по совести говоря, и здесь в Нюрнберге, куда собрались журналистские асы со всего мира, такой борьбы у нас еще мало. Мы больше заботимся о том, что написать, а не как и не когда. И рано или поздно всем нам, советским журналистам, придется учиться давать репортажи, как это умел делать Михаил Кольцов. Как это умеют делать в своей сфере Иван Рябов, Алексей Колосов, Борис Галин...

Кстати, по пути домой, на лестнице, мы встретили Пегги. В коротком, девчоночьем платьице со скромным бантом на шее, с гладко зачесанными волосами, она шла, окруженная стайкой военных. Сейчас она явно изображала пай-девочку. И, глядя на нее, даже представить было трудно, что именно эта Пегги заставила утром двух простодушных коллег пережить столько неприятных минут. Заметив нас, она мило улыбнулась. Скромно сказала:

— Гуд найт — добра ноч...

Сердиться на нее невозможно..

Когда я вернулся в «халдейник», из моей каморки под лестницей доносилось неторопливое постукивание пишущей машинки. Это, как обычно, работал Крушинский. А летчик, о котором я собираюсь писать, все еще упорно ускользает от меня, и все попытки начать книгу о нем пока так ни к чему и не привели. Не дается — и все тут. Мысли какие-то расплывчатые, аморфные. Может быть, за три года, прошедших с нашей с ним встречи, материал уже «перегорел». А Сергей Крушинский с великой организованностью и упорством пишет свой роман «Горный поток». Пишет страниц по пять, по семь в день и настучал уже немало. По вечерам я уступаю ему для этой благородной цели свою обитель.

ПЛАН «БАРБАРОССА»

На одной из стен судебного зала на фоне зеленого мрамора, опоясывающего порталы дверей, расположен бронзовый барельеф — Адам и Ева и рядом воины с ликторскими пучками, как бы охраняющие их от земных зол. Воины, бог с ними, плохо они выполнили свое назначение, но можно с уверенностью сказать, что никогда еще многочисленное потомство Адама и Евы, населяющее земной шар, не подвергалось такой смертельной опасности, как в это последнее десятилетие, когда владыка преисподней, принявший на этот раз облик не змия, а Гитлера, начал новую атаку на человечество.

Языки многих народов мира уже звучали с трибуны Международного Военного Трибунала. Говорили русские, американцы, англичане, французы, чехи, бельгийцы, испанцы, голландцы, норвежцы. И сами немцы поднимались как свидетели для того, чтобы неопровержимыми уликами разоблачить детали чудовищного заговора, который составила кучка извергов, вежливо именуемая на судебном языке главными военными преступниками.

Сегодня в зале снова зазвучал мощный голос советского народа. На трибуну обвинения вновь поднялся Главный советский Обвинитель Р. А. Руденко. Когда мы услышали в наушниках звуки родного языка, невольно подумалось, что на трибуне, вознесенной над скамьей подсудимых, находится сам могучий и великий народ, которому одному оказалось под силу в тягчайшем единоборстве сломить хребет нацистскому зверю.

Нацизм как бы лежал перед Трибуналом, поверженный, распластанный, и советский Обвинитель анатомировал это многоголовое чудовище, показывая не только его клыки и когти, но обнажая его самые сокровенные ядовитые железы, его чудовищный желудок, уже готовившийся переварить все неарийские народы, анатомировал тайные извилины его страшного мозга, в которых зрели все новые планы заговоров против человечества, демонстрируя глубоко скрытые нервы, приводившие в движение весь этот чудовищный организм.

И хотя суд располагал многочисленными документами, никогда еще, как мне кажется, картина нацизма не раскрывалась перед ним так полно, а мы, присутствующие на процессе, не постигали с такой глубиной смертельную опасность, от которой Красная Армия спасла

наш народ и все человечество, с какой постигли ее сегодня в зале суда во время речи советского Обвинителя.

Еще в начале своей карьеры, задолго до первых выстрелов второй мировой войны, мечтая о покорении Европы и всего мира, Гитлер в минуту откровенности говорил своему другу Раушнингу:

«Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я вам скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить. Это, грубо говоря, моя жизненная задача. Природа в своем отборе жестока. Поэтому и мы должны быть жестокими. Если я могу послать цвет германской нации в пекло войны без малейшего сожаления о пролитой ценной германской крови, то, конечно же, я имею право устранить миллионы из числа низших рас, которые размножаются, как черви».

Уничтожение миллионов людей. Уничтожение целых государств. «Обезлюживание» земного шара от искони населяющих его народов для немецкой «расы господ», низведение остатков уничтоженных наций до положения рабочего скота — вот что было официальной доктриной нацизма. И в немецких школах мальчиков учили песне:

Если весь мир будет лежать в развалинах,
К черту, нам на это наплевать,
Мы все равно будем маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
Завтра — весь мир.

С этой песней, в словах которой как бы отражена вся программа национал-социализма, по приказу Гитлера и горстки его подручных, сидящих сейчас на скамье подсудимых, нацистские орды и ринулись в атаку на государства Европы.

Это было хорошо подготовленное нашествие. В руках суда — подробный и точно разработанный план всех намечавшихся агрессий. Гитлер разделил его на семь стадий. Первые пять он отвел завоеванию европейских континентальных государств минус Советский Союз. Шестой стадией должно было стать осуществление так называемого плана «Барбаросса», что по разбойничьему нацистскому коду означало нападение на Советский Союз, а седьмой, завершающей первый этап завоеваний,— прыжок через Ла-Манш и вторжение на Британские острова.

Задолго до второй мировой войны Советское правительство не раз и с международных трибун и по дипломатическим каналам предупреждало западные правительства об этом заговоре Гитлера. Они не вняли голосу разума, и вот сегодня из речи советского Обвинителя мы узнали, как точно в сроки, намеченные гитлеровским планом, в отдельных случаях даже с опережением, нацистская армия осуществила первые пять стадий своих захватов; как неподготовленные, разобщенные, а иногда просто преданные своими малоумными и преступными правителями государства, даже те, что считались оплотом Западной Европы, падали под ноги фашизму без сколько-нибудь серьезного сопротивления. Делаясь все мощнее, быстро и неудержимо катилась вперед гитлеровская военная машина. Были моменты, когда даже весьма разумные и опытные политики Запада впадали в панику и начинали думать, что нет силы, которая могла бы удержать или остановить ее. Далеко за океаном, в Соединенных Штатах, с политических трибун стали раздаваться голоса: «Гитлер, по-видимому, непобедим. Не лучше ли, пока не поздно, по-хорошему договориться с ним, предоставив в его распоряжение Европу?»

Но когда, подмяв западноевропейские страны, захватив их природные ресурсы, овладев их промышленным потенциалом, усилив свои войска армиями и дивизиями своих союзников и сателлитов, Гитлер повернул на восток, на Советский Союз, и приступил к осуществлению плана «Барбаросса», его машина дала свой первый сбой. План «Барбаросса» во всех подробностях был разработан на тайных совещаниях у Гитлера, в которых участвовали подсудимые Кейтель, Йодль и генерал Варлимонт. Имя Барбароссы было дано этому плану не случайно. Фридрих Барбаросса— «рыжебородый» — так звался один из самых свирепых и кровавых немецких властителей далекого прошлого. Он жил здесь, в Нюрнберге, и в старом замке на скале и сейчас возвышаются построенные им бастионы. И пока разбойники в военных мундирах уточняли этот план, разбойник в мундире дипломатическом — Иоахим фон Риббентроп заключал с нашим правительством пакт о ненападении, стремясь замаскировать военные приготовления.

Текст плана «Барбаросса», этого документа, подлинником которого располагает Трибунал, неопровержимо доказывает не только запланированную заранее преднаме-

ренность нападения Германии на СССР, но и то, что для этого были сосредоточены и подтянуты к нашим границам **все** бронетанковые силы, **вся** боеспособная авиация, **все** моторизованные части. В Европе же и на остальных фронтах были оставлены лишь части прикрытия, укомплектованные преимущественно солдатами старших возрастов и вооруженные трофейным оружием.

В своей инструкции по выполнению плана «Барбаросса» Гитлер так и писал:

«Германские вооруженные силы должны быть готовы победить Советскую Россию в результате быстрой кампании, даже до окончания войны против Англии. Армия должна использовать для этой цели все находящиеся в ее распоряжении силы, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных территорий от неожиданностей... Эта война на Востоке должна быть лимитирована только необходимостью достаточной защиты территории для боевых операций и производства вооружений».

И дальше, развертывая план блицкрига, Гитлер приказывал:

«Масса русской армии, собранная в Западной России, должна быть уничтожена смелыми операциями: танковые клинья должны быть выброшены глубоко вперед. Отступление боеспособных войск на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено...» «...Конечной линией этих операций является создание защитительного барьера против Азиатской России по линии Волга — Архангельск».

Таковы были планы нацизма, полностью раскрывшиеся на суде и подтвержденные документально. Отсюда, где народы судят главных виновников этих замыслов, особенно виден и ощутим гигантский подвиг Красной Армии. Гитлеровский план блицкрига был сорван уже у границ, на первых метрах советской земли. Армии гитлеровского нашествия теряли силы, обескровливались, слабели в непрерывных боях. Огонь партизанской войны, разгоравшийся у них в тылу, на их коммуникациях, упорное сопротивление советских дивизий, оказывавшихся в окружении, но не сложивших оружия, обескровливали врага. Танковые клинья, по плану Гитлера «выбро-

шенные глубоко вперед», подрубались под основание и нередко оказывались без горючего и боеприпасов. И, встретив на главном направлении у Смоленска особенно упорное сопротивление, гитлеровская «непобедимая стальная армада» остановилась. Генштаб, по заданию Гитлера, судорожно принялся заменять план «Барбаросса» более скромной операцией «Тайфун», намечавшей уже более ограниченные задачи.

Сильно и веско звучит неторопливая речь Р. А. Руденко. Ведь он представитель народа, который был непримиримым врагом нацизма уже в дни, когда Гитлер еще и не раскрывал своих карт, народа, который вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с нацизмом и потерял двадцать миллионов своих сынов и дочерей, ломая хребет нацистскому зверю.

На примере Польши, Чехословакии и Югославии, на примерах оккупированных областей Советского Союза Р. А. Руденко показывает, как практически нацисты осуществляли свой сатанинский план «обезлюживания», грозивший всему миру. Массовые расстрелы мирных жителей... Газовые камеры... Газенвагены... Крематории с огромной производительностью... Погребальные ямы... Рвы смерти... Охота на людей с собаками... Отравление колодцев... Организация, да, именно, организация истребления людей с помощью голода и эпидемий... Уничтожение деревень и целых городов...

Суд, прокурор, защитники, гости с волнением слушали слова Главного советского Обвинителя, и даже корреспонденты, все видевшие, не привыкшие удивляться, сегодня тихо сидели на своих скамьях, старательно, как прилежные ученики, записывая текст речи. То тут, то там в ложе прессы взметывались руки. Вызывались курьеры для передачи срочных телеграмм. В перерыве бар пустовал, зато из пресс-рума слышался слитный и непрерывный треск пишущих машинок.

На скамье подсудимых речь Руденко тоже вызвала бурную реакцию. Розенберг, знающий русский язык, сняв наушники, слушал ее, приложив руку к уху. Геринг, сердито сдернувший наушники после того, как была процитирована его фраза: «Я намереваюсь грабить, именно грабить и грабить эффективно»,— судорожно надел их и не снимал уже до самого конца. Кейтель, сунув палец за ворот кителя, машинальным движением оттягивал его, будто петля уже сжимала его шею. И только

Гесс в этот день триумфа советского обвинения сохранял спокойный и равнодушный вид. Этим он как бы подчеркивал, что ни в разработке плана «Барбаросса», ни в операции «Тайфун» он участия не принимал и не желает отвечать ни за успехи, ни за поражения немецкой армии.

МЕРТВЕЦЫ НА ТРИБУНЕ

Сегодня в зале Трибунала были погашены искусственные солнца. Он погрузился во тьму, и в зыбком матовом свете на свидетельские места Трибунала пришли мертвецы — те, что давно уже были испепелены в печах Майданека, Освенцима, Бухенвальда, Дахау, что сгнили в чудовищных рвах Бабьего Яра и Харькова, что покоятся в братских могилах на Пискаревском кладбище Ленинграда.

Искусство отважных советских кинохроникеров воскресило этих мертвецов, привело их в этот зал. Как бы встав из своих могил, они бросили в лицо подсудимым свои неопровержимые обвинения.

Собственно, заседание началось как всегда. Помощник Главного Обвинителя Л. Н. Смирнов в обычной своей спокойной манере произнес речь, в конце ее заявив, что предлагает Трибуналу хроникальный кинофильм о нацистских злодеяниях на советской территории. Вот тогда-то зал погрузился во тьму, и только лица подсудимых, освещенные лампами снизу, как бы плавали в этой темноте.

Лично для меня появление этого фильма на экране не было новостью. Мой старый фронтовой друг Роман Кармен, оператор-хроникер, оператор-публицист, еще в начале войны показавший свое умение из отдельных кадров кинохроники, из кусков жизни, зафиксированных па пленке, создавать интересные фильмы, уже говорил мне, что они готовятся «подложить бомбочку» под скамью подсудимых, кинобомбочку, взрыв которой запомнится многим. Пока он работал со своими ребятами тут на процессе, в Москве по его сценарию монтировали фильм из кадров, заснятых во время войны. Я знал содержание картины, а многое из того, что в ней было показано сегодня, видел когда-то собственными глазами, и тем не менее фильм потряс меня. Я пишу, находясь под его впечатлением.

А было так: в темноте вспыхнул голубоватый свет, луч рассек зал, и на экране появился текст «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков». Документальный фильм. Представляется Главным Обвинителем от СССР. Дальше значилось:

«Мы, операторы-фронтовики, Воронцов, Гиков, Доброницкий, Ешурин, Зенякин, Кармен, Кутуп-Заде, Левитан, Микоша, Мухин, Панов, Посельский, Сегаль, Соловьев, Сологубов, Трояновский, Штатланд, торжественно свидетельствуем, что в период с 1941 по 1945 год, выполняя свой служебный долг, работали в частях действующей Красной Армии, снимая на пленку различные эпизоды Отечественной войны. Кинокадры, включенные в настоящий фильм, являются точным воспроизведением того, что мы обнаруживали, вступая в различные районы после изгнания из них немецко-фашистских войск».

Появляются первые кадры. В наушниках на четырех языках голоса дикторов: город Ростов 29 ноября 1941 года.

Мы видим ростовскую улицу, носящую следы боев. Тела мирных жителей. Объектив крупно выхватывает из этой мертвой панорамы лежащего в снегу мальчика. В его уже закостеневших руках голубь. Живой голубь. Птица еще бьется, закрывает глаза. Что это? Как это могло случиться? Мальчик, видимо, не хотел отдать птицу, и фашисты застрелили ребенка.

Привокзальная площадь. Большая груда трупов возле станционного здания — пленные красноармейцы? Они не могли эвакуироватся? Их пристрелили, уложили аккуратненьким штабелем, как дрова, а сжечь не успели? Но объектив киноаппарата приближается, и мы замечаем, что у убитых забинтованы руки, ноги, головы. Нет, это не пленные, это пристрелены раненые. И вот на экране документ — приказ командира немецкой танковой дивизии: «Согласно распоряжению командования я еще раз уведомляю вас, что отныне каждый офицер вправе, по своему усмотрению, в случае нужды, расстрелять военнопленных». Такой случай представился в Ростове.

Мы как бы путешествуем по следам нашего наступления по всему огромному фронту: Керчь, Донбасс, Харьков. Харьков — это тоже все мне знакомо. Живо вспоминается, как однажды ночью мы с корреспондентом

Союзрадио Павлом Ковановым подъехали вот к этому показанному на экране рву, когда его только-только начали раскапывать,— огромному противотанковому рву, в котором под тонким слоем земли лежали тысячи уже тронутых тлением тел. Вот тут ходили мы с членами Государственной комиссии по расследованию нацистских зверств. И в этом госпитале, сожженном при отступлении вместе с ранеными, мы тоже побывали. Государственная комиссия осматривала обгорелые скелеты, на которых еще сохранились следы гипсовых повязок. Посреди двора была раскрыта яма, в ней в страшных позах лежали трупы людей в истлевших халатах. Член Государственной комиссии писатель Алексей Толстой — грузный, медлительный, лобастый человек — сидел на скамье, подавленный всем виденным.

— Трудно охарактеризовать это,— неожиданно тоненьким, срывающимся голосом сказал он нам,— это фашизм. Других синонимов этому не найдешь. И сравнить не с чем, и уподобить нечему.

И, глядя в яму, добавил:

— Фашизм — это квинтэссенция жадности, подлости, низости и трусости. Ведь зачем, спрашивается, убивать раненых? Тысячами уничтожать мирных людей? Какая в этом целесообразность? Все для того, чтобы кто-нибудь, упаси бог, не узнал, что ты не гигант, а всего-навсего трусливый психопат, и чтобы люди не переставали тебя бояться...

Все дальше и дальше по пути советского наступления ведут нас бесстрашные фронтовые кинооператоры. Сотни, тысячи мертвецов как бы проходят молчаливой шеренгой, через погруженный в темноту зал. Впереди меня сидят Кукрыниксы. Их папки раскрыты, карандаши судорожно работают. Как уж они там впотьмах рисуют, не знаю. Но вижу, как головы их оборачиваются к экрану, то к скамье подсудимых. Да, за этой скамьей тоже любопытно последить. Весь сжался, втянул голову в плечи Геринг. Кейтель сидит, нахмурив брови, закусив губу. Йодль не сводит глаз с экрана. Шахт закрыл глаза. Риббентроп сжал голову ладонями. Всем им страшно, явно страшно встречаться со своими давно уже истлевшими жертвами.

И снова возникает на экране что-то знакомое. Диктор называет Киев, а я слышу: Бабий Яр. Так это тогда называлось под праздник 6 ноября 1943 года, когда мы по

пути в Москву прилетели сюда, в освобожденную столицу Украины, со 2-го Украинского. Настоящая жизнь в городе еще не начиналась. В руинах лежал взорванный Крещатик. Страшно вырисовывались на фоне затянутых инеем деревьев развалины старинного храма за стеной Киево-Печерской лавры. Жители срывали ненавистные немецкие вывески. И с кем бы мы ни заговаривали, обязательно слышали: «Бабий Яр». И мы пошли на юго-западную окраину. То, что увидели, с тех пор уже не забывалось и никогда не забудется. Это живет во мне. Это, вероятно, будет жить до могилы — крутой откос большого оврага и по срезу откоса, как некое геологическое напластование, мешанина из человеческих тел. Слой метра в два.

Как раз в ту минуту саперы раскрывали его. Их лица были завязаны мокрыми полотенцами: такой, несмотря на морозный денек, стоял смрад. И даже мы, видевшие уже и харьковский ров, и груды расстрелянных на окраине Полтавы, застыли, ошеломленные этим зрелищем. А тут еще бродила какая-то седая, взлохмаченная, видимо, сошедшая с ума женщина и не то плакала, не то смеялась и чернявая девочка все пыталась ее увести.

Времени для подробных расспросов тогда не было. Нам предстояло писать об этом. Писать сегодня же, ибо мы вылетали в Москву. Мы ограничились беседами с жителями. Одни называли семьдесят пять тысяч убитых. Другие — сто, третьи — сто пятьдесят. Но кто мог счесть трупы в этом напластовании? И думалось нам: когда-нибудь на этом страшном месте поставят киевляне памятник, чтобы напоминал он и близким и далеким потомкам о погибших, чтобы взывал к мести и призывал к бдительности...

И вот теперь все эти картины возникли на экране. Мертвецы, множество мертвецов как бы ворвались в тишину зала, напоминая о прошлом.

А кино ведет нас все дальше и дальше на запад — Латвия, Эстония, Литва. А вот уже и сама Германия.

— Концлагерь советских военнопленных в Лемсдорфе,— повествует диктор.

И опять трупы. Сотни трупов. И живые люди, похожие на трупы, движущиеся, шевелящиеся скелеты.

— Данциг, помещение технологического института. Здесь разрабатывали методы и технологию промышлен-

ной утилизации человеческих тел,— шуршит в ушах голос диктора.

Об этом мы уже тоже знаем. Видели на суде экспонаты, видели продукцию этой фабрики. И все-таки страшно. Хочется зажмурить глаза, вскочить и бежать. Но нет, надо пройти через все это, заглянуть на самое дно нацизма, до конца узнать, что же принес он человечеству.

Вот подвал — опять трупы, сложенные аккуратными штабелями, как на заводских складах размещают сырье. Да это и есть сырье, уже рассортированное по степени жирности. Вот отдельно в углу отсеченные головы. Это отходы. Они негодны для мыловарения, а может быть, нацистская наука отстала от потребностей жизни и еще не нашла метода промышленного использования человеческих голов. А вот расчлененные человеческие тела, заложенные в чаны,— их не успели доварить в щелочи.

Невольно смотрю на Кейтеля. Ведь он разрешил и даже декретировал умерщвление военнопленных. Вообще-то, когда советской и американской прокуратурой зачитывались документы, Кейтель держался довольно твердо. Твердо стоял на принятой позиции: я солдат. Солдат обязан выполнять приказ. Но сейчас я вижу, как руки судорожно вцепились в барьер.

Зажигается свет. Призраки, вставшие из могил, исчезают. Все сидят потрясенные, в мертвой тишине. Только художники Кукрыниксы и Борис Ефимов продолжают судорожно работать, стремясь запечатлеть на бумаге только что виденное. Изо рта Николая Жукова торчат карандаши, резинка. Он ничего не слышит и не видит, кроме того, что появляется из-под его карандаша.

Во время фильма я задумал некий маневр. В перерыве хватаю за руку Аню, нашу новую переводчицу, заменившую отбывшего в Москву Оловянного солдатика,— милую, интеллигентную, застенчивую девушку, и вместе с ней спешу к психиатру, доктору Джильберту. Во время демонстрации фильма он скромно сидел в зале в свите американского прокурора, и мне очень хочется узнать, что говорят его подопечные, посмотрев фильм.

Доктор Джильберт разводит руками. Ведь он же еще не успел потолковать с ними. Он только наблюдал их лица. По его мнению, все в той или иной степени были поражены. Папен, Нейрат сидели, отвернувшись от экрана. Шахт что-то про себя бормотал. Функ, кажется,

плакал. Впрочем, за это нельзя ручаться. Может быть, это просто блики от нижнего освещения. Словом, найдите меня завтра — завтра, может быть, что-нибудь и расскажу.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

У доктора Джона Джильберта необыкновенная профессия. Он психиатр-криминалист и, как говорят, в этой области серьезный ученый. Американцы в общем-то народ открытый и к прессе весьма неравнодушный. При соответствующем подходе взять у них интервью нетрудно. Но доктор Джильберт в отличие от большинства своих соотечественников человек малообщительный. С прессой, за исключением нескольких прославленных газетных асов, прилетавших ненадолго из Нью-Йорка, почти не разговаривал, хотя для всех нас он, по выражению веселого Эрика, представляет «лакомый кусочек». Ну как же, единственный человек, который может в любое время заходить в камеры подсудимых, беседовать с ними на любые темы, следить за их реакцией на все происходящее на суде.

Полковник Эндрюс, давно наблюдавший его работу, рассказывал: доктор сумел завоевать доверие заключенных. Даже замкнутый Гесс и очень настороженные ко всему Кейтель и Йодль охотно отвечают на его вопросы.

Я уже говорил, что познакомился с доктором Джильбертом через ту же лихую Пегги, дав ей возможность выиграть очередное пари. Сейчас Джильберт вроде бы расположился ко мне. И вот сегодня мы с ним «ленчевали», как говорят халдеи, произведя это слово от английского «ленч», то есть завтрак. Джильберт был мил и даже обаятелен, но это мне мало что дало. Сказал, что в принципе против прессы и, в частности, против русской прессы он ничего не имеет. Но отказывает в интервью по двум причинам: во-первых, он врач, и то, что он наблюдает, до известной степени сейчас профессиональная тайна, а во-вторых, после процесса он сам задумал написать книгу[1]. Да, он тщательно, ежедневно протоколирует свои беседы с подсудимыми. Это нужно ему не только для его научной работы, но и для будущей книги.

[1] Доктор Джон Джильберт написал и напечатал «Нюрнбергский дневник» в 1947 году. Это интересная книга, и, обрабатывая свои дневники для печати, я имел возможность сверять с ней некоторые свои репортерские записи.

— Если я разбазарю этот материал по газетам, для своей книги мне придется собирать ваши окурки,— сказал он и привел какую-то подходящую к случаю английскую пословицу.

На прямую просьбу рассказать о том, как все-таки подействовал на подсудимых наш вчерашний фильм, он лишь ответил, что его зрительные впечатления, о которых он вчера мне уже сообщил, в общем-то подтвердились. Подсудимые были необыкновенно взволнованны. И все. И добавил: «А вы разве не волновались?»

Я, разумеется, не был назойлив. В конце концов, у каждого свои профессиональные секреты. Допив кофе, я ушел, дружески пожав руку доктора, хотя и сознавал, что ничего конкретного выдоить из него так и не удалось...

Но день не прошел даром. Главный советский Обвинитель, допрашивая Геринга по частному поводу, весьма ловко загнал его в угол.

— Подсудимый, признаете ли вы, что, направив войска на Восток, преступно нарушив мирный договор, начав войну с Советским Союзом, ваш генеральный штаб совершил величайшее преступление, которое в конечном счете привело Германию к катастрофе?

— Это не преступление, это ошибка,— глухо ответил «второй наци» Германии.— Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво потому, что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не учитывали, а о многом не могли подозревать. Наша разведка работала неплохо, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество танков, авиации, знали мощь ваших военных заводов. Сопоставляя силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы ее повторили.— И, возведя к небу свои серые, оловянные глаза, произнес: — Это не преступление, это рок.

Рок? Признаюсь, я просто-таки опешил, выслушав это вынужденное признание. Рок! Мне сразу вспомнился безногий летчик, о котором я пока еще ничего не написал. Летчик, который так упорно уходит от меня. Вот он, этот «рок», который решил исход войны и бросил вас на скамью подсудимых, Герман Вильгельм Геринг!

И передо мной замаячило усталое, небритое лицо это-

го летчика, каким я впервые увидел его на полевом аэродроме под Орлом, когда он приземлился после боя, в котором сбил два немецких самолета. Увидел его большие, черные, измученные глаза с красными, налитыми кровью белками. Услышал его хрипловатый глухой голос... Да какой же я журналист, если до сих пор не смог написать о таком человеке! Сегодня же, сейчас же засяду за стол и буду сидеть, пока с головой не влезу в этот материал. Ведь, слава богу, тетрадка, на обложке которой написано: «Дневник полетов 3-й эскадрильи»,— тут со мной, в Нюрнберге. К черту все эти концерты и вечера, которыми нас потчует в пресс-кэмпе его начальник майор Дин. К черту эти бесконечные споры и пикировки с западными коллегами в гостиных фаберовского дворца. Пользы от них мало. К черту и этот дневник: наверное, он никогда и мне и никому другому не пригодится. В нынешний век стенографии и фонозаписей потребность в летописцах Несторах миновала.

По пути домой я пытался разузнать у Курта о его летных впечатлениях, в частности, о его ощущениях, когда он, подбитый нашими истребителями, на горящем самолете тянул за линию фронта. Все эти подробности, все движения души казались мне теперь необыкновенно ценными. Но толку от моих расспросов было мало. О бытовых и повседневных делах мы разговариваем с Куртом довольно бойко, но, как только речь выходит за пределы этого привычного круга, оказываемся в положении умных собак, которые понимать-то все понимают, а говорить не могут.

Добравшись до пресс-кэмпа, я миновал дворец и пошел в парк. Здесь уже настоящая весна. Снега почти нет, лишь кое-где в ложбинках. Ребята, бродившие по парку утром, принесли несколько синих и желтых крокусов. Ночью, разумеется, цветов не разглядишь, но, выбравшись из-под снега, шуршащая под ногами прошлогодняя листва так дивно пахнет, старые деревья так славно шумят, когда теплый южный ветер, трогает их лохматые головы, а свет луны, процеженный сквозь их крону, так симпатично сияет в лужицах, что хочется, задрав полы шинели, бежать без дороги куда-нибудь вперед.

Вернувшись в свою каморку, рванул окно. На пол посыпалась высохшая замазка. Весенняя сырая прохлада хлынула в затхлую атмосферу каморки. Не без опаски я раскрыл папку с бумагой. Сверху все еще лежал слегка

уже пожелтевший лист с заглавием «Повесть о настоящем человеке», придуманным несколько месяцев назад. Ветер приносил запах пробуждающейся земли. И как-то очень живо представился зимний лес в оттепельный день, лес, вековечная тишина которого потревожена упавшим самолетом. Летчик в мокром, талом снегу, лесные шумы. Стал писать. И пошло. Здорово пошло...

Сейчас на старом будильнике, который, наверное, когда-то поднимал на работу еще гросс-фатера Курта, три часа ночи. На столе семь исписанных страниц. Ни одного скомканного листа. Писалось почти без помарок. Писать бы и дальше, голова свежая, да ведь надо же хоть немножко поспать. Этот чертов будильник все равно поднимет ровно в семь.

Спокойной ночи, дорогой мой летчик! Мог ли я думать, когда мы беседовали с тобой в земляной норе под Орлом, под отдаленный грохот битвы на Курской дуге, где и при каких обстоятельствах приведется мне писать твою одиссею!

ИХ ЖАРГОН

В первые дни процесса нацистские бонзы обижались, даже негодовали, что, обращаясь к ним, произносят слово «подсудимый». Господин министр, господин рейхсмаршал, господин гросс-адмирал — вот как следовало бы их величать. Теперь они свыклись со словом «подсудимый» и уже не обижаются.

Но сегодня мне пришлось порыться в протоколах и записях их тайных заседаний, где все эти государственные и военные деятели оказывались в своей среде, и я сделал из этих документов любопытнейшие, как мне кажется, извлечения, великолепно характеризующие всю эту публику.

Вот как они беседовали между собой.

Когда-то, еще на заре своей карьеры, разоткровенничавшись с глазу на глаз с Раушнингом, Гитлер заявил:

«Мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не остановят принципы, когда надо будет укокошить когонибудь, и, если они при этом сопрут часы или драгоценности, наплевать мне на это».

Вот каким языком характеризовал Гитлер идеал национал-социалистского деятеля, когда он сам был еще не

всемогущим фюрером, а всего лишь главарем шайки хулиганов, специализировавшихся на погромах и ограблениях еврейских магазинов и на разгонах за сходную, разумеется, плату рабочих митингов и демонстраций.

Потом Гитлер стал главой нацистской Германии. Масштабы его деятельности гигантски выросли, но принцип, руководствуясь которым он выдвигал и приближал к себе людей, сохранился в неприкосновенности. Это всегда были люди с крепкими кулаками, для которых не существовало ничего святого, люди, не знающие ни чести, ни совести. И хотя назывались они уже министрами, и рейхсмаршалами, гросс-адмиралами, гауляйтерами и крейслейтерами, они, в сущности, оставались теми же, какими были в дни, когда в пивных Баварии сколачивалась нацистская партия. Бандитами, уголовниками. И жаргон их, когда они оставались в своем, очень замкнутом кругу, естественно, был прежним.

Советское обвинение представило суду стенографический отчет совещания Геринга с рейхсминистром оккупированных территорий, с представителями высшего военного командования и правительства, действовавшими на этих территориях. Этот отчет навсегда останется одним из важнейших документов, разоблачающих разбойничью суть нацизма.

Заявив, что Германия отныне владеет самыми лучшими и плодородными землями — от Атлантики до Волги и Кавказа и что страна за страной, одна богаче другой, завоевываются доблестными германскими войсками, Геринг добавил, что требует от своих соратников немедленно же начать грабить эти страны. Он так и говорил «грабить», не считая даже нужным отыскивать подходящий синоним.

«Раньше,— говорил он,— все было значительно проще. Тогда это называлось разбоем. Это соответствовало старой формуле — отнимать то, что завоевано. Теперь формулы стали гуманнее. Несмотря на это, я намереваюсь грабить, именно грабить, и грабить эффективно».

И свою прямую директиву уполномоченным правительства и военачальникам он определяет в такой «изящной» форме:

«Вы должны быть, как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, что может пригодиться нам, немцам,

вы должны вынюхивать и отнимать. Оно должно быть молниеносно добыто со складов и доставлено сюда».

Геринг требует, чтобы все, что осталось на витринах французских магазинов, или в элеваторах, или на продуктовых складах оккупированных стран, было бы немедленно конфисковано и вывезено в Германию.

Рисуя перспективы этого всеевропейского грабежа и все больше распаляясь при этом, Геринг заявляет, что рейхскомиссары не должны считаться ни с голодом, ни даже с вымиранием ограбленных народов.

«В нашу задачу не входит содержание народа, который внутренне, конечно, против нас. Знайте, если из всех стран будет доноситься до нас ругань, мы будем знать, что вы действуете правильно».

Хладнокровно требуя грабить все подчистую, Геринг оговаривает полную обеспеченность самих грабителей. Этим будет подчеркнуто, что немцы — раса господ и что этой избранной расе все позволено.

«Я ничего не скажу вам, напротив, я обиделся бы на вас, если бы мы, например, в Париже, не имели бы чудесных ресторанов, где мы, немцы, победители, могли бы всласть поесть. Но мне не доставляет удовольствия, чтобы туда шлялись французы. «Максим»[1] *должен иметь лучшую кухню только для немецких офицеров и немцев, а отнюдь не для этих французов, на которых мне наплевать. Мы должны всюду иметь такие рестораны только для немцев. Французы таскаться туда не должны. Им такой еды не нужно».*

Трудно верить, что рейхсмаршал, второй человек в большой некогда культурной европейской стране с семидесятимиллионным населением, в стране, давшей миру великих ученых, поэтов, мыслителей, облекал директивы своим высшим военачальникам и гражданским чиновникам в подобного рода формулы. Но передо мной официальный перевод стенограммы совещания, подлинник, который представлен суду, и по этому переводу я воспроизвожу все эти детали.

Стенограмма эта, показывающая нацистских заправил без маски, в то же время говорит и о трусости этих гра-

---

[1] Фешенебельный ресторан в центре Парижа, существующий и сейчас.

бителей, животном ужасе, который испытывали они главным образом перед советскими партизанами. Итак, читаем стенограмму дальше.

Пока Геринг вел речь об ограблении Франции и стран Западной Европы, рейхскомиссары и военачальники с умилением внимали ему, но как только он заговорил о Советском Союзе, титулованные разбойники сразу заскулили, физиономии их вытянулись. Должно быть, почувствовав изменившуюся атмосферу, Геринг оживленно и весело начал рассказывать о богатствах Советского Союза.

«Господа, чтобы утешить ваши души и чтобы вы радостно смотрели на жизнь, должен рассказать о крае донских казаков».

И он с жаром повествует о том, как в оккупированных станицах солдаты обжираются маслом, медом, мясом, как они даже научились есть мясо, обмакивая его в сметану, а масло жрать целыми кусками даже без хлеба. Он вдохновенно рассказывает, как с Азовского и Каспийского морей пойдет в Германию икра, красная рыба и сколько пшеницы «третья империя» будет вывозить ежегодно из российских изобильных краев.

И вдруг мечты рейхсмаршала, по словесности своей вполне подходящие для пахана — вожака воровской шайки, прерывает голос некоего Лозе — имперского уполномоченного по ограблению Прибалтики и Белоруссии.

ЛОЗЕ.— Действительно, господин рейхсмаршал, вы правы, урожаи там должны быть очень богатые... Но вряд ли урожай этот может быть убран и доставлен сюда на склады, если теперь, наконец, не будет покончено с бандитскими и партизанскими бесчинствами. Я три месяца кричу о помощи, но армия не может доставить мне войск... Не может ничего поделать с партизанами и рейхсфюрер СС.

ГЕРИНГ.— Но ведь это же в нашем глубоком тылу. Ваша оборона такая крепкая, неужели вы не можете обеспечить себе защиту от партизан?

ЛОЗЕ.— Это полностью исключено. Везде, даже значительно южнее Минска, убивают сельскохозяйственных комендантов. Уже имеются убитые комиссары. Гибнут чиновники. Невозможно нормально управлять Белоруссией и как следует эксплуатировать ее ресурсы и земли,

если не будет покончено с партизанскими бесчинствами.

РОЗЕНБЕРГ (с места).— Даю справку. Убито 1500 бургомистров, наших людей.

Совещание титулованных грабителей, начавшееся мечтами о вкусной жратве в лучших французских ресторанах, существующих только для немцев, сходит с рельсов, комкается. Лозе, рейхскомиссар Украины Кох, Розенберг и другие приближенные Гитлера — «люди с крепкими кулаками, которых не останавливают никакие принципы, когда надо кого-нибудь укокошить», безусловно, разделяющие мнение рейхсмаршала о том, что «нужно грабить, именно грабить», позабыв, что темой совещания как раз и является грабеж оккупированных стран, начинают говорить о борьбе с партизанами, об «этой гигантской опасности на Востоке». В их словах, бесстрастно зафиксированных стенографом, звучит животный страх перед народом, разжегшим в тылу немецких армий священный огонь партизанской войны.

И сейчас, когда война окончена, когда виновники ее, сидящие в этом зале, уже не гневаются на обращение «подсудимый», так приятно узнавать о том, что это жулье, беззастенчиво и безнаказанно грабившее Западную Европу, трепетало при одном упоминании о советских партизанах.

Слава, вечная слава вам, партизаны Отечественной войны!

НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ

По пути в Трибунал Курт наклонился ко мне и вполголоса спросил:

— Правда ли, что вчера на закрытом заседании генерал Руденко, выхватив пистолет, застрелил Германа Геринга? Мне говорили, что об этом сообщалось в американской газете.

— Курт, я вас не понял. Повторите вопрос.

Курт повторил и удивился, что я ничего не слышал. Эта новость гуляет по Нюрнбергу. Признаюсь, я совершенно ошалел от этой дикой выдумки и при этом очень ясно представил себе, как Роман Андреевич, человек редкого такта и выдержки, с прокурорской трибуны целит в Геринга. Представил, рассмеялся и сказал Курту,

человеку серьезному, отнюдь не падкому на всякие сплетни:

— Вас кто-то ловко разыграл.

Но, представьте себе, такое сообщение действительно было напечатано. Ярослав Галан, широко общающийся с местным населением, подтвердил нам это.

— Да, таких слухов полно. И не только слухи.

Он показал нам номер хорошо знакомых американских «Звезд и полос» и в нем заметку, отчеркнутую синим карандашом: «Трагическое происшествие в суде. Советский Обвинитель генерал Руденко стреляет в Германа Геринга». В пресс-баре только и разговоров об этой заметке. Кто недоумевает, кто возмущается, кто хохочет. Ральф, которого я спросил, как могла появиться в печати такая дикая чушь, только пожал плечами: «Сенсейшен. Все для сенсейшен». Пегги хохотала, показывая свои белые голливудские зубы. Эрик бормотал: «Янки есть янки. Пора бы их знать». И привел смешную пословицу, бытующую, оказывается, в Англии: «Бойтесь быка спереди, лошадь — сзади, а американского корреспондента — со всех сторон».

Тем не менее задолго до начала заседания все уже находились в зале. Все было как обычно. Геринг сидел, закутав ноги солдатским одеялом. Руденко занимал прокурорскую трибуну. Речь продолжала идти о плане «Барбаросса», и все-таки «сенсейшен» сегодня была. Да какая! Из-за нее по всем помещениям суда минут десять зуммерила сигнализация, передавая тройные гудки, собирая прессу, разошедшуюся по барам, курилкам, коридору. Корреспонденты неслись на свои места, дожевывая на ходу сандвичи, стирая с губ пивную пену.

Представляя обвинения по плану «Барбаросса», Главный советский Обвинитель зачитал и попросил суд приобщить к делу афидэвит, то есть письменное показание фельдмаршала Фридриха Паулюса, бывшего заместителя начальника генерального штаба в те дни, когда разрабатывался план «Барбаросса», человека, который, по его собственному признанию, принимал в этой разработке непосредственное участие.

Чтение этих показаний вызвало среди подсудимых необыкновенный ажиотаж. Они все время переговаривались, писали своим адвокатам записки. Те тоже перешептывались, вертелись на своих местах.

Мы догадывались о причине этого ажиотажа. Гитлеровское правительство в свое время скрыло от немцев сам факт пленения фельдмаршала Паулюса, первым из немецких высших военачальников сложившего свой маршальский жезл к ногам Советской Армии. Разгром немецких войск под Сталинградом, уничтожение и пленение трехсоттысячной группировки морально потрясло страну. Скрыть это поражение было невозможно. Был объявлен трехдневный национальный траур, приспускались флаги, протяжно звонили колокола, в церквах шли траурные мессы. Народу сообщили, что командующий армией Паулюс погиб как истинный германский солдат, сражаясь до последнего патрона. В честь его была устроена пышная панихида. На ней присутствовал весь столичный генералитет, и сам Гитлер возложил высшую награду Германии на пустой гроб. Письменные показания «павшего» фельдмаршала, которые сейчас зачитывались, и вызвали среди подсудимых такой фурор.

Не успел Обвинитель попросить о приобщении этих показаний к делу, как защитник Геринга — величественный, солидный доктор Штаммер в своей лиловой университетской мантии и маленький, тощенький, носатый доктор Заутер оба разом бросились к трибуне и, перебивая друг друга, обратились к суду с ходатайством вызвать на суд самого свидетеля Паулюса. Они, видимо, надеялись на то, что в просьбе им откажут и весьма существенные показания, сделанные якобы от его имени, окажутся дискредитированными, а советское обвинение будет посрамлено. Если же Паулюс жив и решено будет его вызвать, то потребуется немало времени, чтобы доставить его в Нюрнберг. К тому же одно дело — давать письменные показания в Москве, и совсем другое — тут, в Нюрнберге, на глазах своих бывших начальников и друзей.

Таков был, казалось бы, беспроигрышный расчет защиты. Поэтому, передав свое ходатайство, оба защитника, победно глянув в сторону советского обвинения, вернулись на свои места. Коллеги пожимали им руки.

Судьи перебросились между собой несколькими словами. Посовещавшись, лорд Лоренс обратился к Руденко с вопросом:

— Как смотрит генерал на ходатайство защиты?

Настала тишина. Все: обвиняемые и защитники — со злорадством, судьи — вопросительно, мы, корреспон-

денты,— с невольным любопытством — глядели на Руденко.

— Советское обвинение не возражает, ваша честь,— ответил Руденко. Лицо его оставалось спокойным, но мы, советские журналисты, хорошо узнавшие за эти месяцы характер нашего Главного Обвинителя, уловили какую-то лукавинку в его взгляде.

Вот в это-то мгновение по холлам, залам, коридорам, столовым и барам раздались тройные сигналы, возвещавшие большую сенсацию.

— Сколько же времени потребуется для доставки сюда вашего свидетеля, генерал? — спросил лорд Лоренс.

— Я думаю, минут пять-семь, не больше, ваша честь,— неторопливо, подчеркнуто будничным голосом, ответил Роман Андреевич.— Свидетель здесь, он сейчас в апартаментах советской делегации, тут, во Дворце юстиции.

То, что наступило в зале после этих слов, можно сравнить разве что с финалом пьесы «Ревизор», с его немой сценой. Потом все разом пришло в судорожное движение. Подсудимые заговорили между собой. От них к адвокатам полетели записки. Адвокаты, забыв свою солидность, затеяли сердитую дискуссию. Штаммер и Заутер, подвернув подолы длинных мантий, ринулись к трибуне и снова дуэтом, перебивая друг друга, закричали в микрофон:

— Нет-нет, защита, все взвесив, на вызове свидетеля не настаивает. Она изучила афидэвит и вполне довольствуется письменными показаниями. К чему затягивать процесс!

Ложа печати являла собой другую гоголевскую сцену — из «Вия». Те, кто бежал из коридоров в ответ на сигналы, сулящие сенсацию, сшиблись в дверях с теми, кто уже спешил передать эту сенсацию по телеграфу, да так и застряли в дверях. В этом всегда таком тихом зале возник базарный шум.

— Суд вызывает свидетеля Паулюса,— объявил, посоветовавшись с коллегами, лорд Лоренс и добавил обычное: — А сейчас, мне кажется, самое подходящее время объявить перерыв.

Это, понятно, не украшает репортера, но признаюсь, что и я не знал о том, что Паулюс здесь, и теперь невольно волновался, ожидая его появления. Дело в том, что мне довелось пробыть в Сталинграде немало дней в

период этой нечеловечески трудной обороны. Видел я и ее победный финал. И разве когда-нибудь забудешь этот час, когда в тишине, такой необычной и даже жутковатой, среди закопченных руин, маленькая группа военных шла через пустынную площадь к зданию универмага, где должна была быть дописана последняя страница величайшего из сражений, когда-либо потрясавших земной шар! Странно было идти по улицам этого города и слышать, как вкусно похрустывает под ногами свежий снег.

Мы знали, что штаб Паулюса — командующего 6-й немецкой армией находится в центре города. Наши авиация и артиллерия с особым усердием обрабатывали эти места. Знали, что Паулюсу не удастся ускользнуть. Но из многочисленных показаний пленных мы знали также, что Фридрих Паулюс храбр, тверд, упорен, что он не бросит своих солдат и не улизнет самолетом из окружения, как это сделали некоторые из его генералов. Наши радисты все время перехватывали его переговоры с генштабом, и мы были знакомы с обоими приказами Гитлера, требовавшего сражаться до конца, не жалея людей. Перехвачен был и еще один приказ, согласно которому генерал Паулюс получал фельдмаршальский жезл и высшую награду Германии.

Теперь было известно, что он вместе с оперативной группой штаба находится в подвале, под почти полностью разрушенным зданием универмага. Есть приказ взять их живыми. Сдастся Паулюс в плен или нет? Возобладает в нем холодный разум или эмоции? Что там говорить, мы, несмотря на ненависть к оккупантам, как-то невольно уважали этого человека, державшегося до последнего и в трагическом финале битвы не покинувшего своих солдат.

Вот наконец и бесформенные руины универмага, из которого торчит лишь угол обгоревших стен. Рядом расчищено и подметено. Эта расчищенная площадка выглядит очень странно среди гор битого кирпича. Дверь ведет со двора в подвал, куда тянутся провода. Наш офицер, которому предстоит передать ультиматум о сдаче, медленно, будто сапоги его приклеиваются к ступенькам, спускается в подвал. Легко представить, что он при этом чувствует. Ведь это же все равно, что безоружным ползти в логово тигра, да еще раненого. Все напряжены.

Солдаты нетерпеливо переступают с ноги на ногу, держа автоматы наготове. Черт его знает, что могут выкинуть штабисты Паулюса в эти последние мгновения.

Вот вновь гул шагов, хлопнула дверь. Появляется наш офицер. Лицо его, недавно бледное, все в красных пятнах. Он уже не поднимался, он бежал вверх. Забыв о воинской дисциплине, парламентер, только что проявивший такую выдержку, срывающимся голосом кричит:

— Принято!.. Ультиматум принят!.. Сейчас выйдет сам.

И действительно, в следующее мгновение наверх твердым шагом поднимается высокий, плечистый, сутуловатый человек в фуражке домиком и длинном плаще на меху. Слышно, как под подошвами у него хрустит снег. Он смотрит в сторону группы офицеров и вынимает из кармана пистолет. Два наших офицера невольно придвигаются к нему, но он, найдя в группе старшего по званию, бросает пистолет к его ногам. Переводчик Паулюса — немолодой человек с худым лицом, покрытым коричневыми пятнами на обмороженных местах,— переводит его отрывисто сказанную фразу:

— Господин фельдмаршал сдается советскому командованию, он просит быть милосердными и гуманными к людям его штаба...

Таким он и запомнился мне — высокий, сутулый, решительный, с гордо поднятой головой и усталыми глазами. И вот новая встреча в Нюрнберге, спустя более чем три года. С естественным нетерпением жду конца перерыва и вместе со всеми глупейшим образом застреваю в дверях, будто оттого, что протиснешься первым, можно будет увидеть больше других.

Приводят обвиняемых. Появляются судьи. Все встают. Эти процедуры, к которым мы так привыкли, что вообще-то их не замечаем, кажутся сегодня лишними. О чем говорили судьи в своей комнате, можно только догадываться. Но сейчас мне кажется, что все они — и высокий, худощавый американец Френсис Биддл, и француз — крупный, с висячими массивными усами, похожий на моржа, Доннедье де Вабр и наш невозмутимейший Иона Тимофеевич Никитченко, который в своем интеллигентском пенсне всегда являет собой образец сосредоточенного спокойствия,— все они немного возбуждены. Только лорд Джефрей Лоренс верен себе. Он

неторопливо опоясывает наушниками свою сверкающую лысину и обращается к судебному приставу:

— Прошу вас, введите свидетеля Фридриха Паулюса.

Обрамленная зеленым мрамором дубовая дверь в противоположном конце зала раскрывается. Пристав вводит высокого человека в синем штатском костюме, который, однако, сидит на нем как-то очень складно, по-военному. Снова немая сцена. Щелкают вспышки аппаратов «спитграфик». Глухо поют кинокамеры. Все с напряжением следят, как Паулюс поднимается на свидетельскую трибуну. Не знаю, что у него на душе, но внешне он абсолютно спокоен. Зато на скамье подсудимых просто паника. Геринг что-то раздраженно кричит Гессу, тот отмахивается от него. Кейтель и Йодль как-то сжались и вопросительно смотрят на свидетеля. Он появился здесь точно призрак, вставший из сталинградских руин, принеся сюда горечь и боль трехсоттысячной армии, погибшей и плененной на берегах Волги. С тем же поразительным спокойствием Паулюс кладет руку на Библию и, подняв два пальца правой руки, твердо произносит:

— Клянусь говорить правду. Только правду. Ничего, кроме правды.

Неторопливо начинает давать показания. Сухие фразы звучат отточенно, твердо, и хотя он говорит по-немецки и слова его в зале хорошо слышны, многие из подсудимых для чего-то надели наушники.

Да, он был перед войной заместителем начальника германского генерального штаба и лично участвовал в разработке плана «Барбаросса». Да, он признает, что с самого же начала этот план задумывался как план нападения и ни о какой оборонительной превентивной войне и речи не было. Ведь его разрабатывали в августе 1940 года. Контуры этого плана? Первоочередная задача — захват Москвы, Ленинграда, всей Украины. Дальше — Северный Кавказ с его природными богатствами и нефтяными источниками. Главная стратегическая цель? Выход на линию Архангельск — Астрахань и закрепление на ней.

Свидетель вспоминает, что в дни, когда Риббентроп заключал мирный договор с Советским Союзом, в помещении главной квартиры генштаба были проведены одна за другой две военные игры для высшего офицерства. Обе на тему: наступление по плану «Барбаросса». Руководил ими генерал-полковник Гальдер. Карта Советского Союза была пришпилена к полу, и присутствующие пере-

двигали по ней флажки и фишки с цифрами, окружая и поражая одну советскую армию за другой, опробуя разные варианты захвата. Воюя пока по карте, генералы искали самых эффективных путей достижения главной цели — выхода на линию Архангельск — Астрахань. Политическая цель тоже не скрывалась — уничтожение Советского Союза как государства.

Потом генштабисты, в том числе и сам свидетель Паулюс, разъезжали, по его словам, по странам Европы, вербовали будущих союзников по разбою, втягивали в подготовку к войне против Советского Союза Румынию, Финляндию, а потом и более осторожный венгерский генштаб.

Паулюс говорит по-солдатски коротко, лаконично. Четко формулирует фразы, которые он, вероятно, хорошо продумал за три года своего пленения. Повествуя о преступной деятельности немецкого генштаба, он иногда поднимает глаза и смотрит на подсудимых, и те, на ком он останавливает взгляд, отворачиваются, начинают нервно барабанить пальцами по барьеру. Корреспонденты же пишут и пишут, ломая от торопливости карандаши...

Все, о чем говорит Паулюс, в той или иной степени уже известно из показаний других свидетелей, из различных документов, но в устах фельдмаршала приобретает особое звучание. Сталинград. В своем рождественском путешествии мы могли убедиться, сколь популярно это название даже в таком захолустном княжестве, как Лихтенштейн, граждане которого узнали это слово лишь из газет. В Париже нас водили на бульвар Сталинграда. И сутулый человек на свидетельской трибуне, которого гитлеровцы торжественно похоронили, а втайне прокляли, как бы вновь встал из могилы, чтобы разоблачить перед судом немецкий генеральный штаб, являвшийся в руках Гитлера таким же послушным орудием международного разбоя, как гестапо, СС и СД.

Запоминается переданная Паулюсом фраза Йодля, которой тот заключил сообщение о плане «Барбаросса»:

— Вы увидите, господа, как через три недели после начала нашего наступления этот карточный домик рухнет.

Смотрю на Йодля. Он сосредоточенно катает по пюпитру карандаш и будто бы весь ушел в это занятие.

Как только свидетель закончил свои показания, западные корреспонденты сорвались с места и бросились

из зала. И напрасно. Драматизм событий не ослаб. Защита сейчас же перешла в контратаку. Первым у трибуны оказался Заутер. Генштабисты, собственно, не его клиентура, но он по обыкновению старается совать свой длинный нос во все дела, и более солидные адвокаты обычно выдвигают его для каких-нибудь сомнительных и не сулящих им славы комбинаций.

— Кого из сидящих здесь подсудимых вы, господин свидетель, назвали бы как главных виновников развязывания войны?

Цель вопроса ясна. Сбить свидетеля, поставить его в неловкое положение, опорочить перед судом, перед прессой, перед историей, наконец. Этот человек предполагает, что тут, перед лицом своих бывших сослуживцев, Паулюс стушуется, начнет увертываться, уйдет от прямого ответа, и тогда его легко будет дискредитировать, пользуясь юридической казуистикой, на которую Заутер великий мастер.

Паулюс поднимает глаза на самью подсудимых и, как бы касаясь взглядом называемых им лиц, четко говорит:

— Из присутствующих здесь — Герман Геринг, Вильгельм Кейтель, Альфред Йодль.

Пауза. Чувствуя поражение, Заутер соскакивает с трибуны, но тут в атаку идет его коллега, обычно молчаливый адвокат, имени которого я не знаю.

— Правда ли, господин фельдмаршал, что сейчас вы преподаете в Военной академии имени Фрунзе и обучаете высших офицеров неприятельской армии?

Паулюс усмехается.

— Это ложь. Никаким образом и никого я не обучаю.

Вторая атака отбита. Среди защитников приглушенная, вежливая перебранка. Подсудимые шлют им записки.

— Свидетель Фридрих Паулюс, благодарю вас за показания. Можете покинуть зал,— объявляет председательствующий.

В дверях новое столпотворение. Часовые отброшены в сторону. Начинается гонка по пути к телеграфу. Бегут, толкая друг друга, как джек-лондоновские золотоискатели, торопящиеся «застолбить» свой участок.

Американские корреспонденты упрекают меня.

— Нехорошо, не могли нас заблаговременно предупредить о такой сенсации... Не по-товарищески.

Их невозможно убедить, что мы сами ничего не знали о том, что Паулюс прилетел в Нюрнберг еще вчера. Не знать этого? Им это кажется просто невероятным.

Помощник прокурора Лев Романович Шейнин, знающий, что такое газетная сенсация, подмигивает нам:

— А хорошую бомбочку мы сегодня взорвали!

Очень хочется пробраться к Паулюсу. Хочется по-человечески, по-репортерски. Я узнал, где он живет, нашел в отеле его номер, но, увы, ни убеждения, ни корреспондентская книжечка «Правды», всегда очень помогавшая мне, ни даже мои погоны на сей раз не подействовали. К Паулюсу, оказывается, приехали на свидание сын и еще какая-то родня, и сопровождающий его советский полковник, очень тактичный и терпеливый, в качестве последнего аргумента произносит:

— Ну, представьте самого себя в подобных обстоятельствах. К вам приезжает сын. Приезжает ненадолго. Вам хотелось бы оставить его даже для интервью корреспонденту «Правды»?

Ну что ж, резонно. Да и в самом деле, о чем бы я стал беседовать с Паулюсом? Ведь самое существенное он сказал на Трибунале, а для остального, видимо, еще не приспело время.

МЫ ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

По утрам я теперь регулярно хожу на свидания с моим безногим летчиком. Пишется необыкновенно легко, иногда по десяти — по пятнадцати страниц в один присест, хотя передо мной всего только старая тетрадь с очень беглыми заметками, из которых за давностью времени половину уже не могу разобрать. Я не знаю, где сейчас мой герой и жив ли он. Удалось ли ему провоевать до победы или он сбит где-нибудь на огромном пути Советской Армии — от Курской дуги до Берлина.

Впрочем, в свидании с ним нет и нужды. Этот старший лейтенант Мересьев или Маресьев всегда со мной. И тут, в каморке со скошенным лестницей потолком, и в зале суда, и на вечеринках в пресс-кэмпе, и на каком-нибудь лихом гангстерском фильме я не расстаюсь с ним. Слушаю, записываю какие-то очередные изуверские показания, а думаю об этом русском парне с Нижней Волги, и когда на суде заходит речь о великом подвиге

советского народа, о доблести Красной Армии, я отчетливо вижу перед собой его — простого, немногословного, такого русского.

Я так увлечен им, что с утра даже забыл, что сегодня 23 февраля — День Красной Армии. И напомнил мне об этом... Курт. Его машина вопреки обычаю ждала меня не на стоянке пресс-кэмпа, а у ворот нашего «халдейника». При моем появлении Курт вышел из машины, вытянулся, поприветствовал по-военному и протянул букетик синих подснежников, аккуратно завернутых в фольгу. Должно быть, моя физиономия выразила недоумение, и он пояснил:

— Сегодня гебуртстаг Красной Армии. Поздравляю вас, господин полковник.

Меня даже в жар бросило: как же это я прозевал такой торжественный для всех нас день! Я поспешил на телеграф. Там лежало для нас множество телеграмм. Меня ожидали две: одна, очень теплая — из редакции за подписью редактора Поспелова, секретаря редакции Сиволобова и начальника военного отдела генерала Галактионова. И другая — особенно мне дорогая, подписанная «Юля, мама, Андрей, Алена». Они там помнили, а я забыл, позорно забыл, хотя в последние дни на суде много разговоров о подвигах наших Вооруженных Сил.

Пристыженный, я вернулся домой, сменил гимнастерку на мундир, приладил орденские планки и в таком праздничном виде пожаловал во Дворец юстиции. Все наши военные выглядели весьма торжественно. Вишневский пришел в морском кителе с погонами капитана II ранга, весь увешанный орденами и медалями. Где-то внизу, уже на животе, ниже пояса, рядом с медалью за победу над Германией, висели у него два солдатских Георгиевских креста на старых, затертых ленточках, полученных этим необыкновенным человеком за храбрость еще в мальчишеские годы, в дни первой мировой войны. Выглядел он очень эффектно. Ходил, позвякивая всем своим набором регалий, и в ответ на поздравления вместе с крепким рукопожатием произносил не простое какое-нибудь там: «И вас также поздравляю», а то, что обычно говорят военные, получая ордена: «Служу Советскому Союзу!»

На заседании ничего особенного в этот день не происходило. Но в перерыве мы, все советские офицеры,

оказались в центре внимания. Самые разные люди — журналисты, переводчики, судейский персонал — подходили, поздравляли, жали руки. И хотя прекрасно понимаешь, что все это внимание, все эти приветы и поздравления адресуются не тебе лично, а Красной Армии, форму которой ты носишь, все же как-то особенно приятно ощущать на себе сегодня нашу военную форму.

Забавным происшествием этого дня была еще одна заметочка, помещенная в «Звездах и полосах». Без тени смущения, совершенно всерьез в ней говорилось:

«Сообщение о том, что Главный советский обвинитель в припадке гнева застрелил на процессе Геринга, не подтвердилось. Как передает наш корреспондент из Нюрнберга, Геринг жив, здоров и готов держать ответ обвинителю. Сообщение же относительно его трагической гибели объясняется тем, что в редакции была неправильно расшифрована фраза корреспондента, писавшего, что генерал Руденко морально расстрелял Генринга».

Хотя для «Правды» сегодня ничего наскрести не удалось, я всегда буду с благодарностью вспоминать этот день и особенно вечер и прием, который наши судейские устроили для своих иностранных коллег. Это был немногочисленный и какой-то очень теплый прием. Имя Красной Армии как бы сняло на время социальные различия между судьями и прокурорами четырех держав и, конечно же, нами, журналистами. Дружно пили за Армию-победительницу, за генералиссимуса Сталина, за нерушимость антигитлеровской коалиции, за выкорчевывание самых глубоких корней нацизма.

На этом приеме Иона Тимофеевич Никитченко познакомил Федина и меня с председательствующим на суде сэром Джефрейем Лоренсом. Невысокий, плотный, большеголовый, с огромным лбом, еще увеличенным сверкающей лысиной, лишь по краям опушенной светлыми волосами, с очками в золотой оправе, которые он во время заседаний имел привычку спускать на кончик носа, в коротком смокинге, с ленточками на лацкане, он внешне являл собой идеальное воспроизведение образа диккенсовского мистера Пиквика. Но у этого Пиквика близорукие глаза смотрели так зорко и цепко, а лицо излучало такое достоинство и ум, что сразу же становилось ясно, что милый и добродушный этот старик — натура, несомненно, недюжинная, и недаром коллеги относятся к нему

с таким почтением и единодушно вручили ему молоток председателя.

Кстати о молотке, с помощью которого Лоренс управляет ходом процесса, впрочем, редко прикасаясь к своему символическому оружию. Американский судья Френсис Биддл — высокий, худощавый, быстрый в движениях человек с усиками французского киноактера Адольфа Менжу, один из близких людей Рузвельта, получил этот молоток в подарок от самого Франклина Делано. Рузвельту же, когда его избрали в сенат, этот молоток презентовал союз выборщиков. Выезжая в Нюрнберг, Биддл, уверенный, что именно ему, представителю Америки, будет поручено руководить процессом, захватил с собой эту реликвию. Но главным судьей избрали англичанина Лоренса, и великодушный Биддл торжественно преподнес ему молоток, поведав при этом, так сказать, биографию сего инструмента. И зря. Слух о реликвии сразу же распространился по кулуарам суда, донесся в прессу. И молоток исчез. Кто его стянул, так и осталось неизвестным. Судейский персонал был склонен винить журналистов, ну а журналисты, естественно,— судейских. Так и не обновив этот молоток, лорд Лоренс получил взамен него другой, обыкновенный, которому уже в его руках суждено было стать исторической реликвией.

Торжественный прием — место для интервью, конечно, мало подходящее, и все же мы с Фединым прижали мистера Пиквика в угол и, держа в руках бокалы с шампанским, начали выспрашивать его мнение о процессе, о преступниках, о ходе суда. И, к нашему удивлению, неразговорчивый человек этот стал делиться своими мнениями и мыслями. Мысли его во многом совпадали с теми, что я слышал уже и от Димитрова и от Руденко.

— Да, да, джентльмены, настоящий процесс — это великий прецедент, и, может быть,— в это очень хотелось бы верить — сам прецедент и созданные для него законы послужат в дальнейшем орудием предупреждения агрессии.

Лоренс говорил, будто читал лекцию. И наша Аня переводила его слова шепотом, чтобы не мешать течению его мысли.

— Что вы скажете о ходе процесса?

— Пока еще рано его оценивать, но кое-что сказать уже можно. В процессе участвуют виднейшие юристы разных стран самой высокой квалификации. У них раз-

ные политические и правовые воззрения, но на протяжении пяти месяцев они, за очень редкими исключениями, работают дружно, объединенные общим стремлением установить истину, воспроизвести во всех деталях картину преступлений.

— Простите, но иногда кажется, что процесс идет слишком медленно. Думается, что и малой доли выявившегося за это время достаточно для того, чтобы осудить преступников самым строгим образом,— мягко вступает в разговор Федин.

— Нет, вы не совсем правы,— столь же деликатно парирует лорд Лоренс.— Ведь мы не мстители, а судьи, нам нельзя давать волю своим эмоциям. Закон есть закон, и мы должны осуществить его спокойно, закрыв свои сердца для любых эмоций, столь свойственных людям. Напоминаю вам снова, джентльмены, это первый в истории юриспруденции процесс подобного рода. Мы не имеем права не только каким-нибудь неверным шагом, но и излишней торопливостью подорвать доверие к только что созданным законам. Чтобы выполоть вредное растение, мало оторвать его стебель, надо нащупать и удалить все его корни, все ответвления этих корней, порой не фиксируемые простым глазом. А для этого следует не только копать, но и тщательно просеивать выкопанную землю, как делаю я в своем саду, готовясь сажать розы. Надеюсь, джентльмены, что эта дружеская беседа не интервью. Как судья, я не имею права до оглашения приговора делать какие-либо заявления для печати.

Мысли, высказанные представителем Трибунала, несомненно, заинтересовали бы читателей «Правды», но мы тут же дали слово, что ни строки об этом не напечатаем. Однако в дневнике под свежим впечатлением от беседы я записываю разговор с Лоренсом, ибо мне кажется, что слова его не потеряют своей значимости и в будущем.

Перекинувшись с нами еще несколькими незначительными фразами, лорд Лоренс, прикоснувшись губами к своему бокалу, мелкими шажками отошел к другой группе гостей.

В финале этого симпатичного вечера произошел очередной забавный эпизод. Дружеская атмосфера, воцарившаяся на вечере, к концу его растопила последние льдинки официальности. Стало шумно. Гости потребовали русских песен. Ну что ж, почему не потешить их!

И мы грянули, не очень, правда, стройно, сначала «Вниз по матушке по Волге», затем «Из-за острова на стрежень». Наш пример оказался заразительным. Рослый рыжий шотландец, явившийся на прием в традиционном национальном костюме — в гетрах, в коротенькой юбочке и черной курточке с блестящими пуговицами, взяв у музыканта флейту, стал наигрывать мотивы своей родины. Американцы рванули широко известную и у нас песню летчиков: «...Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле...» Ну, а англичане ответили своим «До свиданья, Пикадилли».

Хоры перемешались. Теперь уже всем хотелось петь. Шум стоял невероятный. И, не знаю уж по чьему заказу, оркестр заиграл «Барыню». Переводчица Таня, очаровательная черноглазая брюнетка, пустилась в пляс, и вслед за ней, лихо выбивая дробь и приседая, выскочил в круг Роман Кармен. Это была красивая пара. Танцевали они так лихо, что зрители принялись звучно прихлопывать ладонями. Не стерпело сердце и у одного из англичан, которого мы знали как видного юриста, очень хладнокровного человека. Он тоже бросился в круг, выделывая вокруг пляшущей девушки какие-то свои, английские кренделя. Темп музыки ускорился. Кармен сбросил пиджак и засучил рукава сорочки. Его английский соревнователь, повторив то же самое, каким-то слишком уж сильным рывком оборвал пуговицы, державшие подтяжки, и сгоряча не заметил, как брюки, лишенные поддержки, поползли вниз. Он продолжал выделывать свои коленца, а между тем уже показывались ярко-голубые трикотажные исподники. И тут все мы увидели пример английской организованности: англичане-мужчины как-то сразу оказались на месте аварии, окружили танцора тесным кольцом и так, загораживая его собой, как ширмой, вывели из зала.

Веселье продолжалось и окончилось уже за полночь. Разъезжались все растроганные, полные впечатлений. Весенняя ночь дышала в окна машины ароматом последнего снега и пробужденной земли. Звезды, как это всегда бывает весной, точно дрожали, будто перемигиваясь в бархатном небе. Мы сидели молча, каждый по-своему переживая день Красной Армии, отпразднованный на чужбине. И где-то уже на самом подъезде к Штайну, обернувшись к нам, Николай Жуков, сидевший рядом с Куртом, сказал:

— А все-таки, братцы, это здорово — носить мундир Красной Армии.

КОКТЕЙЛЬ — «СЭР УИННИ»

У меня завелись новые друзья. Целая компания немецких друзей, с которыми установились наилучшие отношения. Это здешние воробьи. Моя дружба с ними завязалась, когда я выставил в своей каморке окно и выкинул в садик крошки от сандвичей, ибо сейчас, экономя время, ужинать я не хожу, и бармен Дэвид присылает мне с кем-нибудь из наших кулечек с бутербродами. Так вот часть выброшенного попала на подоконник, и тотчас же перед моим носом возник довольно нахальный, энергичный воробей, очень приметный — куцый, должно быть. потерявший хвост в каком-то бурном конфликте. В меру подкрепившись, он скрылся и вернулся, приведя за собой целую веселую компанию. Но крошек уже не было. Куцый все слопал один. Пришлось, чтобы не разочаровывать гостей, искрошить целый сандвич. На мгновение отлетев, они тотчас же вернулись и подняли такой галдеж, какой бывает только в баре Дэвида в субботние вечера.

Так дальше и повелось. Воробьи пируют за окном, а я сижу у этого окна и работаю, причем ни та, ни другая сторона не нарушает своих границ. А как хорошо работать на заре в весенней, идущей со двора прохладе, под писк и гомон этой серой пернатой компании. Летчик в моей рукописи уже выполз из леса, подобран колхозниками, скоро вылетит в Москву. В одном из писем домой я рассказал жене о своей затее написать книгу. Чтобы связать себя обязательствами, пообещал закончить работу ко дню ее рождения. Она у меня ухитрилась родиться первого апреля и в ответном письме не без иронии заявила, что это обещание восприняла как аванс к заранее запланированной первоапрельской шутке. Теперь мне предстоит доказать, что я человек серьезный, и вот пишу, как заведенный, по-прежнему по десять даже по пятнадцать страниц в день.

Пишется необыкновенно легко. Повествование перешло уже ту грань, когда герои зажили каждый своей жизнью. Живут, действуют, и я едва поспеваю записывать их дела, мысли, намерения.

Сегодня, 12 марта, написал семнадцать страниц. Кажется, неплохая выработка, геноссе воробьи? Ну, ну, клюйте себе, и я тоже пойду позавтракаю и отправлюсь на процесс... обдумывать, как поведет себя мой летчик по прибытии в Москву, в госпиталь...

Но уже за завтраком в атмосфере пресс-кэмпа я почувствовал что-то необычайное — какую-то тревогу, озабоченность. Наши западные коллеги вопросительно посматривают на нас. Обычно не очень торопящиеся во Дворец юстиции, сегодня они завтракали быстро, выскакивали из-за стола и бежали к фургонам. Несколько раз прозвучал по радио голос дежурного по пресс-кэмпу:

— Мистера такого-то из такой-то газеты вызывает по телефону его босс... Спасибо!

Я понял: вновь произошло нечто необычное,— и тоже поспешил в суд. Курт встретил меня в машине вопросительным взглядом. Слушал ли я сегодня утром радио? Нет? Он слушал. Сэр Уинстон Черчилль призывает к войне с Советским Союзом. В городе только и разговоров об этой речи.

— Черчилль? Призывает к войне? Когда? Где?

Курт точно не знал. Он застал самый конец передачи. Но об этом говорят все... Час от часу не легче. В наших русских комнатах в суде тоже никто ничего толком не знает. Но слухи обсуждаются на все лады. Будто бы Черчилль действительно произнес в Америке речь, в которой призывал западные страны объединиться против нас.

Вот по коридору спешит Олег Трояновский — симпатичный молодой человек, слывущий и среди нас и среди американцев отличным знатоком английского и русского языков. Он сын известного советского дипломата. Большой умница. На процессе он сидит позади Главного нашего судьи, помогая судьям вести переговоры между собой. К его консультации прибегают обычно, когда возникают сомнения в точности и идентичности перевода текста. Сейчас он идет по коридору, держа под мышкой пачку только что прибывших американских газет, читая на ходу одну из них.

— Олег, что случилось?

— После, после, очень тороплюсь.

— Но все-таки?

Он так же на ходу переводит мне шапку одной из газет, кажется, парижского издания «Нью-Йорк геральд

трибюн». Через всю полосу крупным шрифтом: «Черчилль: Объединяйтесь, чтобы остановить Россию».

Наконец со стопкой газет приходит наша Анечка, и мы все узнаем. Вчера в Америке, в университетском городке Фултоне, где по традиции раз в год выступает какой-нибудь видный мировой общественный деятель и говорит о том, что кажется ему самым важным, выступил Уинстон Черчилль. Смысл его речи отражен в уже процитированном мной заголовке. Заголовки и шапки других американских газет повторяют или расшифровывают его: «Сэр Уинстон Черчилль призывает к созданию единого фронта против Москвы», «Коммунизм — самая большая опасность современности», «Западный мир должен дать отпор советской экспансии»...

Аня перевела нам всю речь. Все это, в сущности, было не очень неожиданным, ибо нечто подобное в последние месяцы в той или иной форме уже мелькает в печати капиталистических стран. Но здесь под сообщениями подобного рода как бы проведена жирная черта. Уинстон Черчилль говорил без обиняков, называл вещи своими именами и откровенно размахивал перед трусливыми буржуазными обывателями старой тряпкой антикоммунизма.

— А что вы хотите? Чтобы Черчилль сменил кожу? Волк остается волком...— бросал сквозь зубы Всеволод Вишневский.— Они не угомонятся... Они боятся мира... Для них мир — кость в горле... Вы, что же, полагали, что волк когда-нибудь будет есть травку?

— Это очень серьезно,— тихо сказал Ярослав Галан, и все повернулись к нему, ибо знали, что этот человек даром слов на ветер не бросает.— У меня тут знакомые среди славянских эмигрантов — фанатичные католики. Они говорят, что в здешних католических кирхах ксендзы уже давно призывают в своих проповедях объединяться против коммунизма. Они называют коммунизм сатанинской ересью. Вы, наверное, слышали, что на рождество были убиты два местных жителя — коммунисты, освобожденные из концентрационного лагеря.

Кто-то, вспомнив стихи Маяковского, громко продекламировал:

Достопочтенный лорд Черчилль
Весьма в ругне переперчил,
Кричит, как будто чирьи
Вскочили на Черчилле.

Было очень интересно, как отразится речь Черчилля на судебном процессе. Неужели окажется прав Роберт Лей, который еще шесть месяцев назад писал из тюрьмы свои меморандумы в различные адреса западных союзников, предлагая сотрудничество и свою помощь в борьбе против коммунизма? Тогда, в начале процесса, это казалось просто бредом фанатика, той самой соломинкой надежды, за которую пытался ухватиться преступник.

Но вот сейчас почти то же самое говорит не одуревший от страха, дрожащий за свою шкуру нацист, а недавний глава одного из могущественнейших государств антигитлеровской коалиции, виднейший после смерти Рузвельта лидер западного мира.

С особым вниманием вглядывались мы в этот день в лица судей, прокуроров, защитников, подсудимых. В перерыве мы заметили, что некоторые из защитников не ушли из зала, а, оставаясь на своих местах, стоя развернули газеты, как бы читая их, но на самом деле давая возможность своим подзащитным тоже видеть речь Черчилля. Ее таким образом читали и Геринг, и Гесс, и Риббентроп.

И все-таки, как мне кажется, ход суда остался неизменным. На поведение судей и прокуроров речь Черчилля пока что не повлияла. Иное — защитники и подсудимые. В этом стане явное оживление. Лица у всех возбужденные, даже радостные.

В журналистских кругах из уст в уста передаются фразы, которыми обменялись подсудимые. Нам уже говорили, что один из американских часовых, высокий, красивый парень с круглым интеллигентным лицом, был прежде циркачом, он будто бы обладает феноменальной памятью, и коронный цирковой номер его состоял в том, что зрители читали ему страничку какого-либо текста на каком-либо из европейских языков и он тут же воспроизводил этот незнакомый текст слово в слово, даже если не знал этого языка. И вот сейчас уверяют, будто этого парня ставят в караул именно в те часы, когда нужно знать, о чем переговариваются подсудимые. Кое-кто из американских журналистов, и, разумеется, вездесущая Пегги, дружит с этим джи-ай, и он за небольшую плату снабжает их информацией.

Сегодня мы узнали от американских коллег, что, по словам часового, Геринг, услышав утром от своего адвоката о выступлении Черчилля, воскликнул:

— Что я говорил! Летом прошлого года я не надеялся больше увидеть осень, а сейчас если доживу до осени, то, наверное, увижу не только, ее, но зиму, лето, весну и не один раз... Они перегрызутся между собой, прежде чем составят свой приговор.

— Я всегда этого ожидал. Черчилль все-таки не дурак,— заметил Риббентроп.— Мы ему ближе, чем красные.

Нейрат, Папен и Шахт обменялись такими репликами:

— Однако, черт возьми, очень уж он откровенен.

— Чувствует, что сглупил в Тегеране и даже в Ялте поставил не на ту лошадь.

— Британия остается Британией, а британская политика британской политикой.

Рудольф Гесс заявил Герингу:

— Вы еще будете фюрером Германии...

Так ли именно говорили подсудимые, ручаться трудно, ибо сами слова эти в передаче могли трансформироваться, но было ясно, что подсудимые ликовали. Они мысленно аплодировали Черчиллю как своему духовному собрату.

Но суд шел по-прежнему спокойно и неторопливо. Заседание кончилось, как обычно. И все же тревожно, очень тревожно на душе. В коридоре по окончании заседания Всеволод Вишневский беседовал с окружавшими его западными корреспондентами.

— Господа, Черчилль есть Черчилль. Мы знаем его с первых лет существования Советской власти. Он организовал блокаду нашего молодого государства, старался вредить нам чем и где только мог. Поэтому сейчас ничего нового. Ничего удивительного.

Но кто оперативнее всех отреагировал на речь Черчилля, так это наш Дэвид. На упоминавшейся уже мной табличке коктейлей сегодня лидерствовал новый коктейль «Сэр Уинни».

У стойки оживленно шумела толпа журналистов, опробуя это новое изобретение. Протиснулись к Дэвиду, заказали по порции и мы с Жуковым, тотчас же пожалев об этом: смесь прямо-таки обжигала рот. По вкусу угадывалось, что не обошлось без спирта и чего-то вроде той пряной микстуры, которую нам в детстве давали от кашля.

Не допив, мы отставили бокалы. Рядом на высоких стульчиках сидели Ральф и Таня.

— Ну как вам «Сэр Уинни»? — спросил я их, неторопливо потягивавших через соломинку жгучую жидкость.

— Так себе...— дипломатично отозвалась Таня.

— Невкусно, очень невкусно, а главное, не ново,— сказал Ральф.

Толковать эту фразу я был волен по своему разумению.

«ВТОРОЙ НАЦИ» ГЕРМАНИИ ДЕРЖИТ ОТВЕТ

Фигура Германа Вильгельма Геринга не представляла особого интереса для редакции «Правды», которая справедливо интересуется не столько личностями подсудимых, сколько злодеяниями той политической системы, кою эти личности представляют. Нацизм как новейшее и крайнее выражение империализма, империалистической психологии — вот что главным образом интересует читателей моей газеты. Поэтому допрос Геринга, который обвинители ведут уже несколько дней, для меня не сенсация.

Но для наших западных коллег опять наступила пора буйного ажиотажа. Не раз уже звучали за эти последние дни в помещениях Дворца юстиции три сигнала, возвещая очередную сенсацию. Журналисты взапуски описывают «второго наци» Германии, его самочувствие, его серую форму из замши, хранящую следы бесчисленного количества орденов, когда-то украшавших ее хозяина. Вновь и вновь обращаются к его теперь уже вовсе непривлекательной внешности, информируют читателей о его сне и аппетите. Сержант, славящийся своей памятью, за эти дни, вероятно, разбогател. На телеграфе очередь, ссоры. Дело доходит чуть ли не до рукопашной.

В первый день допроса, когда Геринг еще только занял место перед микрофоном с двумя американскими солдатами по бокам, в перерыве произошла такая сцена. Несколько корреспондентов устремились ко мне, таща за руку какую-то молоденькую женщину, как выяснилось, русскую княжну Лопухину, привезенную из Парижа и работающую переводчицей.

— Эти господа просят вам передать, что вы представляете гуманную державу, где, по их словам, царят равенство и братство,— испуганно частила маленькая аристократка.— Они просят вас помочь им, как скромным

труженикам западной печати, которым сейчас угрожают большие неприятности...

— К вашим услугам, коллеги, чем вам может помочь журналист самой гуманной державы? В чем дело?

А дело оказалось в том, что сегодня, когда все западные газеты заблаговременно объявили о том, что будут допрашивать Геринга, один из нью-йоркских журналистов-бизнесменов, представляющий крупный пресс-концерн, занял телеграфные провода обеих компаний, связывающих Европу с Америкой. Его секретарши начали передавать по обоим каналам... Библию. Есть, оказывается, на Западе такое правило: однажды начатый передачей текст прерывать нельзя. Только через какое-то количество слов соответственно возрастает плата. Воспользовавшись этим, сей корреспондент, располагающий большими деньгами, заняв оба провода, между текстами Библии стал пропускать, может быть, и не очень интересные, но жадно ожидаемые за океаном сообщения вроде: «Сейчас в Нюрнберге прекрасная весна, во дворе Дворца юстиции зацветают вишни, а «второй наци» Германии Герман Геринг мечется по камере, ожидая вызова в суд». Снова текст Библии и опять фраза: «Геринг, славившийся некогда как один из самых тонких знатоков кулинарии, Геринг, кухня которого была одной из самых изысканных в Берлине, теперь, в ожидании допроса, ест овсяную кашу из крышки солдатского котелка». Снова Библия — и потом: «Ваш корреспондент беседовал вчера с женой Геринга, Эмми Геринг, певицей, пользовавшейся большим успехом у берлинских знатоков вокала. Эта моложавая женщина сорока одного года, все еще сохраняющая свежесть и красоту, сказала вашему корреспонденту, что слышала по радио голос бедного Германа и была поражена тем, как он слабо звучит».

Словом, по обоим каналам шел в Нью-Йорк поток вот такой ерунды, пока не начался сам допрос. Так эта крупная акула прессы оттерла от проводов всю мелкую рыбешку. А из-за океана, из редакций, уже летели грозные телеграммы: «Куда вы пропали, черт возьми? Почему молчите? Срочно передавайте всё о Геринге».

— Все ясно. Но чем именно я могу помочь коллегам, кроме выражения искреннего сочувствия?

Маленькая княжна с круглым, курносым личиком, густо поперченным по переносью веснушками, продолжала лепетать:

— Эти господа говорят, что они труженики печати и что вы, как представитель Советского Союза, должны обязательно им помочь. Их ждут крупные неприятности, их могут даже уволить.

— Но как? Как я могу это сделать?

— У вас есть свой провод, соединяющий вас с Москвой. Они хотят, чтобы вы помогли им воспользоваться этим проводом и передать их корреспонденции кружным путем — через Москву.

Очень, ну очень хотелось хоть чем-то помочь этим славным ребятам, которых я хорошо понимал. Но что можно было сделать? Наш провод был военным. Он шел через Берлин только до Москвы. У него не было выхода за границу. Я как мог объяснил им это, и княжна сочувственно перевела им мои слова.

— Но все же посоветуйте, что нам делать.

— Ей-богу, не знаю. Разве только вечером набить ему морду в темном уголке пресс-кэмпа.

Забегая вперед, скажу, что потом мне пришлось пожалеть о том, что я дал такой опрометчивый совет. А пока замечу лишь, что мы, советские корреспонденты, были в стороне от репортерского ажиотажа, бушующего все эти дни.

В ходе допроса Геринга я делал только заметки, но теперь, когда истинная физиономия этого «второго наци» Германии, «любимца партии национал-социалистов», «ближайшего друга и соратника фюрера» достаточно уже выявилась перед судом, стоит показать личность «верного паладина Гитлера».

В дни, пока идет допрос, я, все время вспоминая свой разговор с Георгием Димитровым, стараюсь вдуматься и понять, кем же был Герман Геринг. В самом деле, что могло сделать подобного человека одним из полновластных правителей такой большой и культурной страны, как Германия? И каждый день допроса убеждал меня, как был прав Димитров, говоря, что нацистских главарей, оказавшихся на скамье подсудимых, нельзя изображать с помощью старых штампов. Действительно, Геринг совсем не был толстой, глупой свиньей, как его обычно рисовали на карикатурах. Несомненно, в своем роде это личность выдающаяся, незаурядная, но незаурядная в пределах той отвратительной, уродливой и страшной системы, какой был национал-социализм. Геринг — один из создателей этой системы и в то же время типичнейшее

ее порождение. Он плоть от плоти, кость от кости национал-социализма, и преступность его как натуры во всех частных проявлениях — лишь выражение преступности, лежащей в фундаменте, на котором зиждился национал-социализм.

— Расскажите Трибуналу вашу биографию до начала первой мировой войны и во время ее,— просит подсудимого его защитник Штаммер.

Характерная биография молодого пруссака из военной среды. Кадетский корпус. Служба лейтенантом в пехоте. Курсы пилотов. Летчик. Летчик-разведчик, летчик-истребитель. Ранение. Возвращение в воздушный флот. Командир эскадрильи Рихтгофен. Геринг — герой немецкого мещанства. Его крупная, смазливая физиономия то и дело мелькает на страницах бульварных газет. Душка летчик. Смелый орел. Настоящий немец. Он беззастенчиво бомбит беззащитные французские города во время первой мировой войны.

Когда война заканчивается поражением Германии, он бежит за границу, прикрывая это трусливое бегство разговорами о несогласиях с Веймарской республикой, которой до него, в сущности, нет никакого дела.

В Германию он возвращается только, когда возникает опасность выдачи его Антанте, и тут судьба сталкивает Геринга с Гитлером. Они нашли друг друга. Ефрейтору Адольфу Шикльгруберу, ничем в прошлой войне не прославившемуся, Геринг нужен как недавний кумир прусского мещанства для придания благопристойности своей только что рожденной партии, сколачиваемой из погромщиков, хулиганов и деклассированных элементов. Герингу Гитлер нужен как некий пьедестал, на который он может подняться, чтобы снова стать заметной фигурой. Оба партнера отлично знают, что слово «социализм» в названии партии всего лишь маскировка и что лозунги ее адресованы не рабочим, а тем, кого на немецком языке зовут «митльштамм»,— оголтелому мещанству и деклассированным элементам. Гитлер, у которого тонкий нюх, сразу находит дело для бывшего офицера. Ему поручается организация банд национал-социализма, коротко именующихся штурмовиками. Но есть для него у Гитлера и другое, более важное дело: он старается использовать бывшего аса кайзеровской авиации для связи с банкирскими и промышленными кругами, которые еще лишь осторожно приглядываются к новой партии, ибо в названии, ее име-

ется слово «социализм», а среди членов пока что преобладает весьма нереспектабельный сброд. И Геринг становится прочным связующим звеном между Гитлером и руководителями немецких концернов.

После неудачного нацистского путча в Мюнхене, где Геринга ранят во время потасовки, он вновь бежит за границу. Возвращается лишь в 1927 году и опять широко используется Гитлером для связи с магнатами капитала и банковскими воротилами. Но руководство штурмовиками и охранными отрядами — этой боевой силой нацизма — осуществляет уже Эрнст Рем.

Геринг снова на пьедестале, и вот тут-то, на примере его биографии, и раскрывается, что за бандой была верхушка национал-социалистской партии, вскармливаемая деньгами промышленных сверхмагнатов, всех этих круппов, тиссенов, фиглеров. С их помощью и поддержкой Гитлер начинает готовиться к захвату власти. Как, какими методами это делалось, Геринг и рассказал на процессе. Главный американский Обвинитель спросил его, рассчитывал ли он с самого начала свергнуть правительство Веймарской республики. Геринг цинично отвечает: что касается меня, это всегда было моим личным намерением.

ДЖЕКСОН. А придя к власти, вы немедленно уничтожили парламентское правительство Германии?

ГЕРИНГ. Оно нам больше не было нужно.

В этих словах военного преступника — суть политики нацистов, направляющейся главарями немецких монополий. При чем тут законы? При чем тут воля народа? «Нам оно не было нужно» — и все. Интересно, что в западной печати и в печати американской эта столь существенная часть показаний Геринга, в чем мы убедились, получив газеты, совсем не была отражена, сообщалось о том, как выглядит Геринг, о том, как бедняжка Эмми Геринг, прибывшая в эти края и обосновавшаяся на вилле вблизи Нюрнберга, страдает потому, что ее Герман, привыкший к вкусной пище, к прогулкам после обеда и к охоте, ныне лишен всего этого, а о самом существенном, о том, как нацизм, выражая волю монополий, расправился с Веймарской республикой, говорилось лишь вскользь. Почему? Да, вероятно, все по той же болгарской народной пословице: «Ворон ворону глаз не выклюет».

С особым вниманием я, естественно, слежу за теми показаниями Геринга, которые относятся к событиям,

происшедшим в ночь на 27 февраля 1933 года, к пожару рейхстага, этому «главному делу Геринга», после которого была запрещена Компартия Германии и запрещение ее узаконено. Это интересует меня тем более, что моему приезду сюда предшествовала, как я уже писал, встреча с другим главным действующим лицом этой трагедии — Георгием Димитровым. По вечерам я перечитываю стенограмму Лейпцигского процесса, добытую в нашей юридической библиотеке. Ведь и процесс этот, дутый от начала и до конца, был выдуман лишь для того, чтобы оправдать в глазах мирового общественного мнения расправу гитлеровцев со своими главными и последовательными противниками — коммунистами — и представить национал-социализм как «оплот западной цивилизации против коммунистических варваров». На том процессе Георгий Димитров, находясь на скамье подсудимых, чувствовал и вел себя как обвинитель на прокурорской трибуне и не оправдывался, а обличал. «Я здесь не должник, а кредитор», — гордо заявил он и смело бросил свой вызов в лицо тем, кто был его судьями. «Вы хотели политического процесса. Вы получите политический процесс».

И вот инициатор и исполнитель этой грандиозной провокации Геринг, который пытался скрестить шпагу с Димитровым в Лейпциге, теперь сам на скамье подсудимых. Это и хитрый подлец, и ловкий интриган, и надутый позер одновременно. Когда пылал подожженный по его приказу рейхстаг, он, подобно Нерону, вместе с Гитлером наблюдал за бушующим огнем. На основе предъявленных доказательств суд точно знает, что оба они имели заранее составленные списки руководителей коммунистической партии и видных коммунистов и социал-демократов, которых следует арестовать сразу же, как только вспыхнет пожар.

— Это так? — спрашивает обвинитель Джексон.

— Мне не было смысла поджигать рейхстаг,— уходит от прямого ответа Геринг,— хотя, честно говоря, я ни минуты не сожалел о нем. Это громоздкое здание не имело какой-нибудь архитектурной ценности.

Геринг приперт к стенке. Суду известны имена трех штурмовиков, поджигавших по поручению Геринга здание. Видный гестаповец Гизевиус добавляет подробности: десять надежных штурмовиков были подготовлены для осуществления этого дела. Геринга информировали о всех

деталях намечавшегося плана. По его указанию было принято решение обвинить в поджоге коммуниста и начать аресты... Помещение рейхстага в эту ночь умышленно оставалось без пожарной охраны... Доказательства набегают одно на другое, но Геринг все еще старается вывернуться:

— В конце концов, если штурмовики действительно и подожгли рейхстаг, отсюда не следует, что я что-либо знал об этом.

На вопрос, почему же во время пожара, не предприняв даже попытки расследовать дело, Геринг сообщил, что рейхстаг подожгли коммунисты, он наконец выдавливает из себя: так хотел фюрер.

Путем провокации Гитлер и Геринг уничтожали не только своих прямых противников — коммунистов и социал-демократов, но теми же способами расправлялись и со своими соратниками. Я уже говорил, рассказывая о посещении комнаты Генриха Гофмана, как Геринг с помощью некой девицы Грюн устранил с поста военного министра весьма авторитетного в берлинских кругах генерала Бломберга. Так же одним махом он расправился со своим конкурентом за ближайшее место у кресла Гитлера — с Эрнстом Ремом, находившимся во главе огромной организации штурмовиков, набравшей к тому времени большую силу. В нужную минуту, когда болезненно подозрительный Гитлер был не в духе, Геринг подсунул ему донесение о том, что один из видных дятелей штурмовиков в Силезии стрелял в его портрет. Этого оказалось достаточным, чтобы Гитлер, уже и раньше опасавшийся Рема, поверил в заговор против своей персоны. И вот Герингу поручается организовать «ночь длинных ножей», когда одним махом уничтожаются все руководители шестимиллионной организации штурмовиков. Гитлер в Мюнхене. Он руководит арестом и убийством Рема. Геринг занимается тем же в Берлине, заботясь при этом о том, чтобы были арестованы и уничтожены все штурмовики, так или иначе участвовавшие в поджоге рейхстага. Провокациями изобилует вся биография Геринга.

И столь же густо отмечены его последние годы организацией агрессий. С великим бесстыдством дирижирует ими «верный Герман». Вот запись одного из его телефонных разговоров с Веной. Президент заупрямился, он не хочет под диктовку Берлина назначать вице-канцлером

видного австрийского нациста Зейсс-Инкварта, сидящего ныне на скамье подсудимых. Об этом по телефону докладывают Герингу.

ГЕРИНГ. Ну и что же? Тогда Зейсс-Инкварт должен выгнать к чертям такого президента.

И тут же диктуется по телефону состав нового австрийского правительства, а заодно и уведомление, что любой австриец, который не поддержит это правительство, будет передан военно-полевому суду немецких войск, как коммунист и изменник родины.

Вечером нацистский эмиссар в Вене рапортует Герингу по телефону, что нужное им правительство создано.

ГЕРИНГ (перебивая его). Да, да, правительство. Вы теперь правительство. Слушайте-ка, Кеплер. Берите карандаш и записывайте коммюнике, которое Зейсс-Инкварт передаст журналистам. Взяли карандаш? Пишите: «Временное австрийское правительство, которое после отставки Шушнига считает своей задачей установление мира и порядка в Австрии, направляет германскому правительству безотлагательную просьбу о поддержке его в решении этой задачи. С этой целью оно просит германское правительство как можно скорее прислать германские войска». Записали? Ну, действуйте.

Таким же наглым и бесстыдным образом поступает Геринг, решая судьбу народов Чехословакии, Польши, Норвегии, Бельгии, Голландии, Югославии, Греции. Разумеется, используются разные варианты, но суть остается та же. Это особый метод нацизма и представляющего его «верного Германа», которого Гитлер считал наиболее подходящим человеком для проведения всех операций по покорению стран Европы. На суде Геринг не очень активно опровергает все это.

Но как только дело доходит до Советского Союза, он не только присоединяется к стратегической линии защиты, стремящейся доказать, что война против СССР была вынужденной, превентивной, предупредительной, начатой лишь для того, чтобы предотвратить атаку со стороны Красной Армии. Он идет дальше. И хотя уже оглашен план «Барбаросса» и показания по поводу него десятков свидетелей, Герман Геринг сразу же начинает отпираться от участия в разработке плана. Происходит знаменательный диалог между ним и его защитником.

ДОКТОР ШТАММЕР. Расскажите, какова была тогда ваша позиция по вопросу о наступлении на Россию?

ГЕРИНГ. Я сам вначале был застигнут врасплох этим намерением фюрера и попросил его разрешить мне высказать свое мнение через несколько часов... Вечером я сказал ему: «Настоятельно, убедительно прошу вас, не начинайте войну с Россией, хотя бы в ближайшее время».

Но в ходе допроса советские обвинители, поочередно предъявляя свои доказательства, срывают с Геринга маску миролюбца.

На суде выясняется и то, что «второй наци» Германии, вершивший судьбы Европы, был в то же время первостатейным жуликом. Благодаря взяточничеству, присвоению чужого имущества сначала внутри страны, а потом и за ее пределами он стал богатейшим человеком Германии. Его замок Каринхалле сделался огромным хранилищем художественных сокровищ, свозившихся сюда из оккупированных стран. Геринг намеревался создать собственную картинную галерею, не меньшую, чем Лувр и Эрмитаж, и очень активно пополнял ее, вывозя лучшие полотна из частных собраний. На суде фигурировала телеграмма, посланная оккупационным чиновником из Парижа: «Специальный поезд фельдмаршала Геринга, состоящий из двадцати пяти вагонов, нагруженных ценными произведениями искусств, отправлен по назначению». В письме к Розенбергу Геринг хвастался: «Теперь, Альфред, у меня самое лучшее собрание художественных ценностей если и не во всей Европе, то по крайней мере в Германии».

Таким предстал перед судом Герман Вильгельм Геринг — рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами, уполномоченный по пятилетнему плану, организатор и руководитель СА и т. д. и т. п., ближайший Гитлеру человек.

Примечательно, что он, один из организаторов национал-социалистской партии, в ходе суда ни разу, подчеркиваю — ни разу не выступил в защиту национал-социализма, своих идеалов и, наконец, своего фюрера, который считал его верным другом. Одно стремление вывернуться, уйти от ответа, свалить все на трех покойников — Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Мне очень хочется попасть сейчас в Болгарию, увидеть Георгия Димитрова и рассказать ему, как вел себя организатор Лейпцигского процесса, сам оказавшись на скамье подсудимых.

Вот кто правил бы сейчас Европой, если бы Красная Армия в неимоверно трудной борьбе не положила бы предел захватам гитлеровцев.

МОЙ ГЕРОЙ ВЫРУЛИВАЕТ НА СТАРТ

Как ни странно, но именно допрос Германа Геринга сыграл положительную роль в моих литературных делах, никакого отношения к нему, Герингу, не имеющих. Я уже писал о том, что вынужденное признание «второго наци» Германии относительно «загадочного» советского человека, которого не понимала и не понимает буржуазная Европа, человека, который разгромил разбойничьи армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, который топил корабли Редера и в финале войны водрузил свое знамя на крыше цитадели нацизма, что это вынужденное признание заставило меня месяц назад сесть за книгу об одном из таких людей, старшем лейтенанте Алексее Маресьеве. Оттуда, из зала суда, где распутывается вереница нацистских злодеяний, спешил я к себе в каморку к повести о настоящем человеке, находя в ней забвение от всего того, что мы видим и слышим на процессе.

Разбитый, разгромленный, тонущий мир фашизма, главари которого держат ответ перед Судом Народов, сталкивается, таким образом, с простым, честным, светлым миром советского парня, и парень этот неизменно одерживает победу. Пишется удивительно хорошо, легко. Николай Жуков — старый друг и болельщик этой книги, недавно спрашивавший у меня вместо «здравствуй» пишу ли я,— теперь уже, хочет он того или нет, выслушивает каждое утро мой «творческий отчет» о перепетиях истории летчика, родившихся за минувшее утро, и неизменно подбадривает:

— Валяй, валяй дальше.

Пишу так усидчиво, что мои друзья, нюрнбергские воробьи, уже привыкшие с рассветом видеть в окне склоненную над столом человеческую фигуру, вероятно, стали принимать меня за некий странный, неодушевленный предмет и, насытившись кормом, который я с вечера насыпаю на подоконник, беззастенчиво влезают в комнату, прыгают по письменному столу, ведя между собой крикливые беседы, вероятно, на своем родном немецком языке.

И вот сегодня я вспугнул их, встав из-за стола раньше срока. На вопрос Жукова, встреченного возле умывальника, я ответил:

— Кончил.

— Да ну-у!

— Вот, брат, как у нас.

Я был страшно горд и как-то еще сам не освоился с тем, что книга, столько лет вызревавшая, наконец написана. Было даже почему-то грустно расставаться с ней. Договорился с машинисткой, живущей недалеко от нас во флигеле фаберовского дворца, что буду после заседаний диктовать ей. Начну с завтрашнего дня. Сейчас с волнением жду этого момента, ибо, как известно, именно машинистки в литературном мире считаются самыми внимательными читателями и самыми беспристрастными критиками. И как это приятно — взять со стола довольно толстую пачку исписанных листов, взвесить ее на руке и не без гордости сказать: «А ведь все это сделано меньше чем за месяц!»

По логике вещей сейчас бы самая пора лечь и выспаться. Ведь за последние недели, что там говорить, я здорово измотался, одичал. Хожу нестриженый, говорят, даже похудел, и это, наверное, так, ибо ворот гимнастерки стал ощутительно широк. Да где же, разве заснешь! Хочется что-то делать и делать.

Поехал во Дворец юстиции, дал телеграмму жене, отрапортовал, что обещанную повесть кончил, перепечатываю и ко дню рождения доставлю ей. И еще послал телеграмму в журнал «Октябрь», где я напечатал перед войной свою первую книгу, а в начале войны — отрывки из фронтовых дневников. Редактору Ф. И. Панферову, человеку, поддержавшему меня на первых, не очень твердых шагах в литературе, в телеграмме написал: «Окончил книгу неясного для меня жанра. Размер двенадцать печатных листов. Герой — летчик, фигура реальная, ориентировочное название «Повесть о настоящем человеке». Срок присылки — 1 апреля. Низко кланяюсь». Зачем написал эту вторую телеграмму, сам не знаю. Ведь глупо занимать в журнале очередь, не предлагая ничего, не зная, как будет принято написанное. Но теперь меня мучает нетерпение.

Вернувшись в пресс-кэмп, я не пошел в нашу вавилонскую башню, хотя сегодня там демонстрируется какой-то супербоевик, как раз с участием той самой актри-

сы, рядом с которой я сидел в день своего появления на процессе. Пошел в парк. Здесь все уже просохло, густо зеленеет трава, деревья распустились, и по оврагу, на дне которого звенит ручей, клубятся во тьме белые туманы цветущей черемухи.

Бродил по дорожкам, вдыхал буйные, бражные весенние ароматы и думал о своем герое. Мог бы такой оказаться в воздушных армадах Геринга? Ведь храбрецов и там хватало. Курт тоже неплохо повоевал — железные кресты они фронтовикам зря не давали. И горящий самолет он за линию фронта перетянул к своим, и из огня с парашютом прыгал. Но ведь сам же он признается, что двигал им страх упасть в расположении наших войск, желание выжить. А вот смог бы тот же Курт, славный в общем-то парень, вот так стремиться вернуться в авиацию, прилагать нечеловеческие усилия только для того, чтобы продолжать воевать и снова и снова подвергаться смертельному риску? И тут же, как бы сам собою вставал вопрос: а во имя чего? Для кого?

И вспомнилась мне беседа, давняя беседа за Днепром, в дни разгрома гитлеровских дивизий у Корсунь-Шевченковской на случайном ночлеге у танкистов маршала П. А. Ротмистрова. Ночевали мы в школе, где помещался штаб танковой бригады, и соседом моим по соломенному ложу оказался коренастый подполковник с большим, медного цвета лицом, перечеркнутым через бровь и нос жирным багровым шрамом. Говорили мы тогда о боевых делах и обсуждали, удастся ли все-таки сильной немецкой группировке хотя бы частично пробиться из окружающего ее кольца. Разные были мнения, но подполковник твердо стоял на своем: не сумеют. Управление у них мы расстроили.

— Немец в наступлении — сила,— хрипел он сорванным голосом.— В обороне тоже держится насмерть — будь здоров. Но вот если так, как здесь, расстроить управление,— стадо овец без козла. Мечутся туда-сюда. «Хенде хох», «Гитлер капут». Я вот думаю, доберемся мы до их фатерланда, не будет у них партизанской войны. Не сумеют. Настрой не тот...

Подполковник знал противника. Два раза довелось ему выбираться из окружения. Участвовал во множестве боев и был тяжело ранен. Ему можно было верить, но я все-таки спросил, почему он так думает.

— А потому, что идеи у них нет; бей, жги, грабь — разве это идея? Матка, курка! Матка, яйка!.. Это ведь только, когда вперед идут, тянет. А как вот теперь, так «хенде хох».

Я часто вспоминал потом эту беседу, когда мы наступали в Германии. Белые простыни свешивались из окон в занятых нами городах. Комендантским патрулям нечего было делать. Вервольфы? Да они оказались выдумкой доктора Геббельса. Мужчины, военные и штатские, по первому же объявлению организованнейшим образом являлись в наши военные комендатуры. Имевшие оружие сдавали его в указанные места.

Живешь вот в родной среде, где ты вырос, возмужал, вошел в большую жизнь, и все тебе кажется обыкновенным, будничным. Но получишь пример для сравнения, как бы приложишь масштабную линейку и вдруг увидишь то, чего дома и не замечаешь. Почувствуешь зримо, ощутимо, какой он особенный, небывалый — советский человек, насколько он духовно выше и чище людей капиталистического мира, насколько он добрее, мужественней, самоотверженней и, разумеется, сильней...

Чудесный весенний полумрак стоял под кронами старых дубов и грабов просторного парка. Из окон пресс-кэмпа доносилось гудение джаза, звенел в овраге ручей, и где-то в глубине парка ухал филин. Сапоги мои, исхлестанные влажной вешней травой, промокли, холодок пробрался под шинель, а в «халдейник» возвращаться не хотелось. С Алексеем Маресьевым простился. Там пусто. Не знаю, удастся ли заснуть.

Да, кстати, забыл сказать о новом трагикомическом происшествии. Когда в начале допроса Геринга американские коллеги просили помочь передать их корреспонденции через Москву, я в шутку посоветовал им при случае набить морду монополисту, захватившему провода и помешавшему им своевременно сообщить в свои газеты о событиях на процессе. Так что же вы думаете? Набили. Ей-богу! Во всяком случае, вот уже несколько дней он ходит с пластырем на подбородке, с синяком под глазом, и его ослепительная улыбка отчетливо обнажает отсутствие одного переднего зуба. Он, правда, всем объясняет, что споткнулся о ковровую дорожку на лестнице. Но объясняет так старательно, что это выглядит не очень правдоподобно.

ПРАЖСКИЕ КАНИКУЛЫ

Настала пасха. Чудесная весенняя погода. На все голоса, будто немцы в локале, в воскресный вечер орут за окном мои друзья-воробьи. В парке на солнечных пригорках полно подснежников. Местами их столько, что зеленая травка кажется голубой. На уцелевших колокольнях трезвонят колокола. Утром Курт явился ко мне в парадном, выглаженном, отчаянно благоухающем бензином костюме и торжественно поставил на стол нечто, завернутое в крахмальную салфетку. Это был пасхальный кухен — подобие нашего пирога с яблочным вареньем. Зная, что семья Курта живет впроголодь, что продукты здесь несусветно дороги, я оценил это как царский подарок. По счастью, у меня оказался пасхальный набор шоколада, купленный в американской офицерской лавке, и я смог ответить на столь щедрый дар достойной матушке Курта.

Сегодня мы с Куртом ненадолго расстаемся. Трибунал прервал свои заседания на пасхальные каникулы, и мы, группа журналистов — Юрий Корольков, Михаил Гус, Сергей Крушинский, Николай Ланин, Борис Афанасьев и я,— приняли приглашение наших чешских друзей провести эти дни в Чехословакии. С этими веселыми, остроумными коллегами у нас завязалась, как я уже говорил, самая нежная дружба. Мастера своего дела, да к тому же понаторевшие в международных общениях, они здорово нам помогают, ибо настоящего зарубежного опыта ни у кого из нас, кроме Даниила Краминова, нет. Теперь друзья и предложили проехаться по их стране. Аппарат Главного представителя чехословацкой юстиции быстро оформил наши паспорта, обменял нам валюту, и рано утром на второй день пасхи мы были уже на Восточном вокзале Нюрнберга.

За годы войны, да и после мне довелось немало путешествовать за границей. Летал на самолетах, ездил на машинах, на вездеходах. В дни словацкого восстания приходилось даже совершать немалые концы на лошадях. А вот на поезде с начала войны не ездил ни разу. С отвычки было даже как-то странно залезать в вагон. И, вероятно, оттого, что давно уже не слышал мерного постукивания колес, я сразу же уснул самым позорным образом.

Мы заняли два смежных купе. Одно — русские, другое — чехи и словаки. Когда меня разбудил какой-то толчок, все уже перемешалось. Те и другие теснились на скамейках, сидели на корточках на полу и самозабвенно распевали «Катюшу», каждый на своем языке. Среди пражан, ехавших на праздник домой, был радист пражского розгласа — молодой парень с очень приятным голосом. Он запевал эту всемирно известную теперь песню, все подхватывали с таким прилежанием и удовольствием, что мне показалось, будто именно от этого вздрагивает и раскачивается вагон. Потом иностранные коллеги завели какую-то свою, веселую, озорную, с весьма игривым содержанием и задорным припевом, и мы, уловив мотив, старательно тянули этот припев, кто как мог.

А за окном буйствовала весна. Ярко зеленели освободившиеся от снега озими, а цветущие сады казались бело-розовыми облаками, приклеившимися к жирной, напоенной влагой земле. Война миновала или, вернее, едва задела эти края. Селения и городки с островерхими домиками, с костелами и кирхами, вонзавшими острия своих колоколен в голубое небо, казались чисто вымытыми, прибранными. Но станционные буфеты были пусты, а празднично одетые жители выглядели голодновато. Там и тут можно было видеть весьма достойных, чистенько одетых нищих. Мы ничего не взяли с собой, кроме денег, но наши друзья оказались более предусмотрительными. В их рюкзаках нашелся запасец продуктов на дорогу и несколько склянок со сливовицей и боровичкой — напитками, как это помнили мы с Крушинским по дням войны, весьма достойными внимания, располагающими к сердечности и дружбе. Никто из советских корреспондентов, кроме нас двоих, в Чехословакии еще не был. Мы же знали страну и ехали, волнуясь, как на свидание с любимой.

Границу пересекли как-то незаметно. Пейзаж почти не изменился: те же пологие горы и холмы, те же селения с островерхими черепичными домиками, те же городки с выложенными брусчаткой улочками, скромными магазинами. Изменилась только форма железнодорожников, а селения сразу же как бы обезлюдели: немецкое население ушло отсюда за границу, а новое, вероятно, не успело еще появиться.

На черных и быстрых «татрах» мы колесили вдоль и поперек по этой приветливой, уютной земле. На знаменитых фабриках богемского хрусталя наблюдали, как

стеклодувы превращают разноцветное стекло в цветы и деревья, людей и животных, в удивительные вазы и сверкающие бокалы. Спускались в подвалы пльзеньских заводов, где нынешние крепкие, румяные алхимики отстаивали всемирно знаменитое пиво. Мария Майерова возила нас в центр металлургов — Кладно, в «наше черное Кладно», как говорила она. Она показала нам мартеновский цех, где когда-то был сталеваром ее отчим и где до сих пор ее, известную писательницу, зовут Марженкой. Нас водили в средневековые соборы, показывали древнейшее еврейское кладбище, спрятавшееся среди вполне современных домов в центре города. Угощали на банкетах и запросто приглашали в дома.

Нас принял министр иностранных дел республики. Он был дружелюбен, весел, шутя уверял, что в иностранных делах мало что понимает, и переадресовывал все наши вопросы к своему заместителю, а сам, посмеиваясь, учил нас, как отличать настоящее пльзеньское пиво от всех других сортов, и для этого клал на пивную пену увесистую пятикронную монету, которая, по его уверению, если пиво настоящее, пльзеньское, должна держаться на поверхности и не тонуть. Мы сердечно беседовали с нашим старым и добрым другом профессором Зденеком Неедлы, знаменитым ученым и давним другом Советской страны, с многими деятелями литературы и искусства.

Но мне особенно дорога была встреча с генералом армии Людвиком Свободой, ибо война не раз сводила меня на разных фронтах с этим человеком. Как и Мария Майерова, он кажется мне живым олицетворением лучших качеств своего народа. Теперь он военный министр республики, но, несмотря на столь высокий пост, остался прежним. Запросто, как когда-то на фронте, на своем командном пункте, встретил он нас у дверей кабинета.

— Добро пожаловать, друзья...

И стал крепко пожимать руки...

— Помнишь, как ты с товарищем Лидовым свалились мне на голову прямо с неба? — спросил он, усмехнувшись, когда очередь дошла до меня.

Ну как же не помнить! Мы с Петром Лидовым довольно поздно узнали, что новый, сформированный где-то у города Бузулука особый чехословацкий батальон, прибывший на наш фронт, в район Харькова, готовится принять боевое крещение. Это ли не материал для «Правды»! Такое событие нельзя прозевать. И мы упросили

летчика вылететь в штаб батальона, несмотря на то, что с утра завязалась метель.

Поднялись без приключений, но пурга стирала земные ориентиры, и, долетев до места, мы полчаса кружили, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в снежной кипени. Наконец сквозь пелену несущегося снега летчик заметил верхушку полуразрушенной колокольни. Он узнал ее, эту колокольню, и скорее по памяти, чем по каким-то видимым ориентирам, посадил самолет у околицы, так что он по инерции подбежал к крыльцу сельской школы. А на крыльце стоял и следил за нашими маневрами в воздухе офицер в ушанке, на которой красовалась не красная звезда, а герб Чехословакии. На офицере был обычный, плотно перетянутый ремнем армейский полушубок. Знаков различия мы не увидали, но было в его невысокой, прямой, осанистой фигуре что-то такое, что заставило нас, двух майоров, подойти к нему строевым шагом и представиться по всем военным правилам.

— Командир чехословацкого батальона полковник Свобода,— сказал он по-русски. И тут же перешел на «ты», что в его устах отнюдь не звучало фамильярно, а было лишь данью традиции его армии, где старшие офицеры обращаются так друг к другу.

Разумеется, еще до вылета в батальон мы познакомились с биографией этого человека. Удивительной, можно сказать, биографией. Чех по национальности, молодой офицер австрийской армии, он в дни первой мировой войны встал на сторону русских. Командовал взводом. Отличился в боях. Храбрость его была отмечена Георгиевским крестом. Когда гитлеровские войска оккупировали Чехию и Моравию, Свобода, офицер, командир учебной роты, не сложил оружия. Вместе со своими солдатами он перешел через польскую границу с тем, чтобы на польской земле сражаться с врагами своей родины. Но гитлеровские части заняли и Польшу. Тогда Свобода перешел советскую границу, решив продолжать борьбу с общим врагом уже на советской земле. И вот его мечта сбывалась. Его батальон, который по численности превосходил полк, отлично обученный и вооруженный, подошел к линии фронта, готовый вместе с советскими дивизиями сражаться на земле Украины с фашистами. Мы с Лидовым прибыли вовремя, и Свобода, явно гордясь своими солдатами, познакомил нас с боевым расположением подразделений.

— Отсюда, от этого села Соколува, мы начнем свой бой за освобождение Чехословакии,— сказал он, теребя желтые кожаные перчатки, которые, не надевая, все время держал в руках.

О, это был яростный бой, в котором получила славное крещение возрожденная Чехословацкая армия, бой, в котором узы дружбы, кровь, совместно пролитая в боях, связали наши народы. Недаром, как нам рассказал теперь военный министр Свобода, в честь этого боя выбита сейчас медаль, считающаяся одной из почетнейших наград в его армии...

И еще я вспомнил, когда мы уже сидели за кофе в кабинете военного министра республики, один осенний день, Карпаты, окрашенные в желтые, оранжевые, красные тона. Холодное утро, покрывшее все седым налетом росы. И затаившиеся в горном мелколесье части чехословацкого корпуса, одетого уже в свою национальную форму. Тысячи километров через земли Украины, Молдавии, Польши прошли с боями эти части под командованием Людвика Свободы, прежде чем сбылась его давняя и горячая мечта. Они находились у границы родной земли. Чехословакия — вот она, совсем рядом, и здесь, где особенно чистый воздух скрадывает перспективу, кажется — протяни руку, и можно погладить по лесистой маковке пологую гору Дуклю, уже на чехословацкой стороне. Солнце еще не поднялось. Вершина Дукли была лишь слабо обрисована косыми его лучами.

Солдаты затаились на рубеже атаки. Волнуются. Нервно курят. Разговаривают шепотом. Из рук в руки передается листовка: «Чехословакия рядом. Будем достойны нашей Родины!» И среди всех них спокойным кажется лишь один — генерал Людвик Свобода. Движения неторопливы, поступь четкая, голос твердый. Разве только по тому, как без нужды перебрасывает он из руки в руку желтые перчатки, можно угадать, что и он волнуется не меньше своих солдат... Не хочет ли генерал что-нибудь сказать перед историческим боем читателям «Правды»?.. Нет, не сейчас, вечером... После боя. Там, на земле Чехословакии, если, конечно... Что «если, конечно», он не поясняет. Настоящие военные никогда не говорят об этом, а он настоящий военный.

— Ну, пожелайте нам удачи.

Желаю. От души желаю. И этому храброму, умному генералу. И его корпусу, на национальном знамени кото-

рого теперь уже ленты советских боевых орденов. И его солдатам, среди которых у меня есть старые друзья. А через полчаса горы сотрясает грохот мощной артиллерийской подготовки. И мы видим в бинокль, как там, впереди, на лысый рыжий холм начинают карабкаться серые фигурки. Гребень холма затягивает голубоватым пороховым дымом. Там немецкие пулеметы. Но серые фигурки поднимаются все выше и выше. Где-то среди них движется красно-сине-белая точка. Это знамя. Оно маячит среди наступающих. Вот тот, кто его нес, упал. Но знамя продолжает двигаться. Его несет другой... Третий... Пятый... Уже много темных фигурок застыло на склоне выжженного солнцем холма. Но знамя — вот оно, реет на гребне, над самой вершиной, на первых километрах чехословацкой земли, освобожденной от врага.

Неприятельская артиллерия неистовствует. Бьют издалека, с горы, с очень выгодных позиций. Черные султаны взрывов вздымаются там и здесь. Весь холм одевается грязно-бурой дымкой. Но и сквозь эту дымку все-таки видна яркая точка: чехословацкое знамя на чехословацкой земле.

Оглядываюсь на генерала. Его лицо бронзовое от загара. Он без пилотки. Ветер шевелит пряди совсем уже седых волос. Лицо — по-прежнему спокойно, как спокоен и тверд голос, которым он отдает короткие приказы, но на светлых глазах слезы. Он этого не замечает. И когда разорвавшаяся невдалеке мина взметывает комья земли, он даже не оглядывается, так поглощен зрелищем наступления...

...Вот что вспоминалось мне, пока мы отхлебывали кофе из маленьких чашечек в кабинете военного министра республики.

В конце поездки мы получили необыкновенный подарок. Удивительный. Нет, нет, я не говорю о чешских и словацких, согретых сочным юмором сувенирах, которые во множестве увозит каждый из нас.

В редакции «Руде право» нам подарили оттиски с гранок еще не вышедшей книги. Книги, написанной журналистом по имени Юлиус Фучик. До войны он был корреспондентом этой газеты в Москве. В войну — подпольщиком. Его арестовали гестаповцы. Судили и вынесли смертный приговор. Он сидел, ожидая казни, в старой тюрьме. Но и в заключении, приговоренный к смерти, он оставался боевым коммунистом и неистовым репорте-

ром. В камере смертников он писал репортажи. Писал на папиросной бумаге и по листкам с чехом-смотрителем тюрьмы отсылал на волю. Писал до самого последнего своего часа.

Теперь чех-смотритель отдал тайно сохраненные листки друзьям казненного. Из них сложилась целая книга. Ей дали странное на наш слух название — «Репортаж с петлей на шее». Странное, но точное.

— Бо́рис, у этой книги в коммунистическом мире большое будущее,— говорила Мария Майерова.— Я знаю ваш народ, народ-подвижник, народ-герой... Вам придется по душе эта книга. До сих пор вы хорошо знали «Бравого солдата Швейка». Пусть теперь русские знают, что у нас был и Юлиус Фучик,— продолжала она, поглаживая маленькой рукой типографские гранки.— Это вам обязательно надо знать...

Мы приняли дар с благодарностью. Обещали отослать его в Москву. Сергей Крушинский, немного знающий чешский язык, читает эти гранки и в пути и на отдыхе. Он с головой ушел в них.

— Грандиозная книга! — говорит этот очень скупой на похвалы человек, больше всего на свете не любящий восклицательные знаки.

Пока что мы верим ему на слово...

Так, под звон пасхальных колоколов, мы насыщались впечатлениями, и когда сейчас, вернувшись в Нюрнберг, в свою каморку под лестницей в нашем «халдейнике», я вспоминаю о нашей поездке и ищу главное в массе полученных впечатлений, этим главным остается то чувство прочной дружбы, которым было согрето наше пребывание в Чехословакии.

И впрямь, кто мы такие? Горстка журналистов, в общем-то, случайно забредших в эту страну, где сейчас, как мы в том убедились, гостей из мира прессы больше, чем в какой-либо другой. У нас нет ни долларов, ни фунтов, ни швейцарских франков, ни иной звонкой монеты, которая обычно так располагает к иностранным посетителям. Да и чехословацких крон было в обрез. Но на нас шинели Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота, и для нас открываются и двери писательских домов, и мастерские скульпторов, художников, и гостиные творческих клубов, и человеческие сердца.

Когда думаешь о том огромном авторитете, о той любви, которую завоевала Красная Армия своими победами

и своим гуманным поведением на освобожденных землях, приходишь к мысли, что любовь эту надо оправдывать и сейчас, после войны, и что каждый из нас, советских людей, оказавшись за границей, должен все время ощущать себя там послом своей Родины.

КРОКОДИЛ РОНЯЕТ СЛЕЗЫ

Пасхальные каникулы закончились. Мы снова в мрачноватом, облицованном дубом зале суда. Колесница процесса неторопливо двинулась в дальнейший путь, конец которого все еще за горизонтом. Снова сидим в удобных креслах. Сменяются на трибуне свидетели, в наушниках журчат голоса переводчиков.

С сегодняшнего дня суду держит ответ уполномоченный нацистской партии по вопросам внешней политики — рейхсминистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. В памятной мне комнате № 158 у гитлеровского лейб-фотографа Генриха Гофмана я видел снимки Риббентропа в расцвете его карьеры. Вот он в отлично сшитом фраке, с массой орденских лент на лацкане, с золотым жетоном нацистской партии в петлице, самодовольно улыбаясь, поднимает хрустальный бокал шампанского. Вот в дни мюнхенского сговора он подчеркнуто властным жестом хозяина указывает Даладье, где этот капитулировавший политик должен ставить свою подпись. Вот получает орден из рук венгерского диктатора, сухопутного адмирала Хорти. Самодовольный красавец, гордый сознанием своей силы и власти.

Подсудимый Риббентроп оказался совсем не похожим на рейхсминистра Иоахима фон Риббентропа — он худой, облезлый, испуганный, заискивающий, блудливо предупредительный в отношении судей, обвинителей и даже свидетелей. И когда мы слушали разбирательство его дела, в памяти все время возникало индийское поверье, утверждающее, будто, когда крокодил пожирает свою жертву, из глаз его текут обильные слезы.

Этот человек, ведавший дипломатией «третьего рейха», развозил в своем чемодане по миру семена провокаций, диверсий, бесстыдного обмана и иные неотъемлемые атрибуты нацистской внешней политики. Мы уже понаторели в судебных делах, и еще до того, как Риббентроп раскрыл рот для показаний, нам по ходу выступлений

свидетелей, представленных адвокатурой, стал ясен план его защиты. Это была вздорная попытка объявить старого, облезлого фашистского коршуна мирной голубкой, не мечтавшей ни о чем, кроме мира во всем мире. План этот имеет и дальний прицел: обеляя Риббентропа, выгородить всю нацистскую дипломатию и даже свалить вину за разжигание второй империалистической войны на правительства стран, ставших жертвами нацистской агрессии, и, в частности, на правительство Советского Союза.

И как ни нелеп был этот новый фонтан бесстыдной лжи, как ни смешон был управляющий этим фонтаном защитник Риббентропа доктор Горн, составляя сценарий свидетельских показаний, защита направляла их именно по этому пути.

Из слов бывшего статс-секретаря министра иностранных дел барона фон Штессенграхта мы узнали, что Гитлер, Геринг, Гесс были, разумеется, «типичные наци», то есть, как откровенно разъяснил тут же свидетель, выскочки, проходимцы, прохвосты, которые действительно виноваты перед человечеством. Но Иоахим фон Риббентроп — нет! Боже сохрани! Ничего подобного! С нацистской партией он связался поздно, да и только для того, чтобы сделать себе дипломатическую карьеру.

По словам Штессенграхта, министерство Риббентропа представляло собой этакий заповедный островок старой доброй Германии, где люди прежнего, кайзеровского закала пытались изо всех сил, вопреки всей гитлеровской политике, проводить политику мира и добрососедства.

Показания этого простодушного свидетеля то и дело вызывали смех в зале, недоумение и смятение на скамье подсудимых. Соседи Риббентропа Гесс и Кейтель не раз наклонялись к нему, что-то сердито шепча. Бедняге, видно, крепко досталось от своих партнеров за этого болтливого свидетеля, несомненно, переигравшего заданную ему Горном роль наивного простака.

Несмотря на этот явный конфуз, защита продолжала действовать в том же направлении. От следующей свидетельницы, Маргариты Бланк, бывшего секретаря Риббентропа, Международный Трибунал узнал, что подсудимый был очень милый, достойный семьянин и муж, охотно помогавший бедным. Он всей душой стремился к миру на земле и в минуты откровенности говорил ей, Маргарите, какие страдания причиняют ему агрессивные действия Германии. Мучаясь, он не спал по ночам после

каждого нового агрессивного акта, предпринятого нацизмом, и потреблял уйму снотворного во вред своему здоровью.

Слушали мы этот лепет, и было нам смешно и даже как-то неловко. Ведь происходило это уже после того, как представители обвинения предъявили сотни документов, неопровержимо доказывающих, как последовательно, неуклонно, путем целой цепи заранее запланированных и обдуманных провокаций и диверсий, лживых договоров и лживых заверений Риббентроп осуществлял гитлеровскую политику агрессии.

И вот на трибуне сам Риббентроп. Этот актер и лицемер, проглатывавший одну страну за другой и в то же время, согласно показаниям Бланк, горько плакавший о судьбе своих жертв. Попытка представить его именно таким агнцем провалилась. Это всем уже очевидно. Но ломать сценарий, подготовленный защитником, поздно, и сам Риббентроп пустился пространно рассказывать о том, в какое отчаяние, в какую тяжелую меланхолию повергало его каждое агрессивное действие нацистской Германии. Теперь иронические улыбки видны не только у сидящих в зале, но и у коллег Риббентропа по скамье подсудимых: во, мол, откалывает!

Несмотря на это, юродствующий лицемер со скорбным лицом так и заявил, что если Германии и приходилось нападать на мирные страны, находившиеся с ней в договорных или дружеских отношениях, то она делала это вынужденно, лишь для того, чтобы оградить себя от угрозы войны. Прожженный архиплут умышленно наивничает. Обходя факты, сторонясь документов и показаний свидетелей, он следует примерно такой примитивной схеме:

Польша? Ну что ж. Немецкие дипломаты и он, Риббентроп, лично сделали все для того, чтобы урезонить эту упрямую, несговорчивую страну, угрожавшую агрессией Германии. Поляки нападали на пограничные посты. Они разбомбили мирный немецкий город. Терпение Гитлера наконец иссякло, и он, защищаясь, был вынужден двинуть свои войска. На него, Риббентропа, это подействовало удручающе. Но что он мог сделать, если Польша не хотела слушать его советы и предупреждения? А он вот ночей после этого не спал, думая об опасности, которой подвергается человеческая цивилизация.

Англия, Франция?.. Да он, Риббентроп, и его фюрер тоже сделали все возможное, чтобы уговорить и эти упрямые страны дать возможность Германии тихо и мирно проглотить Польшу. И как был удручен Гитлер, как горевал он, Риббентроп, когда эти государства, выполняя свой союзнический договор с Польшей, объявили Германии войну.

Норвегия, Дания? Ах, он, Иоахим Риббентроп, с детства питал к этим странам нежность. Трудолюбивейшие народы, к тому же нордическая кровь. Но что было делать? Германия была вынуждена нарушить свои договоры и по отношению к этим государствам, оккупировать их для того, чтобы спасти славных норвежцев и трудолюбивых датчан от бедствий, которые причинила бы им война в том случае, если бы они стали плацдармом больших сражений.

Люксембург? Ну, да, конечно, печально. Пришлось оккупировать и Люксембург, но только в силу жестокой необходимости. А вдруг во время войны какая-либо из воюющих держав воспользовалась бы маленькой, беззащитной страной как плацдармом и попыталась бы нанести Германии удар во фланг. Печально, но пришлось войти и туда.

Такая интерпретация захвата Люксембурга вызвала смех в зале, и хладнокровнейший лорд Лоренс вынужден был взяться за молоток и призвать присутствующих к порядку.

Особенно подробно Риббентроп обосновывал абсолютную необходимость нападения на Советский Союз. Обвинение уже представило чрезвычайно веские документы, доказательства, протоколы тайных совещаний у Гитлера и среди них знаменитый план «Барбаросса», развеяв тем самым в пух и прах миф о превентивной войне.

И все же Риббентроп возвращается к старой басне о «красной опасности» и упорно настаивает на «извечной угрозе» Западу со стороны Востока. Он, правда, осторожно оговаривается, что министерство иностранных дел и он, Риббентроп, как его глава, не имели прямых данных, свидетельствовавших о намерении СССР нападать на Германию. Но Гитлер на основе своей никогда не обманывавшей его интуиции чувствовал именно в Советском Союзе главного врага. Вот это-то и заставило его двинуть войска против России. Сообщив это, Риббентроп снова начинает ронять крокодиловы слезы. День

нападения на Советскую Россию был самым мрачным днем его жизни. Всю ночь он не спал, ходил по комнате, принимал бром и даже вынужден был прибегнуть к сильным снотворным, которые он обычно из-за болезни сердца принимать избегает. Его мучили мысли о злых превратностях судьбы и о крушении мира на земле, к которому он стремился всеми фибрами своей души.

Затем один за другим на трибуну для перекрестного допроса поднимаются представители обвинения. Их вопросы и реплики быстро стирают остатки благообразного грима и фальшивых румян с лица матерого нацистского злодея. Припертый к стенке выдержками из своих собственных речей, произнесенных на тайных заседаниях, из приказов, докладов, из записей его телефонных разговоров, Риббентроп постепенно скисает. Бутафорские перья невинной голубки облетают одно за другим, и перед судом появляется облезлый стервятник с окровавленным клювом, вынужденный в конце допроса говорить прямо противоположное тому, что утверждал вначале.

И, наконец, под влиянием неопровержимых улик, представленных заместителем Главного советского Обвинителя, юристом Ю. В. Покровским, Риббентроп признает, что, ведя мирные переговоры с Советским Союзом и подписывая пакт о ненападении, он уже знал, что гитлеровская верхушка и генеральный штаб имеют план нападения на нашу Родину и деятельно готовятся к нему.

Попутно с разоблачением этого лицемерного представителя коварной внешней политики нацизма выявляется и, так сказать, индивидуальность Риббентропа. Подобно Герингу, он предстает перед судом как неудержимый стяжатель и грабитель, приобретший в разных концах империи пять крупных поместий, замки, дома в разных городах. Выясняется, что именно он систематически и настойчиво требовал у правительств стран-вассалов и от своих подручных в оккупированных государствах поголовного уничтожения еврейского населения, настаивал перед итальянскими союзниками на проведении драконовых мер на территории сопротивляющейся Югославии, вплоть до создания там «мертвых зон» и расстрела мирного населения. Он сам ходатайствует перед Гитлером о зачислении его в войска СС, именно в дивизию «Мертвая голова», выпрашивает себе звание генерала СС и в конце концов награждается Гиммлером почетным знаком этой дивизии — особого вида кинжалом.

По мере разоблачения «подвигов» гитлеровского дипломата смех в зале стихает, сменяется гневом, возмущением и чувством брезгливости. И все-таки в ходе допроса смех вспыхивает еще раз. Это случается, когда Ю. В. Покровский предъявляет Трибуналу записи бесед начальника протокольного отдела министерства иностранных дел графа фон Деренберга с румынским диктатором Йоном Антонеску. Речь идет об ордене Карла Первого, который гитлеровский чиновник в буквальном смысле слова выторговывает для Риббентропа, весьма неравнодушного к подобного рода отличиям. Оба торгуются, как цыгане на конной ярмарке: «Вы нам орден, мы вам — Трансильванию». Но Трансильванию, оказывается, Риббентроп уже обещал венгерскому диктатору Хорти, за что уже получил орден. Антонеску, судя по протоколу, человек, не лишенный коммерческой жилки, так прямо и говорит: «Нет Трансильвании — не будет ордена».

— Хорошо, давайте орден, и рейхсминистр сделает все возможное.

— Нет, сначала пусть сделает все возможное, а потом получит орден.

Наконец, после длительной торговли уславливаются так: Антонеску посылает Риббентропу пока орденский знак, соответствующие же документы, при наличии которых только и можно носить его, будут высланы немедленно специальным нарочным после того, как рейхсминистр предпримет активные шаги в отношении Трансильвании.

Жалок, смешон и отвратителен нацистский крокодил, сначала проливавший слезы о проглоченной жертве, а потом представший перед судом в истинном обличье. Верный своей обычной тактике, он и на суде пытался поставить маскировочную дымовую завесу, но дым рассеялся, и теперь ничто уже не скрывает подлинного лица министра.

Тот самый американский солдат, что подслушивает и запоминает разговоры подсудимых между собой, передал корреспондентам, что Геринг умышленно громко сказал Гессу:

— Теща рейхсминистра, весьма умная дама, всегда считала его своим самым глупым зятем и не переставала удивляться тому, что именно он сделал такую блестящую карьеру. Теперь мы видим, что теща была права.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МОЛДАВСКОГО БОЯРИНА»

Сегодня утром во Дворце юстиции коллеги учинили мне довольно остроумный розыгрыш.

— Тебе телеграмма из «Октября» от твоего друга Панферова. Сообщает, что повесть, которую ты им послал, пойти у них не может. Слишком много скопилось прозы, и он переслал ее в журнал... «Работница».

И представьте себе, я клюнул на эту нехитрую наживку, что со мной обычно случается редко. Клюнул, сделал равнодушное лицо, заявил, что другого и не ожидал, и отказался идти за телеграммой.

Не удовлетворенные таким исходом мистификаторы продолжали настаивать, чтобы я все-таки пошел. Я послал их к черту. Тогда один из них устыдился и принес телеграмму. Вот ее текст:

> «Из Москвы через Горизонт в Зенит. Корреспонденту «Правды» полковнику Полевому. Редакция «Октября» ознакомилась вашей повестью. Превосходно. Поздравляем. Требуется небольшая редакционная работа. Договорились Поспеловым вызове Москву для работы. Журнал загружен прозой, но ставим возможно быстро. Жмем руку. Ждем скорее.
> Панферов, Ильенков, Санников, Румянцева».

Вот это новость! Я подозрительно рассматриваю телеграфный бланк; может быть, тут-то и заключен подвох. Но нет, бланк настоящий с индексом Международного Военного Трибунала. Тщательно прячу телеграмму.

Вечером в баре у Дэвида устроили маленькую пирушку, в которой приняла участие и международная пресса. За отсутствием переводчицы пресса эта так и не узнала, за что именно она пьет, но поддерживала нас охотно. Впрочем, вскоре моя книга была забыта, и главное внимание переключилось на одного из наших советских коллег, корреспондента молдавских газет, ставшего благодаря все той же американской солдатской газете человеком весьма популярным в качестве... молдавского боярина. Да, боярина, не больше и не меньше.

У этого титула своя история. Простодушный представитель молдавских газет, не желая ударить лицом в грязь перед иностранцами, после каждого завтрака или обеда в зале дворца Фабера в качестве чаевых аккуратнейшим образом оставлял под тарелкой оккупационную

марку. Марка в переводе на наши деньги — это полтинник. Ну, а что он стоит, судите хотя бы по тому, что кило сыру в нашем коммерческом магазине обходится в семьдесят рублей. Но здесь, под крылышком первой американской дивизии, где царствует непоколебимый доллар, оккупационная марка — это золотой четвертак. Таким образом, наш молдавский друг завоевал среди официантов авторитет даже больше, чем Юрий Корольков, у которого среди здешних «работников питания» оказался бывший «однополчанин», немец, тоже воевавший под Старой Руссой, только на той, на другой стороне.

Наш молдавский друг завел себе среди заокеанских коллег немало приятелей. Вечером их всегда можно видеть в уголке голубого зала отдыха. Перед ними в кокетливой наколочке и фартучке вертится какая-нибудь хорошенькая фрейлейн из подручных Дэвида, таская им в этот угол всякие напитки и орешки.

Мы твердо знали, что друг наш не искушен в иностранных языках. Тем не менее из угла, где он сидит, всегда доносились смех и шумный говор. Разобрать, правда, можно было только:

— О'кэй! — при этом вверх поднималась рука со сложенными в бараночку большим и указательным пальцами.

Или:

— На большой с присыпкой! — И снова поднималась рука с поднятым вверх большим пальцем.

— Володя, что они к тебе, как мухи к меду? — интересовались мы.

— Да, ребята, ей-богу, не знаю. Просто хорошие хлопцы.

— Потчуешь ты их, что ли, на свой счет?

— Нет, вроде бы расплачиваемся на равных.

Секрет обаяния нашего друга открыла нам пани Марыся, весьма хорошенькая и довольно препротивная девица-полька из андерсовской армии, сидевшая в форме английского солдата возле дверей и занимавшаяся весьма скромным делом — продажей талонов на завтраки, обеды и ужины. Мы догадывались, что занимается она не только талонами, ибо слышали в пресс-кэмпе, что есть у нее здесь и папаша — высокий человек с офицерской выправкой, будто бы корреспондент каких-то никому не известных газет, и мамаша — эффектная блондинка с талией в рюмочку, которая внешне вполне могла сойти за

старшую сестру достойной Марыси. Но сферой деятельности этой четы был уже «курафейник» — Гранд-отель, где они, не знаю на каких официальных должностях, вертелись главным образом около русских.

Версия о родстве была сочинена до смешного примитивно, и в ответ на всякие попытки завязать с нами серьезный разговор милая пани слышала только комплименты своим глазам, талии и цвету кожи. Андрия Бульбы среди нас не находилось. Так что коэффициент ее полезного действия был близок к нулю и ограничивался разве тем, что джентльмены при получении талонов иногда забывали взять сдачу.

Так вот эта пани и помогла нам открыть секрет популярности нашего молдавского друга.

— Пан пулковник,— спросила Марыся меня, изящным жестом отрывая талончики на пиво.— То ест правда же, пан з Молдавии ест бояринем?

— Боярин?.. Что значит боярин?

— Так то ж по-русску. Ну таким вельким земянином в Молдавии.

И она рассказала, что все тут убеждены, будто наш скромный представитель молдавских газет — богатый землевладелец, имеющий поместья, виноградники, винный завод и бог знает еще какие богатства. Вот, оказывается, каких степеней можно достичь, регулярно оставляя марку на чай и не скупясь оплачивая коктейли!

Но карьера «молдавского боярина» на том лишь только началась. Скоро разнесся слух, что очаровательная наша талонщица выходит замуж за капитана армии Соединенных Штатов. Об этой свадьбе заговорил весь пресс-кэмп, и наш домовой, как мы зовем между собой его начальника, майора Дина, на днях остановил меня с таким предложением: в связи с тем, что выходит замуж сотрудница пресс-кэмпа, решено свадьбу отпраздновать здесь, и нужно, чтобы дружками на этой свадьбе были представители всех наций-победительниц.

Ну что ж, свадьба — дело хорошее. Решили выделить представителя и мы. Но мы так очаровательную Марысю все одинаково не любили, вышла заминка — кого именно. И вот тут-то и пришла в голову пагубная мысль использовать популярность в западном мире нашего молдавского коллеги. И он исполнил свою миссию с честью,

перевыполнив, однако, план процентов на двести пятьдесят.

Оказывается, по здешним правилам, свадьба справляется как бы за счет гостей. В какой-то момент невеста обходит гостей с супной миской, и каждый бросает туда, сколько может, с тем чтобы деньги эти пошли потом на оплату свадебного пиршества. Все присутствующие давали кто по пять, кто по десять марок, наш же представитель, не вынеся такого презренного скупердяйства, достал из бумажника несколько сотенных бумажек.

Реакция была бурной. Он сразу же сделался центральной фигурой на свадьбе, оттеснив на второй план даже «родителей». Когда молодые отправились в костел, «боярину» была поручена честь держать золотой венец над головою невесты. В таком виде он и был запечатлен фотографом и помещен на первой полосе газетки в очаровательном соседстве — ксендз в праздничном облачении нежно наставляет сверкающую белизной наряда невесту и американского капитана в парадном мундире, а рядом наш друг с золотым венцом в руке. Под снимком подпись, гласящая, что известный молдавский богач, боярин такой-то, был главным шафером брачной церемонии.

Номер этой газетки только что появился, и вот сейчас в пресс-кэмпе бедняга «боярин» расплачивался за свою щедрость и легкомыслие в веселой, не лезущей за словом в карман компании...

Все это было и впрямь забавно, но я как бы постоянно ощущал в нагрудном кармане гимнастерки телеграмму Федора Ивановича Панферова. Повесть принята! А ведь Панферов — судья строгий, да и, как это хорошо известно в литературном мире, в рукописях «Октябрь» действительно никогда не нуждался. И в перспективе поездка в Москву, которую я, конечно же, осуществлю, как только закончатся допросы главных обвиняемых.

Здорово, очень здорово. И, как всегда в таких случаях, потянуло на волю, в парк, чтобы в одиночестве в полной мере пережить свою радость.

Во время прогулки мне вспомнился мой первый литературный дебют в том же «Октябре» незадолго до начала войны. Так же вот у меня, рядового журналиста, не мечтавшего о писательстве, как-то неожиданно родилась повесть. Это были дни особого подъема социалистического соревнования. Все время то тут, то там начинал бить родничок трудового почина, и мне, провинциальному

газетчику, работавшему в старом рабочем городе Калинине в очень инициативной газете «Пролетарская правда», однажды посчастливилось подсмотреть в кузнице вагоностроительного завода один из таких починов. С кузницей у меня была старая дружба. Лучший ее кузнец поставил в те дни всесоюзный рекорд поковки. Но в момент, когда случилось происшествие, столь удивившее меня, этого кузнеца на заводе не было: он ездил по предприятиям Нижней Волги, передавая свой опыт, а замещал его у молота бойкий цыганистый, хулиганистый паренек с весьма неважной репутацией. И вот он-то и поставил новый, небывалый трудовой рекорд, значительно опередив своего учителя и очень удивив все заводские организации и директора, так как все мы тогда были наивно убеждены, что проявлять себя таким образом могут лишь люди, достойные во всех отношениях.

Заинтересованный этим случаем, я засел в кузнице, стал изучать происшедшее. И вдруг наткнулся на драму сильного, неуживчивого, эгоистического характера, который под влиянием доброго коллектива постепенно перерождался и раскрывался в лучших своих чертах.

Отличный собрал материал. Но он никак не лез ни в один, ни в два, ни в три газетных «подвала» — максимум того, что могла мне отвести редакция. Тогда я как бы бросил все написанное в котел. Стер точные адреса, заменил собственные имена и превратил очерк в повесть, назвав ее «Горячий цех». Принес повесть в редакцию журнала «Октябрь», сдал ее ответственному секретарю — очень молодому и очень серьезному человеку в больших черных очках, именовавшемуся Александр Чаковский. Отнесся он ко мне внимательно, рукопись взял, но строго предупредил, чтобы ответа я скоро не ждал, ибо после первого рецензирования он передаст ее главному редактору. Доверительно добавил, что так будет лучше, ибо в журнале без воли редактора ничего не делается, а у редактора «Октября» страсть самолично открывать молодые дарования. Все это оказалось правильным, за исключением сроков. Не дольше чем через неделю я получил от Панферова ласковую телеграмму: повесть заинтересовала, нужно познакомиться. Не зайду ли я к нему в любое удобное для меня время, предварительно предупредив по телефону о выезде в Москву?

Любое удобное время! Конечно, на следующий же день я предстал перед ним. Плечистый, ширококостный,

с простым, но красивым, очень русским лицом, Панферов сидел грузновато и в то же время изящно, втиснувшись в большое кресло. Рукописи перед ним не было, но знал он ее, как выяснилось, досконально, помнил имена всех действующих лиц и все перипетии действия. И критиковал он по памяти, но точно, ни к чему не принуждая, ничего не требуя, а только как бы вслух размышляя, советуя.

Потребовал чая для себя и для меня. Пил с блюдечка вприкуску, может быть, чуточку рисуясь этой русской манерой чаевничать. Я не большой любитель этого напитка, но само присутствие стакана, в котором уютно желтела долька лимона, как бы приближало ко мне этого очень известного писателя и располагало к беседе.

— Мы хотим приготовить повесть поскорее и помочь вам и потому отдали рукопись на внешнюю редактуру, а вы за это время подумайте над тем, что я говорил.

Что такое внешняя редактура, я тогда, разумеется, не знал, с советами Панферова согласился и отбыл в свой Калинин окрыленным. Сделав сам что смог, я вторично поехал в Москву знакомиться со своим внешним редактором. То, что тот сделал с моей рукописью, повергло меня в гнев и трепет — вся она оказалась исчерканной, ни одной целой главы. Местами из нее вылетели куски, и, наоборот, на полях появились большие вставки. Ну нет, с этим я, понятно, не мог согласиться. И я написал Панферову довольно сердитую записку, оставил ее и потребовал вернуть рукопись.

Ответственный секретарь, столь дружелюбно меня некогда встретивший, охладил мой гнев, резонно заявив, что рукопись в работе и без ведома редактора он отдать ее не может. Ведь я журналист и должен это понимать. И тут же позвонил Панферову, доложив, что рядом с ним бушует начинающий автор.

— Федор Иванович просит, чтобы вы заехали к нему домой,— сообщил он, положив трубку, и, солидным жестом поправив свои очки, написал на бумажке адрес Панферова.

Уже по пути, листая в автобусе рукопись, я убедился, что внешний редактор не такой уж хищный и кровожадный зверь, каким он поначалу мне показался. Со многими его рекомендациями нельзя было не согласиться, да и стилистическая правка в общем-то была толковая. Перед Панферовым я предстал успокоенным и

притихшим. Они с женой — немолодой уже женщиной, с хорошим простым русским лицом — пили чай. Она радушно налила стакан и мне, будто старому знакомому, заглянувшему на огонек.

— Вам это не крепко? А то Федор Иванович у нас любит крепкий, круто завариваем.

Никогда в жизни не видел я, чтобы чай пили с таким вкусом и смаком, как за этим столом. Панферов пил стакан за стаканом, откусывая сахар от большого куска. На коленях у него лежало развернутое полотенце. Время от времени он отирал им пот с лица и обмахивал шею.

О рукописи не было сказано ни слова. Только когда чаепитие закончили, он, вставая, сказал:

— Да, говорят, вы там в редакции разбушевались. Зря. Я вам дал очень хорошего внешнего редактора. Он уже несколько моих молодых авторов, дебютировавших в «Октябре» в последние годы, в путь благословил. Все его благодарили. У него чутье и вкус — дай господи! Только у меня правило — ничего авторам не навязывать. Все, что он сделал в рукописи, примите как совет, чего жаль— восстановите, что не нравится — вычеркните... Только быстро. У нас вы через номер идете.

Простились мы уже как старые знакомые, и я уехал с чувством большой благодарности к Панферову, который стал для меня вроде бы крестным отцом. И вот теперь эта телеграмма. Нет, нет, не зря я здесь поработал. Выполз-таки мой герой в люди.

Как бы хотелось очередным самолетом, который послезавтра, кажется, отлетает на Москву, отправиться туда, к своей семье — к жене и детям, о которых я почему-то особенно часто вспоминаю все последние дни. О процессе, честно говоря, не хочется больше думать. Но что делать — я надолго, очень надолго привязан к нему.

ПРОГНОЗЫ ЯРОСЛАВА ГАЛАНА

В последнее время я как-то очень подружился с Ярославом Галаном, который, несмотря на свою хмурую внешность и замкнутость, оказался, как я уже говорил, человеком необычайно интересным, обширных знаний, острого аналитического ума. Получивший образование в Краковском, а потом Венском университетах, он свобод-

но говорит по-русски, по-украински, по-польски, по-немецки, знает французский и понимает английский языки. Это позволяет ему общаться со всей нашей вавилонской башней, минуя, так сказать, языковый барьер. Поэтому все происходящее здесь он видит зорче нас, а главное, точнее. И это дает ему возможность делать выводы, порой забегая далеко вперед событий.

Мы часто бродим с ним теперь по парку Фабера, обсуждая виденное, слышанное, и я всегда поражаюсь его дальновидности. Признаюсь, сначала фултоновское выступление Черчилля я воспринял как досадное, но не слишком важное событие: просто старый честолюбец, оказавшийся вне премьерского кресла, соскучившись по газетной шумихе, всегда бурлившей вокруг него, и решив напомнить о себе, выступил с речью, обильно сдобренной антисоветчиной.

— Вы ошибаетесь,— возразил Галан, когда я поделился с ним своими мыслями.— Черчилль отнюдь не экстравагантный старик, падкий на рекламу. После смерти Рузвельта это виднейший лидер западного мира. Он все точно и заранее рассчитал — и университетскую трибуну в Америке, и время, когда, напуганный своими неудачами в Восточной Европе, Запад ищет себе лидера и сигналов к действию. Это выступление получило широкий резонанс. Протрубила труба магистра ордена империалистических крестоносцев. И все отряды черных рыцарей, явные и тайные, пришли в движение.

И он оказался прав, Ярослав Галан. Это мы увидели уже в Трибунале по поведению подсудимых. Познакомившись, благодаря своим адвокатам, с речью сэра Уинстона, они сразу воспрянули духом. То, на что надеялся в последние дни войны, сидя в своем бункере, Гитлер, то, о чем он мечтал перед тем, как пустить себе пулю в лоб, кажется теперь свершившимся: Черчилль скликает силы для похода на Советы, недавние союзники готовы передраться между собой. А когда собаки грызутся, кошка может спокойно влезть на забор и занять там безопасную позицию.

— Ну а на процессе это не может отразиться? Как вы полагаете, будет он доведен до конца?

— Как вам сказать,— задумчиво ответил Галан, склонив большую лобастую голову.— Пока, как видите, еще не отразилось, а в дальнейшем... Кто знает? Вы заметили, как переменила тактику защита? Раньше она

старалась скомпрометировать свидетелей обвинения, как это было с Паулюсом, опровергнуть показания, документы, а теперь старается тянуть, только тянуть, любыми средствами, тянуть возможно дольше. Вот Штаммер, например, одолел суд просьбами продлить каникулы до трех недель. А этот вызов десятков свидетелей, живущих в разных странах, на котором настаивает адвокат Риббентропа!

— И все же на ходе процесса это пока не отразилось.

— Да, пока. А вот на положении в оккупированных западными союзниками зонах отразилось, и очень существенно. Пока вы пили сливовицу и боровичку в Чехословакии, я немного попутешествовал по Баварии. Тревожно, весьма тревожно.

И он начал рассказывать, что вокруг Мюнхена, в маленьких городках, да и тут в Нюрнберге, собираются силы украинских националистов — бандеровцы, мельниковцы, жовтоблакитники, остатки разбитых власовских частей. По лагерям, где размещены люди из восточноевропейских стран, своевременно не вернувшиеся домой, рыщут американские вербовщики, агитаторы. Сулят им деньги, морочат головы: не возвращайтесь домой, там вас ждут преследования, оставайтесь в свободном западном мире, где для вас будут созданы хорошие условия, найдется работа... Так прямо откровенно и говорят. Ясно, что не из филантропии американцы собираются подкармливать разных украинских, белорусских, прибалтийских подонков, воевавших против своей Родины в эсэсовских частях.

У Ярослава Галана — львовского коммуниста, не раз побывавшего в тюрьмах польской дефензивы,— неспокойно на душе. Пользуясь своим опытом подпольщика, он бесстрашно заходит в эти зарождающиеся контрреволюционные организации, посещает католические мессы и потому отлично обо всем осведомлен. Его волнение относительно будущего основано на тревожных фактах.

Во всех этих организациях, по словам Галана, царят дикие нравы. Ярослав рассказал мне, как вскоре после войны погиб закарпатский епископ Феофан, с которым я познакомился еще во время войны в старинном Мукачевском монастыре. Тогда он только что вернулся из поездки по Советскому Союзу, по нашим республикам и круп-

ным городам и начал печатать в закарпатских газетах серию очерков «Путешествие в страну чудес». Это был широко мыслящий человек, доказывавший, что коммунизм развивает в современном обществе идеи раннего, или, иначе, «чистого» христианства. В своих очерках Феофан рассказывал о тружениках, живущих без эксплуатации и эксплуататоров, утверждал, что Иисус Христос, с гневом изгнавший когда-то торгующих из храма своего и возгласивший, что легче верблюду проникнуть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное, сейчас, в середине двадцатого века, аплодировал бы русским большевикам.

Теперь Галан рассказал мне о конце этого человека. О страшном конце. Однажды среди своей корреспонденции епископ нашел лист бумаги с изображением трезубца. Он знал, разумеется, что это предупреждение боевой организации бандеровцев. Но не обратил на него внимания или неосмотрительно положился на «волю божью». А через несколько дней Феофана нашли в келье мертвым. Его умертвили зверским способом, какой украинские националисты нередко применяли к своим врагам. Бандиты незаметно проникли в монастырь, пробрались в келью епископа, заткнули ему рот кляпом и, наложив Феофану на голову обруч из провода с заткнутой под провод палкой, начали эту палку вращать. Вращали медленно, садистски наблюдая муки жертвы до того момента, пока не треснул череп.

— А теперь этих палачей подкармливают, снабжают деньгами и вооружают американцы,— сказал Галан.— Я думаю написать об этом.

— И не боитесь с ними общаться? Судьба Феофана не напугала вас?

— Я считаю своим долгом сорвать все романтические одежды с этого отребья, переметнувшегося сейчас из-под крыла Гитлера под крылышко Трумэна [1].

Да, он, конечно, прав, этот коммунист-подпольщик. Что-то очень нехорошее затевается в западном мире, в частности в Баварии, на родине нацистского движения, и в особенности тут, в Нюрнберге — некогда колыбели

---

[1] Ярослав Галан выполнил свое намерение. В трагедии «Под золотым орлом», в пьесе «Любовь на рассвете», в книге «Отец тьмы и присные» он разоблачил контрреволюционное отребье, но сам трагически погиб от руки бандитов-националистов, зарубленный топором в своем кабинете.

этого движения, а ныне — места стоянки 1-й американской дивизии, командование которой, несомненно, потакает сплочению разных антисоветских сил.

И все-таки, подчеркиваю, на ходе процесса это пока не отражается. С американскими коллегами по перу у нас по-прежнему неплохие отношения. В передвижении нас особенно не стесняют, но тем не менее. Не могу забыть один случай. Однажды, приехав в Трибунал, я обнаружил, что забыл свой «пас» — пропуск. Курт мигом домчал меня в наш «халдейник». Дверь в мою каморку оказалась открытой, в комнате находилось двое — американский сержант и девица в солдатской форме. Они рылись в чемодане, перетряхивая небогатое мое имущество. Девица держала в руках какой-то прибор с трубочкой, прикрепленной к баллончику.

Заметив мое возращение, оба заметно смутились. Но сержант тут же нашелся. Он нажал резиновую грушу, и из наконечника прибора вырвалось облачко с запахом карболки.

— Дезинфекция,— сказал он и, небрежно козырнув, удалился.

После этого я попросил нашу переводчицу Аню соорудить плакатик, на котором по-английски значилось: «Джентльмены, когда вы в следующий раз заинтересуетесь моими вещами, прошу делать это аккуратно, все класть на прежние места и карболкой не поливать. Это бесполезно. Спасибо». Этот плакатик до сих пор висит у меня над столиком, и, надо сказать правду, никаких «дезинфекторов» больше в моей комнате, кажется, не появлялось... Но Галан прав: надо держать ухо востро.

И еще одно маленькое наблюдение, говорящее на этот раз о процессах, происходящих в самой американской армии. Когда мы возвращались вечером в наш «халдейник», из-за железной оградки послышалось пение. Два солдата-часовых, повесив автоматы на завитушки оградки, сидели у костра, который развели, несмотря на теплую погоду, и в два голоса пели какую-то песню на веселый ковбойский мотивчик. В песне этой все повторялось: «Мистер Трумэн». Галан остановился:

— Давайте дослушаем.

Когда песня кончилась, Галан усмехнулся своей скупой, едва заметной улыбкой.

— Что-то новое. Я этого еще не слышал. Попробую сделать прозаический перевод.

Пожалуйста, мистер Трумэн,
Отпустите нас домой.
Вы послали нас в Европу
Посмотреть Рим, Берлин, и Париж.
Мы выполнили ваш приказ, мистер Трумэн.
Теперь хотим домой.

Нам так надоели Рим, Берлин и Париж.
Мы так объелись Римом, Берлином и Парижем,
Нас тошнит от Рима, Берлина и Парижа.
Пожалуйста, отпустите нас домой.

Дома есть много парней,
Которые не нюхали Европы,
Которые не видели Рима, Берлина и Парижа.
Они тянут наши виски и обнимают наших девчонок.

Им хочется видеть Европу,
Им не терпится повидать Рим, Берлин и Париж.
Гоните-ка их сюда, мистер Трумэн.
А нас отпускайте домой.
А если не отпустите нас, мистер Трумэн,
Мы сами вернемся домой, мистер Трумэн,
Мы вернемся, сердитые и злые.
И тогда берегите ваши очки, мистер Трумэн.
Уж лучше, мистер Трумэн, отпустите-ка нас домой.

— Видите, какая тут история.

Когда мы расходились по своим комнатам, я все-таки еще раз сказал:

— Будьте осторожны, Ярослав. Берегите себя.

— Я коммунист,— ответил Галан. И добавил: — Время для благодушия еще не наступило.

СОЛДАТ? МАШИНА? ПРЕСТУПНИК?

Среди других подсудимых Вильгельм Кейтель — фельдмаршал, начальник штаба вооруженных сил. выделяется особенно респектабельной внешностью. Высокий, худощавый, прямой, с осанкой кадрового военного, с правильными чертами продолговатого лица, с тяжелым подбородком, придающим этому лицу мужественное выражение, он похож на старого солдата. И роль, которую он решил играть здесь на суде, которую отрепетировал со своим защитником,— это именно роль старого честного служаки, не рассуждая служившего своему отечеству, не раздумывая выполнявшего приказы своих старших начальников, каковы бы они ни были.

— Я солдат,— говорит он, когда его уличают в том, что он отдал какой-нибудь преступный приказ.

Но задолго до того, как история посадила Кейтеля на скамью подсудимых, когда еще бушевала вторая мировая война, когда немецкие танки мяли своими гусеницами виноградники Франции, сады Греции, когда сбрасывались с самолетов парашютисты, чтобы взрывать плотины Бельгии и каналы Голландии, когда горели города Югославии, Украины, Белоруссии, а гитлеровские орды рвались к Москве, имея задание стереть ее с лица земли, люди уже знали, что есть в Берлине генерал Вильгельм Кейтель, который превращает гитлеровские приказы в планы военных операций, а человеконенавистнический бред фюрера облекает в параграфы приказов вооруженным силам Германии.

Никто до войны не знал Кейтеля ни в качестве стратега, ни в качестве тактика. Его имя не было связано ни с одним подвигом, ни с одной удачной боевой операцией. Зато во время войны он сразу же стал известен тем, что попрал все, что с войн древности и по наше время считалось солдатским долгом, офицерской честью, нарушил все писаные и неписаные законы ведения войны, а саму войну превратил в разбой, в кровавый разгул разнузданных банд, не знающих ни норм, ни границ.

И если тут, на процессе, слова «германский солдат», «германский офицер» естественно стали синонимами слов «разбойник», «бандит», «убийца», то в этом виноват прежде всего он, Вильгельм Кейтель. Это он еще задолго до начала войны, планируя нападение германской армии на нашу Родину, подготовил приказ по войскам, предназначенным для «операции на Востоке», в котором отменил обычное военное судопроизводство, тем самым заранее отдавая любого советского военнопленного, любого советского человека в руки гитлеровского офицерья, которому давалось бесконтрольное право по своему усмотрению расстреливать, жечь, убивать.

Это он требовал у командиров дивизий, сражающихся на польском фронте, «без жалости, со всей германской твердостью, когда это диктуется необходимостью», расстреливать население. Это он, «оберегая жизнь германских воинов», приказал использовать военнопленных для разминирования и разрешил и даже рекомендовал «в особых случаях», также «диктуемых необходимостью», гнать мирное население перед частями, идущими в атаку. Это он, наконец, сотнями тысяч и миллио-

нами отдавал военнопленных гитлеровским рабовладельцам, которые под угрозой расстрела заставляли тех работать на военных заводах и выполнять подсобные работы в самой немецкой армии.

Все это обвинители и свидетели доказывают документами, в разное время подписанными самим Кейтелем. Обороняясь, Кейтель отрицает все, что можно отрицать. Припертый к стенке, соглашается: «Да, это, кажется, было. Было в самом деле». Но тут же обязательно добавляет:

— Таково было распоряжение фюрера. Я солдат. Я должен был выполнять его приказы, даже если я с ними и не был согласен.

Несмотря на свой импозантный вид, военную осанку, седые виски, он, в сущности, очень жалок, этот гитлеровский фельдмаршал. Жалок и противен.

Этот «старый солдат» в мундире высшего офицера вынужден признать, что за тридцать семь лет, проведенных в армии, он ни разу не участвовал ни в одном бою, всю жизнь околачивался в штабных передних, на адъютантских должностях.

Именно за эти качества, за это умение беспрекословно подчиняться начальству Гитлер надел на Кейтеля фельдмаршальский мундир и назначил его на высшую штабную должность. И он не ошибся в нем. Черты матерого потомственного хищника из кайзеровского рейхсвера, с младых ногтей воспитанного в духе древнегерманской воинственности, отлично сочетались у Кейтеля с бредовыми идеями нацистского громилы, мечтающего о создании всемирной германской империи. Ну а отсутствие таланта полководца с лихвой компенсировалось способностью превращать войска в гигантскую разбойничью шайку.

Но при всем том он отличный актер, Кейтель. На его форменном кителе ни погон, ни орденов. Но он по-прежнему сидит прямо, на вопросы отвечает кратко, четко, и вся его породистая стать, от проложенного по ниточке косого пробора до аккуратно подстриженных усиков, являет собой вид оскорбленного достоинства.

— Я старый солдат. Мне должно не обсуждать приказы, а подчиняться им.

— Я всего только исполнитель, не игравший активной роли в войне...

Эти два тезиса, как бы представляющие главные козыри его самозащиты, он повторяет так часто, что мы с

Сергеем Крушинским стали подсчитывать их, и вышло, что слова «старый солдат» по отношению к себе самому Кейтель повторил в ходе допроса двадцать семь раз и одиннадцать раз по разным поводам сообщил суду, что при таком-то и таком-то обстоятельствах, находясь в приемной у Гитлера, ожидал вызова и потому не участвовал в решении вопроса.

Защитники же его, играя на тех же козырях, дошли до того, что стали утверждать, будто расположение и доверие фюрера Кейтель завоевал вовсе не своим усердием в реализации гитлеровских военных планов, а лишь тем, что во время путешествия Гитлера по оккупированным территориям он исполнял на рояле обожаемого фюрером Вагнера и умело занимал дам на высоких приемах.

Но чем больше нажимают подсудимый и его защитники на спасительные, как им кажется, слова «старый солдат», тем меньше подсудимый на него походит. И перед судом и перед мировой печатью вырисовывается образ типичного нацистского военачальника, не только исполнителя, но и создателя планов агрессии, активного соавтора фюрера по внедрению истинно нацистских методов ведения захватнических войн.

Он очень осторожен в своих показаниях, этот старый гитлеровский вояка. Но все-таки он слишком Вильгельм Кейтель, и с языка его, в особенности когда он не читает отредактированные защитником показания, а отвечает на вопросы, срываются такие афоризмы: «Грабеж и сбор военных трофеев — это, по сути, одно и то же. Разница только в терминах», «Во время войны, естественно, ни один наш генерал не мог да и не имел времени заниматься вопросами безопасности мирного населения. Это ведь и не его дело», «Жестокость. На войне это понятие чисто условное, ведь сама война — жестокость»... Кейтель защищается настойчиво, яростно. Но каким отвратительным становится его наигранное благородство, когда он, изобличенный обвинением и не видя выхода, не моргнув глазом, признает то, что несколько минут назад с гневом отрицал!

Во время допроса, проводимого Главным советским Обвинителем, с Кейтеля слезают последние штришки благородного грима. Руденко предъявляет генералу его собственный приказ о борьбе с повстанческим движением в оккупированных областях.

«Чтобы в корне задушить и пресечь недовольство, необходимо по первому же поводу незамедлительно принимать самые жестокие меры, чтобы утвердить авторитет оккупационных властей... При этом следует иметь в виду, что человеческие жизни в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоят... Хороший результат от устрашающего воздействия возможен только путем применения необычайной жестокости».

Процитировав этот приказ, Руденко спрашивает, приказал ли он, Кейтель, своим армиям в борьбе с партизанами убивать мирное население, в том числе женщин и детей.

— Нет! — с гневом отрицает Кейтель.

РУДЕНКО. Я препровождаю вам этот приказ. Ознакомьтесь и скажите — вы его подписывали?

КЕЙТЕЛЬ. Да.

РУДЕНКО. Соблаговолите прочесть подчеркнутые мной строки, где говорится: «Войска имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения также против женщин и детей, если это будет способствовать их успеху!» Вы нашли это место?

КЕЙТЕЛЬ. Нашел.

РУДЕНКО. Это слова вашего приказа?

КЕЙТЕЛЬ (глухо). Да, раз они есть в приказе... Я просто забыл об этом... Столько приходилось подписывать, что не мудрено и забыть.

Он забывал т а к и е свои распоряжения.

Чтобы дорисовать портрет этого гитлеровского лейбстратега, приведу еще один диалог, который совсем свеж в памяти, ибо слышал я его только вчера. Руденко препровождает суду записку начальника германской контрразведки адмирала Канариса, который, сам напуганный масштабами зверств над советскими военнопленными, а главное — тем, что слухи об этих зверствах распространяются на Западе, призывал ограничить произвол администрации концентрационных лагерей.

РУДЕНКО. Как вы, обвиняемый Кейтель, отнеслись к этому документу?

КЕЙТЕЛЬ. Я был согласен с мнением адмирала Канариса.

РУДЕНКО. Тогда я освежу в вашей памяти вашу резолюцию на этом документе. Вот она: «Здесь речь идет об уничтожении целого мировоззрения. Поэтому я пони-

маю эти мероприятия и одобряю их». Подсудимый, это ваша подпись?

КЕЙТЕЛЬ (нимало не смущаясь). Да, моя.

Вот так, мазок за мазком и снимался грим «старого солдата» с этого гитлеровского суперстратега, и в конце допроса он, этот палач Европы в фельдмаршальском мундире, предстал во всем своем истинном обличье — отвратительный, злобный, трусливый, как крыса, попавшая в капкан.

СНОВА ЗВУЧАТ ТРИ СИГНАЛА

Сегодня 1 апреля. Приехав во Дворец юстиции пораньше, я отправился, как мы говорим, на провод, то есть к нашим телеграфистам, чтобы поздравить жену с днем рождения. Так все получалось в военные годы, что ни на одном из ее праздников нам не удавалось побыть вместе. Теперь вот тоже я далеко от нее. Но на этот раз хоть обещанный подарок ей сделал. Повесть написана, одобрена, принята. Может, хоть это ее порадует...

С такими мыслями и шел я по сводчатым коридорам здания и вдруг услышал такие знакомые всем сигналы зуммера. Три... три... и три.... Опять сенсация! Какая? Где? Заседание еще не началось. Стало быть, в пресс-руме, где информационное бюро с утра кладет на стол протоколы дополнительных допросов и всяческие документы о ходе процесса. Три сигнала действуют на нас, журналистов, как звук боевого рога. Через мгновение все мы наперегонки уже неслись в пресс-рум.

Там было тесно, шумно. Слышались вопросительные возгласы, недоуменные вопросы, богатырский хохот. Я протиснулся к столу, взял лежащий отдельно от других документ. Что такое? В нем сообщалось, что на процессе появится и будет давать показания Мартин Борман. Это руководитель нацистской партийной канцелярии, ее генеральный секретарь и самый ближайший помощник Гитлера. До сих пор он отсутствует на суде; дело его в соответствии с 12-й статьей устава Трибунала рассматривается заочно.

Судя по материалам, уже оглашенным на суде, Борман все время оспаривал у Геринга место у правой руки фюрера. Мы знаем, что страшный этот человек оставался с Гитлером в бункере, возле рейхсканцелярии,

до того самого часа, пока фюрер не покончил с собой, а потом бесследно исчез, точно бы испарился.

И вот Мартин Борман пойман! Сразу встали передо мной картины, виденные в Берлине одиннадцать месяцев назад. Грохот орудий. Асфальт, дрожащий под ногами, будто где-то там, в глубине земли, работают невидимые машины. Плоское здание рейхсканцелярии, построенное по проекту гитлеровского лейб-архитектора Альберта Шпеера, этот «национал-социалистский «Парфенон», как называла его геббельсовская пресса.

В Берлине еще идет бой, но советские солдаты уже бродят по парадным залам рейхсканцелярии, изрядно побитым артиллерией, топчут валяющиеся на полу бумаги, коробочки с орденами и медалями. Тут же с ошалелым видом мечется под ногами какой-то лохматый пес, которому шутники повесили на шею рыцарский крест... Терраса, ведущая из кабинета Гитлера в сад. Разбитое полукружье фонтана и чуть дальше совсем незаметный в весенней зелени куб из бетона, в который вделана массивная металлическая, задраивающаяся винтами дверь. Это вход в подземный бункер, где провел свои последние минуты Гитлер, в «фюрербункер», как говорили немцы.

Вместе с моим другом, корреспондентом «Правды» подполковником Сергеем Борзенко, мы спустились в бетонную нору. В конце осмотра нам показали комнату, увешанную охотничьими ружьями, свисающими с оленьих рогов. Полный охотничий костюм и зеленая шляпа с тетеревиным перышком валяются на кровати.

— Говорят, это комната Мартина Бормана.

— А где же он?

— Исчез,— отвечает майор.— По показаниям тех, кого взяли тут в плен, сидел до последнего, а потом куда-то исчез.

— Как исчез, тут же все было плотно окружено?..

— Не знаю... Разное говорят. Одни — будто видели его убитым, другие уверяют, что ему удалось бежать... Вернее всего, последнее. Вы этого не записывайте. Это так, версии. Они нуждаются в проверке. Тут и умышленная дезинформация может быть... Сколько угодно.

Мартин Борман бежал! Ближайший соучастник Гитлера скрылся от ответа. Помню, как нас ошеломила эта весть там, в бункере рейхсканцелярии. Тут на процессе, когда звучит зловещее имя Бормана, я невольно смотрю

на пустующее место на скамье подсудимых. Неужели этой гадине удалось уползти и скрыться в какой-то щели?

И вот три сигнала, возвещающих сенсацию, и листок пресс-релиза — Мартин Борман найден. Это новость!

Но почему в пресс-руме такой смех? Недоуменно смотрю на оказавшегося рядом Юрия Королькова. Стоит, улыбаясь всем своим круглым подвижным лицом.

— С первым апреля, старик!

— Ну да, сегодня первое апреля, что из того?

— А ты дочитай, дочитай сообщение до конца.

Действительно, взволнованный этой удивительной новостью, захваченный нахлынувшими воспоминаниями, я как-то проглядел в конце информационного сообщения маленькую стрелку и надпись: «Читайте на обороте». А на обороте заглавными буквами выбито: «С первым апреля! Спасибо!»...

Мы долго смеемся, вспоминая этот розыгрыш, учиненный, так сказать, в организованном порядке друзьями из пресс-бюро Трибунала. Смеемся, а в голове все та же мысль: неужели на земле найдется такая щель, в которой сможет окончательно спрятаться эта гадина?

«НАХТ УНД НЕБЕЛЬ»

Давно, с того самого дня, когда обергруппенфюрер СС, начальник главного имперского управления безопасности и шеф гестапо Эрнст Кальтенбруннер с опозданием появился в зале суда, наблюдаю я за этим человеком.

Его появление среди подсудимых тоже было сенсацией, в честь которой по помещениям Дворца юстиции прозвучали три заветных сигнала. Дело в том, что человек этот, хладнокровно отдававший приказы об истреблении миллионов людей, когда запахло возмездием, сам оказался просто-таки патологическим трусом. Спасаясь от ответственности, он пытался сначала отлежаться среди раненых в каком-то госпитале. Потом, подгоняемый тем же неудержимым страхом, ночью бежал из госпиталя в горы, спрятался в лесной избушке, где и был выдан оккупационным властям собственным адъютантом.

Здесь, в Нюрнберге, он тоже сразу очутился в тюремной больнице, все время дрожал от страха, метался

по камере и обливался слезами, не стесняясь тюремного врача. Потом от страха же его хватил мозговой удар. Нет, это не было хладнокровной, заранее задуманной симуляцией Рудольфа Гесса. Старший тюремный врач, доктор Келли, лечивший Кальтенбруннера, говорил нам, корреспондентам:

— Не думайте, господа, что его преследуют тени миллионов умерщвленных им людей или сознание ответственности за совершенные злодеяния... Страх, только вульгарный животный страх парализует его мозг, хотя физически этот сорокавосьмилетний мужчина шести футов роста здоров как бык.

И вот прозвучали три сигнала сирены. Ложи прессы мгновенно оказались набитыми до отказа, и среди подсудимых, занимавших на скамье свои обычные места, возник высокий плечистый верзила с большой головой, с пересекающим щеку шрамом, всей конфигурацией своей в профиль напоминавшей топор мясника. Все глаза устремились на эту зловещую фигуру, о которой столько страшного наслышались мы на суде. Кальтенбруннер как-то неуверенно прошел между скамьями, смущенно улыбаясь, протянул было руку Герингу, но тот резко отвернулся. Гесс тоже сделал вид, что не заметил этой протянутой руки. Шахт, Функ, Папен, Шпеер, державшиеся всегда своей замкнутой группой, демонстративно повернулись к вошедшему спиной. Злодеи, на совести каждого из которых сотни тысяч жизней, старательно демонстрировали презрение к этому всемогущественному руководителю тайной полиции, перед которым сами еще недавно трепетали.

Никто из них не пожелал иметь Эрнста Кальтенбруннера своим соседом даже по скамье подсудимых, и военный полицейский, вмешавшись в это дело, почти насильно заставил потесниться Кейтеля и Розенберга. Кальтенбруннер как бы сразу обрел амплуа злодея среди злодеев.

Сначала он был сконфужен такой встречей. Но потом оправился, уже твердым шагом проходил в дубовый загон и, ни с кем больше не здороваясь, занимал свое место. Юрист по образованию, он сам обдумал план защиты и очень последовательно пытался отмыть со своих рук кровь миллионов погубленных им.

Когда этот огромный сутулый человек с тяжелым взглядом серых глаз в первый раз поднимался на три-

буну, его защитник доктор Кауфман тут же поторопился бросить в микрофон:

— Я начинаю защиту Эрнста Кальтенбруннера. Учитывая необычайную тяжесть выдвинутых против него обвинений мне не нужно подчеркивать, насколько тяжела для меня эта защита.

Нельзя было не согласиться с этой столь необычной в судебной практике преамбулой защитительной речи. Ведь уже несколько месяцев работает Трибунал, и за это время не было ни одного заседания, на котором не упоминалось бы имя Генриха Гиммлера, который ушел от суда, раздавив ампулу с ядом, предусмотрительно спрятанную под языком.

Вместо Гиммлера на трибуне стоит и держит ответ другой, «малый Гиммлер», «гиммлерхен», «гиммлерочек», как звали в Германии Кальтенбруннера. Уже известно из документов, сколь влиятелен и страшен был этот «гиммлерхен», заменяющий сейчас своего шефа.

Трудно даже перечислить хотя бы главные из чудовищных преступлений, совершенных Кальтенбруннером. Это он и его шеф Гиммлер опутали Германию, а потом и все оккупированные страны сетью концентрационных лагерей. Нанесенная на карту, эта сеть демонстрировалась на одном из заседаний Трибунала. Точек, рассыпанных по карте Европы было так много, что местами они соединялись в сгустки и казались графическим изображением какой-то злокачественной язвы, распространившейся по телу континента. Она, эта язва уже покрывала Германию, Австрию, Польшу, протянулась в Бельгию, во Францию, в Советскую Прибалтику, в Белоруссию, на Украину.

Видели мы и другую карту, карту-отчет, еще более циничную и страшную. На ней возле кружков, обозначавших города, были изображены по два гробика — белый, большего размера, а под ним черный — поменьше. Оказалось, что нацисты, в государственном масштабе планировавшие обезлюживание захваченных территорий, картой этой как бы «отчитывались» в выполнении намеченных планов. Гробики являлись своего рода диаграммой, показывавшей, сколько запланировано истребить людей и сколько пока истреблено. Большие черные гробики были нарисованы около Киева, Харькова, Краснодара, Вильнюса, гробики поменьше — возле Орши, Минска, Витебска, где, как объяснял отчет, из-за чрез-

вычайно развитого партизанского движения и густых лесов планы умерщвления оставались недовыполненными.

И вот он — человек, который составлял эти планы и принимал эти отчеты. Были показания, свидетельствовавшие, что Кальтенбруннер разработал для Германии, решив потом распространить ее и на все оккупированные земли, целую систему истребления, носившую кодовое наименование «Нахт унд небель», то есть «Ночь и туман». Согласно ей десятки, сотни, тысячи людей арестовывались по ночам и с этого мгновения подлинно погружались в пучину тумана и мрака, попадая под бесконтрольную власть палачей гестапо, СД и СС.

Именно по этой системе Гиммлер и его правая рука Эрнст Кальтенбруннер создали особый вид тайной индустрии (о ней мне уже не раз приходилось говорить), индустрии смерти, служившей единственно цели уничтожения людей. Свыше трех тысяч предприятий насчитывала эта индустрия нацизма — от мелких, так сказать, кустарных мастерских с дневной пропускной способностью до сотни человек, где людей истребляли старым способом — выстрелом в затылок,—до гигантских комбинатов смерти, подобных Аушвицу, Бухенвальду, Маутхаузену, где истребление было механизировано, химизировано, электрифицировано, где работали конвейеры для транспортировки трупов к печам, где были сконструированы огромные ножи для рассечения массы тел перед сжиганием, где действовали механизированные вальцы для перемалывания костей и прессы для изготовления из костной массы удобрительных туков.

Индустрия смерти, созданная Гиммлером, имела свои отходы, и отходы эти, как я уже упоминал, тоже утилизировались с пользой для экономики «третьего рейха». Ничего не должно было пропадать даром в хозяйстве рачительного Гиммлера, и, как мы уже наглядно убедились в первые месяцы процесса, им были созданы специальные научные институты для утилизации «отходов» этого сатанинского производства.

Люди Гиммлера и Кальтенбруннера в белых халатах под покровом мрака и тумана проводили в лагерях опыты над заключенными, хладнокровно, методично пробовали на них действие газов и ядов, изобретавшихся для уничтожения непокорного человечества.

И, наконец, еще способ обезлюживания оккупированных земель — уничтожение деревень, сел, поселков и

городов. Это ведь тоже было индустрией, имевшей свои механизмы, свои хорошо обученные кадры, так называемые оперативные специальные команды СД. И свои планы, которые предписывали выжигать дотла мирные селения, создавать мертвые зоны, сеять страх, ужас, опустошение, расширять пределы земель, объятых мраком и туманом. Это тоже организовывал человек по имени Эрнст Кальтенбруннер. И теперь пришел час ответа за все его злодеяния.

Человек по имени Кальтенбруннер дает показания. Что может сказать этот изверг, от которого демонстративно отодвигаются даже его соседи по скамье подсудимых, против которого на суде выставлены уже целые колонны папок с бесчисленным количеством документов, обвиняющих его в ужасных преступлениях против человечества?

Приблизившись к микрофону, дотронувшись до него рукой, даже пощелкав по нему ногтем, чтобы убедиться в исправности, Кальтенбруннер хорошо поставленным голосом, каким, вероятно, защищал когда-то уголовников в венском городском суде (по профессии он адвокат), говорит:

— Господа судьи, во-первых, я хочу заявить суду, что осознаю всю тяжесть предъявленных мне обвинений. Мне известно, что, так как Гиммлера, Гейдриха, Поля и других нет уже в живых, на меня обрушивается ненависть всего мира, и я вынужден держать ответ за все деяния отсутствующих здесь лиц. Я сознаю, что обязан сказать всю правду, чтобы почтенный суд и весь мир до конца поняли сущность явлений, имевших место в германской империи, правильно взвесили и оценили их с тем, чтобы вынести справедливый приговор...

Все это говорится ровным, спокойным голосом. На скамье подсудимых возникает тревожное перешептывание, в ложе прессы судорожно перевертываются страницы блокнотов. Слова эти как бы преамбула, разоблачающая стратегию защиты подсудимого. Он все признает. Он будет топить других. Он рассчитывает на то, чтобы чистосердечным раскаянием или, вернее, видимостью чистосердечного раскаяния вымолить себе жизнь.

Так нам всем подумалось сначала. Но не так-то прост оказался Эрнст Кальтенбруннер. Сразу же после этих печальным голосом произнесенных слов он начинает отрицать свои преступления, переходит, так сказать, на тотальное отрицание.

Спокойно, бесстыдно, нагло, вопреки показаниям свидетелей, которые он слышал и истинность которых не пытается опровергать, вопреки предъявленным ему уликам и вещественным доказательствам, он открещивается от всего. Даже от своих слов, зафиксированных в различных записях и протоколах. От своих публичных заявлений. Даже от своей подписи под документами.

Оказывается, что заместитель Гиммлера, имперский руководитель безопасности и тайной полиции, официальный глава внешнего и внутреннего шпионажа, в сущности, ничего даже толком не знал о... концлагерях, не ведал о... массовых расстрелах, рвах смерти, каминах крематориев, не остывавших ни днем, ни ночью. «Оперативные команды», созданные в руководимом им СД? Он о них даже не слыхал. Узнал только тут вот, на суде. Опыты над людьми? Он о них впервые услышал здесь. О чем-то таком, правда, поговаривали, но ему в это не верилось, и он был слишком занят, чтобы проверить, допускалось ли что-либо подобное.

Он просит суд учесть, что происходит из почтенной католической семьи и сам правоверный католик. Разве он мог позволить себе участие в таких богомерзких делах? «Нахт унд небель»? Эта пресловутая «Ночь и туман»? Но почему на суде столько разговоров об этой образной фразе, взятой из произведений Вагнера? Гитлер, он, конечно, любил вагнеровские оперы. Часто обращался к ним. Доктор Йозеф Геббельс — он же был романтик и не пропускал случая подпустить в своих речах нечто такое романтическое. Но вот он, Эрнст Кальтенбруннер, юрист, знает цену словам. Ночь и туман? Какая-то нелепость. Ни о каком тумане и ночи он и слыхом не слыхал.

По мере того, как Кальтенбруннер говорит все это, подсудимые понемножку успокаиваются. Значит, никаких сенсационных разоблачений не будет. Только Гесс иронически посматривает на Кальтенбруннера. Его большие глаза насмешливо сверкают из глубины темных глазниц.

Когда же, признав вскользь, что юрисдикция в «третьем рейхе» действительно иногда попиралась, Кальтенбруннер заявляет, что он, потомок четырех поколений почтенных венских адвокатов и сам адвокат, всегда стоял за законность и «считал свободу человека его высшим правом», черепообразная голова Гесса начинает

вздрагивать от беззвучного смеха, который он не пытается скрыть.

Кальтенбруннеру предъявляют уличающий его документ, где стоит его собственная подпись. Происходит диалог, который я цитирую по стенограмме.

ОБВИНИТЕЛЬ. Это ваша подпись?

КАЛЬТЕНБРУННЕР. Да, моя... кажется.

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы подписывали это?

КАЛЬТЕНБРУННЕР. Нет.

(Смех. Шум в зале. Лорд Лоренс берется за молоток и поверх очков строго смотрит на гостевой балкон и на ложу прессы. Обвиняемые перешептываются. На их лицах смесь изумления, иронии, а может быть, даже восхищения.)

ОБВИНИТЕЛЬ. Но это же ваша подпись. Вы только что об этом заявили суду.

КАЛЬТЕНБРУННЕР (тем же спокойным тоном). Моя. Но, по-моему, это лишь оттиск моего факсимиле. Во всяком случае, я этот документ не помню. Не знаю. Я услышал о нем только тут, на суде. Возможно, документ этот действительно был выпущен от моего имени, но без моего ведома.

(В зале откровенный смех. На скамье подсудимых движение. Лорд Лоренс поднимает молоток.)

ЛОРД ЛОРЕНС. Не кажется ли вам, господа, что в зале становится шумновато?

Не знаю, какими путями, но весть о допросе Кальтенбруннера уже распространилась за стенами суда среди немецкого населения.

— Разрешите задать вам вопрос,— обращается ко мне Курт, не отрывая глаз от дороги.

— Да, конечно.

— Это правда, будто господин Кальтенбруннер говорил, что не знал о том, что происходит в концентрационных лагерях?

— Так он по крайней мере пытается утверждать.

— Мой бог! — восклицает шофер, и его искалеченное лицо начинает нервно подергиваться.

— А почему вас это интересует?

— Младший брат моей матери был казнен в Дахау. Он был механиком в химическом цехе тут, на карандашной фабрике Фабера.

— Он был коммунист?

— Не знаю... Наверное, нет. Но он был цеховым уполномоченным профсоюза химиков... Как вы полагаете, господин Кальтенбруннер не уйдет от ответственности?

— Откуда мне знать? Это определит суд. Думаю, что ему не избежать петли. Курт, а что думают об этом ваши соотечественники?

Всегда искренний, Курт отвечает не сразу.

— ...В Германии живут разные люди, господин полковник,— наконец политично роняет бывший лейтенант люфтваффе.

В баре пресс-кэмпа у стойки Дэвида необыкновенно шумно. Хладнокровная наглость Кальтенбруннера произвела на прессу даже бо́льшее впечатление, чем неприкрытая злоба Геринга или трусливая подлость Риббентропа.

— Это злодей шекспировского плана! — восклицает обычно такой сдержанный и скупой на эмоции Ральф.— Ричард Третий по сравнению с ним просто проказник мальчишка.

Дэвид, как всегда, артистически орудует у своей стойки. Сегодня у него богатая клиентура. Коктейль «Сэр Уинни» идет нарасхват, и никелированный миксер не знает покоя в ловких руках бармена. На процессе Дэвид, естественно, не был, но все, что там происходило, знает во всех деталях.

— Хэлло, полковник! Как вам понравился этот гестаповский парень? — восклицает он, наливая мутноватую жидкость в бокал очередного посетителя.— Нет, каково: он ничего не знал, ничего не ведал... Ну и наглец!

По-моему, в его тоне звучит даже восхищение.

КОГДА ПРОЦЕСС ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ПОЛУГОДИЕ...

Даниил Краминов, Михаил Гус и другие наши коллеги, знающие языки и регулярно читающие западные газеты, говорят, что интерес западной печати к процессу гаснет с каждым месяцем. Теперь отклики вызывают только сенсации вроде допроса Кальтенбруннера да разные журналистские штучки вроде интервью с Герингом или Гессом, которые тому или другому из наших западных коллег время от времени удается

выудить через адвокатов. Давно уже не звучал волнующий тройной сигнал, в ложе прессы пустовато, и эпицентр корреспондентского кипения как-то сам собой перенесен под крылышко веселого Дэвида. Аборигены процесса временно разъэжаются. С какими-то своими знатными знакомыми укатила мисс Пегги, не без шика заявив друзьям, что ей надоело созерцать жабью морду Геринга и она отправляется в Монте-Карло просадить в рулетку свои гонорары.

Отправился в Париж Ральф, захватив свою синеглазую Таню.

— Процесс очень интересен. Но не печатают. Говорят, публике надоело читать одно и то же,— заявила на прощание Таня.

Улетел на Британские острова милейший Эрик, с которым мы так подружились. На прощание выставил нам заветную бутылку виски «Белая лошадь» и не без юмора заявил:

— Что поделаешь? Я всего только несчастное дитя умирающего, по вашему мнению, капиталистического мира: нет спроса, нет предложения. Ваш бедный друг не может, подобно вам, кормить семью священной ненавистью к нацизму. Вам можно быть пай-мальчиками, сидеть в пустой корреспондентской ложе, у вас твердые заработки, а проклятый капитализм не желает меня кормить, если я не сообщаю ничего сногсшибательного... До более урожайных времен, джентльмены!

Наш советский народ, столько натерпевшийся от нацистского нашествия и разбивший его в конце концов в великом единоборстве, интереса к процессу не теряет. Нас по-прежнему печатают и читают. Правый фланг корреспондентской ложи, где размещаются советские журналисты, представляет собой весьма населенный полуостров среди пустынного ландшафта порожних кресел. Но уж такая у нас профессия — не терпит она спокойной, размеренной работы. И, что там греха таить, давно стал я замечать, в особенности в послеобеденные часы, что то там, то тут кто-нибудь из наших клюет носом, а то и вовсе откровенно похрапывает.

Лучше всех приспособился к этому тихому периоду один из самых почтенных курафеев. Он приобрел не просто темные очки, какие есть у всех нас, а большие американские «консервы» особого устройства, должно быть, специально приспособленные для длительных засе-

даний. На их темных стеклах с обратной стороны каким-то способом выведены широко раскрытые глаза. Счастливый обладатель этих очков может щуриться, жмуриться, просто спать, но посторонним виден лишь его внимательный, заинтересованный взгляд. Почтенный курафей озабоченным шагом проходит в зал, занимает свое кресло в первом ряду, кладет направо французские, налево английские, а перед собой русские переводы документов, достает блокнот, утыкает в него попрочнее свое стило и... засыпает. Это у него получается великолепно. Даже если глядеть на него в упор, видишь внимательнейшего человека, слушающего, наблюдающего. Когда же в перерыве соседи потихоньку будят его, в нем будто бы срабатывает какая-то машинка. Бодрым, свежим голосом он с пафосом произносит: «Нет, какие сволочи... Мерзавцы... Изуверы...» — или что-нибудь в этом роде. Это звучит всегда к месту, ибо может быть сказано в любую минуту процесса.

Все бешено завидуют, но достать подобные очки никому до сих пор не удалось, хотя, скажем прямо, в эти дни затишья бог коммерции, крылоногий Гермес, бесцеремонно теснит в кулуарах богиню юстиции Фемиду.

Действительно, коммерция развивается вовсю. Американские офицеры и унтер-офицеры широко используют свое право экстерриториальности. В дни отпуска разъезжают по Европе, покупают на доллары и даже на оккупационные марки, котирующиеся на черных рынках европейских стран сравнительно вольно, часы — в Швейцарии, авторучки — в Германии, духи — во Франции и, используя разницу в валютах, небезвыгодно сбывают все это на нюрнбергском, как определил это Семен Нариньяни, юстицбазаре.

Признаюсь, на днях я сам стал жертвой этого буйного, говоря одесским жаргоном, коммерсования. В баре ко мне подсел знакомый американский лейтенант, объяснив знаками, что собирается лететь на родину. Потом достал из бумажника фотографию, на которой был снят он сам, белокурая женщина — его жена — и двое ребятишек, крепких, как грибы-боровики. Затем он расстегнул манжету кителя и поднял рукав. Под ним оказалось десять весьма привлекательных часов-браслетов. Еще не понимая, что все это значит, я согласно кивнул головой, что, мол, очень славные часы. Тогда он пальцем

начал указывать на все эти часы поочередно: дескать, которые больше нравятся. Все еще не понимая своего безгласного собеседника, я показал на часы, по циферблату которых бегала красная стрелка. Он кивнул головой «О'кэй!» и на бумажной салфетке изобразил цифру «150»... марок. Только тогда до меня с запозданием дошло: он хочет, чтобы я купил у него эти часы.

Товар был действительно отличный, и цена в общем-то сходная, но ни малейшей потребности в часах я не испытывал. Дело в том, что у меня были заветные часы: солидные, карманные. Первого выпуска Московского госчасзавода. Не очень удобные, но это был первый подарок жены, сделанный незадолго до войны из ее первого учительского заработка. Уходя на войну, я вправил в крышку фотографию жены и сына и не расставался с ними все четыре года, отмечая на крышке черточкой каждый прожитый военный месяц, а также выцарапывая на ней даты дней, в которые, как мне казалось, эти часы-амулет спасали меня от верной смерти в трудной боевой ситуации. Они и здесь были при мне. Но как объяснишь всю эту сентиментальную историю иноземному офицеру, который, как я понимал, хочет продать мне свой товар потому, что собирается к жене и сыновьям и ему нужны деньги. По-английски я к этому времени твердо выучил только четыре слова: «да», «нет», «хорошо» и «спасибо». Отодвинув соблазнительные часы, я произнес два из них:

— Но. Сенкью.

Он снова изобразил на бумажной салфетке цифру. На этот раз 125. Ну как мне, не обидев этого хорошего парня, сказать ему, что дело не в деньгах? А он между тем, подбрасывая часы в руке, говорил: «Антимагнитик», — что, как я догадался, означает: не подвержены действию магнита. И «уотерпруф». И это я тоже понял, так как недавно Краминов рассказывал нам, что в Америке сооружено рекламное слово «фулпруф» — «дураконепроницаемый». Так рекламируются некоторые бытовые приборы с добавлением: ни ребенок, ни жена, ни теща не могут их испортить. Слово «уотер» означало «вода». Стало быть, предлагаемые мне часы были и водонепроницаемые.

— Но, сенкью вери мач,— ответил я, прибавив для убедительности еще два слова.

Тогда мой собеседник запросил у Дэвида, издали наблюдавшего за ходом коммерческой операции, два бокала пива. Один он придвинул мне, а в другой бросил часы вместе с браслетом. Пока я пил пиво, красная стрелка даже в необычной для нее среде бодренько бегала по циферблату! Не располагая запасом слов, которые можно бы было добавить к уже произнесенным, я повторил отказ, но, по-видимому, уже без прежней твердости. Настойчивый лейтенант извлек часы из бокала, вытер их носовым платком и, размахнувшись, вдруг бросил их в угол комнаты. Потом поднял, положил передо мной. Часы продолжали идти. Ну что оставалось мне делать? Я сказал: «О'кэй!» — и полез в карман за деньгами.

Это было коммерсование со счастливым исходом. Случалось и по-иному. Однажды Юрий Корольков вкатился, именно вкатился, в русские комнаты Трибунала, давясь от смеха. Оказывается, он пошел на телеграф и походя наблюдал подобную же сцену продажи часов в коридоре. Продавцом на этот раз был американский солдат из военной полиции, покупателем — наш советский гвардеец, из тех, что в очередь с союзниками стояли в карауле перед Дворцом юстиции. Объектом торговли тоже были швейцарские часы. Их трясли, бросали, но они упорно продолжали ходить. Когда Корольков возвращался с телеграфа, продавец и покупатель стояли друг против друга и горестно смотрели себе под ноги.

— Хлопцы, что случилось? — поинтересовался Корольков.

— Да вот, товарищ подполковник, видите, часы он мне продал. Поверил рекламной картинке, наступил на них и глядите, что вышло.

На полу действительно лежали раздавленные часы... Впрочем, часы — это мелочь. Я слышал, что юристы наши, время от времени отправлявшиеся в Москву по делам, всерьез получали от своих иностранных коллег по Трибуналу просьбы привезти сибирские меха, старые иконы, предметы искусства, а в ответ на возмущенный отказ, видимо, искренно недоумевали: почему? Бизнес есть бизнес...

Но как бы там ни было, а действительно тяжко становится сидеть на процессе, за массивными стенами Дворца юстиции, когда уже началось жаркое баварское лето, буйно цветет сирень, летает тополиный пух, и даже

в этом несчастном, лежащем в развалинах городе воздух такой, что хочется греться на солнышке, зажмурив глаза, а не наблюдать изо дня в день, как суд с великой добросовестностью и методичностью распутывает тайны нацистских преступлений.

И вот сегодня по рукам пошел роскошный иллюстрированный американский журнал, имеющий на процессе и своего корреспондента, и своего фотографа. Журнал этот довольно широко освещал процесс в первые дни. Потом свел информацию к маленьким заметкам. Ну а в этом номере он разразился целым разворотом фотографий. Они даны под общим заглавием, набранным сверху: «Когда процесс перевалил за свое полугодие». Под шапкой на две страницы выстроены рядами портреты... спящих корреспондентов. Ничего, кроме фотографий и подписей, поясняющих, кто такой спящий и откуда. Досталось всем нациям — сами американцы были представлены большой компанией во главе с Пегги, которая спала в своем металлическом кресле уютно, как котенок. Глубокомысленно приложив пальцы к высокому лбу, будто решая сложные вопросы мироздания, дремал с закрытыми глазами Ральф. Великолепно развалившись, как молотобоец в обеденный перерыв, спал огромный чех Висент Нечас, и рядом с ним, уронив на грудь львиную голову, сложив губы трубочкой,— Ян Дрда.

Словом, никто не был забыт. Но среди этих маленьких фотографий размером с те, что делаются для удостоверений, одна была величиной с открытку. На ней был запечатлен один из наших друзей в форме майора Советской Армии, тот самый, чье имя когда-то было увековечено в названии коктейля. Большой, массивный, он спал, привольно развалясь в кресле и приоткрыв свои сочные губы, как Гаргантюа после обильной трапезы. Вот в этом преувеличенном внимании к одному из наших собратьев кое-кто усмотрел выпад против Советского Союза и оскорбление нашей военной формы. Коллеги, не обладавшие достаточным чувством юмора, даже потребовали, чтобы я, как один из сопрезидентов здешней журналистской ассоциации, сделал соответствующее представление.

Михаил Харламов, к счастью, не лишен юмора. Он подтрунил над теми, кто украсил собою эту галерею спящих, а потом мы провели с ним, так сказать, летучку для всех пишущих, рисующих и снимающих. Собра-

ние получилось довольно веселым, и в результате было единодушно решено за обедом пива не пить — раз, ежели с кем и случится беда — заснет, соседям немедленно его разбудить — два. А потом родилось еще одно великолепное предложение — перетасовать места таким образом, чтобы рядом с пожилым курафеем, которых, увы, в галерее спящих было увековечено несколько, сидел молодой халдей. И чтобы они менялись наушниками, с тем чтобы сосед мог незаметно разбудить соседа, подергав за проводок.

Ну что же, великолепная система. Мы все гордимся своей выдумкой. Но в первый же день система эта дала осечку, и в самом, казалось бы, ее надежном звене. Благодаря хитроумным очкам их счастливый обладатель в галерее сонь отсутствовал. Но во время вечернего заседания он из-за чего-то поссорился с переводчицей, сидевшей рядом с ним, и в перерыве она «позабыла» его разбудить. Удалился суд, разошлись корреспонденты, увели подсудимых. А наш друг все еще продолжал сидеть в пустой ложе прессы, уставив стило в раскрытый блокнот, и мирно спал с самым заинтересованным и озабоченным видом, положив локти на кипы переводов.

Девушку, покинувшую его, все-таки мучила совесть. Она вернулась в зал и стала свидетельницей такой сцены. Джи-ай, стоявший в дверях и, видимо обеспокоенный тем, что русский в форме морского офицера с множеством орденских ленточек, так углубился в себя, что сидит совершенно неподвижно, подошел к нему и удивленно остановился, услышав сладкое посапывание. Девушка появилась как раз в тот момент, когда солдат вежливо похлопывал своей дубинкой по спинке кресла.

Наш друг, очнувшись, вздрогнул.

— А, что? — и тут же гневно выдал обычное: — Гады, какие гады! — Но, увидев перед собой ничего не понимающего джи-ай, торопливо схватил свои бумаги и засеменил к выходу.

НЕМНОГО МОСКВЫ

Эти записи я продолжаю уже в Москве, у себя на Беговой, где я неожиданно, точно по волшебству, очутился, вызванный телеграммой моей редакции. Вот она,

переданная по телеграфу и сохранившая еще стиль военного времени: «Из Аметиста в Сапфир. Корреспонденту «Правды» Полевому. С получением сего немедленно вылетайте в Москву. Взамен вас вылетает Василий Величко. Поспелов. Сиволобов. Генерал Галактионов».

Получив эту телеграмму, я смутился. В Москву? Так неожиданно? Почему? В тревожном, в смутном настроении летел я домой. Василий Величко — боевой военный корреспондент. Горячий публицист. На фронте шутили: когда передается его корреспонденция, от напряжения звенят провода. Хорошая замена. Но почему она произошла? Неужели я в чем-то проштрафился? В чем же именно?

Курт, отвозивший меня на аэродром, был, как мне кажется, опечален. Друзья-корреспонденты, пришедшие проводить, принесли с собой кучу писем и сувениров, предназначенных для передачи семьям.

— Не дрейфь, старик, все обойдется, бог не выдаст, редакция не съест, — слышал я возле самолетного трапа.

— Возвращайтесь скорее. Геринг не переживет разлуки с вами. Кто ж его будет окуривать чесночным паром?

И среди этого дружеского трепа как-то очень запомнилась лирическая фраза Сергея Крушинского:

— Солнце не зайдет, а вы уже будете дома. Честно говоря, я вам здорово завидую.

В Москве мы живем с ним в одном доме, он любит жену и обожает двух своих парней, которые, как и все дети военного времени, растут без отца. А судьба его — боевого журналиста, влюбленного в свое дело, но и человека, нежно привязанного к своему семейству, все время мотает его по миру туда и сюда, и семью он почти не видит.

В смутном настроении прилетел я в Москву, но у вызова этого оказался совершенно неожиданный счастливый конец, как говорят янки, «хеппи энд». Оказалось, всемогущий Федор Иванович Панферов запускает в печать мою повесть о безногом летчике. Со свойственной ему энергией он сумел убедить редактора «Правды» Петра Николаевича Поспелова, что для окончательной отделки книги перед набором ему совершенно необходим автор, и так как на процессе затишье, меня временно и вызвали в Москву.

По заведенному в войну неписаному закону мы с женой в тот же вечер развезли по адресам все письма и сувениры, посланные коллегами своим семьям. Выполнив эту первейшую для каждого военкора обязанность, я лишь ночью появился в «Правде». Появился в самое горячее время. Только что «загорелась», то есть была отправлена в машину третья полоса. Доверстывалась первая, но, несмотря на время священной спешки, в кабинете П. Н. Поспелова собрались все те, кто составлял в дни войны как бы сердце редакции,— и новый секретарь Миша Сиволобов, и начальник военного отдела, седовласый, благообразный генерал Галактионов, и его первый заместитель полковник Яхлаков — деликатнейший человек, обладатель сокрушительного громоподобного баса, и «промышленный босс», заведующий экономическим отделом Сеня Гершберг, и бывший король московских репортеров Лазарь Бронтман.

— Ну что там у вас в Нюрнберге?.. Как они чувствуют себя на скамье подсудимых?.. Что за люди?

Я сразу ощутил всю силу внимания, с каким Москва следила за ходом процесса. Напутствовавший меня когда-то перед вылетом в Нюрнберг Поспелов теперь с пристрастием допрашивал, что представляют собой подсудимые, как они себя ведут.

— Да просто мелкие жулики,— несколько легкомысленно брякнул я.

Поспелов, который во время беседы мягко и неторопливо шагал по кабинету, вдруг остановился перед креслом, в котором я сидел.

— Мелкие жулики?.. Так ли? — спросил он, иронически поглядывая из-под очков.— Они мелкие жулики? Ну, а как же эти мелкие жулики теснили нас до Москвы и до Нижней Волги? А?

Я понял, что сказал чушь.

— Нет,— произнес Поспелов, снимая и протирая очки.— Мелкие жулики не смогли бы за два десятилетия оболванить такую великую нацию, как немецкую, за двенадцать лет создать тот чудовищный аппарат смерти, о котором все вы писали, подготовить такую войну. Нет, в своей сфере это люди выдающиеся... Они квинтэссенция мирового империализма, его крайнее порождение. Вот кто они, а то, что они перед лицом суда так малодушны, трусливы, подлы,— это черты их характеров,

Только великие идеи могут рождать великие души, а все, что вылезает из кошки, кричит «мяу».

— Вы, конечно, правы,— сразу же сдался я.— Я просто не так выразился. Я только хотел сказать, что они держат себя на процессе, как мелкие жулики, отнекиваются от очевидного, подло хитрят и все, будто по уговору, сваливают, как говорят в Нюрнберге, «на три Г» — на отсутствующих: Гитлера, Гиммлера, Геббельса.

— Мы читали об этом в ваших корреспонденциях,— продолжал редактор, присаживаясь на край своего стола, на котором уже лежала очередная, еще мокрая полоса.— Вы правильно написали о том, как они трусливо лгут перед лицом неопровержимых доказательств. Но это же и характерно. Георгий Михайлович Димитров на Лейпцигском процессе выглядел прокурором. Перед его мужеством, перед его логикой и светлым умом снимали шляпы даже буржуазные юристы. Лев рождает льва, а жаба производит на свет жабу. Это логично... При всем этом даже Кальтенбруннер, к примеру, не был мелким жуликом. В своей сфере он был железным организатором, созданный им аппарат был страшной, но четко работающей, выверенной, послушной машиной... Вот, дорогой товарищ Полевой, это надо понимать и писать глубже. Время солдатских раешников, время «верного слова Фомы Смыслова» прошло. Правдиво показывая противника во весь рост, мы тем самым помогаем человечеству глубже понять и осмыслить, от каких тяжких бед, от какой смертельной опасности спасла нашу Родину и весь мир Красная Армия...

Возвращаясь ночью пешком к себе на Беговую, я, как когда-то в Болгарии после разговора с Георгием Димитровым, по-новому осознавал всю важность и ответственность выпавшей на нашу долю миссии. Народы антигитлеровской коалиции, в сущности, судят не соучастников Гитлера, они судят нацизм, эту чудовищную идеологию, и как важно, чтобы она, эта идеология, вновь и вновь представала перед миром во всей своей омерзительной наготе. Мир должен содрогаться, вспоминая опасность, которая нависала над ним «по крайней мере на ближайшую тысячу лет». Человечество, склонное в благоприятной обстановке быстро забывать недавние беды, должно крепко запомнить то, что ему угрожало. Это надо разъяснять и разъяснять, и перед лицом этой задачи кажущаяся

скука нашего многомесячного нюрнбергского сидения — ничто.

Летняя ночь густо насыщена медовым запахом цветущих лип. Теплый, южный ветерок катит по асфальту валики тополиного пуха, скрип моих сапог эхо повторяет где-то далеко впереди. Как же все-таки хорошо, что я дома, в Москве!

Дверь открывается до того, как я успеваю нажать кнопку звонка. Жена стоит на пороге в своем единственном пестром халатике, что впопыхах успела захватить, унося на руках маленького сына из нашего родного города, в который уже врывались немецкие танки. На милом круглом лице обида.

— Я думала, этот первый вечер ты все-таки проведешь вместе с нами. Мы тебя еще как следует и не разглядели.

Начинаю передавать ей разговор, только что происшедший в редакции. Лицо ее становится еще печальнее.

— Тише, ребята спят. Ты что, забыл, что у тебя двое детей?

Ребята действительно спят — шестилетний белокурый, курчавый сын и маленькая черноволосая, черноглазая дочурка, родившаяся год назад в канун нашей победы и успевшая вырасти без меня в энергичное, егозливое и, увы, малознакомое мне существо. Я их давно не видел. Вероятно, поэтому мне кажется, что растут они как-то скачками и в каждый новый приезд мой предстают перед отцом новыми, незнакомыми. Плохой я, видно, муж и отец, но такова профессия репортера. Она требует жертв...

Следующий день весь отдан работе над книгой. Название «Повесть о настоящем человеке» редакция после некоторых колебаний утвердила. И редактор отдела прозы Ольга Михайловна Румянцева, и шефствующий над прозой Василий Павлович Ильенков, и сам Федор Иванович Панферов — все чрезвычайно милы и внимательны.

— А то, эко дело, подкинул книжку на порог редакции и убежал. Делайте что хотите,— журит меня Панферов при встрече, как всегда в хорошую минуту несколько утрируя в своей речи этакую крестьянскую интонацию.— Нет, милый человек, растить вашего подкидыша мы не станем. Нянчитесь-ка вы с ним сами.

— Так ведь процесс,— виновато говорю я, вспоминая ночной разговор в редакции «Правды».

— Процесс — оно, конечно... Однако что ж, без вас всех этих герингов не повесят, что ли? А книжку без вас никто в люди не выведет. Только даром такой материал загубите.— И, оглянувшись, хотя в большом его кабинете в этот момент никого не было, он произнес шепотом, указав пальцем на потолок: — Там знают. Там одобрили. Можете не беспокоиться. Мы с Петром Николаевичем договорились, что будете жить в Москве, пока не кончите работу над книгой. Это там так сказали. Ясно вам?

Умение этого человека почти гипнотически влиять на высшее начальство литературных и журналистских кругов Москвы хорошо известно. Где это «там», выяснять и не стараюсь. Там так там. Могу же я хоть раз за всю войну пожить по пословице «Своя рубашка ближе к телу».

Дома застал семью всполошенной: жена и мама благоговейно сообщили, что звонил сам Александр Фадеев. Оставил номер телефона, просил позвонить. Я очень обрадовался и, разумеется, сразу позвонил.

— Хотим с женой зайти к тебе, не возражаешь?

Возражаю? Нет для меня в литературе человека более близкого, чем этот знаменитый наш писатель. «Разгром» его в юношеские годы был для меня маяком, к которому я стремился в своих еще неясных мечтах о литературе. Война свела нас на Калининском фронте, куда Фадеев приехал с корреспондентской путевкой «Правды». Тяжелые были дни. Нам здорово тогда досталось под Ржевом. С целой армией зимою влипли в окружение и долго питались «конницей генерала Белова», то есть замерзшими трупами лошадей этой конницы, побитых когда-то в конце осени. Вместе со всеми мы пилили лошадиные трупы, отрезали тонкие ломтики конины и жарили на шомполах над кострами по старому удэгейскому способу, рекомендованному Фадеевым. Способ так и получил тогда в частях шутливое название «мясо по-фадеевски». Ох уж это тронутое тленом мясо! Но есть было все-таки можно, особенно если удавалось натереть чесноком. А чеснок нам сбрасывали с самолетов и выдавали по головичке на день.

Вот тут-то мы, военные корреспонденты, и узнали по-настоящему, что за человечище Александр Фадеев.

И полюбили его, высокого, красивого, уверенного, доброжелательного, никогда не унывающего, умеющего в самые тяжелые минуты излучать какой-то нешумный, светлый, чисто фадеевский оптимизм. Давно уже позади эти ночи под Ржевом, вкривь и вкось пронзенные осветительными ракетами, прошитые пулями, ибо лес, где нас стиснули, простреливался со всех четырех направлений. История, былинные времена. С тех пор, нет, не с тех, а, пожалуй, с битвы за Великие Луки не видел я этого человека. И вот: «Можно ли заехать»?

— Да, конечно же! Милости просим, будем рады.

Жену и маму этот визит повергает в великую панику. Жена — учительница. Фадеева они «проходят» в седьмых и десятых классах. Его «Молодая гвардия», напечатанная подвалами в «Комсомольской правде», уже стала знаменем нашего юношества. Мама — старая большевичка, фабричный врач, всю свою жизнь проработала в больнице родного мне тверского текстильного комбината «Пролетарка». Из города Калинина она выезжала лишь изредка на какие-нибудь курсы усовершенствования врачей. Живых писателей, да еще такого крупного калибра она не видела с тех давних времен, когда на какой-то студенческой сходке ей посчастливилось почтительно созерцать Леонида Андреева в красной рубахе и цыганских сапогах и Викентия Вересаева с докторским пенсне на носу.

Словом, дома переполох, аврал. Встает вопрос: чем угощать? Литр водки из первомайского пайка ожидает меня, оказывается, с самого праздника. А закуска? Из ящиков буфета выгребают всю наличность и гонят меня в коммерческий магазин, который по старой памяти величается Елисеевским. Денег целая охапка, а покупки, записанные мне для памяти мамой, мизерные, двести граммов колбасы, сто граммов сыру, пяток яиц... К чему столько денег... Вхожу в роскошный магазин и с ужасом вижу на табличках такие цены, что судорожно начинаю пересчитывать огромные, как простыни, сотни. Отвыкли мы в Нюрнберге от нолей на денежных купюрах. Оказывается, весь ком бумажных денег едва-едва покроет скромную мамину заявку.

И все же перед кассами хвост. Становлюсь свидетелем такой сцены. Очередь длинная, сердитая. Где-то в конце ее мается раненый на костыле, с ногой, замотанной бинтом. А впереди, уже у самой кассы, какой-то

очень представительный, пожилой генерал-лейтенант, на котором форма выглядит подчеркнуто шикарно. Раненый беспокоится: кончается срок увольнения. Ему и надо-то всего четвертинку: «Из госпиталя дружок выписывается. Вот сложились помаленьку, надо же угостить на прощание,— апеллирует он к очереди.— Всего на час увольнительная». Очередь молчит, и кто-то ядовито произносит: «Тут всем некогда». Тогда генерал-лейтенант поворачивается, от самой кассы идет к раненому и говорит:

— Пожалуйста, вставайте вместо меня.

Обрадованный раненый вприпрыжку бежит к кассе. Очередь пораженно молчит. Потом раздаются робкие голоса, призывающие генерала пройти вперед. Но тот остается на месте раненого, терпеливый, спокойный, знающий себе цену. Обращения к нему звучат настойчивее, и тогда он говорит, чуть-чуть грассируя:

— Раненый воин требует к себе особого уважения. А мне не к спеху... Я ведь в запасе...

Авоська, в которой лежат продукты, купленные на все выданные мне деньги, легка и мала. Дома уже выстроилась на столе добытая у соседей посуда. Выложено кое-что из праздничного первомайского пайка, сбереженного для моего приезда. Стол покрыт желтой скатертью с какими-то пролежнями и пятнами — следами пребывания в земле, куда ее закапывали перед приходом немцев. Но жена и мама гордятся этим столом: есть чем встретить гостей.

Фадеев приходит с женой — высокой, стройной, я бы даже сказал — величественной женщиной, с глубоким звучным голосом. Это артистка МХАТа Ангелина Степанова, которую мы с женой до сих пор видели только на сцене в роли Ирины в «Трех сестрах». Тут мне становится немножко не по себе: Фадеев — ладно, Фадеев — солдат, а тут артистка...

Но сейчас я лишний раз убеждаюсь в силе истинной интеллигентности. С появлением этой пары как-то сразу сама собой исчезает напряженность ожидания. У артистки знаменитого театра тотчас же находится тема для оживленной беседы с моей женой — учительницей одной из окраинных школ Москвы. Обе они матери. Фадеевский Миша родился почти одновременно с нашей Аленой — в конце войны. Ну и, конечно, возникает оживленнейшая дискуссия о том, как лучше выращивать ребят — с соской или без соски, когда им полагается начинать ходить,

когда говорить, как избежать летних поносов и как полезен ребятам свежий воздух.

Мама начинает развлекать писателя по-старомодному — разговорами о литературе, и в частности о «Молодой гвардии», которую она вырезала из «Комсомольской правды» и подшивала. У нее дела идут хуже. Фадеев скучающе поддакивает. Но тут происходит трагическое происшествие, сразу улучшающее обстановку и на этом фронте. Дело в том, что из всего нашего имущества в Калинине сохранился и был перевезен в Москву лишь один старинный «турецкий» диван, крытый потертым оранжевым плюшем. Пружины его давно отказали. Сиденье держится на стопках газет, которыми этот диван набит, газет с моими статьями, очерками и заметками, аккуратно собираемыми мамой. Фадеев садится на диван и, естественно, проваливается, ибо все мои труды не выдерживают веса живого классика.

Мама всплескивает руками и застывает в ужасе. И тут мы слышим мелкое, дробное, рассыпчатое фадеевское «ха-ха-ха», всегда свидетельствующее об отличном настроении. Напряженность спадает и тут. Осторожно устроившись на коварном диване, мы погружаемся в военные воспоминания. Как водится, мешаем друг другу говорить восклицаниями, вроде: «А знаешь!», «А помнишь!», «Ты не забыл, как...» и т. д.

Яичница с колбасой, аппетитно скворчащая на сковородке, и заветная бутылка, которой мы тоже не даем скучать, подстегивают и согревают наши воспоминания, и наши жены, не говоря уже о маме, что по наивности всех матерей считает, будто я до сих пор совершенно безгрешное по части алкоголя существо, начинают посматривать на нас с тревогой. Беседа перекидывается на нюрнбергские дела.

Фадеева интересует все, вплоть до мелочей, и я рассказываю как могу подробно. Когда дело доходит до мастерских ширпотреба при комбинатах смерти, до галантереи из человеческой кожи, мой собеседник приходит в совершенно для него необычное волнение.

— Лина, Лина, послушай только, что он говорит,— обращается Фадеев к жене.— Тот изверг, которого я видел подо Ржевом, тот, который носил на теле брезентовые вериги с карманчиками, набитыми золотыми протезами и коронками,— это же живой символ нацизма. Я ввел его в «Молодую гвардию». Правильно ввел, да-да.

Он не просто Ганс, или Фриц, или Курт... Ганс, Фриц и Курт могут быть и неплохими ребятами. Это сам империализм. Его кульминационное выражение, его сущность. И как это важно довести до сознания каждого обитателя земли. Да-да-да!

Двумя руками он пригладил свои серебряные голубоватые волосы, потом резким движением притянул меня к себе, что делал обычно, когда хотел сказать нечто значительное, очень его заботящее.

— Ты знаешь, что, по-моему, должно возникнуть как неизбежная реакция на эту кровавую бойню? Движение народов за мир. Гигантское. Стихийное. Неудержимое. Без различия вер и мировоззрений. Ведь иначе человечество угробит само себя, переработает себя на мыло, и жизни на земле придется возрождаться снова — с амеб, с земноводных.

Потом Фадеев вдруг вспомнил ночь, которую зимой сорок второго года мы с ним провели в блиндаже командира дивизии полковника Александра Кроника на обстреливаемой с двух сторон высоте Воробецкой перед решающим штурмом Великих Лук. В эту ночь совершилось то, что случается только в кино, да и то в самых плохих фильмах. К командиру дивизии, в прошлом вахмистру кавалерийского эскадрона, находившегося под командованием лихого комэска Георгия Жукова, неожиданно нагрянул этот самый Жуков, теперь заместитель Верховного Главнокомандующего. И в том же блиндаже на высотке, которую то и дело встряхивали разрывы снарядов, посылаемых то с востока, из окруженных Великих Лук, то с запада, откуда ударная немецкая группа рвалась на выручку окруженных, в том же блиндаже оказался и Фадеев, знавший Жукова еще по боям на Дальнем Востоке.

В решающий день, перед штурмом, Жуков появился в частях, готовившихся к атаке. Объехал все три обложивших город дивизии. Побывал на передовых. Все сам увидел. Теперь, ночью, он зашел к комдиву немного отдохнуть.

Даже в голливудском сценарии вряд ли допустили бы такое невероятное скрещение судеб. А оно произошло, и я видел это собственными глазами. Жуков по-братски обнял своего бывшего вахмистра, расцеловался с Фадеевым, и как-то сразу забылись чины и ранги. Было просто трое солдат гражданской войны. Трое друзей, встретившихся после долгой разлуки в короткую минуту затишья

перед страшным, решающим сражением. На походном столе появились нарезанная крупными ломтями колбаса, кус черствого сыра, хлеб, горячее, которое принесли в котелках из солдатской кухни. Ну и коньяк, конечно, из неприкосновенного комдивского запаса. И, как всегда это бывает у нас на Руси, когда встречаются давние друзья, как-то сама собой возникла песня.

Полководец сказал: вот бы гармошку! Старенький баян нашелся у кого-то из солдат штабной охраны. Пальцы полководца прошлись по ладам, да так прошлись, что баян этот, потертый и побитый, вдруг запел молодыми голосами. Чувствуя себя лишним на этой встрече старых друзей, я забрался на нары и оттуда, как та деревенская девчонка на картине Кившенко «Военный совет в Филях», смотрел во все глаза, не вмешиваясь в происходящее. У полководца, от одного имени которого трепетали враги, был приятный баритон, у Фадеева свежий, резковатый тенор. Командир дивизии обладал хрипловатым басом. Голоса сложились в отличное трио, и на мгновение как-то забылось, что рядом окруженный город, что наши войска уже подтягиваются под покровом ночи на рубежи штурма, а в одной из землянок молодой капитан-парламентер еще раз перечитывает написанный по-немецки текст ультиматума, перед тем как идти через фронт и предъявить его начальнику окруженного гарнизона подполковнику барону фон Зассу, известному своим зверским обращением с нашими военнопленными...

— Помнишь, какое у этого капитана было лицо? — спрашивает Фадеев.— Бледное, какое-то отрешенное от всего окружающего. И как сияли его глаза! Отрок Варфоломей, да и только!

И, погрузившись в воспоминания, Александр Александрович тонким своим тенорком, к удивлению всех моих домашних, запевает одну из песен, какую пели они тогда втроем в незабываемую ночь в блиндаже полковника Александра Кроника.

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Рассказываю гостям вчерашнюю сцену в очереди — о раненом и генерал-лейтенанте. Фадеев слушает сначала недоверчиво. Потом вдруг спрашивает:

— Говоришь, этот генерал грассировал?

— Да, грассировал.

— Высокий? Седой? Прямой?

— Правильно...

— И ноги переставлял, будто они у него не гнутся?

— Верно...

— Лина, я знаю, кто это был...

— И я тоже,— улыбается его жена.— Алексей Алексеевич.

— Верно. Игнатьев. Наш коллега. «Пятьдесят лет в строю»! — и весело рассыпает свое «ха-ха-ха...» — Граф Игнатьев.

Проводили мы гостей поздно, а ночью я лежал и все думал: ведь в самом деле, что может быть проще, чем идея мира на земле? Человечество по горло сыто войной. Оно оплакало ее кровавыми слезами. Неужели и сейчас, когда становятся явными самые тайные пружины второй мировой войны и ее виновники, неужели и сейчас человечество, убедившись, к чему ведут в конечном счете мечты о захвате чужих земель, не одумается и не скажет войне твердое «нет»?..

И СНОВА НЮРНБЕРГ

И вот опять Нюрнберг. Жарко. Острый, порывистый, сухой ветер гонит над развалинами тучи пыли, песку, носит их по несуществующим улицам, сечет ими лица и руки редких прохожих. Он особенно страшен теперь, этот старый Нюрнберг, под лучами осеннего солнца. Те, кто зимой и весной жил в подвалах, в помещениях подземных общественных уборных, теперь повылезли наружу, построили себе меж руин палатки, шалаши из обгорелой фанеры и покореженного железа. Когда едешь по этим улицам, кажется, что цивилизация погибла и человечество снова карабкается к ней от нулевых отметок.

Но в сохранившейся индустриальной части города, и в особенности в совершенно не тронутом районе аристократических вилл, налаживается прежняя жизнь. Молодцеватые шупо в высоких касках и белых нарукавниках дирижируют движением редких машин. На тумбах веселенькие афиши с красотками, откровенно рекламирующими не столько свое искусство, сколько свои добротные

прелести. Спекуляция, говорят, достигла гомерических масштабов, и за недельный дополнительный паек американского офицера можно приобрести старинную вазу, гобелен или даже гравюру Альбрехта Дюрера, выдаваемую за подлинную.

И только в одном месте все как бы законсервировалось, застыло в оцепенении. Это Дворец юстиции, где за зашторенными окнами, в зале, куда не проникает ни один луч горячего солнца осени, судьи все еще неторопливо и неустанно распутывают клубок самых кровавых и гнусных преступлений, когда-либо совершавшихся на нашей немолодой уже планете. Снова заняв свое корреспондентское кресло, напялив наушники, услышав в них ровный, спокойный, чуть иронический голос лорда Лоренса, я вдруг с какой-то особенной силой почувствовал, что, какое бы солнце ни светило сейчас над Нюрнбергом, какие бы политические ветры ни гуляли над землей, в этом зале с плотно зашторенными окнами, со своим кондиционированным микроклиматом мало что изменилось, и люди, сидящие за судейским столом, под сенью флагов держав бывшей антигитлеровской коалиции, задавшиеся благородной целью раскрыть все преступления нацизма и наказать главных военных преступников, эти благородные люди честно и, по-видимому, дружно продолжают свое дело.

И я, вернувшись на процесс после длительного отсутствия, смотрю на этих четырех уже немолодых мужчин разного происхождения и воспитания, разных политических убеждений, разных юридических школ, умеющих, однако, противопоставить тому, что их разделяет, общее для всех них стремление создать великий юридический прецедент, объявляющий преступлением агрессивные, захватнические войны.

За дни процесса мы хорошо пригляделись к ним. По общему мнению это юридические звезды первой величины. Я уже много писал о председателе суда лорде Джефрейе Лоренсе и не стану больше повторяться. Но не менее колоритной фигурой в Трибунале является и советский представитель — член Международного Военного Трибунала — Иона Тимофеевич Никитченко. Для нашего брата журналиста он почти недоступен, однако, судя по тому, что мы о нем вызнали, это интересная личность. О том, что происходит на закрытых заседаниях Трибунала, до нас доходят лишь смутные слухи. Тем не менее помощник советского прокурора Лев Шейнин

рассказывает нам о Никитченко как о человеке, в котором счастливо синтезировались отличное знание законов и непоколебимое спокойствие, не покидающее Иону Тимофеевича ни при каких обстоятельствах. Он был военным юристом еще в годы гражданской войны. Всеволод Вишневский, обладающий удивительной памятью, говорит, что знал его еще в ту пору и что и тогда он славился среди бойцов своей справедливостью. Всеволод Витальевич утверждает даже, что об этих чертах судьи Никитченко писал когда-то Дмитрий Фурманов в своей книге «Мятеж». Книгу эту, разумеется, я читал в юношеские годы, но Никитченко, к сожалению, не помню. Проверить это здесь, в Нюрнберге, невозможно, ибо обширная библиотека, которую мы сюда привезли и которой охотно пользуются и иностранные юристы, художественной литературы, увы, не имеет.

Рядом с Никитченко сидит американский судья Френсис Биддл. Это человек совсем иного типа. Дома он тоже известен как великий знаток международного права. При Рузвельте он был министром юстиции. Американцы, как говорится, «пошли с козыря», прислав на процесс именно Биддла в расчете на то, что он станет председателем Трибунала. Председателем, как я уже говорил, он не стал, но во время процесса ведет себя весьма активно и, судя по его вопросам и репликам (так, во всяком случае, думаем мы, журналисты), слишком уж подчеркивает свою беспристрастность и объективность. То и другое — неотъемлемые качества судьи. Но в поведении Биддла эти качества как бы возведены в квадрат и потому настораживают.

И наконец, Анри Доннедье де Вабр — могучий сутуловатый старик с седыми усами, свисающими вниз, словно клыки моржа. Французские коллеги рекомендуют его как весьма ученого юриста. Его перу принадлежит много трудов, которыми пользуются студенты юридических факультетов. За пределами зала заседаний Доннедье де Вабр весел, общителен, охотно разговаривает с гостями суда и особенно с представителями прессы. Неугомонной Пегги удалось даже получить у него интервью, какие судьям в ходе процесса давать не полагается. В зале заседаний он ведет себя тоже необычно: все время с секретарским усердием что-то записывает и, как мы давно уже заметили, отрывает свой взор от бумаг

лишь для того, чтобы взглянуть на балкон для гостей, на котором частенько появляются весьма смазливые туристки западного мира.

Итак, в зале заседаний все осталось неизменным, будто я уходил лишь на обеденный перерыв, а не уезжал на довольно длительный срок. Но вот за стенами Дворца юстиции в Нюрнберге изменилось многое. Курт, встретивший меня на аэродроме, в присутствии моих друзей был необыкновенно молчалив. Заявил только, что теперь будет работать у меня по совместительству, ибо нашел работу ночного механика в гараже какой-то транспортной фирмы. Но когда он отвозил меня после заседания и мы оказались в машине одни, рассказал несколько, как мне кажется, многозначительных новостей. Старик Фабер продал солидную часть своих акций американцам. Теперь получил из-за океана огромный заказ. Развертывает производство. Набирает новых рабочих. Все это, конечно, хорошо. Но плохо, что с особой охотой берут тех, кто состоял в нацистской партии, и даже бывших эсэсовцев. Юрисконсультом в отделе рабочей силы посадили именно такого эсэсовца, носившего коричневый штандарт в дни гитлеровских факельцугов. Он покровительствует нацистам и их отпрыскам. А вот для племянника Курта, отца которого в свое время уничтожили гитлеровцы, никакой работы не нашлось. Это очень плохо. Нацисты вообще повылезли из своих щелей. Один из них — заведующий автобазой при карандашной фабрике — даже снова нацепил на лацкан пиджака медаль «За зимний поход на Москву».

Пресс-кэмп наш, к счастью, тоже остался прежним. Только шумное население его сильно поредело. Но обратили на себя внимание два новшества. Во-первых, на стенах комнат и залов висели плакаты, призывавшие господ журналистов от имени владельца замка не брать с собой в качестве сувениров ничего из обстановки и украшений. Любопытно, что плакаты были на трех языках: на английском, французском, немецком. На русском не было. Во-вторых, за стойкой бара, где все так же проворно и весело священнодействовал мистер Дэвид, в списке коктейлей красным был обозначен уже не «Сэр Уинни», а новый коктейль, «Молотов».

Сергей Крушинский разъяснил, что коктейль этот был изобретен вскоре после того, как советский министр иностранных дел в одной из своих речей в ответ на

очередную попытку американцев потрясти умы атомной бомбой, заявил: «В свое время будет у нас и атомная бомба и кое-что другое». Заявление это тогда вызвало шум в западной прессе. Ну а предприимчивый Дэвид, как обычно, отреагировал на него новым коктейлем. Разумеется, мы с Юрием Корольковым и Сергеем Крушинским отведали это изобретение, невыносимо обжигавшее рот.

— Тут едва международный инцидент не разыгрался с этим коктейлем,— смеялся Крушинский.— Один из наших обиделся, написал в Трибунал гневное послание и стал было собирать под ним подписи. Спасибо, Харламов охладил его пыл.

— Словом, мы должны уничтожать этот коктейль другим и более действенным образом,— сказал Корольков и поднял бокал.— Будем здоровы! Ух, силен, собака! Куда там Черчиллю до Молотова.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ НАЦИЗМА

Процесс явно подходит к концу, и теперь невольно с особой пристальностью мы приглядываемся к защите. Защитники четырьмя рядами сидят перед скамьей подсудимых, пониже ее и поближе к суду. Внешне это весьма респектабельные господа в традиционных шелковых шапочках и черных длинных мантиях. Впрочем, черные мантии не у всех. Есть несколько фиолетовых, и тот, кто носит такую, не просто адвокат, но еще и профессор университета. В общем, в этом зале собран цвет немецкой адвокатуры.

Поначалу мы всё старались понять, как эти люди решились сесть на места защиты. Ведь они же немцы, а их подзащитные начали свирепствовать прежде всего на своей земле, против своего немецкого народа. Что может двигать человеком, берущим на себя неблагодарную миссию защищать этих извергов? Нам говорили, что в первые дни процесса адвокат Геринга доктор Штаммер, которого пресса, вероятно, за прямые ходы на юридической шахматной доске окрестила Слоном, ставил перед судом вопрос о выдаче ему и всем его коллегам своего рода охранных грамот, гарантирующих их от возможной мести со стороны сограждан. Теперь, во всяком случае, в той части Германии, что оккупирована западными дер-

жавами, где сейчас уже открыто носят медали за участие в зимнем походе на Москву, необходимость в таких охранных грамотах отпала. Но и карьеры все-таки на защите пока не сделаешь... Так почему же они взялись за такое неблагодарное дело? Деньги? Но вряд ли все эти юристы, ведущие крупные дела не только дома, но и за рубежом, получат за участие в процессе больше, чем они обычно зарабатывают... Слава?.. Неужели, защищая международных извергов, можно пожать юридическую славу?

Так что же, в конце концов? И ответ на это, пожалуй, дал Слон в своем выступлении еще в первый день процесса. Он заявил, что все делавшиеся ранее попытки установить наказуемость агрессии оставались гласом вопиющего в пустыне, что подобного рода процессы нужны лишь разъяренной толпе, а не государственным деятелям, умеющим смотреть в будущее.

Кажется, именно после выступления Слона Кукрыниксы не без остроумия назвали защиту последней линией нацистской обороны. У западных коллег защитники по ассоциации с названием известной вагнеровской оперы получили более безобидное прозвище — «Нюрнбергские мейстерзингеры». С тех пор, как прозвища эти были придуманы, прошло немало времени. Мейстерзингеры убедились, что сорвать процесс им не удастся, что попытки скомпрометировать новые международные законы или расколоть единство суда успехом не увенчались. Тогда, и в особенности после фултонской речи Черчилля, они, как уже говорилось, взяли курс на длительные проволочки: авось, бывшие союзники по антигитлеровской коалиции перессорятся и им будет уже не до приговора.

Осуществляется все это по-прежнему примитивно, подчас просто нагло. Тут и бесконечные вызовы новых и новых свидетелей, и просьбы объявить перерыв или каникулы для сбора новых доказательств, и длительность речей.

Немного в человеческой истории найдется имен, более ненавистных, чем имя Германа Вильгельма Геринга. И казалось бы, кому может прийти в голову на процессе выставлять этого человека как... противника войны. Но вот на доказательство сего недоказуемого тезиса защитник доктор Штаммер и направил своего первого свидетеля генерала Боденшатца. И Боденшатц, близкий сотрудник Геринга, так и заявил с трибуны: «Господин рехсмар-

шал Геринг по натуре своей миролюбец и миротворец». Раздавшийся в зале смех ни доктора Штаммера, ни Боденшатца нисколько не смутил. Развивая свою мысль, генерал брякнул, что Геринг был также «защитником евреев и делал для них все, что мог».

Тут уж не выдержал американский обвинитель Джексон. Вот диалог.

ДЖЕКСОН. Вы что же, заявляете, что Геринг так-таки ничего и не знал об акциях против евреев в ночь с 9 на 10 января 1938 года?

БОДЕНШАТЦ. Он узнал об этом на следующее утро из газет и, узнав, был потрясен до глубины души.

ДЖЕКСОН. Вы хотите, чтобы мы поверили, что Геринг был потрясен и чувствовал себя оскорбленным тем, что произошло с евреями в эту ночь? И вам ничего не известно о том, что через три дня подсудимый Геринг собственноручно подписал приказ о конфискации имущества у еврейского населения на десять миллиардов марок и об исключении евреев из всей деловой и государственной жизни?

Свидетель молчал. Геринг на скамье подсудимых покусывал губы и кривил свой большой рот. В зале вновь и вновь вспыхивал смех вопреки сердитым призывам лорда Лоренса к тишине и спокойствию.

Бред? Чушь? Нет, точная запись выступления одного из свидетелей, выставленного, кстати сказать, тем же Слоном, самым видным адвокатом процесса.

А вот другой свидетель защиты, фельдмаршал Гергард Мильх, один из тех, кто посылал гитлеровскую авиацию на мирные города, автор весьма ходкого в немецких штабных кругах словечка «ковентрировать», то есть разом, за один налет, превратить город в кучу руин, как это сделано было им в отношении английского города Ковентри. Этот высокий человек с гладко зачесанными седеющими волосами, который мечтал ковентрировать все непокорные города Европы и непосредственно организовывал зверскую эксплуатацию пленных, вызванный защитниками на свидетельскую трибуну, просто валяет дурака.

По его словам, Геринг вообще ничего не знал о мобилизации миллионов людей оккупированных стран на работы в Германию.

— Сколько военнопленных работало в промышленности?

— В промышленности? Нет, они там не работали, их лишь изредка использовали в сельском хозяйстве. — В доказательство фельдмаршал извлекает из кармана солдатскую книжку и цитирует десять заповедей солдата: «Мирное население нельзя ни грабить, ни обижать, с военнопленными надо обращаться по-братски».

Фельдмаршал-палач со своей солдатской книжкой так смешон, что лорду Лоренсу приходится вновь и вновь стучать молотком по столу. Но защита все так же невозмутима. Сам Мильх, может быть, и дрогнул бы, так как смуглое лицо его передергивает тик, но адвокат Штаммер продолжает направлять его по заранее проложенным рельсам. Альберт Шпеер? Министр вооружений? Да, ему конечно, приходилось иногда мобилизовывать иностранных рабочих на строительство военных укреплений, подземных заводов и аэродромов. Но что поделаешь, война требовала жертв! Сам же он, Шпеер, вполне мирный человек, в душе даже пацифист. Вопреки приказу Гитлера он во время войны... стал переводить военные заводы на мирную продукцию — на выпуск удобрений, сельскохозяйственных машин и потребительских товаров.

Уже не под улыбки, а под громкий хохот происходит диалог между свидетелем Мильхом и защитником Фрица Заукеля доктором Серватиусом.

СЕРВАТИУС. Будьте добры рассказать, как работалось в Германии иностранным рабочим.

МИЛЬХ. Они отлично работали. Они были очень довольны тем, что очутились в культурной стране, получили здесь хлеб и заработок. Обращались с ними хорошо. Я, правда, не знаю этого точно, ведь я военный, но мне думается, что они получали продуктов даже больше, чем немцы... Доктор Заукель, ведавший этим, был очень мягкий, добрый человек. Он, как отец, заботился об иностранных рабочих.

Несколькими вопросами-ударами обвинители срывают со свидетеля Мильха маску благоглупости. Перед судом обычный гитлеровский волк в мундире фельдмаршала. Это он организовывал опыты на людях в концлагерях, он, бросая военнопленных на военные заводы, требовал, чтобы к тем, кто не может выполнить норму, применяли «особое обращение». Под тяжестью улик Мильх наконец признается:

— Да, я, кажется, об этом знал, но забыл.

Таков был свидетель защиты, вытащенный доктором Штаммером из тюремной камеры и делавший попытки выгородить «второго наци» Германии. Но Штаммер все-таки выглядит еще прилично сравнительно с защитником Гесса Заутером, которого здешняя пресса зовет Мышонком. Маленький, длинноносый, юркий — он и впрямь похож на мышонка. Адвокаты в фиолетовых университетских мантиях стараются вести себя солидно, остерегаются выглядеть смешными. Мышонку все равно. Он не считает необходимым скрывать свои личные симпатии к подсудимым. Он защищает Гесса и Франка, но постоянно крутится возле Штаммера, защищающего Геринга, и с готовностью бросается выполнять любое поручение. Слон обычно посылает Мышонка на трибуну, когда надо задать провокационный вопрос или предъявить сомнительный документ.

Но хотя эта последняя линия нацистской обороны сражается умело и слаженно взаимодействует между собой, хотя защитники, по самым грубым подсчетам, отнимают у суда минимум вдвое больше времени, чем обвинители, а свидетелей защиты уже прошло перед судом раза в три больше, чем свидетелей обвинения, результаты этой обороны довольно жидкие. Защита сдает свои позиции одну за другой перед неумолимой логикой и доказательностью обвинений. Иногда это отступление происходит при обстоятельствах весьма курьезных. Так, защитник мракобеса Альфреда Розенберга — медлительный, очень солидный доктор Тома́, пытаясь втянуть суд в длительную дискуссию по поводу нацистских теорий подсудимого, принялся читать выдержки из его трудов. Он стоял на трибуне как монумент и громким, рокочущим голосом оглашал документы, которые, как ему казалось, обеляли его подзащитного. Порою он, используя специальные приспособления на трибуне, отключающие микрофон, вполголоса отдавал распоряжения своему помощнику, подававшему ему нужные материалы.

И вот этот помощник, то ли не расслышав своего шефа, то ли не разобрав его приказания, протянул ему какую-то толстую книгу, как выяснилось потом, мракобесный трактат Альфреда Розенберга «Миф двадцатого века». Адвокат не сразу разглядел, что ему подали,

а разглядев, так озлился, что, забыв отключить микрофон, рявкнул на весь зал:

— Идиот, зачем вы суете мне это дерьмо!

Говорят, по-немецки это было сказано крепче. Но девушка, переводившая на русский, несколько смягчила эту в общем-то правильную оценку розенберговского философского труда. Зал, разумеется, расхохотался, и даже внешне неколебимый лорд Лоренс позволил себе улыбнуться.

Но иногда даже этого опытного судью, с поразительным терпением относившегося ко всем, я не побоюсь употребить это слово, проискам защиты, ее не очень чистая игра выводила из себя. Впрочем, и в этих случаях он находил изящную форму для того, чтобы поставить на место забывшегося «мейстерзингера». Однажды один из них, отнявший уже немало времени у суда, но продолжавший говорить, заявил:

— ...И, наконец, я хочу остановить внимание суда на последнем очень важном вопросе.

ЛОРЕНС. Я вынужден напомнить вам, что это уже пятый очень важный последний вопрос, на котором вы останавливаете наше внимание. Учтите, я веду счет.

Поначалу, честно говоря, всех нас, журналистов, и в особенности русских журналистов, просто выводили из себя эти заячьи петли, выделываемые людьми в длинных мантиях. Но долгие месяцы «нюрнбергского сидения» умудрили нас. Наблюдая маневры защиты, мы уже не удивляемся, не негодуем. Нас уже не обуревает жажда торопить суд. Мы знаем: протоколы нюрнбергской юстиции адресованы не только современникам, но и потомкам. Мы верим: пример свершающегося в Нюрнберге суда — всемирный прецедент, и он, этот пример, должен быть свободен от любого налета быстротечных страстей.

ИХ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Лейб-фотограф Гитлера Гофман, о котором я уже писал, процветает. Через свою новую помощницу — пышную, пикантную блондинку с васильковыми глазами, успешно подвизающуюся на амплуа покойной Евы Браун, он бойко торгует из-под полы фотографиями своего богатого архива. И небезвыгодно торгует, ибо на Западе,

и прежде всего, разумеется, в Соединенных Штатах, в связи с приближающимся финалом Нюрнбергского процесса, а точнее, в связи с изменяющейся политической погодой, в которой теперь ясно преобладают фултонские ветры, необыкновенно возрос интерес к личной, интимной жизни Гитлера и его приближенных. Снимки идут за изрядную цену в твердой валюте. Гофман порозовел, отрастил брюшко, ходит в солидном твидовом костюме со значком немецкой академии искусств на лацкане.

Толстенькая синеглазая фрейлейн предложила и мне познакомиться с уникальным архивом своего шефа. Отчего же и не познакомиться? Архив этот в отличном порядке: классифицирован, разложен по папкам. Я попросил показать мне папку «Нюрнберг» и на пару часов окунулся в страшное и совсем недавнее прошлое этого города. Вот Гитлер что-то неистово орет со знакомой нам белокаменной трибуны на Партайфельд, и сотни тысяч штурмовиков, четкими квадратами заполнившие поле, вероятно, столь же неистово, в тысячи глоток ревут свое «Зиг хайль»... Вот Юлиус Штрейхер, этот патологический мракобес, которого мы наблюдаем сейчас изо дня в день чаще всего в состоянии прострации, а тогда толстый, процветающий, что-то издевательски кричит остриженным наголо девушкам, привязанным к ослам. На веревочках у них на груди висят картонки с надписью: «Я любила еврея»,— и озверелая толпа с кулаками надвигается на них, едва сдерживаемая дюжими шупо... Вот движется по узким древним, ныне уже не существующим улицам старого Нюрнберга очередной торжественный факельцуг, и во главе его под сенью штандартов вышагивают Гесс, Геринг и Борман в костюмах штурмовиков и фуражках-кастрюлечках...

Портретов Геринга особенно много. Он в маршальском мундире с жезлом в руках. В светлом костюме туриста. В охотничьей куртке и шляпе с тетеревиным пером. В блузе рабочего-каменщика с мастерком в руке на закладке какого-то памятника. Наконец, он же с луком и стрелой. Почему с луком и стрелой, фрейлейн объяснить не сумела.

Да и все они обожали фотографироваться, эти комедианты, которых послевоенная история Веймарской республики подняла на гребне шовинистической волны и которые тринадцать лет играли роли властителей «третьего рейха».

И вот сейчас в зале суда они получают трибуну для произнесения последнего слова. Я наблюдаю этих рейхсминистров, рейхсмаршалов, гросс-адмиралов и поражаюсь: ни один из них не произносит слова в защиту или хотя бы в оправдание нацизма, творцами и идеологами которого они были, ни один не пытается защищать символ своей нацистской веры или хоть как-то объяснить свершение чудовищных злодеяний.

Слушая их невнятное бормотание, я еще и еще раз вспоминаю великого коммуниста, с которым недавно имел счастье познакомиться и беседовать в Болгарии. Вот эти самые властители Германии схватили его и после долгих месяцев тюрьмы устроили процесс над ним. Он появился на этом процессе с гордо поднятой головой. Он отказался от защитника. Он сам, один на один, разговаривал с нацистскими судьями. Он защищал идеи коммунизма, которым посвятил всю свою жизнь, и потому на суде из подсудимого превратился в грозного прокурора, разоблачившего устроителей омерзительной провокации, и заставил всемогущего Геринга из свидетеля обвинения сделаться обвиняемым, вынужденным обороняться и оправдываться.

А вот эта жалкая кучка трусливых, своекорыстных, вконец изолгавшихся людей ни звука не произносит в защиту своей страшной идеологии, хотя подсудимые не могут не знать, что за пределами этого зала их уже караулит смерть. Только по-прежнему льется мутный поток лицемерного ханжества... Вот еще несколько кратких извлечений из последних слов обвиняемых:

ГЕРИНГ. ...Я вообще противник войны... Я не хотел войны и не помогал ее развязывать.

РИББЕНТРОП. ...Да, конечно, я не могу не отвечать за внешнюю политику, ибо был рейхсминистром. Но фактически я ею не руководил. Ею руководил другой.

ФУНК. Человеческая жизнь состоит из правильных действий и заблуждений. Да, я во многом заблуждался, но во многом заблуждался невольно, так как меня обманывали... Я должен честно признать, что был беспечен и легковерен, и в этом моя вина...

КАЛЬТЕНБРУННЕР. Да, конечно, гестапо и эсдэ творили страшные преступления. Было бы глупо это отрицать, но ими руководил Гиммлер. Я был только ис-

полнитель... Я все время хотел попасть на фронт, быть простым солдатом, сражающимся за Германию. Это была моя мечта.

КЕЙТЕЛЬ. ...Лучшее, что я мог дать, как солдат,— мое повиновение и верность — другие использовали для целей, которые я не мог распознать, ибо не видел границ, которые существуют для выполнения солдатского долга.

Палач Польши Ганс Франк, тот самый, в чьем ведении находились гигантские комбинаты смерти — Освенцим, Майданек, Треблинка,— патетически произнес:

— Я хочу, чтобы германский народ не отчаивался и не делал ни шагу дальше по гитлеровскому пути!

Рейхсминистр по делам вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер, любимец Гитлера, создавший систему эксплуатации военнопленных и остарбайтер, заставлявший их умирать на строительстве тайных подземных фабрик, заводов, аэродромов, возведя к небу свои выразительные черные глаза, восклицал:

— Гитлер своими действиями и последующий крах созданной им системы принесли германскому народу невероятные страдания... После этого процесса Германия будет презирать Гитлера и проклинать его как виновника страданий народа...

Довольно. Хватит. Все речи лишь вариации на одну и ту же тему: во всем виноваты Гитлер, Гиммлер, Геббельс. Мы же, несчастные, недальновидные люди, посаженные ими на высокие посты, горько заблуждались, были обмануты и не знали, что происходит в стране.

И опять не могу не думать о Георгии Димитрове, о Лейпцигском процессе. В коллекции Гофмана этот процесс тоже отражен. Есть там снимок — Димитров на трибуне произносит свое последнее слово. Опершись руками о трибуну, прямой, устремленный вперед, он говорит, обращаясь не к судьям, темные фигуры которых нечетко вырисовываются на этом снимке, а ко всему человечеству, и два охранника, стоящих у него за спиной, с удивлением и интересом смотрят на подсудимого, на их глазах превратившегося в прокурора, произносящего в нацистском логове обвинительную речь фашизму.

Это единственная фотография, которую я купил за сорок пять оккупационных марок. Сумма весьма солидная, но это фото, как мне кажется, стоит больше, чем вся остальная коллекция Генриха Гофмана.

ЕЩЕ НЕМНОЖКО МОСКВЫ

Выслушав последние слова подсудимых, суд удалился на совещание. Объявлен перерыв сроком на месяц. Мне это очень кстати, ибо из Москвы, из журнала «Октябрь», где уже печатается моя повесть, пришла телеграмма. В ней говорилось, что летчик, о котором я писал, отыскался, заходил в редакцию, произвел на всех отличное впечатление. Рассказал о том, как воевал дальше, до самого конца войны. В связи с этим редакция просила меня несколько переделать или дописать послесловие к повести.

Поэтому в отличие от других коллег, которых месячная оттяжка не очень устраивала, я готов был расцеловать милейшего мистера Пиквика. Уже на следующий день я вылетел в Москву, побывал в редакции «Октября», а утром у меня раздался телефонный звонок.

— Товарищ Полевой?.. Извините, что беспокою вас дома. В редакции «Октября» мне сообщили, что вы прилетели, дали ваш телефон, — звучал в трубке хрипловатый, мужественный голос.

— С кем говорю?

— Гвардии майор Маресьев... Помните, мы встречались на Курской дуге?

А через час, бодрый, оживленный, он уже входил в нашу квартиру своей медвежеватой, с развальцем походкой. Лифт у нас в этот день не работал. Жена, узнав, кто пришел, вспыхнула и стала извиняться за этот ленивый лифт. Ведь как-никак пятый этаж.

— Нас лифт тоже не часто балует,— ответил Маресьев.— Ничего, привык. Лишняя тренировочка... Мне полезно.

Три года почти не изменили его. Он был такой же бодрый, энергичный и, как прежде, не любил, чтобы обращали внимание на его увечье. Я пригласил его присесть, забыв о коварном свойстве дивана, который однажды уже так подвел нас с Фадеевым. Летчик, конечно, тоже провалился, но тут же, легко вскочив, пошутил, что на диван этот следует садиться, имея парашют. Добродушно посмеялся и, пересев на табурет, принялся рассказывать:

— ...Тут как-то сижу дома, газету читаю. Радио говорит, я не слушаю. Вдруг подходит мама и говорит: «Сынок, а это не про тебя?» Прислушался. Верно, вроде

бы говорят о том, что со мной было. И имя мое и фамилия похожая — всего в одной букве разница. Про меня... Кто же это, думаю, мог написать?.. О беседе-то нашей с вами я, честно говоря, совсем забыл. Ведь три года не виделись. Ну, кончили читать отрывок, говорят: слушайте продолжение завтра — и, как полагается, называют автора. Тут я и вспомнил, как вы ночевали у меня под Орлом. Помните, еще малину из котелка ели... Ну, я в редакцию журнала: интересно ведь узнать, что там дальше написано. А сегодня вот звонят: вы приехали, дали телефон.

Все это он выложил залпом, улыбаясь своей чуть-чуть застенчивой улыбкой.

Как всегда бывает при встрече двух, давно друг друга не видавших военных, заговорили о войне, о знакомых офицерах. Неожиданно выяснилось, что мы оба находились на Эльбе, у немецкого города Торгау, когда там встретились две союзные армии — наша и американская. Я с поручением от маршала Конева был на земле, Маресьев барражировал в небе, прикрывая воздух в момент встречи.

Повесть уже несколько дней читали главами по радио. Удивительная история этого офицера становилась широкоизвестной. Дома у меня, конечно, знали ее чуть ли не наизусть. И жена, и мама, и даже шестилетний сын во все глаза смотрели на необычного гостя.

Мне предстояло переписывать послесловие, поэтому я тут же взялся за карандаш и открыл блокнот, и вдруг, как это уже было однажды в землянке, врытой в берег лесного оврага, при виде этих атрибутов моего ремесла майор сразу как-то сник и с живой речи перешел на казенные слова, будто анкету заполнял. Сообщил, что в составе своего гвардейского авиационного полка он проделал всю боевую кампанию до самого ее победного финала. Уже после нашей встречи сбил под Орлом еще три самолета. В сражениях за Прибалтику увеличил свой боевой счет еще на две машины. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза. Что еще? Все. Вроде и рассказывать больше не о чем.

— Ну а ваши личные, семейные дела?

— Ну что ж, женился вот... Сын у меня, Виктором звать, мамаша ко мне из Камышина приехала, живем в Москве.

— А ноги?

— Что ж ноги? Привык. Машину вот вожу и к вам на машине приехал. На велосипеде, на коньках катаюсь.

— Дядя, а у вас и правда нет ног? — с сомнением спросил мой сын, уже успевший взгромоздиться на колени симпатичного майора.

— Раз твой папа так написал, значит, верно,— улыбнулся тот.

— А на чем же я сижу?

Маресьев рассмеялся.

— Ох и нелегкую же вы мне жизнь устроили! — шутливо пожаловался он.— Журнал еще ничего. Там еще только печатают, а как по радио начали читать — покоя не стало. Мальчишки у подъезда стаями так и ходят за мной и тоже вот вроде вашего: «Дяденька майор, а у вас есть ноги? Дайте пощупать».

Он ушел, жизнерадостный, крепкий, оставив после себя атмосферу энергии, бодрости, и я понял, что жизнь — неплохой соавтор и совсем недурно продолжает эту героическую биографию уже за пределами книги.

Второй, не менее приятной встречей, которую на этот раз подарила мне Москва, было свидание с художником Николаем Жуковым. Нашему непоседливому Кока-Коле осточертело нюрнбергское сидение. Еще в начале лета он решил, что вдоволь нагляделся на всех этих герингов и риббентропов, и с толстым альбомом зарисовок и эскизов вернулся в Москву, в студию военных художников имени Грекова, которой он руководит еще с дней войны.

Нам было о чем поговорить. Он готовит к выставке серию своих нюрнбергских рисунков — острую, умную, содержательную серию, которая стяжала ему уже много поклонников среди журналистов разных наций еще там, в нюрнбергском пресс-кэмпе. У меня выходила в свет книга, свидетелем рождения которой он был. Повесть он, понятно, прочитал в рукописи и теперь в обычной своей шутливой манере говорил:

— Ты меня с этой повестью без завтрака и без обеда оставил. Жена как начала читать вечером, так и продолжала всю ночь. Утром мне в студию пора, а она сидит в сорочке на кровати и глаза вытирает. Завтрак? Возьми там что-нибудь за окошком и на обед не надейся, поешь у себя в буфете. Вот ведь какой разлад в мою семью внес твой летчик!

Конечно же, этот разговор был из тех, что мы в Нюрнберге называли трепом. Но потом он уже серьезно сказал:

— А я проиллюстрирую эту твою повесть, ей-богу. Сведи меня с этим летчиком. Тут, брат, такой материал, что надо идти от жизни, а не от воображения.

Манеру Жукова работать и его творческий запал я знаю с фронтовых времен. Помнится, побывал он у калининских партизан. Вернулся с ворохом эскизов. Чуть ли не на бересте он их делал за нехваткой бумаги. Была весна, канун Первомая, и завтра же я должен был вылететь в Москву, чтобы отвезти туда письмо непокоренных граждан оккупированных районов, адресованное И. В. Сталину. Письмо и целый чемодан подписей. И родилась у нас с Жуковым идея — дать к этому письму рисунок-композицию «Утро в партизанском лесу». Он загорелся этим и обещал рисунок к завтрашнему утру. Только потребовал не мешать и создать «соответствующие условия», то есть обеспечить его «горючим». Что было делать? Пошел в военторг, ударил челом тамошним жестокосердым деятелям: норма нормой, но искусство требует жертв. «Горючее» мне отпустили, но почему-то в той микротаре, которую интеллигентные люди зовут «мерзавчиками». «Мерзавчики» строем встали на подоконнике избы, где началась работа над композицией. Мы не заходили и не мешали вопросами и поощрениями. Рассвет застал Жукова в нижней рубахе, с засученными рукавами, с торчащими изо рта карандашом и резинкой. Поднимавшееся солнце осветило вспотевший лоб художника и два оставшихся «мерзавчика». Он продолжал самозабвенно рисовать, не слыша моего стука в окно. Вездеход, который должен был подкинуть меня на аэродром, стоял под березой и время от времени нетерпеливо гудел. Наконец с окна исчез последний «мерзавчик», и сквозь мутное, отливающее радугой стекло я увидел, что Жуков, держа рисунок в вытянутой руке, прищурившись, смотрел на него. Потом окно распахнулось.

— Вот! Знай наших. Как? А? Правда, здорово?

Рисунок действительно был отличный. По дороге в Москву я не раз, согнувшись в кабине, чтобы уберечь от ветра, осторожно развертывал трубочку и любовался композицией, где все, вплоть до такой детали, как картошка, варящаяся вместо котелка в немецкой каске, бы-

ло проникнуто суровой атмосферой нелегкого партизанского бытия...

И вот теперь, когда этот взыскательный художник сам вызывался иллюстрировать книгу, это было лучшим свидетельством того, что образ летчика захватил его и что летчик — парень хоть куда.

НЕМЕЗИДА ОБНАЖАЕТ МЕЧ

Дворец юстиции украшает скульптурное изображение богини Немезиды. Это массивная дама весьма пышных форм в сугубо немецком вкусе. В руке она держит опущенный меч. За длинные месяцы нюрнбергского сидения кто только не острил по поводу этой фрау Немезиды. Редко в какой газете не использовали ее, бедную, для карикатур. Помнится, после фултонской речи Черчилля, кажется, в сатирическом английском журнале «Панч» ее изобразили уходящей куда-то под ручку с сэром Уинни.

Но вот настали дни, когда эта неторопливая дама обнажила наконец свой карающий меч. Трибунал возобновил заседания. В ложе прессы не только яблоку, но и семечку от яблока упасть негде. Сегодня будет начато чтение приговора. Не знаю, звучали ли три сигнала, возвещающие сенсацию, но если и звучали, их никто не слышал: такой стоял в пресс-руме, в баре и на телеграфе галдеж. И звать в зал не пришлось никого. Ложи так забиты, что опоздавшим пришлось бежать на гостевой балкон. Но если в коридорах и подсобных помещениях было необыкновенно шумно, то в зале стояла такая тишина, что стало слышно, как техники в радиорубке отсчитывают позывные, проверяя аппаратуру.

Подсудимых на этот раз вводят не как обычно — вереницей, а по одному, с некоторыми интервалами. Лица у них напряженные. Они не здороваются друг с другом и почти механически усаживаются на свои места. Уселись по местам и защитники. Заняли свои позиции переводчики. Слышно, как стрекочут кинокамеры. Тишина словно нагнетается, и, как гром, раздается обычно почти не фиксируемая привычным ухом фраза судебного пристава:

— Встать, суд идет!

На уже примелькавшиеся фигуры судей сегодня тоже смотрят во все глаза. У лорда Лоренса в руках

ничем не примечательная папка. Но на нее направлены все фото- и кинообъективы и глаза всех журналистов. В этой папке приговор, о содержании которого не удалось узнать даже всеведущей и вездесущей мисс Пегги, снова примчавшейся сюда бог весть из какого города Европы.

Начинается чтение приговора. Судьи читают долго, по очереди. Пресса необыкновенно внимательна, и хотя в констатирующей части приговора говорится лишь о том, что давно всем известно, все старательно записывают. К концу вечернего заседания чтение приговора еще не закончено. Закрывая заседание, Лоренс объявляет, что чтение продолжат завтра с утра. Завтра будет самое важное — определение персональной ответственности каждого из подсудимых.

Заседание закрыто, и сразу же начинается всеобщий галдеж. Сыплются предположения. Повешение? Расстрел? Пожизненное заключение? Оправдание?

В пресс-кэмпе невиданный ажиотаж. У стойки бара западные коллеги заключают пари, как это делается на бегах, и Дэвид записывает условия спора.

— Да, от этого приговора многое зависит,— говорит Ральф. На этот раз он приехал в Нюрнберг в штатском, и темный, похожий на смокинг пиджак, сверкающий накрахмаленный пластрон как-то особенно выделяют его в пестрой журналистской толпе. Таня тоже сменила военную форму на строгое, черное платье. В нем она походит на одну из чеховских «Трех сестер». Очень русская, очень интеллигентная и очень озабоченная.

— Что случилось, Таня?

— Ох, не говорите! Сейчас все так сложно. Вы же знаете Ральфа — какой это прямой, несгибаемый человек. С его характером сейчас трудно в наших газетах.

Плотный кружок журналистов шумит вокруг Пегги. Она только что объявила, что готова переспать с тем, кто сообщит ей резюме приговора.

— Я предложила это одному очень осведомленному судейскому. Он ко мне давно неравнодушен.

— Пегги, ну что же он?

— Свинья. Ответил, что послезавтра он к моим услугам.

На следующее утро уже объявлено то, что на языке юристов носит название формул индивидуального обви-

нения. Но и после этого напряжение не спадет. Каков будет приговор и как поведут себя обвиняемые? Геринг, четко пройдя к своему месту, даже повозился, усаживаясь поудобнее. Игра? Конечно. Вот прозвучало его имя: Герман Вильгельм Геринг, и он, вздрогнув, прижал к себе наушники... Кейтель держится по-прежнему прямо. Вошел, сел, сидит неподвижно, как деревянный... Взгляд Штрейхера блуждает, точно у сумасшедшего... Голова Функа лежит на барьере, и в глазах у него собачья тоска. Только Гесс, прочно уверовавший, что ему нечего опасаться за свою жизнь, ибо войну он провел на Британских островах, сохраняет или, вернее, демонстрирует полнейшее спокойствие. У него вид пассажира, едущего в трамвае по длинному маршруту и равнодушно поглядывающего в окно, чтобы скрасить путь. Да и воля у него крепкая. Недаром многие из корреспондентов, и в особенности из корреспонденток, говорят, что он гипнотизер и они иногда чувствуют силу взгляда его черных, глубоко запавших глаз.

Сенсацией дня становится оправдание трех подсудимых: Фриче, Папена и Шахта. Приставу приказывают освободить их из-под стражи, что он немедленно и делает. Тут мы наблюдаем еще один любопытный штришок. Фриче, прощаясь за руку с остальными подсудимыми, просто не в силах скрыть животной радости. Папен прощается лишь с военными, моряками и Герингом. Высокий, худой Шахт проходит мимо всех с презрительной гримасой на своем бульдожьем лице. «Финансовый гений Гитлера» считает полезным продемонстрировать свое презрение к обанкротившимся политиканам нацизма. Тут же, в пресс-руме, освобожденные дают интервью корреспондентам. В интервьюерах недостатка нет. Мы не пошли на эту комедию. И правильно сделали, потому что вскоре происходит вторая сенсация этого дня. Советский судья, голосуя один против трех, высказал свой протест против оправдания названной выше троицы. Его позиция, его особое, очень твердо сформулированное мнение, отпечатанное на машинке, идет по рукам, вызывая интерес не только у наших друзей, но и у наших политических противников.

Итак, Немезида обнажила свой меч, но еще не опустила его. Это произойдет после перерыва, когда Трибунал начнет свое четыреста седьмое заседание.

МЕЧ ОПУСКАЕТСЯ

Итак, все мы записали в блокнотах: «1 октября 1946 года. 14 часов 50 минут по среднеевропейскому времени. Начато последнее, четыреста седьмое заседание».

Скамья подсудимых на этот раз пустует, и как-то очень странно видеть эту голую скамью. Наш старый знакомый, комендант Трибунала полковник Эндрюс, хорошо знающий цену тому, что американцы зовут «паблисити», перед сегодняшним заседанием не раз появлялся в пресс-руме. Впрочем, его белую лакированную каску, чеховское пенсне, румяное лицо можно было, казалось, видеть одновременно и в пресс-руме, и в баре, и в коридоре — везде, где появлялись журналисты. Он очень оживлен, общителен и многозначительно таинствен. Он ни слова не говорит о будущем приговоре, хотя, вполне вероятно, и знает его. Он только намекает, что на этом последнем заседании нам предстоит увидеть нечто необычайное.

И вот мы ждем, вытянув шеи и раскрыв блокноты. Суд идет. Все поднимаются, не выпуская блокнотов из рук. Лорд Лоренс оглядывает зал через очки. Слегка кивает. Это, вероятно, сигнал. Дверь позади пустующей скамьи подсудимых вдруг бесшумно раздвигается будто тонет в стене, и оттуда появляется Геринг, конвоируемый военными полицейскими в белых сверкающих касках. Он бледен, лицо его кажется напудренным, а может быть, он и действительно напудрился.

— Ишь, как за сутки сдал, будто высушили,— говорит кто-то сзади меня.

Геринг надевает наушники. В них звучит такой нам всем знакомый голос лорда Лоренса. Он читает приговор привычно спокойным тоном, но сегодня его слова поражают, как гром: «Геринг. Смерть через повешение». На мгновение «второй наци» Германии вперяет свои светлые, оловянные глаза в зал, губы его по привычке начинают кривиться, но он спохватывается, усилием воли сгоняет с лица гримасу и, сдернув наушники, уходит. Дверь за ним столь же бесшумно задвигается. Очевидно, в этом-то и заключается особый эффект, обещанный полковником Эндрюсом.

Гесс хорошо знает английский язык. Недаром войну он провел на Британских островах, под крылышком герцога Гамильтонского, заботившегося об этом гитлеров-

ском посланце, не очень удачно спикировавшем с неба на территорию его поместья. Гесс, как мы убедились, человек железной воли. Услышав: «Пожизненное заключение»,— он не дрогнул ни одним мускулом, и только глаза на его худом лице сверкнули в глубине черных впадин. Он по-военному — налево кругом — повернулся и твердым шагом скрылся в дверном проеме.

Риббентроп сейчас похож на резиновую куклу, из которой выпустили воздух. Он весь вялый, поникший, черты лица заострились, глаза полузакрыты. Узнав, что ему тоже уготована петля, он делает неверное движение, хватается за пюпитр и, поддерживаемый конвоиром, волоча ноги, удаляется.

Кейтель тоже напоминает куклу. Но куклу деревянную, негнущуюся. Шагает подчеркнуто твердо, точно марширует, четко переставляя ноги в ярко начищенных сапогах. Что там говорить, держаться он умеет. «Казнь через повешение...» Он еле заметно кивает головой, точно бы в подтверждение своих мыслей, и уходит такой же прямой, сосредоточенный, как бы углубленный в себя. Плохим, очень плохим он был солдатом и на процессе держался дрянно, а вот в последние часы сумел-таки вести себя пристойно. Что там ни говори — рейхсверовская школа. А вот его сосед по скамье — Йодль — прослушав смертный приговор, срывает с себя наушники и уходит, злобно бормоча что-то в сторону суда.

Зато гитлеровские политики и идеологи в решающую минуту оказываются совершенной мразью. Розенберг едва стоит на ногах. Ганс Франк, обещавший фюреру освободить Польшу от поляков во имя пользы динамичных и сильных народов и сделать из подведомственного ему населения котлетный фарш, возникает в дверном проеме, пошатываясь. Он идет, как сомнамбула, натыкаясь на углы пюпитров, и, выслушав все то же — «Смерть через повешение», всплескивает руками. Уже позднее мы узнаем, что он со страху обмарался.

Юлиус Штрейхер — тот самый мракобес, который бросал озверелой толпе обритых наголо девушек, осмелившихся любить евреев, этот главный герой и организатор нюрнбергских шабашей, кажется вовсе помешанным. Глаза его дико вращаются, вены на висках вздулись, с губ течет слюна. Омерзительно!

Итак, приговор прочитан. Вот его финал. Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, а заодно отсутствующий на процессе и предположительно где-то скрывающийся Мартин Борман приговорены к смертной казни через повешение. Гесс, Функ и Редер — к пожизненному заключению. Фон Ширах и Шпеер — к двадцати годам тюрьмы, Нейрат — к пятнадцати, Дениц — к десяти.

Таков итог. Но главное не в них, в этих подручных Гитлера, главное в нацизме, в его идеях. Он обнажен, он предстал перед миром во всем своем страшном безобразии. Люди действительно лишались сна и аппетита, как обещал им Главный американский Обвинитель Джексон, слушая в течение девяти месяцев страшную повесть о тринадцатилетнем господстве нацизма в большой культурной европейской стране. Повесть эта через прессу и радио стала широкоизвестной народам мира. Но приговорен ли нацизм как идеология к смертной казни или лишь временному заключению — на этот важный вопрос пока еще не дано ответа. На него ответит будущее.

А пока что надо записать дату, которая, несомненно, при любом повороте истории останется исторической. Первый в мире международный процесс над главными военными преступниками вынес свой приговор 1 октября 1946 года в 15 часов 40 минут по среднеевропейскому времени.

ОСИНОВЫЙ КОЛ

...Утром мы узнали, что контрольный совет союзнических армий по Германии рассмотрел просьбу осужденных о помиловании и отклонил ее.

Собственно, процесс окончен. Нам, журналистам, больше здесь делать нечего. Но пресса еще не разъезжается. В пресс-кэмпе все комнаты заняты, в столовом зале не хватает мест, у стойки бара толкотня. В списке коктейлей красным обозначено новое произведение Дэвида, поименованное «Джон Вуд».

Сержант американской армии Вуд — новая знаменитость пресс-кэмпа, чрезвычайно чутко реагирующего на все события. Это кадровый военнослужащий, мгновен-

но прославившийся тем, что вызвался привести в исполнение приговор Международного Военного Трибунала. Я видел Вуда — это невысокий, массивный парень, с длинным, мясистым, с горбинкой, носом и тройным подбородком. Он бойко, направо и налево, раздает автографы и интервью, охотно, широко улыбаясь, позирует перед объективами, и одному ловкому корреспонденту неведомо уж какими путями удалось даже заснять его с мотком толстой крученой веревки.

Дело, за которое он взялся, нужное, необходимое. Может быть, и согласился он на него даже не по охоте, а по приказу, но рекламная шумиха, развернувшаяся вокруг сержанта, сослужила ему плохую службу. Коктейль «Джон Вуд» не пользуется спросом. Расторопный Дэвид, всегда чутко улавливающий колебания рынка, вероятно, понял, что переборщил, и быстренько исключил его из своего рекламного списка.

Казнь намечана на 16 октября. Пресс-кэмп гудит от волнения. Была бы воля, все бы мгновенно сорвались с мест и ринулись на тюремный двор. Но двор, где приговор будут приводить в исполнение, невелик. Объявлено, что пресса будет допущена только по заранее составленному списку. Нам, представителям советской печати, отведено всего два места: для журналиста-хроникера и для фотокорреспондента. По нашему общему согласию, эти места будут отданы корреспонденту ТАСС, серьезному, образованному журналисту Борису Афанасьеву, безвыездно пробывшему в Нюрнберге все девять месяцев, и фоторепортеру «Правды» Виктору Темину, которого нельзя было не послать, ибо в случае отказа он от огорчения мог скончаться от разрыва сердца.

Темин — фигура в нашей военной журналистике просто-таки эпическая, увековеченная даже во фронтовом фольклоре. Ну кто из бывших военных журналистов не помнит шутки:

Снимок был и сер и темен.
Его снимал Витюша Темин.

Что там греха таить, в эпиграмме есть доля правды... Зато я, перевидавший на своем веку множество первоклассных фоторепортеров, не знаю другого такого, который в случае надобности мог бы сделать снимок в самых невероятных условиях и вовремя доставить его в редакцию, преодолев препятствия, которые были бы не

под силу всем трем мушкетерам с д'Артаньяном во главе. Вся журналистская карьера Темина в дни войны состояла из стремительных взлетов и столь же стремительных падений. Его награждали орденами и снимали звездочку с погон. Изгоняли из «Правды» и вновь приглашали туда на работу. И всюду за ним хвостом тянулась слава отчаянного, неистового репортера. Несмотря на все перипетии своей беспокойной судьбы, Темин продолжал работать в «Правде» до конца войны, всегда готовый положить живот свой за то, чтобы сделать для редакции уникальный снимок, сделать, рискуя порой и жизнью и репутацией, и вовремя доставить его в свою газету.

Исторический момент водружения советского знамени на куполе рейхстага снимало несколько человек. А вот доставить этот снимок в Москву вовремя смог один Виктор Темин. Для этого ему пришлось обманным путем умыкнуть самолет у командующего фронтом маршала Г. К. Жукова, человека сурового и непреклонного. Ну кто не помнит этот исторический снимок, сделанный с самолета, который привез из того отчаянного рейса около полусотни пулевых и осколочных пробоин. А потом Темин, тоже единственный из фотокорреспондентов, нарушив установленные нормы приближения к месту события, почти в упор снял подписание акта о капитуляции Японии на борту американского крейсера «Миссури», хотя за это чуть было и не был сброшен за борт американскими флотскими офицерами. Он рисковал искупаться в океане вместе с аппаратурой, зато снимок его обошел потом всю мировую прессу.

Ну как можно было отказать такому человеку в праве запечатлеть финал Нюрнбергского процесса?

Поэтому дальнейший ход событий я воспроизвожу уже по рассказам Виктора Темина, исключая из него лишь некоторые натуралистические подробности и очищая язык от образных, но слишком уж соленых выражений.

Итак, Темин рассказывает:

— Восьмерых нас выделили присутствовать при казни. По двое от каждой нации-победительницы. Ну, собрались мы вместе, и этот почтенный полковник Эндрюс встретил нас в суде в особой комнате, куда раньше нас не пускали. И говорит нам этот самый Эндрюс, чтобы

мы во время казни никуда с отведенных нам мест не сходили, не болтали и вообще соблюдали тишину.

Потом по лестнице повел нас куда-то вниз. Видим: тюрьма. Даже я там никогда не был. Занятно: коридор, двери по бокам, мудреные какие-то замки и лампы светят внутрь камер. Ну и, как полагается, волчки: «Давайте заглядывайте, господа журналисты...» Не знаю, уж знали ли они, эти одиннадцать, что им сегодня конец, но никакого шума в камерах не было. Кто читает, кто пишет что-то. Риббентроп, кажется, тот с попом беседовал, а один, должно быть, готовясь спать, зубы чистил...

Ну, прошлись, посмотрели. Потом отбой прозвучал, наш полковник повел нас из тюрьмы наружу и вывел в небольшое здание, в гимнастический зал, что ли... Там пусто. Три зеленых эшафота — вроде бы большие ящики. К ним ведут ступени, я сосчитал — тринадцать ступенек, а сверху спускаются петли. Перед эшафотами места для представителей четырех армий. Сзади скамьи для переводчиков. А для нас, для прессы, особые столики. Четыре. Один из них мы с Борисом Владимировичем выбрали себе. Ну, осмотрели всё, полковник повел нас назад: ждите. Ждем. Долго ждали. Слышали за дверью какую-то беготню, голоса, в общем, шухер какой-то. Только где-то уж около часа ночи повели нас назад к виселицам. Видим, полковник наш нервничает. Слышим: «Геринг, Геринг...» Что с ним, бежал он, что ли? Но спросить некого. А тут Риббентропа ведут, да не ведут, тащат под руки. Он вроде бы вовсе не в себе. В уме повредился, видно, от страху. Подняли его на эшафот. Поставили под петлей. Поп тут к нему подошел, пошептал что-то. Этот самый сержант Джон Вуд колпак на него напялил, потом петлю, потом нажал рычаг... Там ведь хитро вешали, не то что гитлеровцы наших. Наденут веревку, нажмут рычаг, и преступник проваливается в люк помоста. Как он там отходит, не видно, только веревка подрагивает. Этот Вуд потренировался, должно быть, как следует,— ловко это у него получалось: за полтора часа он на двух виселицах со всеми десятью разделался — мастер. Когда они проваливались, их там вынимали из петли, врач констатировал смерть, и их клали за занавеской в черные ящики. И каждому на грудь табличку с фамилией. Когда со всеми управились, нас, прессу, пустили посмотреть.

Фотографировать разрешили... Смотрим, что такое: вешали десять, а лежат все одиннадцать. И Геринг тут.

Я воспроизвел рассказ Виктора Темина — неистового фоторепортера. Что же добавить к нему? Разве только то, что Герману Герингу удалось-таки избавиться от петли. Как это произошло, кто помог второму после Гитлера нацистскому злодею избежать петли, так и осталось невыясненным. На эту тему весь день, с завтрака до ужина, кипел разговорами пресс-кэмп. Достоверно известно лишь, что после того, как полковник Эндрюс объявил подсудимым о том, что их ходатайства о помиловании отклонены, часов в десять вечера солдат, наблюдавший за камерой Геринга, обратил внимание, что тот слишком уж неподвижно лежит на спине. Видимых нарушений не было. Руки заключенного как и полагалось по тюремному распорядку, лежали поверх одеяла. Но часовому показалось, что из камеры доносится хрип. Он позвал дежурного офицера, и оба они склонились над уже бездыханным телом. Тюремный врач тут же констатировал мгновенную смерть от отравления цианистым калием.

Как попал яд в тюрьму, которая после самоубийства Лея столь тщательно охранялась? Кто принес ампулу? Это тоже осталось пока загадкой. Есть предположение, что смертоносную ампулу передал Герингу кто-то из адвокатов. Распространялась даже романтическая версия, будто яд принесла Эмми Геринг, приходившая к мужу на последнее свидание, и передала изо рта в рот при прощальном поцелуе, хотя этого в действительности не могло быть, ибо супругов разделяла стенка из плексигласа. Не исключено, что ампулу передал кто-либо из солдат охраны, подкупленный богатыми дружками подсудимого. Истина, видимо, навсегда останется неизвестной. Но так ли уж важно, каким способом умирает тарантул: главное, он уже никогда и никого больше не укусит.

Кстати, после приведения приговора в исполнение в Нюрнберге открылся своеобразный бизнес: распродают веревки, на которых были повешены приговоренные. Оказывается, со времен средневековья в Нюрнберге существует поверье: веревка повешенного приносит счастье. Джон Вуд в награду за свои труды будто бы выпросил у полковника Эндрюса эти самые веревки и тут же бурно начал торговать ими. Веревку распродают по кускам — длинным, покороче и совсем коротким,

в зависимости от того, кто сколько заплатит. Режут веревки, как колбасу, на дольки. Такая «коммерция» имела успех, в особенности среди обитателей Гранд-отеля, где много богатых заокеанских туристов. Появились было эмиссары Вуда и у нас в пресс-кэмпе. Но, говорят, притащили веревку не того диаметра, и их разоблачили с помощью того же эталона, с каким Джон Вуд запечатлелся на фотографии. Разоблачили и прогнали. Но в общем-то веревочный бизнес развернулся так бурно, что палач, вероятно, вернется на родину состоятельным человеком, а Нюрнберг надолго лишится всех своих запасов веревок. Что ж, любимая поговорка американцев, бизнес есть бизнес...

Обо всем этом и думалось мне, когда наш самолет, сорвавшись с алюминиевых плиток нюрнбергского аэродрома, нес меня домой в Москву. Мы тепло попрощались в пресс-кэмпе с нашими зарубежными коллегами. У них были отличные от наших представления о счастье, иное, отличное от нас мировоззрение, другие методы работы. Но как бы там ни было, эти девять месяцев все мы были хорошими товарищами, и мне было грустно расставаться и с веселым философом Эриком, и с печальным Ральфом, и с его такой русской Таней, знавшей, однако, только четыре русских слова — «здравствуй», «хорошо», «водка» и «друг»,— и, конечно же, с шумной экспансивной Пегги, отпечатавшей на прощание на щеке каждого из нас по сочному карминному пятну. И с энергичным полковником Эндрюсом, который все еще горевал, что прошляпил Геринга и дал ему удрать от петли на тот свет, и с нашим «домовым», долговязым майором Дином, главнокомандующим пресс-кэмпа, который, прощаясь, как мне кажется, вполне искренне сказал: «Я буду часто вспоминать вас, ребята». И, конечно же, с Куртом, подарившим мне на память салфеточку, вышитую крестиком его матушкой, которая изобразила на ней «Готт мит унс» — «С нами бог», не зная или по простодушию своему позабыв, что точно такие же надписи были на поясах гитлеровцев, рвавшихся по нашей земле к Москве. Впрочем, у достойной фрау Клары был, конечно, свой добрый, вполне миролюбивый домашний бог.

И вот теперь я с высоты нашего военно-транспортного самолета, где мы, корреспонденты, сидели меж ящиков и тюков с каким-то судейским, возвращаемым на

Родину добром, как бы окидывал все эти девять месяцев, начиная с того дня, когда Георгий Димитров произнес свои пророческие слова о предстоящем процессе, до самого финала этого процесса, о котором поведал нам непобедимый Виктор Темин.

И вдруг мне опять вспомнился Сталинград. Промерзший подвал какого-то сотрясаемого разрывами дома на участке, обороняемом гвардейской дивизией под командованием сталинградского героя Александра Родимцева. Конец ноября. Из-за Волги дует «сиверко». Стены подвала промерзли и белеют во тьме гроздьями инея. Из дальнего угла слышатся стоны раненых. Их некуда отсюда увозить. По Волге густо идет «сало», и редко какому катеру удается пробиться сквозь эту движущуюся ледяную кашу. Лежу в углу на каком-то тюфяке и, натягивая полшубок, пытаюсь уснуть. Пытаюсь и не могу. Очень уж тихо.

А тишина на этой узкой полоске земли, между рекой и немецкими передовыми, где ухо привыкает к почти непрерывной стрельбе, — плохой, тревожный признак.

Лежу и вижу поодаль стол. Массивный письменный стол на львиных лапах, который неведомо как попал в этот подвал.

Коптит «катюша» — светильник, сделанный из сплющенного снаряда. У стола худой человек с угловатым, нездорового цвета лицом, с большими глазами, глубоко запавшими в темные провалы орбит. Не снимая полушубка, он что-то старательно пишет в красных книжечках, лежащих перед ним двумя неровными стопками. Напишет и переложит из одной стопки в другую. Потом, сложив ладони, дует в них, грея окоченевшие пальцы. И опять за работу. Я знаю, что это секретарь парткомиссии — болезненный и какой-то очень штатский на вид человек.

Вот он окончил работу. Собрал свои книжечки. Хлопнул крышкой железного сундучка. Мягко ступая в валенках, подходит ко мне и, поправив съехавший полушубок, простуженным голосом спрашивает:

— Не спите? Да, что-то тихо сегодня... Затихли, значит, что-нибудь затевают.

Некоторое время сидит молча. Сухо покашливает. У него что-то нехорошее с легкими, он об этом никому не рассказывает, но по тому, как, кашляя, он стара-

тельно отворачивается, а отхаркивать мокроту уходит в дальний угол подвала, все понимают, что это «что-то» очень серьезное. Прокашлявшись, он поворачивается ко мне.

— За эту неделю выбыло из партии, вернее, партия потеряла в нашем полку одиннадцать коммунистов. А приняли, знаете, сколько? Шестнадцать. Одиннадцать и шестнадцать — вот какой счет.— Он опять надсадно закашлялся, встал, вышел из подвала, сплюнул за дверью и вернулся на прежнее место.— Я ведь по гражданской своей профессии историк. И вот теперь частенько думаю, сколько разных партий существовало еще со времен античности... Росли, крепли, множились, когда волна удачи и конъюнктуры несла их вверх, когда принадлежность к ним сулила карьеру и всяческие земные блага. Но стоило судьбе повернуться к этим партиям спиной, они сразу же начинали хиреть, таять и вовсе распадались. Сколько такого помнит история!

А у нас, впервые с тех пор, как существует мир, это я вам как историк говорю, у нас наоборот... Вот сейчас уж куда тяжелее: Ленинград в блокаде от голода вымирает, немцы вон они, у самого волжского берега, да где — в центре России. Половину нашей промышленности забрали, шесть республик под ними, голод, холод, бесприютица, а партия, вон она как растет.

Одиннадцать с честью погибли в бою, а шестнадцать подали заявления. Каково? А? Об этих цифрах не говорить, а песни петь надо...

И вот на пути из Нюрнберга в Москву я вспомнил этот давнишний разговор. Вспомнилось, как бились мы, советские люди, за нашу землю, за наши идеалы, как беды всякий раз сплачивали нас вокруг нашей партии, как перед решающим, смертным боем солдаты подавали заявления: «Иду в атаку, считайте меня коммунистом»,— как с кличем в честь своей партии грудью загораживали амбразуры дзотов и как юная московская школьница с петлей на шее бросала врагам слова ненависти и презрения, слова веры в победу своего народа.

А Нюрнберг? Среди всех восемнадцати подсудимых, представлявших высшую иерархию национал-социализма, не нашлось ни одного, который сказал бы хоть одно-единственное слово в защиту идей, во имя которых нацисты истребили и сожгли миллионы людей и опалили войной всю Западную Европу. Даже в последних словах

своих, когда в затылок им уже дышала смерть, они лгали, изворачивались, представляли себя обманутыми, и партия их, перед силой которой еще недавно трепетали соседние народы, рассеялась, как ядовитый туман, во всяком случае, теперь, в эти дни, хотя прав, конечно, Ярослав Галан, сказавший мне как-то, что злое семя может и десятки лет пролежать в земле, ожидая подходящей погоды...

Так по пути в Москву, раздумывая и сопоставляя, я все больше понимал, как же был прав Георгий Димитров, этот гордый сокол коммунистического мира, заранее предвидя и ход и результаты процесса. Действительно, ворон ворону глаз не выклевал. Финансовый гений Гитлера Ялмар Шахт, проложивший ему путь к власти, крупнейший международный шпион Франц фон Папен, ближайший соратник доктора Геббельса Ганс Фриче, ведавший околпачиванием масс в газетах и по радио, все-таки на свободе, спасенные судьями империалистических держав. Но сам процесс, его законы, его логика, его материалы и выводы разоблачили всю низость, всю гнусную и страшную сущность идей нацизма и одновременно прозвучали грозным предостережением человечеству.

...Эти последние записи я делаю уже дома. В соседней комнате стучат каблучки жены. Бабушка убеждает внучку есть кашу, чтобы вырасти красивой и здоровой; сын на противоположном конце стола, должно быть, копируя меня, что-то пишет в тетрадке огромными буквами. Впервые за пять лет на мне не сапоги, а домашние туфли на меху, которые, как некий семейный талисман, жена возила с собою даже в эвакуацию. С улицы доносится дребезг московского трамвая, скрежет его колес на повороте. За окном Москва, моя Москва. И все, что я видел и слышал за эти последние девять месяцев в далеком немецком городе, представляется отсюда страшным кошмаром, который хочется поскорее забыть. А забывать его нельзя.

Нет, нельзя никогда!

Нюрнберг, 1945 — 1946 гг.
Москва, 1967 — 1968 гг.

КОММЕНТАРИИ

Борис Полевой из всех своих многочисленных мемуаров в Собрание сочинений включил тетралогию «Эти четыре года. Из записок военного корреспондента».

«Эти четыре года...» — многолетняя работа писателя. Он шел к ней долгие годы, как бы примеряясь к еще не реализованным возможностям жанра, отрабатывая собственный почерк и стиль.

«Пагубная страсть писания дневников», по шутливому признанию самого Б. Полевого (записи он вел день за днем и год за годом, еще со времен рабкоровской молодости в Твери), обогатила его писательскую палитру работами столь несхожими, даже в рамках жанра, как «Американские дневники» (1956), «За тридевять земель. Дневник путешествия на теплоходе «Победа» (1958), «По белу свету» (1958), «Близко и далеко» (1960), «Саянские записи» (1964), «Созидатели морей» (1974), «Тридцать лет спустя» (1975) и другие.

Сохраняя интонацию диалога с читателем, Полевой каждый раз по-новому строил композицию своей «беседы на расстоянии», как называл он жанр дневниковой прозы. Так, прием последовательных традиционных записей в «Близко и далеко» и «За тридевять земель» перемежается открытой публицистикой и очерковыми зарисовками. А его «Американские дневники» — пример острого полемического диалога с «соседями по планете» — они содержат немало актуальных вопросов, которые и сегодня, четверть века спустя, тревожат людей: кому нужна гонка вооружений, военная истерия, стратегия запугивания миллионов людей, если два народа, русские и американцы, хотят мира.

«Саянские записи» открыли широкому читателю двери в лабораторию создания его романа «На диком бреге». На их страницах легко узнать в эскизных набросках портреты его многих героев.

С середины 60-х годов Полевой снова вернулся к своим военным дневникам и начал литературно обрабатывать материал, который когда-то бегло записал на фронте, ничего по сути не изменяя в них, не переосмысливая и не приспосабливая к современному пониманию войны (см. обращение «К молодым читателям т. 7 наст. собр. соч.).

Впоследствии он писал: «Я заносил в дневники на фронте лишь то, что видел вблизи, — события, эпизоды, но только то, с чем пришлось столкнуться самому. Однако записи, сделанные

наспех, бегло, конспективно, для меня послужили основой книг художественной прозы. Конечно, когда я на фронте вел дневник, скажу Вам честно, о будущих книгах думал меньше всего. Просто считал, что даже самая хорошая память хуже выцветших строчек в блокноте... Я не ставил перед собой цели «подняться над фактами» даже потом, через 20 лет, когда принялся за работу над четырьмя книгами военных дневников: разве отдельные штрихи документальной панорамы не говорят читателю о картине в целом?» («Горизонты реальной фантазии». — Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 104).

Таким образом из фронтовых блокнотов «выросли» документальные повести о войне: с автономным сюжетом, четкими хронологическими рамками рассказа, со своей собственной интонацией.

Первой увидела свет документальная повесть «В большом наступлении» (М., «Советская Россия», 1967) — об освобождении от врага территории от Белгорода до Карпат войсками 2-го Украинского фронта.

Ее родословная идет от сборника очерков Полевого «От Белгорода до Карпат» (М., «Советский писатель», 1946). Сборник тогда сразу обратил на себя внимание критики. Так, Иван Рябов отмечал, что «Борис Полевой пишет о войне как о всенародном деле... Со страниц дневника встают картины советской земли, пережившей вражеское нашествие» («От Белгорода до Карпат». — Журн. «Советская книга», 1946, № 1, с. 98). Он подчеркивал, что Полевой пишет правду о войне «и она не может не заинтересовать художника, которому по плечу будет создание художественной эпопеи о нашем времени» (там же, с. 99).

Затем были опубликованы «Нюрнбергские дневники» (М., «Советская Россия», 1969) — о суде над нацистскими заправилами — главными военными преступниками второй мировой войны. В предисловии к этому изданию («Несколько слов к читателям этих записок») Борис Полевой определил задачу книги: «О Нюрнбергском процессе существует большая литература. Несколько книг написаны советскими авторами... Но в последнее время на Западе стали появляться книги, авторы которых пытаются взять под сомнение справедливость решения Международного Военного Трибунала и даже объявить сам процесс исторической ошибкой... Ну, еще бы! Ведь международные законы, впервые примененные в Нюрнберге, осуждают любую преднамеренную агрессию, объявляют вне закона все средства массового уничтожения... И, конечно же, законы осуждают нацизм в любой его ипостаси... Все это... и заставило меня, как говаривали раньше, взяться за перо».

Дневник Б. Полевого — старшего корреспондента «Правды» на процессе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге — один из многих документов современной литературы и искусства, принявших на себя функции обвинения и, тем не менее, единственный в своем роде.

Вслед за «Нюрнбергскими дневниками» вышла повесть «Сокрушение «Тайфуна» (М., «Советский писатель», 1971) — о крахе планов гитлеровского рейха по захвату Москвы.

Эта повесть в свою очередь сложилась из двух небольших: «В ту тяжелую зиму» (М., «Советский писатель», 1970) и «При штурме Великих Лук» (М., «Советский писатель», 1971).

И в завершение появилась повесть «До Берлина 896 километров» (М., «Советская Россия», 1973) — о последнем этапе войны — наступлении войск 1-го Украинского фронта от Львова до Берлина и Праги и капитуляции гитлеровской Германии.

Эти книги, снова доработанные автором и выстроенные по хронологии происходящих в них событий, образовали тетралогию «Эти четыре года».

Под каждой из повестей автор поставил две даты — дату фронтовой записи и дату окончания литературной редактуры. Впервые «Эти четыре года. Записки военного корреспондента» были опубликованы в издательстве «Молодая гвардия» в 1974 году. Второе, дополненное издание вышло там же в 1978 году. Оно является последним прижизненным изданием, по нему даются тексты в настоящем Собрании сочинений.

Соединенные в целостное повествование, дневниковые свидетельства разных лет войны обрели новое художественное качество. «Это хроника событий за четыре года войны, скрупулезно отобранная и записанная писателем. Она сложилась постепенно как публицистическая летопись военных будней, начиная с битвы за город Калинин и кончая международным судом в Нюрнберге» («В едином строю». — Журн. «Знамя», 1975, № 5, с. 233).

Военный историк, оберегающий в своих рассказах правду о войне, летописец крупнейших сражений, ее свидетель и участник, наконец, художник, сделавший факт и документ литературой, художественным повествованием, — так высказались об авторе «Записок» и бывший военный корреспондент Б. Галанов («Дорогами войны — дорогами победы». — журн. «Новый мир», 1975, № 6), критики А. Нинов («Война за сознание». — журн. «Нева», 1976, № 1) и А. Рубашкин («Плод тогдашнего и нынешнего труда». — Журн. «Нева», 1977, № 5).

«...Масштабной художественно-документальной эпопеей», «яркой и подробной летописью подвига советского народа в дни войны» назвали мемуарный труд Б. Полевого исследователи лите-

ратуры (В. Иванов. Истоки многообразия. — Журн. «Знамя», 1965, № 1; И. Козлов. Сила и обаяние документалистики. — «Правда», 1974, 20 ноября и другие.)

Гражданский пафос, пронизывающий повести-дневники Полевого, подчеркнул С. С. Смирнов в своей статье «Глазами журналиста». «Главное заключается в том, — писал он, — что в этой книге запечатлен образ сражающегося советского народа, и за «эти четыре года» перед читателем проходит вереница героев нашей борьбы с врагом, тех яростных «работников войны», руками которых ковалась победа. Имя им поистине легион, но острый глаз, энергия и хватка настоящего журналиста позволили Полевому выбрать из них самых значительных и интересных» («Комсомольская правда», 1974, 15 декабря).

Отмечалось неоднократно, что произведения военно-мемуарной прозы Б. Н. Полевого — один из тех документов отечественной культуры, который принадлежит и истории советской журналистики и — одновременно — литературе, как, впрочем, и истории Великой Отечественной войны. Поэтому жанр книг-дневников трудно определить однозначно, пользуясь традиционными терминами литературоведения.

С одной стороны, перед читателем — писательский дневник: «...Первое освоение реальности, первичный отбор и изначальный очерк главных событий» (А. Нинов. Война за сознание. — Журн. «Нева», 1976, № 1, с. 191). Ленинградский критик подчеркнул, что речь идет об историко-документальном произведении, «главное достоинство которого — доподлинность факта». «Документ и художественное обобщение постоянно взаимодействуют и поддерживают друг друга» (там же).

С другой, — дневниковая проза Б. Полевого об эпохе минувшей войны (этот «черновик истории», как нередко говорил сам автор о своих записях на фронте) встает рядом с произведениями, замыслы которых она таила в себе. По мнению критика Н. Банк, это тот случай, когда «черновик» не мельче, не второстепеннее, чем полнокровные художественные произведения, созданные на фундаменте дневника: «Опубликованные писательские дневники, записные книжки обнажили очень важную основу всей нашей большой литературы о Великой Отечественной войне. Они показали воочию, что романы, новеллы, поэмы об этом времени созданы «по праву разделенного страданья» (О. Берггольц), что авторы этих произведений не мельче своих героев, сродни им по всему, что пришлось испытать и сделать на войне» («Свидетели истории». — Журн. «Нева», 1968, № 12, с. 160).

Отмечалось и «самодовлеющее значение писательского дневника в сегодняшнем литературном процессе» (в частности, днев-

ников Бориса Полевого): «Фронтовые дневники влекут к себе нынешнего читателя, словно магнит. Они подкупают его своей непосредственностью. Человек, которого неудержимо тянет приблизиться к волнующей атмосфере пропахших порохом и кровью сороковых годов, с особым волнением читает строки, в которых явственно ощущается присутствие автора, его свидетельство очевидца: «Я увидел...», «я услышал...» (Юрий Жуков. Самое памятное. — Журн. «Литературное обозрение», 1975, № 3, с. 46).

Особо подчеркивая фактографическую точность записей Бориса Полевого, критики иной раз задавались вопросом: «Записки «Эти четыре года» имеют две даты написания: те далекие военные годы и наше время. Спорят ли они, эти даты, между собой? Подгоняет ли автор события минувшего под настоящее или выдерживает дистанцию?» (И. Козлов. Минувшее мы вновь переживаем. — Журн. «Дружба народов», 1974, № 10, с. 268). В отдельных случаях выражали свое несогласие с автором: «...трудно подчас отделить написанное вчера от добавленного сегодня, — писал А. Рубашкин. — Иногда появляется нечто, ушедшее от дневника не только за счет «литературной обработки» («Плод тогдашнего и нынешнего труда». — Журн. «Нева», 1977, № 5, с. 192). Был высказан упрек и по поводу «обкатанности этих записок», их «литературной законченности», которая «отдаляет от нас то первичное, чем так ценен всякого рода документ» (там же).

Однако дневник Бориса Полевого — не только хранитель информации. Фактом своего существования дневниковые повести «Эти четыре года...» — пусть «только литературно отредактированные» — открывают читателю двери писательской мастерской, предметно поясняя, как понимал прозаик и публицист суть литературного движения одних и тех же сюжетов от жанра к жанру, что вкладывал в девиз «Пишу без вымысла» и как обогащал документ и факт художественным вымыслом и обобщением. Другими словами, «как элементы документализма вторгаются в ...прозу и живут в ней как ее собственный эстетический прием» (Ю. Суровцев. Тема великая, неисчерпаемая. — «Правда», 4 мая 1975 года).

О том, сколь многопланова и оригинальна дневниковая проза Бориса Полевого, сказано достаточно и в критике, и в трудах литературоведов: «В размеренное, сравнительно спокойное повествование врывается буря, ломая пограничные столбы жанра, наполняя записки страстью, душевной болью, восхищением. Вздыбленная эмоциональная волна затапливает берега публицистики, подрывает канонические основания жанра. В «записках» исподволь возникают художественные островки. Они соединены меж собой мыслью, воображением, нравственным пафосом писателя. Исче-

зает так называемая чистая публицистика, из одного жанра непроизвольно «выпочковывается» другой, не имеющий предшественника» (Г. Ломидзе. — Журн. «Знамя», 1975, № 5, с. 233).

Читательская почта по книгам «Эти четыре года...» была столь значительной и широкой, что Борис Полевой считал своим долгом ответить специально читателям: «Мне кажется, дневник не учебник истории. Сам факт публикации дневника — выражение доверия к читателю, к его эрудиции и самостоятельности мышления». И далее: «...Я не мог изменить тем повидавшим виды блокнотам. Хотя располагаю, как сами понимаете, многими новыми фактами и материалами, хотя бы как член редколлегии шеститомника «История Великой Отечественной войны Советского Союза». (Борис Полевой. Горизонты реальной фантазии. — Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 105).

В архиве писателя сохранены десятки писем, «самых правдивых рецензий», по выражению А. Суркова, которыми Борис Николаевич Полевой дорожил и гордился. Вот что говорится в одном из них:

«...Я не так уж грамотно пишу, но суть не в этом. Я ведь в сорок первом свое боевое крещение принял в городе Калинин. На городской окраине в день освобождения Калинина был тяжело ранен. Жизнь мне вернули золотые руки хирурга Василия Васильевича, о котором Вы много пишете. Мы, солдаты, таких людей никогда не забудем, они вечно живут в наших сердцах. Борис Николаевич, Ваша книга «Эти четыре года» пользуется авторитетом у людей. Спасибо Вам и поклон низкий от ветерана Великой Отечественной войны, в которой и Вы принимали участие не только пером, но и оружием.

Фатьян Александр Сергеевич.
Поселок Нефтегорск-1 Краснодарского края».

Этот тезис читательского письма (автор «вровень» с героями), как известно, поддержан достоинством поступков военного корреспондента «Правды» Бориса Полевого в годы Великой Отечественной войны, «неистового репортера», как называли его «коллеги по племени военкоров» (выражение Б. Н. Полевого). «...Далеко не каждому из нас удалось стать таким неистовым репортером. Соединение оперативности в добывании нужного газете материала с высоким умением так рассказать об увиденном, чтобы твой очерк воспринимался как художественное произведение — это весьма редкий творческий дар.

Кто им обладал? ...конечно же, Константин Симонов и Борис Полевой». (Юрий Жуков. Неистовый репортер. — В кн.: Борис Полевой. С удостоверением «Правды». — М., «Правда», 1982, с. 3).

Автор тетралогии «Эти четыре года...», старательно оставаясь в своем повествовании на втором плане, тем не менее стал одним из героев книги (см: А. Кондратович. Дневники военных лет. — Журн. «Новый мир», 1968, № 8; К. Лапин. Книга о настоящих людях. — Журн. «Дружба народов», 1968, № 6; Н. Кружков. Репортаж под гром орудий. — Журн. «Огонек», 1972, № 31).

В архиве газеты «Правда» хранится телеграмма, адресованная главному редактору П. Н. Поспелову: «За образцовое выполнение заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в период Харьковской операции Ваш военный корреспондент тов. Полевой Борис Николаевич моим приказом войскам 2-го Украинского фронта от 21 октября 1943 года № 070 награжден орденом Отечественной войны I степени. Командующий войсками 2-го Украинского фронта генерал армии *И. Конев*».

Архив «Правды» сохранил и необычную «рецензию» читателя-солдата, относящуюся именно к этому периоду войны: «Прошу напечатать в газете мое стихотворение, написанное и посвященное Б. Н. Полевому. Работая на 2-м Украинском фронте, т. Полевой одним из первых с передовыми частями фронта дошел и форсировал Днепр... Вот мой стих:

Как много написано вами страниц о жарких боях, о походах,
Но кто же напишет, солдат-журналист,
о ваших тяжелых невзгодах?..
К солдату — поближе! — ваш строгий закон,
и в облаках дыма и пыли
вы грозный, суровый Днепра рубикон
бок о бок с бойцом проходили.
...Назавтра, чуть только закончили бой,
читая подмокшую «Правду»,
Узнали себя, наш рубеж огневой:
«Мы первые взяли преграду!»
Я слушал, шептались бойцы у бугра,
за желтым изорванным скатом:
«...Ну да, это он, тот, что с нами вчера
проплыл на плоту с автоматом...»

Гв. капитан *Иван Лунин*,
Полевая почта 77166.

СОКРУШЕНИЕ «ТАЙФУНА»

Стр. 10. *Майор — мой земляк, калининец и полный тезка: Борис Николаевич Николаев.* — Со слов Б. Н. Полевого: Борис Николаевич Николаев — литературный «двойник» писателя, введение образа которого в книги фронтовых дневников позволило Полевому рассказать о своих оперативных заданиях в штабе И. С. Конева в годы войны (см. об этом: Борис Полевой. Первые и последние. — Журн. «Вопросы литературы», 1968, № 5, с. 122).

Стр. 11. *Вера — ее напарница. Она полунемка, отец ее из обрусевших немцев.* — На основе этой конкретной судьбы создан образ Жени Мюллер в романе Б. Полевого «Глубокий тыл» (см. коммент. к т. 4, с. 594) [1].

Стр. 12. *В роковой день исхода моя жена ушла из города, унося на руках крохотного сына...* — Речь идет о Юлии Иосифовне Кампової-Полевой (род. в 1916 г.), жене писателя, и его сыне Андрее Борисовиче (род. в 1941 г.).

Я ничего не знаю о матери, фабричном враче с Пролетарки. — Кампова Лидия Васильевна (1880—1960).

Стр. 13. *...вывожу заголовок «В непокоренном городе».* — Статья не была опубликована. Но в корреспонденции «Как был занят гор. Калинин» («Правда», 1941, 17 декабря) Полевой, по его словам, использовал наблюдения и факты из этого материала.

Стр. 21. *Здесь твой друг Василий Васильевич Успенский...* — знаменитый калининский врач — прообраз врача В. В. Воздвиженского в романе Б. Полевого «Глубокий тыл».

Стр. 39. *Принимает рапорт командующий парадом...* — командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Артемьев.

Стр. 40. *Петрович, как все называют моего водителя...* — Петр Петрович Савельев — прототип одноименного персонажа из романа Б. Полевого «На диком бреге» (см. т. 5, с. 7).

Стр. 42. *...во времена Михаила Тверского...* — Михаил Ярославич, тверской князь, правивший в начале XIV в.

Стр. 43. *Пароход с баржами, на которых уплывали по Волге женщины и дети, неприятельская авиация не то сожгла, не то потопила.* — На основе этого трагического эпизода октябрьских дней 1941 г. построена сюжетная линия гибели семьи Арсения Курова в романе Б. Полевого «Глубокий тыл» (см. т. 4, с. 7).

Стр. 50. *...Ленин прямо сказал с трибуны...* — имеется в виду речь В. И. Ленина на VII съезде РКП (б) 7 марта 1918 г. (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 25).

---

[1] Здесь и далее все ссылки даются на наст. Собр. соч. Б. Полевого.

Стр. 60. *«Крушение генерала Гота»...* — корреспонденция опубликована не была (см. об этом: Борис Полевой. С удостоверением «Правды». М., «Правда», 1982, с. 33).

Стр. 61. *Передовая была озаглавлена «Славная победа в боях за Москву»* — «Правда», 1941, 13 декабря.

А как звучат заголовки корреспонденций: «Контрнаступление», «Удар конногвардейцев Белова», «Части генерала Мерецкова продолжают преодолевать противника»... — «Правда», 1941, 13—15 декабря.

...из напечатанного сегодня стихотворения Алексея Суркова... — «За нашей спиной Москва». — «Правда», 1941, 13 декабря.

Стр. 100. *Я замыслил дать корреспонденцию «Над дорогами немецкого отступления»...* — Материал был опубликован под названием «Бомбы идут вниз» («Правда», 1942, 6 января).

Стр. 113. *Огорчает своего редактора Вадимова...* — Вадимов — псевдоним писателя-публициста Ортенберга Давида Иосифовича, (род. в 1904 г.), в годы Великой Отечественной войны главного редактора газеты «Красная звезда».

Стр. 124. *...весьма существенную помощь... оказали тверские партизаны...* — Об участии тверских партизан в народной войне Б. Полевой рассказал в очерках «В лесах андреанопольских» («Правда», 1942, 13 февраля); «В партизанском крае» («Правда», 1942, 6 июля) и в других. Деятельность партизанских отрядов на территории Калининской области в 1941—1942 гг. отражена и в «Повести о настоящем человеке», и в романе «Золото», и во многих рассказах цикла «Мы — советские люди» (см. т. 1, 3, 2).

Стр. 127. *...Мария Медведева.* — Реальный прототип главной героини романа Б. Полевого «Золото» Муси Волковой (см. коммент. к т. 3, с. 468).

Стр. 129. *Ленин ...говорил, что настанет время, когда из золота будут делать общественные отхожие места.* — см.: В. И. Ленин. О значении золота теперь и после полной победы социализма, Полн. собр. соч. т. 44, с. 225.

Стр. 131. Ромео и Джульетта Калининского фронта. — Эта главка является как бы конспектом к сюжетной линии Жени Мюллер и Курта (Полевой называет его то Куртом, то Карлом) Рупперта в романе Б. Полевого «Глубокий тыл» (см. коммент. к т. 4, с. 594—597).

Стр. 132. *...а-ля французский актер Адольф Менжу...* — американский актер (1890—1963), обрел особую популярность у кинозрителей после исполнения главной роли в фильме Ч. Чаплина «Парижанка» (1923).

Стр. 133. *...Ефрейтор Готфрид Гешке...* — санитар, перебежчик,

реальный прототип Курта Рупперта в романе Б. Полевого «Глубокий тыл».

Стр. 138. *...со знаменитым очерком Петра Лидова «Таня».* — Очерк опубликован в «Правде» 27 января 1942 г. В очерк была заверстана фотография мертвой девушки с обрывком петли на шее (фото С. Струнникова). Как стало известно позднее, под именем Тани действовала в тылу врага Зоя Космодемьянская, ученица 201-й московской школы. Казнена гитлеровцами в деревне Петрищево Московской области.

Стр. 145. *Написал корреспонденцию... В очередной сводке Совинформбюро передало о подвиге Матвея Кузьмина...* — «Подвиг Матвея Кузьмина», — «Правда», 1942, 18 января (см. коммент. к т. 2, с. 386).

Стр. 152. *...собор XVI века Белая Троица...* — каменная церковь, древнейший памятник тверской архитектуры.

Стр. 157. *...пять «Писем из партизанского края».* — Речь идет о репортажах Михаила Сиволобова, военного корреспондента «Правды», проведшего около месяца (январь 1942 г.) в Партизанском крае на территории оккупированной Орловской области. Детали из этих «Писем...», опубликованных в «Правде» (февраль—март 1942 г.), использованы и творчески переработаны Б. Полевым в романе «Золото» (линия «лесного колхоза» под председательством Игната Рубцова).

...Это же как град Китеж... — имеется в виду предание о легендарном граде Китеже, будто бы погрузившемся в озеро Светлояр (ныне Воскресенский район Горьковской области) и таким образом укрывшемся от разорения татар.

Стр. 163. *Пришлось лезть в земляную нору...* — повествуемый далее эпизод лег в основу рассказа «На Волжском берегу» (см. т. 2, с. 80).

Стр. 169. *Два солдата — русский и цыган...* — на основе далее изложенной истории был создан рассказ «Редут Таракуля» (см. т. 2, с. 86 и коммент. к т. 2, с. 388).

Стр. 228. *...писатель Александр Бек пишет книгу...* — имеется в виду книга «Волоколамское шоссе».

Стр. 229. *...о майоре Малике Габдулине.* — См. коммент. к рассказу «Рождение эпоса» т. 2, с. 389.

Стр. 297. *...отбивали атаки войск Стефана Батория...* — Стефан Баторий (1533—1586) — король польский, участвовал в Ливонской войне, потерпел неудачу в борьбе с Московским государством.

Стр. 305. *...Пересвет и Ослябя...* — герои Куликовской битвы, монахи Троице-Сергиевского монастыря, сопровождавшие Дмитрия Донского на битву. Александр Пересвет (ум. в 1380 г.), по летописи,

вступил в единоборство с татарским батыром Темир-мурзой (Челибеем) с такой силой, что оба пали мертвыми. Родион Ослябя (ум. после 1398 г.).

В БОЛЬШОМ НАСТУПЛЕНИИ

Стр. 373. *Только что докладывал по ВЧ...* — высокочастотная телефонная связь.

Стр. 398. *...русская армия... разбила и уничтожила армию шведов...* — Имеется в виду Полтавская битва (1709 г., 27 июня).

Фридрих Энгельс писал... — См. об этом «Внешняя политика русского царизма» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. т. 16, ч. 2. М., 1936, с. 9—12).

Стр. 425. *...При Владимире Красное Солнышко...* — Владимир I (?—1015), князь новгородский с 969 г. и киевский с 980 г. В русских народных былинах его называют «Красное Солнышко».

Стр. 437. *...становится похожим на известную картину Куинджи...* — имеется в виду картина «Украинская ночь» (1876 г.). Хранится в ГТГ, Москва.

Стр. 455. *...Рекомендую, здешний старожил Кущевой.* — Реальный прообраз героя рассказа «Ночь под Рождество» (см. т. 2, с. 158).

Стр. 504. Происшествие на фронтовой дороге. — На основе эпизода, повествуемого в этой главке, создан рассказ «Фронтовая дорога», много раз входивший в цикл рассказов «Мы — советские люди».

Стр. 515. В домике лесника. — На основе изложенной в этой главке истории создан рассказ «Мама Клава», (см. т. 2, с. 171).

Стр. 539. *Забужье Гитлер отдал на разграбление... румынскому диктатору Йону Антонеску.* — Йон Антонеску (1882—1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940—1944 гг. По приговору Народного трибунала Бухареста казнен, как военный преступник.

Стр. 542. *...одним духом написал корреспонденцию «Здравствуй, Буг!»* — «Правда», 1944, 21 марта.

Стр. 551. *...усыпанную крупными бриллиантами панагию...* — Панагия — икона, которую носят архиереи на груди.

ДО БЕРЛИНА 896 КИЛОМЕТРОВ

Стр. 10. *Львов... когда основал его князь Данила Галицкий...* — Галицкий Даниил Романович — князь Галицко-Волынский (1201—1264) — выдающийся политический и военный деятель своей эпохи.

Стр. 13. *Осталось неясным, существовал ли этот танк на самом деле...* — См. примеч. автора, т. 7, с. 83.

Стр. 24. *Наумов положил Кинасяна в зарослях ежевики...* — Здесь изложен сюжет рассказа «Побратимы», много раз входивший в цикл рассказов «Мы — советские люди».

Стр. 28. *Озаглавил я ее... «Смерть нас еще подождет»...* — Эта корреспонденция опубликована не была.

Стр. 52. Двое с неба. — На основе истории, изложенной в этой главке, создан рассказ «Пан Тюхин и пан Телеев» (см. коммент. к т. 2, с. 390).

Стр. 72. *еще трижды не пропоет петух...* — Неточное воспроизведение текста Евангелия: «Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».

...в «Руде право»... — чехословацкая газета. С 21 сентября 1920 г. — центральный орган коммунистической партии ЧССР, издается в Праге.

Стр. 73. *...на обувных заводах Яна Бати...* — Ян Батя — последний владелец крупнейшей монополии в обувной промышленности буржуазной Чехословакии. Пособник гитлеровского режима, заочно осужден в 1947 г. Национальным судом в Праге. Ныне заводы концерна «Батя» объединены в национальное предприятие «Свит».

Стр. 75. *...в этом музейном городе и вспыхнуло восстание...* — г. Мартин, или Святой Мартин Турчанский, в ЧССР, в Словацкой Социалистической республике, там находится Словацкий Национальный музей и ряд других памятников старинной культуры.

Стр. 76. Парень с «Пролетарки» — на основе изложенной далее истории создан рассказ «Земляк».

Стр. 95—96. *...с... результатами, каких достигли войска фронта во второй половине января 1945 года.* — Речь идет об успехе Сандомирско-Силезской операции 1945 г., в результате которой были преодолены все фашистские оборонительные рубежи между Вислой и Одером, и Советская Армия, освободив значительную часть Польши, вошла в пределы Германии (см. подробнее: «Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». М., 1955, с. 433—435).

Стр. 123. *Вы ведь... были в Сталинграде.* — Б. Н. Полевой находился на Сталинградском фронте в октябре—ноябре 1942 г. (см. об этом т. 7, с. 161). В первые дни января 1943 г. был вновь направлен туда же.

Стр. 149. *Я секретарь тайного комитета советских граждан в поместье Зофиенхалле...* — Здесь и далее изложен сюжет документального рассказа-очерка «Свои» (см. т. 2, с. 226).

Стр. 185. *Происшествие, как рассказ Эдгара По...* — Имеется в виду сходство с сюжетом американского писателя Эдгара По (1809—1849); «Бочонок амонтильядо» (1846).

Стр. 199. *...об антирасистских мерах Линкольна, о законах Джефферсона.* — Авраам Линкольн (1809—1865) — президент США с 1861 по 1865 г. Выступал за отмену рабства и освобождение негров. Томас Джефферсон (1743—1826) — третий президент США, автор проекта «Декларация независимости».

Стр. 208. *Я... озаглавил ее «Передовая на Эйзенштрассе»...* — («Правда», 1945, 1 мая). На основании этого фронтового эпизода был создан одноименный рассказ (см. коммент. к т. 2, с. 391).

Стр. 209. *...популярный немецкий журнал «Фрайе Вельт».* — «Свободный мир» — иллюстрированный литературно-художественный журнал ГДР, издается в Берлине.

...от знаменитого мемориала Воину-победителю, которым скульптор Евгений Вучетич увенчал подвиг Советской Армии и советского солдата... — Памятник в Берлине воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. Исполнен народным художником СССР скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем (1908—1974) в соавторстве с архитектором Я. Б. Белопольским, инженером С. С. Валериусом, живописцем А. А. Горпенко. Работа отмечена Государственной премией СССР в 1950 г.

...Лейпцигский процесс... Поединок Георгия Димитрова с Герингом... — Провокационный судебный процесс 1933 г. (21. IX—23. XII), инсценированный германским фашизмом против коммунистов, ложно обвиненных в поджоге берлинского рейхстага 27 февраля 1933 г. Главным обвиняемым на процессе был Георгий Димитров — выдающийся деятель болгарского и международного рабочего движения. Выступая в роли собственного защитника, он сумел доказать вину нацистов и лично Геринга в поджоге рейхстага. Коммунисты в ходе процесса были оправданы.

Стр. 214. *...Древние римляне говорили: опоздавшим — кости...* — неточное воспроизведение латинского выражения: «Кто поздно приходит — тому кости».

Стр. 247. *Посредине памятник Яну Гусу.* — Ян Гус (1369—1415) — вождь реформации в Чехии, вдохновитель чешского национально-освободительного движения 1-ой половины XV в. По приговору церковного собора сожжен на костре, как «нераскаявшийся еретик». Памятник расположен на Староместской площади в Праге (1915 г., скульптор Л. Шалоун).

Стр. 264. — *Здесь ведь и наш Петр Алексеевич побывал.* — Имеется в виду посещение Петром I Дрездена после заключения Ништадтского мирного договора (1721) между Россией и Швецией.

Стр. 267. *...прием в «Испанском зале» Пражского Града...* — «Испанский зал» (XVII в.; стиль барокко) в Пражском Кремле (Граде), застройка которого базиликами и соборами началась в X в.

Стр. 276. *...словами Фридриха II: «Когда зацветет сирень».* — Фридрих II (1194—1250) — король и император Священной Римской империи. «Когда зацветет сирень» — сигнал к подавлению мятежа (1235 г.).

В КОНЦЕ КОНЦОВ

Стр. 306. — *Вы... были его первым судьей там, в Лейпциге.* — (см. т. 8, с. 209 и коммент.).

Стр. 309. *...Ланин из «Военно-Морского флота»...* — неточно приведенное название ежедневной газеты «Красный флот» (орган Министерства обороны СССР); выходила с 1938 по 1952 г.

Стр. 323. *...чтобы корреспонденция... попала в завтрашний номер...* — под названием «Большой день» корреспонденция опубликована в «Правде», 1946, 10 января.

Стр. 333. *Знаменитая Фрауенкирхе...* — памятник средневековой готической архитектуры (XIII—XIV вв.) в Нюрнберге.

Стр. 371. *...корреспонденцию... «Нож разбойника»* — данные об этом материале не найдены. О войсках СС с Нюрнбергского процесса см.: «Гимлер и его подручный». — «Правда», 1946, 14 апреля.

Стр. 388. *...из кованого железа надпись: «Каждому свое».* — Suut cuique (лат.) — каждому свое, т. е. каждому то, что ему принадлежит по праву, каждому по заслугам.

Стр. 410. *«Если весь мир будет лежать в развалинах...»* — программная песня национал-социалистской партии фашистской Германии (автор текста Хорст Вессель).

Стр. 411. *Имя Барбароссы было дано этому плану не случайно.* — Имеются в виду многолетние завоевательные походы Фридриха I Барбароссы (1125—1190) против Северной Италии с попыткой расширить наследственные владения династии Гогенштауфенов.

Стр. 444. *...джи-ай...* — распространенное название солдат американской армии.

Стр. 451. *...он, подобно Нерону... наблюдал за бушующим огнем.* — По приказу римского императора Нерона Клавдия Цезаря (37 — 68 гг.) в 64 г. н. э. был подожжен Рим.

Стр. 465. *...«Репортаж с петлей на шее»* — книга чехословацкого писателя и общественного деятеля Юлиуса Фучика (1903—1943), написанная им в пражской тюрьме Панкрац, куда он был заключен фашистами в 1942 г. Казнен в Германии в 1943 г.

В 1950 г. на II Всемирном Конгрессе сторонников мира книга удостоена Первой Международной премии Мира.

Стр. 476. *«Горячий цех». Принес повесть в журнал «Октябрь».* — См. коммент. к т. 1, с. 519.

Стр. 506. *...время «верного слова Фомы Смыслова»...* — точнее: «Заветное слово Фомы Смыслова» — так называлась серия «задушевных бесед» бывалого солдата с молодыми бойцами, стилизованных под лубочную литературу. Автор — поэт Семен Кирсанов. (Первая публикация — журн. «Фронтовая иллюстрация», 1942, сентябрь, № 20).

Стр. 513. *...на картине Кившенко «Военный совет в Филях»...* — Кившенко Алексей Данилович (1851—1895) — русский живописец-реалист. Картина «Военный совет в Филях» (1880) принесла ему широкую известность, хранится в Русском музее в Ленинграде.

Отрок Варфоломей... — здесь персонаж картины М. В. Нестерова (1862—1942) «Видение отроку Варфоломею (1890), хранится в ГТГ.

Стр. 514. *Игнатьев... «Пятьдесят лет в строю»!* — Игнатьев Алексей Алексеевич (1877—1954) — русский военный дипломат, генерал-лейтенант Советской Армии. Автор книги мемуаров «Пятьдесят лет в строю» (М., 1939—1940).

Стр. 527. *Гвардии майор Маресьев... Помните, мы встречались на Курской дуге?* — упоминание о первой встрече с героем «Повести о настоящем человеке» (см. коммент. к т. 1, с. 521), далее — почти дословно приведен эпилог к книге.

Н. Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

ЭТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ
Собрание сочинений
Том восьмой

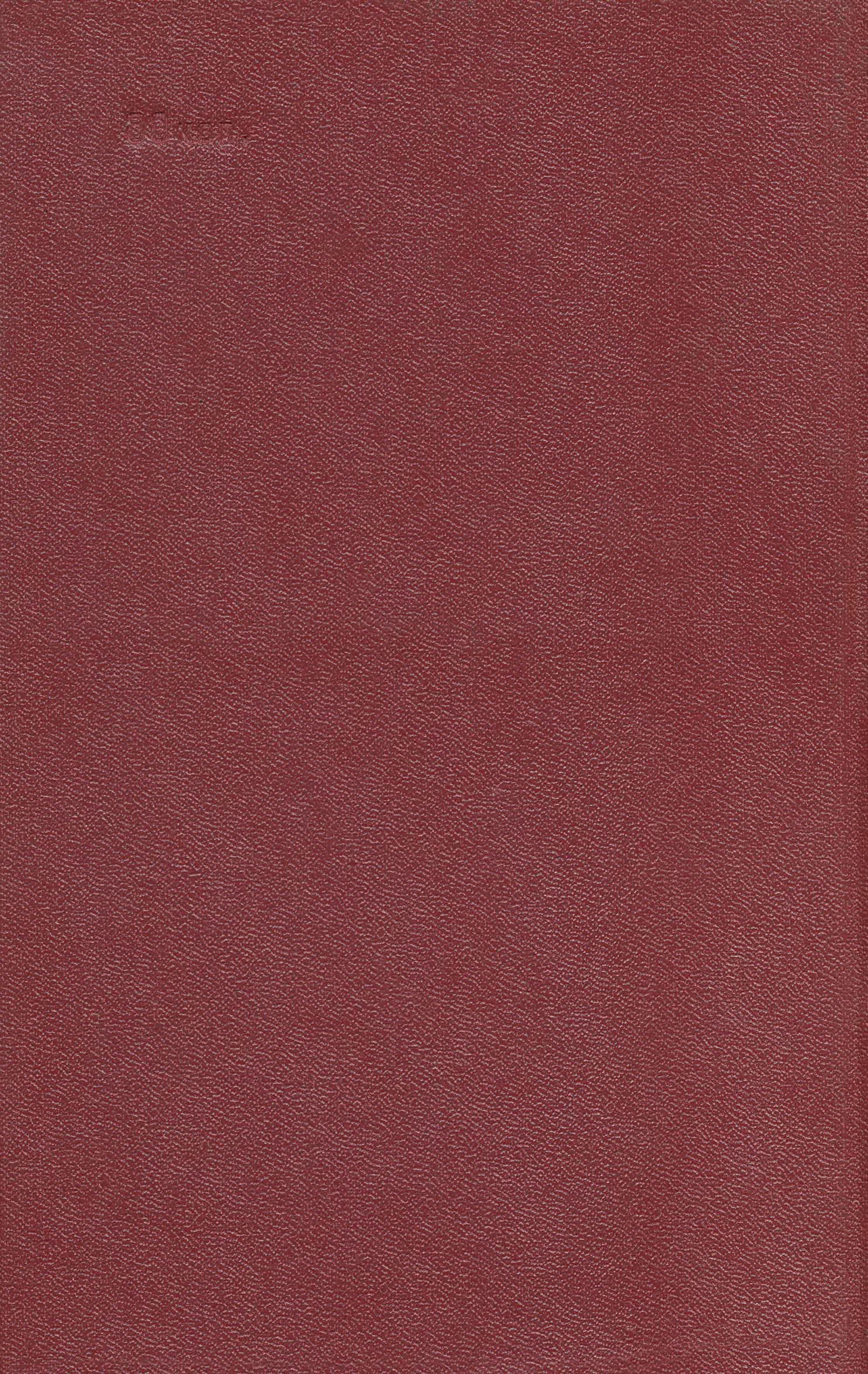
Редакторы **З. Батурина, О. Дворцова.** Художественный редактор **Е. Еневко.** Технический редактор **Т. Фатюхина.** Корректоры **И. Макаревич, Л. Лобанова**

ИБ № 3526

Сдано в набор 14.05.84. Подписано в печать А-10309 11.01.85. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 31,67. Тираж 35 000 экз. Изд. № III-1459. Зак. № 172.
Цена 80 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29


80 коп.